

ПУСТЫХ ШЕДЕВРЫ ПУСТЫХ ШЕДЕВРЫ

РЭЙ БРЭДБЕРИ

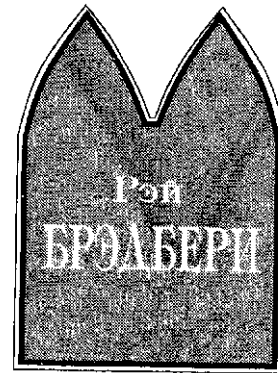


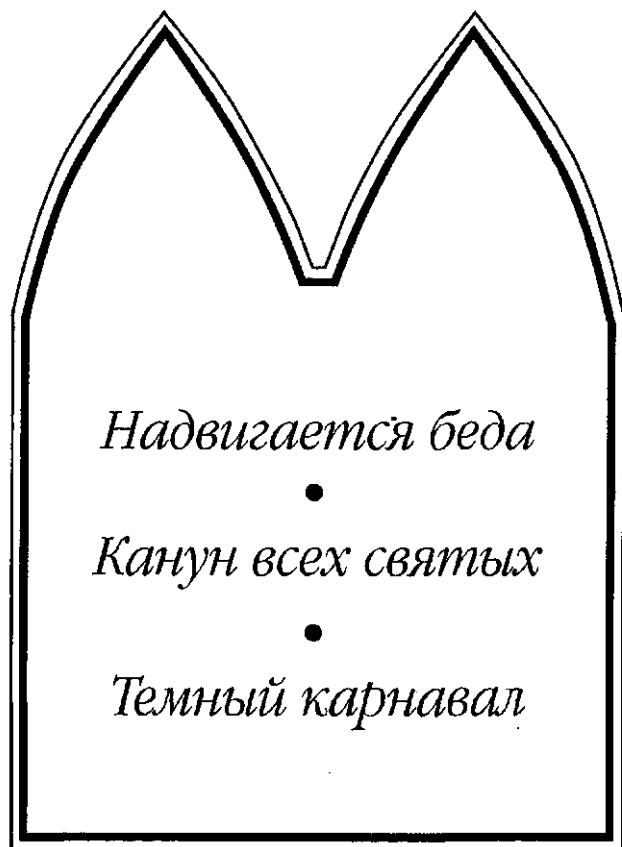
ТЕМНЫЙ
КАРНАВАЛ

ПУСТЫХ ШЕДЕВРЫ ПУСТЫХ ШЕДЕВРЫ

РЭЙ
БРЭДБЕРИ

*Темный
карнавал*





УДК 82(1-87)
ББК 84(7 США)
Б 87

RAY BRADBURY

Составитель серии *А. Жикаренцев*

Оформление серии художника *А. Саукова*

Серия основана в 2003 году

Художник *И. Жмайлова*

Брэдли Р.

Б 87 Темный карнавал: Избранные произведения / Пер. с англ. — М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Изд-во Домино, 2004. — 880 с. — (Шедевры мистики).

ISBN 5-699-08060-0

Завертелась жуткая карусель, в зловещий Зеркальный лабиринт вошли первые посетители — это приехал развездной карнавал. Маленький городок оказался во власти злых и жестоких сил, и только чистые душой способны спасти жителей городка от превращения в ужасных зомби. Такая сюжет романа Рэя Брэдли «Надвигается беда», открывающего сборник произведений, в которых великий писатель-фантаст являет нам еще одну сторону своего дарования.

УДК 82(1-87)
ББК 84(7 США)

© Перевод. С. Анисимов, Я. Берлин,
М. Воронежская, В. Гольдич, Н. Григорьева,
В. Грушецкий, Л. Жданов, Т. Жданова,
В. Задорожный, Б. Ключева, М. Ковалева,
Н. Куяева, Р. Облонская, И. Оганесова,
А. Оганян, М. Пчелинцева, Т. Сальникова,
В. Серебряков, И. Тогова, С. Трофимов,
А. Хошев, К. Шиндлер, Т. Шинкарь,
Р. Шитфар, С. Шпак, 2004
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2004

ISBN 5-699-08060-0



С благодарностью Джениет Джонсон, учившей меня писать рассказы, и Сноу Лонгли Хауш, учившей меня поэзии в Лос-Анджелесской средней школе, очень давно, и Джеку Гассу, помогавшему мне в работе над этим романом, не так уж давно.



Не удержишь то, что любишь.

У. Б. Йейтс

Потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения; ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.

Книга Притчей Соломоновых, 4, 16–17

Я не знаю толком, чем все это кончится, но что бы там ни было, я иду навстречу концу, смеясь.*

Стабб в «Моби Дикс», гл. XXXIX.
Г. Мелвилл

* Перевод И. Бернштейн.



Пролог

Главное дело — стоял октябрь, месяц, особенный для мальчишек. Само собой, остальные месяцы тоже не похожи друг на друга, просто, как говорят пираты, одни получше, другие похуже. Взять вот сентябрь — плохой месяц: надо в школу идти. Август не в пример лучше — до школы еще не близко. Июль — ну, июль замечательный: куда ни глянь, на школу и намека нет. Ну а уж июнь лучше всех: школьные двери нараспашку, а до сентября — миллион лет.

А теперь взять октябрь. Уже месяц, как началась школьная тягомотина, значит, к узде пообвык и дальше пойдет легче. Уже можно выкроить время и поразмыслить, чего бы такого особенно гадкого подкинуть на крыльцо старому Приккету или что за прелесть мохнатый обезьяний костюм, дожидющийся праздника в Христианском союзе молодежи в последний вечер месяца.

А если дело, к примеру, происходит еще и в двадцатых числах и небо, оранжевое как апельсин, слетка пахнет дымом, то кажется, что Хэллоуин* в суматохе метел и хлопанье простынь на ветру так никогда и не наступит.

* Хэллоуин — вечер 31 октября — канун Дня всех святых. Отмечается карнавалами и веселыми розыгрышами.

Но вот в один странный, дикий, мрачный, долгий год Хэллоуин пришел рано, и случилось это двадцать четвертого октября в три часа после полуночи.

К этому времени Джеймсу Найтшеду с 97-й Дубовой улицы исполнилось тринадцать лет одиннадцать месяцев и двадцать три дня от роду, а соседу его, Вильяму Хэллоуэю, — тринадцать лет одиннадцать месяцев и двадцать четыре дня. Оба почти коснулись четырнадцатилетия, вот-вот оно затрепыхается в руках.

В ту октябрьскую неделю им обоим выпала ночь, когда они выросли сразу, вдруг, и навсегда распрощались с детством...



Часть 1 ПРИБЫТИЕ

1



Подавец громоотводов прибыл как раз перед бурей. На склоне облачного октябрьского дня он шел по улице Гринтауна, Илинойс, и внимательно поглядывал по сторонам. А вслед за ним, пока еще в отдалении, стая молний долбила землю, там огромным зубастым зверем ворочалась гроза, и увернуться от нее было не так-то просто.

В огромном кожаном мешке торговца тоже погромыхивало. Он шел от дома к дому, выкрикивая странные названия таившихся в мешке штуковин, и вдруг остановился перед подстриженной вкривь и вкось лужайкой.

Трава? Нет, не то. Торговец поднял глаза. А, вот оно. Ня траве, выше по отлогому склону, — двое мальчишек. Схожие и ростом, и обликом, сидят и вырезают свистульки из бузины, беспечно болтая о прошлом и будущем, сидят, вполне довольные собой. Этим летом ничего в Гринтауне не обошлось без них, отсюда до озера и еще дальше — до реки, на каждой вольной тропке остались следы их ног, и к школе они вроде управились со всеми делами.

— Эй! Как дела? — окликнул их человек в одежде грозового цвета. — Дома есть кто?

Мальчишки одинаково помотали головами.

— Ладно. Ну а как у вас с монетой?

Головы снова качнулись вправо-влево.

— Добро,— кивнул торговец, сделал несколько шагов и остановился, сразу ссутулившись.

Что-то его встревожило... может, окна ближайшего дома, может, тяжелое, холодное небо над городом. Он медленно повернулся, словно принимаясь. Ветер трепал ветки облетевших деревьев. Солнечный луч, отыскав просвет в тучах, мгновенно вызолотил последние дубовые листья и тут же пропал — золото на дубах потускнело, потянуло сыростью. Все. Очарование исчезло.

Пришедцу ступил на зеленый склон.

— Как звать тебя, парень? — спросил он.

Один из ребят, с головой, похожей на белый пух чертополоха, приниженный и галча на торговца глазом, блестящим, словно огромная капля летнего дождя.

— Вилли,— представился он.— Вильям Хэллоуэй*.

Грозовой аждентамен слетка повернулся:

— А тебя?

Сосед Вилли даже не шелохнулся. Он лежал ничком на осенней траве, глубоко задумавшись, словно ему еще только предстояло сотворить себе имя. Волосы густые, настоящие лохмы цвета спелых капитанов, вид — отсутствующий, глаза разглядывают что-то внутри, а цветом — как зеленый горный хрусталь. Все. Сотворил. Небрежно ткнул сухую травину в рот.

— Джим Найтшед**.

Торговец понимающе кивнул:

— Найтшед. То самое имя.

— И в самый раз ему,— сказал Вилли.— Я родился за минуту до полуночи тридцатого октября, а Джим через минуту после полуночи, стало быть, уже тридцать первого.

— Аккурат в Хэллоуин,— произнес Джим.

Несколько слов — но за ними крылись их жизни: гордость за матерей, живущих по соседству, вместе спешащих в больни-

цу, вместе приносящих миру сыновей, минутой раньше — светлого, минутой позже — темного. За этим виделась история веселых праздников вместе, на них Вилли каждый год зажигал свечи на пироге за минуту до полуночи, а Джим в первую минуту последнего дня месяца гасил их.

Так много сказал Вилли несколькими словами, так много подтвердил своим молчанием Джим. Так много услышал торговец, опередивший бурю и задержавшийся здесь невесть за чем, разгадывая лица ребят.

— Хэллоуэй, Найтшед,— повторил он.— Значит, говорите, нет денег?

Похоже, огорченный собственным безрассудством, торговец выпустил руку в мешок и вынул чудную железяку.

— Ладно. Берите даром. Думаете — с чего бы это? Скажу, пожалуй. В один из этих домов ударит молния. Без этой штуки — бац! Огонь и пепел, жаркое и угли! Трах!

Торговец протянул стержень. Джим не пошевелился, а Вилли схватил железяку и воскликнул:

— Ты посмотри, какая тяжеленная! И чудная. Никогда таких громоотводов не видал. Ну погляди, Джим!

Потянувшись как кошка, Джим наконец соизволил повернуть голову. Зеленые глаза удивленно распахнулись и тут же превратились в узенькие щелочки.

Громоотвод представлял из себя кованый крест с полумесяцем внизу. Стержень усеивали крохотные завиточки и сплошь покрывали выправленные слова, произнося которые можно было запросто вывихнуть челюсть, а таинственные цифры переплетались с какими-то полузверьями-полунасекомыми из сплошной щетины, когтей и клыков.

— Это египетский,— уверенно показал носом Джим на припаянного посередке жука.— Скарабей!

— Точно, парень. Он и есть!

Джим приниженный:

— А вон те куриные следы — финикийские знаки.

— Опять верно.

— Но почему они здесь?

— Почему? — повторил задумчиво торговец.— Ты спрашиваешь, почему на громоотводе египетские, арабские, абиссин-

* Хэллоуэй — от hallow (англ.) — святой; отсюда же Хэллоуин.

** Найтшед (англ.) — ночная тень.

ские, чоктавские знаки? А на каком языке, по-твоему, говорит ветер? Из какого народа буря? Откуда приходит дождь? Какого цвета молния? Где родина грома? Чтобы заклинать огни святого Эльма, чтобы усмирять этих синих, крадущихся, косматых котов, надо быть готовым воспользоваться любым наречием, может пригодиться любой знак, зверь любого обличья. Во всем мире только мои громоотводы способны почуять и отогнать любую бурю, откуда бы она ни явилась, на каком бы языке ни говорила и в каком бы виде ни пришла. Не сыщете такого чуждавшегося громогласного шторма, которого не смогла бы перешептать эта железная штукавина.

Но похоже, Вилли уже не слушал. Повернувшись, он уставился на что-то позади.

— В чей? — напряженно выдохнул он. — В чей дом она попадет?

— Гм... в чей?... — отозвался торговец. — Погоди-ка... а ну, повернись ко мне. — Он внимательно изучал их лица и бормотал при этом: — Есть люди... они просто-таки притягивают молнию, словно хотят высосать ее. У одних, знаете ли, отрицательная полярность, у других положительная. Одни только в темноте и загораются, другие в ней гаснут... Вот вы двое...

— А почему вы так уверены, что молния попадет прямо сюда? — перебил Джим, сверкая глазами.

Торговца вопрос не смутил.

— У меня есть нос, глаза и уши. Вот два дома. Прислушайтесь, что говорят их бревна!

Они прислушались. Наверное, это ветер нажимал на стены... а может, и не ветер.

— Молнии, как реки, текут по своим руслам, — продолжал между тем торговец. — Чердак одного из этих домов как раз и есть такое пересохшее русло, оно только и ждет, чтобы молния пролилась и промчалась по нему. Нынче же ночью!

— Ночью? Этой ночью? — Джим просто сиял от счастья.

— Идет необычная гроза, — промолвил торговец. — Это вам Том Фури говорит. Фури — подходящее имячко для торговца громоотводами, а? Я ли взял его? Нет. Имя ли подтолкнуло меня выбрать профессию? Да! Я жил и смотрел, как облачные ог-

ни скрутят по миру, а люди вздрагивают и прячутся. И я подумал: ищусь на карты ураганы, отмечу бури, а потом пойду впереди них и буду громыхать моими железными дубинками, моими чудесными защитниками. Я укрыл и обезопасил сто тысяч, нет, двести, не счесть сколько, мирных, богобоязненных домов. Слушайте меня, парни. Если я говорю, что валли дела плохи, значит, так оно и есть. Полезайте на крышу, прибейте там эту железку да заземлите хорошенько. И все это надо успеть до полупночи!

— Но вы же не сказали, который из домов! — воскликнул Вилли.

Торговец отступил назад, достал огромный платок, высморкался и медленно пошел через лужайку. Он шел так, словно впереди его ждала огромная мина с часовым механизмом. Он осторожно коснулся перил на крыльце у Вилли, провел рукой по столбу, потрогал доски ступеней, потом закрыл глаза и прильнул к дому, вслушиваясь в скрипы и шорохи его костей. Через минуту, все так же настороженно, он перешел к дверям Джима. Джим встал и вытянул шею.

Торговец лишь коснулся, лишь пробежал пальцами по старой краске, слегка стукнул по дереву и уверенно заявил:

— Этот.

Не оглядываясь, он спросил:

— Джим Найтшед, это твой?

— Мой! — с гордостью ответил Джим.

— Я мог бы сразу догадаться, — буркнул торговец.

— Эй, а со мной как же? — В голосе Вилли звучала обида.

Торговец повел носом в сторону его дома.

— Нет. Разве что несколько искорок проскочат по водосточной трубе. А настоящее зрелище будет здесь, у Найтшедов. Вот так-то! — Торговец заторопился по лужайке к своему мешку. — Ну, мне пора. Гроза уже близко. Джим, друг, тебе говорю — не тяпи! А то — бам! И все твои медяки, все десятицентовики, все солдатики-индейцы потекли ручейками. Эйб Линкольн расплылся в мисс Колумбию, орлы на четвертаках полицияли догнала, даже пуговицы на джинсах — и те потекут, как ртуть. А если молния попадет в мальчишку — трах! — и в глазу, как на

«кодаке», отпечатается этот огонь. Вот он скачет с неба и как дунет в тебя — душа вон! Эй, парень, прибей эту штуку повыше, а то не видать тебе завтрашнего рассвета!

Громко брякнув мешком, торговец повернулся и пошел по дороге, поглядывая то на небо, то на крыши домов, фыркая и бормоча себе под нос:

— Ох, худо! Сюда идет, чую. Далеко пока, но уж больно быстро...

Человек в грозových одеждах уходил. Шляпа цвета тучи сползла ему на глаза, деревья встревоженно шелестели, а небо враз стало старым.

Джим и Вилли стояли на лужайке, пригнувшись к ветру — не пахнет ли электричеством, а громоотвод лежал между ними на траве.

— Джим, — пихнул наконец друга в бок Вилли, — да не стой ты! Твой ведь дом-то, он сказал. Собираешься ты прибавить эту штуку или нет?

— Нет, — улыбнулся Джим. — Зачем веселье портить?

— Да какое веселье?! Рехнулся, что ли! Я тащу лестницу, а ты — давай за молотком с гвоздями. И проволоку не забудь.

Вилли мигом приволок лестницу. А Джим, похоже, и не пошевелился за это время.

— Ну Джим! Ты о маме подумал? Хочешь, чтобы она стогрела?

Вилли приставил лестницу и сам полез наверх. Тогда наконец и Джим медленными шагами подошел и начал взбираться по ступеням.

Далеко в облачных холмах прокатился гром. Наверху в воздухе явно различались запахи свежести и сырости. Даже Джим согласился.

2

Самые лучшие на свете книжки — о живой воде, о рыцарях, изрубленных на куски, или о том, как расплавленный свинец льется со стен на головы всяким дуракам, — так говорил Джим Найтшед, и других книжек он не читал. Если уж не об ограблении Первого Национального банка, так хоть про то, как по-

строить катапульту или спать из черных лоскутьев невидимую одежду для ночных вылазок.

Все это Джим выдохнул разом, а Вилли, тоже разом, выдохнул, пока они возились на крыше, прилаживая громоотвод. Вилли занимался этим делом с чувством важности и нужности происходящего, а Джим — слегка стыдась и считая, что они просто трусили. Так и день прошел.

После ужина предстоял еженедельный поход в библиотеку. Как все мальчишки, они никогда не ходили просто так, но, выбрав цель, кидались к ней со всех ног. Никто не выигрывал, да и не хотел выиграть, они ведь были друзья; просто хорошо было бежать рядом, стремительно пропечатывать теплыми туфлями параллельные строчки следов по лужайкам, через кусты и рожицы, хорошо было вместе рвать финишную ленточку и разом схватиться за ручку библиотечной двери — никто не оставался в проигрыше, оба побеждали, храня дружбу до поры, когда утраты станут неизбежны.

Все так и шло этим вечером, сначала теплым, потом — прохладным. В восемь часов они предоставили ветру нести их вниз, в город. Летящие руки, локти развернуты, как крылья, мелькают перемежающиеся слои воздуха — и вот они уже там, где надо. Три ступеньки, шесть, девять, двенадцать — хлоп! — ладони шлепнули по библиотечной двери.

Джим и Вилли улыбнулись друг другу. Все это было здорово: и тихие октябрьские вечера, и библиотека с зелеными лампами внутри и едва уловимым запахом бумажной пыли.

Джим вслушался.

— Что это?

— Ветер?..

— Как музыка... — Джим всматривался вдаль.

— Совсем никакой музыки не слышу...

— Кончилась! — Джим тряхнул головой. — А может, и не было. Идем!

Они открыли дверь, ступили внутрь и застыли на пороге.

Перед ними в ожидании распахнулись библиотечные глаубины.

Снаружи, в мире, как будто ничего не происходило. Но здесь, в этих зеленых сумерках, в этой земле бумаги и кожи,

могло случиться всякое. Всегда случалось. Только прислушайся и услышишь крики десятков тысяч людей, вот миллионы перетаскивают пушки, точат гильотины, а вот китайцы маршируют по четыре в ряд. Конечно, незримо, конечно, бесшумно, но ведь и у Джима, и у Вилли носы и уши на месте. Здесь фабрика пряностей, здесь дремлют неведомые пустыни.

Напротив двери приятная пожилая дама мисс Уотрикс отмечает книги, а справа от нее — уже Тибет, и Антарктида, и Колго. Туда как раз удалилась другая библиотечка, мисс Уилас, ушла через Монголию, запросто унося куски Икогамы и остров Целебес. Дальше, в третьем книжном туннеле, пожилой мужчина шуршит в темноте веником, подметая остатки имбиря и корицы...

Вилли широко открыл глаза. Каждый раз этот старик удивлял его — своей работой, своим именем. «Чарльз Вильям Хэллоуэй, — думал Вилли, — не дедушка, не дальний родственник, не какой-нибудь пожилой дядюшка, нет, — мой отец...»

А отец? Не поражался ли он каждый раз, встречая собственного сына на пороге этого уединенного мира? Да. Каждый раз он выглядел ошеломленным, словно последняя их встреча состоялась век назад и с тех пор один успел состариться, а другой так и остался молодым. Это мешало, стояло между ними.

Старик неуверенно улыбнулся издали. Отец и сын осторожно двинулись навстречу друг другу.

— Батюшки! Вилли! С утра еще на дюйм вырос! — Чарльз Хэллоуэй повернул голову. — Джим? О, глаза потемнели, щеки посветлели, тебя что, с обеих сторон прищекло?

— Дьяволышка! — энергично высказался Джим.

— Такого не держим, — мгновенно ответил старик. — Ад есть, вот тут, на «А», у Алигери.

— Аллегории — это не по мне, — мотнул головой Джим.

— Твоя правда, — засмеялся отец Вилли. — Но я-то имел в виду Данте. Погляди-ка сюда. Рисунки самого господина Доре. Со всех сторон все показано. Аду повезло. Он никогда не выглядел лучше. Вот, обрати внимание, души падают прямо в грязь. Смотри, смотри, кто-то даже вверх ногами...

— Ничего себе! — Джим мгновенно пожрал страницу глазами вдоль и поперек и принялся листать дальше. — А картины с динозаврами тут есть?

— Это там, дальше. — Он повел их в следующий проход. — Вот здесь. «Птеродактиль, змей-разоритель», — прочитал он. — А как насчет «Барабанов рока: сага о громовых ящерах»? Ну, ожил, Джим?

— Ага. Влоане.

Отец подмигнул Вилли. Вилли подмигнул в ответ. Они стояли рядом — мальчишка с волосами цвета спелой пшеницы и мужчина, седой как лунь. Лицо мальчишки — словно летнее палящее яблоко, лицо мужчины — словно то же яблоко зимой. «Папа, папа мой, — думал Вилли, — он похож на меня! Только... как в плохом зеркале!»

Внезапно Вилли припомнил, как, бывало, ночами он вставал и смотрел из окна на город внизу. Там мерцал только один огонек в библиотечном окне. Это отец засиживался допоздна над книгой в нездешнем свете зеленой лампы. И радостно, и грустно было смотреть на этот одинокий огонек и знать, что его... — Вилли помедлил, подбирая слово, — ...его отец один бодрствует во всем этом мраке.

— Вилли, — окликнул старик, по должности уборщик, но воле случая его отец, — а тебе чего хочется?

Вилли встрепенулся.

— А?

— Ты предпочитаешь книжку в белой шляпе или в черной?

— Шляпе?

— Вот Джим, — старик медленно двинулся вдоль полка, слегка касаясь пальцами книжных корешков, — Джим носит черные десятигаллоновые шляпы и книжки предпочитает им под стать. Поначалу Морнарти, верно, Джим? Теперь он готов хоть сейчас двинуться от Фу Мангу к Макиавелли — средних размеров темная фетровая шляпа, а оттуда — к доктору Фаусту, это уже большущий черный «стетсон». А на твою долю остаются приятели в белых шляпах... Вот Ганди, там дальше — святой Томас, следующий... ну, к примеру, Будда.

— Меня влоане устроит «Таинственный остров», — улыбнулся Вилли.

— Я не понял, при чем здесь шляпы? — нахмурился Джим.

— Однажды, очень давно, — неосторожно проговорил отец, протягивая Вилли Жюль Верна, — я, как и каждый человек, решил для себя, какой цвет буду носить.

— И какой же? — недоверчиво спросил Джим.

Старый человек, казалось, удивился и поспешил рассмеяться.

— Ну и вопросы ты задаешь!.. Ладно, Вилли, скажи маме, что я скоро буду. А теперь двигайте-ка отсюда оба. Мисс Уотрисс! — тихо окликнул он библиотечаршу. — Будьте настороже. К вам подбираются динозавры и таинственные острова.

Дверь захлопнулась. На небесных полях высypали ясные звезды.

— Дьявольщина! — Джим втянул носом воздух с севера, потом с юга. — А где буря? Этот проклятый торгаш обещал... Я же должен посмотреть, как молния ударит в мою крышу!

Вилли подождал, пока порыв ветра взъерошит, а потом пригладит волосы.

— Она будет здесь. К утру, — словно нехотя произнес он.

— Кто сказал?

— А вот, черничник у меня под руками. Он говорит.

— Ха! Здорово!

Ветер сорвал и унес Джима прочь. Таким же воздушным змеем Вилли кинулся вдогонку.

3

Чарльз Хэллоуэй провожал ребят глазами, с трудом сдерживая желание составить им компанию. Он знал эти колдовские штучки ветра, знал, как и где подхватывает он две легкие фигурки, как несет их мимо всяких таинственных мест, таинственных только сегодня, только в этот миг и никогда больше.

Грусть шевельнула крылом в груди старого человека.

«Если бежать вместе в такой вечер, то печаль не ранит, — подумал он. — Смотри-ка! Вот Вилли. Он бежит ради самого бега. А вот Джим. Он бежит потому, что впереди есть цель. И все-таки, как ни странно, они бегут вместе. В чем же дело? — продолжал он раздумывать, проходя по библиотеке и гася одну за другой зеленые мягкие звезды. — Неужели только в линиях наших ладоней? Почему одни — такие, а другие... Один всю жизнь на поверхности, весь — стрекотание кузнечика, весь — подрагивание усиков, сплошной узел нервов, вечно запутывающийся и запутывающий всех... Губы не знают покоя, глаза с колыбели

сверкают и бросаются из стороны в сторону. Ненасытные глаза, и питаются тьмой... Это — Джим, с головой, похожей на ежевичный куст, и с неусмным задором разрастаться вширь, как у сорняка.

А вот — Вилли. Словно последний персик на самой высокой ветке. Он из тех, на которых взглянешь — заплачешь. Да, вроде бы у них все в порядке, и не то чтобы они отказались от случая передернуть в бридке или прихватить плохо лежащую точилку, нет, дело не в этом. Просто какими их увидел впервые, такими они и остаются всю жизнь: сплошные толчки, синяки, царапины да шишки, и вечное недоумение: почему, ну почему же это случилось? Как это могло случиться с ними?

Джим, он знает. Он караулит начало, примечает конец, и если уж зализывает царапину, то никогда не спросит — почему? Он знает. И всегда знал. Это еще до него кто-то знал, кто-то, бывший давным-давно, из тех, у кого волки ходили в любимчиках, а львы — в ночных приятелях. Это же не от головы. Это само его тело знает. И пока Вилли перевязывает очередную рану, Джим уже движется по рингу, отскакивает, уворачивается от неминуемого удара. Вон они уже где! Джим притормаживает, поджидает Вилли. Вилли надал, чтобы догнать Джима. Бац! бац! Джим выбил два окна в заброшенном доме. Бац! И Вилли выбил окно — как же, ведь Джим рядом, смотрит. Боже, вот она, дружба! Каждый из них — гончар, каждый что-то лепит из другого.

Джим, Вилли, — подумал он. — Странники. Идите дальше. Когда-нибудь я пойму».

Дверь библиотеки выпустила его с легким вздохом и слегка хлопнула на прощанье.

Спустя пять минут он уже заворачивал в пивную на углу, пропустить свой первый — и последний — стаканчик, и поспел как раз к концу чьей-то фразы:

— ...Когда открыли алкоголь, итальянцы решили, что это — великая вещь, прямо настоящий эликсир жизни. А? Слыхали вы про такое?

— Нет, — равнодушно откликнулся бармен.

— Точно! — с воодушевлением продолжал посетитель. — Очищенный алкоголь! Век девятый-десятый. Выглядело оно

как вода. Но обжигало. Не только во рту или там в желудке, нет, оно и в самом деле горит. Так вот, итальянцы решили, что им удалось смешать огонь с водой. Огненная вода! Эликсир жизни! Ей-богу! А может, не так уж они и ошибались, принимая его за лекарство от всех болезней... за такую чудотворную штуку. Ну что, выпьем?

— Да я-то не хочу,— улыбнулся Хэллоуэй,— а вот кто-то внутри меня вроде просит.

— Кто?!

«Наверное, мальчишка, которым я был когда-то,— подумал Хэллоуэй,— тот самый, который пролетает осенними вечерними улицами, как листья под ветром».

Но сказать так он, конечно, не смог бы и поэтому просто выпил, закрыл глаза и прислушался: не шевельнется ли давешнее крыло, не мелькнет ли на куче давно сложенных для костра поленьев хоть малая искорка? Нет, не мелькнула.

4

Вилли остановился. Вилли поглядел на город, погруженный в пятничный вечер. При первом из девяти ударов часов на доме мэрии всюду еще сияли огни, в магазинах кипела жизнь. Но при последнем ударе, отозвавшемся в десятке больных зубов горожан, картина изменилась. Парикмахеры поспешно припудривали клиентов и выпроваживали их за дверь, на ходу сдерживая простыни; смолк сифон аптекаря, весь день шипевший, словно змеиное гнездо; прекратилось комариное жужжание неоновых ламп, и обширный аквариум дешевого универмага, где миллионы всяких ерундовых штучек безнадёжно ожидали своего избавителя, внезапно погрузился в темноту.

Заскользили тени, захлопали двери, ключи затрещали костями в замках, люди разбегались, и разбегались мыши, торопливо догрызая обрывок газеты или крошечку галеты.

Раз! И они исчезли.

— Старик! — завопил Вилли. — Народ бежит, словно от урагана!

— Так оно и есть! — крикнул Джим. — Он за нами!

Они громко протопали мимо дюжины темных магазинчиков, мимо дюжины полутемных, мимо дюжины темнеющих.

Город словно успел вымереть, пока они огибали «Объединенные сахарные склады». И тут, за углом, ребята налетели на идущего навстречу деревянного индейца из табачной лавки.

— Эй! — Мистер Татли, хозяин, выглянул из-за плеча чероки. — Я вас не напугал, ребята?

— Не-а! — с запишкой, сквозь легкий озноб, ответил Вилли.

Ему вдруг показалось, что из прерий на город катится волпа страшно холодного дождя. Молния прорезала небо в отдалении, и Вилли испытал неудержимое желание оказаться дома, под шестнадцатью одеялами в собственной постели.

— Мистер Татли, — тихонько окликнул он.

Теперь уже два деревянных индейца застыли в плотной тьме табачной лавки. Мистер Татли окаменел, забыв закрыть рот.

— Мистер Татли!

Он не слышал. Нет, он слышал что-то вдальше, что-то долетевшее с порывом ветра, но не мог сказать, что именно. Вилли и Джим отпрыгнули. Он не видел их. Он не шевелился. Он только слушал. Ребята оставили его и убежали.

В четвертом от библиотеки квартале они наткнулись еще на одну одеревеневшую фигуру.

Мистер Крозетти застыл перед своей парикмахерской с ключом в дрожащих пальцах, не замечая остановившихся ребят.

Что заставило их насторожиться? Слезинка. Слезинка катилась по левой щеке парикмахера. Он всхлипнул.

— Разве вы не чувствуете?

Джим и Вилли дружно принялись.

— Лакрица!

— Да нет. Леденцы на палочке!

— Сколько лет я не слышал этого запаха, — вздохнул мистер Крозетти.

— Им же все тут пропахло! — фыркнул Джим.

— А кто это замечал? Когда? Сейчас вот только мой нос велел мне: дыши! И я расплакался. Почему? Да потому, что вспомнил, как давным-давно мальчишки облизывали такие штуки. Почему я за все эти тридцать лет ни разу не принялся?

— Вы просто заняты были, мистер Крозетти, — подсказал Вилли, — времени у нас не было.

— Время, время... — проворчал мистер Крозетти, вытирая глаза. — Откуда он взялся, этот запах? Во всем городе никто не

продает леденцов на палочке. Они теперь бывают только в цирках.

— О! — сказал Вилли. — Верно.

— Ну, Крозетти нашлакался.

Парикмахер высморкался и повернулся с ключом к двери. А Вилли стоял, и взгляд его убегал вместе с красно-белой спиралью, бесконечно вьющейся на шесте возле парикмахерской. Сколько раз он уже пытался размотать эту ленту, тщетно ловя ее начало, тщетно подстергая конец.

Мистер Крозетти собрался выключать свой вращающийся шест.

— Не надо, — попросил Вилли. — Не выключайте.

Мистер Крозетти взглянул на шест так, словно впервые открыл для себя его чудодейственные свойства. Глаза его мягко засветились, и он тихонько кивнул.

— Откуда берется и где исчезает, а? Никому не дано знать, ни мне, ни тебе, ни ему. О, тут тайна, ей-богу. Ладно. Пусть себе крутится.

«Как хорошо знать», — думал Вилли, — что он будет крутиться до самого утра, что, пока мы будем спать, лента все так же нескончаемо будет возникать из ничего и исчезать в никуда».

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Они оставили парикмахера позади вместе с ветром, несущим запах лакрицы и леденцов на палочке.

5

Чарльз Хэллоуэй уже протянул руку к вращающейся двери пивной, но остановил движение — редкие седые волоски на тыльной стороне ладони, как антенны, уловили нечто в октябрьской ночи. Может быть, полыхающие где-то пожары дохнули над прерией, может, новая ледниковая эра нависла над землей и уже погребла в мертвенно-холодном чреве миллион человек — лучше не выходить. Вдруг само Время дало трещину, и через нее уже сыплется пыль мрака, покрывая улицы серым пеплом. А может, все дело в прохожем, идущем той стороной улицы со свертком под мышкой и корзиной с торчащей из нее кистью.

Он что-то насвистывает.. Мелодия.. она из другого времени года, нет, вовсе не печальная, просто она не годилась в октябрь, но Чарльз Хэллоуэй всегда слушал ее с удовольствием.

Я слышал рождественские колокола,
Они играли древние гимны.
Они вольно и сильно
Повторяли слова о том,
Что мир на земле и благоволение во человецех.

Чарльз Хэллоуэй задрожал. Внезапно нахлынуло ощущение жутковатого восторга, захотелось смеяться и плакать одновременно. Так бывало, когда в канун Рождества он смотрел на безгрешные лица детей на заснеженных улицах среди усталых прохожих. Порок испятнал лица взрослых, грех оставил на них следы, жизнь разбила их, словно окна заброшенного дома, разбила, отбежала, спряталась, вернулась и вновь бросила камешь...

Бог наш не смерть, и Он не спит!
Грешники падут, восторжествуют праведники
С миром на земле и благоволением во человецех!

Прохожий перестал насвистывать. Теперь он был занят чем-то возле телеграфного столба на перекрестке, потом отошел и вдруг нырнул в открытую дверь давно пустовавшего магазинчика.

Чарльз Хэллоуэй вышел и зачем-то направился к той же двери. А человек со свертком, кистью и корзиной уже снова появился на улице. Глаза его, пронзительные и неприятные, взглянули на Хэллоуэя в упор. Человек протянул руку и медленно раскрыл ладонь. Хэллоуэй вздрогнул. Ладонь незнакомца покрывала густая черная шерсть. Это походило на... Он не успел сообразить на что. Ладонь сжалась и исчезла. Человек повернул за угол. Ошеломленный Хэллоуэй смахнул со лба вдруг выступившую испарину и с трудом сделал несколько шагов к дверям пустого магазина.

Там, в небольшом зале, под лучом единственной яркой лампы, стоял на козлах, словно на похоронах зимы, ледяной брус длиной шесть футов. Тусклый зеленовато-голубой свет струился из его глубин, и весь он был как огромная холодная жемчужи-

на. Сбоку, у самого окна, висел на прите небольшой рекламный лист. Выведенное от руки каллиграфическим почерком, там значилось:

КУГЕР И ДАРК*
ШОУ И ПАНДЕМОНИУМ ТЕНЕЙ.
ФАНТОЧНИИ. ЦИРК МАРИОНЕТОК.
ВАШ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ!
ПРИБЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННО!
ЗДЕСЬ ПЕРЕД ВАМИ ОДИН ИЗ НАШИХ
АТТРАКЦИОНОВ:
САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

Взгляд Хэллоуэя метнулся от надписи к ледяной глыбе. Она ничуть не изменилась с детства. Он помнил ее, точно такую же, и бродячих фокусников, когда Холодильная компания выставила на всеобщее обозрение кусок зимы с замороженными девушками. Вокруг толпились зрители, на экране мелькали лица комедийных актеров, аттракционы сменяли друг друга, пока наконец вспотевший от натуги волшебник не вызволял заиндевевших бедняжек из ледяного плена и они, едва улыбаясь посипевшими губами, не исчезали за занавесом.

«Самая прекрасная женщина в мире!»

Но там же нет ничего! Просто замерзшая речная вода! Нет, не совсем.

Хэллоуэй почувствовал, как в груди тяжело трепыхнулось сердце. Может быть, там, внутри огромной зимней жемчужины, есть пустое место, такая продолговатая воднистая выемка, жаждущая жаркую летнюю плоть, может быть, она имеет форму женского тела?

Да, похоже.

Лед. И прекрасная, с таинственными изгибами пустота внутри. Томительное ничто. Изысканная плавность незримой русалки, позволившей поймать себя в ледяной футляр.

Лед был холоден. Пустота внутри была теплой. Хэллоуэй хотел уйти, но еще долго стоял посреди странной ночи, в пустом магазине, перед холодным арктическим саркофагом, сверкавшим словно огромная Звезда Индии во мраке...

* Dark (англ.) — тьма.

На углу Хиккори и Главной улицы Джим Найтингед притормозил.

— Вилли, а? — В голосе его неожиданно зазвучала пекшая просительная нотка.

— Нет! — Вилли даже остановился, пораженный собственной жестокостью.

— Ну тут же рядышком, а? Пятый дом. И всего на минуточку, Вилли, — упрасивал Джим.

— На минуточку?

Вилли в сомнении оглядел улицу. Улицу Театра.

Все лето она была улица как улица. Здесь они лазили за персиками, за сливами и абрикосами, когда приходило время. Но вот в конце августа, в пору кислеших яблок, случилось нечто, разом изменившее все: и дома, и вкус персиков, и даже сам воздух под болтушками-деревьями.

— Вилли! Оно же ждет! Может быть, уже началось, а? — шептал Джим.

Вилли был непреклонен. Джим просительно тронул его за плечо. Они стояли на улице, переставшей быть яблочной, сливовой, персиковой. С некоторых пор она превратилась в улицу Единственного Дома, Дома с Окном Сбоку. Окно это — сцена, по словам Джима, а всегдашний занавес — сумрак за окном — иногда (может, и сегодня) бывал поднят. И там, в комнате, на чудных подмостках — актеры. Они говорят загадочные, невероятные вещи, смеются непонятно чему, вздыхают, их бормотание и перешептывание казалось Вилли лишним, он не понимал их.

— Ну в самый-самый распоследний разочек, Вилли?! — не унимался Джим.

— Да если бы в последний! — в сердцах откликнулся Вилли.

Щеки Джима зарделись. В глазах мелькнул зеленый огонек. А Вилли словно наяву увидел ту ночь. Он только что закончил с яблоками на дереве, как вдруг голос Джима шепотом окликнул его с соседней ветки: «Смотри! Вон там!» Вцепившись в ствол дерева, странно возбужденный, Вилли смотрел и не мог отвести взгляда от сцены. Перед ним был Театр, там незнакомые актеры сдергивали через голову рубашки, роняли одежду на ко-

вер, нагие, похожие на дрожащих лошадей, тянулись друг к другу, касались...

«Что они творят? — лихорадочно думал Вилли. — Почему смеются? Что с ними стряслось? Разве это хорошо?»

О, как ему хотелось, чтобы свет на Сцене погас! Но Сцена там, за окном, была освещена ярко-ярко, и Вилли, оцепеневший на своем суку, глаз не мог оторвать. До него долетал смех, он вслушивался в смутные звуки, пока в изнеможении не скользнул по стволу вниз, почти упал, потом посмотрел вверх, на Джима — тот все еще висел на своей ветке: лицо словно опалило огнем, рот приоткрыт...

«Джим, спускайся», — позвал Вилли.

Не слышит.

«Джим!»

Джим наконец посмотрел вниз, странно посмотрел: как будто идиот прохожий предложил ему перестать жить и спуститься на землю. И тогда Вилли убежал, убежал один, просто погибая от половодья мыслей, не думая ни о чем, не зная, что и подумать.

— Вилли, ну пожалуйста!

Даже глаза Джима просили. Руки прижимали к груди книжки.

— Мы в библиотеке были? Тебе мало?

Джим упрямо помотал головой.

— Тогда захвати мои, ладно?

Он отдал Вилли книги, повернулся и легко побежал под шелестящими, мерцающими деревьями. Обернулся. Кричит.

— Вилли! Знаешь, ты кто? Старый, глупый, дрянной епископальный баптист!

Пропал.

Вилли изо всех сил притиснул книги к груди. Ладони у него повлажнели.

«Не оглядываясь! — говорил он себе, и сам же отвечал: — Не буду, не буду!» Не оглядываясь, он пошел к дому. Быстро.

7

На поддорожке за спиной Вилли послышалось пыхтение.

— Что, Театр закрыт? — бросил Вилли не оборачиваясь.

Джим поравнялся с ним и долго шел рядом молча.

— Там нет никого.

— Отлично!

Джим сплюнул.

— Ты, проклятый баптистский проповедник... — начал было он.

Из-за угла выкатилось навстречу перекасти-поле — мятый бумажный шар подскочил и лег у ног Джима. Вилли со смехом пнул мячик — пусть летит — и замолк.

Бумага развернулась, и по ветру плавно скользнула пестрая афишка. Ребятам вдруг стало холодно.

— Эй, погоди-ка... — медленно проговорил Джим.

И вдруг они сорвались с места и помчались за ней.

— Да осторожней ты! Не порви!

Бумага у них в руках вздрагивала и, казалось, даже погромычивала, как маленький барабанчик.

ПРИХОДИТЕ 24 ОКТЯБРЯ!

Губы Джима двигались, не сразу произнося слова, написанные затейливым шрифтом.

КУГЕР И ДАРК

КАРНАВАЛ!!!

— Эй, двадцать четвертое... Это ведь завтра!

— Не может такого быть! — убежденно сказал Вилли. — После Дня труда карнавалов не бывает!

— Да плевать на это! Посмотри! «Тысяча и одно чудо!» Смотри! «Месфистофель, пьющий лаву! Мистер Электрик! Монстр-Монгольфьер!» Э-э?..

— Воздушный шар, — пояснил Вилли. — Монгольфьер — это воздушный шар.

— Мадемуазель Таро! — читал Джим. — Висящий Человек! Дьявольская гильотина! Человек-в-Картинке! Ого!

— Да подумаешь! Просто парень в татуировке!

— Нет. — Джим подышал на афишку и махнул по ней рукавом. — Он раз-ри-со-ван, специально разрисован. Погляди, он весь в чудовищах. Целый зверинец! — Глаза Джима так и шарили по афише. — Смотри, смотри, Скелет! Вот здорово, Вилли!

Не какой-нибудь там Тоший Человек, а Скелет! Во! Пыльная Ведьма! Что бы это могло быть, а, Вилли?

— Просто грязная старая цыганка...

— Нет.— Джим прищурился, будя воображение.— Да... вот так... Цыганка. Она родилась в Пыли, в Пыли выросла и однажды унесется обратно в Пыль! А вот здесь еще есть: «Египетский Зеркальный лабиринт! Вы увидите себя десять тысяч раз! Храм искушений святого Антония!»

— Самая прекрасная...— начал читать Вилли.

— Женщина в мире,— закончил Джим.

Они взглянули друг на друга.

— Как это может самая прекрасная женщина в мире оказаться в карнавальном балагане, а, Вилли?

— Ты когда-нибудь видел карнавальных женщин, Джим?

— А как же! Медведицы-гризли! А чего же тогда здесь пишут?

— Да заткнись ты!

— Ну чего ты злишься, Вилли?

— Да ничего! Просто... Ай! Держи ее!

Ветер рванул лист у них из рук. Каким-то нелепым прыжком афиша взмыла вверх и исчезла за деревьями.

— Все равно это неправда,— не сдавался Вилли.— Не бывает карнавалов так поздно. Гаупость это! Кто туда пойдет?

— Я,— тихо выдохнул Джим.

«И я,— подумал Вилли.— Увидеть зловещий блеск гильотины, египетские зеркала, человека-дьявола с кожей, как сера, прихлебывающего лаву...»

— Эта музыка...— пробормотал Джим.— Каалиона*. Наверное, они приедут сегодня!

— Карнавалы всегда приезжают на рассвете...

— Ага, а лакрица, а леденцы? Помнишь запах? Ведь близко совсем.

Вилли подумал о запахах и звуках, принесенных ветровой рекой, о мистере Татли, стоящем в объёме с другом-индей-

цем и слушающем ночь, о мистере Крозетти со слезинкой на лщке и о его шесте, вокруг которого все вьется красный язык: ни ниоткуда в никуда. Вилли подумал обо всем этом и неожиданно стукнул зубами.

— Пошли-ка по домам.

— А мы и так дома! — удивленно воскликнул Джим.

Действительно, они и не заметили, как поднялись на холм, и теперь оставалось только разойтись каждому к своей двери.

Уже на крыльце Джим перегнулся через перила и тихонько окликнул:

— Вилли, ты — ничего?

— В порядке.

— Мы теперь месяц туаа не пойдем, ну, к этому... к Театру. Год не пойдем! Клянусь!

— Ладно, Джим. Не пойдем.

Они так и стояли, положив руки на дверные ручки. Вилли взглянул на соседскую крышу. Там под холодными звездами поблескивал чудной громоотвод. Гроза то ли приближалась, то ли обходила стороной. Неважно. Вилли все равно был доволен, что у Джима есть теперь такая могучая защита.

— Пока!

— Пока!

Одновременно хлопнули две двери.

8

Однако дверь пришлось открывать снова и уж на этот раз тихонько прикрывать за собой.

— Так-то лучше,— прозвучал мамин голос.

Через дверной проем Вилли смотрел на свою театральную сцену, единственную, которую любил всегда, знакомую до мельчайших деталей. Вот сидит отец (он уже дома! ну конечно же, ведь они с Джимом дали приличного крюка), держит книгу, но открыта она на пустой странице. В кресле у огня мама. Вяжет и бормочет, как чайник.

Вилли одновременно тянуло и к ним, и от них. То они далеко, то близко. Вот они совсем крошечные в огромной комнате, в громадном городе, посреди исполинского мира, маленькие,

* Каалиона — музыкальный инструмент, сходный с органом. Звук каалиопы слышен на расстоянии до 10 миль, поэтому каалиона традиционно используется для привлечения публики на ярмарках и в бродячих цирках. Обычно помещается на колеса.

совсем беззащитные перед вторжением ночи в этот открытый уютный театрик.

«И я такой же,— подумалось Вилли,— и я».

Любовь хлынула в душу мальчика. Такой он не чувствовал никогда, пока родители оставались только большими.

Мамины пальцы хлопотали, губы шевелились, пересчитывая петли,— именно так выглядит счастливая женщина. Вилли вспомнился парник, где среди зимы цвела кремовая тепличная роза. Вот и мама... вполне довольная в своей комнатке, счастливая по-своему. Счастливая? Но почему? Как? Вот рядом с ней сидит уборщик из библиотеки, чужак в этой комнате. Да, он снял форменную одежду, но лицо-то осталось, лицо человека, который бывает счастлив только по ночам, там, под мраморными сводами, одинокий, шаркая метлой по пыльным коридорам.

Вилли смотрел, не в силах постичь, почему счастлива женщина у камина, почему печален мужчина рядом с ней.

Отцу смотрит в огонь. Рука расслабленно свисает с кресла. На ладони — смятый бумажный шарик. Вилли заморгал. Он вспомнил выкатившийся из темноты бумажный мяч. Ему не видно было, что и как написано на листе, но цвет! Цвет был тот же самый!

— Эй!

Вилли шагнула в гостиную.

Мама тут же улыбнулась — словно еще один огонь зажегся в комнате. Отец выглядел немного растерянным, словно его застали врасплох за не совсем достойным занятием.

Вилли так и подмывало спросить: «Ну и что вы думаете об этой афишке?» Но, поглядев, как молча и сосредоточенно отец запихивает бумажный шарик между подлокотником и сиденьем кресла, Вилли сдержал себя. Мама листала библиотечные книжки.

— О! Они замечательные, Вилли!

Кутер и Дарк так и норовили соскочить с языка, и стоило немалого труда как можно небрежнее произнести:

— Ветер так и дул нас домой. По улицам бумажки летают.

Отец никак не отреагировал на его слова.

— Пап, что новенького?

Рука отца так и осталась лежать на подлокотнике. Он бросил на сына счастливый встревоженный взгляд. Глаза казались уставшими.

Для все то же. Каменный лев разнес библиотечное крыльцо. Теперь рыщет по городу, за христианами охотится. Ан ни одного и нету. Нашел тут было одну в заточении, но уж больно она готовит хоролло.

— Ну что ты мелешь,— отмахнулась мама.

Поднимаясь к себе, Вилли услышал то, что и ожидал. Огонь в камине удовлетворенно вздохнул, блики метнулись по стене. И не оборачиваясь, Вилли буквально видел, как отец стоит вплотную к камину и наблюдает за превращающимися в пепел Кутером, Дарком, карнавалом, ведьмами, чудесами... Вернуться бы, встать рядом с отцом, протянуть к огню руки, согреться... Вместо этого он продолжал медленными шагами подниматься по ступеням, а потом тихо прикрыл за собой дверь комнаты.

Иногда ночами, уже в постели, Вилли прикидывал ухом к стене. Бывало, там говорили о правильных вещах, и он слушал; бывало, речь шла о чем-то неприятном — и он отворачивался. Когда голоса тихо скорбели о времени, о том, как быстро идут годы, о городе и мире, о неисповедимых путях Господних на земле или в крайнем случае о нем самом — тогда на сердце становилось тепло и грустно, Вилли лежал, уютно пристроившись, и слушал отца — чаще говорил он. Вряд ли они смогли бы говорить с отцом с глазу на глаз, а так — так другое дело. Речь отца, с подъемами и спадами, перевалами и паузами, вызвала в воображении большую белую птицу, неторопливо взмахивающую крыльями. Хотелось слушать и слушать, а перед глазами всплывали яркие картины.

Была в его голосе одна странность. Он говорил, и говорил истинно. О чем бы ни шла речь, будь то город или деревня, в словах звучала истина — какой же мальчишка не почувствует ее чары! Часто Вилли так и засыпал под глуховатые звуки напевного голоса за стеной; просто ощущения, которые еще секунду назад давали знать, что ты — это ты, вдруг останавливались, как останавливаются часы. Отцовский голос был ночной школой,

он звучал как раз тогда, когда сознание лучше всего готово понимать, и тема была самая важная — жизнь.

Так начиналась и эта ночь. Вилли закрыла глаза и медленно приблизил ухо к прохладной стене. Поначалу голос отца рокотал, словно большой старый барабан, где-то внизу. А вот звонкий ручеек мамино голоса — сопрано в баптистском хоре, — не поет, а выпевает ответные реплики. Вилли почти видел, как отец, вольготно устроившись в кресле, обращается к потолку.

— Вилли... из-за него я чувствую себя таким старым... другой бы запросто играл в бейсбол с собственным сыном...

— Не кори себя... не за что, — нежный женский голос. — Ты и так хорош...

— ...на безрыбье... Черт! Мне ведь было сорок, когда он родился, да еще — ты! Люди спрашивают: «А это ваша дочь?» Черт! Стоит только прилечь, и от мыслей не знаешь, куда деваться!

Вилли услышал скрип кресла. Чиркнула спичка. Отец зажег трубку. Ветер бился за окнами.

— ...тот человек с афишей...

— Карнавал? Так поздно?

Вилли хотел отвернуться и не мог.

— ...самая прекрасная женщина в мире, — пробормотал отец.

Мать тихонько рассмеялась.

— Ты же знаешь, это — не обо мне.

«Как! — подумал Вилли. — Это же из афиши! Почему отец не скажет? Потому, — ответил он сам себе. — Что-то начинается! Что-то уже происходит».

Перед глазами Вилли мелькнул тот бумажный лист — вот он резвится между деревьями. «Самая прекрасная женщина...» В темноте щеки его вспыхнули, словно внезапный внутренний жар опалил их. Джим, улица Театра... обнаженные фигуры на сцене... безумные, как в китайской опере, проклятые древним проклятием... евреи... джиу-джитсу... индийские гололомки... и отцовский голос, грустный, печальный, печальнее всех... сонном печальный, чтобы можно было понять. Почему отец не сказал об афише? Почему сюжет ее тайком?

Вилли выглянул в окно. Вон там! Белый лист танцевал в воздухе, словно большой клоун одуванчикового пуха.

Пу не бывает карнавалов так поздно! — прошептал он. — Не может быть!

Через минуту, с головой накрывшись одеялом, при свете фонаря он открыл книгу. С первой же страницы на него ощерился доисторический ящер, миллион лет назад долбивший змеиной головой ночное небо.

«Дьявольщина! — подумал он. — Это я Джимову книжку прихватил, а он — мою! А что? Вроде симпатичная зверюга...»

Уже улета в сон. Вилли успел услышать, как негромко хлопнула входная дверь. Отец ушел. Ушел к своим метлам, к своим книгам, ушел в город... просто ушел прочь. А мама спала. Она ничего не слышала.

9

Во всем мире нет другого имени, чтобы так легко слетало с языка. «Джим Найтшед — это я».

Джим вытянулся в постели и стал как стебель тростника. Кости легко держат плоть... мышцам удобно на костях... Библиотечные книжки, так и не открытые, сгрудились возле ослабленной руки.

Он ждал. Глаза полны сумрака, а под глазами — тень. Он помнил, откуда она. Мать говорила: в три года он едва не умер, вот тогда и появилась эта тень. На подушке — волосы цвета спелого каштана, жилаки на висках и на запястьях гибких рук — темпо-синие. Плоть его ваяла темнота, темнота медленно брала свое. Джим Найтшед — подросток, который все меньше говорит и все реже смеется.

Джим всегда смотрел только на мир перед собой, видел только его и не отводил глаз ни на миг. А если за всю жизнь ни разу не взглянуть в сторону, то к тринадцати годам проживешь все двадцать.

Вилли Хэллоуэй — другой. Следы детства видны пока отчетливо. Взгляд вечно скользит поверх, уходит в сторону, проникает насквозь, и в результате к своим тринадцати годам он не смотрелся едва ли на шесть.

Джим досконально изучил каждый квадратный дюйм своей тени, он запросто мог бы вырезать ее из черной бумаги и поднять на флагштоке, как свое знамя.

Видели удивлялся, изредка замечая скользящее рядом темное пятно.

— Джим, ты не спишь?

— Нет, мама.

Дверь открылась и снова закрылась бесшумно. Кровать слегка прогнулась от ее невеликого веса.

— Ох, Джим, какие у тебя руки холодные. Прямо ледяные. У тебя слишком большое окно в комнате. Это не очень хорошо для здоровья.

— Точно.

— Ты еще не понимаешь. Вот будет у тебя трое детей, а потом из них один останется...

— Да я их вообще заводить не собираюсь! — фыркнул Джим.

— Все так говорят.

— Да нет. Я точно знаю. Я все знаю.

— Что ты... знаешь? — Мамин голос слегка дрогнул.

— С какой стати новых людей плодить? Они ведь все равно умрут. — Голос его звучал тихо и ровно. — Вот и все.

— Ну, это еще не все. Ты-то есть, Джим. А не будь тебя, и меня давно бы не было.

— Мама... — и долгая пауза. — Ты помнишь папу? Я похож на него?

— Джим, в день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда.

— Кто?

— Ох, да лежи ты спокойно. Хватит уже, набегался. Просто лежи себе и спи. Только... обещай мне, Джим. Когда ты уйдешь, а потом вернешься, пусть у тебя будет куча детей. Пусть посят-ся вокруг. Позволь мне когда-нибудь побаловать их.

— Да не буду я заводить таких вещей, от которых потом одни неприятности.

— Каменный ты, что ли? Придет время, сам захочешь «неприятностей».

— Нет, не захочу.

Он посмотрел на мать. Да, ее ударило давным-давно. С той поры и навсегда остались синяки под глазами.

В темноте глуховато и спокойно прозвучал ее голос:

— Ты будешь жить, Джим. Жить и получать удары. Только скажи мне, когда придет срок. Чтобы мы попрощались спокой-

но. А то я не смогу отпустить тебя. Что хорошего — вцепиться в человека и не отпускать?

Она встала и закрыла окно.

Почему это у мальчишек всегда окна нараспашку?

Кровь горячая.

Горячая... — Она стояла возле двери. — Вот откуда все наши беды. И не спрашивай почему.

Дверь закрылась.

Джим вскочил, открыл окно и выглянул. Ночь была ясная.

«Буря», — подумал он, — ты там?»

Да. Чувствуется... там, на западе, этаким «парень что надо» рвется напролом.

Тень от громоотвода замерла на дорожке под окнами.

Джим набрал полную грудь холодного воздуха и выдохнул маленькую теплую речку.

«А может быть», — подумалось ему, — залезть на крышу и отогреть этот дурацкий громоотвод? На фиг он нужен? Выкинуть его и посмотреть, что будет? Вот именно, посмотреть, что получится».

10

Сразу после полуночи.

Шаркающие шаги. Пустынная улица, и на ней давешний торговец. Большущий кожаный саквояж, почти пустой, легко болтается в крепкой руке. Лицо спокойное. Он заворачивает за угол и останавливается.

Мягкие белые мотыльки бьются о витринное стекло, заглядывают внутрь. А там, за окном, в пустоте зала стоит на козлах погребальная лада из звездного стекла — глыба льда Аляскинской Снежной Компании, бриллиант для перстня великана. Внутри... да, там внутри — самая прекрасная женщина в мире.

Торговцу больше не улыбался.

Она предстала перед ним вечно юной; она упала в сонную холодность льда и спит уже тысячи лет. Прекрасная, как нынешнее утро, свежая, как завтрашние цветы, милая, как любая девушка, чей профиль совершенной камеей врезается в память любого мужчины.

Торговец громомотодами вздохнул. Когда-то, давным-давно, он путешествовал по Италии и встречал таких женщин. Только там черты их хранил не лед, а мрамор. Однажды он стоял в Лувре перед полотном, а с картины, омытая летними красками, едва заметно улыбалась ему такая женщина. А как-то раз, пробираясь за кулисами театра, он бросил взгляд на сцену и примерз к полу. В темноте пылало лицо женщины, какой он не встречал больше никогда. Чуть шевелились губы, птичьими крыльями взмахивали ресницы, снежно-смертно-белым светом мерцали щеки.

Из прошлых лет возникали образы, накатывали, текли и обретали новое воплощение здесь, среди льда.

Какого цвета се волосы? Они примут любой оттенок, только освободи их ото льда.

Какого она роста? Стоило двинуться перед витриной магазина — и ледяная призма станет увеличительным или уменьшительным стеклом. Впрочем, какая разница? Торговец громомотодами вздрогнул. Он вдруг понял, что знает. Если она сейчас откроет глаза, он знает, какими они будут.

Если войти в этот пустынный ночной магазин... если протянуть руку... ведь рука теплая, лед растает.

Он прикрыл глаза. По губам скользнуло мимолетное летнее тепло. Он едва коснулся двери, и она открылась. Холодный северный воздух. Он шагнул внутрь.

Дверь медленно, бесшумно закрылась за ним. Белые снежинки-мотыльки колотились в окно.

11

Полночь. Потом городские часы пробьют час, два, три, и перед рассветом звон их стряхнет пыль со старых игрушек на одних чердаках, сбросит блестящие амальгамы со старинных зеркал на других, расшевелит сны во всех постелях, где спят дети.

Вилли услышал.

Издали, из прерий, донесся звук: будто пыхтенье паровоза, а за ним медленный драконий лет поезд.

Вилли сел на постели.

В доме напротив, как в зеркале, на своей постели сел Джим.

Мигко, печально где-то за миллион миль заиграла каллиопа.

Вилли рывком высунулся из окна. В соседнем окне появилась голова Джима. Из их окон, как и положено у мальчишек, можно было увидеть все: и библиотеку, и муниципалитет, и склад, и фермы, и даже саму прерию. Там, на краю мира, поблескивали, уходя за горизонт, волосинки рельс и передивалась лимонно-желтым и вишнево-красным звезда семафора. Там копилась земля, и из-за края гонцом грядущей тучи вставало прыпко дыма. Оттуда, звено за звеном, вытягивался кольчатый поезд. Все как надо: сначала паровоз, потом угольный тендер, а за ним — вагоны, вагоны... сонные, видящие сны вагоны, но впереди — сыплющий искрами, перемешивающий ночь паровоз. Адские сполохи заметались по ошеломленным холмам. Он был очень далеко, и все же ребятам виделся черный человек с огромными руками, ввергающий в открытые топки метеорный поток черного угля.

Головы в окнах мгновенно стигнули и появились опять с биноклями у глаз.

— Паровоз!

— Гражданская война! Да таких труб уже сто лет нету!

— И остальной поезд... он весь такой старый!

— Флаги, клетки! Это карнавал!

Они прислушались. Сначала Вилли показалось, что это пошвыстывает воздух в горле, но нет, это был поезд, это там плакала и вздыхала каллиопа.

— Похоже на церковную музыку...

— Черт! С чего бы на карнавале играть, как в церкви?

— Не ругайся! — прошептал Вилли.

— Черт! Во мне весь день копилось! — не унимался Джим. — А все так спят, черт бы их побрал!

Волна дальней музыки подкатывала к окнам. У Вилли мурашки пошли по коже.

— Нет, послушай: точно церковная музыка. Только немножко не такая. Брр! Замерз я. Пойдем глянем, как они приедут.

— Это в четвертом-то часу?

— А чего? В четвертом часу!

Голова Джима исчезла. Вилли видел, как он скачет в глубине комнаты — рубашка задирается, штаны запутываются, — а

далеко в ночи задышался и шептал шальной похоронный поезд с черным лаюмажем на каждом вагоне, с локричного цвета клетками, и угольно-черная каллиопа все вскрикивала, все вызванивала мелодии трех гимнов, каких-то спутанных, полузабытых, а может, и вообще не их.

Джим соскользнул по водосточной трубе.

— Джим! Подожди! — Виали лихорадочно сражался с одеждой. — Джим! Да подожди же. Не ходи один!

Виали кинулся следом за другом.

12

Иногда воздушного змея заносит высоко-высоко. Ты смотришь на него снизу и думаешь: «Он высоко. Он мудрый. Он сам чувствует ветер». Змей свободно гуляет по небу сам по себе, сам рассматривает местечко, куда приземлиться, и уж если высмотрел — кричи не кричи, бегай не бегай, он просто рвет бечевку и идет на посадку, а тебе остается мчаться к нему со всех ног, мчаться так, что во рту появляется привкус крови.

— Джим! Да подожди же!

Сейчас Джим стал змеем. Бечевка порвалась, и уж какая там мудрость — неизвестно, но она уносит его от Виали, а Виали только и остается бежать изо всех сил, бежать за темным и молчаливым силуэтом, парящим высоко, вдруг ставшим чужим и дальним.

— Джим! Я тоже иду!

Виали бежал и думал: «Ба! Да ведь это все то же, что и всегда. Я говорю, Джим бежит. Я ворочаю камни, Джим мигом выгребает из-под них всякий хлам. Я взбираюсь на холм, Джим кричит с колокольни. У меня счет в банке, у Джима — буйная шевелюра, рубашка да теннисные туфли, и все же почему-то он — богат, а я — бедняк. Не потому ли, — думал Виали, — что вот я сижу на камне и греюсь на солнышке, а старик Джим танцует с жабами в луговом лугу. Я пасу коров, а Джим дрессирует жутких чудищ. “Ну и дурак!” — кричу я ему. “Грус!” — кричит он в ответ. Но вот сейчас мы бежим туда, бежим оба».

Город остался позади, по сторонам мелькали поля. Под железнодорожным мостом мальчишек окатила волна холода. Лу-

на вот-вот должна была показаться из-за холмов, и луга зябко пригнали под тонким росным одеялом.

Бимм!

Карнавальный поезд загрохотал под мостом. Взыла каллиопа.

— На ней не играет никто! — вздрогнув, прошептал Джим.

— Шутились!

— Матерью клянусь! Сам погляди.

Платформа с каллиопой удалялась. Свинцовые трубы мерцали под звездами, но за пультом никого не было. Только ветер гнал ледяной воздух в узкие щели, это ветер творил музыку.

Мальчишки мчались следом. Поезд изгибался, корчился под этот странный подводный похоронный звон, звук падал, падал, глух и все-таки звенел и звенел. Вдруг свисток паровоза взметнул огромный султан пара и вокруг Виали заплясали ледяные жемчужинки.

Ногами — часто? изредка? — Виали слышал свист пара на краю сна, одинокий, далекий голос поезда. Он всегда оставался далеко, как бы близко ни подходить к вагонам. Иногда Виали просыпался и с удивлением трогал мокрые щеки — откуда это? Он снова откидывался на подушку, прислушивался и думал: «Да, это они заставляют меня плакать, те поезда, что идут на восток и на запад, они уходят, уходят вдаль, ночной прилив затопляет их, волна сна накрывает поезда, города...» Ночной плач поездов, забывшихся между станциями, потерявших память о пункте отправления, забывших, куда ехать; они вздыхают печально, и пар из их труб тает над горизонтом. Они уходят. Все поезда, всегда.

Но этот паровозный крик!

В нем одном были собраны все стенания жизни из всех ночей, из всех сонных лет, там слышался и заунывный вой псов, грезящих о луне, в нем был посвист зимнего ветра с речной долины, когда он просачивается в щели веранды, и скорбные голоса тысяч огненных сирен, а то и хуже! — миллионы клубочков вздохов ушедших людей, уже мертвых, умирающих, не желающих умирать, все их стоны, вздохи и жалобы, разом рванувшиеся над землей.

Слезы брызнули у Виали из глаз. Ему пришлось нагнуться, встать на колени, сделать вид, будто шнурок развязался. А по-

том он увидел, как Джим тоже трет глаза. Паровоз вскрикнул, и Джим вскрикнул в ответ. Паровоз взвизгнул и заставил Вилли взвизгнуть тоже. А потом весь этот сонм голосов разом смолк, словно поезд подхватил и умчал огненный нездешний вихрь.

Нет. Вот он скользит мягко, легко, черная бахрома трещит, черные конфетти завиваются в сладком, приторном ветре, сопровождающем поезд, опускаются на окрестные холмы, а ребята бегут следом, и воздух вокруг такой холодный, словно ешь уже третью порцию мороженого подряд.

Джим и Вилли взлетели на пригорок.

— Старик! — прошептал Джим. — Он здесь.

Поезд забрался в лунную долину — излюбленное место прогулок всяких парочек. Обычно их так и тянуло за край холмов; там, словно внутреннее море, лежала падь, до краев полная лунным светом, зараставшая буйными травами по весне, заставленная стогами летом, заваленная снегом зимой. Да, это было дивное место для прогулок, когда над холмами вставала луна и призрачный свет трепетал и разливался на просторе.

И вот теперь, по старой железнодорожной ветке, исчезающей в лесу, сюда добрался, изогнулся и замер в осенней траве чудной поезд. Ребята поползли — иначе нельзя было — и притаились под кустом.

— Тихо как! — прошептал Вилли.

Поезд был недвижим. Никого не видать на локомотиве, никого в тендере, никого в вагонах. Черный безжизненный дракон под луной, и только остывающий металл позвякивает едва слышно.

— Тихо! — прошепел Джим. — Я чувствую, они там, внутри, шевелятся...

У Вилли волосы встали дыбом по всему телу.

— Может, они догадываются, что мы — тут?

— Запросто! — замирая от сладкой жути, подтвердил Джим.

— А почему каллиопа опять слышно?

— Как узнаю, сразу тебе скажу! — огрызнулся Джим. — Смотри!

И откуда он только взялся, этот болотного цвета огромный воздушный шар? А вот уже летит, прямо к луне, поднявшись футов на двести.

Смотри, там, в корзине под шаром, есть кто-то!

Но тут им стало не до шара. С высокой платформы, как с капитанского мостика, спускался высокий человек. Он и вправду был похож на капитана, наблюдающего за приливом в этом шуршащем море. Темный костюм, черная рубашка, лицо сумрачное, а на руках — черные перчатки. Вот он вошел в лунный столб и махнул рукой. Только один раз махнул.

Поезд ожил. В окне вагона показалась голова. Еще одна. Они поплыли, как куклы в театре марионеток. И вот уже двое в черном волокут по шуршащей траве шест для шатра. Молча.

Безмолвие заставило Вилли отпрянуть, а Джим, наоборот, подался вперед. По всем правилам карнавала должен был громихать, греметь, как лесопилка, ему положено громоздиться лопатами, путаться в канатах, сталкиваться под ливинный рык, возбужденные люди должны звенеть бутылками с шишучкой, а кони — быхами на сбруе, слоны — в панике, эсбры ржут и дрожат, двойные полосатые от прутьев клеток.

А здесь было как в старом немом кино с черно-белыми актерами. Рты открываются, но выпускают один лунный свет. Жесты беззвучны, и слышишь, как ветер шевелит пушок у тебя на щеках.

Новые тени выходили из поезда, шли мимо звериных клеток, а там даже глаза не горели, только темнота металась из угла в угол. Каллиопа почти смолкла, лишь ветер, бродя по трубам, пытался наиграть дурацкий мотивчик.

Посреди поля встал шпрехингалмейстер. Шар, точно здоровенный, заплассневший зеленый сыр, повис прямехонько над ним.

И вдруг пришел мрак. В последний миг Вилли успел заметить, как шар ринулся вниз — и луна исчезла. Теперь он мог только чувствовать суету на поле. Ему казалось, что шар подхватили и растягивают на шестах, как огромного жирного паука.

Луна появилась. Облако слезло с нее, и выяснилось, что от шара остался один намек, а на луку уже стоит готовый каркас.

Опять облака! Вилли окатила тень, и он вздрогнул. Ухо уловило шорох, это Джим пополз вперед. Вилли схватил его за ногу.

— Подожди! Сейчас парусину принесут.

— Нет, ой нет... — проговорил Джим.

Оба как-то сразу поняли: парусины не будет. В ней не было нужды. Канаты на верхушках шестов болтались из стороны в сторону, взмывали вверх, выхватывали из пролетающих облаков длинные ленты, и какая-то огромная тень заставляла облачные пряди сплетаться в покрывало. Шатер возникал прямо на глазах, и скоро остался только чистый плеск флагов на шестах.

Все замерло.

Вилли лежал с закрытыми глазами и слышал над головой хлопанье огромных маслянисто-черных крыльев — словно громадная древняя птица билась над полем. Она хотела жить.

Облака сдуло. Шар исчез. Люди сгинули. Палатки, растянутые на каркасах, струились и трепетали, как под черным дождем. Вилли показалось вдруг, что до города тысяча миль. Он быстро оглянулся. Ничего. Только травы и ночные порохи. Он снова повернулся, теперь уже медленно, и оглядел безмолвные, темные, кажущиеся пустыми шатры.

— Не нравятся они мне, — в голос сказал он.

Джим не мог отвести глаз.

— Ага, — завороченно прошептал он, — ага...

Вилли встал. Джим остался лежать на траве.

— Джим! — позвал Вилли.

Джим вздротнул, как будто его шлепнули по спине, Джим привстал на колени, Джим уже поднимаясь, уже тело его отвернулось, а глаза неотрывно прикованы к черным полотнищам, к огромным зазывающим транспарантам, к непонятным трубам, к дьявольским усмешкам темных, змеящихся складок.

Вскрикнула птица. Джим вскочил. Джим перевел дух.

Облачные тени гнали их через холмы и оставили только на окраине города.

13

Вместе с ветром в распахнутое окно библиотеки вливался холод. Чарльз Хэллоуэй долго стоял возле окна, но теперь вдруг заторопился. По улице мчались две тени, обладатели теней неслись на шаг впереди.

Джим! — окликнул старик негромко. — Вилли!

Нет. Они не слышали и продолжали бежать. К дому. Чарльз Хэллоуэй огляделся. Бродя в одиночестве по библиотечным коридорам, слабо улыбаясь внятным лишь ему речам веника в руках, он, конечно же, слышал и вскрик поезда, и бессвязные гимны казачьи.

— Три, — прошептал он едва слышно, — три утра...

На лугу уже поднялись шатры, карнавал ждал кого угодно, кого-нибудь, способного преодолеть неширокое озеро травы. Надутые шатры тихонько выпускали воздух, он покидал их черной, пропитавшись древними запахами больших желтых зверей.

Никого. Только луна старается заглянуть в угольную тень между балаганами. Неподвижно мчатся карусельные лошади. Из каруселью раскинулись топи Зеркального лабиринта. Там, за эским валом, поднимаются из глубин волны пустых тщеславий, отстоявшиеся за много лет, посеребренные возрастом, белые от времени. Появись у входа любая тень — отражения шевельнутся испуганно, в зеркалах начнут восходить глубоко похороненные луны. Доведись появиться на пороге человеку — не предстанет ли он сам перед собой миллионоликим? Вот он смотрит на них, а они — на него; а ну как каждое из отражений вдруг обернется и взглянет на своего соседа, и лица начнут оборачиваться одно к другому, одно к другому, еще не старое — к тому, что постарше, это — к еще более почтенному, а оно — к совсем уже старому, потом к тому, что старше всех... Не разыщет ли стоящий у входа человек в пыльных глубинах лабиринта себя самого, но только уже не пятидесяти-, а шестидесятилетнего, семидесяти, восьмидесяти, девяноста девяти лет?

У лабиринта не спросишь, не ответит лабиринт. Он просто ждет, похожий на огромную арктическую снежинку.

Три часа... Чарльз Хэллоуэй замерз. Кожа вдруг стала как у индеец, кровь словно подернулась ржавчиной, во рту — привкус ночной сырости. И почему-то никак не отойти от окна. Далеко-далеко на лугу что-то поблескивает, как будто лунный свет отражается в стекле. Может, эти вспышки — какой-то код, может, они говорят о чем-то?

«Я пойду туда, — подумал Чарльз Хэллоуэй. — Нет, я не пойду туда. Там хорошо, — подумал он. — Нет, там плохо», — тут же догнала соседняя мысль.

Несколько минут спустя хлопнула, закрываясь, входная дверь. По пути домой он миновал окна пустого магазина. Внутри стояли козлы, а под ними — лужа грязноватой воды. Кое-где виднелись кусочки льда, а между ними — длинная прядь волос.

Чарльз Хэллоуэй заметил ее, но почел за благо не увидеть. Он отвернулся и прошел мимо, и вскоре улица опустела так же, как и пространство магазина за витринным стеклом.

А вдали, на лугу, все поблескивал свет, отражаясь в Зеркальном лабиринте. Там мелькали тени, словно осколки чьей-то жизни, еще не начавшейся, но уже пойманной и ожидающей воплощения.

Лабиринт ждал: его пастороженный холодный взгляд скользил сквозь ночь, отыскивая хоть что-нибудь живое, хоть ночную птицу, пролетающую над лугом. Она заглянула бы внутрь... и пусть бы себе уносила потем с заполошным криком дальше. Но не было ни одной птицы.

14

— Три,— произнес голос.

Вилли прислушался. Озноб еще прохватывал тело, но он уже согревался под одеялом и радовался, что вокруг — стены, над головой — крыша и пол под ногами, что дверь наконец укрыла его от огромности ночи, от обширности ночных пространств и ночной свободы, слишком большой, слишком пустынной и одинокой...

— Три...

Это — голос отца... уже внутри, здесь, в доме. Он там, в гостиной, осторожно ходит и разговаривает сам с собой.

— Три...

Почему поезд пришел именно в это время? Значит, отец тоже видел его? Следил за ним? Нет! Он не должен. Вилли свернулся под одеялом в тугой клубок, стараясь унять дрожь. Что за ерунда? Чего он боится? Этого ворвавшегося, словно черный штормовой прилив, карнавала? Или того, что знают о нем только он с Джимом, да вот еще отец, наверное, а весь город спит и не подозревает ни о чем?

Да. Вилли зарылся в одеяло с головой. Да.

— Три...

Три — это три утра, думал Чарльз Хэллоуэй, сидя на краю постели. Почему поезд пришел именно в этот час?

Да потому, текли дальше мысли, что этот час — особый. Женщины ведь никогда не просыпаются в этот час. Они спят сном младенцев. А мужчины средних лет? О, они хорошо знают этот час. О господи, полночь — это совсем неплохо: проснулся — и уснул, и час, и два — не страшно, ну поворожаешься и успеешь опять. А в шестом часу уже появилась надежда, рассвет недалеко. Но — три! Господи Иисусе, три пополуночи! Врачи говорят, тело в эту пору затихает. Душа выходит. Кровь течет еле-еле, а смерть подбирается так близко, как бывает только в последний час. Сон — это ключок смерти, но три часа утра, на которые взглянул в упор, — это смерть заживо! Тогда начинаешь грезить с открытыми глазами. Боже, если бы найти силы встать и перестрелять эти попусы! Но нет сил. Лежишь приколоченный к самому дну, выжженному дотла. И эта дурацкая лунная рожа пялится на тебя сверху! Вечерней зари не осталось и в помине, а до рассвета еще сто лет. Лежишь и собираешь всю дурь своей жизни, какие-то милые гаупости близких людей — а их давно уже нет... Где-то было написано, что в больницах люди умирают чаще всего в три пополуночи...

— Хватит! — молча крикнул он.

— Чарли? — сонно-вопросительно пробормотала жена.

Он медленно снял второй ботинок. Жена слабо улыбнулась во сне... чему? Она бессмертна. У нее есть сын. Но ведь и у тебя тоже. Э-э, когда и какой отец на самом деле верил в это? Не выносив ребенка, не пережив боли? Кто из мужчин отпускаясь во мрак и возвращаясь с сыном или дочерью так, как это делают женщины? Эти милые, улыбающиеся создания владеют доброй тайной. Эти чудесные часы, приютившие Время, — они творят плоть, которой суждено связать бесконечности. Даря внутри них, они признали силу чуда и больше не задумываются о ней. К чему размышлять о Времени, если ты — само время, если претворяешь мимолетный миг вечности в тепло и жизнь? Как должны завидовать мужчины своим женам, как часто такая зависть оборачивается ненавистью к этим мягким существам, уже обретшим жизнь вечную! А мы? Мы становимся ужасно важными, хотя неспособны удержать не только мир вокруг себя, но даже себя в мире. Слепые, не ведающие целого, мы пада-

ем, разбиваемся, таем, останавливаемся и поворачиваем вспять. Мы не можем придать форму Времени. И что же остается? Страдать от бессонницы и лить глаза в ночную темень.

Три после полуночи. Вот и вся нам награда. Три утра. Полночь души. Отлив. Душа остается на песке. И в этот час отчаяния приходит поезд. Почему?

— Чарли? — Рука жены нашла его руку. — С тобой... все в порядке? Чарли?

Она спала.

Он не ответил. Он не смог бы объяснить, каково ему сейчас.

15

Лимонно-желтое солнце появилось на круглом синем небе. Птицы рассыпали в воздухе прозрачные журчащие трели. Вилли и Джим выглянули из окон.

Вроде бы ничего не изменилось. Вот только взгляд у Джима...

— Этой ночью, — проговорил Вилли, — что это было? Или — не было?

Они вгляделись в луговые дали. Воздух там ступался, как сироп. Даже под деревьями не видно ни единой тени.

— Шесть минут! — крикнул Джим.

— Пять!

Через четыре минуты с шуршащими в животах кукурузными хлопьями ребята уже выколачивали из палой листвы красноватую пыль на окраине. Вот последний холм. Глаза наконец оторвались от земли под ногами.

Карнавал был тут. Шатры, лимонно-желтые, как солнце, медно-желтые, как пшеничные поля еще две недели назад. Вымпелы, флаги, яркие, как синие птицы, хлопают над холмовыми балаганами львиного цвета. Из палаток, похожих на леденцы, плывут субботние запахи личицы с ветчиной, жареных сосисок и оладий с кленовым сиропом. Повсюду носятся мальчишки, таща на буксире еще не проснувшихся до конца отцов.

— Ну прямо самый обычный карнавал, — растерянно проговорил Вилли.

— Самая обычная дьяволицина, — энергично произнес Джим. — Не ослепли же мы прошлой ночью в самом деле! Пошли!

Они прошли сотню ярдов, и вот уже карнавал вокруг. Чем дальше они продвигались, тем яснее становилось: им не найти здесь тех ночных людей, что по-копачьи двигались в тени бокового шара, под платрами, клубящимися, как грозовые тучи. Но и сам карнавал оборачивался полусгнившими веревками, изъеденной молю парусиной, давно полинявшей, выгоревшей на солнце милпурой. Вывески балаганов обвисли на шестах печальными птицами, с них осыпались чешуйки древней краски; полки трепыхались, приоткрывая на миг скучные чудеса: тощий человек, толстый человек, человек в картинках, человек, танцующий хула...

Сколько они ни рыскали, им так и не попалась таинственная сфера, надутая вредоносным газом, привязанная диковиными восточными узлами к рукоятям кинжалов, вонзенных в землю; не было ни поменпанного билетера, ни жуткой мести. Кассиона возле билетной кассы была нема как рыба. Ну а поезд? А что — поезд? Вон он стоит в густой теплой траве, сильно старый, в меру ржавый, с торчащими рычагами, шатунами и тендером, где даже второсортного колмара не отыскать. Не было и в помине у этой развалины мрачного похоронного силуэта. Из него так много гари вылетело с паром и черными пороховыми хлопьями, что сил осталось разве на безмолвную просьбу полежать: вот тут, на травке, среди осеннего листопада.

— Джим! Вилли!

Перед ребятами стояла мисс Фолей, учительница из седьмого класса, — одна сплошная улыбка.

— Мальчики, что случилось? У вас такой вид, словно вы что-то потеряли.

— Да вот... — замялся Вилли, — кассиона... Вы не слышали прошлой ночью?

— Кассиона? Нет, не слышала.

— А тогда как же вы оказались тут в такую рань, мисс Фолей? — спросил Джим.

— Я люблю карнавалы, — беспечно сияя, ответила мисс Фолей, маленькая улыбчивая женщина, заплутавшая между своим пятым и шестым десятком. — Давайте я куплю вам горячих сосисок, а пока вы будете есть, разыщу своего несносного племянника. Вы его не видели?

— Пасмянника?

— Да Роберта. Он должен погостить у меня пару недель. У него умер отец, а мать после этого расхворалась. Вот я его и взяла к себе. Он еще спозаранок удрал сюда. Там, говорит, встретимся. Вот и ищи его теперь. Э-э, что-то вы сегодня не в духе. Ну, пожуйте пока, и нечего хмуриться! — Она протянула мальчишкам угощение. — Через десять минут откроются аттракционы. Пойду-ка посмотрю его в Зеркальном лабиринте...

— Нет! — неожиданно выпалила Вилли.

— Что «нет»? — не поняла мисс Фолей.

— Не надо в Зеркальном лабиринте, — судорожно глотнув, промолвила Вилли. Перед его глазами в глубине лабиринта пропала миля отражений, а дна не было видно. Мальчику показалось, что там затаилась Зима и ждет, чтобы превратиться в лед одним убийственным взглядом. — Мисс Фолей, — с трудом говорил он, с удивлением вслушиваясь в звуки собственного голоса, — мисс Фолей, не ходите туда.

— Но почему?

Джим удивленно воззрился на друга.

— Да, Вилли, почему бы и не сходить туда?

— Там люди пропадают, — смущенно вымолвила Вилли.

— Ха! Тем более. А вдруг Роберт там заблудился? Этак он не выберется, пока я его за ухо не вытащу!

Мисс Фолей была настроена по-боевому.

— Никто не знает, что там внутри плавает, — с трудом говорил Вилли, не в силах отвести глаз от тысяч миль сверкающего стекла.

— Плавает! — рассмеялась мисс Фолей. — А ты фантазер, Вилли! Ну да я-то старая рыбка, так что...

— Мисс Фолей!

Но она уже отошла от них, помахав на прощанье, на секунду помедлила перед входом, шагнула и исчезла в зеркальном океане. Некоторое время ребята еще видели, как ее отражение погружается все глубже и наконец окончательно растворяется среди мерцающего серебра.

Джим вцепился в плечо Вилли.

— Что это значит, Вилли?

— Черт побери, Джим! Да зеркала эти! Не нравятся они мне. Посмотри, они здесь единственные такие же, как ночью.

— Ну, приятель, ты просто перегрелся на солнце! — фыркнул Джим. — Это же лабиринт...

Он варит умоак. От зеркальных стен потянуло ледяным сквозняком.

— Джим, ты что-то начал говорить про лабиринт...

Но Джим молчал. Только спустя минуту он хлопнул себя ладонью по шее.

— Точно!

— Да что с тобой, Джим? О чем ты?

— Волосы! — выкрикнул Джим. — Я же везде про это читал. Во всех страшных историях они всегда дыбом встают. Вот как сейчас у меня.

— Черт возьми, Джим! И у меня тоже.

Так они и стояли, пересматриваясь, чувствуя восхитительные мурашки, а волосы у каждого и правда стояли дыбом.

В Зеркальном лабиринте беспомощно тыкался силуэт мисс Фолей — два силуэта, четыре, нет, целая дюжина. Они не знали, которая из них настоящая, и помахали всем сразу. Но вот странность: ни одна мисс Фолей не заметила их и не помахала в ответ. Она брела там, в лабиринте, словно слепая, скользя ногтями по холодному стеклу.

— Мисс Фолей!

Нет, она не слышит. Глаза побелели, как у статуи. Она что-то говорила, там, в зеркалах, во всяком случае, губы ее шевелились. Она бормотала, причитала, вскрикивала, нет, кричала. Она билась головой о стекло, колотилась в него локтями, словно опавший мотылек о лампу, она воздевала руки. «О Господи! Помоги! — плакала она. — Помоги, о Господи!»

Джим и Вилли бросились вперед и замерли — из глубины зеркал выпалили их бледные лица с широко раскрытыми глазами.

— Мисс Фолей, вот сюда!

Джим протянул руку ко входу и наткнулся на холодное стекло.

— Сюда! — крикнул Вилли и ткнулся лбом в зеркало.

Из пустоты вынырнула рука, рука пожилой женщины, уже обессиленная, она в последний раз искала спасительную опору, и этой опорой оказался Вилли. Рука вцепилась в него и потащила в глубину, едва не сбив с ног.

— Вилли!

— Ай, Джим!

Джим ухватил друга за плечаны, Вилли впился в руку, и так они вместе вытащили ее из безмолвных, обступающих со всех сторон, накатывающихся волной холодных зеркал.

Они выбрались на солнце.

Мисс Фолей, ощупывая синяк на щеке, то постанывала, то вздыхала, то принималась смеяться и вытирать глаза.

— Спасибо вам, спасибо, Вилли, спасибо, Джим! Я чуть не утонула там. Нет, я хотела сказать... О боже, Вилли, ты был прав. Господи, Вилли, ты видел, как она заблудилась, как тонула... Бедняжка, она там совсем одна, она заблудилась! Мы должны спасти ее!

— Мисс Фолей! — Вилли с трудом удерживал руки, порывившиеся впиться в него. — Там же нет никого! Мисс Фолей!

— Я видела! Прошу вас, посмотрите! Спасите ее!

Вилли подскочил ко входу в лабиринт и остановился, нагнувшись на ленивый, презрительный взгляд билетера. Он повернулся и подошел к учительнице.

— Мисс Фолей! Клянусь вам, там нет никого. После вас никто туда не входил. Это я неудачно пошутил насчет воды, вот вам, наверное, и запало...

Может быть, она и услышала, но никак не могла остановиться и все бормотала, растирая тыльные стороны ладоней. Голос учительницы изменился, словно она и правда каким-то чудом вернулась из невообразимых глубин, где нет уже никакой надежды.

— Никто не входил? Да она там, на дне! Бедная девочка! Я узнала ее... и сказала ей: «Я знаю тебя». Я даже помахала ей, и она крикнула мне: «Привет!» Я побежала к ней, и вдруг — бац! — упала. И она упала. И десятки, тысячи нас упали. «Погоди, — сказала я, — что ты тут делаешь?» Она была такой прелестной, такой юной... Но я почему-то испугалась. И тут мне послышалось, что она ответила. «Я настоящая, — говорит, — а ты — нет!» И засмеялась как из-под воды, а потом убежала туда, в лабиринт. Надо найти ее!

— Мисс Фолей!

Вилли крепко обхватил ее и встряхнул. Она в последний раз всхлипнула и затихла.

Джим все вглядывался в холодные глубины, словно высматривая акулу, но если они и были там, то предпочитали не показываться.

— Мисс Фолей, а как она выглядела? — спросил он.

Учительница заговорила снова слабым, но спокойным голосом:

— Она... она очень похожа на меня... только много-много лет назад. Ох, пойду-ка я домой...

— Мисс Фолей, мы проводим вас.

— Нет, нет, оставайтесь. Мне уже лучше. Оставайтесь, не стану портить вам веселье. — И она медленно пошла прочь. Одна.

Где-то неподалеку немаленький зверь напустил лужу. Ветер принес резкий запах аммиака, почему-то напомнивший о древности.

— Я ухожу, — сказал Вилли.

— Мы остаемся до заката, — быстро возразил Джим, — до самого темна, и все углядим, все как есть. Ты что, сдрейфил?

— Нет, — автоматически ответил Вилли. — А ты уверен, что никто не захочет больше нырнуть в этот чертов лабиринт?

Джим быстро взглянул в бездонное зеркальное море, но там была теперь только чистый холодный свет, он открывал пустоту за пустотой позади пустоты.

— Никто! — твердо вымолвил Джим. Подождет, пока сердце стукнет дважды, и пробормочет: — Наверное...

16

Плохое случилось уже на закате. Исчез Джим.

За целый день они с Вилли перепробовали половину аттракционов, разбили кучу бутылок в тире, выиграли кучу жетонов, прикидывались, прислушивались, прокладывали себе путь в толпе, топчущейся на опавших листьях и опилках. А потом, совершенно неожиданно, Джим пропал.

Тогда Вилли, никого не спрашивая, молча и уверенно протиснулся через толпу и под небом цвета спелой сливы вышел к лабиринту, заплатил за вход и шагнул внутрь. Потом он тихо позвал только один раз: «Джим!»

Да, Джим был там, наполовину внутри, наполовину снаружи холодных стеклянных волн. Словно его выбросило на песок,

а друг его ушел далеко, и неизвестно — вернется ли когда-нибудь. Казалось, Джим стоит здесь уже часы, неподвижный, моргая едва ли раз в пять минут, губы чуть приоткрыты, стоит и ждет следующей волны, чтобы она открывала ему еще больше.

— Джим! Пошли отсюда!

— Вилли... — Джим едва заметно вздрогнул, — оставь меня.

— Жди-ка!

Одним прыжком Вилли добрался до Джима, схватил за пояс и потащил за собой. Кажется, Джим даже не понимал, что его волокут вон из лабиринта. Он слабо упирался и, похоже, протестовал, повторяя завороченно:

— Вилли, о Вилли, Вилли!

— Джим! Сдурел ты, что ли? Я тебя домой веду!

— Что? Куда? Что?

Вот они уже снаружи, на ветерке. Небо налилось темнее сливы, только высокие редкие облачка еще ловили закатный свет. Ответ пробежал по лицу Джима, по приоткрытым губам, мелькнул в невероятно позеленевших глазах.

— Джим! — тряс друга Вилли. — Что ты там видел? То же, что и мисс Фолей?

— Что? — слабо переспросил Джим.

— Сейчас как дам по носу! А ну, иди давай!

Вилли пихал, подталкивал, подгонял, почти сияком тащил ошалевшего от загадочного восторга, слабо упиравшегося друга.

— Я не могу тебе сказать, Вилли, — бормотал Джим, — ты не поверишь... не знаю, как сказать. Там, внутри, о, там в глубине...

— Заткнись! — Вилли стукнул его по плечу. — Перепугал меня черт-те как! Давеча мисс Фолей, теперь ты. С ума сойти. Гляди, время-то к ужину! Дома нас уж похоронили небось.

Шатры остались позади, под ногами шуршала стерня, и Вилли все поглядывал вперед, на город, а Джим все озирался назад, на хлопающие, быстро теряющие краски флаги на шестах.

— Вилли! Нам обязательно нужно вернуться попозже...

— Надо тебе, вот и возвращайся!

Джим остановился.

— Но ты же не отравишь меня одного, а? Вилли, ты же обещал, что всегда будешь рядом! Чтобы защищать меня, а, Вилли?

— Это еще неизвестно, кто кого защищать будет, — расхохотался было Вилли, но тут же замолчал.

Джим странно, без улыбки, смотрел на него, а темнота словно заливала это знакомое лицо, скапливаясь во впадинах ноздрей, в ямах вдруг глубоко запавших глаз.

— Вилли, ты ведь будешь со мной? Всегда?

Теплая волна обдала Вилли. В груди, возле сердца, шевельнулся ответ: «Да. Ты ведь и так знаешь, что да».

Они оба повернулись разом, шагнули и... споткнулись о тяжело лязгнувшую кожаную сумку.

17

Они долго стояли над ней. Вилли пошевелил сумку ногой. Внутри снова тяжело звякнуло.

— Это же сумка торговца громоотводами, — неуверенно произнес Вилли.

Джим наклонился, запустил руку в сумку и вытащил металлический стержень, сплошь покрытый химерами, клыкастыми китайскими драконами с огромными выпученными глазами, рыцарями в доспехах, крестами, полумесяцами, всеми символами мира. Все упования, все надежды человеческие тяжким грузом легли в руки ребят.

— Гроза так и не пришла. Зато он ушел.

— Куда? А как же сумка? Почему он ее бросил?

Оба одновременно оглянулись на карнавал позади. От парусиновых крыш волна за волной накатывал холод. От луга к городу шли машины. Мальчишки на велосипедах свистом звали собак. Скоро дорогу накроет ночь, скоро тени на «чертовом колесе» поднимутся до самых звезд.

— Люди не станут бросать посреди дороги всю свою жизнь, — заметил Джим. — У него больше ничего не было, и если что-то заставило его просто забыть сумку на дороге, значит, это был не пустяк.

Глаза у Джима загорелись, как у гончей, взявшей след.

— Пустяк не пустяк, но чтобы вот так про все забыть?... — недоумевал Вилли.

— Вот видишь! — Джим с любопытством наблюдал за другом. — Загадка на загадке. Грозовой торговец, сумка торговца... Если мы сейчас не вернемся, то никогда ничего не узнаем.

— Джим... — Вилли уже колебался. — Ладно. Только на десять минут.

— Точно! А то темнеет уже. Все дома, ужинают. Одни мы здесь и остались. Ты подумай, как здорово! Мы. Одни. Да еще и возвращаемся.

Они прошли мимо Зеркального лабиринта. Из серебристых глубин навстречу им выступили две армии — миллион Джимов наступал на миллион Вилли. Армии столкнулись, смешались и исчезли. Вокруг не было ни души.

Ребята стояли посреди темного карнавала и невольно думали о десятках своих знакомых, уплетающих ужин в теплых, светлых кухнях.

18

Крупные красные буквы кричали: «Неисправность! Не подходить!»

— А! Это с самого утра здесь висит, — махнул рукой Джим. — Вранье, по-моему.

Ребята стояли перед каруселью, а от вершин старых дубов накатывались на них волны жестяного шелеста. Кони, козы, антилопы и зебры замерли на кругу, пронзенные медными копьями. Словно рука могучего небесного охотника разом метнула смертоносные жала, пригвоздила несчастных животных к деревянному кругу, и они застыли, мучительно выгнувшись, умоляя раскрашенными испуганными глазами о милосердии и страдальчески оскалив зубы.

— Вовсе она не сломана.

С этими словами Джим перемахнул звякнувшую цепочку и ступил на вращающийся круг. Его сразу обступили зачарованные звери.

— Джим!

— Да ладно, Вилли. Мы же только карусель и не видели. Значит...

Джим качнулся. Лунатический карусельный мир дрогнул и слегка накренился. Звери шевельнулись. Джим хлопнул по шее темно-сливового жеребца.

— Эй, парень!

Из темноты за машинной будкой выступил человек, шагнул и подхватил Джима.

— Ай! — завопил Джим. — Вилли!

Вилли как стоял, так и прыгнул через цепочку ограждения и первый ряд зверей. Человек улыбнулся, ловко подхватил и его тоже, а потом поставил рядом с Джимом. Теперь они стояли бок о бок и глазели на буйную рыжую пивескору над ярко-синими глазами незнакомца. Под тонкой рубашкой бутрами перекатывались могучие мышцы.

— Неисправна, — мягко сказал человек. — Вы что, читать не умеете?

— Отпусти-ка их! — произнес новый, властный голос.

Ни Джим, ни Вилли не заметили, откуда взялся еще один мужчина. Он стоял возле самой цепочки.

— Доставь-ка их сюда, — повелел он.

Рыжий атлет плавно перенес ребят над спинами безропотных зверей и поставил в пыль у входа.

— Мы... — начал было Вилли.

— Любопытствуйте, — не дал ему договорить вновь прибывший.

Был он высок, как фонарный столб, и бледен так, что вокруг лица расплывались лунные блики. Брови, волосы, костюм — антрацитового цвета, а жилет — кроваво-красный, и янтарная булавка в галстук в тон медово-желтым глазам. Впрочем, глаз Вилли сначала не разглядел. Его поразила костюм долговязого, сделанный из удивительной материи. Такую ткань можно было бы получить, ссучив нить из зарослей «кабаньей ежевики»*, пружинной твердости конского волоса, претины и такой, знаете, бескуцей конопли. Ткань все время шевелилась, отливала и вспыхивала, а на ощупь она была, кажется, как самый колючий твид. В таком костюме человек должен был бы мучиться несказанно, страшный зуд любого заставил бы рвать на себе одежду,

* Колочие черные кусты.

а этот стоял себе, как ни в чем не бывало, невозмутимый, как луна, прыгающая меж облаков, и внимательными рысьими глазами наблюдал за Джимом. На Вилли он и не посмотрел ни разу.

— Я — Дарк, — представился человек-жердь и взмахнул белой визитной карточкой. Она тут же стала синей.

Шелест. Карточка покраснела. Взмах. На ней проступил зеленый человек, свисающий с дерева. Карточка мелькала, приковылая взгляд.

— Дарк — это я. А вот этот рыжий мистер — мой друг Кутер. Кутер и Дарк.

Опять шелест. На карточке пронеслись и исчезли какие-то имена. Выступили слова: «СОВМЕСТНОЕ ШОУ ТЕНЕЙ», мигнули и растаяли. На их месте крошечная, но противная ведьма мешала в заплесневевшем горшке какое-то гнусное варево. Но и ее, в свою очередь, согнали крупные буквы: «МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ АДСКИЙ ТЕАТР». Дарк протянул карточку Джиму. Джим принял ее и прочитал: «Наша специальность: проверка, смазка, полировка и ремонт жуков-могильщиков». Джим и глазом не моргнул. Секунду он рылся в бездонном кармане, полном сокровищ, как пиратский сундук, что-то выудил и протянул мистеру Дарку. На ладони лежал дохлый коричневый жук.

— Вот, — ровным голосом произнес Джим, — займитесь им.

— Ловко! — расхохотался мистер Дарк. — Один момент!

Он протянул руку за жуком, и из-под манжеты рубашки на миг выглянули пурпурные, темно-зеленые и ярко-синие драконы, перевитые латинскими, кажется, надписями.

— О! — воскликнул Вилли. — Человек-в-Тагуировке!

— Нет, — Джим внимательно всмотрелся, — Человек-в-Картинках. Не одно и то же.

— Верно, парень, — благодарно кивнул мистер Дарк. — Как звать тебя?

«Не говори!» — мысленно завопил Вилли и тут же с недоумением спросил сам себя: — А почему, собственно?»

— Саймон! — назвал Джим и криво ухмыльнулся, намекая на возможность существования других вариантов своего имени.

Мистер Дарк понимающе ухмыльнулся в ответ.

— Хочешь увидеть побольше, а, «Саймон»?

Джим с независимым видом кивнул, вроде бы и не очень ему хотелось. Медленно, с нескрываемым удовольствием мистер Дарк засучил рукав рубашки до локтя. Джим так и впился глазами в руку. Больше всего она напоминала кобру, изготовившуюся для броска. Мистер Дарк пошевелил пальцами, мышцы издвигались, картинки ожили.

Вилли очень хотелось посмотреть поближе, но он остался стоять на месте и только твердил про себя: «Джим! Ой, Джим!»

Джим и долговязый откровенно изучали друг друга. Колочий костюм Дарка словно оттенял рдевшие щеки и пляшущие глаза Джима. Казалось, Джим только что порвал ленточку в десятикратном забеге и теперь с пересохшими губами стоит и не может прийти в себя, готовый принять любую награду за свою победу. И вот она, награда, — живые картинки, разрываемые пантомимой от одного только биения пульса под иллюстрированной кожей. Джим смотрел не отрываясь, а Вилли было не видеть, поэтому он стоял и думал о последних горожанах, возвращавшихся в город в теплых машинах, спешащих к ужину...

— Ух ты, вот черт! — слабым голосом проговорил Джим, и мистер Дарк тут же опустил рукав.

— Все. Представление окончено. Пора ужинать. Карнавал закрывается до семи утра. Все уходит. Приходи завтра, «Саймон», покатаешься на карусели, когда ее починят. Возьми мою карточку, для тебя вход свободный.

Джим, все еще не в силах оторвать глаз от зашастий Дарка, взял карточку и сунул в карман.

— Ну, пока!

Джим повернулся. Джим побежал. Спустя секунду Вилли кинулся за ним. Джим оглянулся через плечо, изогнулся, подпрыгнул и... исчез. Вилли растерянно остановился. У него над головой из-за ствола дерева выглянул Джим. Мистер Дарк и Кутер склонились над механизмом карусели.

— Быстро, Вилли! — зашипел из ветвей Джим. — Прыгай сюда! Да скорее же, а то увидят!

Вилли не очень ловко подпрыгнул, Джим подхватил его и втащил наверх. Дерево затряслось. Ветер прошумел в кроне.

— Джим! Зачем... — начал было Вилли.

— Заткнись! И смотри! — яростно зашептал Джим.

Со стороны карусели доносилось металлическое постукивание, позвякивание, слабый скрип.

— Что у него там на руке было, Джим?

— Картинки.

— Ясно, картинки. Какие?

— Ну... такие.— Джим прикрыл глаза, словно пытаясь вспомнить.— Ну, знаешь, змеи там всякие.

Он почему-то отвел глаза.

— Не хочешь — не говори,— пожал плечами Вилли.

— Да нет. Я же сказал: змеи. Хочешь, я попрошу его показать тебе... попозже?

«Нет,— подумал Вилли,— нет, не хочу». Он посмотрел вниз. Под деревом, в дорожной пыли, застыли тысячи отпечатков ног, а людей и след простыл. Вилли вдруг подумалось, что ночь теперь куда ближе, чем день.

— Я домой пойду,— неуверенно пробормотал он.

— Точно, Вилли, иди. Тут, значит, зеркальные лабиринты, старые учительницы, сумки с громоотводами, пропадающие торговцы, змеи на картинках шевелятся, нормальную карусель чинят, а ты, стало быть, домой? Ну ладно. Пока, старина!

— Я...

Вилли взглянул вниз и замер.

— Все чисто? — раздался голос почти прямо под деревом.

— Чисто! — ответили издали.

Мистер Дарк подошел к красной машинной коробке карусели, внимательно огляделся. Несколько мгновений он смотрел на дерево у дороги.

Вилли попытался вжаться в ствол.

— Включай!

Под стук, звон и бряканье карусель двинулась с места.

«Но ведь она же сломана!» — в панике подумал Вилли и растерянно оглянулся на Джима. Тот показывал вниз. И тут только Вилли заметил: карусель вращалась в обратную сторону!

Небольшая каллиопа внутри механизма сопела, сипела, свистела, брякала и позванивала.

«И музыка тоже наоборот»,— подумал Вилли.

Как будто уловив его мысли, мистер Дарк дернулся и снова пристально посмотрел на дерево. Ветер завихрился вокруг Вилли

черную листву. Мистер Дарк едва заметно пожал плечами и отвернулся.

Взвизгивая и неслышно вихляясь, карусель крутилась все быстрее. Мистер Кутер для проверки прошел немного по дороге и остановился прямо под деревом. Вилли запросто мог бы плюнуть в него. В это время каллиопа вскрикнула особенно пронзительно. В далеком пригороде отозвались собаки. Будто получив сигнал, мистер Кутер помчался обратно по дороге и с разбега ловко вскочил на карусель, оседлав какое-то унылое животное, спешившее задом наперед. Торчали во все стороны буйные огненно-рыжие волосы мистера Кутера, на розовом лице сияли ярко-синие глаза. Карусель летела, и музыка летела, не отставая. Наоборот. «А откуда я знаю, что она началась с конца?» — подумал Вилли. Крепко впевлившись в сук, он пытался поймать мотив и сообразить, что это за мелодия, но литавры, колокольцы и барабаны били его в грудь, захватывали сердце и все подгоняли, подгоняли, заставляя кровь течь по жилам вспять, пульс — колотиться в висках, а руки — слабеть. Цепенея, Вилли изо всех сил сжимал сук. Он не мог оторвать глаз от взбесившейся карусели и невозмутимой фигуры мистера Дарка, стоявшего рядом, за пультом.

Джим первым заметил новую странность и пихнул в бок Вилли. Мистер Кутер! Вот его снова вынесло вперед, и Вилли оторопел. Лицо мистера Кутера таяло, как розовый воск. Руки на глазах становились кукольными, тело под одеждой усыхало, да и одежда сжималась тоже, морщась и корячась. Скрылся. Появился снова, став еще меньше.

Отропным лунным сновидением разворачивалась карусель, волокла против естества несчастных лошадей, засасывала воздух под дикую музыку, а мистер Кутер, обыкновенный рыжий мистер Кутер с каждым оборотом становился все моложе и моложе. Годы слетали с него, как пыль, он беззаботно поглядывал на звезды, скользил взглядом по населенному мальчишками дереву, словно не замечая, как мельчают черты его лица, заостряется носик, розовеют, тая, уши.

Если в начале карусельной круговерти ему было сорок, то теперь — едва ли девятнадцать. На глазах у всех мужчина превращался в юношу, юноша — в мальчика... Вот ему семнадцать,

шестнадцать... Еще оборот, еще... Вилли что-то шепчет. Джим считает круги, а ночной воздух теплеет, разогревается от трения, от необузданного полета шальных зверей, но уже медленнее вращение, реже вскрики каллионы, и вот наконец шипение, усталый свист, музыка проскулила жалобно в последний раз, карусель словно наехала на водоросли в воде и встала.

В деревянном седле виднелась тщедушная фигурка. Лет двенадцати. Губы Вилли без его участия шепнули: «Нет!» Губы Джима шевельнулись: «Нет!»

Маленькая тень сошла с круга. Лица не видать, а на руки падает свет фонаря. Розовые, сморщенные, словно новорожденные руки...

Мальчик-мужчина стрельнул глазами. Кажется, он чуял волны благоговейного ужаса, исходящие от дерева. Ужасный взгляд, как железный шип, пронзил листву. Маленький человек повернулся, замер, а потом по-кроличьи чесанул по дороге.

Джим раздвинул мешавшие листья. Мистер Дарк тоже ухаживал за следом. Вилли не чаял дожидаться, пока Джим спустился вниз. Но вот наконец они стоят на земле, потрясенные разыгравшейся пантомимой, ошеломленные таким поворотом событий. Первым заговорил Джим. Провожая глазами кропечную фигурку, улетающую по дороге, он силно произнес:

— Да, Вилли, я тоже хочу домой, хочу поесть в тепле и покое. Но мы уже слишком много видели. Надо же досмотреть до конца, а? Ведь надо?

— Господи! — взмолился Вилли в полном отчаянии. — Да, я думаю, надо.

И они вместе побежали вослед невесть чему и незнамо куда.

19

За холмами быстро гасли бледные закатные отсветы. За чем бы ни охотились ребята — оно далеко впереди, так далеко, что не понять — есть или нету. И все же, если вглядеться, под дальними фонарями нет-нет да и мелькнет бегущая фигурка.

— Двадцать восемь! — выдохнул Джим. — Двадцать восемь раз он прокрутился.

— Ничего себе карусель! — помотал головой Вилли.

Маленькая фигурка далеко впереди остановилась и оглянулась. Джим и Вилли разом прыгнули за дерево, выжидая, пока это двинется дальше.

«Это, — подумал Вилли, — но почему “это”? Он же мальчишка... или мужчина? Нет. Это то, что менялось, вот оно что!»

Они рысцой миновали окраину, и тут Вилли осенило.

— Слушай, Джим. Наверное, их там двое было, на карусели. Мистер Кутер и этот парнишка...

— Нет, — отрезал Джим. — Я с него глаз не спускал.

Они бежали мимо парикмахерской. Вилли скользнул глазами по какому-то объявлению в витрине и не смог сложить буквы. Впрочем, от тут же забыл об этом.

— Эй! Он свернул на улицу Калпеппера! Живей!

Они резко повернули за угол.

— Ушел!

Улица под фонарями лежала длинная и пустая. «Классики», расчерченные на тротуарах, заметало палой листвой.

— Вилли! А ведь мисс Фолей на этой улице живет?

— Да, вроде бы. В четвертом доме, кажется... Только...

Он не кончил.

Джим притормозил, засунул руки в карманы и, посвистывая, зашагал дальше небрежной походкой. Вилли шел рядом. Пройдя третий дом, они посмотрели наверх. В одном из слабо освещенных окон кто-то стоял. Кажется, это был мальчишка лет двенадцати.

— Вилли! — одними губами позвал Джим. — Этот парень...

— Ее племянник?..

— Племянник, как же! Держи карман! Отвернись, может, он по губам читать умеет. Давай помедленнее. До угла, а потом — обратно... Ты лицо его видел? Глаза, Вилли! Они-то у людей не меняются, будь тебе хоть шесть, хоть шестьдесят. Лицо у него толь-в-точь как у мальчишки, но глаза-то — мистера Кутера!

— Нет!

— Да!

Они остановились. Вздрагивая от бешеных толчков под ребрами, Джим крепко взял Вилли за руку и повел.

— Неужто ты не помнишь, какие у этого Кутера глаза были, когда он нас подхватил? А потом этот тип чуть меня на де-

реве не увидел. Ух! Никогда не забуду! И вот сейчас, в окне, те же самые глаза. Давай еще разок пройдемся, и помедленнее, поспокойнее. Надо же как-то предупредить мисс Фолей, какая у нее плутка дома прячется.

— Постой, Джим, да как же ты предупредишь ее?

Джим не ответил. Только гляннул искоса зеленым сияющим глазом. Вилли опять, как уже бывало, вспомнил одного знакомого старого пса. Тот жил себе спокойно месяц за месяцем, но потом однажды наступал момент, и пес исчезал на несколько дней, а то и на неделю. Домой он возвращался весь в респях, прихрамывая, тощий, от него несло всеми помойками и болотами в округе. Можно было подумать, он для того только и выискивал места погрязнее, чтобы потом вернуться домой с глуповатой, смущенной улыбкой на морде. Отец звал его Платоном, в честь древнего философа. Как и Платон, пес, похоже, все знал и все понимал. Вернувшись на тропу добропорядочности, он месяцами не сходил с нее, но однажды все начиналось сначала. «И вот сейчас,— думал Вилли,— на Джима тоже накатило. Упи торчком, нос — по ветру, он что-то слышит внутри. Может быть, тиканье часов, отсчитывающих другое, нездешнее время? Вон у него даже язык длиннее стал. Ишь, облизывается...»

Они снова остановились возле дома мисс Фолей, но в окне никого не было.

— Давай поднимаемся, позвоним,— предложил Джим.

— Хочешь столкнуться с ним нос к носу?

— Надо же удостовериться. Лапу ему потрясти, в глаза посмотреть или куда там еще.

— Ты что, прямо при нем предупреждать ее будешь?

— Да зачем? Потом позвоним ей и все расскажем. Пошли!

Вилли вздохнул и покорился. Поднимаясь по ступенькам, он не знал, хочется ли ему, чтобы в этом мальчишке скрывался мистер Кутер.

Джим подергал дверной колокольчик.

— А если он откроет? — не удержался Вилли. — Знаешь, я так сдрейфил, что с меня пыль осыпается. А ты что, вовсе не боишься?

Джим с интересом изучил свои спокойные ладони, повертел их так и сяк.

— Да будь я проклят! — выдохнул он. — Ты в точку попал, не боюсь я.

Широко распахнулась дверь, и на пороге предстала улыбающаяся мисс Фолей.

— Джим! Вилли! Очень мило с вашей стороны!

— Мисс Фолей! — выпалил Вилли. — У вас все о'кей?

Джим в ярости взглянул на него.

— О! А почему бы и нет? — удивилась мисс Фолей.

Вилли сильно покраснел.

— Да мы просто... просто беспокоились. Эти проклятые карнавальные зеркала!

— Ерунда! Я уже и забыла о них. Может, войдете?

Она все еще распахивала перед ними дверь.

Вилли шаркнул ногой и уже собрался ответить, но замер. Занавеска позади мисс Фолей колыхнулась и обвисла, как темно-синий дождь, летящий наискось в дверном проеме. В том месте, где капли неподвижного дождя почти касались пола, торчали маленькие запыленные сапдалии. Где-то за занавеской слонялся, видно, и сам недавний злой беглец.

«Злой? — опять подумал Вилли. — Да откуда я взял, что он — злой? А впрочем, с чего бы ему не злым быть? Именно: злой мальчишка».

— Роберт? — Мисс Фолей обернулась к дождевой завесе. Потом она взяла Вилли за руку и ввела в квартиру. — Роберт, иди познакомься с моими учениками!

Сквозь синие дождевики просунулась песочно-розовая рука и словно пощупала, какая там, в прихожей, температура.

«Вот беда-то! — успел подумать Вилли. — Счас он как-как на меня глянет и тут же поймет все. У меня же эта карусель прямо в глазу отпечаталась, как... как от молнии!»

— Мисс Фолей, — с трудом произнес Вилли.

Сквозь тускло мерцающий занавес непогоды выглянуло розовое лицо.

— Мисс Фолей, мы должны сказать вам ужасную вещь...

Джим ударил его по руке. Сильно ударил. Вот уже следом за лицом и тело проскользнуло через текучий полотно. Мальчик. Стоит. А позади шуршит тихий дождь.

Мисс Фолей слегка подалась вперед, к Вилли. Она ждет. Джим больно ухватил за локоть, тряхнул. Вилли сбился; вспыхнул и вдруг выпалил:

— Мистер Крозетти!

Внезапно перед его мысленным взором совершенно отчетливо всплыла бумажка в окне парикмахерской. Там было написано: «Закрыто из-за болезни».

— Мистер Крозетти.— зачастил Вилли,— он... он умер!

— Как? Парикмахер?

— Парикмахер? — ахнул рядом пораженный Джим.

— Вот, видите? — Вилли зачем-то потрогал себя за голову.— Это он стриг. А сейчас мы шли там... и написано... а люди сказали...

— Какая жалость! — Мисс Фолей попыталась незаметно подтащить к себе поближе розоволицего мальчишку.— Мне, право, жаль. Мальчики, познакомьтесь, это Роберт, мой племянник из Висконсина.

Джим протянул руку. Племянник с любопытством исследовал ее.

— Чегой-то ты на меня уставился? — спросил он.

— Кого-то ты мне напоминаешь,— протянул Джим.

«Джим!» — мысленно завопил Вилли.

— О! Ты на дядюшку моего здорово похож,— нарочито спокойно закончил Джим.

Глаза племянника метнулись к Вилли. Что было делать? Пришлось сосредоточенно изучать пол под ногами. «Нельзя же, в самом деле, дать ему посмотреть мне в глаза,— думал Вилли.— Там же кто хочешь увидит эту сумасшедшую карусель!» Его так и подмывало напеть мотив той музыки-наоборот. «А все-таки надо,— думал он.— Пора. А ну-ка, посмотри на него!» Вилли поднял глаза и в упор взглянул на мальчишку. Бред, дичь, чушь собачья! Под качнулся под ногами и поехал в сторону. Розовая праздничная маска безупречно изображала милое мальчишеское лицо, а сквозь прорези странно светились глаза мистера Кутера, глаза пожилого человека, яркие, острые звезды, из тех, чей свет добирается до Земли миллион лет. Сквозь маленькие прорези для ноздрей входит теплый воздух, а вырывается ледяное дыхание мистера Кутера! И леденцовый розовый язычок —

точь-в-точь такие продают на праздник в День св. Валентина! — едва заметно шевелится, быстро-быстро, за розовыми сахарными зубами. Из-под маски зрачки мистера Кутера чуть слышно пошевеливались, как объектив у «Кодака»: линзы то вспыхнут, то пригасятся диафрагмой. Вот он нацелился на Джима. Щелк, щелк! Прицелился, навел фокус, щелкнул, проявил, высушил — и Джим лежит на своем месте в картотке. Щелк, щелк!

Но ведь это только мальчишка стоит в прихожей рядом с женщиной и двумя другими подростками... Джим тоже не сводит с него глаз. Лицо неподвижно. Он тоже фотографирует этого Роберта.

— Вы ужинали, мальчики? — пропела мисс Фолей.— А то давайте с нами. Мы как раз садимся...

— Нет, спасибо, нам пора идти.

Все уставились на Вилли, словно удивляясь, почему бы ему не остаться здесь навсегда.

— Джим,— забормотал Вилли,— у тебя ведь мама одна дома, она же ждет...

— Ой, верно,— с неохотой протянул Джим.

— А я знаю, как мы сделаем! — Племянник выдержал паузу, чтобы все повернулись к нему.— Приходите к нам на десерт, а?

— На десерт?!

— А потом я возьму тетю на карнавал.

Племянник погладил мисс Фолей по руке, и она нервно засмеялась.

— Как «на карнавал»? — подскочил Вилли.— Мисс Фолей, вы же говорили...

— Ах да, это глупость была, я напугалась,— произнесла неуверенно мисс Фолей.— Сегодня, в субботнюю ночь, самое время для карнавала. Я вот обещала Роберту показать окрестности...

— Ну, придете? — спросил Роберт, все еще не отпуская руку мисс Фолей.— Попозже?

— Здорово! — воскликнул Джим.

— Джим! — попытался вмешаться Вилли.— Нас ведь целый день дома не было. А у тебя мама больна.

— Да? Я и забыл.

Джим ядовито покосился на друга.

Щелк! Племянник сделал рентгеновский снимок их обоих. На этом снимке, конечно, видно, как трясутся холодные косточки внутри теплой плоти. Роберт протянул руку.

— Ну тогда — до завтра? Увидимся возле балаганов.

— Огаично!

Джим сгреб и потряс маленькую руку.

— Пока!

Вилли выскочил за дверь, постоял, качаясь, сделал отчаянное усилие и повернулся к учительнице.

— Мисс Фолей...

— Да, Вилли?

«Не ходите с ним никуда!» — думал Вилли. — Даже близко не подходите к балаганам. Сидите дома, ну пожалуйста!» Вслух же он сказал:

— Мистер Крозетти умер.

Она кивнула и пригорюнилась, наверное ожидая, что Вилли сейчас заплачет. И пока она ждала, Вилли выволок Джима наружу, и входная дверь отрезала их от женщины и мальчишки с розовым лицом и с глазами-объективами, которые все щелкали, фотографируя двух таких непохожих друг на друга ребят.

Пока они в темноте нащупывали ступени, в голове у Вилли снова завертелась карусель, зашелестела жестяная листва дубов. Он с трудом выговорил:

— Джим! Ты ему руку пожал, этому Кутеру! Ты же не собираешься встречаться с ним?

— Это Кутер, точно, — деловито заговорил Джим. — Глаза его. Эх, если бы я встретился с ним сегодня ночью, мы бы все выяснили. И какая муха тебя укусила, Вилли?

— Меня? Укусила?

Они добрались до конца лестницы и разговаривали яростным шепотом. Вот и улица. Оба задрали головы. В освещенном окне маячила маленькая тень. Вилли вдруг встал как вкопанный. Наконец-то музыка у него в голове выстроилась как надо. Он прищурился.

— Джим! А ты знаешь, что за музыка была, под которую молодец мистер Кутер?

— Ну?

— Это же обычный похоронный марш, только задом наперед!

Какой еще похоронный марш?

Какой, какой! Шопен написал.

А почему «задом наперед»?

— Да потому, что мистер Кутер не старел, ну, не к смерти шел, значит, а, наоборот, от нее. Он же все моложе становился, верно?

— Во жуть-то!

— Точно! — Вилли напрягся. — Он там! Вон, в окне торчит. Помахать ему, что ли? Пока! Пока! Давай, пошли. Посвисти-ка что-нибудь, ладно? Только уж не Шопена, пожалуйста.

Джим помахал рукой. И Вилли помахал. Они пошли по улице, насвистывая «О, Сюзанна...».

Тень в окне тоже помахала им на прощанье.

20

Два ужина давно остыли в двух домах. Один предок наорал на Джима, два — на Вилли. И того, и другого отправили спать голодными. Шторм начался в семь и кончился в три минуты восьмого. Хлопнули двери, звякнули замки, пробили часы.

Вилли стоял у двери в своей комнате. Телефон остался в прихожей. Эх! Даже если он позвонит, мисс Фолей, скорее всего, не ответит. Ее сейчас, наверное, уже и в городе-то нет. Да и что бы он сказал ей? Мисс Фолей, ваш племянник — не племянник? Мальчик на самом деле — не мальчик? Конечно, она засмеется. И мальчик как мальчик, и племянник как племянник. На вид по крайней мере. Вилли повернулся к окну. В окне своей комнаты маячил Джим. Видимо, он решал ту же проблему. Окно пока не откроешь, не посоветуешься. Рано еще. Родители внизу настроили свои локаторы, только и ждут, что бы еще добавить.

Оставалось завалиться на кровать, что они оба и сделали. Оба пошарили под матрасами — не завалась ли шоколадка, отложенной на черный день. Нашлось кое-что. Сжевали без особой радости.

Постукивали часы. Девять. Полдесятого. Десять. Щелкнула задвижка на двери Вилли. Это отец открыл.

«Папа! — подумал Вилли. — Ну зайди! Надо поговорить».

Отец тяжело вздохнул на лестнице. Вилли ясно представляла себе его расстроенное, не то смущенное, не то недоумевающее

лицо. «Нет, не войдет,— подумалось ему.— Ходить вокруг да около, говорить какие-то необязательные слова — это пожа-луйста. А вот войти, сесть и выслушать — этого не будет. А ведь тут такое дело...»

— Виали?..

Виали подобрался.

— Виали,— снова произнес отец,— будь осторожен.

— «Осторожен»! — так и взвилась мать визгу.— И это все, что ты собираешься ему сказать?

— А что я ему еще скажу? — проворчал отец, уже спуска-ясь по ступеням.— Он скачет, я — ползаю. Как тут равнять? Бо-же, иногда мне хочется...

Хлопнула входная дверь. Отец вышел на улицу.

Виали полежал секунду и метнулся к окну. Отец так неожиданно вышел в ночь. Надо предупредить его. «Не я,— думал Виали.— Не мне прозит опасность, не за меня надо беспокоить-ся. Это ты, ты сам останься, не ходи! Там опасно!»

Но он не открыл окна, не крикнул. А когда все-таки выгля-нул, улица была пуста. Теперь — ждать. Спустя некоторое вре-мя там, внизу, вспыхнет свет в библиотечном окне. Когда начи-нается наводнение, когда небесный огонь вот-вот рухнет на головы, каким славным местом становилась библиотека. Стел-лажи... книги, книги. Если повезет, никто тебя там не сыщет. Да где им! Они — к тебе, а ты — в Танганьике в 98-м году, в Каире 1812-го, во Флоренции в 1492-м!

«Будь осторожен...» Что отец имел в виду? Неужели он по-чувствовал? Может, даже слышал шальную музыку, ходил там, возле шатров? Да нет, никогда.

Виали кинул камешек в соседнее окно. Отчетливо было слышно, как он стукнул о стекло. И... ничего. Виали представил, как Джим сидит в темноте и прислушивается. Он бросил еще один. Стук. Тишина. Что-то не похоже на Джима. Раньше «звяк» еще звучал в воздухе, а рама уже взлетала вверх, и появлялась голова, из которой торчали во все стороны смешки, буйство, разбойные планы один другого хлеще.

— Джим! Да я же знаю, что ты там!

Стук. Молчание.

«Отец в городе. Мисс Фолей — и с кем! — тоже там,— все быстрее думал Виали.— Господи боже, Джим, надо же срочно

сделать что-то!» Он швырнул последний камешек. Стук. Слыш-но было, как отскочивший от окна камешек упал в траву. Джим-лик и не появился. «Ладно», — подумал Виали и с досадой хлоп-нул ладонью по подоконнику. Ладно. Он лег в кровать и вытя-нулся. Холодно. Неподвижно.

21

В аллее за домом издавна был настелен деревянный тротуар из пиленных сосновых досок. Видно, его уложили еще до то-го, как изобрели противный безответный асфальт. Еще дед Ви-али, молчаливый, неукротимый старик, все дела которого сопрово-ждались шумом и громом, с дюжиной других умельцев на все руки продолжил деревянный настил футов на сорок. Дожди, солнце и ветер потрудились над ним, и теперь доски напоми-нали остов какого-то доисторического чудища.

Часы в городе пробили десять.

Лежа в постели, Виали думал о трудах деда и ждал, когда на-стил заговорит. Не было еще такого, чтобы мальчишки чинно подходили к дому по дорожке и звонили в дверь, вызывая дру-зей. Что, других способов нет? Можно бросить камешек в окно, можно желудь на крышу, можно запустить под окно приятеля воздушного змея, изобразив на нем таинственный знак. Да ма-ло ли что! Джим с Виали не составляли исключения. Поздними вечерами, если попадалась могильная плита, чтобы поиграть в чехарду, или дохлая кошка, чтобы спустить на веревке в камин какому-нибудь зануде, кто-то один из них прокрадывался под луной за дом и там плясал, как на ксилофоне, на древнем, гул-ком, музыкальном настиле.

Они долго настраивали тротуар. Отодрали доску «ля» и по-меняли ее местами с «фа», внесли еще кучу усовершенствован-ний, и наконец дорожка зазвучала как надо. По той или иной мелодии можно было сразу догадаться о предстоящей ночной экспедиции. Если Джим вытанцовывал «Вниз по речке», зна-чит, собрался на берег, к пещерам. Если Виали ошпаренным терьером скакал по доскам, извлекая из них подобие «Марша через Джорджию», это означало, что за городом поспеши саивы, персики или яблоки и пора идти в набег.

Вот и этой ночью Вилли затаил дыхание, ожидая, куда позовет его деревянная музыка. Что сыграет Джим, изображая карнавал, мисс Фолей, мистера Кутера и розового племянника?

Десять с четвертью. Пол-одиннадцатого. Все тихо.

Вилли это не нравилось. О чем там думает Джим у себя в комнате? О Зеркальном лабиринте? О том, что увидел там? Ну и что он задумал теперь? Вилли беспокойно заворочался. Ему не понравилась мысль о том, что между карнавальными балаганами в темных лугах и Джимом не может встать отец Джима. А мать? Она так хочет удержать его при себе, что Джиму волей-неволей приходится удирать из дома, нырять в вольные ночные воды, уносящие вперед, к дальним свободным морям.

«Джим! — подумал он. — Ну давай!»

И в десять тридцать пять ксилофон ожил. Вилли показалось, что Джим высоко подпрыгивает, как мартовский кот на крыше, и шапается на досках, добывая из них подобие погребальной песни, сыгранной наоборот старой карнавальной каллионой.

Вилли уже потянул раму вверх, когда лунный блик скользнул по открывающемуся окну Джима.

Значит, это не он на досках? Значит, Вилли только понадеялось то, что он хотел услышать? Он уже готов был окликнуть Джима, но промолчал. Джим беззвучно скользил по водосточной трубе.

«Джим!» — мысленно позвал Вилли.

На лужайке под окнами Джим замер, словно услышал свое имя.

«Ты же не уйдешь без меня, Джим?»

Джим быстро взглянул вверх. Если он и увидел Вилли в окне, то ничем не показал этого.

«Джим, — думал Вилли, — ну мы же друзья пока. Ведь кроме нас с тобой, никто не услышит того, что слышим мы. Мы одной крови, и дорога у нас одна. И вот ты уходишь, бросаешь меня. Как же так, Джим?»

Дорожка уже опустела. Словно саамандра мелькнула за оградой. Вилли уже спускался вниз. Мысль догнала его, когда он перемахивал через забор. «Господи! Я ведь один. Это же первый раз я один ночью! И куда я иду? За Джимом. Господи! Помоги мне не сбиться с дороги!»

Джим летел над дорогой, как сова за мышью. Вилли мчался ширипрыжку, как охотник за совами. Тени скользяли за ними через октябрьские лужайки. И когда они остановились, перед ними оказался дом мисс Фолей.

22

Джим оглянулся. Вилли тотчас превратился в куст, точно такой же, как те, среди которых он затаился, в ночную тень с едва заметно поблескивающими глазами, да и глаза застыли, остановившись на фигуре Джима.

— Эй, эй, там! — шепотом звал Джим, подняв лицо к окнам второго этажа.

«Ну и дела, — думал Вилли. — Смотри-ка, он же сам нарывается, сам хочет, чтобы его заманили и расцепили там, в лабиринте».

— Эй! — тихо зывал Джим. — Эй, вы там!

На фоне едва освещенного ночником окна мелькнула тень, невысокая такая тень... Значит, племянник с мисс Фолей уже вернулись. «Божж, — думал Вилли, — надеюсь, она вернулась тоже. А если она, как торговец громоотводами...»

— Эй!

Джим смотрел вверх, и взгляд у него был такой же, как возле Театрального Окна в доме исподальку отсюда. С любовью, с преданностью даже Джим ждал, словно кот, не выпянет ли из окна какая-нибудь темная мышка. Сначала он стоял ссутулившись, а теперь, казалось, становился все выше, можно подумать, его тянуло что-то там, в окне. А ведь в нем нет никого. «Это» исчезло.

Вилли стиснул зубы. Казалось, тень струится через дом, он чувствовал ее ледяные вздохи. Он не мог больше ждать. Вилли кинулся из кустов вперед и схватил Джима за руку.

— Джим!

— Вилли! Ну ты-то что тут делаешь?

— Джим, не говори с ним, не надо. Пошли отсюда. Господи, да он же проглотит тебя, хорошо, если косточки выпалют.

Джим вырвал руку.

— Вилли! Иди домой. Ты же мне все испортишь.

— Джим, я его боюсь. Чего тебе от него надо? Ты что-нибудь видел... там, в лабиринте?

— Ну видел.

— Но что? Ради бога, что ты видел?

Вилли поймал Джима за рубашку на груди и на мгновение ощутил, как колотится о грудную клетку сердце.

— Уходи! — Голос Джима звучал жутко спокойно. — При тебе он не выйдет. Вилли, если ты не уйдешь, я тебе припомню... потом.

— Когда это «потом»?

— Проклятье! Когда стану *старше*, вот когда!

Вилли отпрянул, словно рядом ударила молния.

— О Джим... — проговорил он.

Он почти слышал стремительный бег карусели в темных водах ночи, почти видел Джима на черном деревянном жеревце, себя самого почти одеревеневшего в тени под деревом. Ему хотелось кричать: «Смотри! Вот ты на карусели! Она крутится вперед, ты этого хотел, да? Вперед, а не назад! И ты на ней. Смотри: раз проехал — тебе пятнадцать, еще круг — уже шестнадцать, еще три — девятнадцать! И музыка играет правильный похоронный марш! А тебе уже двадцать, и ты сходишь с карусели, высоченный такой, совсем не тот Джим, которому почти четырнадцать и с которым я, зеленый от страха, стою посреди ночной улицы».

Вилли развернулся и ударил Джима. Врезал ему прямо по носу. Потом бросился на него, повалил и поволок в кусты. Он зажимал Джиму рот и затапливал все дальше...

Открылась парадная дверь.

Вилли навалился на Джима сверху, придавил, не давая дышать, все еще зажимая рот. Что-то стояло на крыльце. Оно крутило головой, искало Джима и не могло найти.

Да нет, это же маленький мальчишка, Роберт, племянник. Поза небрежная, руки в карманах, насвистывает чуть слышно. Просто вышел подышать перед сном. Вилли некогда было особенно раздумывать — он держал вырывавшегося Джима, — и все-таки его поразил вид самого обычного мальчишки: веселая маленькая личность, в которой сейчас, ночью, и следа не отыщешь от взрослого дядьки.

Он бы запросто мог сигануть к ним в кусты и возиться с ними, как маленький щенок, и хохотать, а потом, может быть, и заплакать даже, если поцарапается каким-нибудь сучком, и

страх растаял бы, улетучился, превратился бы в дурной сон, в воспоминание о дурном сне... Но ведь правда же — простой маленький мальчишка, самый настоящий племянник, свежий, как персик, смугло-розовый... Вот он уже увидел их, сцепившихся намертво, вот улыбнется сейчас...

Роберт стремительно метнулся в дом. Джим и Вилли все еще хватили, крутили, жали и мяли друг друга, а племянник уже вылетел обратно, перемахнул через перила, четко впечатавшись в собственную тень на траве. В руках у него было полно звезд. Они так и сыпались вокруг. Золото, бриллианты падали в траву возле сжимавших друг друга в объятиях Вилли и Джима.

— Помогите! Полиция! — заорал Роберт.

Этот вой так потряс Вилли, что он выпустил Джима. Джим был потрясен не меньше и выпустил Вилли. Оба одновременно коснулись холодного рассыпанного... металла.

— Во дела! Браслет!

— Ха! Кольцо! Ожерелье!

Роберт на бегу ловко сшиб два мусорных бака на утау. Они с грохотом повалились, рассыпая мусор на мостовую. Наверху, в спальне, вспыхнул свет.

— Полиция! — снова заорал Роберт и швырнул ребятам под ноги последнюю сверкающую пригоршню. Потом одним движением смахнул с персикового лица улыбку и дунул по улице.

— Стой! — подскочил Джим. — Стой! Мы тебя не тронем.

Вилли поймал Джима за ногу и уронил на землю.

Отворилось окно. Мисс Фолей выглянула. Джим стоит на коленях и держит в руках женские наручные часы. Вилли глупо моргает с ожерельем в руках.

— Кто там? — закричала мисс Фолей. — Джим? Вилли? Чем вы там заняты?

Но Джим уже уносился вдаль по ночной улице. Вилли подождал ровно столько, чтобы дать мисс Фолей кинуться в соседнюю комнату и обнаружить кражу. Он услышал вопль.

Уже на бегу Вилли сообразил, что племянник именно этого и хотел от них. Надо бы вернуться, собрать браслеты, часы и камни, объяснить все мисс Фолей. А как же Джим? Его же спасти надо!

Позади все кричала мисс Фолей. Зажигались огни.

— Вилли Хэллоуэй! Джим Найтмед! Ах вы, воры ночные!

«Это про нас,— думал Вилли на бегу.— О боже, ведь это про нас! Теперь никому ничего не докажешь, что бы мы ни сказали: про карусель, про зеркала, про племянника, никто же теперь не поверит!»

Так они и бежали, три зверя под ночными звездами. Черная выдра. Уличный кот. Кролик.

«Я — кролик,— подумалось Вилли,— белый испуганный кролик!»

23

Они вырвались на лут со скоростью около двадцати миль в час и с разрывом в милю. Впереди — племянник, за ним, настигая, Джим и, наконец, все больше отставая, Вилли.

Племянник, похоже, не на шутку стухнул и больше не улыбался. Он бежал, часто озираясь через плечо.

«Одурчили его,— устало думал Вилли.— Он-то рассчитывал, я останусь, полицию вызовут, я объяснять начну, мне, конечно, не поверят, или, может, он думал, я смоюсь потихоньку. А теперь он меня боится, я же изобью его в кровь, вот он и рвется к своей карусели, хочет накрутить лет десять—пятнадцать. Ой, Джим, мы же должны сохранить его молодым, надо же содрать с него эту шкуру».

Но по тому, как бежал Джим, Вилли видел: Джим ему не помощник. Джим не за племянником бежал. У него впереди была бесплатная аттракцион. Вот племянник скрылся между шатрами. Джим следом. Когда Вилли добежал, карусель уже дергалась, оживая. Музыка спросонья билась, грохотала, взвизгивала, а племянник со своим персиковым лицом уже ехал на большом круте в вихрях полуночной пыли.

Футах в десяти стоял Джим. Глаза у него были точь-в-точь как у дикого черного жеребца, что пропалывал мимо. Карусель двигалась *вперед*. Джим подошел вплотную к разгоняющемуся круту. Племянник пропал из виду, а когда появился вновь, то уже протягивал Джиму розовые пальцы и приговаривал, словно мурлыкал:

— Джим?..

Джим подался вперед.

— Нет! — завопил Вилли и кинулся на Джима.

Ударил, схватил, удержал. Они снова сцепились, рухнули в пыль.

Удивленный племянник вынесся из тьмы, став на год старше. «На год,— успел подумать Вилли,— плохо дело. Ведь это не только выше, но и сильнее, умнее на год». Он отпихнул Джима.

— Скорее! — и бросился к пульта, сплошной головсомке из медных рычагов, фарфоровых ручек и шипящих проводов.

Он уже схватился за переключатель, но набежал Джим и повис на руке.

— Вилли! Не тронь! Сломаешь.

Джим дернул переключатель обратно. Вилли повернулся и двинул Джима локтем. Они опять сцепились друг в друга, но на этот раз быстро устали и повалились на землю возле пульта.

Противный мальчишка, повзрослевший еще на год, пронесся у Вилли перед глазами. Еще пять-шесть кругов, и он перегопит их обоих.

— Джим! Он же убьет нас!

— Нет, не меня.

Вилли ударило током. Он взвыл, подскочил и дернул переключатель. Пульт палнул в него синим огнем. Откуда-то из недр вылетела молния. Рсбят разбросало ударом, и они, слегка ослепленные, асжа наблюдали за резко набравшей скорость каруселью. Мимо снова просвистел племянник, постаревший еще на год. Он ругался почему зря. Он плевался, как павиан. Он боролся с ветром, цепляясь за медный стержень, сопротивляясь все растущей центробежной силе. Он пытался пробиться через коней и зобр к внешнему краю. Он приезжал, уезжал, приезжал, уезжал, цеплялся и вопил. Из пульта сыпался сплошной каскад сиреневых искр. Карусель вздрагивала и взбрыкивала. Вот племянник промахнулся рукой мимо стержня и упал. Копыто черного жеребца задепило его по лицу. На лбу появилась кровь.

Джим рвался к пульта. Вилли оседлал его и прижимал к земле. Оба были бледны до синевы. Теперь уже из недр пульта вылетали целые фейерверки. Карусель сделала тридцать оборотов, сорок («Ладно, Вилли, дай я встану»), пятьдесят оборотов. С последним клубом пара взвыла каллиона, засипела и вовсе потеряла голос. Шипящая ослепительная дуга встала над остатками пульта, она словно заботилась о животных, несущихся по кругу, освещала им путь. Где-то среди зверей затерялся уже не

мальчик, и даже не мужчина, а куда больше, намного больше, и даже еще больше того... все по кругу, по кругу.

— О Вилли! Он же теперь... он... — Джим вдруг всхлипнул. Он уже ничего не мог сделать, во всяком случае вот так, придавленный к земле, со стиснутыми руками. — Да отпусти же ты меня, Вилли! Мы должны заставить ее крутиться назад!

В патрах начали появляться огни, но пока еще никто не выходил. «Почему? — думал Вилли. — Почему никого нет? Тут взрывы, грохот, музыка эта безумная — и никого. Где мистер Дарк? Ушел в город? Готовит какую-нибудь новую пакость?»

Фигура на карусельном круге билась в агонии. Сердце у Вилли тоже пыталось нащупать какой-то лихорадочный ритм: быстро, очень быстро, медленней, медленно, опять быстро, невероятно быстро, опять медленно, совсем медленно, так медленно опускается луна в конце белой зимней ночи.

Там, на карусели, едва слышный стон.

«Слава богу, темно, — подумалось Вилли. — Слава богу, не разглядеть ничего. О! Там ходит кто-то, сюда идет».

Выцветшая тень на вихляющемся круге пыталась удержаться на какой-то незримой грани, но было поздно, уже поздно, совсем поздно, о, слишком поздно. Карусель со свистом рассекала воздух, она словно высасывала из пространства остатки солнечного света, смеха, чувств, а вокруг все шире расплзались тьма и стужа.

В последнем приступе рвоты пульт управления напрочь оторвался от машинной коробки. Карусельные огни мигали и гасли один за другим. Круг постепенно замедлял свой безумный бег. Вилли отпустил Джима. «Сколько же раз она повернулась? — подумал он. — Шестьдесят? Восемьдесят? Девяносто?»

«Сколько?» — спрашивали глаза Джима.

Карусель сотрясали судороги. Она остановилась. Круг замер, и по его фатальной неподвижности сразу становилось понятно: ничто больше, ни сердца, ни руки, ни головы, не вернет карусель к жизни.

Ребята встали и медленно подошли. Подошвы пошаркивали, словно делились друг с другом впечатлениями.

Что-то лежало с ближней стороны на деревянном полу. Лица не видно. С платформы свисала рука. Она могла принадлежать кому угодно, только не мальчишке. Большая, будто об-

тянутая пергаментом, сморщенным от огня. У человека на деревянном круге были длинные-длинные, спутанные ветром белые космы. Ребята наклонились над ним. Глаза закрыты и как будто ссохлись. Нос заострился — так обтянула его кожа. Губы выцветшими лепестками едва прикрывали сжатые зубы. Тело под одеждой казалось тлеющим, но совсем не по-детски. Это был старик, но не обычный старый человек, умерший лет в девяносто, или очень старый, доживший до ста десяти, нет, это был какой-то совершенно ветхозаветный старик невозможных лет.

Вилли тронул тело. Человек был холоден, как лягушка-альбинос. От него исходил едва различимый запах ночных болот и древних египетских гробниц, наверное, так пахли полотнища, в которые заворачивали набальзамированных фараонов. Какой-то музейный экспонат, вынутый из витрины.

И все же он был еще жив. Он слабенько поскуливал и продолжал усыхать на глазах, быстро, очень быстро.

Вилли выскрикнуло наизнанку прямо у края платформы. А потом они бежали, подсаживая друг друга, с трудом загребая стопудовыми подошвами чужие листья, окаменевшую траву и свинцовую пыль...

24

Одиноким жестяной фонарь у перекрестка окружило облачко мотыльков. Неподалеку чуть слышно шипела старая газовая будка. Двое мальчишек забились в тесную телефонную кабину. Они крепко держались друг за друга и вздрагивали при каждом ночном шорохе.

Вилли повесил трубку. Полиция и «скорая помощь» должны были прибыть с минуты на минуту.

Поначалу они с Джимом хриплым шепотом строили самые невероятные планы. Они сейчас пойдут домой, лягут спать, уснут и все забудут. Нет! Отправятся на товарном поезде на запад. Нет! Ведь если мистер Кугер сообразит, что это они его так отделали, тот старик, та египетская мумия, в которую он превратился, будет гоняться за ними по всему свету, рано или поздно догонит и разорвет в клочки. Так, споря и трясясь, они и оказались в телефонной кабине, и вот уже мимо с включенной сиреной

пробирается полицейская машина, а за ней и «скорая помощь». В обеих машинах заметили перепуганных пацанов, стучащих зубами в мутном от мотыльков свете фонаря.

А три минуты спустя машины уже мчались вперед, Джим показывал дорогу и болтал при этом без умолку.

— Да жив он, точно! Должен быть жив. Мы же не хотели вовсе. Ей-богу, жаль, что так получилось!

Он устался на черные шатры и замолчал.

— Не дрейфь, приятель.— пробасил полицейский.— Пошли.

Двое полицейских в темно-синем, двое санитаров в призрачно-белом и двое мальчишек не поймешь в чем в последний раз повернули, оглябая «чертовое колесо», и остановились перед каруселью.

Джим застонал сквозь зубы.

Кони окаменело взвизывали в ночь на полном скаку. Звездный свет мерцал на медных копытах. И больше — ничего.

— Он ушел.

— Был он здесь, клянемся! — горячо заговорил Джим.— Ему лет сто пятьдесят было, а то и двести, он и умирал от этого.

— Джим,— тихонько сказал Вилли.

Четверо мужчин беспокойно озирались.

— Может, его в шатер отнесли,— предположил Вилли.

Полицейский взял Джима за локоть.

— Ты говоришь, лет сто пятьдесят? — спросил он.— А почему не триста?

— Да может, и триста! — взрыдал Джим. Он повернулся и крикнул: — Мистер Кутер! Мы помощь привели!

На Шатре Чудес мигнули огни. Черные полотнища знамен хлопали и трепетали перед входом. Полицейские посмотрели вверх. «МИСТЕР СКЕЛЕТ. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА. СОКРУШИТЕЛЬ. ВЕЗУВИО, ПЬЮЩИЙ ЛАВУ», — танцевали огромные буквы, каждая на отдельном вымпеле.

Джим помедлил и снова позвал:

— Мистер Кутер! Вы... там?

Флаги в ночном воздухе вздохнули. Шатер выдохнул теплый львиный дух.

— Ну что? — спросил полицейский.

Джим, задржав голову, читал появлявшиеся на флагах буквы.

— Они говорят: «Да». Они говорят: «Входите».

Джим шагнул вперед. Остальные вошли за ним. Внутри им пришлось перешагнуть через скрещенные тени от шестов, пригравшие дорогу к высоким чудным подмосткам. Там за карточным столиком собралась невиданная компания. Карты в руках и на столе переливались оранжевым, ярко-зеленым и солнечно-желтым цветами. На них можно было разобрать изображения каких-то бледных зверей и крылатых людей. Игроков было четверо: подбоченившийся Скелет, Дутик, которого спускали каждую ночь и надували каждое утро, уродливый лилипут по имени Бородавка, а рядом с ним и вовсе какая-то мелюзга, то ли гном, то ли урод, не поймешь, вцепился в карты узловатыми, изуродованными артритом пальцами.

Стоп! Карлик! Вилли насторожился. Что-то там было насчет рук... Знакомые руки... Кто? Когда? Где? Ладно, не вспомнить. Он перевел взгляд в глубину шатра. Там стоял сеньор Гильотини при полном параде. Весь в черном, в черных сапогах до колен, черный капюшон на голове, — стоит возле своего детища и руки на груди сложил. Голодный гильотинный нож высоко поднят — сплошные блики и метеорный блеск. Так и хочет ринуться вниз. А там уже приготовлена кукла. Асжит и ждет своей участи. Еще дальше стоит Сокрушитель — сплошные железные мышцы и стальные жилы, хоть сейчас готов сокрушить кому-нибудь челюсть или согнуть подкову. Тут же расположился и Везувио с истертым языком и сожженными зубами. Больше того, он находился при исполнении обязанностей и как раз допивал каменную чашу с лавой. По своду шатра перебежали багровые и малиновые отсветы. Неподалеку, каждый в своей будке, тридцать других уродцев наблюдали за игрой огней, дюжиной маленьких огненных солнц, бегавших над краями чаши. Везувио заметил посетителей и вылил остатки в бочку с водой. Шархнулся пар. Все застыло. Даже противный зудящий звук, с самого начала наполнявший балаган, смолк.

Вилли быстро оглянулся. На большом помосте у дальней стены с полосатым шерпием в руке стоял обнаженный до пояса мистер Дарк, Человек-в-Картинках. Вытатуированные орды струились по его плечам. Используя шерпие как иглу, он завершал очередной рисунок на левой ладони. Насекомое пере-

стало жужжать, мистер Дарк повернулся к вошедшим. Но Вилли смотрел не на него.

— Вот он! Вон мистер Кугер!

Полицейские и санитары засуетились. За спиной мистера Дарка помещался «электрический стул». Зажатый его проводами и скобами, сидел давешний старик. Там, на сломанной карусели, он выглядел каким-то скомканным, а здесь его распрямили, и он важно ожидал удара молнии от своего последнего трона.

— Это он! Это он... умирал на карусели!

Долговязый Скелет обернулся от стола. Дутик и вовсе вскочил. Бородавка по-блошиному сиганул в кучу опилок. Карлик выронил карты и принялся вращать пустыми идиотскими глазами.

«Да я знаю его! — понял Вилли. — Боже! Что они сделали с ним! Продавец громоотводов — вот это кто! Каким же ужасным кодовством вбили его в эту скрюченную плоть недомерка? Торговцу громоотводами...»

Но тут его мысли прервали два события, случившиеся с замечательной слаженностью. Сеньор Гильотини прокапался и дернул рычаг. Лезвие ястребом скользнуло вниз. Шест-стук-хруст-удар! Отсеченная голова куклы упала в корзину. Вилли мог бы поклясться, что лицо куклы, как в зеркале, напоминает его собственное, но ни за какие коврижки он не полез бы в корзину проверять свое подозрение. За этим событием последовало другое.

Механик, копавшийся в механизме застекленной, похожей на гроб будки, нажал на что-то. Щелкнул какой-то зубец под вывеской: «Мадемуазель ТАРО*. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА». Восковая фигура в стеклянном гробу кивнула головой и проследила за натянутыми черной паутиной незрячими глазами за проходившими мимо мальчишками. Холодная восковая рука стряхнула на край гроба ПЫЛЬ СУДЬБЫ. Это была отлично сработанная кукла, и полицейские заулыбались, оценив представление сеньора Гильотини и Пыльной Ведьмы. Стражи порядка уже расслабились и, похоже, не очень-то сетовали по поводу ночного вы-

* Карты Таро — древнейшие из сохранившихся игральные и гадальные карт. Завезены в Европу цыганами в XIV в.

хода в это забавное царство акробатов и потрепанных волшебников.

— Джентльмены! — звучно произнес мистер Дарк, и все скопище картинок на нем словно бросилось в атаку. — Добро пожаловать! Вы успели вовремя. Мы как раз репетируем новые номера.

Мистер Дарк взмахнул рукой, и чудовища у него на груди осклали зубы и обнажили клыки. На животе дернулся цикаоп с пупком на месте глаза.

«Господи, — подумал Вилли, — не то он таскает на себе всю эту ораву, не то она тащит и толкает его в разные стороны». Вилли чувствовал, что не только глаза полицейских и санитаров не в силах оторваться от волшебных картинок, шевелящихся на коже мистера Дарка. Все уродцы в шатре точно так же зачарованы жизнью этой толпы, этого человеческого и звериного скопища, требующего ежесекундного внимания.

В груди мистера Дарка проснулся орган. Из глубины поднялся звук, словно разом заговорили все картинки на его потной коже. Мышцы заиграли, и полчища обезумели. Их буйство словно передалось другим уродам в шатре. Они задрожали в своих будках, на своих помостах, но и Вилли с Джимом чувствовали, как голос мистера Дарка отдается у них в спинном мозге, гнет к земле, превращает в уродов.

— Джентльмены! — гремел мистер Дарк. — Уважаемые молодые люди! Мы как раз завершили наш новый номер, и вы можете стать его первыми зрителями!

Один из полицейских, небрежно положив руку на кобуру, прищуренным глазом обвел шатер.

— Вот парень говорит...

— Говорит?! — захохотал мистер Дарк.

Уродцы подскочили и забились в припадке. Мистер Дарк слегка похлопал и огладил свои картинки, и существа в шатре тут же затихли, словно их тоже похлопали и огладил.

— О чем он может говорить? — пренебрежительно произнес мистер Дарк. — Что он мог видеть? Эта публика часто путается на представлениях. Стоит выскочить уроду — и он уже задал стрекача. Но этой ночью, этой ночью особенно...

Полицейский, не слушая, показал пальцем на мумию, восседавшую на «электрическом стуле».

— Это кто?

— Этот?

Вилли заметил огонь, метнувшийся в глазах мистера Дарка. Впрочем, Человек-в-Картинках тут же взял себя в руки.

— Это наш новый номер: мистер Электрико!

— Нет! — завопил Вилли, и все повернулось к нему. — Вы только посмотрите на старика! Разве вы не видите? Он же мертвый! Его же только эти скобы да провода и держат!

Санитары как-то скептически посмотрели на узника «электрического стула».

«О черт! — подумал Вилли. — Мы-то думали, все будет просто. Мистер Кутер умирает, а мы — вот они, с врачами, и они его спасают, а он тогда, может быть, простит нас, и этот чертов Карнавал нас отпустит. А что получается? Старик уже мертв. Слишком поздно. И все нас ненавидят».

Вилли чувствовал холод, расходившийся от непогребенной мумии, от холодного рта, от смерзшихся век. Ни один седой волосок не шелохнется. Ребра под опавшей рубашкой каменно-неподвижны. Землистые губы словно из сухого льда. Вытащи его паружу — от него пар пойдет!

Санитары переглянулись, кивнули полицейским. Те шагнули вперед.

— Джентльмены! — Мистер Дарк рукой, украшенной жутким тарантулом, ухватил рукоятку рубильника. — Сейчас на ваших глазах сто тысяч вольт пронизуют тело мистера Электрико!

— Нет, не позволяйте ему! — закричал Вилли.

Полицейские сделали еще по шагу вперед. Санитары открыли рты, собираясь сказать что-то. Мистер Дарк метнул на Джима властный взгляд. И Джим тут же крикнул:

— Да нет! Все в порядке!

— Ты что, Джим?!

— Брось ты, Вилли, все нормально.

— Всем отойти! — Тарантул впился в рубильник. — Этот человек в трансе! Я загипнотизировал его. Нельзя нарушать чары, это может ему повредить.

Санитары закрыли рты. Полицейские остановились.

— Сто тысяч вольт — и после этого он будет как огурчик!

— Нет!

Полицейский сгреб Вилли. Человек-в-Картинках и все твари, населявшие его, повернули рубильник. Тотчас огни в шатре погасли.

Полицейские, санитары, мальчишки разом подскочили. «Электрический стул» превратился в камин, в нем, как сухое полено, похлал старик. Полицейские отпрянули, санитары подались вперед. Уроды в клетках вытянули головы. Синий огонь плясал, отражаясь, во множестве глаз.

Старик был мертв как камень. Но теперь в него вливалась новая, электрическая жизнь. Электричество кипело на его ушных раковинах, мельтешило в глубоких ноздрах, словно в пересохших колодцах, выложенных камнем, вылезало синими змеечками в скрюченные пальцы.

Рот Человека-в-Картинках открыт. Наверное, он кричит что-то. Никто не слышит его за шипением, треском и маленькими взрывами энергии. Она везде: вверху, внизу, справа, слева от человека и его кресла-тюрьмы.

«Оживай!» — гудит вокруг.

— Оживай! — кричат грозовые разряды.

— Оживай! — вопит мистер Дарк, и слышит его только Джим, читающий по губам.

Вилли тоже понимает: воля мистера Дарка толкает старца, пытается пересоздать его заново, отодрать душу, растопить восковой дух...

— Он же мертвый!

Нет, никто не слышит Вилли, как ни надрывайся, как ни перекрикивай грохот молний.

— Живой!

Губы мистера Дарка приоткрылись. Живой! Оживает. Он передвинул переключатель в последнюю, крайнюю позицию. Жив! Где-то надсадно выли динамо-машины, скрипели, визжали, выдавая дьявольскую энергию. Свет стал бутылочно-зеленым.

«Мертвый! Мертвый!» — думал Вилли.

«Живой! Живой!» — кричали машины, воняли огонь и молнии, выкрикивали глотки орды сине-багровых тварей, усеявших разрисованное тело.

У старца встали дыбом волосы на голове. С ногтей стекали на пол искры. Зеленый горячий огонь трепетал возле сомкнутых век.

Человек-в-Картинках наклонился над старым-престарым, мертвым-премертвым человеком. Стаи зверей тонули в поту на груди. Рука с тарантулом рубила воздух, задавая ритм: жи-ви! жи-ви!

И старец ожил. Вилли взвыл дурным голосом, но его никто не услышал. Все неотрывно следили за тем, как медленно, под напором электрического пламени поднимается мертвое веко.

Уродцы разинули рты. Где-то рядом маялся Джим. Вилли не глядя поймал его за локоть и почувствовал крик, отдававшийся в костях. Губы старика приоткрылись. Между зубами мечется и ллпит синий огонь. Человек-в-Картинках уменьшил ток. Повернулся. Картинно припал на колено и вытянул руку.

Там, в кресле, у старика на груди чуть шевельнулась рубашка. Словно осенний лист ворохнулся под тонкой тканью.

Уродцы разом выдохнули.

Старец вздохнул.

«Да,— подумал Вилли,— это они дышат за него, они делают его живым». Вдох, выдох, вдох, выдох. Да ну, это не по правде. Он же не сможет ничего сказать, сдсать.

— ...Теперь легкие, так, так,— прошестел чей-то голос за спиной Вилли.

Кто это? Пыльная Ведьма в своем стеклянном гробу? Вдох. Уродцы перевели дух. Выдох. Их плечи поникли. Губы старца задрожали.

— ...Теперь сердце бьется... раз, два, раз, два, так.

Опять Ведьма? Вилли не мог заставить себя оглянуться.

Возле ключицы старца запульсировала жилка. Правый глаз открылся полностью, замер, как сломанная фотокамера. Зрачок казался бездонной дырой. Но он теплел с каждой секундой. Зато мальчишки внизу холодели.

Вот древний и ужасно мудрый кошмарный глаз ожил на фарфоровом лице, а откуда-то с самого дна противный пламянничек уже разглядывал уродцев по стенам, санитаров, полицейских и... и Вилли.

Вилли видел себя и Джима — маленьких, крошечных, отраженных в этом единственном глазу. Он затаил дыхание. Если старец моргнет, два отражения будут раздавлены чужими веками!

Человек-в-Картинках повернулся к зрителям и ослепительно улыбнулся.

— Джентльмены! И вы, мои юные друзья! Перед вами человек, живущий с молнией!

Один из полицейских рассмеялся и снял руку с кобуры.

Вилли шмыгнул направо. Глаз тотчас же последовал за ним. Вилли юркнул налево. Скользящий взгляд преследовал его неотступно, губы мумии дрогнули и пропустили звук. Кажется, он долго блуждал в недрах окаменелого тела, прежде чем проложить дорогу на волю.

— Бла-го-да-рен-нин...

Слова проваливались обратно в глубину.

— Благодарен-нин...

Полицейские с улыбками переслаивались.

— Нет! — снова выкрикнул Вилли. — Он же не живет. Если выключить ток, он опять будет мертвым!

Он сам зажал себе рот рукой. «Господи! — подумал он. — Что это я? Я ведь хочу, чтобы он ожил, ожил и простил нас, отстал от нас! Но еще сильнее я хочу, чтобы он умер, чтобы они все тут поумирали. Ну что они меня путают? У меня же от страха в животе клубки какие-то катаются... как кошки...»

— Простите меня,— прошептал он.

— Не за что! — воскликнул великодушный мистер Дарк.

Уродцы суматошно моргали и таращились. Что там дальше с этой мумией в холодном испепеляющем кресле?

Щеки старца запали, внутри что-то булькало. Человек-в-Картинках снова дернул рубильник. Поток электричества с шипением пробежал по дряхлому телу. Мистер Дарк бешено ухмыльнулся и вложил в безвольную руку стальной меч. Открылся второй глаз, быстро, как дырка от пули, тут же нащупал Вилли и уже не выпускал больше.

— Я сссмотрел,— шипели губы мумии,— мальчишки шатаются у шатра.

Пересохшие мехи быстро наполнялись, потом, словно проткнутые шилом, отдавали воздух со слабым всхлипом.

— Мы... ремонтировали, и я прикинулся мертвым...

Снова пауза, чтобы глотнуть кислородного зля, электрического вина.

— Я сваился, как будто умер... они завизжали... и бежать! — Старик засмеялся. Он выдыхал каждый звук отдельно: — Ха! — Пауза. — Ха! — Опять пауза. — Ха!

Электричество обметало шелестящие губы.

Человек-в-Картинках деликатно покашлял.

— Джентльмены, представление утомило мистера Электрико...

— Да, конечно, — спохватился один из полицейских. — Извините за беспокойство, — он тронул фуражку, — отличный помер!

— Прекрасно, — одобрил один из санитаров.

Вилли вытянул шею, пытаясь посмотреть на санитаря, сканувшего такос, но Джим заслонял того.

— Наши юные друзья! — провозгласил мистер Дарк. — Для вас — дюжина свободных посещений. — Он что-то протягивал ребятам.

Ни Джим, ни Вилли не тронулись с места.

— Ну? — подтолкнул их полицейский.

Вилли неуверенно коснулся разноцветных билетиков, но тут же отдернул руку, услышав: «Вилли имена?»

Полицейские перемигнулись. Молчание. Уродцы наблюдают.

— Саймон, — произнес Джим. — Саймон Смит.

Рука мистера Дарка, держащая контрамарки, сжалась.

— Оливер, — проговорил Вилли. — Оливер Браун.

Человек-в-Картинках с шипением втянул воздух. Уродцы по стенам *вдохнули*. Общий вздох, казалось, разбудил мистера Электрико. Меч у него в руке дернулся. От острия на плечо Вилли посыпались искры. Потом маленькая молния скакнула к Джиму. Полицейские расхохотались. Глаз старца злобно полыхал.

— Я... дам вам прозвища... ослы вы такие... Я вас окрещу... Ты будешь мистер Хилый... а ты... мистер Тусклый. — Мистер Электрико помолчал и слегка стукнул ребят мечом. — Короткой... грустной жизни вам... обоим!

Рот старца захлопнулся, глаз устремился вдаль. Он трудно дышал. Электрические искорки пузырьками шампанского роились в его крови.

— Ваши билеты, господа, — мурлыкал мистер Дарк. — Свободный вход, бесплатные аттракционы. В любое время. Приходите. Возвращайтесь.

Джим схватил билеты, Вилли стрелой свои. Они развернулись на пятках и вылетели вон из шатра.

Полиция, улыбаясь, сделала всем ручкой и проследовала за мальчишками. Санитары, без улыбок и прощальных жестов, еще больше похожие на призраков, замыкали отступление. Они напili Джима и Вилли в уголке, на заднем сиденье полицейской машины. По виду ребят можно было понять, как им хочется оказаться дома.

Часть 2 ПОГОНЯ

25



на чувствовала зеркала в комнатах, как чувствуешь первый снег, даже не глядя в окно. Еще несколько лет назад мисс Фолей заметила, что в доме вместе с ней поселилось множество ее собственных теней, и тогда она решила избегать холодных льдистых провалов в гостиной, над комодами и в ванной. Лучше всего скользить по ним, как на коньках по тонкому льду, чуть задержись, и под грузом твоего внимания хрупкая корочка проломится, ухнешь сквозь нее и будешь погружаться в холодную глубину все дальше, на дно, где подстерегает прошлое, вырезанное словно барельеф на могильном мраморе. Вены хлынет ледяная вода, и ты навеки окажешься прикован к зеркальной глади, не в силах оторвать взгляд от железных доказательств Времени.

А сегодня, под затихающий вдали топот трех пар мальчишеских ног, она почувствовала редкие холодные сплешинки, падающие в зеркалах ее дома. Ей захотелось нырнуть в зеркальную глубину, посмотреть, что за погода ждет ее там. Но удержало опасение: стоит поддаться желанию и дать зеркалу силу схватить и удержать эту толпу женщин, бредущих вспять, чтобы стать девушками, девушкам, шагающих навстречу маленьким де-

вочкам, — столько людей поселится в ее тесной квартирке, этак и задохнуться можно.

Так что же делать теперь с зеркалами? И что делать с этими паршивцами — Вилли Хэллоуэем и Джимом Найтпедом? И с... племянником? Вот чудно. Почему-то не получается произнести: «С моим племянником».

«Да ведь я с самого начала, — думала она, — с того момента, как он в дверь вошел, поняла, что он — не отсюда. И зря он мне доказывал, я все равно ждала... Чего вот только?»

Сегодня ночью... карнавал. «Музыка, — твердил ей Роберт, — которую обязательно *надо* усыплять, аттракционы, на которых обязательно *надо* прокатиться. А там лабиринт, где спит арктическая зима... То ли дело — карусель! Плыви себе по легу, сладкому, как клевер, среди медвяных трав и дикой мяты».

Мисс Фолей выглянула на лужайку. В траве все еще поблескивали камни. Она ведь каким-то шестым чувством поняла, что племянник просто хотел избавиться от мальчишек, видно, опасался, как бы они не отговорили ее воспользоваться билетом. Она взяла с каминной полки белый картонный прямоугольник.

КАРУСЕЛЬ. ОДИН ЧЕЛОВЕК — ОДИН РАЗ.

Время шло. Племянник не возвращался. Значит, надо действовать самой. Надо осторожно обойти — не дай бог задеть или обидеть — этих стражников, Вилли и Джима. Нельзя, чтобы они встали между ней и племянником, между ней и ее каруселью, между ней и восхитительным полстом среди летних лугов.

Этот Роберт даже своим молчанием ухитрился сказать так много, молчанием, взглядом, тем, как держал ее руку... легким ароматом свежего дыхания, похожего на дух только что испеченного яблочного пирога.

Она сняла телефонную трубку. Из окна ей виден был огонек в здании библиотеки. Уже много лет весь город видит его по ночам. Она набрала номер. Тихий голос ответил. И тогда она твердо заговорила:

— Библиотека? Мистер Хэллоуэй? Это мисс Фолей, учительница Вилли. Я вас прошу, встретьте меня через десять минут возле полицейского участка. Мистер Хэллоуэй?... Пауза. — Вы все еще там?

«Скорая помощь» и полицейская машина, борт о борт, встали на перекрестке. Один из санитаров опустил стекло и сказал полицейскому за рулем:

— Готов покаяться. Когда мы туда приехали, старик был мертв.

— Шутите! — отозвался полицейский.

В санитарной машине двое пожали плечами.

— Точно, шутим.

С перекрестка белая машина ушла вперед, синяя двинулась следом. На заднем сиденье скорчились Джим и Вилли. Поначалу они пытались еще объяснять что-то, но полицейские не слушали, они со смехом вспоминали и пересказывали друг другу недавнее посещение балагана. Тогда ребята попросили высадить их на углу, не доезжая участка.

Их и высадили возле двух темных домов. Ребята бодро взбежали каждый на «свое» крыльцо, взяли за ручки дверей (тем временем машина свернула за угол), спокойно сошли по ступенькам и отправились следом. Через пять минут они разглядывали из-за угла освещенный, как днем, участок, и Вилли сообщил, что на дворе стоит глубокая ночь, и взглянул на Джима. Джим следил за ярко освещенными окнами, словно ждал: вот сейчас они погаснут навек, ночь затопит их.

«Я выбросил свои контрамарки еще по дороге, — думал Вилли, — а Джим, гляди-ка, так и держит свои». Вилли задрожал. «Ну чего он теперь-то хочет? Что еще задумал и что вообще можно думать после того, как мертвец ожил в раскаленном добела электрическом кресле? Он что, и после этого все еще любит карнавалы?» Вилли всмотрелся в глаза Джима. Да, вот они, отсветы огня этого дьявольского балагана, так и остались в зрачках Джима. Но ведь это все-таки Джим! Вот же он стоит в ярком свете Справедливости из-за угла.

— Слушай, Джим, — сказал Вилли. — Начальник полиции, он нас выслушает.

— Ага, — тут же отозвался Джим. — Он как раз проснулся бабочек ловить. Черт побери, Вилли! Даже я не поверю тому, что случилось за последние двадцать четыре часа!

— Значит, надо еще кого-нибудь найти. Ведь мы знаем теперь, чего стоит этот проклятый карнавал!

— О'кей. И чего же он стоит, по-твоему? Что в нем такого уж плохого? Ну подумаешь, нанюгал старуху в лабиринте! Да она сама испугалась, скажут в полиции. Дом ограбил? О'кей. А где грабитель? Стариком вдруг обернулся? Да что ты? Кто ж поверит, что эта дряхлая развалина только что была двенадцатилетним мальчишкой? И что остается? Ах да, этот бродяга со своими громоотводами исчез. А сумку оставил. Ну, может, где-нибудь в городе шляется...

— Этот Карлик в балагане...

— Да видел я его, видел. Похож на торговца, точно. А как ты докажешь, что еще недавно он был не такой? Кутер был мальчишкой, этот был большим, видишь, что получается? Нет у нас доказательств. Правильно... Видели мы... Ну и что? Наше слово против слова Дарка. Ему ведь поверят. Опять же, полиция так славно время провела. Черт возьми! Экая кутерьма! Как бы нам все-таки извиниться перед мистером Кугером?

— Извиниться?! — так и взвился Вилли. — Перед этим крокодилом? Перед этим людоедом? Ты что, еще не зарекся иметь дело с этими бормоглотами и гримзами?

— Бормоглотами, говоришь? Гримзами? — Джим задумчиво поглядывал на друга.

Так они привыкли называть между собой всякую печаль из ночных кошмаров. Когда к Вилли приходили бормоглоты, они стонали, невнятно бормотали и лица на них не было. А в кошмарах Джима гримзы росли как на дрожжах и питались крысами, которые, в свою очередь, пожирали пауков, таких здоровенных, что они сами охотились на кошек.

— Именно так и говорю, — огрызнулся Вилли. — Чего ты ждешь? Чтобы на тебя шкаф в десять тонн свалился? Посмотри, что с двоими уже сделали: с мистером Электриком и с этим свихнутым Карликом. Проклятая карусель черт знает что с людьми творит! Мы-то знаем, мы видели. Может, они нарочно так скрючили торговца, а может, опять не заладилось. Ну, принял он маленько, проехался на карусели — хлоп! — и готово! Свихнулся и даже нас не узнал. Мало тебе? Неужто тебя Господь оставил, Джим? Слушай, а может, и мистер Крозетти...

— Да он просто передохнуть решил.

— Может, да, а может, нет. Парикмахерская — раз, объявление — два: «Закрыто по болезни». По какой это болезни, а, Джим? Асденцов обжелся на представлении? Морскую болезнь на карусели подхватил?

— Ай, да заткнись ты, Вилли!

— Нет, сэр, не заткнусь, не дождеешься. Оно, конечно, сильная штука эта карусель. Думаешь, я навсегда хочу тринадцатилетним остаться? Вот уж дудки! Но, Джим, ты ведь не по правде захотел двадцатилетним стать?

— А о чем мы с тобой все лето говорили?

— Верно. Говорили. И ради этого ты сунешь голову в проклятую костоломку? Ну, вытянут тебя, да только после этого ты и думать забудешь, зачем оно тебе понадобилось!

— Нет уж, не забуду, — упрямо выдохнул в ночь Джим.

— А я тебе говорю — забудешь! Просто уйдешь и бросишь меня здесь, Джим.

— С чего это мне тебя бросать? — запротестовал Джим. — Не собираюсь я. Мы вместе будем...

— Вместе? Только ты на два фута выше, да? Будешь смотреть на меня сверху и хвастать своими руками-ногами. И о чем это мы говорить будем, скажи на милость, если у меня в карманах полно всеревов для змеев, камушков и лягушачьих лап, а у тебя там будет чисто и пусто? Об этом, что ли, мы будем говорить, что ты бегаешь быстрее и запросто можешь меня бросить...

— Да не буду я тебя бросать, Вилли, никогда не буду!

— Мигом бросишь. Ладно. Давай. Оставь меня. У меня же есть перочинный ножик, со мной все в порядке. Буду под деревом сидеть, в ножички играть. А ты совсем свихнешься на этом черном жеребце, что носится кругами, да, слава богу, теперь-то уж не понесется больше...

— Это ты виноват! — выкрикнул Джим и замолчал.

Вилли сжал кулаки.

— Ты, значит, хочешь сказать, что надо было дать этому маленькому прохиндею спокойно превратиться в большого прохиндея и открутить нам головы? А может, надо бы и тебя пустить туда покататься и помахать мне ручкой на прощанье? А я бы, значит, помахал тебе, да, Джим?

— Уймись ты, — пробормотал Джим. — Поздно теперь говорить, сломана карусель...

— А как починят ее, так сразу прокатят назад старину Кугера, чтобы он помоложе стал да вспомнил, как нас звать. И вот тогда они придут за нами, эти бормоглоты, нет, только за мной придут, ты ведь перед ними извиняться задумал, ты же скажешь им, как меня зовут и где я живу...

— Я не сделаю этого, Вилли, — произнес Джим сдавленным голосом.

— Джим! Джим! Вспомни. В прошлом месяце проповедник говорил: всему свое время, сначала одно, потом — другое, одно за другим, Джим, а не два за двумя, помнишь?

— Всему свое время, — тихо повторил Джим.

И тут до них донеслись голоса. В полицейском участке говорила женщина, а мужчины что-то отвечали ей.

Вилли быстро кивнул Джиму, они пробрались через кусты и, подкравшись к окну, заглянули в комнату.

За столом сидела мисс Фолей, напротив — отец Вилли.

— ...В голове не укладывается, — говорила мисс Фолей, — подумать только: Джим и Вилли — грабители! Надо же, в дом пробраться, взять, уарать!

— Вы точно их видели? — тихо спросил мистер Хэллоуэй.

— Я закричала, и они посмотрели вверх, а там — фонарь...

«Она молчит про племянника, — подумал Вилли, — и дальше молчать будет. Видишь, Джим! — хотелось крикнуть ему. — Это — ловушка! Племянник специально поджидал нас, чтобы в такую заварушку втянуть! А там уж неважно будет, что мы кому про карнавалы с каруселями рассказываем. Хоть полиция, хоть родители — никто не поверит!»

— Я не хочу никого обвинять, — продолжала меж тем мисс Фолей, — но если они не виноваты, то где же они?

— Здесь! — раздался голос.

— Вилли! — отчаянно прошептал Джим, но было уже поздно.

Вилли подпрыгнул, подтянулся и перескочил через подоконник.

— Здесь, — просто сказал он.

Они неторопливо шли домой по залитым луной тротуарам. Посредине — мистер Хэллоуэй, по бокам — ребята. Уже перед домом отец Вилли вздохнул.

— По-моему, не стоит тебе, Джим, нарываться на неприятности с твоей матушкой посреди ночи. Давай, ты ей утром расскажешь, а? Ты, надеюсь, сможешь попасть домой по-тихому?

— Запросто! — фыркнул Джим. — Глядите, что у нас есть...

— У нас?

Джим небрежно кивнул и отодвинул со стены густые плети дикого винограда. Под ними открылись железные скобы, ведущие прямо к подоконнику Джима. Мистер Хэллоуэй тихо засмеялся, но внутри содрогнулся от внезапной острой печали.

— И давно это здесь? Впрочем, ладно, не говори. У меня в детстве такие же были, — добавил он и взглянул на затерянное в зелени окно Джима. — Здорово, конечно, выйти попозже... — Он остановил себя. — Но вы не слишком поздно возвращаетесь?

— Да нет. На этой неделе — первый раз после полуночи.

Мистер Хэллоуэй поразмыслил немножко.

— Полагаю, от разрешения никакого удовольствия бы не было, так? Еще бы! Тайком смыться на озеро, на кладбище, на железную дорогу или в персиковый сад...

— Черт! Мистер Хэллоуэй, и вы, что ли, тоже, сэр?..

— Еще бы! Но только — чур, женщинам ни слова. Ладно. Дуй наверх, и чтоб до следующего месяца про эту лестницу забыть!

— Есть, сэр!

Джим по-обезьяньи взлетел наверх, мелькнул в окне, закрыл его и задернул занавеску.

Отец Вилли глядел на ступени, спускавшиеся из звездного поднебесья прямо в свободный мир пустынных тротуаров, темнеющих зарослей, кладбищенских оград и стен, через которые можно перемахнуть с пестом.

— Знаешь, Вилли, что мне горше всего? — задумчиво обратился он к сыну. — Что я больше не в состоянии бегать, как ты.

— Да, сэр, — ответил Вилли.

— Давай-ка разберемся, — предложил отец. — Завтра сходим, еще раз извинимся перед мисс Фолей и заодно осмотрим лужайку. Вдруг мы что-нибудь не заметили, пока лазили там с фонарями. Потом зайдем к окружному шерифу. Ваше счастье, что вы вовремя появились. Мисс Фолей не предъявила обвинение.

— Да, сэр.

Они подошли к стене своего дома. Отец запустил руку в заросли пающа.

— У нас тоже? — Он уже нащупал ступеньку.

— У нас тоже.

Мистер Хэллоуэй вынул кисет и набил трубку. Они стояли у стены; рядом незаметные ступени вели к теплым постелям в безопасных комнатах. Отец курил трубку.

— Я знаю. На самом деле вы не виноваты. Ничего вы не крали.

— Нет.

— Тогда почему признались там, в полиции?

— Да потому, что мисс Фолей почему-то хочет обвинить нас. А раз она так говорит, ну, значит, так и есть. Ты же видел, как она удивилась, когда мы через окно ввалились? Она ведь и думать не думала, что мы сознаемся. Ну а мы сознались. Знаешь, у нас и кроме Закона врагов хватает. Я подумала: если мы сознаемся, может, они отстанут от нас? Так и вышло. Правда, мисс Фолей тоже в выигрыше — мы ведь преступники теперь, кто нам поверит?

— Я поверю.

— Правда? — Вилли внимательно изучил тени на отцовском лице. — Папа, прошлой ночью, в три утра...

— В три утра...

Вилли заметил, как вздрогнул отец, словно от ночного ветра, словно он знал уже все и только двинуться не мог, а просто протянул руку и тронул Вилли за плечо. И Вилли уже знал, что не станет говорить больше. Не сегодня. Может быть, завтра, да, завтра, или... послезавтра, когда-нибудь потом, когда будет день и шатры на луку исчезнут, и уродцы оставят их в покое, думая, что достаточно припугнули двоих пронырливых мальчишек, и

теперь-то уж они придержат язык за зубами. Может, пронесет, может...

— Ну, Вилли,— с усилием выговорил отец. Трубка погасла, но он не заметил.— Продолжай.

«Нет уж,— подумал Вилли,— пусть лучше нас с Джимом съедят, но больше чтоб никого. Стоит узнать — и ты в опасности».

Вслух же он сказал:

— Пап, я тебе через пару деньков все расскажу. Ну точно! Маминой честью клянусь!

— Маминой чести для меня вполне достаточно,— после долгого молчания согласился отец.

28

Ах, как хороша была ночь! От пыльных пожухлых листьев исходил такой запах, будто к городу вплотную подступили пески аравийской пустыни. «Как это так,— думал Вилли,— после всего я еще могу размышлять о тысячелетиях, скользнувших над землей, и мне грустно, потому что, кроме меня, ну и еще, быть может, отца, никто не замечает этих прошедших веков. Но мы почему-то даже с отцом не говорим об этом».

Это был редкостный час в их отношениях. У обоих мысли то кидались по сторонам, как игривый терьер, то дремали, словно ленивый кот. Надо было идти спать, а они все медлили и выбирали окольные пути к подушкам и ночным мыслям. Уже настала пора сказать о многом, но не обо всем. Время первых открытий. Первых, а до последних было еще так далеко. Хотелось знать все и ничего не знать. Самое время для мужского разговора, да только в сладости его могла затаиться горечь.

Они поднялись по лестнице, но сразу разойтись не смогли. Этот миг обещал и другие, наверное, даже не такие уж отдаленные ночи, когда мужчина и мальчик, готовящийся стать мужчиной, могли не то что говорить, но даже петь. В конце концов Вилли осторожно спросил:

— Папа... а я хороший человек?

— Думаю, да. Точно знаю — да,— был ответ.

— Это... поможет, когда придется действительно туго?

— Обязательно.

— И спасет, когда придется спасаться? Ну, если вокруг, например, все плохое и на много миль — ни одного хорошего? Тогда как?

— И тогда пригодится.

— Хотя ведь пользы от этого не очень-то много, верно?

— Знаешь, это ведь не для тела, это все-таки больше для души.

— Слушай, пап, тебе не приходилось иногда пугаться так, что даже...

— Душа уходит в пятки? — Отец кивает, а на лице — беспокойство.

— Папа,— голос Вилли едва слышен,— а ты хороший человек?

— Я стараюсь. Для тебя и для мамы. Но, видишь ли, каждый из нас сам по себе вряд ли герой. Я ведь с собой всю жизнь живу, знаю уж все, что стоит о себе знать.

— Ну и как? В общем?

— Ты про результат? Все приходит, и все уходит. А я по большей части сижу тихо, но надежно, так что, в общем, я в порядке.

— Тогда почему же ты не счастлив, папа?

Отец pokrхтел.

— Знаешь, на лестнице в полвторого ночи не очень-то философствуешь...

— Да. Я просто хотел узнать.

Повисла долгая пауза. Отец вздохнул, взял его за руку, вывел на крыльцо и снова разжег трубку. Потом сказал неторопливо:

— Ладно. Мама твоя спит. Будем считать, она не догадается о том, что мы с тобой беседуем здесь. Можем продолжать. Только сначала скажи, с каких это пор ты стал полагать, что быть хорошим — и значит быть счастливым?

— Со всегда.

— Ну, значит, пора тебе узнать и другое. Бывает, что самый несчастливый в городе человек, с улыбкой от уха до уха, жуткий грешник. Разные бывают улыбки. Учись отличать темные разновидности от светлых. Бывает, крикун, хохотун, половину времени — на людях, а в остальную половину вселится

так, что волосы дыбом. Люди ведь любят грех, Вилли, точно, любят, тянутся к нему, в каких бы обличьях, размерах, цветах и запахах он ни являлся. По нынешним временам человеку не за столом, а за корытом надо сидеть. Иной раз слышишь, как кто-нибудь расхваливает окружающих, и думаешь: да не из свинарника ли он родом? А с другой стороны, вон тот несчастный, бледный, обремененный заботами человек, что проходит стороной, — он и есть как раз тот самый твой Хороший Человек. Быть хорошим — занятие страшноватое. Хоть и на это дело охотники находятся, но не каждому по плечу, бывает, ломаются по пути. Я знавал таких. Труднее быть фермером, чем его свиньей. Думаю, что именно из-за стремления быть хорошей и трескается стена однажды ночью. Глядишь, вроде человек хороший и марку высоко держит, а упадет на него еще волосок — он и сник. Не может самого себя в покое оставить, не может себя с крючка снять, если хоть на вздох отошел от благородства. Вот кабы просто быть хорошим, просто поступать хорошо, вместо того чтобы думать об этом все время. А это нелегко, верно? Представь: середина ночи, а в холодильнике лежит кусок лимонного пирога, чужой кусок! И тебе так хочется его съесть, аж пот прошибает! Да кому я рассказываю! Или вот еще: в жаркий весенний полдень сидишь за партой, а там, вдали, скачет по камням прохладная чистая речка. Ребята ведь чистую воду за много миль слышат. И вот так всю жизнь ты перед выбором, каждую секунду стучат часы, только о нем и твердят, каждую минуту, каждый час ты должен выбирать — хорошим быть или плохим. Что лучше: сбегать поплавать или париться за партой, залезть в холодильник или лежать голодным. Допустим, ты остался за партой или там в постели. Вот здесь я тебе секрет выдам. Раз выбрав, не думай больше ни о реке, ни о пироге, не думай, а то свихнешься. Начнешь складывать все реки, в которых не искупался, все несъеденные пироги, и к моим годам у тебя наберется куча упущенных возможностей. Тогда успокаиваешь себя тем, что, чем дальше живешь, тем больше времени теряешь или тратишь впустую. Трусость, скажешь? Нет, не только. Может, именно она и спасает тебя от непосильного, подожди — и съпраешь наверняка. Посмотри на меня, Вилли. Я женился на твоей матери в тридцать девять лет, в тридцать девять! До этого я был слишком занят, отговарывая на будущее возмож-

ность упасть дважды, а не трижды и не четырежды. Я считал, что не могу жениться, пока не вылижу себя начисто и навсегда. И не сразу понял, что бесполезно ждать, пока станешь совершенным, надо скрестись и царапаться самому, падать и подниматься вместе со всеми. И вот однажды под вечер я отвлекся от великого подвига с собой, потому что твоя мать зашла в библиотеку. Она зашла взять книгу, а вместо нее получила меня. Тогда-то я и понял: если взять наполовину хорошего мужчину и наполовину хорошую женщину и сложить их лучшими половинками, получится один хороший человек, целиком хороший. Это ты, Вилли. Уже довольно скоро я заметил, с грустью, надо тебе сказать, что хоть ты и носишься по лужайке, а я сижу над книгами, но ты уже мудрее и лучше, чем мне когда-нибудь удастся стать...

У отца погасла трубка. Он замолчал, пока возился с ней, наконец разжег заново.

— Я так не думаю, сэр, — неуверенно произнес Вилли.

— Напрасно. Я был бы совсем уж дураком, если бы не догадывался о собственной дурачности. А я не дурак еще и потому, что знаю — ты мудр.

— Вот интересно, — протянул Вилли после долгой паузы, — сегодня ты мне сказал куда больше, чем я тебе. Я еще немножко подумаю и, может, за завтраком тоже расскажу тебе побольше, о'кей?

— Я постараюсь подготовиться.

— Я ведь потому не говорю. — Голос Вилли дрогнул. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, папа. — Он проклинал себя за слезы, повернувшиеся на глаза.

— Со мной все будет в порядке, сынок.

— Знаешь, я все сделаю, лишь бы ты был счастлив!

— Вильям, — голос отца был вполне серьезен, — просто скажи мне, что я буду жить всегда. Этого, пожалуй, хватит.

«Отцовский голос, — подумал Вилли. — Почему я никогда не замечал, какого он цвета? А он такой же седой, как волосы».

— Пап, ну чего ты так печально?

— Я? А я вообще печальный человек. Я читаю книгу и становлюсь печальным, смотрю фильм — сплошная печаль, ну а песни, те просто превращают у меня все внутри.

— А есть хоть что-нибудь, от чего ты не грустишь?

— Есть одна штука. Смерть.

— Вот так да! — удивился Вилли. — Уж что-что...

— Нет, — остановил его мужчина с седым голосом. — Конечно, Смерть делает печальным все остальное, но сама она только пугает. Если бы не Смерть, в жизни не было бы никакого интереса.

«Ага, — подумал Вилли, — и тут появляется Карнавал. В одной руке, как погремушка, Смерть, в другой, как леденец, Жизнь. Одной рукой пугает, другой — заманивает. Это — представление. И обе руки полны!» Он вскочил с перил.

— Слушай, пап! Ты будешь жить всегда! Точно! Ну подумаешь, болел ты года три назад, так ведь прошло все. Правильно, тебе — пятьдесят четыре, так ведь это еще не так много! Только...

— Что, Вилли?

Вилли колебался. Он даже губу прикусил, но потом все-таки вымолвил:

— Только не подходи близко к Карнавалу!

— Чудно, — покрутил головой отец. — Как раз это и я тебе хотел посоветовать.

— Да я и за миллион долларов не вернулся бы туда!

«Но это вряд ли остановит Карнавал, — думал Вилли, — который по всему городу ищет меня».

— Не пойдешь, пап? Обещаешь?

— А ты не хочешь объяснить, почему не надо ходить туда? — осторожно спросил отец.

— Завтра, ладно? Или на следующей неделе, ну, в крайнем случае через год. Ты просто поверь мне, и все.

— Я верю, сын. — Отец взял его за руку и пожал. — Считаю, что это — обещание.

Теперь пора было идти. Поздно. Сказано достаточно. Пора.

— Как вышел, — сказал отец, — так и войдешь.

Вилли подошел к железным скобам, взялся за одну и обернулся.

— Ты ведь не снимешь их, пап?

Отец покачал одну скобу, проверяя, хорошо ли держится.

— Когда устанешь от них, сам снимешь.

— Да никогда я от них не устану!

— Думаешь? Да, наверное, в твоем возрасте только так и можно думать: что никогда ни от чего не устанешь. Ладно, сын, поднимайся.

Вилли видел, как смотрит отец на стену, затянутую плащом.

— А ты не хочешь... со мной?

— Нет, нет, — быстро сказал отец.

— А зря. Хорошо бы...

— Ладно, иди.

Чарльз Хэллоуэй все смотрел на плащ, шелестящий в рассветных сумерках.

Вилли подпрыгнул, ухватился за первую скобу, за вторую, за третью... и взглянул вниз. Даже с такой небольшой высоты отец на земле казался съежвившимся и потерянным. Вилли просто не мог оставить его вот так, бросить одного в ночи.

— Папа! — громко прошептал он. — Ну что ты теряешь?

Губы отца шевельнулись. И он тоже подпрыгнул неловко и ухватился за скобу.

Беззвучно смеясь, мальчик и мужчина лезли по стене друг за другом. След в след.

Вилли слышал, как карабкается отец. «Держись крепче», — мысленно подбадривал он его.

— Ох! — Мужчина тяжело дышал.

Зажмурившись, Вилли взмолился: «Держись! Немножко же! Ну!»

Нога старика сорвалась со скобы. Он выругался яростным шепотом и полез дальше.

А дальше все шло гладко. Они поднимались все выше и выше, отлично, чудесно — хоп! — и готово! Оба ввалились в комнату и уселись на подоконнике, примерно одного роста, примерно одного веса, под одними и теми же звездами, они сидели, обнявшись впервые, и пытались отдышаться, глотая огромные смешные куски воздуха, боясь расхохотаться и разбудить Господа Бога, страну, жену и маму; они зажимали друг другу рты ладонями, чувствуя кожей рук смеющиеся губы, и все сидели, сверкая яркими, влажными от любви глазами.

Потом отец все-таки нашел в себе силы, поднялся и ушел. Дверь спальни закрылась.

Слетка опьянев от прикалываний долгой ночи, открыв в отпеле, что и не чаял открыть, Вилли сбросил одежду и как бревно повалился в кровать.

29

Вряд ли он проспал час. Какое-то неясное воспоминание разбудило его, он сел и сразу посмотрел на соседскую крышу.

— Громоотвод! — тихонько взвыл Вилли. — Его же нет!

Так оно и было. Украли? Нет, конечно. Джим снял? Точно. Но зачем? Вилли знал зачем. Джим говорил — чепуха, мол, все это. Вилли почти видел, как Джим с усмешкой лезет на крышу и отрывает чертову железяку. Нарочно отрывает, чтобы пришла гроза и чтобы молния ударила в его дом! Не мог Джим отказать от такого развлечения, не мог не примерить обновку из электрического страха.

Ох, Джим! Вилли едва не выскочил в окно. Надо же немедленно прибить эту штуку на место. Обязательно. До утра. А то ведь проклятый Карнавал обязательно пошлет кого-нибудь разузнать, где мы живем. Я не знаю, как они явятся и в каком обличье, но они придут, придут! Господи, Джим, а твоя крыша такая пустая! Посмотри, облака прямо летят, гроза идет, беда надвигается...

Вилли насторожился. Какой звук издает воздушный шар, когда его несет ветер? Да никакого. Нет, какой-то должен быть. Наверное, он шуршит, шелестит или вздыхает, как ветер, когда откидывает тюлевые занавески. А может, он похож на тот звук, с которым вращаются звезды во сне? Или... ведь закат и восход тоже слышно. Вот когда луна плывет между облаков, слышно ведь, так и шар, наверное.

Как его услышишь? Уши не помогут. Разве что волосы на загривке, и легкий пушок в ушах, и еще волоски на руках — они иногда звенят, как кузнечики. Вот они могут услышать, и тогда ты будешь точно знать, даже лежа в постели: где-то неподалеку в небесах плывет воздушный шар.

Вилли почувствовал движение в комнате Джима. Должно быть, и Джим своими антеннами уловил, как поднимаются над городом призрачные воды, открывая путь Левиафану.

Оба они почувствовали тяжелую тень, скользящую меж домами. Оба высунулись в один и тот же миг и в который раз поразились этой удивительной слаженности, радостной пантомиме интуиции, предчувствия, обостренного годами дружбы. Оба задржали головы, посеребренные восходящей луной.

Как раз вовремя, чтобы заметить исчезающий за деревьями воздушный шар.

— С ума сойти! Что ему здесь надо? — Джим спрашивал, вовсе не рассчитывая на ответ.

Они оба знали. Лучше для поисков не придумаешь: ни тебе шума мотора, ни пороха шин, ни стука шагов по асфальту — только ветер, расчистивший в облаках целую Амазонку для мрачного полета плетеной корзины и штормового паруса над ней.

Ни Джим, ни Вилли не бросались от окон, они даже не шелохнулись, потому что шар возвращался! От него исходил призрачный звук — не громче бормотания в чужом сне.

Сильно и как-то сразу похолодало. Выбеленный многими бурями шар с легким журчанием падал вниз. Под сапожьей тенью враз заиндевели лужайка с цветочными часами. Уже можно было разглядеть и фигуру, торчавшую подбоченясь над краями корзины. Вот плечи, а это — голова? Луна светит прямо сзади, не разберешь... «Мистер Дарк!» — подумал Вилли. «Крушитель!» — показалось Джиму. «Бородавка!» — репил Вилли. «Скелет! Плюющий лаву! Сеньор Гильотини!»

Нет.

Это была Пыльная Ведьма, та, которая обращает в пыль череп и кости и развешивает их по ветру.

Джим глянул на Вилли, Вилли — на Джима, и оба прочли по губам друг друга: «Пыльная Ведьма!»

«Но почему? — лихорадочно думал Вилли, — почему на поиски послали восковую куклу, почему не кого-нибудь ядовитого или огнеглазого? Зачем отправлять дряхлую куклу со слепыми тритонными веками, залитыми черной вдовьей ниткой?»

И тогда, взглянув вверх, они поняли. Хотя и восковая, Ведьма была живой-живых. Хотя и слепая, но она выставила из корзины длинную руку в пятнах ржавчины, и эта рука чутко просеивала

воздух, касалась звездных лучей (они тускнели при этом), ловко распутывала воздушные течения и лучше носа веда ищейку.

И Джим, и Вилли знали даже еще больше. Слепота Ведьмы особая. Руки, опущенные вниз, ощущали биение мира, они могли незримо касаться крыш, ощущивать мешки на чердаках, мгновенно исследовать любую пыль, понимать сквозняки, пролетающие по комнатам, и души, трепыхающиеся в людях, руки видели, как легкие гонят кровь к вискам, к трепещущему горлу, к пульсирующим запястьям и снова к легким. Так же как ребята чувствовали морось, сеющуюся от шара, так же и Ведьма чувствовала их души, трепещущие вместе с дыханием возле ноздрей. Ведь каждая душа — огромный теплый след; Ведьма легко различала их, могла бы узнать по запаху, могла бы размять в пальцах, как глину, и определить на ощупь. Вилли чувал, как она с высоты обнюхивает его жизнь, как пробует мокрыми деснами и гадючим языком ее на вкус, как прислушивается к звучанию, пропуская душу из одного уха в другое.

Руки играли воздухом. Одна — для Джима, другая — для Вилли. Тень от шара окатила их волной ужаса.

Ведьма громкодохнула вниз. Шар тут же подскочил вверх, и тень убралась.

— Боже! — промолвил Джим. — Теперь они нас высладили.

Оба едва перевели дух и снова замерли. Чуть слышно за скрипела и застонала крыша Джима под каким-то страшным, незримым грузом.

— Вилли! Она забирает меня!

— Нет, не то...

Шорох. Как будто мягкая пеленка прошлась по крыше Джима. А потом шар взмыл вверх и направился к холмам.

— Смылась! Вон она летит! Джим, она что-то сотворила с твоей крышей. Быстро! Кинь веревку!

Джим натренированным броском (не в первый раз) забросил в комнату Вилли бельевую веревку. Одним движением Вилли закрепил ее под подоконником и, споро перехватываясь руками, через минуту оказался в комнате Джима. Босиком, подталкивая друг друга, они выбрались на чердак. Выглянув из маленького окошка, Вилли зашептал: «Вот оно, Джим!»

Верно. Тут оно и было, серебрясь в лунном свете.

Такой след остается от улитки на тротуаре. Серебристо-гладкий, блестящий. Только улитка должна была бы весить фунтов сто. Серебристая полоса шириной в ярд начиналась от водосточного желоба, забитого листьями, и тянулась через весь скат до конька. Видно, и на той стороне было то же самое.

— Зачем это? — выдохнул Джим.

— Это же проще, чем высматривать номера домов и названия улиц. Твою крышу пометили, да так, что и днем и ночью можно видеть.

— Черт меня побери! — Джим высунулся и потрогал след. На пальцах осталась какая-то клейкая гадость с противным запахом. — Вилли, что нам теперь делать?

— Я думаю, они не вернутся до утра. Не успеют. Не поднимут же они сейчас суматоху. А мы вот что сделаем!

На дужайке под окнами, свернутый кольцами, как огромный удав, лежал садовый шланг.

Вилли яндерицей слетел вниз, ничего не перевернул, не зацепил и не разбудил никого. Джим опомниться не успел, а Вилли, клякшавшийся, был уже снова наверху со шлангом в руке.

— Вилли, ты гений!

— А то как же! Давай скорее.

Они вдвоем протащили шланг на чердак и принялись смыть мерзкий ртутный налет. Работая, Вилли отгадывалась на восток, там ночные краски уступали место рассветным. Далеко над холмами он видел шар, лавирующий в воздушных потоках. Не вернулся бы он... а то снова пометит. Ну и что? Они опять смоют. Так до восхода и будут мыть, если понадобится.

«Вот бы добром остановить Ведьму, — думал Вилли. — Они ведь все еще не знают ни наших имен, ни где мы живем. Мистер Кугер, того и гляди, дуба даст, где ему что-нибудь помнить. Карлик, если это и впрямь давешний торговец, совсем спятил, бог даст, тоже не вспомнит. Мисс Фолей они до утра беспокоить не станут. Сидят там у себя в лугах и зубами скрипят. Ведьму вот на поиски послали...»

— Дурак я, — тихо и грустно сказал Джим, окатывая крышу там, где раньше крепился громоотвод. — Чего я его не оставил?

— Ладно, — отозвался Вилли, — молния ведь пока не трахнула. Может, еще и пронесет. Все. Пошли отсюда.

Они еще раз окатили крышу. Внизу стукнуло, закрываясь, окно.

— Мама, — тускло усмехнулся Джим. — Думает, дождь пошел.

30

Крыша стала чистой. Шланг шмякнулся в траву. За городом все еще мотался в быстро светасящем небе воздушный шар.

— Чего она ждет?

— Может, чует, как мы тут поработали?

Тем же путем, через чердак, они вернулись в комнату Джима, и скоро каждый лежал в своей постели, прислушиваясь, как сердце напереголки с часами отбивает ритм наступающего утра.

«Что бы они ни придумали, — размышляла Вилли, — нам надо опередить их». Ему пришла в голову мысль. Теперь он даже хотел, чтобы Ведьма вернулась. Уже несколько минут он разглядывал свое бойскаутское снаряжение, развешенное на стене: прекрасный лук и колчан со стрелами.

«Прости, папа, — подумал он и сел на кровати. — Пора и мне выходить из дома одному. Вовсе ни к чему, чтобы эта мразь болтала о нас, хоть сегодня, хоть когда».

Он снял лук со стены, еще немножко поколебался и отворил окно. «Вовсе не обязательно звать ее вслух, — думал он. — Надо просто думать, хоть это и нелегко с непривычки. Мысли они читать не могут, это точно, иначе ее и посыпать не нужно было бы. Мысли — нет, но тепло живого тела, запахи, волнения, настроения — это она может учуять. Я уж постаралась дать ей понять, что обманул ее, может, тогда...»

«Четыре утра», — прозвонили сонные куранты из другого мира.

«Эй, Ведьма, — подумал он, — вернись. Ведьма! — подумал он решительнее и предоставил крови радостно взволноваться от собственной находчивости. — Ведьма! А крыша-то чистая, слышишь? Мы ее помыли. Так что давай обратно, опять метить надо! Ведьма!..»

И Ведьма услышала.

Вилли вдруг почувствовал, как поворачивается пейзаж под шаром.

«О'кей, Ведьма, продолжай. Я здесь только один, просто мальчишка без имени, мыслей ты моих не прочтешь, но то, что я чувствую, разобрать сможешь. Так вот, я чувствую, что плевать мне на тебя! Мы тебя обдурили, наша взяла, а твоя затея провалилась. Что, съела?»

Через мила Вилли уловил согласный вздох. Похоже, шар приближался.

«Э-э, да что это я? — всполохился Вилли. — Мне вовсе не надо, чтобы она сюда летела. А ну-ка, пошли! Быстро! Быстро!»

Он натянул одежду, ловко, как обезьяна, спустился по скобам и принялся. Точно, приближается.

Он бежал, наплевав на тропинки, чувствуя восхитительную свободу, как заяц, наевшийся редкого дурманного корешка, бежал как берсерк, которого не остановить. Колени достают аж до подбородка, ноги крушат сучки и листья. Раз! Перемахнул через ограду, в руках — оружие, страх и восторг смешались белыми и красными леденцами во рту.

Он оглянулся. О! Шар уже близко! И летит быстро...

«Стоп! А куда я бегу? — подумал он. — Ах да, к дому Редмана! Там уж сколько лет никто не живет. Ну, еще два квартала...»

Шуршат бегущие ноги, шуршит эта штукавина в небе. Все в лунном свете, а звезды меркнут уже.

Он остановился возле дома Редмана. В каждом легком пылает огонь. Во рту — привкус крови. Изнутри рвется безмолвный крик: «Вот! Это мой дом!»

Он почувствовал, как вильнула ветровая река в небесах.

«Правильно», — одобрил он.

Он уже повернул старую дверную ручку, и тут его пришибла мысль: «Боже! А вдруг они внутри, сидят и поджидают меня?»

Он распахнул дверь. За ней была полная тьма.

Лопнули с едва слышным треском паучьи сети. Больше ничего. Перескакивая через две ступеньки по гнилой лестнице, он взлетел на чердак, потом — на крышу и только здесь, прислонив лук к трубе, остановился и выпрямился.

Шар, зеленый как тина, разрисованный крылатыми скорпионами, древними сфинксами, дымами и огнями, тяжело вздохнула и прыгнула вниз.

«Ну,— подумал он,— давай. Ведьма, иди сюда!»

Мокрая тень ударила его неожиданно, как крыло летучей мыши. Взмахнув руками, Вилли пошатнулся. Тень казалась вязкой черной патокой. Он упал. Ухватился за трубу. Тень окутала его и теперь утихомиривала. Липкий холод пронизывал до костей. Но вдруг, сам по себе, ветер сменил направление. Ведьма зашипела. Шар смыло вверх.

«Встер! — отчаянно думал Вилли. — Он за меня! Не уходи! — испугался он за отлетающий шар. — Вернись!» Он очень боялся, как бы Ведьма не разнюхала его план. А ведь, похоже, к этому и шло. Она уже поняла, что план есть, и теперь лихорадочно ощущивала его со всех сторон, вытягивала все больше. Вилли видел, как ее пальцы сучат воздух, быстро разбирая незримые нити. Она выставила ладони вниз, как будто он был печкой, хранившей огонь в подземном мире, а она пришла погреть над ней руки. Огромным маятником корзина скользнула вниз, и теперь Вилли видел и защитные вски, поросшие мхом уши, и шамкающий иссохший рот, непрерывно пробувающий воздух на вкус. Бледные сморщенные губы поджались в сомнении. Вилли почти слышал ее мысли: «Что-то здесь не так! Уж слишком он подставляется, слишком просто взять его. Не иначе как обман». Определенно, она чувствовала подвох.

Ведьма задержала дыхание. Шар завис между вдохом и выдохом. Она решила рискнуть и вдохнула. Шар, потяжелев, пошел вниз. Выдохнула — взлетел вверх. Надо выждать.

Растопырив ладонь, Вилли приставил большой палец к носу и помахал.

Ведьма сделала большой вдох. Шар провалился.

«Ближе!» — подумал Вилли.

Нет, она осторожничала, спускалась по пологой спирали, ориентируясь на острый запах адреналина. Вилли вертел головой, следя за шаром.

«Ты что, хочешь, чтобы у меня голова открутилась? — мысленно прикрикнул он. — Думаешь, затошнит от твоего кружения?»

Нет. Шар опять завис. Оставалось последнее средство. Он повернулся к шару спиной и застыл.

«Ведьма,— думал он,— ты же не устоишь».

Совсем близко ощущалось зеленое скользкое облако, слышалось поскрипывание плетеной корзины, щеку и спину обдавало холодом. Уже близко!

Ведьма снова вдохнула. Балласт из звездного света и ночного неба бросил шар вниз.

Ближе!

Слоновья тень тронула его ухо. Вилли протянул руку за оружием. Тень накрыла его. Слово паук коснулся волос — неужто рука?! Вскрикнув, он обернулся. Ведьма тянулась к нему из корзины. До нее было не больше двух футов. Он нагнулся, перехватил лук удобнее. Ведьма упиалась, учуяла, поняла, что у него в руках! Она попыталась выдохнуть, но от ужаса только затлила дыхание. Шар снизился еще, и корзина заскребала по крыльцу.

Только одна мысль осталась в голове у Вилли: «УНИЧТОЖИТЬ!» Он натянул тетиву.

Лук переломился пополам. Вилли тупо уставился на стрелу, оставшуюся у него в руке.

Ведьма испустила радостный вопль. Шар пошел вверх и ударил Вилли углом корзины. Ведьма снова победно заверещала. Уцепившись за край корзины, Вилли в отчаянии метнул стрелу, как дротик, в огромный шар над головой. Ведьма заглотила и потянула к нему скрюченные пальцы.

Казалось, стрела летит целый час. Но вот она встретилась с оболочкой шара и исчезла в ней, оставив за собой маленькую дырку. От нее, как разрез на сыре, побежала горизонтальная трещина, как улыбка на круглом лице. Шар остановился, закачался и стал спускаться. Поверхность его подернулась рябью, форма теперь больше напоминала грушу. Причитая, бормоча и негодующе вскрикивая, Ведьма заметалась по корзине. Вилли мертвой хваткой вцепился в край и висел, болтая ногами. А шар плакал, силел, захлебывался воздухом и скорбел о своей преждевременной кончине. Вдруг какое-то драконье дыхание подхватило опадающую плоть и быстро поволокло назад и вверх.

Вилли разжал пальцы. Пространство засвистело вокруг него, потом больно ударило по ногам крышей, он перескочил через водосток и ногами вперед провалился в следующую пустоту, вскрикивая, пытаясь ухватиться за пролетающую мимо водосточную трубу и понимая, что это не поможет, он еще ус-

нел заметить улетающий с шипением шар. Он уносил в облака бьющий из него воздух, как раненый зверь стремится укрыться в чаще, он не хотел издыхать и все-таки издыхал.

Все это мелькнуло перед глазами Вилли в единый миг, а уже в следующий что-то грубо развернуло его, хлестнуло, и, не успев обрадоваться дереву, он принялся считать сучки и ветки, пока, ободрав напоследок, дерево не оборвало его падения, поймав в матрас из переплетенных ветвей. Как застрявший воздушный змей, он лежал лицом к небу и с великой радостью слушал затихающие причитания Ведьмы, которую уносило все дальше от дома, дальше от улицы, дальше от города. Улыбка шара становилась все шире, шар мотало из стороны в сторону. Да и шаром он уже не был. Так, зеленая тряпка, летящая по ветру невысоко над землей, чтобы упасть в лугах, там, откуда пришла эта пакость, подальше от сонных, знать ничего не знающих домов.

Вилли казалось, что громовые удары собственного сердца вот-вот сбросят его с ненадежного батута, но зато он точно знал, что жив.

Спустя некоторое время, успокоившись, собравшись с духом и тщательнейшим образом выбрав молитву, он сполз с дерева.

31

И за весь остаток ночи больше НИЧЕГО не произошло.

32

Уже на рассвете по небу с грохотом прокатилась колесница Джаттернаута*. По городским крышам зашелестел дождь, захихикал в водостоках, зазелетал на странных подземных языках под окнами, вмешался в сны, которые торопливо перебирали Джим и Вилли, подыскивая подходящий и каждый раз убеждаясь, что все они скросны из одной и той же темной, шуршащей, непрочной ткани.

И еще одно событие произошло под утро. На раскисшем лугу, где обосновался Карнавал, внезапно задергалась, оживая,

карусель. Каалиопа, судорожно давясь, выплескивала дурно пахнущие обрывки музыки.

Пожалуй, лишь один-единственный человек в городе услышал и понял эти конвульсивные звуки.

В доме мисс Фолей открылась и тут же захлопнулась дверь. Легкие шаги простучали по улице. Дождь пошел сильнее. Молния выкинула в небе дикое танцевальное коленце, на миг осветила и навек сокрыла серую землю.

Дождь принимал к окнам в доме Джима, дождь вылизывал стекла в доме Вилли, и там, и там было много тихих разговоров и даже несколько восклицаний.

В девять пятнадцать Джим в плаще и резиновых сапогах выбрался в воскресную непогоду. С полминуты он стоял, разглядывая крышу (там и намек не осталось ни на какую улитку), потом принялся гипнотизировать дверь Вилли. Дверь покладисто отворилась, и на пороге возник Вилли. Вслед ему долетел голос Чарльза Хэллоуэя: «Может, мне с вами пойти?» Вилли только головой помотал.

Ребята сосредоточенно шагали к полицейскому участку. Опять придется объясняться с мисс Фолей, извиняться, но ведь пока они еще только идут, засунув руки поглубже в карманы и перебирая в памяти жуткие субботние головоломки. Первым нарушил молчание Джим.

— Знаешь, когда мы после крыши спать пошли, мне похороны приснились. На Главной улице...

— А может, это парад был?

— Ха! Точно. Тыща людей, все в черном и гроб тащат, футов сорок длиной!

— Вот это да!

— Верно говорю. Я еще подумал: «Это что же такое помереть должно, чтобы такой гробище понадобился?» Ну и подошел заглянуть. Ты только не смейся, ладно?

— Не улыбнись даже, честно.

— Там лежала такая сморщенная штуковина, ну, вроде черносливовины. Как будто чья-то шкура, как с диплодока, что ли.

— Шар!

Джим остановился как вкопанный.

— Эй! Ты тоже видел? Но ведь шары не умирают?

Вилли молчал.

* Джаттернаут — Владыка Мира, один из титулов Вишну.

— Зачем их хоронить-то? Их же не хоронят?
— Джим, это я..
— Знаешь, он был как бегемот, только саутый.
— Джим, прошлой ночью..
— А вокруг черные плаюмажи, барабаны черным затянуты и по ним — черными колотушками — бум! бум! Я сдурю начал утром маме рассказывать, только начал ведь, а тут уже и слезы, и крики, и опять слезы. Вот женщинам нравится рыдать, правда? А потом ни с того ни с сего обозвала меня «преступным сыном»! А чего мы такого сделали, а, Вилли?

— Кто-то чуть было не прокатился на карусели.
Но Джим, похоже, не слушал. Он шел сквозь дождь и думал о своем.

— По-моему, с меня хватит уже всей этой чертовщины.
— По-твоему?! И это — после всего? Ну что ж, Джим, хватит так хватить. Только вот что я тебе скажу. Ведьма на шаре, Джим! Этой ночью я один..

Но уже некогда было рассказывать. Не осталось времени поведать о том, как он сражался с шаром, как одолеял его, как шар поваялся умирать в пустынные края, унося с собой слепую Ведьму. Не было времени, потому что сквозь дождь ветер донес до них печальный звук.

Они как раз проходили через пустырь с болыпущим дубом посередине. Вот оттуда, из теней возле ствола, и посыпалось им..

— Джим! Там плачет кто-то!
— Да вряд ли! — Джим явно хотел идти дальше.
— Там девочка. Маленькая!
— Спят! Чего это маленькую девочку потянет в дождь плакать под дубом? Пошли.
— Джим! Да ты что, не слышишь?
— Ничего я не слышу! Идем.

Но тут плач стал громче, он печальной птицей легко скользя сквозь дождь по мертвой траве, и Джиму волей-неволей пришлось повернуть за Вилли. А тот уже шагнул к дубу.

— Джим, я, пожалуй, знаю этот голос!
— Вилли, не ходи туда!

Джим остановился, а Вилли продолжал брести, подсакальзаясь на мокрой траве, пока не вошел в сырую тень. Насыщен-

ный водой воздух, неотделимый от серого низкого неба, путался в ветвях и струйками стекал вниз, по стволу и веткам; и там, в глубине, действительно притулилась маленькая девочка. Сиротливое лицо в ладошках, она рыдала так, словно город внезапно провалился сквозь землю, все люди перемерли в одночасье, а сама она потерялась в дремучем лесу.

Подождал Джим, встал у края теней и тихо спросил:

— Это кто?

— Сам не знаю, — отвечал Вилли, сдерживая уже созревшую догадку, от которой самому впору зареветь.

— Не Джени Холдридж, а?

— Нет.

— И не Джейн Франклин?

— Да нет же, нет. — Губы Вилли потеряли чувствительность, как от заморозки у зубного врача. Одеревеневший язык едва шевелился: — Нет. И-нет.

Малышка продолжала плакать, хотя уже чувствовала, что не одна под деревом, просто остановиться не могла. И головы пока не поднимала.

— ..Я.. я.. помогите мне, — донеслось сквозь всхлипывания. — Никто мне не поможет.. я.. я.. не такая..

Наконец, собравшись с силами, она подавила очередной всхлип и подняла лицо с совершенно опухшими и заплаканными от слез глазами. Она разглядела ребят, и это потрясло ее.

— Джим! Вилли! О боже, это вы!

Она схватила Джима за руку. Он шарахнулся назад, бормоча:

— Нет! Ты что? Не знаю я тебя, отпусти!

— Вилли! — запричитала девочка растерянно. — Ну хоть ты-то помоги! Джим, не уходи! Не бросайте меня здесь!

Слезы снова ручьем хлынули у нее из глаз.

— Нет! — пронзительно взвизгнул Джим, вырвал руку, упал, вскочил на ноги, замахнулся даже невесть на кого, но удержался, затрясся весь и прошептал, заикаясь: — Ой, Вилли, пойдем отсюда, ну пожалуйста, пойдем, а?

Девочка под деревом испуганно отшатнулась; широко распахнутые глаза умоляюще и недоуменно перебежали с лица на лицо, потом она застонала, обхватила себя за плечи и принялась раскачиваться, упрятав лицо на грудь. Она не плакала

больше. Нет, она напевала что-то в такт своим наклонам, и видно было, что она так и будет мурлыкать себе под нос, одна, под деревом, среди серого дождя, и никто не подпоет ей, никто ее не остановит...

— ...кто-то должен мне помочь... кто-то должен ей помочь,— она причитала, как по мертвому,— кто захочет ей помочь... никто не может... никто не поможет... ладно, не мне, но ей помогите... ужасно...

— Она нас знает,— обреченно произнес Вилли, наклонившись к девочке и повернув голову к Джиму.— Я не могу ее бросить!

— Да врет она все! — яростно выпалил Джим.— Врет! Не знает она нас! Я же ее в глаза не видел!

— Нет ес, пет, верни ее, верни назад,— приговаривала девочка, раскачиваясь с закрытыми глазами.

— Кого? — участливо спросил Вилли, присев рядом с ней на корточки. Он даже тихонько тронул ее за руку. Она сразу вцепилась в него, тут же поняла свою ошибку, потому что он дернулся, выпустила его руку и снова разревелась.

Теперь Вилли терпеливо ждал, а Джим подсакивал и ерзал поодаль и все звал его идти, канючил, как маленький, что ему это не нравится, что они должны идти, должны идти...

— О-о-о,— тянула девочка, — она потерялась. Она убежала в то место и не вернулась больше. Найдите ее, найдите, пожалуйста, пожалуйста...

Весь дрожа, Вилли заставил себя погладить девочку по мокрой щеке.

— Ну, не вешай нос,— прошептал он,— все будет о'кей. Я помогу тебе.

Девочка открыла глаза и замолчала.

— Я — Вилли Хэллоуэй, слышишь? Ты сиди тут, а мы через десять минут вернемся. Идет? Только не уходи никуда.

Она покорно закивала.

— Значит, сидишь здесь и ждешь нас, так?

Она снова молча кивнула. Вилли выпрямился. Это простое движение почему-то испугало девочку, и она вздрогнула. Вилли помедлил, глядя на нее сверху вниз, и тихо произнес:

— Я знаю, кто вы. Но мне надо проверить.

Знакомые серые глаза глянули на него в упор. По длинным черным волосам и бледным щекам стекали капли дождя.

— Кто поверит? — едва слышно пролепетала она.

— Я,— коротко ответил Вилли.

Девочка откинулась спиной к дереву, сложила на коленях дрожащие руки и застыла, бледная, тоненькая, очень маленькая, очень потерянная.

— Я теперь пойду, ладно? — спросил Вилли.

Она кивнула, и тогда он зашагал прочь.

На краю пустыря Джим сучил ногами от нетерпения. Он слушал Вилли, истерично поскуливая, всякие междометия так и сыпались из него.

— Да быть того не может!

— Я тебе говорю. Она и есть,— доказывал Вилли.— Глаза. Сам же говорил, по ним видно. Вспомни, как было с мистером Кугером и тем противным маальчишкой. А потом, есть еще один способ удостовериться. Пошли.

Он протиснул Джима через весь город и остановился возле дома, где жила мисс Фолсей. Оба задрали головы и посмотрели на слепые в утреннем сумраке окна. Потом поднялись по ступеням и позвонили: раз, два и три раза.

Тишина. Медленно, со скрипом приоткрылась входная дверь.

— Мисс Фолсей? — тихонько позвал Джим.

Из глубины дома доносился едва слышный, монотонный шорох дождя, стучавшего по оконным стеклам.

— Мисс Фолсей?..

Они стояли посреди холла, перед текучим занавесом, и до звона в ушах вслушивались в кряхтенье балок на чердаке старого дома.

— Мисс Фолей!

Только мыши, уютно устроившиеся под полом, шебуршат в ответ.

— В магазин пошла,— заявил Джим.

— Нет,— покачал головой Вилли.— Мы знаем, где она.

— Мисс Фолей! Я знаю, что вы тут! — заорал вдруг Джим и яростно рванулся сквозь занавес.— Выходите, ну!

Вилли терпеливо ждал, пока он обыщет весь дом, а когда Джим, нога за ногу, притаился назад и сел на ступеньку, оба

явственно услышали музыку, льющуюся через входную дверь вместе с запахом дождя и мокрой старой травы.

В далеких дугах каапиопа хрипела задом наперед «Похоронный марш» Шопена. Джим распахнул дверь и стоял в звуках музыки, как стоят под водопадом.

— Это же карусель! Они починили ее!

Вилли спокойно кивнул.

— Она, должно быть, услышала музыку и вышла еще на рассвете. И что-то опять не заладилось. Может, установили ее неправильно, а может, так и задумано, чтобы на ней все время такие несчастья случались. Как с торговцем громоотводами. Он же спятил после этого. Может, Карнавалу по нраву такие проделки, ему от них *удовольствие*. А может, они специально за ней охотились. Например, чтобы про нас выведать. Может, они хотели даже подослать ее к нам, чтобы она им помогла погубить нас. Откуда я знаю? Вдруг она испугалась, и тогда ей просто дали *больше*, чем она хотела или просила...

— Я не понимаю...

Здесь, на пороге пустого дома, под холодным дождем, самое время было подумать о несчастной мисс Фолей; сначала ее напугали Зеркальным лабиринтом, потом заманили одну на карусель. Наверное, она кричала, когда с ней делали то, что сделали. Ее крутили круг за кругом, год, и еще год, много лет, слишком много, куда больше, чем ей хотелось. Они стерли с нее все, оставили только маленькую, пуганную, чужую даже самой себе девочку, и крутили, крутили, пока все ее годы не сторели дотла, и тогда карусель остановилась, как колесо рулетки. Да только ничего не выигралось, пусто, «зеро»; наоборот, проигралось все, и некуда идти, и не расскажешь никому, и ничего не поделаешь... остается только плакать под деревом одной, под утренним осенним дождем.

Так думал Вилли. Примерно так же думал и Джим. Во всяком случае, он проговорил вдруг:

— Бедная, бедная...

— Надо помочь ей, Джим. Кто же еще такому поверит? Ты ж понимаешь, если она скажет кому: «Здравствуйте, я — мисс Фолей!» Ей же скажут: «А ну, вали отсюда. Мисс Фолей уехала, сбегают, нету ее. Топай отсюда, девчушка!» А может, она даже успела

постучаться в добрую дюжину дверей, а, Джим? Представляешь, наверное, просила помочь, путала людей своими причитаниями, а потом бросилась бежать, и вот теперь сидит там, под деревом... Может, полиция уже ищет ее, да что толку? Маленькая девочка, сидит, плачет. Запрут ее подальше, и свихнется она там с горя. Этот Карнавал, Джим, они там знают свое дело. Вытряхнут из тебя все, превратят бог знает во что, и готово! Иди, жалуйся, только народ от тебя шарахается и слушать ничего не хочет. Одни мы понимаем, Джим, никто больше. Знаешь, я как будто улитку сырую проглотил!» — закончил он неожиданно.

Они еще раз отянулись на залитые дождем окна гостиной. Здесь мисс Фолей не раз угощала их домашним печеньем с горячим шоколадом, а потом махала рукой из окна. Она вышла, закрыла дверь и помчалась к пустырю.

— Надо спрятать ее пока, — предложил Вилли, — а потом как-нибудь поможем ей...

— Да как ей поможем? — выговорил на бегу Джим. — Мы и себе-то помочь не можем!

— Должно же что-то быть, чем с ними справиться... просто не придумывается пока...

Они остановились.

Стук их сердец заглушало биение какого-то другого, огромного сердца. Взывали медные трубы, потом — тромбоны, целая стая труб ревела по-слоновьи. Почему-то этот рев вызывал тревогу.

— Карнавал! — выдохнул Джим. — А мы-то и не подумали! Он же может сам прийти, прямо в город! Парад! Или... те похороны, которые мне снились.

— Не похороны это. Но и парадом оно только прикидывается. Это нас ищут, Джим. Или мисс Фолей вернуть хотят. Они же по какой хочешь улице пройдут, Джим. Будут думать, барабанить, а сами шпионят. Джим, надо забрать ее оттуда!

Они сорвались с места и бросились по аллее, самым коротким путем, но тут же остановились. В дальнем конце, между ними и пустырем, показался карнавалый оркестр. За оркестром двинулись катки со зверями, а вокруг шли клоуны, уродцы и разные другие, дуют в трубы и колотят в барабаны. Пришлось прятаться в кусты.

Парад шел мимо минут пять. За это время тучи сдвинулись, небо слегка очистилось и дождь перестал. Рокот барабанов постепенно замирал вдали. Слегка оглушенные, ребята двинулись вперед и скоро были на пустыре.

Под дубом не было никакой маленюхой девочки. Они походили вокруг, посмотрели даже наверху, среди ветвей, но позвать по имени так и не смогли. Страшно было. Оставалось только одно: вернуться в город и спрятаться как следует.

33

Звонил телефон. Мистер Хэллоуэй снял трубку.

— Пап, это Вилли,— зачастил в трубке голос.— Пап, мы не можем идти в участок. Мы, наверное, даже дома сегодня не будем. Скажи маме, и маме Джима тоже, ладно?

— Вилли! Где вы?

— Прячемся. Они ищут нас.

— Да кто, бога ради?!

— Пап, я не хочу тебя втягивать в это дело. Но ты поверь мне, пожалуйста, нам спрятаться надо, хотя бы на день-два, пока они не уйдут. А если мы домой зайдем, они нас выследят, и тогда или тебя, или маму погубят. И у Джима — то же. Я пойду, пап.

— Подожди, Вилли, не уходи!

— Пока, папа! Пожелай мне удачи!

Щелк.

Мистер Хэллоуэй поглядел на дома, на деревья, на улицы, прислушался к далекой музыке.

— Вилли,— сказал он молчащему аппарату,— удачи, сынок!

Он надел пальто, шляпу и вышел в странный опаловый свет, разлитый в холодном сыром воздухе.

34

Перед лавкой «Объединенной табачной торговли», баская мокрыми деревянными перьями, стоял деревянный индеец-чероки. Воскресный полдень окатывал его со всех сторон трезвоном колоколов разных церквей, их немало было в городе. Колокола спорили друг с другом, и звон падал с неба почти как

недавний дождь. Индеец, как и полагается, не реагировал ни на католические, ни на баптистские призывы. Он даже ухом не повел навстречу еще каким-то звонам. Это билось языческое сердце Карнавала. Яркие барабаны, старческий визг каллионы, мольбешенье уродливых существ ничуть не привлекали по-ястребиному пронзительного взгляда индейца. Зато барабаны и трубы задавали колокольный звон и вызвали к жизни орущую толпу мальчишек и просто зевак, охочих до всяческих зрелищ. Пока звонили колокола, воскресная толпа казалась чопорно-сосредоточенной, но стоило цимбалам и тромбонам заглушить церковный перезвон — толпа расслабилась и превратилась в праздничное скопище.

Тень от деревянного томагавка индейца падала на металлическую решетку. Много лет назад этой решеткой прикрывали narrowly вырытую яму. Целый день решетка позвякивала под ногами десятков людей, входивших в лавку, и на обратном пути аккуратно принимала от них кусочки папиросной бумаги, золотые ободки от сигар, обгоревшие спички, а то и медные пенни.

Сейчас решетка уже не позвякивала, а беспрестанно гудела, сотрясаемая сотнями ног, ходулями, колесами балаганов. Это в тигрином рычании тромбонов и вулканических взрывах труб шел Карнавал. Но сегодня под решеткой, кроме обычного мусора, притаились два дрожащих человеческих тела. Шел Карнавал. Шел парадом, как огромный павлин, распутивший причудливый хвост; таращились по сторонам внимательные глаза уродцев. Они цепко обшаривали крыши домов, шпили церквей, изучали вывески дантистов и окулистов, примечали пыльные здания складов. Сотни глаз Карнавала пронизывали пространство города и не находили того, чего хотели. Да и не могли найти, оно ведь было у них под ногами и пряталось в темноте.

Под старой решеткой табачной лавки затаились Джим и Вилли. Здесь было тесно, сидеть приходилось, уперев колени друг в друга, они даже дышать как следует опасались, но стойчески переносили все неудобства. Волосы на их макушках шевелил ветерок от колыхавшихся женских юбок, то и дело чья-нибудь фигура заслоняла кусочек неба, видимый со дна ямы. Перебегали дети.

— Слушай! — шепнул Джим. — Ну и угодили мы, прямо под парад. Давай-ка сматываться!

— Сиди как сидишь, — хриплым шепотом ответил Вилли. — Это же самое видное место. Они никогда не додумаются искать нас здесь.

Трум, трум, турум, турум, тум, тум! — гремел Карнавал. Решетка звякнула, на ней опять кто-то стоял. Вилли взглянул наверх и вздрогнул. Он знал эти подошвы со стертymi медными гвоздиками. «Пала!» — чуть не крикнул он. Джим тоже посмотрел наверх. Человек нервно переступал с ноги на ногу, поворачиваясь по сторонам, выискивая в толпе то, что было совсем рядом с ним. «Я мог бы дотронуться до него», — подумал Вилли. Чарльз Хэллоуэй, бледный, возбужденный, ничего не почувствовал и через минуту ушел.

Но зато Вилли почувствовал, как душа у него ухнула вниз, в какой-то холодный, дрожащий бесый кисель.

Шлеп!

Вилли и Джим вздрогнули. Розовая пластинка жевательной резинки упала возле их ног на кучу старых целлофановых оберток от сигарет. Сверху над решеткой склонилась расстроенная мордашка лятилетнего карапуза.

«Убирайся!» — свирепо подумал Вилли. Но малышу жаль было так просто расставаться с лакомством. Он встал на колени и приник к самой решетке, высматривая свое розовое удовольствие.

Вилли едва сдержался, чтобы не схватить жвачку и не запихнуть в маленький ротик — лишь бы он исчез, скрылся побыстрее.

Барабан наверху раскатился дробным рокотом — и смолк.

Ребята переглянулись. «Парад! — подумали оба. — Он же остановился!» Малыш упрямо пытался просунуть руку сквозь решетку.

Наверху мистер Дарк, Человск-в-Картинках, командовавший парадом, окинул взглядом воздетые к небу разверстые пасти медных геликонов и подал знак. Тотчас стройное шествие распалось. Уродцы разбежались в разные стороны, смешались с толпой, разбрасывая небольшие рекламные афишки и не прекращая шарить глазами по толпе, по фасадам домов.

«Парад кончился, — понял Вилли, — началась охота».

Малыш наверху не собирался сдаваться. Его тень покрывала Вилли.

— Мама! Там!

35

В барс «Вечерок у Неда», за полквартила от табачной лавки, Чарльз Хэллоуэй второй чашкой кофе приводил в порядок расстроенные бессонной ночью, раздумьями и поисками нервы. Он уже собрался расплатиться, когда его почему-то встревожила наступившая вдруг на улице тишина. В воздухе незримо разлилось беспокойство — это вмиг распавшийся Карнавал смешался с толпой. Сам не зная почему, Чарльз Хэллоуэй убрал бумажник.

— Еще чашечку сделаешь, Нед?

Нед включил кофеварку, и в это время в баре появился новый посетитель. Он прошел от двери и слегка шлепнул по стойке рукой. Чарльз Хэллоуэй взглянул. Рука взглянула на него. На тыльной стороне каждого пальца была сделана искусная татуировка в виде глаза.

— Мама! Тут, внизу! Посмотри!

Мальчик звал маму и тянул ручонку вниз. Мимо шли люди. Некоторые останавливались. Появился Скелет. Больше всего смахивающий на ободранное, давно засохшее дерево, он не столько подошел, сколько сыграл ксилофоном своих костей, переместившись поближе к холодному бумажному сору и теплым, дрожащим мальчишкам.

«Уходи! — с отчаянием думал Вилли. — Уходи же!»

Пухлые детские пальчики тянулись сквозь решетку.

«И ты — уходи!»

Скелет, похоже, послушался и убрался из поля зрения. Но не успел Вилли облегченно вздохнуть, как его место занял Карлик! Он подкатился вперевалочку, позвякивая дурацкими колокольчиками, нашитыми на грязную рубашку, и посверкивая глазами-каменщиками. Глаза поминутно меняли выражение: то они были блестящими и плоскими гадсаками идиота, то вдруг

становились глубокими и печальными глазами человека, потерявшего себя. Глаза ни секунды не оставались в покое, они так и шарили по сторонам, высматривая не то свою собственную сгинувшую личность, не то запропавших мальчишек. Казалось, взглядом его управляют двое хозяев, прежний и нынешний, заставляя глаза совершать жуткие прыжки: назад, в прошлое, обратно, в настоящее.

— Ма-ма! — тянул свое ребенок.

Карлик остановился возле него (они были примерно одного роста) и посмотрел на малыша.

Вилли в яме испытал жгучее желание стать плесенью на бетонной стене у него за спиной. Похоже, Джим тоже пытался найти для себя местечко между бетоном и паутиной, покрывавшей его.

— Хватит тут ползать! — Раздраженный женский голос.

Слабо сопротивляющегося малыша уволокли. Поздно. Карлик уже стоял над решеткой и смотрел вниз. В глазах у него мелькали осколки человека по имени Фури, того самого, что давным-давно, в безоблачное, легкое и безопасное время, продавал громкоотводы.

Вилли содрогнулся от жалости. «О, мистер Фури, что они сделали с вами! — думал он. — Что это было? Копер? Стальной пресс? Как это было? Вы кричали? Плакали? Они поймали вас, как кузнечика в коробку, и давили, пока не осталось ничего. Ничего не осталось, мистер Фури, ничего, кроме...»

Карлик. Не человек. Механизм. Не глаза. Камеры. Два объектива уставились в темноту. Щелк. Снимок: прутья решетки. А заодно и то, что под ней?

«На что он смотрит? — пытался сообразить Вилли. — На саму решетку или на то, что внизу?»

Миг катастрофы все длился. Жалкое, искореженное существо, в котором от человека оставалась лишь его двуногость, не двигалось. Может быть, все еще фотографировало?

На самом деле глаза-объективы кукалы не замечали ни Джима, ни Вилли, ни даже самой решетки. Но все очертания, цвета, размеры фотокамера уродливого черепа зафиксировала надежно. Придет время, изображение проявится, картинка будет ис-

следована, и тогда дикое, ссохшееся, потерянное создание бывшего торговца увидит все. А потом? Мсть? Уничтожение?

Клац-тук-щелк!

Бегут смеющиеся дети. Их текучая радость смыла Карлика, он вспомнил о чем-то и поковылял дальше, выискивая сам не зная что.

Выглянуло солнце. Двое мальчишек в яме едва дышали. Джим, не заметив, крепко вцепился в руку Вилли. Оба со страхом ждали новых, более внимательных глаз.

Пять синих, красных и зеленых глаз убралась со стойки. Чарльз Хэллоуэй, получивший свой третий кофе, повернулся на вращающемся стуле к странному посетителю. Человек-в-Картинках в упор смотрел на библиотечного уборщика. Хэллоуэй благодушно кивнул, но Человек-в-Картинках не ответил, не мигнул даже и продолжал пристально рассматривать соседа. «Экий наглец», — подумал мистер Хэллоуэй, но отвести глаза уже не мог, он просто постарался придать взгляду как можно больше спокойствия.

— Что закажете, мистер? — поинтересовался бармен.

— Ничего. — Мистер Дарк все еще разглядывал отца Вилли. — Я ишу двух парнишек.

«А то я не ишу!» — подумал Хэллоуэй и расплатился.

— Спасибо, Нед, — спокойно поблагодарил он и встал.

Уже выходя, он заметил, как татуированный человек протянул руки в сторону бармена, повернув ладони вверх.

— Парнишек ищите? — переспросил Нед. — Как звать, сколько лет?

Дверь за Хэллоуэем закрывалась. Мистер Дарк, не слушая болтовню бармена, проводил вышедшего внимательным взглядом.

Сначала Чарльз Хэллоуэй по привычке двинулся в сторону библиотеки, но тут же остановился и сделал движение в сторону здания суда. Нет. Он постоял, ожидая, не направит ли его более точно интуиция, машинально ощупал карман пальто и обнаружил, что забыл курево. Это внесло определенность в его планы, и он зашагал к лавке «Объединенной табачной торговли».

Джим из ямы взглянул в небо.

— Вилли! — зашипел он — Смотри, твой отец! Он нам может.

Вилли молчал.

— Ладно, я сам его позову!

Вилли схватил Джима за шиворот и отчаянно замотал головой.

— Да почему? — едва слышно удивился Джим.

— Потому, — шевельнулись губы Вилли.

Потому... Он взглянул вверх. Отсюда отец казался даже меньше, чем прошлой ночью со стены дома. «Это все равно что позвать еще одного мальчишку, — подумал Вилли. — Зачем он нам? Нам нужен кто-нибудь важный, самый главный!» Вилли приподнялся, заглядывая в окно лавки. Вдруг он ошибся, и лицо отца на самом деле выглядит резче, взрослее, мужественнее, чем показалось ему ночью, в призрачном лунном свете? Нет. Все то же. Нервно бегающие отцовские пальцы, неуверенный излом губ. Он даже табак толком купить не может.

— Одну... вот эту... сигару мне за двадцать пять центов.

— Ба! — прогудел мистер Татли. — Да вы никак разбогатели, мистер Хэллоуэй!

Чарльз Хэллоуэй медленно вытаскивал сигару из целлофанового пакетика. Он просто тянул время, ожидая какого-нибудь движения во Вселенной, знака, объяснившего бы ему, что происходит. Почему он пошел этой дорогой? Зачем ему сигара за 25 центов? Кажется, кто-то окликнул его по имени. Он резко повернулся и обжег глазами толпу, яркие пятна клоунов с афишами... никого не увидел и повернулся снова прикурить от вечного синего газового пламени, выглядывающего из янтарной трубки в стене табачной лавки. Затянулся, выпустил струйку дыма, бросил сигарный кончик и взглядом проводил его до металлической решетки. Стоп! Он словно ударился о глаза, блеснувшие из-под земли. Чьи это тени там? Джим! Вилли! Чарльз Хэллоуэй пошатнулся и попытался ухватиться за сигарный дым. Боже! Что они там делают, в колоде под улицей? Он чуть было не наклонился, но вовремя остановил себя и тихо проговорил, почти не размыкая губ:

— Вилли? Джим? Черт побери, что происходит?

В этот момент за сто футов отсюда Человек-в-Картинках резко повернулся и вышел из забегаховки Неда.

— А ну, выбирайтесь! — распорядился Чарльз Хэллоуэй.

Человек-в-Картинках, сам толпа посреди толпы, постоял мгновение и направился к табачной лавке.

— Пап! Мы не можем. Ради бога, не смотри на нас!

Человек-в-Картинках был футом в восьмидесяти.

— Мальчики, — растерянно произнес Чарльз Хэллоуэй, — полиция...

— Мистер Хэллоуэй, — прервал его Джим, — не смотрите, а то нам конец. Человек-в-Картинках...

— Кто?!

— Ну, мужчина такой, в татуировке весь.

Перед глазами Хэллоуэя возникли зрячие пальцы на стойке.

— Пап, ты лучше смотри вон на часы, а мы пока расскажем тебе...

Мистер Хэллоуэй как мог небрежней выпрямился... и в этот миг из-за угла появился Человек-в-Картинках. Он тут же остановился, изучая Чарльза Хэллоуэя, разглядывавшего уличные часы со странным усердием.

— Сэр, — звучно произнес Человек-в-Картинках.

— Одинадцать пятнадцать, — бормотал Чарльз Хэллоуэй, не выпуская сигары изо рта и рассматривая свои наручные часы. — Так и есть, отстают на минуту.

— Сэр, — повторил Человек-в-Картинках.

Джим ухватился за Вилли, Вилли вцепился в Джима, когда на решетке рядом с истертыми подошвами отца Вилли появились крепкие чужие каблук.

— Сэр, — снова повторил человек по имени Дарк, цепко всматриваясь в черты лица Чарльза Хэллоуэя, сравнивая их с другими, — «Объединенное шоу Кугера и Дарка» избрало двух местных школьников — двух, сэр! — нашими почетными гостями.

— А при чем здесь... — начал Чарльз Хэллоуэй, изо всех сил стараясь не глядеть под ноги.

— Эти двое, — подкованные каблук лязгнули о решетку, — эти двое смогут прокатиться на всех аттракционах, побывать

на всех представлениях, пожмут руки всем нашим артистам и вернутся домой с кучей волшебных подарков...

— Кто же эти счастливицы? — прервал его мистер Хэллоуэй.

— Мы выбрали их по фотографиям, сделанным вчера у входа на Карнавал. Помогите нам определить их, сэр, и вы разделите с ними удачу. Вот они!

«Он увидел нас! — панически подумал Вилли. — О боже!»

Человек-в-Картинках выставил вперед руки ладонями наружу. Отец Вилли пошатнулся. С правой ладони на него смотрел мастерски выгатуированный ярко-синей краской портрет собственного сына. На левой ладони, как живое, улыбалось лицо Джима.

— Вы знаете их? — От внимательного взгляда Человека-в-Картинках не укрылась растерянность мистера Хэллоуэя. И немудрено. У старика перехватило горло, и глаза разъехались в стороны, словно его огрели дубиной по голове. — Их имена?

«Молчи, папа!» — мысленно закричал Вилли.

— Я, собственно, не... — начал отец Вилли.

— Вы знаете их.

Протянутые вперед, требующие имен руки Человека-в-Картинках слегка подрагивали, и вместе с ними вздрагивали и страдальчески морщились лицо Вилли на правой ладони, лицо Джима на левой ладони, лицо Вилли в яме под улицей, лицо Джима внизу под решеткой.

— Сэр, вы же не хотите, чтобы мы не нашли наших героев?

— Нет, но...

— «Но»? — удивился мистер Дарк и подался вперед. Его собственные глаза и глаза всех тварей, бродивших по прериям его тела, вцепились в пожилого человека, стиснули со всех сторон, завораживали тысячами взглядов. Мистер Дарк придвинула ладони еще ближе. — Вы сказали «но»?

Мистер Хэллоуэй крепче прикусил сигару.

— Пожалуй, я припоминаю...

— Что?

— Один из них похож...

— На кого?

«Папа, неужели ты не видишь, как он заинтересовался?» — думал Вилли.

— Мистер, — удивился Чарльз Хэллоуэй, — да чего вы так разнервничались из-за каких-то мальчишек?

— Я? Разнервничался? — Улыбка мистера Дарка исчезла. Похоже, он слегка ошелеп. — Сэр, я забочусь о своем деле, а для нас это всего лишь нервы?

Отец Вилли смотрел, как перекатываются бугры мускулов под легким костюмом его собеседника. Наверняка все кобры и африканские гадюки, которыми расписан этот молодец, шипят и скручиваются в клубки от злости.

— Один из этих сорванцов, — подчеркнуто медленно протянул мистер Хэллоуэй, — напоминает мне Милтона Блаумкиста.

Мистер Дарк стремительно сжал пальцы. Голову Джима сдавила тупая боль.

— А второй, — почти ласково продолжал отец Вилли, — второй похож на Эвери Джонсона.

«Ну, папа, — внутренне возликовал Вилли, — ты — гигант!» И тут же чуть не застонал от неожиданно обрушившейся боли. Это мистер Дарк сжал вторую ладонь.

— По-моему, они оба, — невозмутимо закончил мистер Хэллоуэй, — уехали на прошлой неделе в Милуоки.

— Вы можете, — холодно произнес мистер Дарк.

Отец Вилли искренне возмущился:

— Что б я да испортил победителям веселье?!

— Мы знаем имена мальчиков, — с расстановкой произнес мистер Дарк, — мы узнали их десять минут назад. Просто хотели удостовериться еще раз.

— И... кто же они, по-вашему? — недоверчиво спросил отец Вилли.

— Джим, — уронил мистер Дарк. — Вилли.

Джим скорчился в темноте. Вилли втянул голову в плечи.

Отцовское лицо оставалось глубоким омутом, в котором без всплеска утонули два имени.

— Джим, значит? Вилли? Да их тут туча, Джимов и Вилли, в таком городе, как наш, уж наверняка пара сотен наберется.

«Кто же нас выдал? — лихорадочно думал Вилли — Кто рассказал? Мисс Фолсей? Но ведь ее нет, она ушла, и дом с льдиной

занавеской пуст. А та девочка, рыдавшая под деревом и так похожая на мисс Фолей? — спросил он себя. — Ее ведь тоже нет. Может быть, парад подобрал ее? Она так долго плакала, она так боялась... А если они пообещали, что музыка, кони, трубы, весь этот шальной карнавальный мир помогут ей, сделают взрослой, вырастят, покрутив вперед, поднимут, утешат, прекратят этот ужас и вернут все, как было? Да за это она скажет им все на свете. Что наобещал, что наврал ей Карнавал, когда они нашли ее под деревом?»

— Имена как имена, — гнул свою линию мистер Хэллоуэй. — А с фамилиями как?

Мистер Дарк не знал фамилий. Его космос, населенный чудовищами, вибрировал и исходил потом, обволакивался дурным запахом подмышек, шинел и ругался на мускулистых крепких ногах.

— Сдается мне, теперь вы лжете, — удовлетворенно, с незнакомой дотоле радостью выдохнул мистер Хэллоуэй. — Как это вы не знаете фамилий? И с чего бы это вам, карнавальному чужаку, агать мне посреди улицы в моем собственном, хоть и не бог весть каком, городе?

Человек-в-Картинках сжал кулаки. Отец Вилли, слегка поблуднев, смотрел, как шевелятся суставы, загоняя ногти в изображения двух мальчишеских лиц, упрятанных в эту прочную, очень прочную тюрьму из сильной, живой плоти.

Внизу две тени молча металась почти в агонии. Человек-в-Картинках смахнул с лица напряженное выражение. Теперь он выглядел совершенно безмятежным. Только яркая капля выкатилась из правого кулака, и такая же капнула из левого. Обе пропали меж прутьев старой решетки на тротуаре.

Вилли перевел дух. Что-то сползло у него по щеке. Он провел ладонью — на ней остался красный след. Вилли посмотрел на Джима. Похоже, его тоже отпустило, он лежал расслабившись и смотрел вверх.

Отец Вилли заметил кровь, сочившуюся из сжатых кулаков Человека-в-Картинках, но не подал виду, а глядя ему прямо в лицо, выговорил:

— Извините, приятель, больше ничем помочь не могу.

Мистер Дарк повернулся на каблуках. Стальные набойки высекли искры из прутьев решетки.

Из-за угла, размахивая в воздухе руками и яркими цыганскими юбками, появилась Предсказательница Удачи, она же — Пыльная Ведьма. Сегодня ее незрячие глаза скрывали темносиние стекла очков.

«Надо же, уцелела! — подумал Вилли. — Его ведь уволокло тогда, должно было об землю зашибить, а вот не зашибло. Теперь она взбесилась и не отстанет от меня!»

Его отец тоже увидел Ведьму и почувствовал, как кровь у него в жилах загустела и потекла медленнее.

Толпа приветливо расступалась и добродушно обсуждала яркие лохмотья этого удивительного существа. Многие с улыбками прислушивались к ее прибауткам, чтобы запомнить и потом пересказать в компании. Ведьма двигалась уверенно, ощупывая город вокруг чуткими пальцами. При этом она непрерывно не то пела, не то бормотала.

— Все как есть наворожу. И про жен, и про мужей, про девиц и про парней. Про удачу и про жизнь, все мне ведомо, кажись. Приходи на представление, погадаю в воскресенье. Девиде скажу, на кого он похож. А тебе расскажу про всю ее ложь. Узнаешь его намерений цвет, увидишь ее души букет. Далеко не уходи, в шатер заходи, меня там найди.

Дети сразу пугались ее, а их родители — с развитым чувством юмора, конечно, — их родители веселились, глядя на забавную старуху и слушая ее бормотанье. Тем временем древняя ворожея, с ног до головы покрытая пылью множества живших на земле племен, все сплетала и разбирала меж пальцев микроскопическую паутину, пылинки, мушиные крылышки, микробов и бактерий, слюдяные чешуйки, корпускулы солнечного света, преломленные уже явленными, а еще больше — неявленными человеческими страстями.

Ребята изо всех сил вжались в стенки своего убежища. Дребезжащий голос явственно доносился сверху.

— Слепа-то я — слепа. Но уж что вижу, то вижу. А вижу я человека в соломенной шляпе — это осенью-то! И еще вижу — и к чему бы это? — вот мистер Дарк стоит — привет, мистер Дарк! — а с ним *старик*...

«Не такой уж он и старей!» — крикнул про себя Вилли. Тень Ведьмы серым лягушачьим пятном накрыла яму. Теперь Вилли видны были все трое.

Мистера Хэллоуэя сотрясала внутренняя дрожь. У него возникло ощущение длинных острых ножей, по очереди вонзающихся в живот.

— О, это не простой старик, — вновь забормотала Ведьма и вдруг замолчала. — А еще... — Шерсть у нее на носу ошестинилась. Она по-птичьи завертела головой, пробуя воздух, быстро пережевывая его серыми губами.

Человек-в-Картинках поторопился ее:

— Ну!

— Подожди! — выдохнула цыганка и ногтями принялась скоблить незримый забор перед собой.

Вилли почувствовал, что еще секунда — и он не выдержит: заскулит и затявкает от ужаса, как маленький щенок.

Пальцы Ведьмы медленно поползли вниз. Они чутко прощупывали каждую полосу спектра, взвешивали каждый лучик света. Вот-вот указательный палец вонзится в решетку на тротуаре, означая роковое «там!»

«Папа! — взмолился Вилли. — Ну сделай что-нибудь!»

Человек-в-Картинках терпеливо ждал. Как только на сцене появилась его лучшая ищейка, он успокоился и теперь поглядывал на нее с гордостью, чуть ли не с любовью.

— Вот... — Пальцы Ведьмы отчаянно вибрировали.

— Вот! — громко провозгласил мистер Хэллоуэй.

Ведьма подскочила от неожиданности.

— Вот поистине замечательная сигара! — голосил отец Вилли, картинно обернувшись к дверям лавки.

— Потихе, любезный, — с досадой произнес Человек-в-Картинках.

Мальчишки внизу подняли головы.

— Вот... — тянула свое Ведьма, пытаясь не упустить едва пойманное ощущение.

— Только жаль — погасла! — вещал на всю улицу Чарльз Хэллоуэй. — Ну да ничего, дело поправимое. Сейчас прикурим.

Он снова сунул кончик сигары в синее пламя.

— Вы не могли бы помолчать немного? — обратился к нему мистер Дарк.

— Сами-то курите? — участливо поинтересовался мистер Хэллоуэй.

Ведьма, вконец расстроенная его неожиданным словоизвержением, опустила руку, ушибленную громкими словами, и стерла с нее пот; так протирают антенну радиоприемника, чтобы избавиться от лишних помех. Затем она снова простерла руку вперед, трепетными ноздрями чутко пробуя эфемерные токи воздуха.

— Превосходно!

Из сигары мистера Хэллоуэя изверглось целое облако дыма. Дивные густые клубы окутали гадалку. Она закашлялась.

— Дурачина! — гаркнул, не сдержавшись, Человек-в-Картинках. Но не понять было, мужчину или женщину он имеет в виду.

— Отличная сигара! — продолжал восхищаться мистер Хэллоуэй. — Пожалуй, угощу-ка я и вас тоже!

С этими словами он сотворил еще одну синюю тучу, почти совсем скрывающую Пыльную Ведьму.

Она громко и обиженно чихнула раз, другой, забормотала сердито себе под нос и заковыляла прочь.

Человек-в-Картинках схватил было отца за руку, но понял, что зашел слишком далеко, признал свое нелепое поражение и отправился вслед за цыганкой. В спину ему прозвучал доброжелательный голос отца Вилли:

— Всего вам *доброго*, сэр!

«Вот это лишнее, папа». — подумал Вилли.

Человек-в-Картинках вернулся.

— Ваше имя, сэр? — напрямик спросил он.

«Не говори, не надо!» — напрягся Вилли.

Его отец поколебался немного, вынул сигару изо рта, стряхнул пепел и ответил.

— Хэллоуэй. Библиотечный работник, к вашим услугам. Заглядывайте, если придется, — добавил он, подмигнув.

— Не сомневайтесь, Хэллоуэй, обязательно загляну!

Ведьма, пританцовывая, поджидала мистера Дарка на углу. Мистер Хэллоуэй послунывал палец, определил направление

ветра и послал в ее сторону очередное грозовое облако. Ведьма затоптала на месте, повернулась и исчезла за углом. Человек-в-Картинках сурово взглянул на старика, повернулся и удалился широкими шагами, сжимая в кулаках ребячьи лица.

Из-под решетки не доносилось ни звука. «Как бы они там не померли от страха», — с беспокойством подумал Чарльз Хэллоуэй. А Вилли внизу, с мокрыми от слез глазами, думал совсем другое: «Господи! Как же я раньше не замечал? Он же у меня высокий, выше Дарка ростом!» Чарльз Хэллоуэй все еще старался не смотреть на решетку. От дверей табачной лавки уходили за угол редкие алые клыксы. Они накапали из стиснутых кулаков мистера Дарка. Отец Вилли с удивлением оглядел и себя тоже и не мог не заметить то новое — наполовину отчаяние, наполовину спокойная ясность, — что появилось в нем за последние четверть часа, появилось и совершило невозможное. Вряд ли он смог бы ответить, почему назвал мистеру Дарку свое имя, но чувствовал, что поступил так, как надо. Теперь он обращался к циферблату уличных часов с длинной речью.

— Что-то происходит, братцы. Что-то надвигается. Хорошо бы вам куда-нибудь деться до конца дня. Нам нужно выиграть время. Тут важно решить, с чего начать. Вроде бы ни один писанный закон пока не нарушен, но я чувствую, уже с месяц, как чувствую: бедой запахло. У меня внутри что-то подрагивает все время. Прячьтесь, ребята, прячьтесь. Я скажу вашим матерям, что у вас появилась работа на Карнавале, до темноты можете не появляться. А вечером, часам к семи, приходите ко мне в библиотеку. Я знаю, кажется, с чего начать. Надо просмотреть отчеты полиции по карнавалам за предыдущие годы, полистать подшивки газет, покопаться в некоторых старинных книгах. Все может пригодиться. Глядишь, с Божьей помощью к вечеру у нас появится какой-нибудь план. До тех пор не тревожьтесь ни о чем. Господь с вами, мальчишки!

Вилли посмотрел. Тщедушная фигурка отца, ставшего вдруг высоким и сильным, неторопливо удалялась. Еще раньше его чудесная сигара выпала у него из пальцев — а он даже не заметил, — скользнула сквозь решетку, на мгновение осветив подземелье градом искр, и теперь лежала на дне ямы, гипнотизируя Джима и Вилли единственным багровым глазом. Ребята ослепили ее и выбросили вон.

На юг по Главной улице пробирался через толпу Карлик. Внезапно он остановился. Пленка была проявлена, и сознание наконец получило возможность просмотреть отснятые кадры. Карлик замычал, развернулся и через лес ног заковылял разыскивать хозяина. Он скоро нашел его и заставил пригнуться низко-низко. Мистер Дарк внимательно выслушал сообщение и бросился бежать, даже не оглянувшись на оставшегося позади удивленного старателя.

Возле индейца чероки Человек-в-Картинках пал на колени и, впившись в прутья стальной решетки, попытался разглядеть дно ямы. Там открылись ему обрывки старых газет, фантики от леденцов, окурки и розовая полоска жевательной резинки, совершенно целая. Мистер Дарк испустил короткий яростный вопль.

— Что-нибудь потеряли, сэр? — поинтересовался из-за стойки мистер Татли.

Человек-в-Картинках, все еще не отпуская решетку, утвердительно кивнул.

— Не беда, — успокоил его мистер Татли. — Раз в месяц я обязательно провожу инспекцию. Сколько у вас там: четвертак? поддоллара?

Банг!

Человек-в-Картинках вздрогнул и посмотрел вверх. В окошечке кассы, высоко в небесах, выскочил маленький огненно-красный флажок: «НЕ ПРОДАЕТСЯ».

Городские часы пробили семь. Эхо курантов пошло гулять по темным залам библиотеки. Хрупкий осенний лист прошуршала по оконному стеклу или это просто перевернулась страница книги?

В одном из закоулков, склонившись в травяном свете лампы, сидел Чарльз Хэллоуэй. Руки его, чуть подрагивая, перебирали страницы, ставили на место одни книги, снимали другие. Изредка он подходил к окну и, вглядываясь в осенние сумерки, наблюдал за улицей, потом опять возвращался к столу, перели-

стывал страницы, делал выписки, закладки, бормоча себе под нос. От слабых звуков его голоса под потолком библиотеки порхали смутные отголоски.

— Так... теперь посмотрим здесь...

— ...здесь! — подтверждали темные переходы.

— О, вот это нам пригодится...

— ...годится! — вздыхали темные залы.

— И вот это тоже!

— ...тоже, — шуршали пылинки в темноте.

Пожалуй, это был самый длинный день в его жизни. Он бродил среди диковинных толп, выслеживал рассыпавшихся по городу карнавальным шпионов. Он не стал портить матерям Вилли и Джима спокойного воскресенья и сказал лишь самое необходимое, и опять бродил по улицам, держась подальше от глухих аллей, сталкиваясь тенями с Карликом, кивал встреченным Крушителям и Пожирателям Огня и дважды с трудом сдержал панику, проходя мимо решетки возле табачной лавки. Он чувствовал, что в яме никого нет, и надеялся, что ребята, благодарение богу, нашли надежное местечко. Вместе с толпой горожан он посетил Карнавал, но не зашел ни в один балаган, не прокатился ни на одном аттракционе. Уже в сумерки, перед заходом солнца, исследовал Зеркальный лабиринт и понял достаточно, чтобы удержаться на берегу и не кануть в холодные глубины.

Промокший под вечерним дождем, промерзший до костей, он дал толпе возможность нести себя и, прежде чем ночь успела схватить его, причалил к берегу библиотеки. Здесь он достал самые нужные книги и разложил на столах, как огромные литературные часы. Теперь они отсчитывали для него свое время.

Он ходил от стола к столу, поглядывая искоса на пожелтевшие страницы, словно на коллекцию диковинных бабочек, расправивших крылья над деревянными столешницами.

Здесь лежала книга, раскрытая на портрете князя тьмы. Рядом — серия гравюр «Искушение св. Антония», слева — алхимические рисунки Джованни Баттисты Брачелли, изображавшие гомункулов, рожденных в ретортах. Место «без пяти полдень» занимал «Фауст», на двух пополудни лежала «Оккультная иконография», на шести утра, как раз там, где сейчас трудились его пальцы, расположилась «История цирков, карнавалов, театров

печей и марионеток», во множестве населенная шутами, менажерами, магами, клоунами на ходулях и куклами на веревочках. Сверху того присутствовали «Справочник по воздушному шипению (Летающие твари за всю историю Земли)», «девять» назидательных «Во власти демонов», выше помещались «Египетские сподобья», еще выше — «Мытарства на воздушях», придавленные «Зеркальными чарами», а уж совсем ближе к полуночи стояли под парами «Поезда и локомотивы», упирившиеся в «Мистерии сновидений», «Между полуночью и рассветом», «Поблизи ведьм» и «Договоры с демонами». Все было на своих местах, и весь циферблат заполнен. Не хватало лишь стрелок, поэтому Хэллоуэй не мог сказать, который час отзвонили куранты его собственной жизни или жизни двоих ребят, затерянных где-то среди ни о чем не подозревающего города.

Чем же он располагал в итоге?

В три часа ночи появился поезд. На лугу раскинул сети Зеркальный лабиринт, в город вошел воскресный парад, которым командовал рослый мужчина, разрисованный вдоль и поперек. Дальше было несколько капель крови, двое перепуганных мальчишек в яме и, наконец, он сам, сидящий в этой кладбищенской тишине над частями мудреной головоломки.

Ребята говорили правду. Это доказывало явное ощущение страха, ступившееся в воздухе во время их странной беседы сквозь решетку. А уж он, Хэллоуэй, в своей жизни повидал достаточно страшного, чтобы распознать его сразу при встрече. Почему в молчании разрисованного незнакомца ему послышались все ругательства и проклятья, сколько их есть на свете? Что почудилось Хэллоуэю в фигуре дряхлого старика, мелькнувшей сквозь щель в пологие шатра под вывеской «Мистер Электрик»? Почему на его теле паясали зеленые электрические ящерицы? Как сложить все это вместе, как совместить с тем, что говорят книги? Он взял в руки «Физиогномику. Тайны характера, определяемые по лицу», полистал. Автор уверял его, что Джим и Вилли — просто-таки воплощение ангельской чистоты, идеал Мужчины, Женщины или Невинного Младенца, гармония Цвета, Пропорций и Расположения Звезд. И вот они глядят из-под решетки на весь этот шагающий и прохочущий ужас... А там... Чирльз Хэллоуэй перевернул несколько страниц. Так значит, Рас-

писному Чуду присущи Раздражительность, Жестокость, Алчность — об этом говорят лобные шишки, а также Похоть и Ложь — это уже следует из линии губ, и в не меньшей степени — Хитрость, Наглость, Суета и Предательство, о чем с неопровержимостью должны свидетельствовать зубы мистера Дарка.

Нет. Книга захлопнулась. Если судить по лицам, балаганные уроды не намного хуже тех, кто на его долгой памяти открывал и закрывал двери библиотеки. Но в одном он уверен совершенно. В этом убедили его две строки Шекспира. Их надо было поместить в центре книжного циферблата, ибо именно они наиболее точно выражали суть его мрачного предчувствия.

Колет пальцы. Так всегда
Надвигается беда*.

Так смутно — и так огромяно.

С этим предчувствием не хотелось жить. Но Хэллоуэй был твердо убежден: если ему не удастся изжить наступающий ужас сегодня ночью, он останется с ним на всю оставшуюся жизнь. И он все поглядывал в окно, все поджидал. Джим, Вилли, вы идете? Придете ли вы сюда?

Ожидание выбелило его плоть до цвета костей.

38

Здание библиотеки поднималось из сугробов времени, напавших от лавины книг всех веков и народов — ее с трудом сдерживал порядок полок и разделителей.

Семь пятнадцать... семь тридцать... семь сорок пять воскресного вечера.

Город был занят Карнавалом. Мимо Джима и Вилли, затаившихся в кустах под стеной библиотеки, то и дело шли люди, заставляя ребят зарываться носами в палые листья.

— Полундра!

Оба снова вжались в землю. Кто-то пересекал улицу: может, какой-то парнишка, а может, Карлик, может, подросток с сознанием Карлика, а может, просто дуло несколько листьев с

агрива и бросило по подмерзшему после дождя тротуару. Ладно. Было и ушло. Джим сел, а Вилли все еще лежал, прижавшись к доброй, безопасной земле.

Ты чего? Идти ведь надо.

Библиотека, — словно нехотя отозвался Вилли. — Я даже сейчас боюсь.

«Этим книжкам, поселившимся здесь, — думал он, — сотни лет от роду. У них шелушится кожа от старости, они расселись на полках, как стая грифов, крыло к крылу. Только ступи в темные переходы — сразу миллион золотых корешков так и вылетят на тебя. Библиотека старая, и Карнавал старый, и отец старый...»

— Я знаю, — вслух произнес он, — отец там. Но отец ли он? А что, если они уже побывали здесь, изменили его, переделали, пообещали с три короба, чего и дать не могут, а он-то думает — у них есть, и мы войдем сейчас, а потом, лет через пятьдесят, кто-нибудь возьмет книжку, откроет, а оттуда на пол выпалим-ся, как сухие бабочкины крылья, мы с тобой, а? Как сожмут нас, как засунут между страницами, никто и не узнает, куда мы подевались...

Для Джима это было уже чересчур. Надо было немедленно действовать — и вот он уже колотит в библиотечную дверь. Еще минута — и Вилли присоединился к нему. Куда уютно, лишь бы убежать от уличной ночи, хоть в такую же ночь, но в тепло, под крышу, за дверь. Если уж выбирать, пусть лучше пахнет книгами... сил больше нет вдыхать запах мокрых прелых листьев... Вот уже отворилась дверь, и на пороге — отец со своей призрачно-го цвета шевелюрой. Они на цыпочках прошли пустынными коридорами, и Вилли вдруг испытал безумное желание свистнуть, как бывало иногда на кладбище после захода солнца. Отец расспрашивал, почему они припозднились, а ребята старательно припоминали все места, где прятались днем. Они побывали в старых таражах, отсиживались в амбарах, пробовали скрываться даже на деревьях, но в конце концов все это им надоело. Они вылезли из какой-то очередной норы и заявили прямо к шерифу. Полчаса, проведенные в участке, были прекрасны своей полной безопасностью, а потом Вилли припал в голову мысль побродить по церквям, что они и сделали, облизав все церкви в округе, от подвалов до колоколен. Неизвестно, насколько без-

* «Макбет», акт IV, сцена 1.

опасны были церкви на самом деле, но некое чувство защищенности там возникало. А потом надоело и это. Скука и предвечерняя тоска чуть было не погнали их на Карнавал, но тут, весьма кстати, солнце село, и настала пора двигаться к библиотеке. Весь день она представлялась им дружественным фортом, крепостью на захваченных врагом землях, и только в самом конце они испугались: а не сдалась ли и эта цитадель арабам?

— И вот мы здесь,— шепло прошептал Джим и замолчал.— А что это я все шепчу? — подумал он вслух.— Привык за этот день. Вот чертовщина!

Он рассмеялся и тут же испуганно оборвал себя. Из глубины библиотеки словно бы прошестели легкие шаги. Но это всего лишь вернулись оттолоски его собственного смеха, отраженные стеллажами, и кошкой прокрались по переходам.

Кончилось тем, что все вновь перешли на шепот.

Лесные чащи, мрачные пещеры, темные церкви, полуосвещенные библиотеки одинаково приглашают голоса, гасят пыл, вынуждают говорить вполголоса из страха перед призрачными оттолосками, продолжающими жить и после вашего ухода.

Теперь они были уже в той комнате, где Чарльз Хэллоуэй разложил свои фолианты. Здесь все переглянулись, каждый поразился бледности другого, но говорить об этом не стали.

— А теперь давайте-ка все с самого начала,— потребовал отец Вилли, придвигая ребятам кресла.

Он внимательно выслушал рассказ о торговце громоотводами, о приближавшейся, по его словам, грозе, о ночном поезде, о том, как странно разворачивался на лугу Карнавал; потом в полуденном свете открылся проселок и по нему на луг брели сотни христиан — только львов не хватало, чтобы закусить ими; вместо львов был лабиринт, где само Время блуждало взад-вперед; дальше — неисправная карусель, перерыв на ужин, мистер Кутер, племянник с грешными глазами, потому что на самом деле он был мужчина и жил так долго, что и рад бы умереть, да не знает как...

Ребята остановились перевести дух, а потом опять — мисс Фолей, снова Карнавал, дикий разбег карусели, мумия мистера Кутера, мертвей мертвого, но вскоре ожившая под электрическими разрядами,— все это и была буря, только без дождя и

грома, а потом — парад, яма, накрытая решеткой, нудная игра в прятки, и рассказ закончился abordажем библиотечных дверей.

Отец Вилли долго сидел, слепо уставившись на что-то прямо перед собой, потом его губы шевельнулись раз, другой, и он прошепел:

— Джим, Вилли, я вам верю.

Ребята просто-таки осели в креслах.

— Что, всему этому?

— Всему этому.

Вилли потер глаза.

— Знаешь,— сообщил он Джиму,— я, кажется, разрежусь сейчас.

— Да погоди ты! — прикрикнул на него Джим.— Нашел время!

— Верно. Времени у нас мало,— промолвил Чарльз Хэллоуэй.

Он встал, набил трубку и в поисках спичек опустошил карманы, в результате чего на столе перед ним оказались: старая губная гармошка, перочинный нож, сломанная зажигалка, записная книжка — он давно уже предназначил ее для записи мудрых мыслей, но все руки не доходили. Перебрав весь этот жалкий мусор, он покачал головой и наконец обнаружил измощенный спичечный коробок, зажег трубку и принялся расхаживать по комнате.

— Вот мы толкуем тут о совершенно особенном Карнавале: откуда он взялся, да почему, да зачем он здесь? Вроде бы никто и никогда такого не видел, а уж в нашем городишке — тем более. Однако не уютно ли вам посмотреть вот сюда?

Он постучал пальцем по сильно пожелтевшей газетной рекламе с числом в правом верхнем углу: 12 октября 1888 года. Реклама гласила: «Дж. К. Кутер и Г. М. Дарк представляют: театр-пандемониум, сопутствующие выступления, международный противоестественный музей!»

— Дж. К., Г. М., — вспомнил Джим.— На вчерашних афишах эти же инициалы. Но ведь не могут они быть теми же самыми?

— Не могут? Как сказать... — Отец Вилли потер виски.— Я, когда вот это увидел, тоже весь мурашками пошел.

Он положил на стол еще одну старую газету.

— Вот. 1860 год. И еще есть 1846-й. Та же реклама, те же фамилии. Дарк и Кутер, Кутер и Дарк, они появляются и исчезают примерно каждые тридцать—сорок лет. Люди успевают все забыть. Где их носило все эти годы? Похоже, они путешествовали. Только довольно странно: они появляются всегда в октябре: октябрь 1846-го, октябрь 1860-го, 1888-го, 1910-го и, наконец, нынешний октябрь...— Голос Хэллоуэя зазвучал глуше.— Бойтесь людей осени...

— Чего?

— Один старый религиозный трактат. Пастор Ньюгейт, кажется. Я его в детстве читал. Как же там дальше? — Он попытался вспомнить. Облизал губы. Наморщил лоб. Вспомнил.— «Для некоторых людей осень приходит рано и остается на всю жизнь. Для них сентябрь сменяется октябрем, следом приходит ноябрь, но потом, вместо Рождества Христова, вместо Вифлеемской Звезды и радости, вместо декабря, вдруг возвращается все тот же сентябрь, за ним приходит старый октябрь, и снова падают листья; так оно и идет сквозь века: ни зимы, ни весны, ни летнего возрождения. Для подобных людей падение естественно, они не знают другой поры. Откуда приходят они? Из праха. Куда держат путь? К могиле. Кровь ли течет у них в жилах? Нет, то — ночной ветер. Стучит ли мысль в их головах? Нет, то — червь. Кто глаголет их устами? Жаба. Кто смотрит их глазами? Змея. Кто слушает их ушами? Черная бездна. Они взбаламучивают осенней бурей человеческие души, они грызут устои причины, они толкают грешников к могиле. Они неистовствуют и во взрывах ярости суеживы, они крадутся, выслеживают, заманивают, от них луна угрюмеем ликом и замутняются чистые текущие воды. Таковы люди осени. Остерегайся их на своем пути».

Чарльз Хэллоуэй замолчал, и оба мальчика разом выдохнули.

— Люди осени,— повторил Джим.— Это они! Точно!

— А мы тогда кто? — споткнулся от волнения Вилли.— Мы, значит, люди лета?

— Ну, я бы так прямо не сказал,— покачал головой Хэллоуэй.— Сейчас-то вы, конечно, ближе к лету, чем я. Может быть, когда-то и я таким был, но только очень давно. Большинство у

нас серединка на половинку. Августовским полднем мы зацуплемся от ноябрьских заморозков, мы живем благодаря запасам тепла, скопленным Четвертого Июля, но бывает, и мы становимся Людьми Осени.

— Ну не ты же, папа!

— Не вы же, мистер Хэллоуэй!

Он быстро повернулся к ним и успел заметить, как они бледны, как напряжены их позы с неподвижно лежащими на коленях руками.

— Слова, слова... Не надо меня убеждать, я говорю то, что есть. Как ты думаешь, Вилли, знаешь ли ты своего отца на самом деле? И достаточно ли я знаю тебя, если случится нам вместе выйти против тех?

— Я не понял,— протянул Джим.— Так вы — кто?

— Черт побери! Да знаем мы, кто он! — взорвался Вилли.

— Ой ли? — скептически произнес седой мужчина.— Давай посмотрим. Чарльз Вильям Хэллоуэй. Ничего особенного, кроме того, что мне пятьдесят четыре, а это всегда не совсем обычно, особенно для тех, к кому эти пятьдесят четыре относятся. Родился в местечке под названием Сладкий Ключ. Жил в Чикаго. Выжил в Нью-Йорке. Маялся в Детройте, сменил кучу мест, здесь появился довольно поздно, а до этого пересходил из библиотеки в библиотеку по всей стране, потому что любил одиночество, любил сравнивать с книгами то, что встречал на дорогах. Как-то раз, посреди всей этой беготни, твоя мать, Вилли, остановила меня одним взглядом, и вот с тех пор я здесь. По-прежнему любимое время для меня — ночь в библиотечном зале. Навсегда ли я бросил якорь? Может, да, а может, и нет. Зачем я оказался здесь? Похоже, затем, чтобы помочь вам.

Он помедлил и долго смотрел на симпатичные, открытые мальчишеские лица.

— Да,— произнес он наконец.— Слишком долго в игре. Я помогу вам.

39

Ночной холодный ветер яростно тряс бельмастые окна библиотеки. Вилли, давно уже молчавший, вдруг сказал:

— Пап... ты всегда помогаешь...

— Спасибо, сынок, только это неправда.— Чарльз Хэллоуэй тщательно изучал свою совершенно пустую ладонь.— Дурак я,— признался он неожиданно,— всегда норовил заглянуть поверх твоей головы — что там у тебя впереди. Нет бы на тебя посмотреть, на то, что сейчас есть. Но этак и каждый ведь дурак — вот мне уже и легче. Как оно бывает: ты вкалываешь всю жизнь, карабкаешься, прыгаешь за борт,водишь концы с концами, прилепляешь пластырь, гладил по щеке, целуешь в лобик, смеешься, плачешь, словом, весь при деле, и так до тех пор, пока не оказываешься вдруг наихудшим дураком на свете. Ну тогда, понятно, орешь: «Помогите!», и очень здорово, если тебе ответит кто-нибудь. Я просто вижу эти небольшие городишки, раскиданные по всей стране, захолустные заповедники для дураков. И вот однажды появляется Карнавал. Ему достаточно тряхнуть любое дерево, и посыплется просто дождь из болванов, из таких, знаешь, индивидуумов, которым кажется (а может, и на самом деле так), что на их «помогите» некому ответить. Вот такие дураки-индивидуалисты и составляют урожай, который убирает Карнавал по осени.

— Черт возьми! — в сердцах произнес Вилли.— Но тогда ведь бороться с ними — безнадежное дело!

— Не скажи. Мы-то — вот они, сидим и думаем, какая разница между летом и осенью. Это уже хорошо. Значит, есть выход, значит, вы не останетесь дураками, значит, грех, зло, неправда, что бы этими словами ни называли, к вам не пристанут. У этого Дарка с его дружками не все козыри на руках. После нашего разговора я это точно знаю. Да, я его боюсь, но ведь и он меня побаивается. Тут мы квиты. Вопрос: как нам этим воспользоваться?

— Как?

— Начнем сначала. Возьмем историю. Если бы люди всегда стремились только к плохому, их бы просто не было. А ведь мы уже не плаваем вместе со всякими барракудами, и не бродим стадами по прериям, и не ищем у соседки-гориллы блох под мышкой. Мы ухитрились в свое время отказаться от клыков хищников и принялись жевать травку. Всего за несколько поколений мы уравнили философию охоты с философией земледелия. Тут нам пришлось в голову измерить свой рост, и выяснилось,

что мы — повыше животных, но пониже ангелов. Потрясающая идея! Чтобы она не пропала, мы записали ее тысячу раз на бумаге, а вокруг понастроили домов наподобие того, в котором мы сидим. И теперь мы водим хороводы вокруг этих святилищ, пережевываем нашу сладкую идею и пытаемся сообразить: что же все началось, когда же пришло это решение — быть непохожими на всех остальных? Наверное, как-то ночью, примерно сотню тысяч лет назад, один из тогдашних косматых джентльменов проснулся у костра, посмотрел на свою сильно волосатую леди с младенцем и... заплакал. Ему подумалось, что придет время, и эти теплые и близкие станут холодными и далекими, уйдут навсегда. Этой ночью он все трогал женщину, проверяя, не умерла ли она еще, и детей, которые ведь тоже умрут когда-нибудь. А на следующее утро он обращался с ними уже чутьючку поласковее, ведь они того заслуживали. В их крови, да и в его тоже, тайлось семя ночи, пройдет время, и оно сокрушит жизнь, разрушит тело и отправит его в ничто. Тот джентльмен уже понимал, как и мы понимаем: век наш короток, а у вечности нет конца. Как только это знание поселяется в тебе, следом тут же приходят жалость и милосердие, и тогда мы стремимся оделить других любовью. Так кто же мы есть в итоге? Мы — знающие, только тяжесть знания велика, и неизвестно, плакать надо от этого или смеяться. Кстати, звери не делают ни того, ни другого. А мы смеемся или плачем — смотря по сезону. А Карнавал наблюдает и приходит лишь тогда, когда мы созрели.

Чарльз Хэллоуэй замолчал. Мальчишки смотрели на него так пристально, что ему стало неловко.

— Мистер Хэллоуэй! — тихонько крикнул Джим.— Это же грандиозно! Ну а дальше, дальше-то что?

— Да, папа,— выговорил пораженный Вилли,— я и не знал, что ты можешь так говорить!

— Э-э, послушал бы ты меня как-нибудь вечером, попозже,— усмехнулся отец,— сплошные разговоры. Да в любой из прожитых дней я мог бы рассказать тебе куда больше! Черт! А где же я был? Похоже, все готовился... готовился любить.

Вилли как-то вдруг пригорюнился, да и Джима насторожило последнее слово. Чарльз Хэллоуэй заметил это и замолчал. «Как объяснить им,— думал он,— чтобы поняли? Сказать, что

любовь — причина всего, цемент жизни? Или попытаться объяснить, что он чувствует, оказавшись в этом диком мире, волчком несущемся вкруг огромного косматого солнца, падающего вместе с ним через черное пространство в пространства еще более обширные, то ли навстречу, то ли прочь от Нечто. Может быть, сказать так: волей-неволей мы участвуем в гонке и летим со скоростью миллион миль в час. А вокруг — ночь. Но у нас есть против нее средство. Начнем с малого. Почему любишь мальчишку, запустившего в небеса мартовского змея? Потому что помнишь подергивание живой бечевки в собственных ладонях. Почему любишь девочку, склонившуюся над родником? Потому что даже в вагоне экспресса не забываешь вкус холодной воды в забытый июльский полдень. Почему плачешь над незнакомцем, умершим на дороге? Потому что он похож на друзей, которых не видел сорок лет. Почему смеешься, когда один клоун лупит другого пирогом? Потому что вспоминаешь вкус крема в детстве, вкус жизни. Почему любишь женщину, жену свою? Ее нос дышит воздухом мира, который я знаю, и я люблю ее нос. Ее уши слышат музыку, которую я напеваю полночи напролет, конечно, я люблю ее уши. Ее глаза радуются приходу весны в родном краю, как же не любить мне эти глаза? Ее плоть знает жару, холод, горе, и я знаю огонь, снег и боль. Мы с ней — один опыт жизни, мы срослись миллионами опущений. Отруби одно, убавишь чувство жизни, два — уловишь саму жизнь. Мы любим то, что знаем, мы любим нас самих. Любовь — вот общее начало, вот причина, объединяющая рот, глаза, уши, сердца, души и плоть... Разве скажешь им все это?»

— Смотрите, — все-таки попробовал он, — вот два человека едут в одном вагоне: солдат и фермер. Один все время толкует о войне, другой — о хлебе, и каждый вгоняет соседа в сон. Но если один вдруг вспомнит о марафонском беге, а другой в своей жизни пробежал хотя бы милю, они прекрасно проболтают всю ночь и расстанутся друзьями. У всех мужчин есть одна общая тема — это женщины, об этом они могут толковать от восхода до заката, и дальше... О черт!

Чарльз Хэллоуэй замолчал и, кажется, покраснел. Цель вырисовывалась впереди, но вот как до нее добраться? Он в сомнении пожевал губами.

«Не останавливайся, папа, — думал Виали. — Пока ты говоришь, здесь замечательно. Ты нас спасаешь, только продолжай...»

Мужчина почувствовал взгляд мальчика и понял его. Повернувшись, он встретил такой же взгляд Джима, встал и медленно начал обходить стол. Он касался то одной картинки, то другой, трогал Звезду Соломона, полумесяц, древний символ солнца...

— Я не помню, говорил я, что значит быть хорошим? Бог мой, я не знаю. Если при тебе на улице стреляют в чужака, ты сдвигишь ли кинешь на помощь. Но если за час до этого успел поговорить с ним минут десять, если узнал хоть чуть-чуть о нем и о его семье, то, скорее всего, ты попытаешься помешать убийце. Потому что знаешь наверняка — это хорошо. А узнать надо стараться. Если не хочешь знать, отказываешься знать — это плохо. Без знания нет действия, без знания от твоих действий толку не будет. Думаете, я свихнулся? Вы ведь уверены, что все-то и да-то — пойти и перестрелять их всех к чертовой бабушке. Ты ведь уже пробовал стрелять, Виали. Так не пойдет. Мы должны постараться узнать о них как можно больше, а главное — разузнать об их хозяине. Мы не сможем быть хорошими и действовать правильно, пока не будем знать, что в этой истории правильно. Поэтому мы тут теряем время. Сегодня воскресенье. Представление закончится не поздно, и народ разоидется по домам. А после этого... после этого нам надо ждать осенних людей. У нас в распоряжении часа два, не больше.

Джим стоял у окна, словно видел через весь город и черные патры, и каллиопы, играющая сама по себе, только оттого, что мир, вращаясь, трется об ночь.

— Разве Карнавал — это плохо? — спросил он.

— Ты еще спрашиваешь! — рассердился Виали.

— Стоп, стоп! — остановил его отец. — Вопрос хорош. Часть этого представления просто замечательная. Но есть старая хорошая поговорка: за все рано или поздно приходится платить. А здесь ты отдаешь им кое-что задаром, а взамен — пустые обещания.

— Откуда они взялись? — упрямо спросил Джим. — Кто они?

Виали с отцом тоже подошли к окну. Чарльз Хэллоуэй заговорил, словно обращаясь к темным патрам на дальнем лугу.

— Некогда, ну скажем, до Колумба, по Европе, позвякивая колокольчиками на лодыжках, с лютней за спиной бродил человек. А может, это было еще на миллион лет раньше, просто тогда он был в обезьяньей шкуре и выглядел как самая настоящая обезьяна. Желанней всего на свете были для него несчастья и боль окружающих. Он собирал их и целый день пережевывал, как мятную жвачку. Это давало ему силы, доставляло удовольствие. Наверное, после него его сын усовершенствовал капканы отца, ловушки для человеков, костоломки, средства для головной боли, способы мучения плоти и ограбления души. На дальних болотах из всяческих отбросов он вывел мошку, от которой не спрячешься, москитов, которые достают тебя летними ночами. Вот так, по человечку оттуда, отсюда, и собралась стая людей-псов, для которых нет ничего слаще твоей тревоги, которые с радостью помогут твоему горю. Они караулят твои ночные страхи, возжеленно подслушивают твои угрызения совести и нечистые сны. Ночные кошмары — их хлеб насущный. Они намазывают его болью и уплетают за обе щеки. Они были всегда. С бичами из носорожьей кожи они надзирали за строительством пирамид, поливая их для крепости потом, кровью и жизнями других людей. Они проносились по Европе на белых оскаленных конях Моровой Язвы. Они, удовольствия ради, нашептывали Цезарю мысль о том, что и он смертен, а потом, на мартовской распродаже, пускали кинжалы за полцены. То они шутили при дворе императора, то — инквизиторы в застенке, то — цыгане на большой дороге жизни. Чем больше людей становилось на земле, тем быстрее росло их поголовье. А заодно совершенствовались способы причинения боли ближнему своему. Вот загудел первый паровоз, а они уже тут как тут, цепляют к нему вагон, больше всего похожий на средневековую гробницу или колесницу, в которую впрягали людей...

— И что, все эти годы они — одни и те же? — напряженным голосом спросил Джим. — Вы думаете, мистер Кугер и мистер Дарк родились... лет двести назад?

— По-моему, это ты говорил, что, прокатившись на карусели, нетрудно сбросить год-другой, верно?

— Так это что же, они могут жить *вечно*? — холодея от ужаса, спросил Вилли.

— И вечно вредить людям? — Джим никак не мог откашляться от какой-то своей мысли. — Но почему все — вред и зло?

— Отвечу, — спокойно отозвался Хэллоуэй-старший. — Чтобы двигаться, Карнавалу нужно какое-то топливо, так? Женщины, к примеру, добывают энергию из болтовни, а болтовня их — сплошной обмен головными болями, легкими укусами, артритными суставами, всякими совершенными глупостями, их последствиями и результатами. Многие мужчины не лучше — если их челюсти не загрузить жевательной резинкой из политики и женщин, с ними, чего доброго, кондрашка случится. А сколько удовольствия доставляют им похороны? Прибавить сюда хихиканье над некрологами за завтраком, сложить все кошачьи потасовки, в которых одни норовят содрать шкуру с других, выжечь ее наизнанку да еще доказывать после, что так оно и было. Еще не забыть приплюсовать работу шарлатанов-врачей, кромсающих людей вкривь и вкось, а после сшивающих грязной ниткой, умножить на убойную мощь динамитной фабрики, и тогда, пожалуй, получим черную силу одного только такого Карнавала. Они гребут лопатой в свои топки все наши низости и подлости. Все боли, горести и скорби человеческие летят туда же. Мы и то не отказываемся подсолить наши жизни чужими грехами, Карнавал — тем более, только в миллион раз сильнее. Все страхи и боли мира — вот что вращает карусели. Сырой ужас, агония вины, вопли от настоящих или воображаемых ран — все перегорает в его топках и с пыхтеньем влечет дальше.

Чарльз Хэллоуэй перевел дух.

— Как я узнал об этом? Да никак! Просто чувствую. Я слышал их музыку, слышал ваш рассказ. Наверное, я всегда знал об их существовании и только ждал ночного поезда на заброшенной ветке, чтобы посмотреть и кивнуть. Мои кости знают о нем правду. Они говорят мне. Я говорю вам.

40

— А могут они, — начал Джим, — это, души покупать?

— Зачем же платить за то, что можно получить даром? — усмехнулся мистер Хэллоуэй. — Многие даже рады возможности отдать все за ничего. Мы ведь такой фарс устроили с нашими бессмертными душами! Правда, похоже, ты попал в точку.

За всем этим делом чувствуется когтистая лапа дьявола. Он хоть не ест их, но и жить без них не может. Вот что всегда интересовало меня в старых мифах. Я все думал: ну зачем Мефистофелю душа Фауста? Что он с нею делать-то будет? Сейчас я вам изложу мою собственную теорию на этот счет. Лучший подарок для этих тварей — чадный огонь, горящий в душе человека, мучимого совестью за старые грехи. От мертвой души никакого проку нет. А вот живая, неистовая, сбрызнутая собственным проклятием — вот это для них лакомый кусок. Откуда мне это известно? А я наблюдаю. Карнавал — тот же человек, но намного яснее. Вот живут мужчина и женщина. Нет бы им разойтись в разные стороны или поубивать друг друга, а они наоборот — всю жизнь едят один другого поедом, таскают за волосы, царапаются. Почему? Да потому, что мучения и ненависть одного — наркотик для другого. Так и Карнавал чует уязвленную самость за много миль и мчится вприпрыжку согреть руки на этих углях. Он миглом распознает подростков, неспособных стать мужчинами, ноющих, как огромный больной зуб мудрости. Он чувствует, как вдруг начинает мельчать мужчина средних лет (вроде меня). Его августовский полдень давно прошел, а он все тараторит без пользы. Мы разжигаем в своих помыслах страсть, зависть, похоть, окисляем их в наших душах, и все это срывается с наших глаз, с наших губ, с наших рук, как с антенн, работающих, уж не знаю, на длинных или на коротких волнах. Но хозяева балаганов уроков знают, они давно научились принимать эти сигналы и не преминут урвать здесь свое. Карнавал не спешит, он знает, что на любом перекрестке найдет желающих подкормить его интимной похотливой страсти или четвертой лютотой ненависти. Вот чем жив Карнавал: ядом грехов, творимых нами по отношению друг к другу, ферментами наших ужасных помыслов!

Чарльз Хэллоуэй фыркнул.

— Господи! — воскликнул он. — Сколько же я наговорил за последние десять минут!

— Вы много говорили, — подтвердил Джим.

— На чьем языке, хотел бы я знать? — воскликнул мистер Хэллоуэй. Ему вдруг показалось, что толку от его речей столько же, сколько и обычно, когда он долгими ночами проповедовал свои идеи пустым залам, и только короткое эхо отвечало ему.

Он написал множество книг на воздушных страницах светлых компакт, в просторных зданиях разных библиотек — где они? Он уже сомневался, не устроил ли он фейерверк из цветистых научных фраз, годящихся лишь на то, чтобы поразить двух подростков без всякой для них пользы. Пустое упражнение в риторике.

Интересно, сколько из сказанного дошло до них? Одна фраза из трех? Две из восьми? Видимо, последние слова он произнес вслух, потому что Вилли неожиданно ответил:

— Три из тысячи.

Чарльз Хэллоуэй не очень весело рассмеялся и вздохнул.

Джиму важно было выяснить что-то свое.

— Этот Карнавал... это что? Смерть?

Старик снова раскурил трубку, выпустил дым и внимательно изучил его.

— Нет, это не сама Смерть, но использовать ее как пытку он может. Смерти-то ведь нет, никогда не было и никогда не будет. Просто мы так часто изображали ее, столько лет пытались ее постичь, что в конце концов убедили себя в ее несомненной реальности да еще наделили чертами живого и жадного существа. А ведь она — не больше чем остановившиеся часы, конец пути, темнота. Ничто. Но Карнавал прекрасно знает, что именно это. Ничто пугает нас куда больше, чем Нечто. С Нечто еще можно бороться, а вот как бороться с Ничто? Куда бить? Есть ли у Ничто хоть что-нибудь: тело, душа, мозг? Нет, конечно. Так что Карнавал путает нас погрешностью и собирает, когда мы в ужасе летим вверх тормашками. Он показывает нам Нечто, которое, по нашему мнению, ведет к Ничто. Например, этот лабиринт там, на лугу. Обычное грубоватое нечто, вполне достаточное, чтобы вышибить вашу душу из седла. Простой хулиганский удар ниже пояса: показать, как твои девяносто лет тают в зазеркальной глади, и вот ты уже готов, заморожен и недвижим, а каллиона наигрывает славную мелодию, больше всего похожую на стог сена, из которого пытаются давить вино, или на летнюю ночь на берегу озера, но только под барабаны и литавры. Экая неприязнительность! Меня просто восхищает прямого их подхода. Всего и дел-то: разобрать старика на части зеркала, превратить осколки в головоломку, а единственным

ключом к ней владеет Карнавал. А ключ этот — просто-напросто вальс из «Прекрасного Огайо» или «Веселой вдовы», сыгранный наоборот, да карусель. Одного только не говорят они людям, катающимся под их музыку...

— Чего? — не утерпел Джим.

— А того, что если ты в одном облике стал несчастным грешником, то и в любом другом им останешься. Изменить рост и пропорции — не значит изменить человека. Допустим, Джим, завтра ты станешь двадцатилетним, но думать-то будешь как мальчишка, и этого не подделаешь! Они могут превратить меня в десятилетнего постреленка, да только мой пятидесятилетний разум все равно заставит меня вести себя по-взрослому, поступать так, как не поступил бы ни один мальчишка. Да и соединить разорванное время им не по силам.

— Это как? — спросил Джим.

— Допустим, я стал молодым. Но ведь все мои друзья и знакомые остались прежними, не так ли? Мне никогда уже не быть с ними вместе. Их интересы и заботы меня уже не взволнуют, ведь у них впереди — болезни и смерть, а у меня — еще одна жизнь. Куда деваться человеку на вид этак лет двадцати, а на самом деле прожившему Мафусаилов век? Такой шок — не пустяк. Карнавал об этом помалкивает. И что же в итоге? Скорее всего, безумие. С одной стороны, новое тело, новое окружение, с другой — оставленная жена, друзья, которые будут умирать у тебя на глазах, как и все прочие нормальные люди. Господи, одного этого довольно, чтобы заполучить удар! Но зато сколько страха, сколько мучений перепадет Карнавалу на завтрак. И тогда вы приходите и проситесь обратно. Карнавал слушает и кивает. Конечно, обещают они, если будете себя прилично вести, то в ближайшее время получите обратно ваши три десятка или сколько вам там причитается. На одном только этом обещании карнавальная поездка способен обойти земной шар, а трупла-то растет, в нее вливаются все новые жаждущие вернуть свое состояние и за это ожидание прислуживающие Карнавалу, производящие уголь для его топки.

Вилли пробормотал что-то.

— Что ты говоришь, сынок?

— Мисс Фолей.— Голос Вилли дрогнул.— Бедная! Они ведь теперь заполучили ее, прямо как ты сказал. Она добилась своего, но это ее так напугало, она так плакала, пап, прямо обрыдалась вся... А теперь, спорить могу, они пообещали вернуть ей ее пятьдесят лет, но что они сделают с ней за это? Что они делают с ней вот прямо сейчас?

— Да поможет ей Бог! — Отец Вилли опустил тяжелую ладонь на страницы старой книги.— Наверное, она теперь с уродами. Кто они, как вы думаете? Да просто грешники. Они так долго странствуют с Карнавалом в надежде на освобождение, что стали похожи на свои грехи. Я видел в балагане Самого Тучного Человека. Ну и кто он? Вернее, кем был раньше? Просто обжора-сладострастник. Карнавалу не откажешь в собственном черном юморе, теперь этот несчастный — узник своей собственной, трещащей по швам плоти. А вот — Скелет. Не обрекал ли он своих близких не только на физическое, но и на духовное истощение? Или ваш приятель Карлик. Вроде бы его вины не видно. Всегда в пути, никогда не ввязываясь в потасовку, опережая грозу и продавая громоотводы... но грозу-то он оставляла встречать другим. И вот бесплатные аттракционы Карнавала скомкали его до размеров большого тряпичного мяча, сшитого из всякой дребедени, запутавшегося в себе самом. А Пыльная Ведьма? Может, она из тех, что всегда живут завтрашним днем, не обращая внимания на сегодняшний? Это и мне знакомо. И вот она все накручивает свое наказание, видя на раскинутых картах одни только дурные восходы да горестные закаты. Впрочем, тебе виднее, Вилли. Ты ведь с ней накоротке знаком. Ну, кто там еще? Крушитель? Мальчик-овца? Пожиратель Огня? Сиамские близнецы? Великий боже! Кем они были? Может быть, двойняшками, погрязшими во взаимном нарциссизме? Мы никогда не узнаем, а они никогда не расскажут. Мы можем только гадать и, конечно, будем ошибаться. Пустое занятие. В сторону его! Давайте-ка решать, куда нам двигаться отсюда.

Чарльз Хэллоуэй расстелил на столе карту города и обвел карандашом место расположения Карнавала.

— Подкрадываться не будем: во-первых, не сумеем, а во-вторых, не наши это методы. А с чем в атаку пойдем?

— С серебряными пулями! — выпалил Вилли.

— Черт возьми! Они же не вампиры! — фыркнул Джим.
 — А может быть, святой воды в церкви взять?
 — Чушь! — отперг и это предложение Джим. — Это только в кино бывает. Или нет, мистер Хэллоуэй?
 — Это было бы слишком просто, мальчики.
 — Ладно. — Глаза у Вилли яростно сверкнули. — Тогда возьми пару галлонов керосина.
 — Ты что? — испуганно воскликнул Джим. — Это не по закону!
 — Это ты-то про закон вспомнил.
 — Ну и что? Я!
 Оба разом замолчали.
Шорох.
 Асский сквозняк пронесся по комнате.
 — Дверь! — прошептал Джим. — Кто-то ее открыл!
 Дальний щелчок. Снова легкое дуновение шевельнуло волосы и стихло.
 — А теперь — закрыли!
 Тишина. Только огромное здание библиотеки с темными лабиринтами переходов и молчаливыми книгами.
 — В доме кто-то есть!
 Ребята привстали. Внутри у них что-то попискивало, совершенно непонятно что. Чарльз Хэллоуэй помедлил, прислушиваясь, и негромко приказал:
 — Спрячьтесь.
 — Мы тебя не бросим!
 — Я сказал: спрячьтесь!

Мальчишки канули в темноту. Чарльз Хэллоуэй глубоко вздохнул раз, другой, заставил себя сссть, пододвинул поближе старые подшивки газет. Ему оставалось только ждать, ждать и снова ждать.

41

Тень скользила среди теней. Чарльз Хэллоуэй почувствовал, как душа его погружается в какую-то зыбкую глубину.

Тень и ее обладатель потратили немало времени на поиски комнаты, в окна которой горел свет. Тень двигалась осторожно, словно оберегая хозяина от лишнего шума. И когда она оты-

скала наконец эту дверь, выяснилось, что сопровождает ее не одно лицо, даже не сто, а тысяча лиц при одном теле.

— Меня зовут Дарк, — произнес глубокий голос.

Чарльз Хэллоуэй, не поднимая головы, с трудом выдохнул.

— Более известный как Человек-в-Картинках, — продолжил голос. — Где мальчишки?

— Мальчишки? — Мистер Хэллоуэй наконец повернулся и оглядел мужчину у двери.

Человек-в-Картинках внимательным носом втянул тончайшую желтую пылью, облетевшую со страниц фолиантов. Отец Вилли только теперь заметил, что книги так и лежат, раскрытые на нужных местах. Он дернулся, сдержал себя и начал закрывать том за томом, стараясь не придерживать никакой системы. Человек-в-Картинках наблюдал за ним, как будто ничуть не интересуясь происходящим.

— Ребят нет дома. Ни того, ни другого. Они могут упустить прекрасную возможность.

— Интересно, куда же они запропастились? — Чарльз Хэллоуэй расставлял книги по местам. — Знай они, что вы тут с бесплатными билетами, небось запрыгали бы от радости.

— Вы полагаете? — Улыбка мистера Дарка мелькнула и растаяла, как остаток леденца. Он тихо и значительно произнес: — Я могу убить вас.

Чарльз Хэллоуэй кивнул, не прекращая своего занятия.

— Вы слышали, что я сказал? — вдруг заорал Человек-в-Картинках.

— Слышал, слышал, — спокойно ответил Чарльз Хэллоуэй, взвешивая на ладони тяжелый том, словно он был его приговором. — Но вы не станете убивать меня сейчас. Вы слишком самоуверенны. Это, наверное, оттого, что вы слишком давно поддерживаете свое заведение.

— Стало быть, прочли две-три газетки и решили, что все знаете?

— Не все, конечно, но вполне достаточно, чтобы испугаться.

— Испугаться стоило бы куда сильнее, — угрожающе заявила толпа, скрытая под черной тканью костюма. — У меня там, снаружи, есть один специалист... все решат, что случился простой сердечный приступ.

У мистера Хэллоуэя кровь метнулась от сердца к вискам, а потом заставила вздрогнуть запястья. «Ведьма», — подумал он и, видимо, непроизвольно шевельнул губами.

— Верно, Ведьма, — кивнула мистер Дарк.

Его собеседник продолжал расставлять книги по полкам, одну из них все время прижимая к груди.

— Эй, что вы там прижимаете? — Мистер Дарк прищурился. — А, Библия! Очаровательно! Как это по-детски наивно и свежо.

— Вы читали ее, мистер Дарк?

— Представьте, читал. Скажу даже больше. Каждую главу этой книги, каждый стих вы можете прочесть на мне, сэр! — Мистер Дарк замолчал, закуривая, выпустил струю дыма сначала в сторону таблички «Не курить», а потом в сторону Чарльза Хэллоуэя. — Вы всерьез полагаете, что эта книжка может повредить мне? Значит, ваши доспехи — это наивность? Что ж, давайте посмотрим.

Прежде чем мистер Хэллоуэй успел двинуться, Человек-в-Картинках подскочил к нему и взял Библию. Он держал ее крепко, обеими руками.

— Ну что? Удивлены? Могу даже почитать вам. — Дым от сигареты мистера Дарка завихрялся над шелестящими страницами. — А вы, конечно, ожидали, что я рассыплюсь прямо перед вами? К вашему несчастью, это все — легенды. Жизнь, это очаровательное скопище самых разных понятий, продолжается, как видите. Она движет сама себя и сама себя оберегает, а смысла ей придает неистовость. А я — не последний в легионе необузданных.

Мистер Дарк, не глядя, швырнул Библию в мусорную корзину.

— Мне кажется, ваше сердце забилося чуточку веселее? — иронично обратился он к мистеру Хэллоуэю. — Конечно, острой слуха я не сравнюсь с моей Цыпанкой, но и мои уши кое-чего стоят. Как интересно бегают у вас глаза! И все куда-то мне за плечо. На что они намекают? Ах, на то, что мальчишки где-то здесь, в переходах этой богадельни. Прекрасно. По правде, я не хочу, чтобы они удрали. Едва ли кто-нибудь поверит их болтовне, а даже если и так — разве это плохая реклама моему заведению? Люди приходят в возбуждение, у них потеют руки и ноги,

они украдкой пробираются за город, облизываются, они только и ждут приглашения познакомиться с лучшими из наших аттракционов. Помнится, и вы были среди них? Сколько вам лет?

Чарльз Хэллоуэй плотно сжал губы.

— Пятьдесят? — с удовольствием прикидывал мистер Дарк. — Пятьдесят один? — Голос его журчал, как весенний ручей. — Пятьдесят два? Помолодеть хотите?

— Нет!

— Ну зачем же кричать? — Мистер Дарк пересек комнату, пробежал пальцами по корешкам книг на полке, словно годы пересчитывал. — А ведь молодым быть совсем неплохо. Подумайте, снова сорок — ну не прелесть ли? Сорок ровно на десять приятнее, чем пятьдесят, а тридцать приятнее на целых двадцать.

— Я не хочу вас слушать! — Чарльз Хэллоуэй зажмурился.

Мистер Дарк посмотрел на него, склонив голову набок.

— Вот странно: чтобы не слышать меня, вы закрыли глаза. Заткнуть уши было бы надежнее.

Чарльз Хэллоуэй прижал ладони к ушам, но и сквозь них прощикал ненавистный голос.

— Вот что я предлагаю, — вещал мистер Дарк, потыкивая сигаретой, — если вы поможете мне в течение пятнадцати секунд — дарю вам ваше сорокалетие. Десять секунд — и можете снова праздновать тридцатипятилетие. Очень неплохой возраст. Сравнить с вами сейчас — почти юноша. Ну же, решайтесь. Давайте так: я начну считать по своим часам, по секундной стрелке. Как только решитесь, просто махнете рукой, а я вам тут же отмотаю, ну скажем, лет тридцать, идет? Как говорят специалисты по рекламе: выгодное дело! Да вы только подумайте! Начать все сначала, когда все вокруг, а главное — внутри, новое, славное, милое. И столько еще предстоит сделать, о столько можно подумать и столько всего попробовать. Давайте! Ваш последний шанс! Начали. Один, два, три, четыре...

Чарльз Хэллоуэй отпрянул к стене, согнулся, изо всех сил сжал губы, лишь бы не слышать проклятый счет.

— Вы теряете время, старина, — не переставая считать, го-ворил мистер Дарк. — Пять. Вы все теряете. Шесть. Семь. Счи-

тайте, почти потеряли. Восемь. Просто расточитель какой-то! Девять. Десять. Да вы дурак, Хэллоуэй! Одиннадцать. Двенадцать. Почти совсем поздно. Тринадцать, четырнадцать. Все потеряно! Пятнадцать! Навсегда! — Мистер Дарк опустил руку с часами.

Чарльз Хэллоуэй отвернулся, выдохнул и прижался лицом к книжному корешку, к старой уютной коже, хранящей запах древности и засохших цветов.

Мистер Дарк уже стоял у выхода.

— Оставайтесь здесь, — резко приказал он. — Послушайте свое сердце. Я пошлю кого-нибудь остановить его. Но сначала — мальчишки.

Толпа бессонных созданий, сплошь покрывавшая рослое тело, верхом на мистере Дарке, крадучись, отправилась на охоту. Мистер Дарк позвал, и вся орава вторила ему:

— Мальчишки! Где вы там? Отзовитесь.

Чарльз Хэллоуэй прыгнул к двери, но комната перед его глазами стала мягко поворачиваться, и он едва успел рухнуть в кресло с одной только мыслью, стучащей в висках: «Сердце! Сердце мое, послунай! Куда же ты рвешься? О боже! Оно хочет на свободу!» Он откинулся на спинку и затих.

Человек-в-Картинках мягко, по-копачьи, продвигался в лабиринтах, окруженный молчаливо замершими на полках, застывшими в ожидании книгами.

— Мальчишки! Вы меня слышите?

Молчание.

— Мальчишки!

42

Где-то среди миллионов книг, за двумя десятками поворотов направо, за тремя десятками поворотов налево, после запертых дверей, левее полупустых полок, может, в литературном заповедном диккенсовском Лондоне, может, в Москве Достоевского, а то и вовсе в степях, раскинувшихся позади русской столицы, то ли под сенью атласов, то ли за баррикадами «Географий» стояли, но может быть, и лежали, покрываясь холодным потом, двое ребят.

Где-то невидимый в темноте Джим думал: «Он приближается!»

Где-то невидимый в темноте Вилли думал: «Он приближается!»

— Мальчишки...

Мистер Дарк шел в попоне из своих приятелей, он нес с собой каллиграфических рептилий, светивших самим себе в ночи его плоти. Вместе с ним двигался тираннозавр, сообщавший его бедрам тяжелую плавность древней боевой машины. Мистер Дарк плагал, как громовый ящер, в окружении мерзких каракулей плотоядных тварей, окрашенных жертвенной кровью овец, растерзанных, разметанных непреодолимым движением Ажактернауговой колесницы о двух ногах. Руки мистера Дарка, словно вознесенные изображенными на них птеродактилем и косой, помавали под мраморными сводами, создавая видимость полета. Вокруг древних могучих символов поспранной судьбы, судьбы расстрелянной, зарубленной судьбы роилась обычная толпа прихлебателей, прижатых к каждой мышце, к каждому суставу, рассеянных по лопаткам, пляшущих из-под густой шерсти на груди, висящих впиз головой под мышками и орущих неслышно, как летучие мыши. Ноги, тело, заостренный профиль мистера Дарка звучали в движении подобно черной приливной волне, накатывающейся на мрачный берег.

— Мальчишки...

Терпеливый, мягкий голос, лучший друг всем озябшим, испуганным, затаившимся среди книг. Ступает тихо, крадется, шагает на цыпочках, пробирается*, несется, стоит неподвижно среди египетских памятников звериноголицым богам, тронул мертвые истории Черной Африки, помедлил в Азии, прогулялся к землям помоложе...

— Мальчишки! Вы же меня слышите. Вот тут написано: «Соблюдайте тишину», поэтому я только шепну вам: ведь один из вас не хотел бы отказаться от наших предложений? Так?

«Это он про Джима», — подумал Вилли.

«Это он про меня», — подумал Джим. — Нет, я не хочу! Не надо! Не сейчас!»

— Ну, выходите, — промурлыкал мистер Дарк. — Я обещаю вам награду. Кто бы из вас ни вышел первым, он получит все!

Стук-перестук!

«Мое сердце!» — подумал Джим.

«Чье это сердце? Мое или Джима?» — подумал Вилли.

— Я вас слышу. — Губы мистера Дарка дрогнули. — Вот сейчас — ближе. Вилли? Джим? Джим — это ведь тот, который попустрее? Ну, выходи, мальчик!

«Не надо!» — подумал Вилли.

«Я ничего не знаю!» — в панике подумал Джим.

— Так. Джим, значит... — Мистер Дарк постоял и двинулся в новом направлении. — Ну-ка, Джим, покажи мне, где сидит твой приятель? — Он добавил, понизив голос: — Мы постараемся, чтобы он не болтал. Раз у него голова не варит, можешь и за него прокатиться, верно, Джим? — Мистер Дарк стал похож на воркующего голубя. — Так. Ближе. Я уже слышу, как у тебя сердце трепыхается.

«Молчи!» — приказал Вилли своей груди.

«Молчи!» — прикрикнул Джим, задерживая дыхание. — По-дожди стучать!»

— Так... интересно... не в этом ли алькове стоят ваши постельки? — Мистер Дарк предоставил силе притяжения разных полок управлять выбором направления. — Ты здесь, Джим? Или... дальше?

Он натолкнулся на библиотечную тележку с книгами, и она бесшумно на своем резиновом ходу укатилась в темноту. Издали посыпался глухой удар — это тележка дошла до стены и опрокинулась, вывалив содержимое, словно кучу мертвых черных ворон.

— Я смотрю, здорово вы наловчились в прятки играть, — проговорил мистер Дарк. — Но есть кое-кто и попустрее вас. Слыхали сегодня каллиопу на лугу? Вилли, а ты не знаешь, кто у нас сегодня был на карусели? Вот то-то и оно! А где сегодня твоя мама, Вилли?

Молчание.

— Она решила покататься сегодня вечером, Вилли. Мы, конечно, посадили ее на карусель и... оставили там. Ты слышишь, Вилли? Круг за кругом, год за годом!

«Папа!» — с тоской подумал Вилли. — Где ты?»

В дальней комнате Чарльз Хэллоуэй сидел и прижимал рукой свое вырывающееся сердце. Он прислушивался к долетаю-

щему из темных коридоров голосу Человека-в-Картинках и думал: «Ему ни за что их не найти. Не станут же они его слушать. Он уйдет ни с чем!»

— Вот так мы и катали твою маму, Вилли, — тихонько пришепывал мистер Дарк, — круг за кругом, и, как ты думаешь, в какую сторону? — Мистер Дарк пошарил рукой в темном воздухе между стеллажами. — Да, круг за кругом... А когда мы ее выпустили — ты слушаешь меня, мальчик? — так вот, когда мы ее выпустили и дали заглянуть в Зеркальный лабиринт... ты не слышала, как она закричала? Она была похожа на дращую кошку, старая-престарая. Только мы ее и видели. Ух, как она припустила от того, что поглядело на нее из зеркала! Она примчится к порогу и, конечно, бросится к твоей матери, Джим. Но когда твоя мама, Джим, откроет дверь и увидит существо лет этак двухсот, косматое, умоляющее застрелить ее из милости, ее затопнит, твою маму, Джим, не так ли? И она прогонит страшную старуху прочь, отправит нищенствовать на улицах, и никто никогда не поверит этому мешку костей, что он когда-то был красоткой-розочкой и приходился тебе родней, Вилли. Можно было бы, конечно, найти ее. мы-то знаем, кто она такая, и попробовать вернуть все, как было, правда, Вилли? правда, Вилли? правда, Вилли?

Голос темного человека зашипел и смолк.

В библиотеке кто-то тихо-тихо всхлипывал.

Человек-в-Картинках с удовольствием выдохнул из промозглых легких ядовитый воздух.

— Ага! Так-ссс... Где-то здесь, — пробормотал он. — Ну, и под какой же буквой они расположены? Под «М» — «мальчишки»? Или под «П» — «приключения»? А может, под «И» — «испуганные»? Или просто «Д» и «Н», что будет означать «Джим Найтшед», и «В» и «Х» — для «Вилли Хэллоуэя»? Где же мне взять почитать эти две замечательные человеческие книжки?

Неожиданно он ударил правой ногой по книжной полке. Часть книг выпала. Человек-в-Картинках наступил на освобожденное место и освободил ступеньку для левой ноги. Потом его правая нога пробила дырку в третьей полке. Он поднимался по стеллажам, как по лестнице. Четвертая полка, пятая, шестая... Он олушывал и сбрасывал книги, цепляясь за попереки-

ны, перелистывая ночь, отыскивая эти две закладки в одной большой книге.

Его правая рука, увенчанная тарантулом, сбросила «Каталог гобеленов», и он канул в бездну. Казалось, прошел целый век, прежде чем «Гобелены» грянулись об пол и разлетелись на части, мелькнув золотом, серебром и небесно-голубыми узорами.

Пока он отдувался и ворчал, его левая рука добралась до девятой полки и ощутила пустоту. Книг не было.

— Мальчишки! Вы там, на Эвересте?

Молчание. Только тихие, судорожные всхлипы стали поближе.

— Холодно? Еще холоднее? Совсем лед?

Глаза Человека-в-Картинках оказались вровень с одиннадцатой полкой. Окаменевшей статуей здесь лежал Джим Найтшед. До его лица было не больше трех дюймов. Полкой выше, с глазами, полными слез, лежал Вильям Хэллоуэй.

— Славно, — произнес мистер Дарк.

Он протянул руку и потрогал голову Вилли.

— Привет, — сказал мистер Дарк.

43

Вилли показалось, что над ним взошла жуткая луна. Это поднялась ладонь Человека-в-Картинках. С нее прямо на Вилли уставилось его собственное лицо. В такой же собственный портрет всматривался Джим. Рука с нарисованным Вилли сгребла настоящего Вилли. Рука с нарисованным Джимом сгребла настоящего Джима. Человек-в-Картинках напрягся, извернулся и спрыгнул вниз. Мальчишки, лягаясь и крича, рухнули вместе с ним. Они приземлились на ноги, но не устояли бы, не поддержи их за шиворот мощные руки.

— Джим! — произнес мистер Дарк. — Вилли! Что вы там делали? Неужели — читали?

— Папа!

— Мистер Хэллоуэй!

Из темноты выступил отец Вилли. Человек-в-Картинках заботливо переложил ребят под мышку и, поглядывая с любопытством, двинулся на мистера Хэллоуэя. Отец Вилли успел ударить только один раз. В следующий миг мистер Дарк поймал

его руку и стиснул ее. Чарльз Хэллоуэй застонал и упал на одно колено. Мистер Дарк сдавил сильнее и одновременно прижал обоих ребят. Они уже едва дышали. У Вилли перед глазами метались огненные мухи. Отец Вилли застонал громче.

— Будьте вы прокляты!

— Но, но! — тихо проговорил Хозяин Карнавала. — Я и так проклят.

— ...прокляты!

— Старина, не в словах ведь дело, — сказал мистер Дарк. — Мысль! Действие! Быстрая мысль и быстрое действие — вот залог победы. Пока!

Он еще сильнее напряг мускулы. Мальчишки слышали, как хрустели пальцы мистера Хэллоуэя. Он вскрикнул и упал, потеряв сознание.

Человек-в-Картинках легко, как в танце, отгибал углы стеллажей. Мальчишки, зажатые у него под мышкой, бились головами и ногами о книги. Стиснутый до полной неподвижности Вилли смотрел на пролетающие мимо полки, стены, двери и тупо думал, что от мистера Дарка пахнет, как от старой каллиопы.

Внезапно их отпустили. Они не успели перевести дух, а их уже больно ухватили за волосы и развернули к окну.

— Мальчишки, вы читали Диккенса? — азартно зашептал мистер Дарк. — Критики ругают его за «случайные совпадения», но мы-то с вами знаем, что он прав. Вся жизнь — *случайные совпадения*. Взгляните сюда!

Ребята все еще пытались вывернуться из железной хватки ископаемых ящеров и осклаившихся обезьян. Вилли взглянул в окно. Он не знал, плакать ему от радости или от нового отчаяния. По улице от церкви шли обе их мамы. Ни с какой не с карусели! Никакая не старая! Надо же, все последние пять минут до нее было не больше двухсот ярдов!

— Мама! — крикнул Вилли сквозь ладонь, зажавшую ему рот.

— Мама! — передразнил мистер Дарк. — Мама, спаси меня!

«Нет, — подумал Вилли, — беги, мама, спасайся сама!»

Но обе мамы, вполне довольные воскресной службой, просто шли себе по улице.

— Мама! — снова выкрикнул Вилли, но через потную лапу прорвалось лишь какое-то жалкое блеяние.

Мама Вилли на той стороне улицы, нет, за тысячу миль отсюда, вдруг замедлила шаги.

«Не могла же она услышать,— подумал Вилли,— и все-таки...»

Она посмотрела в сторону библиотеки.

— Замечательно,— пробормотал мистер Дарк,— чудесно, превосходно!

«Здесь мы,— отчаянно думал Вилли.— Ну, увидь нас, мам! А потом беги, звони в полицию!»

— Почему бы ей не посмотреть сюда? — тихонько спросил мистер Дарк.— Она бы увидела прекрасную портретную группу в окне. И прибежала бы сюда. А мы бы еепустили.

Вилли чуть не подавился рванувшимся из него «нет!». Мамины глаза скользнули от входной двери по окнам первого этажа.

— Сюда,— подсказал мистер Дарк,— на второй этаж, пожалуйста. Весьма подходящий случай, обидно было бы упускать его.

Женщины стояли на тротуаре. Мама Джима что-то говорила соседке.

«Пожалуйста,— умолял Вилли,— нет, не надо!»

Женщины повернулись, и вскоре их уже поглотили улицы вечернего города. Вилли почувствовал разочарование Человека-в-Картинках.

— Н-да,— проговорил тот.— Не самое удачное из «случайных совпадений». Никто ничею не приобрел, но никто и не потерял. Жаль, конечно, ну ладно!

Волоча ребят за собой, он спустился к входной двери и открыл ее. Кто-то ждал их в сумерках. Легкая, как у ящерицы, лапка стремительно коснулась подбородка Вилли.

— Хэллоуэй! — прошелестел голос Пыльной Ведьмы.

Будто хамелеон лизнул Джима в нос.

— Найтшед! — утвердительно произнес тот же голос.

Позади переступали с ноги на ногу два зловещих силуэта: Скелет и Карлик.

Это был замечательный случай. Ребята уже готовы были заорать во все горло, но Человек-в-Картинках опередил их, запечатыв рты ладонями. Потом он кивнул старухе. Ведьма по-птичьи выступила вперед. Зашитые игуаны веки, длинный крючковатый нос с заросшими шерстью ноздрями и непрестанно шеве-

лившиеся пальцы вплотную надвинулись на мальчишек. Они оторопело вытаращились на Ведьму. Не сразу дошел до них смысл слов, которые бормотал иссохший рот.

Стрекозиная Игла, штопай рты им, пусть молчат!

Острый ноготь ее большого пальца быстро замелькал возле мальчишек, показывая им то верхние, то нижние губы. И вот они уже крепко-накрепко сшиты невидимой нитью.

— Стрекозиная Игла, штопай уши, чтоб оглохли!

Холодный песок хлынул в уши Вилли, но сквозь навалившуюся тишину он продолжал слышать противный шелестящий голос. Мох вырос в ушах Джима, накрепко запечатав их.

— Стрекозиная Игла, ты зашей-ка им глаза! Нечего по сторонам глядеть!

Вилли показалось, что старухины пальцы, раскаленные добела, повернули его глазные яблоки внутрь, в темноту, а за ними с лязгом, словно железные ставни, захлопнулись веки. Невидимое игольчатое насекомое продолжало снова где-то снаружи, и пыльный голос продолжал зашивать их ощущения, навек отгораживая от всего мира.

— Стрекозиная Игла! Шей ровней! Тьму зашей, пылью набей, сном нагрузи, узелки крепко-накрепко свяжи, влей молчание в кровь. Быть по сему, быть по сему!

Ведьма опустила руки и отступила на шаг. Мальчишки стояли молча, в полной неподвижности. Человек-в-Картинках отпустил их и тоже сделал шаг назад. Ведьма тщательно обнюхала свою работу, в последний раз пробежалась пальцами по двум ступням и удовлетворенно затихла.

Карлик маялся у ног ребят, слепка постукивая по коленкам, окаякая по именам.

Человек-в-Картинках кивнул через плечо:

— Часы уборщика. Пойди, останови их.

Ведьма, подпрыгивая от удовольствия, отправилась разыскивать очередную жертву. Мистер Дарк скомандовал:

— Раз, два, левой, правой!

Ребята ровным механическим шагом спустились по ступням. Карлик шел рядом с Джимом, Скелет — рядом с Вилли.

Человек-в-Картинках, невозмутимый, как смерть, шагал следом.

Рука Чарльза Хэллоуэя лежала где-то поблизости и таяла на огне нестерпимой боли. Он открыл глаза, и тут по комнате пронёсся порыв ветра. Кто-то опять открыл входную дверь. Вскоре послышался женский голос. Что-то напевая, он приближался.

— Старик, старик, старик?..

На месте левой руки лежал распухший окровавленный кусок плоти. Пульсирующая боль не давала сосредоточиться, высасывала силы, подавляла волю. Он попытался было сесть, но боль снова опрокинула его.

— Старик?..

«Да какой я тебе старик! — с яростным ожесточением подумал он. — Пятьдесят четыре — это еще не старость!»

Она вошла и остановилась у двери. Пальцы-мотыльки порхают, плетут незримые нити, читают по Бройлю заголовки на корешках, а ноздри настороженно исследуют воздух.

Чарльз Хэллоуэй, извиваясь как червяк, полз к ближайшему стулажу. Он должен, обязан забраться туда, где книги смогут защитить его. Их можно сталкивать сверху на голову любому непрошеному визитеру.

— Старик, я слышу, как ты хрипишь...

Он сам притягивал ее, шипя от боли при каждом движении.

— Старик, я чувую твою рану...

Если бы он только мог выбросить в окно эту несчастную руку вместе с болью, и пусть себе лежит там, созывая к себе всех ведьм на свете. Он представил себе, как Ведьма тянет из окна руки к огненному биению, лежащему на асфальте. Но нет, рука здесь, она излучает боль, направляя эту странную оборванную Цыганку.

— Да будь ты проклята! — закричал он. — На, получай! Вот он я!

Ведьма обрадованно заторопилась вперед, черные тряпки взвихрились вокруг нее, словно на огородном пугале. Но Чарльз Хэллоуэй даже не смотрел на свою новую обидчицу. В нем боролись отчаяние и стремление во что бы то ни стало найти выход. Борьба эта занимала все его существо полностью, только

глаза, пока не участвовавшие во внутренней схватке, могли мигреть из-под полуопущенных век.

Рядом послышался шестестящий, какой-то пыльный шепот:

Очень просто... остановить сердце...

«Почему бы и нет?» — смутно подумал он.

Медленнее, — пробормотала она.

«Да», — машинально откликнулся он.

Медленно, очень медленно...

Сердце его, до этого мчавшееся галопом, теперь перестраивало ритм, и это было неудобно как-то, но вскоре на смену неприятным ощущениям пришли странная легкость и спокойствие.

Еще медленнее, — предлагала она.

«Я ведь устал, ты слышишь, сердце?» — подумалось ему.

Да, сердце слышало. Оно постепенно разжималось, как разжимаются стиснутый кулак. Сначала расслабляется один палец...

Хорошо остановить все, хорошо забыть обо всем, — шептала она.

«А что, разве плохо?» — думал он.

Еще медленнее, совсем медленно, — приказывала она.

Сердце стало давать перебои.

А потом вдруг, вопреки собственному стремлению к покою, к избавлению от боли, он открыл глаза. Просто чтобы еще раз посмотреть вокруг напоследок... Он увидел Ведьму. Он увидел пальцы, усердно работающие в воздухе, а еще он непостижимым образом увидел свое лицо, свое тело, сердце, слабеющее на глазах, а в нем — свою душу. С каким-то отрешенным любопытством он изучал странное создание, стоявшее рядом. Считала стежки, которыми были перехвачены ее веки, подсчитывала количество глубоких морщин-трещин на шее — такая же пия у ящерицы Хэла, попадающей в Аризоне; на огромных ушах — как у небольшого слона; на иссохшем глинистом лбу. Ему, пожалуй, еще не приходилось вот так изучать другого человека. «А ведь это похоже на головоломку, — пришла отстраненная мысль. — Собери ее и узнаешь самый главный секрет жизни». Решение было тут, рядом, оно крылось в самом объекте его внимания, и все могло проясниться в один миг, вот сейчас, нет, чуть погодя, еще чуть погодя. «Погляди-ка на эти скор-

пионьи пальцы, — приглашал он сам себя, — послушай, как она причитает, как перебирает воздух. Воздух! Вот именно! Она обманывает воздух, надувает его! Да ведь это же сплошное надувательство! Просто щекотно — и все!»

— Медленнее, — прошептала она, словно собираясь заснуть.

«Медленнее» — надо же! А его послушное, доверчивое сердце принимает все за чистую монету. Принимает всерьез этот щекотливый обман!

Чарльз Хэллоуэй слабо хихикнул. И тут же удивился: «Чего это я хихикаю, да еще в такой момент?»

Ведьма дернулась, словно тоненькие провода, которые она разбирала в воздухе перед собой, закорютило и ее слегка трянуло током.

Чарльз Хэллоуэй не заметил этого, она ведь то и дело отшатывается и наклоняется поближе. Вот опять подалась вперед...

Действительно, Ведьма, перехватив инициативу, снова поспулась к нему и принялась еще быстрее сучить пальцами в нескольких дюймах от его груди. Это выглядело так, словно она пытается зачаровать маятник старинных часов.

— Медленнее! — кричала она.

Из глубины его существа поднялась и расцвела на губах какая-то дурацкая улыбка.

— Совсем медленно!

В поведении Ведьмы появилось что-то новое, какая-то лихорадочная поспешность, какое-то беспокойство, прорывающееся гневными нотками в голосе. Вот умора! Так даже смешнее.

Чарльз Хэллоуэй не обратил внимания, когда и как в нем, без каких-либо усилий, без желания оказать сопротивление, возникла ровная, спокойная уверенность: все это не имеет никакого значения. Жизнь сейчас, в конце, казалась ему не более чем шуткой. Здесь, в дальней комнате окружной библиотеки, куда его жизнь как раз влезла целиком, без остатка, он впервые заметил, какой бессмысленно растянутой она у него была, как она базальтовой глыбой нависала над ним все эти годы, а в итоге — вот, вся здесь, куда только девалось ее недавнее величие. Смех, да и только! За несколько минут до смерти Чарльз Хэллоуэй спокойно размышлял о сотнях личин своего тщеславия, раскладывая по полочкам десятки разновидностей своего самонадеяния. Вся комната представлялась ему заставленной и заве-

щенной игрушками всей его жизни. Но самой смешной была среди них Пыльная Ведьма, обыкновенная жалкая старуха в лохмотьях, увлеченно щекотавшая воздух. О, она его просто щекочет!

Чарльз Хэллоуэй открыл рот и издал совершенно неожиданный, в том числе и для себя самого, смешок.

Ведьма отпрянула и замерла. Но Хэллоуэй не видел ее. Он был слишком занят. Он выпускал из себя смех. Вот он открыл клешней пальцев, и в кончиках их заплясали веселые иголочки, вот задрожало горло, пропуская смеховую энергию к глазам — они припухли, и дальше — дальше не удержать! Свистящая ширинель первого взрыва хохота разлетелась во все стороны.

— Вы! — выкрикнул он, неизвестно к кому обращаясь. — Смешно-то как! Эй, вы!

— Нет, вовсе не смешно, — запротестовала Ведьма.

— Кончай щекотку! — едва выговорил он.

— Нет! — Ведьма затряслась от злости. — Спи! Стихни! Совсем замолчи!

— Ну перестань! — орал он, вовсе не слушая ее. — Щекотно же! Прекрати! Ой, не могу, ха, ха! Ой, остановись!

— Вот! Вот именно! — взвизгнула Ведьма. — Сердце, остановись!

Но, похоже, ее собственное сердце находилось сейчас в большей опасности, чем сердце Хэллоуэя, корчившегося явно от смеха. Ведьма замерла и с беспокойством обнюхала свои ставшие вдруг непослушными пальцы.

— О боже мой! — уже рычал от смеха Хэллоуэй. Огромные слезы выступили у него из-под век. — Ха! Ха! Ребра отпустило! Продолжай, сердце мое, продолжай!

— Сердце, стой! — шипела Ведьма.

— Господи! — Он широко открыл глаза, перевел дух и отворил внутри себя новые источники воды и мыла, смывая весь налипший внутри мусор, моя все дочиста, окатывая, отскребывая и снова окатывая. — Кукла! — вдруг дошло до него. — Смотри! У тебя ключик сзади торчит! Кто же тебя заводил-то?

И он зашелся в очередном приступе хохота.

Этот неожиданный хохот словно огнем опалил женщину, обжег руки, заставив отдернуть их и спрятать под лохмотьями, она невольно подалась назад, сделала попытку устоять, но не

смогла. Смех хлестал ее по лицу, дюйм за дюймом выталкивая из комнаты, и она начала отступать шаг за шагом, натыкаясь на стеллажи, пытаясь ухватиться за книги на полках, но они выскальзывали у нее под руками, срывались со своих мест и рушились на нее водопадом. Мрачные истории били ее по лбу, прекрасные теории, не выдержавшие проверки временем, сыпались ей на голову. Вся в синяках и ссадинах, подгоняемая словно ударами бича его смехом, заполнившим отдаленные мрамором своды, звеневшим в переходах, она не выдержала, завертелась волчком, полоснула ногтями воздух и бросилась бежать, совершенно забыв о двух-трех ступеньках перед выходом. С них она и скатилась кубарем. Оглушенная падением, Ведьма не сразу справилась с входной дверью, а та еще напоследок хорошенько поддала ей под зад, заставив пересчитать своими костями еще и ступени парадного входа.

Ее испуганные причитания и дробный грохот падения чуть не прикончили Чарльза Хэллоуэя. Новый приступ хохота грозил разорвать ему диафрагму.

— Боже мой, господи, прекрати, пожалуйста! — уже заикаясь от смеха, взмолился он.

И все кончилось.

Некоторое время он еще конвульсивно хихикал, слабо посмеивался, а потом долго и удовлетворенно только дышал, давая отдых измученным легким, трясся счастливо-усталой головой, прислушиваясь, как уходит боль из-под ребер и, как ни странно, из покаленной руки. Он бессильно припал к стеллажам, прижался лбом к какой-то хорошо знакомой книге, и слезы, освобожденные пережитым весельем, потекли по его щекам. Только тут до него дошло, что он один. Ведьма ушла!

«Но почему? — удивился он. — Что я такого сделала?»

С последним горловым смешком он встал. Что же случилось? О боже, надо разобраться. Только сначала дойти до аптеки и аспирином хоть ненадолго унять все-таки сильно болевшую руку, а потом уже подумать. «За последние пять минут, — сказал он себе, — ты что-то выиграл, разве нет? Ну! Чем вызвана твоя победа? Думай! Это обязательно надо понять!»

Улыбаясь неленой левой руке, удобно пристроившейся раненым зверьком на сгибе локтя правой, он заторопился по темным коридорам, открыл дверь и вышел в город.

Часть 3 ИСХОД

45



большое шествие в молчании двигалось по городу. Позади остались огромный вертящийся леденец возле дверей парикмахерской Крозетти, темные витрины магазинов, пустынные улицы — люди уже разошлись по домам. Кончилась вечерняя служба, кончалось последнее представление на Карнавале.

Ноги Вилли, оказавшиеся где-то далеко внизу, размеренно постукивали по тротуару. «Раз, два, — думал он. — Раз, два. Наконец. Кто-то говорит: направо. Похоже на стрекозиный шорох. Раз, два».

Интересно, Джим тоже здесь? Вилли скосил глаза. Вот он, рядом. А это что за малыш пристроился сзади? Свихнувшийся Карлик, ясно... Да еще Скелет. А что это за толпа валит за ними? А-а, Человек-в-Картинках...

Вилли кивнул своим собственным мыслям и вдруг заскулил тих высоко и жалобно, что все окрестные собаки должны были его услышать. Вот они, в арьергарде, целых три штуки, и толку от них никакого.

Конечно, бродячие псы не могли упустить такой случай и с полным знанием дела принимали участие в импровизирован-

ном параде. Когда они забегали вперед, хвосты у них становились похожими на флажки в руках правофланговых, направляющих большие, настоящие парады.

«Полайте! — попросил собак Вилли. — Полайте, как в кино! Позовите полицию!» Но собаки только вежливо улыбались и неторопливой рысцой сопровождали идущих. «Счастливей случай, где же ты? — думал Вилли. — Хоть какой...» О! Мистер Татли! Вилли и видел, и в то же время как будто не видел знакомого хозяина табачной лавки, затаскивающего своего деревянного индейца в магазин. Значит, закрывать собрался.

— Головы — направо! — тихонько скомандовал Человек-в-Картинках.

Джим повернул голову. Вилли повернул голову. Мистер Татли приветливо улыбнулся.

— Улыбнитесь! — шепотом приказал мистер Дарк.

Ребята улыбнулись.

— Привет! — Мистер Татли помахал рукой.

— Поздоровайтесь! — шепнула кто-то за спиной Вилли.

— Привет! — произнес Джим.

— Привет, — повторил Вилли.

Собаки вежливо полаяли.

— Бесплатные аттракционы, — буркнул сзади мистер Дарк.

— Бесплатная карусель, — сообщил Вилли мистеру Татли.

— На Карнавале, — безжизненно звякнул голос Джима.

Улыбки теперь не нужны, их можно снять.

— Приятно повеселиться! — пожелал мистер Татли.

Собаки залаяли немного бодрее.

— А как же, сейчас повеселиться, — пробормотал мистер Дарк. — Вот толпа через полчаса схлынет, тогда и начнем. Сначала Джима прокатим. Ты как, не передумал, Джим?

Заточенный внутри себя, Вилли пытался думать: «Не надо, Джим. Не слушай его!»

— Мы тебя с собой возьмем, Джим. Если мистер Кугер не поправится, а он, надо сказать, довольно плох пока, правда, мы еще разок попробуем, — но если он не встанет, придется тебе занять его место, Джим. Ты как насчет партнерства, а? Конечно, мы тебя подрастим лет до двадцати, двадцати пяти, да? И будет: «Дарк и Найтшед, Найтшед и Дарк» — вполне подходяще для

нас с тобой и для нашего представления. Турне, гастроли за окнами! Как ты на это смотришь, Джим?

Зачарованный Ведьмой, Джим молча шагал рядом.

«Не слушай ты!» — скулил про себя его лучший друг, которому вроде и слышать-то ничего не полагалось.

— Ну а что с Вилли будем делать? — размышляла вслух миссис Дарк. — Может, покрутить его назад, а? Сделаем из него грудного младенца, отдадим Карлику, пусть таскает, — предложил он. — Как тебе эта мысль, Вилли? Лет пятьдесят побудешь младенцем, ни тебе сказать, ни тебе возразить. По-моему, в самый раз для Вилли. Этакая игрушка, маленький, мокренький приятель для нашего Карлика!

Вилли должен был бы закричать, но он продолжал механически шагать и молчал. Зато собаки взвыли от ужаса и бросились врассыпную, словно их любили камнями.

Из-за угла показался человек. Полицейский.

— Кто это? — быстро спросил мистер Дарк.

— Мистер Колб, — равнодушно ответил Джим.

— Мистер Колб, — эхом повторил Вилли.

— Стрекозиная Игла! — скомандовал мистер Дарк. — За дело!

Вилли вздрогнул от боли в ушах. Плотная тьма залила глаза. Жидкая резина залила рот. Он чувствовал покалывание, зудение, что-то стучало по лицу, и он быстро пошел, плел и слез.

— Поздоровайтесь с мистером Колбом!

— Здравствуйте, — послушно произнес Джим.

— ...мистер Колб, — добавил Вилли.

— Привет, ребята. Добрый вечер, джентельмены.

— Поворот направо! — раздалась новая команда.

Они повернули и теперь уходили прочь от теплых огней, от доброго города, от безопасных улиц, уходили в луга, маленький парад без труб и барабанов.

Парад, в котором не осталось никакого порядка, растянулся чуть ли не на мило. Впереди вышагивали Джим и Вилли. Рядом с ними шли их новые друзья, то и дело поминавшие какую-то Стрекозиную Иглу.

Сзади, отстав на полмили, брела старая Цыганка. Чувствовала она себя неважно. Пыль за ней взметалась маленькими вихрями и укладывалась на дорогу таинственными символами. Отстав от нее еще на милю, торопился библиотечный уборщик. Иногда, вспоминая о победной первой стычке, он по-юношески размашисто шагал вперед, но, вспомнив о возрасте, сбавлял темп и глотал таблетки, прижимая к груди левую руку.

Мистер Дарк остановился на обочине, словно командующий на смотре. Он прислушивался к внутреннему голосу, производящему переключку разношерстного воинства. Что-то было не так. Мистер Дарк неуверенно оглянулся по сторонам, но внутренний голос уже молчал.

На границах Карнавала им повстречалась толпа людей. Джим, сопровождаемый Скелетом и Карликом, все так же механически вошел в человеческую реку, лишь слегка удивившись ее внутренней разреженности. Со всех сторон до слуха Вилли доносились всплески смеха. Он шел словно под ливнем из голосов и обрывков музыки. В лебе плавно двигалась вереница светлячков — это Чертово Колесо огромным фейерверком вздымалось над ними.

Потом они пробирались через ледяные моря Зеркального лабиринта. В холодных гранях вспыхивали и погружались на дно тысячи очень похожих на них мальчишек, опутанных паучьими сетями чар.

«Это все мои “я”», — думал Джим.

«Они не помогут мне, — думал Вилли. — Сколько бы меня здесь ни собралось, они мне не помощники».

Куча мальчишек смешалась с кучей картинок успешного раздуться мистера Дарка. Пришлось проталкиваться сквозь изображения изображений, пока возле выхода из лабиринта их не окружили восковые фигуры.

— Сидеть! — скомандовал мистер Дарк. — Оставайтесь тут.

К восковым фигурам убитых, обезглавленных, удушенных мужчин и женщин прибавились две маленькие фигурки, неподвижные, как египетские кошки, смотрящие прямо перед собой.

Мимо проходили последние посетители. Они, посмеиваясь, разглядывали восковые фигуры, обсуждая их между собой. Никто из них не обращал внимания на тонкую струйку слюны,

блестевшую в углу рта одного из «восковых мальчуганов», никто не замечал поблескивающих глаз второго, даже влажная бороздка у него на щеке не привлекала никого из поздних зевак.

Ведьма добрела до платров и спотыкалась о колышки и веревки на дальней границе Карнавала.

— Леди и джентльмены!

Их еще оставалось сотни две, задержавшихся воскресных гуляк, и все они, как единое тело, повернулись на голос.

Человек-в-Каргунках, весь гадючья, саблезубая, сладострастия, стервятниковая обезьяна, оранжево-розовый, желто-зеленый, взобрался на помост.

— Последнее бесплатное воскресное представление! Подходите, подходите все!

Толпа повалила к сцене. Там, рядом с мистером Дарком, уже стояли Скелет и Карлик.

— Невероятно опасный, самый рискованный, всемирно известный номер с пулей! — выкрикивал мистер Дарк.

Толпа одобрительно загудела.

— Ружья, с вашего позволения!

Скелет широким жестом распахнул шкаф. За дверцами тускло и грозно блеснул металл ружейных стволов.

Ведьма, поспешно семенившая к помосту, словно вросла в землю, когда мистер Дарк провозгласил:

— А вот и наша беззаветно храбрая, бросающая вызов смерти мадемуазель Таро, Ловящая Пули!

Ведьма затрясла головой, затопотала и заскулила, но мистер Дарк уже протянул руку, подхватил ее за шкурку и вознес на помост, не обращая внимания на слабое сопротивление. Он выдержал эффектную паузу и обратился к собравшимся.

— А теперь я попрошу подняться на сцену добровольца, который произведет роковой выстрел!

Толпа зашумела, и мистер Дарк, воспользовавшись этим, быстро спросил:

— Ты остановила часы?

— Нет, — прохныкала Ведьма.

— Как — нет?! — шепотом заорал мистер Дарк. Он испепелил Ведьму бешеным взглядом, повернулся к толпе и, легко коснувшись винтовки в стойке, повторил: — Добровольцы, пожалуйста!

— Остановите представление! — ломая руки, тихонько вскрикнула Ведьма.

— И не подумаю, будь ты трижды проклята, дура старая! — прошипел мистер Дарк. Он незаметно уцепился картинку у себя на запястье, изображавшую слепую черную цыганку.

Ведьма взметнула руки, прижала их к груди и застонала сквозь зубы.

— Милости прошу! — выдохнула она едва слышно.

Толпа молчала. Мистер Дарк, словно с сожалением, развел руками.

— Ну что ж, раз не находится добровольцев, — он поскреб разрисованное запястье, и Ведьма затряслась как осиновый лист, — придется отменить представление.

— Есть! Есть добровольец!

Толпа ахнула и повернулась на голос.

Мистер Дарк пошатнулся, как от удара, и напряженно спросил:

— Где?

— Здесь!

Из дальних рядов поднялась рука, и люди тут же расступились, освобождая проход. Теперь ничто не мешало мистеру Дарку разглядеть стоявшего поодаль мужчину. Это был Чарльз Хэллоуэй, штатский, отчасти — муж, отчасти — ночной бродяга, несомненно — отец и уборщик из окружной библиотеки.

47

Одобрительный шум в толпе прекратился. Чарльз Хэллоуэй не трогался с места. Дорога перед ним до самого помоста была свободна. Он не смотрел на лица уродцев на сцене, не видел людей, уставившихся на него, глаза его неотрывно уперлись в Зеркальный лабиринт, в пустоту, манящую миллионами отраженных отражений, перевернутых дважды, трижды, уходящих все дальше в сверкающее Ничто.

Не осталось ли на серебряной амальгаме тени двоих ребят? Не помнят ли холодные плоскости их отражений? Что-то ощущали едва трепещущие кончики его ресниц, что-то там, за зеркальными стенами... Теплый воск среди холодного... ожидание предстоящего ужаса, ожидание пути в никуда...

«Нет, — остановил себя Чарльз Хэллоуэй, — не думай о них. Потом. Сначала разберись с этими».

— Иду! — крикнул он.

— Точно! Задай им, папапа! — посоветовал кто-то.

— Обязательно задам, — отозвался мистер Хэллоуэй и пошел сквозь толпу.

Ведьма завороченно повернулась на звук знакомого голоса. Из стеклами темных очков дернулись зашитые веки, сияясь разглядеть ночного добровольца.

Мистер Дарк, вызвав переполох среди населявших его народов, наклонился вперед и оскалил зубы в приветственной гримасе. Настойчивая мысль огненным колесом бешено вертелась у него в глазах: «Что? Что? Что это значит?»

А пожилой уборщик, тоже с приклеенной улыбкой на губах, шагнул вперед. Перед ним, как море перед Моисеем, расступилась толпа и смыкалась позади. Шел он уверенно, но все еще не знал, что же ему, собственно, делать, и вообще, почему он здесь?

Такова была мизансцена ко времени первой ступеньки. Ведьму затрясло. Мистер Дарк ударил ее взглядом и протянул руку, собираясь поддержать под правый локоть поднимающегося на помост пятидесятичетырехлетнего мужчину. Но тот только покачал головой, отказываясь от помощи.

Взойдя на помост, Чарльз Хэллоуэй обернулся и помахал собравшимся. Ему ответили взрывом аплодисментов.

— Но ваша левая рука, сэр, — демонстрируя участие, проговорил мистер Дарк, — вы же не сможете стрелять...

— Я вполне управляюсь и одной рукой, — слегка поблдевав, заявил мистер Хэллоуэй.

— Ура! — завопил какой-то юный шалопаи вниз.

— Правильно, Чарли, дай им! — одобрил мужской голос издали.

В толпе послышался смех, потом отдельные хлопки, с каждой секундой становившиеся все дружнее. Мистер Дарк вспыхнул и поднял руки, словно преграждая дорогу звукам, весенним дождем освежавшим людей.

— Хорошо, хорошо! — прокричал он и добавил значительно тише: — Посмотрим, что из этого получится.

Человек-в-Картинках выхватил из стойки самую тяжелую винтовку и бросил через весь помост. Толпа разом выдохнула.

Чарльз Хэллоуэй повернулся, подставил правую ладонь, и винтовка шлепнулась ему в руку. Он справился.

Публика зашумела, кое-где раздался свист. Ясно было, что грязную игру мистера Дарка заметили и не одобряют. Счет рос не в его пользу.

Отец Вилли улыбнулся и поднял винтовку над головой. Толпа приветственно взревела.

Подставив грудь под накатывающуюся волну аплодисментов, Чарльз Хэллоуэй еще раз попытался проникнуть взглядом сквозь лабиринт. Он не мог видеть, но зато с уверенностью чувствовал замерших среди других иллюзий, почти превращенных в восковое подобие самих себя Вилли и Джима. Взглянул и тут же посмотрел на мистера Дарка (пожалуй, тот проиграл еще одно очко, ибо не был готов к его взгляду), а потом — на незрячую ночную Гадалку. Бочком-бочком она все отступала подальше, но дрожащие ноги принесли ее прямо к кроваво-красному глазу большой мишени на заднике помоста.

— Мальчик! — неожиданно крикнул Чарльз Хэллоуэй.

Мистер Дарк вздрогнул.

— Мне в помощь нужен парнишка-доброволец, — объяснил мистер Хэллоуэй. — Один кто-нибудь, — обратился он к собравшимся.

Несколько ребят в толпе задвигались.

— Мальчик! — снова в голос крикнул Чарльз Хэллоуэй. — Погодите, у меня тут сын где-то был. Думаю, он не откажется. Вилли!

Ведьма замахала руками. Ей надо было понять, почему этот пятидесятичетырехлетний мужчина так нагло распоряжается на их территории. Мистер Дарк аж завертелся на месте, словно подброшенный ударом еще не выпущенной пули.

— Вилли! — снова крикнул отец.

Посреди Воскового Музея сидел недвижимый Вилли.

— Вилли! Сынок! Иди сюда!

Люди в толпе завертели головами. Но никто не отзывался. Мистер Дарк уже вернул самообладание и теперь поглядывал на противника сочувственно-заинтересованно. Видимо, он ждал чего-то, как, впрочем, и отец Вилли.

— Вилли! — снова воззвал Чарльз Хэллоуэй. — Иди же, помоги своему старику! — В голосе отца звучал благодушный упрек.

Вилли сидел не шевелясь среди восковых экспонатов музея. Мистер Дарк ухмыльнулся.

— Вилли! Ты что, не слышишь меня, что ли?

Ухмылка мистера Дарка стала еще шире.

— Вилли, шельмец! Да ответь же своему старику!

Мистер Дарк словно получил удар под дых. Последний голос принадлежал какому-то мужчине из толпы. Вокруг засмеялись.

— Вилли! — пронзительно выкрикнула дорожная матрона у края помоста.

— Вилли! — вторил ей басом джентльмен в котелке.

— Йо-хоо! — йоддем взвыл бородатый джентльмен неподалеку.

— Вилли! — дискантом заверещал какой-то малец.

По толпе, нарастая, гуляли волны хохота. Разноголосые крики угрожали слиться в единый мощный призыв.

— Вилл! Вилли! Вильям!!!

Тень мелькнула в льдистых зеркальных стенах. Ведьма pokrылась крупными каплями холодного пота. Толпа разом смолкла. Чарльз Хэллоуэй поперхнулся именем собственного сына.

У выхода из лабиринта, больше всего похожий на ожившую восковую фигуру, стоял Вилли.

— Вилли! — тихонько позвал отец.

Ведьма испустила жалобный стон. Вилли, незряче подняв лицо, деревянным шагом двинулся через толпу. Отец протянул сыну ружейный ствол, и, ухватившись за него, паренек влез на помост.

— Вот моя левая рука! — объявил Чарльз Хэллоуэй.

Вилли никак не реагировал на дружные, напористые аплодисменты, которыми люди встретили его появление. Мистер Дарк, казалось, и ухом не повел, но Чарльз Хэллоуэй видел, как суетились его глаза, они, словно скорострельные пушки, вели беглый огонь по мальчику и старику на краю помоста, но то ли порох отсырел, то ли снаряды и вовсе оказались холостыми, толку от его пальбы не было никакого. Что-то не клеилось у

него в последние минуты, он уже не был уверен в том, что хорошо помнит сюжет представления. Не знал сценария и Чарльз Хэллоуэй, не знал, но прекрасно чувствовал. Именно эту пьесу писал он долгими библиотечными ночами, запоминая сюжетные ходы, рвал в клочки написанное, забывал и снова вспоминал. Он был уверен в режиссерских способностях своего «я», он играл по слуху, по интуиции, по душе и сердцу! И вот...

Он улыбнулся Ведьме, и блеск его зубов больно отозвался в незрячих глазах. Она заслонила рукой защитные веки за темными очками.

— Подходите поближе! — Чарльз Хэллоуэй сделал приглашающий жест.

Толпа придвинулась. Помост стал островом, люди — морем вокруг.

— Посмотрите на мишень!

Ведьма попыталась растечься по собственным лохмотьям. Человек-в-Картинках тревожно обернулся влево, напрасно ища поддержки у Скелета, еще сильнее похудевшего за несколько последних минут; посмотрел направо — Карлик с довольным видом полного идиота пускал пузыри.

— Пулю, пожалуйста, — вполне миролюбиво попросил Чарльз Хэллоуэй.

Кишащие полчища тварей на живом полотне и не подумали его услышать, соответственно не услышал и мистер Дарк.

— Пулю, с вашего позволения, — повторил Чарльз Хэллоуэй. — У вашей Цыганки блоха на бородавке, попробую ее сшибить.

Вилли стоял неподвижно.

Мистер Дарк явно колебался.

Снаружи волнующиеся море голов расцветало улыбками — здесь, там, десяток, два, сотни белозубых бликов, — словно лунные отсветы на волнах прилива.

Человек-в-Картинках медленно достал пулю и протянул... мальчику. Вилли не заметил длинной волнистой руки. Пулю взял его отец.

— Пометьте своими инициалами, — машинально произнес мистер Дарк обязательную фразу.

— Ну зачем же! Есть и кое-что получше! — усмехнулся Чарльз Хэллоуэй.

Он вложил пулю в равнодушную руку сына и достал перочинный нож. Взял пулю, пометил и вернул мистеру Дарку.

«Что? Что? Что происходит? — сонно думал Вилли. — Я знаю, что происходит. Я не знаю. Что? Что? Что?»

Мистер Дарк внимательно рассмотрел нацарапанный на пуле полумесец, не увидел в этой луне ничего особенного, зарядил ружье и снова грубо бросил старику. И снова Чарльз Хэллоуэй ловко поймал оружие.

— Готов, Вилли?

Неподвижное лицо едва заметно наклонилось.

Чарльз Хэллоуэй мельком взглянул в сторону лабиринта. «Как ты там, Джим? Держись, паренек!»

Мистер Дарк повернулся. Он собирался отойти, успокоить свою пыльную подругу, но замер, остановленный резким звуком открываемого затвора. Отец Вилли достал из ствола пулю и демонстрировал ее собравшимся. Она выглядела как настоящая, но Чарльз Хэллоуэй помнил давно прочитанное им где-то описание этого трюка. Пуля делалась из твердого, раскрапленного под свинец воска. При выстреле воск мгновенно испарялся, из ствола вылетал лишь дым да горячий пар, а перед тем Человек-в-Картинках незаметно сует своей напарнице настоящую пулю. Ее не так уж трудно подменить, заряжая ружье. Ведьма подсакивает от выстрела, а потом показывает настоящую пулю, лижущую в желтых крысиных зубах. Фанфары! Аплодисменты!

Человек-в-Картинках оглянулся. Чарльз Хэллоуэй держал в руках восковую пулю, явно принимая ее за настоящую, и озабоченно приговаривал:

— Давай-ка пометим ее получше, сынок...

Вилли держал пулю в бесчувственной руке, а старик перочинным ножом старательно наносил на чистую пулю все тот же загадочный лунный серп. Потом он лихо засадил ее в патронник.

— Готово? — раздраженно спросил мистер Дарк и взглянул на Ведьму. Она заколебалась, но в конце концов слабо кивнула.

— Готово! — отозвался Чарльз Хэллоуэй.

Вокруг стояли безмолвно шатры, сдержанно дышала толпа людей, беспокойно певселились уродцы. Ведьма замерла на грани истерики, где-то неподалеку неподвижной мумией восседал Джим, которого еще предстояло найти, в соседнем шатре электрические сполохи поддерживали видимость жизни в древнем

старце, карусель застыла в ожидании конца представления и того момента, когда разойдется наконец надоевшая толпа и Карнавал разберется по-своему с дерзкими мальчишками и старым библиотечным уборщиком, попавшимися в ловушку, уже пойманными, просто надо подождать, пока их оставят наедине с Карнавалом.

— Вилли,— беззаботно болтал Чарльз Хэллоуэй, поднимая вдруг потяжелевшее ружье,— давай свое плечо, мы его как подпорку используем. Прихвати-ка за ствол, так надежнее будет.— Мальчик послушно поднял руку.— Вот так, сынок. Отлично. Когда скажу: «Приготовились»,— удержи дыхание. Слышишь меня?

Рука Вилли слабо дрогнула в ответ. Он спал. Он видел сны. Этот сон был кошмаром. Во сне он слышал крик отца.

— Леди и джентльмены!

Человек-в-Картинках вонзил ногти в собственную ладонь, в мальчишеское лицо, спрятанное в кулаке. Вилли скрутила судорога. Ружье упало. Чарльз Хэллоуэй и внимания не обратил.

— Леди и джентльмены! У меня левая — не того, вот сынок ее заменит. Сейчас мы с ним исполним перед вами самый рискованный, самый опасный, уникальный трюк с пудей!

Аплодисменты. Хохот.

Пятидесятичетырехлетний библиотечный уборщик проворно поднял ружье, словно это была привычная швабра, и снова водрузил на вздрагивающее плечо сына.

— Эй, Вилли, слышишь, сынок, давай врежем им за нас!

Да, Вилли слышал. Судорога стала отпускать его. Мистер Дарк еще сильнее сжал кулак. Вилли снова затрясло.

— Прямо в яблочко врежем им, верно, сынок! Не подкачай, поднатужься! — скоморошничал отец.

Толпа смеялась.

А Вилли и впрямь успокоился. Ствол ружья у него на плече замер. Суставы на стиснутой руке мистера Дарка побелели, но мальчик оставался неподвижным. Волны смеха омывали его замишную фигурку. Отец не давал смеху погаснуть.

— Покажи-ка даме свои зубы, Вилли!

Вилли осклабился в сторону мишени.

Ведьма побледнела, как мучной куль.

Чарльз Хэллоуэй тоже осклабился, старательно обнажив все свои оставшиеся зубы.

Ледяной озноб прокатился по телу Ведьмы.

— Гляди-ка, парсень! — послышался голос из толпы.— У нее аж поджилки трясутся. Напугал так напугал! Во изображает!

«Вижу я»,— с досадой подумал Чарльз Хэллоуэй. Его левая рука безвольно висела вдоль тела, палец правой застыл на спусковом крючке винтовки. Ствол неподвижно лежит на плече Вилли, дуло устремлено в мишень, прямо в лицо Пыльной Ведьмы; и вот настанет последний миг. В патроннике восковая пуля. Господи! Да что может сделать кусочек воска? Испариться на лету? Глупость какая! Зачем они здесь, что они могут сделать? «Прекрати немедленно,— приказал он сам себе.— Все. Тихо. Никаких сомнений!» Он буквально чувствовал слова, теснившиеся во рту. Ведьма тоже слышала их.

Прежде чем последний теплый смсшок замер в толпе, Чарльз Хэллоуэй прошептал беззвучно, одними губами: «Я пометил пулю не лунным знаком. Это — моя улыбка. Моя улыбка — вот настоящая пуля в стволе!» Он не стал повторять и лишь помедлил, ожидая, пока до Ведьмы дойдет смысл его слов. И за миг до того, как слова эти прочел по губам Человек-в-Картинках, Чарльз Хэллоуэй негромко и отрывисто приказал сыну: «Приготовились!»

Вилли перестал дышать. Неподалеку у затерянного среди восковых истуканов Джима слюна перестала течь из уголков губ. У мертво-живой куклы, привязанной ремнями к «электрическому стулу», едва слышно зудел в зубах синий электрический огонек. Картинки мистера Дарка вспотели от ужаса, когда их хозяин судорожно стиснул собственную ладонь. Поздно! Вилли даже не шелохнулся, даже не вздрогнул, ствол винтовки на его плече не двинулся. Отец хладнокровно скомандовал: «Пли!»

И грянул выстрел.

48

Один-единственный выстрел!

Ведьма судорожно вздохнула. Джим вздохнул среди восковых кукол. Вилли вздохнул во сне. Чарльз Хэллоуэй сделал глубокий вдох. Чуть не захлебнулся воздухом мистер Дарк. Со всхлипом втянули воздух уродцы. Перевела дух толпа людей перед помостом.

Ведьма вскрикнула. Джим в музее выдохнул. Вилли на сцене взвизгнул, просыпаясь.

Человек-в-Картинках заревел, выпуская воздух из легких; он взмахнул руками, призывая события замереть, застыть. Но Ведьма падала. Ее тело сухо стукнулось о край помоста и рухнуло в пыль.

Чарльз Хэллоуэй медленно, с неохотой, выдыхал теплый, обжитый в груди воздух. Дымящаяся винтовка зажата в правой руке, глаз — на линии прицела, но на том конце — только красная мишень и никакой Цыганки.

На краю помоста застыл мистер Дарк. Он впился глазами в толпу и пытался разобрать отдельные выкрики.

— Обморок!

— Да нет, поскользнулась просто.

— Застрелили!

Чарльз Хэллоуэй подошел и встал рядом с Человеком-в-Картинках. Он тоже посмотрел вниз. Многие можно было прочесть в его взгляде: и удивление, и отчаяние, и радостное удовлетворение.

Старуху подняли и уложили на помост. Полуоткрытый рот Ведьмы, казалось, выражал удовольствие.

Чарльз Хэллоуэй знал: она мертва. Еще мгновение, и это поймут все. Он внимательно наблюдал за рукой мистера Дарка. Вниз, еще ниже, коснуться, проверить, ощутить трепет жизни. Мистер Дарк взял Ведьму за руки. Кукла. Марионетка. Он пытался заставить ее двигаться, но безжизненное тело не слушалось его. Тогда он призвал на помощь Скелета и Карлика, они трясли и двигали тело, норовя придать ему видимость жизни, а толпа потихоньку пятилась от помоста все дальше.

— ..Мертвая!

— Раны не видно!

— Может, это шок у нее?

«Да какой там шок! — думал Чарльз Хэллоуэй. — Боже мой, неужели это убило ее? Наверное, виновата другая пуля. Может, она случайно проглотила настоящую? Моя улыбка? О Иисусе!»

— Все о'кей! — воскликнул мистер Дарк. — Представление окончено! Все в порядке! Так и задумано! — Он не глядел на мертвую женщину, не глядел на толпу, не глядел даже на Вилли, моргавшего, как сова днем, только что выбравшегося из одного

копимара и готового провалиться в следующий. Мистер Дарк кричал: — Все по домам! Представление окончено! Эй, там, гасите свет!

Карнавальные огни замигали и начали гаснуть. Толпа принялась разворачиваться, как огромная карусель, двинулась, густея под еще горевшими фонарями, словно надеясь отогреться, прежде чем шагнуть в ветреную ночь. Но огни продолжали гаснуть.

— Скорее! — торопил мистер Дарк.

— Прыгай! — шепнул отец Вилли.

Вилли соскочил с помоста и поспешил за отцом, все еще сжимавшим в руке винтовку, убившую Ведьму улыбкой.

Они были уже у входа в лабиринт. Слышно было, как сзади, на помосте, топчется и сопит мистер Дарк.

— Карнавал закрывается. Всем — домой! Конец! Закрыто!

— Джим там, внутри?

— Джим? Внутри? — Вилли с трудом понимал происходящее. — Да! Да, внутри!

Посреди музея восковых фигур, по-прежнему неподвижный, сидел Джим.

— Джим!

Голос, звавший его, протолкался через лабиринт.

Джим шевельнулся. Джим мигнул, вздохнул, встал и неуклюже заковылял к заднему выходу.

— Джим! Подожди там! Я приду за тобой!

— Нет, папа, нет! — Вилли вцепился в отца.

Они стояли у первой зеркальной стены. Боль снова немилосердно терзала левую руку Чарльза Хэллоуэя, поднималась к локтю, выше, еще немного, и ударит в сердце.

— Не падо, папа, не входи!

Вилли держал отца за правую руку.

Помост позади был пуст. Мистер Дарк покинул его. Ночь смыкалась вокруг Вилли с отцом, огни гасли один за другим, ночь густела, наливалась силой, ухмылялась, выталкивала людей прочь, срывая последних посетителей, как запоздалые листья с деревьев, гнала по дороге...

Перед глазами Чарльза Хэллоуэя перекачивались зеркальные валы, это был вызов, брошенный ему ужасом. Надо было

принять его, шагнуть в зеркальное море, проплыть по холодным волнам, прошагать по зеркальным пустыням, прекратить, остановить распадение человеческого «я» в бесконечно отраженных поворотах. Чарльз Хэллоуэй знал, что ждет его. Закроешь глаза — заблудишься, откроешь — познаешь отчаяние, примешь на плечи невыносимое бремя, которое вряд ли унесешь дальше двенадцатого поворота. И все же он отвел руки сына.

— Там Джим, Вилли, — только и сказал он. — Эй, Джим, пожди! Я иду!

Отец Вилли шагнул в лабиринт.

Впереди дробился и вспыхивал серебряный свет, опускались плиты темноты, сверкали стены, отполированные, отчищенные, промытые миллионами отражений, прикосновениями душ, волнами агоний, самолюбований или страха, без конца бившимися о ровные грани и острые углы.

— Джим!

Чарльз Хэллоуэй побежал. Вилли — за ним.

Гасли огни. Их отражения меняли цвет. То вспыхивала сияющая искра, то сиреневая змейка струилась по зеркалам, отражения мигали, став тысячами свечей, утасающих под ледяным ветром.

Между Чарльзом Хэллоуэем и Джимом встало призрачное войско — легион седовласых, седобородых мужчин с болезненно искаженными ртами.

«Они! Все они — это я!» — думал Чарльз Хэллоуэй.

«Папа! — думал Вилли у него за спиной. — Ну что же ты! Не бойся. Все они — только мой папа!»

Да нет, не все. Вилли решительно не нравился вид этих угрюмых стариков. Посмотрите на их глаза! И так старые отражения дряхлели с каждым шагом, они дико размахивали руками в такт жестам отца, отгонявшего видения в зеркалах.

— Папа! Это же только ты!

Нет. Их там было больше.

И вот погасли все огни. Два человека, большой и маленький, замерли, невольно съежившись, в напряженно дышащей тишине.

Рука шебуршилась, как крот под землей. Рука Вилли потрошила карманы, хватая, определяя, выбрасывая. Он знал, что легионы стариков в темноте двинулись со стен, прыгают, теснят, давят и в конце концов уничтожат отца оружием своей сущности. За эти секунды, что летят, летят и уносятся навсегда, если не поторопиться, может произойти невесть что! Эти воины Будущего наступают, а с ними — все предстоящие тревоги, настоящие, подлинные отражения, с железной логикой доказывающие: да, вот таким станет отец Вилли завтра, таким — послезавтра, и дальше, дальше, дальше... Это стадо затопчет отца! Ищи! Быстро ищи! Ну, у кого карманов больше, чем у волшебника? Конечно, у мальчишки! У кого в карманах больше, чем в мешке у волшебника? Конечно, у мальчишки! Вот он!

Вилли выудил наконец спичечный коробок и зажег спичку.

— Сюда, папа!

«Стой!» — приказала спичка.

Батальоны в древних маскарадных костюмах справа застыли на полушаге, роты слева со скрипом выпрямились, бросая злобующие взгляды на непрошеное пламя, мечтая только о порыве сквозняка, чтобы снова рвануться в атаку под прикрытием тьмы, добраться до этого старого, ну вот же — совсем старого, а вот — еще старше, добраться до этого ужасающе старого старика и убить его же собственной неотвратимой судьбой.

— Нет! — произнес Чарльз Хэллоуэй.

«Нет», — задвигался миллион мертвых губ.

Вилли выставил горящую спичку вперед. Навстречу из зеркал какие-то высохшие полуобезьяны протянули бутоны желтого огня. Каждая грань метала дрожила от света. Они незримо вонзались, всадились в плоть, кололи сердце, душу, рассекали нервы и гнали, гнали дерзкого мальчишку вперед, к гибели.

Старик рухнул на колени, собрание его двойников, поставших на неделю, на месяц, год, пятьдесят, девяносто лет, повторило движение. Зеркала уже не отражали, они высасывали кровь, обгладывали кости и вот-вот готовы были сдуть в ничто прах его скелета, разбросать тончайшим слоем мотыльковую пыль.

— Нет! — Чарльз Хэллоуэй выбил спичку из рук сына.

— Папа!

В обрушившейся тьме со всех сторон двинулась орда старцев.

— Папа! Нам же надо *видеть*!

Вилли зажег вторую, последнюю спичку.

В ее неровном свете он увидел, как отец оседает на пол, закрыв руками лицо. Отражения приседали, приспосабливались, занимали удобное положение, готовясь, как только исчезнет свет, продолжить наступление. Вилли схватил отца за плечо и встряхнул.

— Папа! — закричал он. — Ты не думай, мне и в голову никогда не приходило, что ты — старый! Папа, папочка! — В голосе слышались близкие рыдания. — Я люблю тебя!

Чарльз Хэллоуэй открыл глаза. Перед ним метались по стенам те, кто был похож на него. Он увидел сына и слезы, дрожащие у него на ресницах, и вдруг, заслоня отражения, поплыли образы недавнего прошлого: библиотека, Пыльная Ведьма, его победа, ее поражение, сухо треснул выстрел, загудела взволнованная толпа.

Еще мгновение он смотрел на своих зеркальных обидчиков, на Вилли, а потом... тихий звук сорвался с его губ, звук чуть громче вырвался из горла. И вот он уже обрушился на лабиринт, на все его проклятые времена, свой единственный громогласный ответ. Он широко раскрыл рот и издал ЗВУК. Если бы Ведьма могла ожить, она узнала бы его, узнала и умерла снова.

50

Джим Найтшед с разбегу остановился где-то на карнаваль-ных задворках.

Где-то среди черных шатров сбился с ноги Человек-в-Картинках. Карлик застыл, Скелет обернулся через плечо. Все услышали... нет, не тот звук, который издал Чарльз Хэллоуэй, другой, ужасный и длительный звук заставил замереть всех. Зеркала! Сначала одно, за ним — другое, третье, дальше, дальше, как костяшки стоящего домино, взрывались изнутри сетью трещин, слепли и падали звеня. Целую минуту изображения сворачи-

вались, извивались, перелистывались, как страницы огромной книги, пока не разлетелись метеорным роем.

Человек-в-Картинках вслушивался в стеклянные перезвоны, чувствуя, как сеть трещин покрывает и его глазные яблоки, и они, того и гляди, начнут выпадать осколками. Это Чарльз Хэллоуэй, словно мальчик-хорист, спел на клиросе сатанинской церкви прекрасную, высокую партию мягкого добродушного смеха и тем потряс зеркала до основания, а потом и само стекло заставил разлететься вдребезги. Тысячи зеркал вместе с древними отражениями Чарльза Хэллоуэя кусками льда падали на землю и становились осенней слякотью под ногами. Все это издавал тот самый звук, не удержавшийся в легких пожилого человека. Все это смогло случиться из-за того, что Чарльз Хэллоуэй наконец-то принял и Карнавал, и окрестные холмы, и Джима с Вилли, а прежде всего — самого себя и самую жизнь, а приняв, выразил свое согласие со всем на свете тем самым звуком.

Как только звук разбил зеркальную магию, призраки покинули стеклянные грани. Чарльз Хэллоуэй даже вскрикнул, неожиданно ощутив себя свободным. Он отнял руки от лица. Чистый звездный свет омыл его глаза. Мертвяки-отражения ушли, опали, погребенные простыми осколками стекла под ногами.

— Огни! Огни! — выкрикивал далекий теплый голос.

Человек-в-Картинках метнулся и исчез среди шатров. Последний посетитель давно покинул Карнавал.

— Папа! Что ты делаешь? — Спичка обожгла пальцы Вилли, и он выронил ее. Но теперь и слабого звездного света хватало, чтобы увидеть, как настойчиво разгребает отец горы зеркального мусора, прокладывая дорогу к выходу.

— Джим?

Задняя дверь лабиринта распахнута. Блики далеких фонарей слабо озаряют восковых убийц и висельников, но Джима среди них нет.

— Джим!

Они стояли у раскрытой двери и тщетно всматривались в тени между шатрами. Последний электрический фонарь на карнавальной земле потух.

— Теперь нам никогда не найти его, — проговорил Вилли.

— Найдем, — пообещал отец в темноте.

«Где?» — подумал было Вилли, но тут же насторожился и прислушался. Так и есть! Карусель запыхтела, каллиопа начала пережевывать музыку. «Вот,— мелькнуло в голове Вилли,— если где и искать Джима, так возле карусели. Старина Джим! У него же еще бесплатный билет в кармане. Ну, Джим, ну, проклятый, старый! Не надо!» — остановил он себя, — не проклинай его. Он уже и так проклят или вот-вот схлопочет. Ну как тут найдешь его! Ни спичек, ни фонарей. И нас ведь всего двое против всех этих... да еще на их собственной территории!»

— Как... — начал он, но отец остановил его.

Чарльз Хэллоуэй благоговейно произнес лишь одно слово:

— Там.

Вилли шагнул к посветлевшему дверному проему.

Ура! Господи, луна поднимается над холмами!

— Полиция?..

— Некогда. Тут минуты решают. Нам о троих людях надо думать.

— Да не люди они, а уроды!

— Люди, Вилли. Перво-наперво Джим, потом — Кутер с его «электрическим стулом», ну а третий — мистер Дарк со своим паноптикумом. Спасти первого, прикончить к дьяволу двух других, тогда и остальные уроды дорогу найдут. Ты готов, Вилли?

Вилли огляделся по сторонам, поднял глаза.

— Слава богу, луна!

Крепко взявшись за руки, отец и сын выпли за дверь. На встречу приветственно взметнулся ветер, взвихрил волосы на головах и пошел хлопать парусиной шатров, словно над лугом взлетал огромный воздушный змей.

51

Тени обдавали их запахом аммиака, лунный свет — запахом чистого речного льда.

Впереди силела, стучала и свиристала каллиопа. Вилли никак не мог разобрать, правильную музыку она играет или вывернутую.

— Куда теперь? — прошептал отец.

— Вон туда! — махнул рукой Вилли.

В сотне ярдов позади шатров разорвал темноту каскад синих искр.

«Мистер Электрико! — догадался Вилли. — Они пытаются поджечь его. Хотят притащить на карусель, чтобы уж либо оживить, либо окончательно утробить. А если они и вправду оживят его, вот он расвиореет! И Человек-в-Картинках тоже. И все на нас с папой. Ладно. Джим-то где? И какой он? На чьей стороне? Да на нашей, конечно же! — попытался он уверить себя. Но тут же подумал: — А сколько живет дружба? До каких пор будем мы составлять одно приятное, круглое, теплое целое?»

Вилли взглянул налево. Там, полускрытый полотнищами шатра, стоял и чего-то ждал Карлик.

— Посмотри, папа! — тихонько вскрикнул Вилли. — А вон там — Скелет!

Действительно, напоминая давно засохшее дерево, неподвижно торчал высокий тощий человек.

— Интересно, почему уроды даже не пробуют остановить нас?

— Потому что боятся.

— Кого? Нас?!

Отец Вилли, пригнувшись, словно заправский разведчик, выглядывал из-за угла фургона.

— Им уже прилично досталось. И они прекрасно видели, что стало с Вседьмой. Другого объяснения у меня нет. Посмотри на них.

Уроды мало чем отличались от подпорок шатров. Много их виднелось в разных местах луга. Прячась в тени, все они чего-то ждали. Чего?

Вилли попытался смолотить пересохшим горлом. Может, они не прячутся вовсе, может, просто собрались сматываться? Или драться? Скоро мистер Дарк ка-ак свистнет, а они все ка-ак набросятся... а пока просто время не пришло. Опять же, мистер Дарк занят. Вот освободится и свистнет. Ну и что тогда делать? А почему — тогда? Надо попробовать так сделать, чтобы он вообще не свистнул.

Ноги Вилли умело скользили по траве. Отец крался впереди. Уроды провожали их остекленевшими под лунной глазами.

Голос каллиопы изменился. Теперь он звучал даже мелодично, и звуки печальным ручейком струились между шатров.

«Так! Вперед играет! — отметил про себя Вилли. — А раньше, значит, *назад* играл. Интересно, куда еще расти мистеру Дарку?» И вдруг до него дошло.

— Джим! — заорал Вилли.

— Тихо! — одернул его отец.

Но имя уже было сказано. Оно само рванулось из Вилли, как только он услышал заманчивые, завлекающие звуки. Джим где-то там, поблизости, затаился и гадает, покачиваясь в такт: какое это, стать шестнадцатилетним? А восемнадцатилетним? О, а вот еще лучше — двадцатилетним? Мощный вихрь Времени прикинулся летним ветерком и наигрывает веселенький мотивчик, обещая все-все на свете. Даже Вилли чуть заметно пританцовывает под музыку, вырастающую персиковым деревцем со спелыми плодами.

«Ну уж нет!»

Вилли категорически отверг все соблазны и заставил ноги перейти на другой ритм, шагать под собственный мотив и держать, держать его, горлом, легкими, костями черепа гася гнусные звуки каллиопы.

— Посмотри, — тихо сказал отец.

Впереди между шатрами двигалось дикийнское шествие. В знакомом «электрическом стуле», как султан в паланкине, ехала усохшая ископаемая фигура. Стул равномерно покачивался на плечах пятен темноты разных форм и размеров.

Тихий голос отца вспугнул их. Шествие разом подскочило и бросилось наутек.

— Мистер Электрико! — узнал Вилли. — Это его на карусель тащат! — Маленький парад скрылся за углом шатра. — Вокруг, за ними! — увлекая за собой отца, крикнул Вилли.

Каллиопа расплывалась медовыми сотами звуков. Она выманивала, выгаскивала, притягивала Джима, где бы тот ни скрывался.

А для мистера Электрико музыка, значит, пойдет задом наперед, и карусель завертится наоборот, сдирая старую кожу, возвращая годы.

Вилли шноткнулся и пропахал бы носом землю, не поддержи его отец под локоть. В тот же миг из-за шатров вознесся целый

хор звуков: лай, вой, причитания, плач. Звуки испускали искаленные глотки уродов.

— Джим! Они Джима заполучили!

— Вряд ли, — пробормотал Чарльз Хэллоуэй и добавил непонятно: — Может, это мы их заполучили.

Обогнув очередной шатер, они попали в маленькую пыльную бурю. Вилли зажмурился и зажал нос ладонью. Пыли было много. От нее исходил запах древних пряностей, сторевавших клеповых листьев. В воздухе было синее от пыли.

Чарльз Хэллоуэй чихнул. Какие-то смутно видимые фигуры шарахнулись прочь от предмета странных очертаний, лежащего на подороге между шатрами и каруселью. При ближайшем рассмотрении это оказался опрокинутый «электрический стул» с торчащими во все стороны ремнями, подставками и зажимами.

— А где же мистер Электрико? — растерянно проговорил Вилли. — То есть... мистер Кугер?

— Да вот это он, наверное, и есть, — ответил отец.

— Что — это?

Но ответ действительно был здесь, вокруг Вилли. Он взвизгивался пад дорогой, носился в воздухе осенним ладаном, щекал в носу запахом древнего тимьяна.

«Вот так, — подумал Чарльз Хэллоуэй, — оживить или угробить». Он представляла, как суетились они еще несколько минут назад, волоча древний пыльный мешок с костями на «электрическом стуле» без проводов, как пытались выходить сухую мушкетерскую жизнь в кучке истлевшего праха, хлопьев ржавчины и давно прогоревших утлей. В них не осталось ни единой искры, и никакому ветру не под силу раздуть в этом цепле огонек жизни. Но они пытались, и не единожды, только каждый раз в панике оставляли эту затею, потому что любой толчок грозил превратить древнего Кугера в кучу сопревших опилок. Уж лучше бы оставить его прислоненным к надежной жесткой спинке «электрического стула», оставить чудо-экспонатом для публики, но они должны были попытаться еще раз, когда пала темнота, когда убралось наконец людское стадо, когда всех перепугала убийственная улыбка, и так нужен прежний Кугер — высокий, рыжий, неистовый. Но эта попытка оказа-

лась роковой. С минуту назад последние легчайшие узы распались, последний засов, удерживавший жизнь за дверью тела, отскочил, и тот, кто был Основателем, сбросил последние скрепы и вознесся клубами пыли и вихрем осенних листьев. Мистер Кутер, обмолоченный в последний урожай, затанцевал легчайшим прахом над лугами. Древнее зерно в силосной башне тела взметнулось мучной пылью и исчезло; было — и прошло.

— Нет, нет, нет, нет,— монотонно бормотал кто-то рядом.

Чарльз Хэллоуэй тронул сына за руку. Оказывается, это Вилли бормотал монотонное «нет». Мысли его текли параллельно мыслям отца, он тоже видел все стадии: суету над останками, пыльный фонтан и удобренные травы вокруг... Теперь в дунном свете осталась нелепый перевернутый стул, а уроды, тащившие мистера Кутера на последний костер, разбежались и попрятались в тени.

«Не от нас ли они разбежались? — подумал Вилли.— Что-то ведь заставило их бросить стул. Или — кто-то?»

Кто-то! Вилли вытаращил глаза.

Перед ним, чуть поодаль, пустая карусель, поскрипывая, совершала свой обычный путь через Время. Неторопливо. Вперед.

А между ней и брошенным «электрическим стулом» стоял... уродец? Нет...

— Джим!

Отец ударил сына под локоть, и Вилли заткнулся.

«Или... но это же Джим?! — подумал он.— А где же тогда мистер Дарк? Наверное, где-то неподалеку. Кто еще мог запустить карусель? Кто еще мог притащить сюда всех: и Джима, и нас с отцом?»

Джим отвернулся от перевернутого стула и медленно двинулся дальше, к своему бесплатному аттракциону.

Перед ним лежала его всегдашняя цель. Бывало, он, как флюгер, поворачивался то в одну сторону, то в другую, колебался, завидев новые дали, порывался в каком-нибудь показавшемся симпатичным направлении, но вот сейчас наконец определился окончательно, вытянулся и завибрировал в силовом потоке музыкальных ветров. Он все еще пребывал в полусне. И он не смотрел по сторонам.

— Иди догони его, Вилли,— подтолкнул отец.

Вилли пошел. Джим был уже возле карусели. Поднял правую руку. Медные шесты, как спицы колеса, проплывали мимо, улетали в будущее. Они проникали в тело, подхватывали, тянули, как сироп, захватывали кости и разжеванной тянучкой тащили за собой. Отблеск надраенной меди лег на скулы Джима, стальной блеск мелькнул и остался в глазах. Джим подошел вплотную. Медные спицы постукивали его по ногтям протянутой руки, вызывая какой-то свой мотивчик.

— Джим!

Спицы мелькали мимо, сливаясь в медный рассвет в ночи. Музыка рванулась звонким фонтаном звуков.

— И-и-и-и-и-и!

Джим подхватил музыкальный вопль.

— И-и-и-и-и-и!

— Джим!

Вилли бежал и кричал на бегу.

Джим хлопнул ладонью по шесту, шест вырвался. Но набежала следующая, и ладонь Джима словно припаялась к нему. Сначала — запястье, потом — плечо, и наконец все еще не проснувшееся тело Джима оторвало от земли.

Вилли был уже рядом. Он успел схватить Джима за ногу, но не сумел удержать, и Джим поехал в плачущей ночи по огромному вечному кругу. Не потеряв инерции, Вилли бежал за ним.

— Джим, слезай! Джим, не бросай меня тут!

Центробежная сила отбросила тело Джима, он летел, держась за шест, под каким-то немисимым углом к плоскости круга, откинув в сторону другую руку, маленькую, белую, отдаленную ладонь, не принадлежащую карусели, помнящую старую дружбу.

— Джим, прыгай!

Вилли, как вратарь за мячом, прыгнул за этой рукой... и промахнулся. Он споткнулся, удержался на ногах, но потерял скорость и сразу безнадежно отстал. Джим уехал в свой первый круг один. Вилли остановился, ожидая следующего появления... кого? Кто вернется к нему?

— Джим! Джим!

Джим проснулся! Через полкрута лицо его ожило, теперь им попеременно владели то декабрь, то июль. Он судорожно вце-

пился в шест и ехал, отчаянно поскуливая. Он хотел ехать дальше. Он ни за что не хотел ехать дальше. Он соглашался. Он отказывался. Он страстно желал и дальше купаться в ветровой реке, в блеске металла, в плавной тряске коней, колотящих копытами воздух. Глаза горят, кончик языка прикушен.

— Джим, прыгай! Папа, останови ее!

Чарльз Хэллоуэй взглянул на пульт управления каруселью. До него было футов пятьдесят.

— Джим, слезай, ты мне нужен. Джим, вернись!

Далеко, на другой стороне карусели, Джим сражался со своими руками, с пестами, конями, завывающим ветром, палящей ночью и звездным крутоворотом. Он выпускал пест и тут же хватался за него. А правая рука откинута наружу, просит у Вилли хоть унию силы.

— Джим!

Джим едет по кругу. Там внизу, на темном полустанке, откуда унесся навсегда его поезд, он видит Вилли, Вильяма Хэллоуэя, давнего приятеля, юного друга, и чем дальше уносит его бег карусели, тем моложе будет казаться друг Вилли, тем труднее будет припомнить его черты... Но пока еще — вон он, друг, младший друг, бежит за поездом, догоняет, просит сойти, требует... чего он хочет?

— Джим! Ты помнишь меня?

Вилли отчаянно бросился вперед и достал-таки пальцы Джима, схватил ладонь.

Зябко-белое лицо Джима смотрит вниз. Вилли поймал темп и бежит вровень с внешним крутом карусели. Где же отец? Почему он не выключает ее? Рука у Джима теплая, знакомая, хорошая рука.

— Джим, ну пожалуйста!

Все дальше по кругу. Джим несет его. Вилли волочится следом.

— Пожалуйста!

Вилли попытался остановиться. Тело Джима дернулось. Рука, схваченная Вилли, рука, пойманная Джимом, пропала сквозь июльский жар. Рука Джима, уходящего в старшие времена, жила отдельно, она знала что-то свое, о чем сам Джим мог едва догадываться. Пятнадцатилетняя рука четырнадцатилетнего

подростка. А лицо? Отразится ли на нем один оборот? Чье оно? Пятнадцатилетнего, шестнадцатилетнего юноши?

Вилли тянул к себе. Джим тянул к себе. Вилли упал на край дощатого круга. Оба уезжали в ночь! Теперь весь Вилли, полностью, ехал с другом Джимом.

— Джим! Папа!

«Ну и что? Раз уж не сумел стащить Джима, почему бы не поехать дальше вместе? Остаться вдвоем и пуститься в путь рука об руку». Что-то начало происходить в теле Вилли. В нем поднимались неведомые соки, застилали глаза, отдавались в ушах, покалывали электрическими иголками спину...

Джим закричал. И Вилли закричал тоже.

Их странствие длилось уже полгода, уже полкруга они путешествовали вдвоем, прежде чем Вилли решился, ухватив Джима покрепче, прыгнуть, отмахнуться от многообещающих взрослых лет, сигануть вниз, рвануть за собой Джима. Но Джим не мог отпустить пест, не мог отказаться от своей бесплатной поездки.

— Вилли! — впервые подав голос Джим, раздираемый между другом и кругом, одна рука — здесь, другая — там. Он не понимал, одежду с него сдирают или тело. Глаза у Джима стали ласбастровыми, как у статуи. А карусель неслась! Джим дико вскрикнул, сорвался, слепо перевернулся в воздухе и рухнул на землю.

Чарльз Хэллоуэй дернул рубильник. Пустая карусель останавливалась. Кони притормаживали бег, так и не добравшись до какой-то далекой летней ночи.

Чарльз Хэллоуэй опустился на колени вместе с Вилли возле неподвижного тела Джима, потрогал пульс, приложил ухо к груди. Невидящими глазами Джим уставился на звезды.

— О боже! — закричал Вилли. — Он что, мертвый?

52

— Мертвый?.. — Отец Вилли коснулся лица, груди Джима. — Нет, я не думаю...

Где-то неподалеку тоненький голос позвал на помощь. Они подняли головы. К ним опрометью бежал мальчишка. Он то и

дело оглядывался через плечо, спотыкался о растяжки шатров и задевал плечами билетные будки.

— Помогите! — истошно верещал он. — Помогите, он меня поймает! Я не хочу! Мама! — Малец подбежал и вцепился в Чарльза Хэллоуэй. — Помогите, я потерялся. Возьмите меня домой, а то этот дядька в картинках поймает меня!

— Мистер Дарк! — выдохнула Вилли.

— Ага, он, он! — тараторил мальчишка. — Он за мной бежал.

— Вилли. — Отец встал. — Позаботься о Джиме. Попробуй искусственное дыхание. Ну, пойдем, малыш.

Мальчонка тут же рванулся прочь. Чарльз Хэллоуэй шел за ним и внимательно разглядывал тщедушное тельце, неправильной формы голову и откляченный зад. Они отошли от карусели футов на двадцать, и Чарльз Хэллоуэй спросил:

— Послушай, дружок, как тебя зовут?

— Да некогда же! — истерично выкрикнул мальчишка. — Джед меня зовут. Идем быстрее.

Чарльз Хэллоуэй остановился.

— Послушай-ка, Джед, — сказал он. Теперь мальчишка тоже остановился и нетерпеливо повернулся к нему. — А скажи-ка, сколько тебе лет?

— Девять мне, девять! Пойдем, мы же не успеем!

— Девять лет! — мечтательно повторил Чарльз Хэллоуэй. — Отличная пора, Джед. Я никогда не был таким молодым.

— Чтоб мне провалиться... — начал мальчишка.

— Вполне возможно, — подхватила Чарльз Хэллоуэй и протянул руку. Парнишка отшатнулся. — Похоже, ты боишься только одного человека, Джед. Меня.

— Чегой-то мне вас бояться? Кончайте вы. Почему?..

— Потому, что иногда зло оказывается безоружно перед добром. Потому, что иногда даже наигранные трюки не удаются. Не так-то просто столкнуть человека в яму. И «разделяй и властвуй» сегодня не пройдет, Джед. Куда ты думал отвести меня? В какую-нибудь львиную клетку? Придумал еще какой-нибудь аттракцион вроде зеркал или Ведьмы? А знаешь что, Джед? Давай-ка попросту засучим твой правый рукав, а?

Мальчишка сверкнул глазами и отскочил, но Чарльз Хэллоуэй прыгнул за ним и схватил за шиворот. Вместо того чтобы

возиться с рукавом, он просто сдернул с паренька рубашку через голову.

— Ну вот, Джед, так я и думал, — тихо произнес он.

— Ты... ты...

— Да, да, Джед, я. Но главное — это ты, Джед.

Все тело мальчишки покрывала татуировка. Змеи, скорпионы, прожорливые акулы теснились на груди, обвивали талию, корчились на спине маленького, холодного, дрожащего тела.

— Здорово нарисовано, Джед, — одобрил Чарльз Хэллоуэй.

— Ты!

Мальчишка размахнулся и ударил.

Чарльз Хэллоуэй даже не стал уворачиваться. Он принял удар, а потом сгреб мальчишку и крепко зажал под мышкой. Малец выбилизался, задержался и отчаянно заверещал: «Нет!»

— Теперь только «да», Джед, — приговаривал Чарльз Хэллоуэй, действуя одной правой рукой. Левая его не слушалась. — Зря дергаешься, я тебя не выпущу. Идея была хорошая: сначала разделаться со мной, потом добратсья и до Вилли... А когда явится полиция, ты вроде бы и ни при чем: какой спрос с малыша? Карнавал? А что — Карнавал? Твой он, что ли?

— Ничего ты мне не сделаешь! — завизжал мальчишка.

— Может быть, и нет, но я попробую, — ласково пообещал Чарльз Хэллоуэй, крепче прихватывая своего пленника.

— Караул! Убивают! — заорал и заплакал парень.

— Да что ты, Джед, или мистер Дарк, или как тебя там еще, — укоризненно произнес Чарльз Хэллоуэй. — Я и не думаю тебя убивать. По-моему, это ты собираешься себя прикончить. Ты же не можешь находиться долго рядом с такими людьми, как я. Да еще так близко!

— Отпусти, злодей! — застонал мальчишка, извиваясь в руках мужчины.

— Злодей? — Отец Вилли рассмеялся. Судя по рывкам Джеда, звуки простого смеха доставляли ему не больше удовольствия, чем рой рассерженных пчел. — Злодей, говоришь? — Руки мужчины еще крепче прихватили маленькое тело. — И это ты говоришь, Джед? Уж чья бы корова мычала! Со стороны оно, может, так и выглядит. Злу добро всегда кажется злом. Но я бу-

ду делать только добро. Я буду держать тебя долго, держать и смотреть, что сделает с тобой добро. Я буду делать тебе добро, Джек, мистер Дарк, мистер Хозяин Карнавала, паршивый мальчишка, буду делать до тех пор, пока ты не скажешь мне, что страшно с Джимом. Лучше тебе разбудить его, лучше вернуть его к жизни. Ну!

— Я не могу, не могу... — ломкий голос уходит в тело, как в колодезь, глубже, глуше, — не могу...

— Не хочешь?

— ..не могу.

— О'кей, приятель. Тогда вот так и вот так...

Со стороны их можно было принять за отца с сыном, встретившихся после долгой разлуки. Мужчина поднял раненую руку и потрогал синяк на скуле, оставшийся после удара мальчишки, потрогал и улыбнулся. Толпа картинок на теле мальчика бросилась врассыпную. Глаза маленькой бестии с ужасом впились в раздвинутые улыбкой губы мужчины. Это была та самая улыбка, которая недавно поразила насмерть Пыльную Ведьму.

Мужчина крепко прижимал к себе мальчишку и думал: «У Зла есть только одна сила, та, которой наделяем его мы. От меня ты ничего не получишь. Наоборот, я заберу у тебя все. И тогда тебе останется только погибнуть».

В глазах мальчика метались огни, словно отражения близко горящей спички. Но из глубины поднимался страх, и пламя в глазах тускнело, выцветало, гасло и наконец погасло совсем. И тогда вся толпа, весь конклав чудищ рухнули и придавили маленькое тело к земле.

Наверное, их падение должно было сопровождаться грохотом, как от горного обвала, но на самом деле в воздухе разнесся всего лишь шелест, как будто японский бумажный фонарик уронили в пыль.

53

Чарльз Хэллоуэй долго не мог отдышаться. Трепетные тени заполнили полотняные аллеи. Среди теней угадывались уродливые фигуры. Их так долго вскармливали их собственными грехами и страхами, что теперь и они не сразу смогли прийти в

себя; держась за шесты и веревки, многие постанывали и поскуливали от неуверенности. Скелет решил выбраться из надменной тени поближе к свету. Карлик, еще не догадываясь, а только подозревая о своем прежнем обличье, боком, как краб, подобрался к карусели и теперь таращился на Вилли, склонившегося над Джимом, и его отца, почти в той же позе застывшего в изнеможении над другим детским телом. Тем временем карусель дотянула последний оборот и встала, как паром, уткнувшийся в заросший травой берег.

Карнавал превратился в огромный темный камин. В разных уголках тлели угли настороженных взглядов его обитателей. Все они тянулись к одному месту.

Там лежал под луной разрисованный мальчик по имени Дарк.

Там лежали поверженные драконы, разрушенные башни, сраженные чудовища мрачных древних эр: птеродактили уткнулись в землю, как сбитые самолеты, страшные раки выброшены на берег отливом жизни. Изображения двигались, меняли очертания, дрожали по мере того, как холодела маленькая плоть. Циклопий глаз на пупке подмигивал сам себе, шипастый трицератопс ослеп и встал в буйство, картинки, все вместе и каждая в отдельности, прижившиеся на теле большого мистера Дарка, теперь сошлись и стали напоминать микроскопическую вышивку, этаким расшитым платочек, наброшенный на костяные плечи.

Из темноты выступали новые уроды. Лица их напоминали цветом несвежую постель — арену их поражений в битве за собственные души. Тени медленно перемещались по кругу, образуя хоровод вокруг мистера Хэллоуэя и неподвижного тела на земле.

Вилли размеренно поднимал и опускал руки Джима и совершенно не обращал внимания на собравшихся вокруг зрителей. Они, впрочем, не докучали ему. Казалось, многие из них стояли, полностью поглощенные своим собственным дыхательным процессом. Искривленные рты со всхлипами втягивали ночь, откусывали от нее большие куски и заглатывали, словно долгие годы прожили на голодном пайке.

Чарльз Хэллоуэй следил за метаморфозами картинной галереи, сосредоточенной на небольшом пространстве лежащего у его ног тела. Оно остывало на глазах. Смерть вышибала подпорки из-под крошечных кошмарных композиций, каллиграфические надписи искажались, скрученные жгутами пресмыкающиеся разворачивались поникшими знаменами проигранной войны, и вот они уже бледнеют, растворяются, исчезают, одно за другим покидают маленькое тело.

Уроды вокруг беспокойно зашевелились. Казалось, лунный свет впервые дал им возможность оглядеться. Одни потирали запястья, не понимая, куда делись наручники, другие ощупывали шеи, пытаясь обнаружить привычное ярмо, так долго пригибавшее их к земле. Все недоуменно моргали, не смея поверить увиденному: возле застывшей карусели лежал клубок бед, средоточие их несчастий. Они пока не осмеливались подойти, наклониться, потрогать этот холодный лоб и только взирали в оцепенении, как бледнеют их гротескные портреты, как тает экстракт их жадности, злобы, язвящей вины, слепых убеждений, как распадаются ловушки картинок по мере того, как тает этот невеликий сугробик грязноватого снега. Вот поблек Скелет, за ним потекло и испарилось изображение уродливого Карлика, вот и Пьющий Лаву освободился от осенней плоти, а за ним меняется цвет Черного Паляча из Лондонских Доков, взлетел и растворился Человек-Монгольфьер, похудел и стал невидимкой Толстяк, вспорхнула и исчезла в воздухе целая группа, а смерть все протираала и протираала дочиства грифельную доску тела.

И вот уже перед Чарльзом Хэллоуэем лежал просто маленький мертвый человек: чистая, без единого пятнышка, кожа, пустые глаза, устремленные на звезды.

— Ах-ххх! — хором вздохнули странные люди, столпившиеся в тени вокруг.

А потом... Может, старая каллиопа вякнула в последний раз, может, гром, ночующий в облаках, повернулся во сне на другой бок — все вокруг пришло в движение. Уродов охватила паника. Свобода бросила их в разные стороны, как камни из пращи. Не стало своего шатра, не стало грозного хозяина, не стало самого темного закона, сбивавшего их в кучу. Они разбегались.

Должно быть, на бегу они цеплялись за веревки и выдергивали кольца растяжек, и теперь само небо, колыхнувшись, начало беспорядочно свертывать и комкать вздыхающие шатры. Веревки взвивались с шипением, гневно хлестали по траве. Как темный испанский веер, сложился шатер-зверинец. Вокруг качались и падали шатры поменьше. Обнажился и зашатался бронтозаврий костяк главного балагана уродов. Мгновение он померещился в нерешительности, плавно взмахнул кожистыми, как у птеродактиля, крыльями, и Ниагарой хлынул вниз. Три сотни пыльных змей взвились в воздух. Черные шесты с треском подломнились. Они стали выпадать, как гнилые зубы из огромной челюсти; пыльные полотнища хлопотливо забились, пытаясь вылететь и опадая, умирая от самой обычной силы тяжести, задыхаясь под собственным весом.

Огромный вздох исторг наружу жаркие испарения чужих кумель, взметнул в воздух тучи конфетти из тех времен, когда еще не было венецианских каналов, над лугом огромными питопами зазмеились густые струи леденцовых запахов. Балаган падал, тоскуя и жалуясь; натиск падения одолел наконец три центральные опоры, и они сломались, как будто три пушки выжили одна за другой.

Шквад, пронесшийся над лугом, заставил вскипеть безумную каллиопу. Под ее пронзительное силение всплеснули рукави изображения уродов на вымпелах и знаменах, потом древки качнулись и уронили полотнища на земаю.

Возле карусели остался стоять лишь Скелет. Вот он сложился пополам, нагнулся и поднял фарфоровое тело, бывшее некогда мистером Дарком. Выпрямился, постоял и зашагал прочь, в поля. Вилли смотрел, как толстый человек со своим грузом поднялся на взгорок и скрылся вослед стинувшему карнавальному пламени.

Вилли нахмурился. Кугер, Дарк, Скелет, Карлик — куда же вы все? Не убегайте, вернитесь! Мисс Фолей, где вы? Мистер Крокетти, все кончилось, можно передохнуть. Здесь уже не страшно, вернитесь!

Нет. Они бегут и, видно, будут бежать вечно, пытаясь обогнать самих себя. И ветер ворошит траву, сдувая все следы.

Вилли снова повернулся к Джиму, снова давил ему на грудь, давил и отпускал, давил и отпускал, потом, дрожа, коснулся щеки Друга.

— Джим?

Но Джим оставался холоден, как вскопанная земля.

54

Только отголосок тепла хранило тело, только легкий оттенок цвета оживлял кожу щек. Вилли взял Джима за руку — пульса не было, приложил ухо к груди — тихо, совсем тихо.

— Он умер!

Чарльз Хэллоуэй подошел, опустился на колени и тоже потрогал неподвижную грудь Джима.

— Кажется, нет,— неуверенно произнес он.— Не совсем...

— Совсем!

Слезы хлынули из глаз Вилли. Отец не дал начаться истерике и как следует встряхнул сына.

— Прекрати! — крикнул он.— Хочешь его спасти?

— Поздно, папа. Ой, папа!

— Заткнись и слушай!

Долго сдерживаемые рыдания прорвались наружу. Отец коротко размахнулся и ударил сына по щеке, раз и еще раз. После третьего раза слезы удалось на время остановить.

— Пойми, Вилли,— отец свирепо ткнул в него пальцем,— всем этим проклятым даркам твои слезы — бальзам на дупу. Господи Иисусе, чем больше ты реवेशь, тем больше соли слезнут они с твоего подбородка. Ну, рыдай, а они будут сосать твои охи и ахи, как коты валерьянку. Вставай! Встань, кому говорю! Прыгай! Скачи, вопи, ори, пой, Вилли, а главное — смейся! Ты должен хохотать, должен, и все!

— Я не могу!

— Кому нужно твое «не могу»? Ты должен. Больше у нас нет ничего. Я знаю, так уже было в библиотеке. Ведьма удрала. Боже мой, ты бы видел, как она улепетывала! Я убил ее улыбкой, понимаешь, Вилли, одной-единственной улыбкой. Людям осени не выстоять против нее. В улыбке — солнце, оно ненавистно им. Не воспринимай их всерьез, Вилли!

— Но...

— Никаких «но», черт возьми! Ты видел зеркала. Вспомни, они показали меня дряхлой развалиной, показали, как я обращаюсь в труху. Это же простой шантаж. То же самое они сделали с мисс Фолей, и у них получилось. Она ушла с ними в *никуда*, ушла с этими дураками, восхотевшими всего! Всего! Бедные проклятые дураки! Это же надо придумать — порезаться об *ничто*. Ну, чисто дурной пес, бросающий кость ради отражения кости в пруду. Вилли, ты же видел: бам! бам! Ни одного зеркала не осталось. Они рассыпались, как льдины на солнце. У меня ничего не было: ни ножа, ни ружья, даже рогатки не нашлось, только язык, только зубы, только легкие, и я разнес эти паршивые зеркала одним презрением! Бросил на землю десять миллионов испуганных дураков, дал возможность *настоящему* человеку встать на ноги. Теперь поднимайся ты, Вилли!

— Но Джим...— начал Вилли.

— Он и здесь и там. С Джимом всегда так, ты же знаешь. Он не мог пропустить ни одного искушения и вот теперь зашел слишком далеко, может, совсем ушел. Но ты же помнишь, он боролся, он же руку тянул, хотел спрыгнуть. Ну так мы закончим за него. Вперед!

Вилли шевельнулся. Дернул плечом.

— Беги!

Вилли шмыгнул носом. Отец шлепнул его по щеке, и слезы разлетелись мелкими звездочками.

— Прыгай! Скачи! Ори!

Отец подтолкнул Вилли, сделал пируэт, лихорадочно пошарил в карманах и достал что-то блестящее. Губная гармошка! Дунул.

Вилли остановился, опустил руки и устоялся на Джима. И тут же схлопотал от отца по уху.

— Хватит нялиться! Двигай!

Вилли сделал шагжок. Отец выдул из гармошки смешной аккорд, дернул Вилли за локоть, подбросил его руки.

— Пой!

— Что петь?

— Боже мой, мальчик, пой хоть что-нибудь!

Гармошка фальшиво изобразила «Вниз по реке».

— Папа! — Вилли едва двинулся и мотал головой от свинцовой усталости во всем теле. — Папа! Гаупо же!

— Точно! Куда уж гаупей! Нам только этого и надо, дурачина-простофиля! И гармошка дурацкая. И мотивчик тоже, я тебе скажу.

Отец выкрикивал и подскакивал, как танцующий журавль. Нет, этого пока мало. Но, кажется, он уже переломил настрой.

— Давай, Вилли! Чем громче, тем смешнее. Ишь чего захотели — слезы лакать! Не вздумай дать им ухватиться за твой плач, они из него себе улыбок нашьют. Будь я проклят, если смерти удастся пощеголять в моей печали! Ну же, Вилли, оставь их голодными. Отпусти на волю свои руки-ноги. Луи!

Он схватил Вилли за хохол на макушке и дернул.

— Ничего... смешного...

— Наоборот. Все смешно. Ты только на себя погляди! А я?

Чарльз Хэллоуэй корчил жуткие рожи, таранил глаза, тянул себя за уши, скакал, как влюбленный шимпанзе, из вальса срывался в чечетку, выла на луну и тормозила, тормозила Вилли.

— А смешнее смерти вообще ничего нет, разрази ее гром! Видали мы ее в белых тапочках. А ну, давай «Вниз по реке». Как там? «Трам-пам, далеко!» Ну, Вилли, и голосок у тебя! Прямо отоглавшее девчоночье сопрано. Жаворонок накрылся медным тазом и чирикает. Давай скачи!

Вилли хихикнул, прошелся петушком, присел пару раз. К щекам прилила кровь. В горле что-то дергалось, как будто лимон насася. Он уже ощущал, как грудь распирает предчувствие смеха.

Отец извлек из гармошки какое-то подобие мотива.

— «Там, где все старики...» — затянул Вилли.

— «Остаются навсегда...» — подхватил отец.

Шарк, стук, прыг, скок.

Ну и где Джим? Да не до него сейчас. Забыли. Отец пощекотал Вилли под ребрами.

— «Там девичьи молодые...»

— «Будут петь “ду-да-да”!» — грянул Вилли. — «Ду-да-да», — поймал он мотив.

В горле щекотало. В груди надувался шар.

— «А проселочек у речки...»

— «Миль пяти в длину всего!»

Мужчина с мальчиком изобразили менуэт.

Это случилось на следующем танцевальном коленце. Шар внутри у Вилли стремительно разрастался. Вот он уже выпирает из горла, вот раздвинул губы в улыбке.

— Ты чего это? — Отец лязгнул зубами.

Вилли фыркнул.

— Кажись, не в той тональности спел, — сконфуженно произнес отец.

Шар в груди Вилли взорвался. Он захохотал.

— Папа!

Он подпрыгнул. Схватил отца за руку и забегал по кругу, крикая и кудахча. Ладони били по коленям, пыль летела столбом.

— «Сюзанна!»

— «Ты не плачь обо мне!»

— «Я пришел из Алабамы...»

— «И банджо мое...»

— «При мне!» — хором выкрикнули они.

Гармошка хрюкнула и выдала истошный фальшивый визг. Чарльз Хэллоуэй, не обращая на это внимания, требовал от нее какую-то плясовую собственного изобретения, изгибался, подпрыгивал и никак не попадал ладонью по своей пятке.

Они кружились, сталкивались, бодались и дышали все запахнее: ха! ха!

— О боже мой, ха! Вилли, сил нет! Ха-ха!

Они хохотали как безумные, и вдруг посреди хохота кто-то чихнул. Отец и сын повернулись. Вгляделись.

Кто это там лежит в лунном свете? Джим, что ли? Найтшед? Это он чихает? И щеки порозовели?

Да ладно! Отец сгреб и закружил Вилли, попискивая гармошкой. Они прошлись в дикой самбе раз, другой, перепрыгнули через Джима, попавшегося на дороге.

— «Кто-то там на кухне с Диной?» — горланили они.

— «Я-то знаю, что за гусь!»

Джим провел языком по губам. Никто этого даже не заметил. А если и заметил, то не подал виду. Джим открыл глаза.

Первое, что он увидел, были два идиота, скакавшие в пыли. Джим помотал головой: не может быть. Он шел через годы, вернулся бог весть откуда, а ему даже «эй!» никто не сказал. Дергаются как припадочные. Обидные слезы защипали глаза, но еще прежде слез из горла проскользнул смешок, за ним — другой. Джим расхохотался. Нет, ну они точно ополоумели, этот Вилли со своим стариком. Скачут как гориллы, пыль столбом, и морды у обоих при этом загадочные. Они вились вокруг Джима, хлопали себя по коленкам и с оттопыренными ушами трясли над ним головами. И они смеялись. Все время смеялись. Волны их веселья омывали Джима с головы до ног, и казалось, смех не иссякнет, даже если рухнут небеса или разверзнется земля.

Глядя на друга, Вилли скакал как сумасшедший и с восторгом думал: «Он не помнит! Не помнит, что был мертвый, а мы не скажем ему, никогда-никогда не скажем! Ду-да-да! Ду-да-да!»

Ни Вилли, ни отец не крикнули: «Привет, Джим! Давай с нами!», — нет, они просто протянули руки, словно он случайно, ну например споткнувшись, выпал из их круга, и дернули его обратно. И Джим взлетел. А когда опустился на землю среди них, то уже плясал с ними вместе.

Теперь, крепко сжимая горячую руку Джима, Вилли точно знал: они дурачились не зря. Это их вопли, прыжки и нелепые рожки вливали в Джима живую кровь. Они приняли его, как повитуха принимает новорожденного, встряхнули, похлопали по спинке, и Джим задышал.

Отец пригнулся, Вилли с ходу перемахнул через него и тут же пригнулся сам. Чехарда сразу пошла замечательно, в хорошем темпе, и вот уже Вилли и отец стоят, пригнувшись друг за другом, и ждут прыжка Джима. Джим прыгнул раз, другой... но одолел только половину спины Чарльза Хэллоуэя, и они всей кучей, с совиным уханьем и ослиным гоготом, покатались в траву. Все трое чувствовали себя словно в Первый День Творения, когда Радость еще не покинула Сад Господень.

Охая, они уселись на траве, похлопывая друг друга по плечам, разобрались с ногами — где чьи? — и обменялись счастливыми взглядами, немножко пьяные от пережитого веселья.

А потом, насмотревшись на соседа, наулыбавшись, посмотрели на луг.

Поверх слоновых могил рухнувших шатров лежали перекрещенные шесты. Ветер шевелил складки, как лепестки огромной черной розы.

Мир вокруг спал, и только они, троица уличных котов, дольно жмурились на луну.

— Что это было? — сильным от недавнего смеха голосом выговорил наконец Джим.

— Э-э, чего только не было! — воскликнул Чарльз Хэллоуэй.

Все трое снова рассмеялись, но вдруг Вилли схватил Джима за руку и заплакал.

— Эй,— тихонько сказал Джим и снова повторил нежно: — Эй, ну...

— Джим, ох, Джим,— уже не сдерживался Вилли,— Джим, мы с тобой всю жизнь друзьями будем...

— Это уж точно,— тихо и серьезно подтвердил Джим.

— Ладно, все в порядке,— сказал Чарльз Хэллоуэй.— Теперь можно и поплакать. Из лесу выбрались, это главное. Дома еще посмеемся.

Вилли отпустил Джима и теперь стоял, с гордостью глядя на отца.

— Ой, папа, ты же такое сделал!

— Не я один. Мы вместе сделали.

— Без тебя бы ничего не вышло. Значит, я просто не знал тебя, но зато теперь-то уж точно знаю.

— Ну да?

— Ей-богу!

Каждому из них казалось, что голову другого окружает влажное, мерцающее сияние.

— Годится! — согласился отец и протянул руку.

Вилли схватил ее и потряс. Получилось смешно, и недавние слезы как-то сами собой высохли. Теперь они смотрели на следы, уходящие по росе в холмы.

— Папа, они вернутся? Как ты думаешь?

— И да, и нет.— Отец убрал в карман губную гармошку.— Они не вернутся. Будут другие, похожие. Не обязательно Кар-

навал, одному богу известно, под какой личиной они явятся в следующий раз. Может, уже на восходе, может, ближе к полудню или в крайнем случае на закате, но они придут.

— Нет! — невольно воскликнула Вилли.

— Да, сынок. Теперь уж всю жизнь придется быть начеку. Все только начинается.

Они неторопливо обогнули карусель.

— А как же мы их узнаем? — допытывался Вилли. — На кого они будут похожи?

— Может быть, они уже здесь, — тихо ответил отец.

Оба друга быстро огляделись. Но поблизости была только карусель да они сами. Тогда Вилли поднес руки к лицу и внимательно осмотрел их, перевел взгляд на Джима и снова — на отца.

Чарльз Хэллоуэй кивнул. Только один раз. Потом взялся за медный шест и легко вскочил на карусель. Вилли встал рядом с ним. И Джим тоже.

Джим потрепал гриву черного жеребца, Вилли погладил коня по шее. Огромный круг плавно накренился на волнах ночи.

«Только три кружочка вперед, — подумал Вилли. — Ну, поехали!»

«Четыре круга вперед, приятель, — подумал Джим. — Поживее!»

«Всего десять кругов назад, — подумал Чарльз Хэллоуэй. — Господи!»

Каждый из них по глазам понял мысли другого.

«Неужели так легко?» — подумал Вилли.

«Всего-то разочек», — подумал Джим.

«Только начини, — думал Чарльз Хэллоуэй, — и уже не остановишься. Еще круг, и еще один. А после начнешь друзьям предлагать прокатиться, и другим тоже...»

Все трое одновременно вздрогнули от одной и той же мысли: «...и вот ты уже катаешь хозяина карусели... и уродов, владельца маленького кусочка вечности в темном бродячем цирке...»

«Да, — сказали они глазами, — может быть, они уже здесь».

Чарльз Хэллоуэй покопался в инструментальном ящике и вытянул небольшую кувалду. Тщательно примерившись, он разбил основные шестерни, потом вместе с ребятами обошел ка-

русель и поработал над распределительным щитом, пока он не разлетелся вдребезги.

— Может, и ни к чему, — задумчиво проговорил он. — Уродов нет, а без них, без их энергии она и работать не будет, но все-таки...

И он еще раз трахнул кувалдой в центр механизма, после чего отшвырнул ее прочь.

— Должно быть, за полночь уже.

Часы на здании мэрии, часы на баптистской церкви, часы на католических церквях дружно пробили полночь. Ветер принес облачко семян Времени.

— Кто последний до семафора, тот — старая тетка!

Мальчишки рванулись, как пули из пистолета.

Лишь мгновение помедлил старик. Смутная боль шевельнулась в груди. «Ну и что будет, если я побегу? — думал он. — Умру? Эка важность! А вот то, что *перед* смертью, — это важно по-настоящему. Мы славно поработали сегодня, такую работу даже смерть не испортит. Ребята вон как дунули... почему бы и мне... не последовать?»

Так он и сделал.

Господи! Как здорово испарывать росное одеяло на потемневшей траве. Мальчишки неслись, как пони в упряжке. Может, когда-нибудь придет такое время, что кто-то добежит до цели первым, а кто-то — вторым, а то и вовсе не добежит. Когда-нибудь... только не сейчас. Эта первая минута нового дня не годилась для такого. На бегу не было времени разглядывать лица — кто старше, кто моложе. Это был уже другой, новый день октября, и в этом году он оказался куда лучше прочих, хотя час назад и мысли такой ни у кого не возникло бы. Луна в компании со звездами в великом кружении уходила к неизбежному рассвету. Потом она исчезнет, и от слез этой ночи не останется ни следа. Вилли бежал, смеялся и пел, Джим деловито проводил пресс-конференцию сам с собой, и так они мчались к городу по стерне, и город, где им еще сколько-то лет жить напротив друг друга, надвигался все быстрее.

А сзади трусил пожилой мужчина со своими то добродушными, то печальными мыслями.

Наверное, мальчишки невольно притормаживали, а может, наоборот, Чарльз Хэллоуэй нагнал. Ни они, ни он не могли бы сказать, как оно было на самом деле. Но главное не в этом. Главное, мужчила был у семафора одновременно с ребятами.

Вилли хлопнул ладонью по столбу, и Джим хлопнул ладонью по столбу, но в тот же самый момент и по тому же самому столбу семафора хлопнула рука Чарльза Хэллоуэя.

Тройной победный клич зазвенел на ветру.

Чуть позже, под бдительным присмотром луны, трое оставили позади дуга и вошли в город.



С любовью — МАДАМ МАНЬЯ ГАРРО-ДОМБАЛЬ, которую я встретил двадцать семь лет назад на кладбище в полночь на острове Жаниццо, что на озере Раццуаро, в Мексике, и которую я вспоминаю каждый год в День мертвых



анун Всех святых.

Тише-тише!.. Тихо, неслышно. Скользите, крадитесь.

А зачем? Почему? Чего ради? Как! Когда? Кто! Где началось, откуда все пошло?

— Так вы не знаете? А? — спрашивает Череп-Да-Кости Смерч, восставая из кучи сухой листвы под Праздничным деревом. — Значит, вы совсем ничего не знаете?

— Ну-у... — отвечает Том-Скелет, — это... не-а.

Было ли это в Древнем Египте, четыре тысячи лет назад, в годовщину великой гибели солнца?

Или — еще за миллион лет до того, у горящего в ночи костра пещерного человека?

Или — в Британии друидов, под ссссссвистящущие взмахи косы Самайна?

Или — в колдовской стае, мчась под средневековой Европой — рой за роем, ведьмы, кодауны, кодауньи, дьявольские отродья, нечистая сила?

Или — высоко в небе над спящим Парижем, где диковинные твари превращались в камень и оседали горгульями и химерами на соборе Парижской Богоматери?

Или — в Мексике, на светящихся тысячами свечей кладбищах, полных народу и крохотных сахарных человечков в El Dia Los Muertos — День мертвых?

А может, где-то еще?

Тысячи огненных тыквенных улыбок и вдвое больше тысяч только что прорезанных глаз — они горят, подмигивают, моргают, когда сам Смерч ведет за собой восьмерку охотников за сладостями — нет, вообще-то их девять, только куда девался Пифкин? — ведет их за собой то в вихре взметенной листвы, то в полете за воздушным змеем, выше в небо, на ведьмином помеле — чтобы выведать и поведать тайну Праздничного дерева, тайну Кануна Всех святых.

И они ее уздают.

— Ну-с,— скажет Смерч в конце странствий,— что это было? Сласти или страсти-мордасти?

— Все вместе! — решили мальчишки.

Сами увидите.



1

то был маленький городок на маленькой речке возле мелкого озера в дальнем уголке одного из штатов Среднего Запада. Не так уж много было кругом деревьев, чтобы городок совсем было не видеть. Зато и домов было не так уж много, чтобы за ними не было видно леса. В городке было полно деревьев. И вдоволь сухой травы и опавшей листвы — ведь на дворе уже стояла осень. И вдоволь заборов, по которым так здорово бегать, и дорожек, чтобы раскатываться по льду, а еще — громадный опраг, чтобы кубарем скатываться вниз или перекликаться с кем-то на то-о-ом берегу. И в городке было полным-полно...

Мальчишек.

И это было под вечер, накануне Дня всех святых.

В домах все двери крепко затворены от сквозняков.

И весь городок залит до краешка нетрекущим солнцем.

Но даруг — дня как не бывало.

Откуда ни возьмись выползли из-под каждого дерева ночные тени и все заполонили.

Во всех домах за закрытыми дверями поднялась кутерьма, беготня на носочках, мышинные шорохи, крики шепотом, замелькали летучие огоньки.

За одной такой дверью тринадцатилетний Том Скелтон остановился и прислушался.

Снаружи ветер гнезился в каждом дереве, подкрадывался по всем дорожкам сразу, незримый, как кошка-невидимка.

Тома Скеалтона пробрала дрожь. Всякому ясно, что ветер нынче совсем особенный и темнота необыкновенная — потому что настает Капун Всех святых. Кажется, что все вокруг вырезано из мягкого черного бархата или из золотого, из оранжевого бархата. Дымок поднимается из тысяч труб клубами — точь-в-точь как пламя на упряжке в похоронной процессии. Из кухонных окон сочится двойной аромат, хорошо различимый: вот свежие тыквы, только что взрезанные, сочные, а вот пироги с тыквенной мякотью.

Крики за закрытыми дверями становились все отчаянней, а тени мальчишек металась за окнами. Еще не натянув до конца свои костюмы, размазывая по щекам жирную краску: вон там горбун, а вон — великан-недомерок. Все еще продолжался штурм и грабеж чердаков, замки сбивали, а древние бабушкины сундуки потрошили в поисках маскарадных нарядов.

Том Скеалтон облачился в свой костяной доспех.

Он улыбался во весь рот, прилаживая позвоночник, грудную клетку, коленные чашечки — белые, напичканные на черный бархат.

«Вот повезло-то! — подумал он. — Удачное имя тебе досталось! Том Скеалтон! Прямо к празднику! Тебя ведь все дразнят Скеалетом! Значит, что тебе лучше всего надеть?»

Костюм Скеалета!

Бам! Восемь входных дверей с грохотом захлопнулись.

Восемь мальчишек разом великолепными прыжками преодолели цветочные бордюры, перила, живые изгороди, кусты — и приземлились каждый на своем накрахмаленном морозце газоне. На всем скаку, на бегу они заворачивались в простыню или поправляли наспех нацепленную маску, натягивали диковинные, как шляпки невиданных грибов, шляпы или парики, орали во все горло вместе с ветром, толкавшим в спину, так что они неслись еще быстрее, во всю прыть, — какой славный ветер, ах ты! — выругав страшным мальчишечьим проклятием маску за то, что она съехала, или зацепилась за ухо, или закрыла нос, сразу наполнившись запахом марли и клея, горячим, как собачье дыхание. А может, просто дать волю бьющему через край восторгу — просто быть живым, бежать куда-то в этот вечер, набирая полную грудь воздуха и во все горло вопя, вопя... вопя-а-а-а!

Все восемь мальчишек столкнулись на одном перекрестке.

— А вот и я: Ведьма!

— Обезьяночеловек!

— Скелет! — сказал Том, едва не выпрыгивая от радости из своих костей.

— Горгулья!

— Нищий!

— Сам мистер Смерть!*

Блям! Они столкнулись и отлетели как мячики, никак не могли сразу распутаться, разобраться в веселой неразберихе рук и ног, под уличным фонарем. Фонарь на перекрестке раскачивался под ветром, гудя, как соборный колокол. Плиты уличного тротуара превратились в доски пьяного корабля, уходящего из-под ног, то поглощаемые тьмой, то выныривающие на свет.

Каждая маска скрывала мальчишку.

— Ты кто? — ткнул пальцем Том Скеалтон.

— Не скажу! Тайна! — крикнула Ведьма петушиным голосом.

Все покатались со смеху.

— А это кто?

— Мумия! — крикнула мальчишка, запеленутый в пожелтевшие от старости тряпки и похожий на сигару, ковыляющую на одном кончике по ночной улице.

— А ты?

— Да некогда же! — завопил Некто Скрытый за Тайнственным Облачением из Расписанной Марли. — Сласти или страсти-мордасти!

— Урра-а!

С воем, визгом, воплями они неслись, как счастливые бесения, куда угодно, только не по дорожкам, перелетая через кусты и приземляясь почти на спину перепутанным собакам, которые улепетывали с визгом.

Но вдруг они словно натолкнулись на что-то среди всего этого визга, хохота, лая, на полном скаку — словно гигантская ладонь ночи и ветра — предчувствия беды — накрыла их и остановила.

* В английском языке «смерть» — мужского рода.

- Шесть, семь, восемь...
- Не может быть! Считай снова!
- Четыре, пять, шесть...
- Нас должно быть девять! Кого-то нет!

Они припихивались друг к другу, как перепутанные зверята.

— Где Пифкин?

Как они догадались? Ведь все они скрывались за масками. И все же... и все же.

Они почуяли, что его с ними нет.

— Пифкин! Да он же тысячу лет не пропускал Канун! Вот ужас-то! Бежим!

Круто развернувшись, они побескали собачьей побезкой, рысцой, вдоль по мощенной камнем улице, словно листья, гонимые ураганом.

— Вот его дом!

Они встали как вкопанные. Дом-то и вправду Пифкина, только вот не хватает в окнах тыквенных голов, на крыльце — кукурузных снопов, маловато призраков, глазющих сквозь темные стекла в самой высокой мансарде.

— Ой, — сказал кто-то, — а вдруг Пифкин заболел?

— Без Пифкина праздник — не праздник!

— Не праздник! — простонали все.

Тут кто-то бросил дикое яблочко в дверь дома. Оно тукнуло еле слышно — будто кролик лягнул дверь лапкой.

Они стояли и ждали, невесть от чего погрузневшие, как в воду опущенные. Все их мысли были о Пифкине и о празднике, который может превратиться в гнилую тыкву с погасшей свечкой внутри, если только... если Пифкин не выйдет.

Где же ты, Пифкин? Выходи! Спасай наш Праздник!

2

Почему они ждали, с какой стати их так перепугало отсутствие какого-то маленького мальчишки?

А потому что...

Джо Пифкин был самый замечательный мальчишка на всем свете. Самый мировой парень из всех, кто хоть раз сверзился с

дерева или чуть не лошнул со смеху. Самый лучший друг из всех, кто мчался по бетовой дорожке, оставляя всех бегущих на мило позади, а потом, оглянувшись, вдруг спотыкался и шлепался на землю, поджидая, пока они с ним поравняются, и вместе, голова в голову, рвал грудью финишную ленточку. Самый славный выдумщик из всех: уж он всегда разведает все дома с привидениями в городе — а их ох как трудно вынюхать! — и всегда позовет ребят пошарить по подвалам, всласть полазать по обвитым папином кирпичным стенам, покричать в жерла труб и пустить тугие струйки прямо с крыши — накричипсья, навопипсья, напаяшешсья, как обезьяна, до упаду... В тот день, когда Джо Пифкин появился на свет, все бутылки с пепси-колой и пипучим лимонадом во всем мире выпилили пробки и салютовали пенным залпом, а спятившие от радости пчелы роями носились по полям и лесам и всюю жалили почтенных старых дев. Но каждый его день рождения озеро в разгаре лета уходило от берегов и набегало обратной волной, полной мальчишек, которая взмывала вверх, подбрасывая ребятню, и расшибалась в визге и хохоте.

На рассвете, бывало, лежа в постели, слышишь, как птица стучится в окно. Пифкин.

Высовываешься из окна глотнуть прозрачного, как с горного ледника, рассветного воздуха летнего утра.

На газоне, посеребренном росой, кружево кроличьих следов даст тебе знать, что всего мгновение назад не десятков кроликов, а один-единственный кролик выпясывал здесь и выделявал коленца, выписывал кренделя и закладывал виражи от простой, немыслимой радости жить, в восторге скакал через изгороди, сшибал перья папоротника, топал по каеверу. Сеть следов напоминала переплетение рельсов на сортировочной станции. Миллион путей и дорожек в траве, но никого не видать. Где...

Пифкин?

Да вот же он, выглядывает, как дикий подсолнух в саду. Его славное круглое лицо светится, встречая солнце. А глаза сверкают, сигнали, как зеркала по азбуке морзе:

— Торопись! Вот-вот все кончится!

— Что?

— Этот день! Сия минута! Уже шесть утра! Нырй сюда! Окунись с головой!

Или:

— Да лето же! Не успеешь оглянуться — бах! — и ушло! Давай быстрее!

И он окунался обратно в подсолнухи, чтобы вынырнуть уже в луковицах, сплюшкаком.

Пифкин, милый ты наш Пифкин, самый настоящий, самый лучший из всех мальчишек.

Прямо непостижимо было, как он ухитрялся так быстро бегать. Его старые кроссовки едва держались. Когда-то белые, они набрались зелени в лесах, которые пришлось пробежать, побуре́ли от прошлогодних осенних пробегов по сжатым полям в сентябре, а смоляные пестринки и разводы усеяли их после рейдов по причалам и пристаням, где разгружались баржи с углем, желтыми пятнами их украсили беззаботные собаки, и еще были они утыканы щепками и занозами от множества заборов и пастней. Одежда у него была под стать вороньему пугалу, ведь ее по ночам таскали друзья Пифкина — собаки, он им давал поносить, пофорсить — ясно, что все обшлага были изжваны, а брюки в ныли и протерты на коленках.

А волосы? У него на голове шапкой стояли, щетинясь, как иголы у ежика, топорщась во все стороны, пестрые — каштаново-золотистые — вихры. Уши — чистый персиковый пушок. А руки — на них были словно перчатки из пыли и славного запаха псины, мятных леденцов и ворованных где-то за тридевять земель персиков.

Пифкин. Сгусток скоростей, запахов, фактур, таких разных на ощупь; копия и прообраз всех мальчишек, которые когда-либо мчались во всю прыть, падали, вскакивали и неслись дальше.

За все годы никто и никогда не видел его сидящим на месте. Невозможно было вспомнить, чтобы он просидел в школе, на своем месте, хотя бы час. Он последним прибегал в школу и первым вылетал из дверей, как ракета, под звон последнего звонка.

Пифкин, славный мальч Пифкин.

Он умел издавать такие залиvistые вопли, наяривал на губной гармошке и ненавидел девочек больше, чем все ребята в его уличной команде, вместе взятые.

Это Пифкин, обняв тебя за плечи, нашептывал тебе в ухо про великие дела, ждущие вас в этот день, был твоей опорой и защитой от всего мира.

Пифкин...

Сам Бог старался встать пораньше, только бы увидеть, как Пифкин выскакивает из своего дома, будто апостол на башенных часах. А уж погода всегда стояла отличная везде, где был Пифкин.

Пифкин.

Они толпились перед его домом.

Вот-вот дверь одним махом распахнется.

Пифкин вылетит пулей в россыпи искр и клубах дыма.

И тогда праздник начнется вразравду!

«Выходи, Джо, эй, Пифкин, — шептали они. — Давай выходи!»

3

Дверь дома отворилась.

Пифкин вышел на крыльцо.

Не вылетел. Не выскочил. Не вырвался, как из пушки.

Вышел.

И пошел по дорожке навстречу друзьям.

Шагом. И без всякой маски! Без маски!

Он шел медленно, будто старик какой-то.

— Пифкин! — заорали они хором, стараясь спутнуть свой испуг.

— Привет, ребята, — сказал Пифкин.

Он был совсем бледный. Пытался улыбнуться, но глаза у него были какие-то странные. Одну руку он прижимал к правому боку, как будто у него там нарывает.

Они все уставились на его руку. Тогда он отнял руку от правого бока.

— Ну что,— сказал он каким-то тусклым голосом.— Готовы в поход?

— Мы-то готовы, а вот ты как? — сказал Том.— Забодел?

— Под праздник? — сказал Пифкин.— Шутить?

— А где твой костюм?

— Вы идите, я вас догоню.

— Нет, Пифкин, мы лучше подождем, пока ты...

— Ступайте,— еле вымолвил Пифкин, бледный как смерть. Руку он снова прижал к боку.

— У тебя что, живот болит? — спросил Том.— А твои знают?

— Нет-нет, не могу я им сказать! Они...— Слезы брызнули из глаз Пифкина.— Да это пустяки, я же говорю! Идите прямо-ком к оврагу. К тому дому, ладно? К Дому с привидениями, поняли? Я там буду.

— Клянешься?

— Клянусь. Погодите, увидите, какой у меня костюм!

Мальчишки стали отходить. Уходя, каждый или трогал его за локоть, или легонько стучал в грудь, или нежно касался сжатым кулаком его подбородка, будто бы в драке понарошку.

— Ладно, Пифкин. Раз уж ты обещаешь...

— Обещаю, точно.— Он перестал держаться за бок. Лицо его залилось румянцем, как будто боль отпустила.— А ну, на старт! Внимание! Марш!

Когда Джо Пифкин крикнул «Марш!», они сорвались с места.

Они побежали.

Полквартила они пробежали задом наперед, не сводя глаз с Пифкина, который стоял и махал им рукой.

— Догоняй, Пифкин!

— Догоню-ю! — крикнул он им вслед из дальнего далека.

И ночь поглотила его.

Они бежали вперед. А когда снова оглянулись, Пифкина было совсем не видно.

Они хлопали дверьми, кричали: «Сласти или страсти-мордасти!», и их мешочки из коричневой бумаги уже начали наполняться несусветными вкусностями. Они бежали вприпрыжку,

а зубы у них увязали в розовой жевательной резинке. Губы у них ярко горели, красные как кровь.

Да вот только все, кто открывал им дверь, были как две капли воды похожи на их собственных родителей — как леденцы, сыпавшиеся с конвейера на конфетной фабрике. Словно ты и вовсе из дому не выходил. Каждое окно, каждая дверь заливали их добротой, как сиропом. А им хотелось услышать рев драконов в подземелье и скрежет подъемных мостов в замках.

Таким образом они, оглядываясь — не идет ли Пифкин? — дошли до самых окраин города, где цивилизация уступала место темноте.

Овраг.

Овраг, в глубине которого таились неисчислимые ночные шорохи, змеились ручьи и речонки чернее чернил, копились сокровища каждой осени, что прокатилась вся в золоте и багрянце — за целую тысячу лет... Эта глубокая трещина в земле порождала мухоморы и поганки, и холодных, как галька, лягушек, и мокриц, и пауков. Там, в черной яме, начинался длинный подземный ход, где сочились отравленные воды, а эхо бесконечно перекакивалось, звало: «К нам — к нам — к наммм», — а уж если ты замешкался, то навеки останешься здесь, навсегда, в шорохе, перестуке, перебесках, перепептываньях, и не вырвешься никогда, ни-ко-гда...

Мальчишки столпились на краю бездны, заглядывая вниз.

Как вдруг Том Скелтон, продрогший до костей в своем скелетном костюме, со свистом втянул воздух сквозь зубы — так свистит сквозняк, ночью, за ширмой в спальне. Он вытянул руку, показывая:

— Эй, вот куда Пифкин велел нам бежать!

И он исчез.

Все смотрели вслед. Они видели, как маленькая фигурка побежала по тропке и нырнула в сто миллионов тонн ночной тьмы, ступившей в этой бездонной пропасти, в этом сыром погребке, в чудесной, жуткой глубине оврага.

Они бросались следом, крича во все горло.

Обрыв, где они только что стояли, обезаюдал.

А город остался позади, наслаждаться собственной сладенькой жизнью.

Они мчались вниз на дно оврага быстрой стайкой, с хохотом, толкотней, словно сплошь состояли из локтей и коленок, фыркая и задыхаясь от смеха, и затормозили, налетев друг на друга, когда Том Скелтон встал как вкопанный и показал куда-то вверх, за крутой тропкой.

— Вон там,— прошептал он.— Там стоит единственный дом, который надо навестить в Канун Всех святых! Вон!

— Ага! — сказали все.

Потому что он сказал правду. Дом был необыкновенный, старинный, высокий и темный. В нем было, наверно, не меньше тысячи окон, и в каждом мерцали холодные звезды. Казалось, что дом высечен из черного мрамора, а не сложен из бревен, а уж внутри... кто угадает, сколько там комнат и залов, коридоров, чердаков? Чердаки высокие и пониже, на разных уровнях, и с разными потолками — в некоторых накопилось больше пыли, паутины и иссохшей листвы — а может, и золота, насыпанного в тайник, так высоко взмостившийся в небо, что в целом городе не найдешь приставной лестницы, чтобы дотуда достала.

Дом махал своими башенками, приглашал плотно закрытыми дверьми. Конечно, пиратские корабли — это здорово. Старинные крепости — просто блаженство. Но дом — Дом с привидениями, да еще в Канун Всех святых! Восемь мальчишеских сердец колотились от восторга и восхищения.

— Пошли!

Но они уже бросились наперегонки по тропке. Вот они уже стоят перед полуразвалившейся стеной, глядя вверх — выше — еще выше, — где старый высокий дом венчает крыша, похожая на кладбище. Ни дать ни взять — кладбище. Острый гребень крыши, как хребет горы, топорщился какими-то черными костями или железными прутьями, а трубы, как надгробия, громоздились рядами — трубы, готовые дохнуть дымом из трех дюжин каминов, одетых сажей и таящихся далеко внизу, в загадочном чреве этого драконского дома. Утыканная множеством труб, крыша походила на обширный погост, и каждая труба отмсчала место погребения какого-нибудь древнего божества огня или заклинательницы танцующего дыма и пара, власти-

тельницы огненных светлячков-искр. Да вот, прямо у них на глазах, из четырех дюжин дымоходов вылетело по облачку сажи, и от этого вздоха небо стало еще чернее, а некоторые звезды исчезли из виду.

— Здорово! — сказал Том Скелтон.— Пифкин знал, о чем говорил!

— Здорово! — согласились все.

Они подкрадывались все ближе по дорожке, заросшей бурьяном, к покосившемуся крыльцу.

Том Скелтон, опередив всех, тихонько нащупал топчей скелетной ногой первую ступеньку. У всех прямо дух захватило от такой смелости. Но вот уже плотная кучка ребят, словно одно разгоряченное существо, вскарабкалась на крыльцо, и под ногами скрипуче застонали доски, и всех пробрала дрожь. Каждый в отдельности готов был повернуться и дать стрекача, но повсюду натыкался на другого — и сзади, и спереди, и по бокам. В плотной тесноте эта многоножка двигалась, выпуская, как амeba, то одну, то другую ложноножку наугад, качаясь, пускаясь бегом, пока не остановилась прямо перед входной дверью, высокой, как гроб, только в два раза тоньше.

Они простояли там нескончаемое мгновение; время от времени из общей массы, похожей на громадного паука, высывалась рука, как ланка, пытаясь дотянуться до дверного молотка на этой двери. А тем временем доски деревянного крыльца уходили из-под ног, колыхались под их общей тяжестью, грозя при малейшем нарушении равновесия ухнуть вниз, унося их в бездну, кишашую тараканами. Доски, каждая на своей ноте — до! — ми! — соль! — тянули свою жуткую песенку под грубыми ботинками, стоило только двинуть ногой. Хватило бы времени, и будь это среди дня, уж мальчишки отчебучили бы похоронный марш или скелетную чечетку — кто в силах устоять перед разваленным крыльцом, которое только и ждет, как великанский ксилофон, чтобы по нему хорошенько попрыгали?

Но это им и в голову не пришло.

Генри-Хэнк Смит (это был он), кутаясь в черные одеяния Ведьмы, закричал:

— Глядите!

И все воззрились на дверной молоток. Том протянул дрожащую руку, не решаясь притронуться к нему.

— Молоток-Марлей!

— Что-что?

— Да помните, Скрудж и Марлей в «Рождественских повестях»*, — прошептал Том.

И вправду: голова на дверном молотке оказалась лицом человека, у которого жутко болят зубы, с подвязанной челюстью, встрепанной шевелюрой, оскаленными зубами и одичалым от боли взглядом. Да, это был Марлей, мертвый, как дверной гвоздь, приятель Скруджа, жилец загробных пределов, осужденный вечно скитаться по земле до тех пор, пока...

— Стучи, — сказал Генри-Хэнк.

Том Скеалтон взялся за холодную ужасную челюсть старины Марлея, поднял, отпустил.

Все вздрогнули от удара!

Весь дом заходил ходуном. Его кости затрещали, застучали друг о друга. Портьеры разверзли зловещие зеницы, так что подслеповатые окна широко раскрыли свои злые глаза.

Том Скеалтон, как кошка, перепрыгнул через перила крыльца и посмотрел вверх. На гребне крыши завертелись диковинные флаюгера. Двуглавы петухи поворачивались под каждым чихом ветерка. Из двойного водостока, пасти горгульи на западном углу крыши, вылетели один за другим облака пыли. И долго после того, как чиханье и кряхтенье затихло, а петухи перестали вертеться, по змеящимся водосточным трубам вдоль всего дома шуршали остатки осенних листьев и пыль с паутиной, пока не высыпались на темную траву.

Том быстро повернулся, посмотрел на дрожащие мелкой дрожью оконные стекла. Лунные блики трепетали в стеклах, как стайки напуганных серебристых мальков. Входная дверь дрогнула, ручка сама собой повернулась. Марлей-молоток скорчил рожку, и дверь распахнулась.

Оттуда дунул такой ветер, что чуть не снес мальчишек с крыльца. Они заорали, вцепились друг в друга.

А потом тьма, затаившаяся в доме, втянула воздух одним вдохом. Ветер понесся вспять в зияющую пасть дверного проема. Он стал засасывать мальчишек, втягивать их, волоча по крыльцу. Им пришлось откинуться назад, чтобы черное, бездонное чрево не заглотнуло их. Они барахтались, кричали, цеплялись за перила. Но вдруг ветер стих.

В глубине тьмы двигалось что-то темное.

В самом нутре дома, далеко-далеко, кто-то двинулся к двери. Кто бы он ни был, одет он был во все черное — виднелось только расплывчатое бледное лицо, словно плывущее по воздуху.

Недобрая улыбка приблизилась и повисла в воздухе перед ними.

Позади улыбки едва виднелся силуэт высокого человека. Теперь они видели его глаза — зеленые огоньки, как точки в узких обугленных ямках глазниц, глядящие на них в упор.

— Это... — сказал Том... — Э-э... Сласти или страсти?

— Страсти? — ответила из темноты улыбка. — Сласти?

— Да, сэр.

Ветер сыграл где-то в трубе музыкальную фразу, словно на флейте, старую лесню о времени, о темноте, о далеких даях. Высокий человек защелкнул свою улыбку, как перочинный ножик, блеснувший лезвием.

— Никаких сластей, — сказал он. — Только страсти-мордасти!

И дверь ка-ак хлопнет!

По всему дому прокатился гром, обрушивая лавины пыли.

И снова прах и пыль вырвались из водосточных труб, как спугнутые пушистые кошки.

Открытые окна дохнули пылью. Пыль пыхнула из-под ног у ребят сквозь щели в досках.

Мальчишки смотрели на запертую, крепко захлопнутую входную дверь. Марлей-молоток уже не кривился от боли, а злобно ухмылялся.

— То есть как это? — спросил Том. — Не сласти, а только страсти-мордасти?

Они отступали за угол дома, с удивлением прислушиваясь к звукам, которые издавал этот дом. Он наполнился несвязным шепотом, лиском, скрипом, стоном и ропотом, а ночной ве-

* Произведение Чарлза Диккенса.

тер старательно доносил до слуха мальчишек каждый шорох. Стоило им ступить шаг, как древний дом клонился над ними, еле слышно постанывая.

Они обогнули дальний угол дома и остановились.

Потому что увидели Дерево.

Ничего подобного они не видывали за всю свою жизнь.

Оно высидось посередине широкого двора перед страшным и чудесным домом. Это Дерево достигало в вышину футов сто, не меньше, оно раскинуло выше гребня крыши свою круглую, широкую, многоветвистую крону, сплошь одетую в богатейший наряд из багряных, бурых, желтых осенних листьев.

— Ой,— еле слышно сказал Том.— Смотрите! Там, наверху!..

Потому что Дерево было увешано множеством тыкв, любого размера и формы, всех цветов и оттенков, от тускло-золотистого до ярко-оранжевого.

— Тыквенное дерево,— сказал кто-то.

— Да нет,— сказал Том.

Ветер пролетел среди высоких ветвей и легонько качнул яркие украшения.

— Праздничное дерево,— сказал Том.— Дерево Всех святых. Он нашел верное слово.

5

Тыквы на Дереве были не простые. На каждой было вырезано лицо. И ни одно лицо не было похоже на другое. Один глаз был диовиннее другого. Один нос — странноватее другого. И каждый рот кривился собственной, особенной жутковатой улыбкой.

Пожалуй, на этом Дереве было развешено тысяча тыкв, на самой высоте, на каждой веточке. Тысяча улыбок. Тысяча гримас. И дважды по тысяче свежесрезанных глаз глазели, моргали, косились оттуда.

Мальчишки глазели тоже, и у них на глазах произошло чудо.

Тыквенные рожицы стали оживать.

Начиная с нижних ветвей Дерева и самых близко висящих тыкв в их сырой кожуре стали одна за другой вспыхивать свечки. Вон там — и там — и тут — и еще — все дальше, все выше,

облетая всю крону: три тыквы тут — семь тыкв повыше — дюжина, кучкой — на той стороне, сотня — пять сотен — тысяча тыкв затеплили свои свечки, иными словами — осветили свои рожицы, огонь засверкал в их квадратных, круглых или диоватых раскосых глазах. Огонь заструился из их зубастых ртов. Из вырезанных в спелой мякоти ушей полетели снопы искр.

И откуда-то донеслись два голоса — а может, три или четыре, они шептали, напевали что-то вроде детской песенки или колыбельной, убаюкивая небо, и время, и землю, усыпляя все вокруг. Жерла водосточных труб выдыхали тончайшую паутинную пыль:

Вот такой высоты, вот такой широты...

Голосок вылетал дымом из высокой трубы:

Вот такой широты, вот такой красоты...

На Канун Всех святых...

Откуда-то из открытых окон летели паутинки:

До небес и до звезд поднялось во весь рост...

Нет, не видывал ты Древоцудииц таких,

Как в Канун Всех святых!

Свечи мерцали, огоньки трепетали и ярко вспыхивали. Ветер тихим дуновением, влетая в тыквенные рты и вылетая обратно, выпевал протяжную песню:

Прошел и умер старый год, но озаряет небосвод

Костром из листьев золотых

Оно во славу Всех святых!

Неси осенний урожай, созвездья свечек зажигай!

Том вдруг почувствовал, как губы у него засуетились, словно мышки, нетерпеливо норовя подхватить песенку:

Свечи сверкают, а звезды горят,

Опавшие листья летят и шуршат,

Улыбаются тысячи тыкв с высоты,

На Канун Всех святых!

Вот Ведьма смеется,

Ухмыляется Кот,

Там осканился Зверь,

Хохоча во весь рот,
И с улыбкою Жнец свою плату берет...
Здравствуй, День всех святых — Новый год,
Новый год!

Тому казалось, что изо рта у него змеится дымок:

— День всех святых...

И все мальчишки шепотом вторили:

— Всех святых...

Потом наступила тишина.

И в этой тишине засветились последние свечки на Праздничном дереве — по три, по четыре зараз, образуя гигантское звездное скопление, вплетенное в космы черных веток и сучьев, проглядывающее украдкой сквозь ветви и чеканные сухие листья.

Теперь все Дерево стало единой необъятной многомерной Улыбкой.

Горели все тыквы, все до одной. Вокруг Дерева распространилось теплое дыхание позднего лета. Ребят обволакивал дымок с привкусом копоти и свежий запах тыквенной плоти.

— Ух ты, — сказал Том Скеалтон.

— Видали местечко, а? — спросил Генри-Хэнк, Ведьма. — Мало этого дома и типа с разговорами про «страсти-мордасти», тут еще и... Я такого дерева в жизни не видел. Вроде новогодней елки, только куда больше, а тыкв и свечек — видимо-невидимо! Что бы это значило? Что за празднество?

«Празднество!» — донесся откуда-то мощный шепот — то ли из луженных сажей глоток дымовых труб, то ли все окна в доме разом разинулись у них за спиной — вверх-вниз, вверх-вниз, выдыхая вместе с темнотой слово «Празднество!»

— Да-сс... — прошелестел великанский шепот, от которого замстались огоньки в тыквах, — празднество...

Мальчишки так и взвились в воздух, оборачиваясь лицом к дому.

Но дом хранил безмолвие. Окна были закрыты наглухо и до краев налиты лунным светом.

— Кто отстанет — теткой станет! — вдруг завопил Том. Их ждали золотые колны осенней листвы, как тлеющие уголья, как странный клад, несметные богатства.

И мальчишки бросились со всех ног к этой громадной, чудесной куче листвы — сокровищнице осени.

Но в тот момент, когда они уже готовы были нырнуть с головой в шуршащие, роящиеся листья, толкаясь, вопя, крича, сбивая друг друга с ног, вдруг прозвучал какой-то исполинский вдох, словно кто-то огромный заглотнул массу воздуха. Мальчишки взвизгнули, рванулись назад, как будто под ударом невидимого бича.

Потому что над кучей листвы поднималась белая костяная рука, сама по себе.

А за ней, улыбаясь во все зубы, вынырнул до того невидимый белый череп.

И эта манящая, волшебная перина из листьев дуба, тополя и вяза, в которой они так мечтали повозиться, покататься, утопуть с головой, теперь стала для мальчишек страшнее всего на свете. Белая костяная рука парила в воздухе. А белый череп все поднимался и поднимался, качаясь перед ними.

И ребята отшатнулись, налетая друг на друга, забывая дышать, всхлипывая от ужаса, пока не свалились в барахтающуюся кучу-малу, отчаянно стараясь вырваться, цепляясь за траву, порыва удрать.

— Спасите! — кричали они.

— Как же, спасите, — сказал Череп. Раскаты дикого хохота пригвоздили их к месту, а рука, висящая в воздухе — костяная рука скелета, — протянулась вверх, сграбастала белый оскал череп и содрала его, как кожуру с апельсина!

Мальчишки только сморгнули за глазами своих масок. У них и челюсти отвалились, только этого никто не видел.

Из вороха листвы вздымался, как воздушный шар, высоченный человек в черном плаще, он рос и рос все выше. Он рос как дерево. Он выбросил сучья — руки. Он стоял на огненном фоне самого Праздничного дерева, так что его распростертые руки, длинные белые костяные пальцы были словно увешаны гирляндами оранжевых огненных шаров, гроздьями пламенных улыбок. Глаза он зажмурил, заходясь от громоподобного хохота. Из широко разверстого рта вырывался осенний вихрь.

— Никаких сладостей, ребятки, нет, никаких сладостей! Страсти, ребятки, страсти! Страсти-мордасти!

Они лежали ни живы ни мертвы, ожидая землетрясения. И оно разразилось. Громовой смех великана расшатал и потряс землю. И эта дрожь, пробрав их до самых костей, словно вышибла из них дух. И вырвалась — взрывами смеха!

Мальчишки сидели среди разворошенной кучи листьев вне себя от удивления. Они даже пощупали руками свои маски, ощутили, как теплый воздух толчками вылетает изо рта — они заразились хохотом!

Они подняли глаза на человека в черном, словно стараясь оправдать свое удивление.

— Ну да, ребята, вот они, вот они, страсти-то! Вы что, позабыли? Да нет, вы ничего и не знали!

И он прислонился к Дереву, все еще покатываясь со смеху, да так, что весь ствол затрясся, вся тысяча тыкв заплясала, а огоньки внутри их запрыгали, обрамляясь дымом.

Отогревшись собственным смехом, мальчишки стали вставать, ощупывая себя — все ли кости целы. Все были целы. Они сгрудились маленькой стайкой под Праздничным деревом в ожидании — потому что поняли, что это всего лишь начало новых, поразительных и чудесных событий.

— Ну и что? — сказал Том Скелтон.

— Что, Том? — сказал человек.

— Том? — загадели все. — Так это ты?

Том, одетый Скелетом, окаменел.

— Ну, может, Боб или Фред, — да нет, это, должно быть, Ральф, — поспешно вмешался незнакомец.

— Все вместе! — выдохнул Том с явным облегчением, покрепче прилаживая маску.

— Ага, все вместе! — откликнулись все хором.

Человек кивнул, улыбаясь:

— Ну ладно! Теперь вы узнали про Канун Всех святых что-то, чего не знали раньше. А как вам понравились мои страсти-мордасти?

— Страсти, да, страсти!

Мальчишки загорелись восторгом. Он словно высушил в их суставах нежные хрящики добродетели и подсыпал щепотку праха, греха и соблазна в их кровь. Они чуяли, как от этой радо-

сти, куролесящей внутри, загорелись их глаза, а губы растянулись в улыбке, как у веселых щенят.

— Ну да, точно!

— А вы всегда это устраивали на Канун Всех святых? — спросил мальчишка-Ведьма.

— И это, и еще много чего. Однако не пора ли мне представиться? Мое имя — Смерч. Череп-Да-Кости Смерч. Ну, как звучит, ребятки? Звучное имя, не правда ли?

Еще какое звучное, подумали мальчишки, еще как звучит, ого!

Смерч!

— Благородное имя, красивое имя, — сказал мистер Смерч, придавая голосу гулкий, загробный тон погребального колокола. — И прекрасная ночь. И вся темная, таинственная, бурная и древняя история Кануна Всех святых изготавилась проглотить нас живьем!

— Проглотить?

— Да! — воскликнул Смерч. — Ребята, посмотрите-ка на себя. Вот ты, паренек, почему ты нацепил маску Череп? А ты, мальчик, тащишь с собой косу, а ты вырядился Ведьмой? А ты, и ты, и ты! — Он тыкал костлявым пальцем в каждого ряженого. — Что, не знаете? Просто напялили эти маски, натянули старые, пропахшие нафталином костюмы и пошли куролесить, но по правде-то вы ничего не знаете, так?

— Ну... — протянул Том, робкий, как мышка, за белой маской черепа. — Вообще-то... не знаем.

— Да-а... — сказал мальчишка-Чертенок. — Если подумаешь — чего это я так вырядился?

И он пощупал свой красный плащик, дотронулся до острых резиновых рожек, провел пальцами по отличным вилам.

— А я — вот так, — сказал Призрак, размахивая своим белым просторным похоронным саваном.

И все мальчишки, пораженные и удивленные, трогали свои костюмы и получше прилаживали маски.

— Вот было бы здорово узнать, что к чему, а? — спросил мистер Смерч. — Я вам расскажу! Нет, лучше покажу! Хватило бы времени...

— Да сейчас только полседьмого. Канун Всех святых даже и не начинался! — сказал Том-в-своих-продувных-косточках.

— Верно! — сказал мистер Смерч. — Ладно, ребята, за мной!

Он зашагал прочь. Им пришлось бежать за ним.

На краю глубокого, темного, ночного оврага он показал вдаль, за горизонт, за оком холмов и земли, куда не достигал свет луны, где царил лишь тусклый свет незнакомых звезд. Ветер раздувал его черный плащ, кашюшон, который затенял его лицо, отодвинулся, и стало видно белое лицо, почти лишенное плоти.

— Вон там, видите, ребята?

— Что?

— Неведомая Страна. Там, за горизонтом. Глядите хорошенько, глядите долго, глядите досыта. Устройте себе пир. Там Прошлое, мальчики, Прошлое. О да, оно полно страшных тайн и темных ужасов. Все, что породило Канун Всех святых, схоронено там. Хотите раскопать старые кости, ребята? Не сдрейфите?

Он обратил к ним горящий взгляд:

— Что такое — Канун Всех святых? С чего все пошло? Где началось? Зачем? Чего ради? Ведьмы, кошки, мумии, прах, привидения. Все это там — в той стране, откуда никто не возвращается. Рискнете нырнуть в этот океан тьмы, ребята? Хотите взлететь в черное небо?

Мальчишки проглотили комок, застрявший в горле.

Кто-то пискнул:

— Мы бы рады, да вот Пифкин... Мы обещали ждать Пифкина.

— Ну да, Пифкин нас сюда послаа. Мы без него — никуда.

И словно в ответ на их слова на том берегу пропасти раздавался слабый крик.

— Эй! Я здесь! — отозвался тонкий голосок.

Они увидели крохотную фигурку с зажженной тыквой в руке, стоящую на дальнем краю оврага.

— Сюда! — закричали все в один голос. — Пифкин! Давай сюда!

— Бегу-у! — донеслось до них. — Расклеился я что-то. Но — раз обещал, надо идти. Ждите!

Они видели, как он, маленький, бежит вниз по тропинке на склоне оврага.

— Подождите, пожалуйста, подождите... — Голос срывался, дрожал. — Мне совсем плохо... Бежать не могу... Не могу...

— Пифкин! — кричали все, махая ему сверху, с обрыва.

Его фигурка казалась такой маленькой, крохотной, жалкой. Повсюду клубились тени. Метались летучие мыши. Ухали совы. Вороны, чернее ночи, облепляли деревья, как черная листва.

Маленький мальчишка бежал со всех ног с горящей тыквой и вдруг — упал.

— Ох, —дохнул Смерч.

Свечка, горевшая в тыкве, погасла.

— Ох! — простонали все.

— Зажигай свою тыкву, Пиф, зажигай скорей! — крикнул Том.

Ему казалось, что он видит маленькую фигурку, шарящую в черной траве, в непроглядной тьме, старающуюся чиркнуть спичкой. Но в этот короткий миг тьмы ночь вступила в свои права. Над пропастью простерлось необъятное крыло. Хором заухали, захохотали совы. Сотни мышей забегали, юрко шурпая среди теней. Где-то случился миллион лилипутских убийств.

— Зажигай тыкву, Пиф!

— Помогите! — простонал жалобный голосок.

Тысяча крыльев рванулись в полет. Где-то в небе громадная тварь била крыльями по воздуху, как гулкий барабан.

Облака, как полупрозрачные задники в театре, раздвинулись, открывая небо. Там висела луна, великанский круглый глаз.

Он уставился вниз, на...

На пустую тропинку.

Пифкина нигде не было.

Далеко-далеко, на горизонте, что-то мелькнуло темным лоскутком, заметалось, унеслось прочь с холодным ветром.

— Помогите! По-мо-ги-те... — Голосок заглох.

И все пропало.

— Ох ты, —загробным голосом сказал Смерч. — Плохо дело. Боюсь, что Нечто унесло его с собой.

— Куда, куда? — бормотали мальчишки, у них от холода зуб на зуб не попадал.

— В Неведомую Страну. В то Царство, которое я хотел вам показать... Да только теперь...

— Вы что, хотите сказать, что Это, Оно — или Он — там, в овраге, что это Нечто было — Смерть? Оно схватило Пифкина — и смылось?

— Скорее похитило, я бы сказал, взяло в заложники, может, чтобы получить выкуп, — ответил Смерч.

— А разве Смерть так... делает?

— Случается и так.

— Вот беда... — Том почувствовал, как на глаза навернулись слезы. — Пиф сле бежал, и весь бледный... Пиф, зачем ты сегодня выпел из дому! — крикнул он прямо в небо, но там ничего не было, кроме ветра, несущего облака, как клочки белого руна, ветра, текущего, как прозрачная река.

Они стояли, дрожа, замерзая. Они глядели вслед тому Черному Нечто, которое умыкнуло их друга.

— Ну вот что, — сказал Смерч. — Тем больше резону потопиться, ребятки. Если мы полетим побыстрей, может, нагоним Пифкина. Словим его славную, сладкую, асденцовую душу. Принесем домой, уложим в постель, закутаем в одеяло, согреем, сохраним его дух. Что скажете, ребята? Хотите разгадать разом две загадки? Разыскать, выручить Пифкина и заодно узнать тайну Кануна Всех святых — убить две темные тайны одним верным ударом? А?

Они подумали про Ночь накануне Дня всех святых, когда мириады призраков шагают по опустевшим дорожкам в холмистых порывах ветра и нездешних странных клочьях дыма.

Они подумали про Пифкина, маленького, как мальчик с пальчик, про живой комочек восхитительного летнего блаженства — и вот его выдернули, как зуб, и утащили в черном вихре, полном паутины, гари и черной золы.

И они почти в один голос ответили: «Да!»

Смерч подскочил. Он бросился бежать. Он осыпал их толчками, тузил кулаками, неистовствовал.

— А ну скорей, бегом по тропе, вверх по склону, вперед по дороге! К заброшенной ферме! Прыгай через забор! Алле-оп!

Они перемахнули через забор и остановились возле амбара, сплошь заклеенного старыми цирковыми афишами, которые ветер раздирал в клочья и трепал уже тридцать, сорок, пятьдесят лет. Все проезжие бродячие цирки оставляли здесь клочки и обрывки яркой мишуры, наслоившиеся дюймов на десять.

— Нам нужен Змей, ребята! Клейте Воздушного Змея! Живей!

7

С этими словами мистер Смерч отодрал громадный лоскут со стенки амбара! И бумага затрепетала у него в руке — тигриный глаз! Еще один рывок, лоскут старинного плаката — львиная ласть!

Мальчишкам послышалось в реве ветра львиное рычание, прямо из Африки.

Они заморгали. Они помчались. Они скребли ногтями. Они цеплялись и рвали горстями. Они сдирали полоски, клочки, длиннющие свитки звериной плоти; тут клык, там — свирепый глаз, разодранный бок, окровавленный коготь, хвост трубой, прыжок, бросок, рык! Вся стена амбара была как древний цирковой парад, которому крикнули: «Замри!» Они разнесли ее в клочья.

С каждым клочком отрывался коготь, язык, яростный кошачий глаз. А под ними открывался, слой за слоем, кошмарный мир джунглей, захватывающие дух встречи нос к носу с белыми медведями, скачущими во весь опор зебрами, разъяренными прайдами кровожадных львов, носорогами, несущимися в атаку, цепкими гориллами, карабкающимися по откосу ночи и переносящимися на сторону восхода. Тысячи диких зверей клубились в схватке, пытались высвободиться. Теперь, освобожденные, в горстях, кулаках, охапках у мальчишек, они шелестели и шуршали на осеннем ветру, когда мальчишки неслись взапуски по траве.

И вот Смерч выломал старые колья из забора и сделал грубую крестовину, хребет Змея, скрутил их проволокой и отступил, в ожидании приношений — бумаги для Змея: мальчишки швыряли ее горстями, охапками.

И каждый клочок он бросал прямо на остов и, в снопах искр, приваривал намертво своими кремневыми пальцами.

— Эгей! — в восторге вопили мальчишки. — Эй, глядите!

Никто из них в жизни не видывал ничего подобного, не приходилось им встречать таких людей, как этот Смерч, — он за просто, одним щипком, толчком, шлепком сплавлял зрачок и клык, зуб и оскал, разверстную пасть — с торчащим рысьим хвостом! И вся эта масса обрывков сливалась в чудесную, единую картину, диговинную загадку-головоломку, изловившую и запечатавшую звериный мир джунглей — налетев лавиной, все дикие звери застыли, увязли в клее, запутались в тенетах, по картина все нарастала, наливалась ярким цветом, звуком, узором в свете восходящей луны.

Вот еще один яростный глаз. Еще один хищный коготь. Еще один голодный, алчный оскал. Спятивший шимпанзе. Безумный павиан. Визгливо кричащий стервятник! Мальчишки подбегали, поднося последние осколки кошмара, и вот змей закончен, его древнее тулово лежит готовое, после таинственной сварки, от которой еще дымятся синим дымком кремневые пальцы. Мистер Смерч прикурил сигару от последней вспышки, вырвавшейся из его большого пальца, и ухмыльнулся. И его ухмылка представила Змея в настоящем свете: это был Змей-истребитель, свора зверей, таких свирепых и ужасных, что их рев заглушал вой ветра и леденил сердца.

Смерч был доволен, и мальчишки тоже были довольны.

Дело в том, что Змей очень смахивал на...

— Ух ты! — сказал Том, потрясенный. — Птеродактиль!

— Что-что?

— Птеродактили — это такие древние летающие пресмыкающиеся, вымерли миллиард лет назад, и с тех пор их никто не видал, — пояснил мистер Смерч. — Хорошо сказано, малыши. Раз он похож на птеродактиля — значит, это и есть птеродактиль, и он понесет нас по ветру к Пропasti, Погибели, на Край Света или в какое-нибудь другое приятное местечко. А пу-ка, тащите канаты, веревки, бечевки, живей! Дергайте, тащите, несите!

Они сдернули старую бельевую веревку, боатавшуюся между амбаром и заброшенным домом. Добрых девяносто футов

отличной веревки притащили они Смерчу, а тот всю ее пропустил через свой кулак, пока она не закурилась жутко зловонным дымом. Он привязал конец к середине громадного Змея, который лежал шевелил плавниками, как заплывавший, вытянутый из воды скат-манта на незнакомом, высоком берегу. Он боролся с ветром за свою жизнь. Он трепетал и рвался ввысь, опираясь на восходящие потоки воздуха, но все еще лежал на траве.

Смерч отступил назад, рванул веревку — и вот Змей взлетел!

Он парил над самой землей на конце бельевой веревки, в волнах бьющегося, как немая тварь, ветра, ныряя в одну сторону, бросаясь в другую, внезапно становясь на дыбы, как стена, полная очей, панцирь из зубов, девятый вал рыка и воя.

— Не может подняться, не летит по прямой! Хвост, нам нужен хвост!

Том, будто его кто толкнул, не раздумывая пригнулся и вцепился в лужу Змею. И повис. Змей уравнился. Он начал подниматься.

— Ну да! — крикнул черный человек. — Ну, малый, ты молодец. Ума налата! Будешь хвостом! Все за ним!

И по мере того как Змей величаво всплывал по холодной бурной воздушной стремнине, все мальчишки, один за другим, охваченные внезапной прихотью, подхлестнутые причудой, наращивали собой этот хвост. Иными словами, Генри-Хэнк, ряженный Ведьмой, ухватился за щиколотки Тома, и теперь у Змея был роскошный хвост из двух мальчишек.

Потом Ральф Бенгстрем, запеленутый в одеяния Мумии, путаясь и спотыкаясь о развесающиеся погребальные пелены, закутанный в свой слоистый гробовой кокон, подковыляла поближе, прыгнул и вцепился в щиколотки Генри-Хэнка.

Теперь в хвосте было уже трое мальчишек!

— Пойдите! А вот и я! — крикнул Нищий. (На самом-то деле под лохмотьями и грязью скрывался Фред Фрайер.)

Он подпрыгнул, ухватился.

Змей рванулся вверх. И четверо ребят, составлявшие хвост, кричали во весь голос, требуя еще, еще!

И хвост стал еще длиннее, когда мальчишка, одетый Обезьяночеловеком, в свою очередь уцепился за щиколотки, а за ним

последовал мальчишка, одетый Смертью, прямо с косой — а это было очень опасно!

— Эй, поосторожней там с косой!

Коса упала вниз и улеглась в траве, как оброненная улыбка.

Зато еще двое мальчишек висели, уцепившись за не больно-то чистые щиколотки, и Змей поднимался все выше и выше, унося мальчишку за мальчишкой, пока, вопя и крича, все восемь мальчишек не повисли в воздухе чудесным, извивающимся хвостом, последние были Призрак (на самом деле Джордж Смит) и Уолли Бэбб, выдумщик, вырядившийся Горгульей, как будто только что свалился с крыши собора.

Мальчишки восторженно орали. Змей нырнул и полетел.

— Эге-гей!

У-ух! Змей урчал, как тысячи разных зверьков.

Банни! Натянутая Змеем веревка гудела на ветру, как струна.

— Тшшш! — шептали все вместе.

И ветер возносил их все выше, к звездам.

Смерч остался внизу, благоговейно созерцая свое творение, своего Змея, своих мальчишек.

— Подождите! — громко крикнул он.

— Нечего ждать, пора догонять! — заорали мальчишки.

Смерч понесся по траве, подхватил косу. Плащ его забился на ветру, распростерся, как крылья, и он просто-напросто взвился в воздух и — полетел.

8

Змей летел.

Мальчишки свисали вниз топким ящеричьим хвостом: извиваясь, крутясь, скользя, шелкая, как бич.

Они едва не охрипли от восторженного крика. Они вопили от ужаса, и на вдохе, и на выдохе. Они казались на фоне лунного диска летучим восклицательным знаком. Они парили над холмами, долинами, фермами. Они видели свое бегущее отражение в подернутых туманом, налитых лунным светом озерцах, ручейках, речках. Они проносились над кронами старых-престарых деревьев. Рожденный их полетом ветер стряхнул на землю не-

сметные богатства монетного двора целой страны: золотые листья, как новенькие блестящие монетки, сыпались на черную траву. Мальчишки пролетали над городом и думали: да погладьте же вверх! Вот они мы! Ваши сыновья!

И еще думали: «Вниз, глядите вниз, где-то там наши мамы и папы, братья, сестры, учительницы! Эй, вот мы где! Ну кто-нибудь, гляньте же на нас! А то вы ничем не поверите!»

Змей в последний раз спикировал, свистя, гудя, громокая вместе с ветром, проплыл над старым домом и Праздничным деревом, где им повстречался мистер Смерч!

Вверх-вниз, нырок, кувырок, бросок, шепоток!

Взмах состоящего из их тел хвоста заставил тысячу свечей заморгать, затрепетать, язычки пламени зашипели, зашештались, словно заикаясь, стараясь не погаснуть совсем, так что все болающиеся на ветках тыквы едва не растеряли свои гримасы, улыбки, косые взгляды, полузадутые, полузадушенные коварными тенями. На один удар сердца все Дерево погасло. Но тут же, как только Змей взмыл вверх, Дерево занялось огнем, засветилось тысячей свежевырезанных тыквенных гневных очей, грозных оскалов, гримас и усмешек!

Дом следил всеми своими окнами, черными зеркалами, как Змей улетап все дальше и дальше, пока и мальчишки, и Змей, и сам мистер Смерч не стали маленькими точками на горизонте.

И тогда они поплыли вниз, в глубину Неведомой Страны, в Царство Древней Смерти и Темных Веков и Ужасного Прошлого...

— Куда это мы? — крикнул Том, держась за хвост Змея.

— Да, куда, куда? — крикнули все мальчишки, один за другим, один ниже другого.

— Не куда, а «когда»! — сказал Смерч, обняв их, и его распростертый плащ с капюшоном наполнился лунным ветром и временем. — За две тысячи — считайте! — лет до Рождества Христова! Пифкин там, он нас ждет! Я его чую! Летим!

И тут луна принялась моргать. Она закрывала глаз, и наставала тьма. Она подмигивала все быстрее, прибывала, убывала, прибывала, опять убывала. Она мелькнула и пропала больше тысячи раз, и в этом мигающем свете земля внизу менялась, потом еще пятьдесят тысяч раз промелькнула так быстро, что

глазом не уследишь, даже не видно, когда луна светит, когда гаснет.

И вот луна перестала мигать и застыла в полном покое.

И земля внизу была совсем иная.

— Смотрите, — сказал Смерч, висая над ними в пустом пространстве.

И весь миллион тигровых-львиных-пантерных-леопардовых глаз осеннего Змея глядел вниз, и глаза мальчишек тоже.

И взошло солнце, и осветило...

Египет. Многоводный Нил. Сфинкс. Пирамиды.

— А ну-ка, — сказал Смерч. — Замечаете разницу?

— Уй-ююй! — ахнул Том. — Оно же все новенькое. Только что построено. Значит, мы и вправду улетели во Времени на четыре тысячи лет назад!

И точно, в Египте, раскинувшемся внизу, песок был изправдашний, древний, а вот камни — только что отесанные. Сфинкс, простерший лапы на золотых песках пустыни, был новехонький, только что высеченный, новорожденное дитя древних гор. Он лежал как колоссальный котенок в спящем, слепом сверкании полуденного солнца. И если бы солнце упало с неба прямо ему в лапы, он стал бы играть им, как огненным клубком.

А пирамиды? Они лежали внизу как странные детские кубики, новые головоломки, игрушки жемчжины-львицы по имени Сфинкс.

Змей с гудением понесся вниз, промчался на бреющем полете над песчаными барханами, перевалил пирамиду и поплыл, словно его всасывала разинутая пасть гробницы, высеченной в невысокой отвесной скале.

— Эгей, быстрее! — загудел Смерч.

Он размахнулся да как напал на Змею! Мальчишек встряхнуло, как гроздь звонких бубенцов.

— Ой, не надо! — завопили они.

Змей покачнулся, стал падать, задержался футах в десяти над барханами и встряхнулся, как бродячий пес, которого донимают блохи.

Мальчишки благополучно приземлились в золотой песок.

Змей рассыпался на тысячи кусочков — глаза, клыки, визг и рычание, рев, слоновый трубный вопль... Гробовая пасть египетской гробницы все вдохнула в себя, и Смерч, хохоча, ворвался следом.

— Мистер Смерч, погодите!

Мальчишки вскочили, побежали, чтобы крикнуть погромче в черный зев гробницы. Потом подняли глаза и увидели, куда их занесло.

Это была Долина Царей, и колоссальные статуи богов громоздились над их головами. Прах сгустился из их глазниц, как диковинные слезы; слезы из камня и сыпучего песка.

Мальчишки заглянули в темное чрево горы. Как русла пересохших рек, коридоры впадали в глубокие скалпы, где лежали спеленутые полотняными шеленами мертвецы. Фонтаны из пыли шуршали и плескались в неведомых глубинах. Мальчишки прислушивались, горя нетерпением. Гробница дышала тошнотворной смесью острого перца, корицы и сгустившего в пыль верблюжьего навоза. Где-то там спала мумия, покашливала во сне, поправляла бинт, облизывала губы сухим языком и переворачивалась на другой бок, чтобы соснуть еще тысячу-другую лет.

— Мистер Смерч! — позвал Том Скелтон.

9

Из глубины иссохшей земли донесся бесплотный голос:

— Сссме-е-ерчч...

Что-то выкатилось, вылетело, выпорхнуло из темноты.

Длиннющая полоска полотна, в какое заворачивают мумии, выбилась на солнечный свет.

Словно сама могила высунула древний сухой язык, который лег к ногам мальчишек.

Они устали на эту полоску полотна. Она была длиной в сотни футов, и если бы они захотели, то смогли бы пойти прямо по ней вниз, все вниз, в таинственные глубины египетской земли.

Том Скелтон, дрожа, осторожно коснулся пальцами ноги пожелтевшей полотняной полоски.

Ветер прилетел из гробницы, шепча:

— Ссскореййй...

— Ну, я пошел,— сказал Том.

И, балансируя на полотне, как на канате, он побрел вниз и скрылся в темноте погребальных покоев.

— Ссспешите-е! — нашептывал ветер, вылетающий из бездны.— Все, все-е. Спускайтесь... Следующий. И следующий. И еще, и еще... Быссстро!

Мальчишки сбегали вниз по полотняной тропке, в полном мраке.

— Полюбуйтесь: убийство, мальчишки! Убийство!

Колонны, между которыми пробегали мальчишки, вдруг озирались. Роспись дрогнула, ожила.

На каждой колонне пылало золотое солнце.

Только это было солнце с ручками и ножками, туго запеленутое в погребальные свивальники.

— Убийство!

Исчадие тьмы нанесло солнцу сокрушительный удар.

Солнце было убито наповал. Оно погасло.

Мальчишки бежали вслепую, в кромешной тьме.

«Конечно,— подумал Том на бегу,— ясно, что солнце умирает каждый вечер. Засыпая, я думаю — возвратится ли оно? Завтра, наутро, неужели оно так не взойдет?»

Мальчишки бежали. На колоннах, прямо перед ними, солнце снова возгорелось, как после затмения.

«Вот здорово,— подумал Том.— Так и знал! Оно взойшло!»

Но в тот же миг солнце вновь было убито. На каждой колонне, мимо которой они пробегали, солнце гибло осенью и погребалось в ледяной зиме.

«В середине декабря,— думал Том,— мне часто кажется, что солнце никогда, никогда не вернется! Зима воцарится на веки вечные? На этот раз солнце умерло взаправду!»

Но когда мальчишки к концу коридора замедлили бег, солнце уже снова возродилось. В пении золотых труб пришла весна. Весь коридор залил свет — чистый, яркий огонь.

Неведомый бог, сверкая, стоял, изображенный на каждой стене, его лицо пылало огнем торжества, золотые лучи струились вокруг.

— Эй, а я знаю, кто он! — задышав, крикнул Генри-Хэнк.— Видел в кино, где страшные египетские мумии!

— Озирис! — сказал Том.

— Озирисссс,— донеслось шипенье Смерча из глубины гробниц.— Урок Номер Один из исстории Кануна Всех свя-тых. Озирис, Сын Неба и Земли, каждую ночь погибает от руки своего брата, Мрака. Озириса убивает осень, его кровная род-ня — Ночь. Так бывает в разных странах, мальчишки. В каждой стране есть свой праздник смерти, связанный с временами го-да. Черепа и кости, ребятки, скелеты и призраки. Здесь, в Егип-те, созерцайте смерть Озириса, царя мертвых. Глядите во все глаза.

И они глядели во все глаза.

Потому что перед ними открылась широкая дыра в стене подземелья, и через это отверстие им была видна деревушка в Древнем Египте, где люди, суесясь в сумерках, выносили еду на глиняных и медных блюдах и ставили на пороги и подокон-ники.

— Для душшшш, спешащущих домой,— прошептал Смерч из глубины тьмы.

На всех домах теплились гирлянды масляных светильников, и полупрозрачный дымок кружился над ними, как заблудшие души.

Так и казалось, что видишь привидения, пробирающиеся вдоль мощенных камнем улочек.

От солнца, канувшего в бездну на западе, тянулись длинные тени, норотившие опустить пробраться в дома.

Но парок над горячими блюдами, выставленными на крыль-цо, заставлял тени кружиться, трепетать.

Легкий аромат курений и древнего праха долетал до маль-чишек, глазающих на этот старинный праздник мертвых, где «сласти» были выставлены не для толпы ряженных, а для бес-приютных душ.

— Ух ты,— шептали мальчишки.

О любимые, милые тени родных,

Навещайте живых, навещайте живых.

Не сбивайтесь с пути, ослепленные тьмой.

Возвращайтесь домой, возвращайтесь домой!

Над неяркими светильниками курился дымок.

И тени вступали на крыльцо и, едва касаясь, принимали пи-щу, дар живых.

Мальчики увидели, как в одном доме древнюю мумию какого-то прадедушки вынесли из чулана, и посадили на самое почетное место во главе стола, и поставили перед ним угощение. И вся семья, собравшаяся к ужину, поднимала бокалы и пила за мертвого, сидящего с ними, давным-давно превратившегося в горстку праха, в безгласную пыль...

10

— А ну-ка, быстрее, догоняйте, ищите!

Это звал их, хохоча, сам Смерч.

— Сюда! Нет, сюда! Сюда!

Они побежали по тонкой ленточке, какой обвивают мумии, в самую глубь земли.

— Сюда! Я где-е-есть.

Они завернули за угол и остановились — длинная полотняная лента висела по полу гробницы и вверх по стене, обвивалась вокруг ног иссохшей коричневой мумии, стоявшей стоймя в освещенной свечами нише.

— Эт-то... — заикаясь, пробормотал Ральф Бенгстрем, одетый в самодельный костюм Мумии, — эт-то настоящая мумия?

— Точно, — прошепело облачко пыли, выбившись из-под золотой маски на лице мумии. — Ссссамая настоящая.

— Мистер Смерч! Это вы!

Золотая маска свалилась и покатилась по полу, звеня, как колокол, поблескивая.

Маска обнажила лицо мумии, похожее на бурое дно высохшей под неистовым солнцем лужи. Один глаз был сплюснут паутиной. Из другого, как слезы, лились пыльные струйки, а в глубине блеснуло ярко-голубое стеклышко.

— Признавайтесь, кто тут у вас одет мумией? — спросил глухой голос из-под тесного савана.

— Я, сэр! — пропищал Ральф, протягивая руки, показывая на свои ноги и грудь, туго забинтованные аптечными бинтами, — он поднял ухапал на то, чтобы превратиться в мумию.

— Ссславно, — выдохнул Смерч. — А теперь хватай за полотняный бинт. Тяни!

Ральф нагнулся, взялся за бинт, обвинявший древнюю мумию, — да как дернет!

Бинт завертелся, разматываясь, освобождая нос, похожий на клюв древнего ящера, чешуйчатый подбородок и высохший, застывший в улыбке рот, полный сухого праха. Скрещенные руки Смерча упали, освободившись.

— Спасибо, малыш! Свободен! Мало радости — быть спеленытым в сверток, как погребальное подношение Стране Мертвых. Но — тишиш! Быстро, ребятки, прыгайте в ниши, стойте! Сюда идут! Замрите, умрите!

Мальчишки попрыгали в ниши и застыли, скрестив руки, зажмурив глаза, не дыша — словно череда маленьких мумий, высеченных из первозданной скалы.

— Тишише, — шептал Смерч. — Слышу... Все ближе...

Погребальная процессия.

Толпа плакальщиц, в шелках и золоте, несущих игрушечные парусные кораблики и медные сосуды с едой.

А в середине — гроб с мумией, невесомый, как солнечный зайчик, на плечах шестерых мужчин. А следом — свежезапеленутая мумия, с едва высохшей росписью и в золотой маске, скрывающей лицо.

— Замечайте, ребятки, — еда и игрушки, — прошепел Смерч. — Они клали в могилу игрушки, ребятки. Чтобы боги собрались поиграть, повозиться, поводить хороводы — и увлечь ребенка в разгаре игр и веселья — в Страну Мертвых. Видите — лодочки, воздушные змеи, скакалки, игрушечные сабли...

— Смотрите-ка, а мумия маленькая! — сказал Ральф, закутанный в свои душевные марлевые бинты. — Там мальчишка лет двенадцати! Как я! А золотая маска на этой мальчишковой мумии — на кого она похожа?

— Пифкин! — крикнули все ошипшими голосами.

— Тишиш! — зашипел Смерч.

Процессия остановилась, и великие жрецы озирались вокруг, озаренные скачущими огнями факелов, окруженные мчущимися тенями.

Мальчишки, примостившиеся в высоких нишах, зажмурили глаза, задержали дыхание.

— Ни звука,— комариным писком донесся до ушей Тома голос Смерча.— Ни вдоха...

Снова послышалось треньканье арф.

Процессия поползла дальше.

И среди всего этого золота, игрушек, воздушных змеев для покойников — плыла мумия, маленькая, двенадцатилетняя, новехонькая, в золотой маске, как две капли воды похожей на...

...Пифкина!

«Нет, нет, нет, нет, нет!» — взмолился про себя Том.

— Да! — крикнул мышиный голосок, тоненький, отчаянный, полузадушенный, пламенный, одичалый. — Это я! Я тут. Под маской. Запеленутый намертво. Не могу шевельнуться. Не могу крикнуть. Не могу выпутаться!

«Пифкин! — подумал Том. — Погоди!»

— Не могу! Попаюсь я! — кричал еле слышный голосок из-под расписных свивальников. — Не бросайте меня! Ищите! Встретимся в...

Голос заглох — погребальная процессия завернула за угол и сгинула в черном лабиринте.

— Где тебя искать, Пифкин? — крикнул во тьму Том Скелтон, выскочив из своей ниши. — Где мы встретимся?

Но в этот самый момент Смерч, как подрубленное дерево, рухнул из своей ниши. Бух! — он грянулся об пол.

— Не спеши! — остановил он Тома, глядя на него единственным глазом, похожим на паука, запутавшегося в собственных сетях. — Мы еще успеем спасти старину Пифкина. Тише, как мыши... Скользите, ползите, ребятки. Тсссс...

Они помогли ему встать на ноги, разматали несколько бинтов, прокрались на цыпочках по длинному коридору и завернули за угол.

— Божьи коровки! — прошептал Том. — Глядите! Они кладут мумию Пифкина в гроб, а гроб в этот... как его...

— Саркофаг, — вставил Смерч, знавший это мудреное слово. — Гроб — и еще гроб — и еще один гроб, малыш. Один больше другого, и каждый разрисован иероглифами, рассказами о жизни покойного...

— О жизни Пифкина?

— Ну, того, кем был Пифкин в той жизни, в тот год, четыре тысячи лет тому назад.

— Ага, — прошептал Ральф. — Смотрите — картинки на стенках гроба. Пифкину год от роду. Пифкину пять. Пифкин в десять лет — бежит со всех ног. Пифкин влез на яблоню. Пифкин понарошку тонет в озере. Пифкин забрался в сад с персиками и закатил себе пир. Стойте, а это что такое?

Смерч наблюдал за похоронными хлопотами.

— Они вносят в погребальную камеру разную мебель, чтобы ему было уютно в Стране Мертвых. Лодочки. Змеи. Кубарь с хлыстиком, чтобы вертелся. Свежие фрукты — на случай, если Пифкин проснется сотни лет спустя и захочет перекусить.

— Как не проголодаться! Эй, да что же это? Они уходят! Они закрывают гробницу!

Смерч обхватил Тома и крепко держал, а Том отчаянно рвался у него из рук.

— Они оставили Пифкина там, похоронили? Когда же мы его спасем?

— Успеется. Долгая Ночь вся впереди. Мы увидим Пифкина вновь, не сомневайся. И тогда...

Дверь гробницы со стуком захлопнулась.

Мальчишки подняли крик и вой. В темноте они слышали, как шлепается известковый раствор и шуршит мастерок, замуровывая последние щелочки между камнями, последние зазоры.

Плакальщицы удалились, унося онемевшие арфы.

Ральф стоял в своем костюме Мумии, как оглушенный, глядя вслед уходящим теням.

— Значит, вот почему я выпрядился Мумией? — Он дотронулся до бинтов. Он потрогал свое изборожденное морщинами из папье-маше, древнее лицо. — Значит, вот какую роль я должен играть в Канун Всех святых?

— Верно, малыш, верно, — пробормотал Смерч. — Египтяне умели строить на века. Они рассчитывали на десять тысяч лет. Гробницы, ребятки, гробницы. Могилы. Мумии. Кости. Смерть, смерть. Смерть была сердцевиной, зеницей ока, светом, душой и телом их жизни! Гробницы, все новые и новые гробницы с потайными ходами, так что никто не мог туда пробраться, чтобы воры не подкопались и не унесли души, игрушки, золото. Ты

одет Мумией, малыш, потому что так египтяне наряжались для Вечности. Закутавшись в полотняный кокон, они надеялись выйти на свет прекрасными бабочками, в какой-нибудь дальней, чудесной, полной любви стране. Ощупай свой кокон, дружок. Прикоснись к чуду.

— Ух ты,— сказал Ральф-Мумия и заморгал, разглядывая подернутые дымкой стены и древние иероглифы.— Выходит, у них каждый день был Канун Всех святых!

— Каждый день! — восхищенно ахнули все.

— Каждый день был Кануном Всех святых и для этих! — Смерч указывал куда-то пальцем.

Мальчишки обернулись.

В могильном склепе затрещала как бы зеленая молния. Земля затряслась, полнясь отголоском доисторического землетрясения. Где-то вулкан заворочался во сне, и на стены упал багровый отблеск раскаленного склона.

На стенах вокруг проступили рисунки первобытных людей, живших задолго до древних египтян.

— Ну! — сказал Смерч.

Молния ударила.

Саблезубые тигры пожирали пещерных людей, воющих от ужаса. Их кости тонули в ямах с природным асфальтом. Они утопали, завывая.

Смерч сморгнул. Молния разила с небес, поджигая леса. Один обезьяночеловек, удирая, схватил пылающий сук и ткнул его в пасть саблезубому тигру. Тигр взревел и отскочил. Обезьяночеловек, победно хохоча, швырнул горящий сук в кучу осенней листвы у себя в пещере. Сбежались другие люди, протягивая руки к огню, грелись, насмехаясь над перепутанной желтой тварью, чьи глаза светились в ночи.

— Видали, ребятки? — Отблески пламени плясали на лице Смерча.— Дни Вечного Холода миновали. А все потому, что один из этих смельчаков, изобретатель, запалил листья в пещере зимой.

— А при чем тут Канун Всех святых? — спросил Том.

— При чем? Да разрази меня молнией — при всем! Когда ты сам и твои друзья гибнут каждый божий день, как-то не досуг задуматься о смерти, а? Все время в бегах, некогда оглянуться. Но когда наконец ты остановился...

Он коснулся стен. Пещерные люди замерли на бегу.

— Тогда у тебя есть время подумать, откуда ты взялся, куда идешь. Огонь озаряет путь, ребятки. Костры и молнии. Можно созерцать утренние звезды. Костер в родной пещере — твоя защита. Только сидя у ночного костра, пещерный житель, человек-зверь, наконец-то мог спокойно покрутить свои мысли на вертеле, поливая жирком любознательности. Солнце умирало в небе. Зима наступала, как громадный белый медведь, стряхивая с себя лавины снега. Похороненный в снегах, он думал, вернется ли весна в этот мир. Воскреснет ли солнце на будущий год, или оно убито навеки? Об этом размышляли египтяне. Пещерный человек задавал этот вопрос за миллионы лет до них. Взойдет ли солнце завтра утром?

— Значит, с этого и начинался Канун Всех святых?

— С таких вот долгих размышлений по ночам, ребятки. И всегда все мысли кружились вокруг одного центра — огня. Солнце. Солнце, навеки угасшее в ледяном небе. Представьте, как это ужасало пещерного человека, а? Это же была Великая Смерть. Если солнце погаснет навеки, что с нами будет? Вот почему на исходе осени, когда все кругом увядало, умирало, обезьяночеловек ворочался во сне и вспоминал своих родителей, погибших в этом году. Духи звали его, голоса звучали у него в голове. Духи и голоса — это просто воспоминания, но пещерные люди об этом не знали. Закрыв глаза, они видели поздней ночью привидения, видения памяти, — духи манили, танцевали, и пещерные люди просыпались, подбрасывали сучья в огонь, тряслись, рыдали. Стаю волков было легче отогнать, чем воспоминания, чем бесплотные души. И они обхватывали грудь руками, молились, чтобы весна поскорее пришла, и, уставясь в огонь, благодарили богов за богатый урожай плодов и орехов. Вот уж это был Канун так Канун! Миллион лет назад, поздней осенью, в пещерах, с роем привидений в голове, навеки распрощавшись с солнцем...

Голос Смерча звучал все глуше.

Он разматывал еще метр или два своих погребальных пелен, перекинул их через руку, как рыцарский плащ, и сказал:

— То ли еще увидите. Пошли, мальчишки.

И они вышли из катакомб в сумерки древнеегипетского дня.

Великая пирамида стояла перед ними, ожидая.
— Последний на вышке — дядька мартышки! — бросил Смерч.

Дядькой мартышки остался Том.

11

Пыхтя и отдуваясь, они добрались до верхушки пирамиды, на которой оказалось, будто ожидая их, громадное увеличительное стекло из хрусталя — подзорная труба, лениво поворачивающаяся от ветра на золотом треножнике, великанский глаз, который умел приближать далекое.

На западе солнце, задушенное облаками, испускавшее дух, закатилось. Смерч подвывал от радости:

— Кануло в бездну, ребятки. Сердце, дух и плоть Кануна Всех святых. Само Солнце! Вот Озириса убили сызнова. Там закатился Митра, персидский огненный бог. Упал с небес Аполлон, воплощение света у древних греков. Солнце и пламя, ребятки. Глядите, моргайте. Загляните в хрустальную подзорную трубу. Поверните ее на Средиземноморское побережье, миль на тысячу ниже. Видите Греческие острова?

— А как же, — откликнулся невзрачный Джордж Смит, одетый в бледные одеяния Призрака. — Города и городишки, улицы, домики. Люди выскакивают на крыльцо, тащат еду!

— Да, — просиял Смерч. — Это их Празднество мертвых: Праздник Горячей пищи. Сласти или страсти по старинке. Не покормишь покойников, они тебе и подстроят какую-нибудь гадость! Вот и выносят им сладости, вкусности — прямо на порог!

В дальней дали, в ласковых сумерках, горячие кушанья исходили ароматным парком, блюда были выставлены для душ, которые неслись легкими клубочками дыма над страной живых. Женщины и ребятишки сновали туда-сюда возле греческих домов, вынося блюда для изобильного пира — одобренные пряностями, просто сляюнки текут!

Потом на всех Греческих островах разом хлопнули двери. Громоподобный стук разнесся на крыльях ночного ветра.

— Храмы запирают, — пояснил Смерч. — В эту ночь все святилища в Греции будут закрыты на двойной запор.

— Ой, смотрите! — Ральф — бывшая Мумия — крутанул хрустальную линзу. Яркий зайчик ослепительно сверкнул в глаза сквозь прорези всех масок. — Вон там зачем это люди мажут притолоки дверей черной патокой?

— Смолой, — поправил Смерч. — Черная смола, чтобы духи в нее вляпались, прилипли и не смогли пробраться в дом.

— Да, — сказал Том, — а мы-то с вами об этом не думали?

Тьма кралась вдоль берегов Средиземного моря. Из могил вставали духи, похожие на туман. Души мертвых брели вдоль улиц в саже и черных плаюмажах и тут же прилипали к черной смоле, которой были вымазаны все пороги и притолоки. Ветер жаловался и выл, словно оплакивая мучения мертвых, угодивших в ловушку.

— А вон Италия. Рим.

Смерч повернул линзу — стали видны римские кладбища. Люди клали еду на могилы и поспешно уходили.

Ветер хлопал полами плаща, раздувал капюшон Смерча.

Загудел в глотке, в широко разинutom зеве:

Осенний ветер, закружись!
Рваниць, вернись в ночную высь!
И унеси меня с собой,
Как мертвых листьев легкий рой!

Смерч сделал прыжок, антраша в воздухе. Мальчишки завопили от восторга, когда его плащ, платье, волосы, кожа, плоть, кости, сухие, как кукурузные кочерыжки, — все рассыпалось у них на глазах.

Ветер... кружись!
Рваниць... изменись...

Ветер растрепал его, рассыпал, как конфетти; миллион осенних листьев, золотых, бурых, красных, как кровь, ржаво-рыжих — вскипая, убегая через край, — охалка дубовых и кленовых листьев, лавина листьев орешника, листопад, россыпь, шорох, шепот — прямо в темные заводы небесной реки. Не один воздушный змей — нет, десять тысяч раз по тысяче мельчайших, как хлопья истлевшего праха, его подобий — вот все, что осталось от взорвавшегося, как хлопушка, Смерча.

Мир — крутись! Лист — кружись!
Трава — под лед! Деревя... в полет!

И с мириад других деревьев в царстве осени летели листья, чтобы схлестнуться в вихре, вздымающем несметные полчища сухих хлопьев, на которые распался Смерч, как на тысячи смерчи-ков и сквознячков, гудящих, как ураган, его голосом:

— Ребята, видите костры по всему Средиземноморью? Костры, загорающиеся все дальше на север, по всей Европе? Это костры страха. Факелы праздников. Не прочь поглядеть? Придется взлететь! А ну, разом!

И листья посыпались лавиной на каждого мальчишку, как жуткие порхающие бабочки, вцепились и унесли их с собой. Они пронеслись над египетской пустыней, крича песни и хохоча. Проплыли, заходясь от восторга и страха, над неведомым морем.

— Счастливого Нового года! — крикнул кто-то далеко внизу.

— Счастливого — чего? — переспросил Том.

— Счастливого Нового года! — прощелестел Смерч из вихря сухой листвы. — В стародавние времена Новый год наступал первого ноября. Это и вправду конец лета, начало зимнего ненастья. Не такой уж счастливый, но все же — Счастливый Новый год!

Они промчались над всей Европой и снова увидели внизу воду.

— Британские острова, — зашептал Смерч. — Хотите взглянуть на чисто английского, друидского бога мертвых?

— Хотим!

— Тихо, как пушинки одуванчика, мягко, как снежинки, падайте, слетайте вниз, все как один.

Мальчишки слетели.

Их ноги пробили по земле мягкую дробь, как будто кто высыпал большой мешок каштанов.

12

Так вот мальчишки, посылавшиеся на землю градом яркой осенней мишуры, приземлились в таком порядке:

Том Скелтон, облаченный в свои аппетитные косточки.

Генри-Хэнк, более или менее сходявший за Ведьму.

Ральф Бенгстрем, распеленутая Мумия; с каждой минутой с него сматывался еще один виток бинта.

Призрак по имени Джордж Смит.

Джи-Джи (другого имени не требовалось) — весьма представительный Обезьяночеловек.

Уолли Бэбб, который уверял, что оделся Горгульей, но все решило, что он больше похож на Квазимодо.

Фред Фрайер ни дать ни взять — Нищий, вывалившийся в придорожной канаве.

Последний, но вовсе не из последних, Растрепан Нибли — костюм он соорудил в последнюю минуту, натянув страшную белую маску, а косу стянул у дедашки в сарае.

Когда все мальчишки благополучно опустились на английскую землю, миллиарды осенних листьев осыпались с них и унеслись с ветром.

Они стояли среди необозримого поля пшеницы.

— Держи, мастер Нибли, я прихватил твою косу. Бери! Хватай!.. Ложись! — вдруг крикнул Смерч. — Друидский бог смерти. Самайн! Ложись ничком!

Они повалились ничком.

И вовремя — гигантская коса широким взмахом неслась к ним с неба. Она рассекала ветер своим острым, как бритва, лезвием. Со свистом она испарывала облака. Сносила головы деревьям. Начисто сбривала растительность со щеки холма. Подкашивала пшеницу под корень. В воздухе носились и падали колосья — взвихрилась пшеничная пурга.

И с каждым взмахом — косящим, разящим, бредущим — к небесам рвались крики боли, вопли ужаса, предсмертные стоны.

Коса взлетела со свистом.

Мальчишки припали к земле.

— Уух-х! — гикнул великанский голос.

— Мистер Смерч, неужели это вы? — крикнул Том.

Возвышаясь над ними на сорок футов, громоздясь в небе, с великанской косой в руках, стояла колоссальная фигура в плаще с капюшоном, скрывавшим лицо как полночный туман.

Коса пошла вниз — шшшшшсс!

— Мистер Смерч, пощадите нас!

— Молчи. — Кто-то толкнул Тома под локоть. Мистер Смерч лежал на земле рядом с ним. — Это не я. Это...

— Самайн! — прогремел голос из тумана. — Бог мертвых! Я собираю свою жатву, вот так и вот так.

Сссвись!

— Здесь все, кто умер в этом году! И все они, за свои грехи, этой ночью превращены в разных тварей!

Шшшшсссухххх!

— Не надо! — захныкал Ральф-Мумия.

Разззззз! Коса со свистом вспорола на спине костюм Растрепы Нибли, оставив длинную прореху, вышибла у него из рук его жалкую маленькую косу.

— Твари!

Пшеница, подкошенная косой, под ударами ветра, кружась, отбивала крики потерянных душ, всех тех, кто умер за последние двенадцать месяцев, и они дождем сыпались на землю. И стоило им упасть, коснуться земли, как зерна превращались в ослов, кур, змей — они метались, кудахтали, орали. И все они были уменьшены. Все были крохотные, малюсенькие, не больше червячков, не больше мизинцев на ногах, не больше кончика носа, если его срезать. Колосья пшеницы сотнями и тысячами реяли в воздухе и падали вниз пауками, лишенными голоса — они не могли ни плакать, ни кричать, ни просить пощады, — в полном безмолвии они разбегались в траве, лавиной захлестывая мальчишек. Сотня сороконожек на пунтах протанцевала по спине Ральфа. Две сотни пиявок присосались к косе Растрепы Нибли, пока он, стряхнув с себя кошмар, не сшиб их одним яростным ударом. Повсюду сыпались ядовитые пауки и мельчайшие удавы.

— Вот вам за грехи! За грехи! Получайте! Вот вам! — гулко прохотал голос в небе, заглушая свист ветра.

Коса блистала. Рассеченный ею ветер рассыпался звонким громом. Пшеница ходила волнами, вместо колосьев вырастали миллионы голов. Головы, отсеченные, падали вниз. Грешники стучали по земле как камнепад. И, коснувшись земли, превращались в лягушек, в жаб, в несметное множество бородавчатых и чешуйчатых тварей, в медуз, выброшенных на сушу, разящих зловонием.

— Я больше не буду! — взмолился Том Скелтон.

— Не убивай меня! — подхватил Генри-Хэнк.

Пришлось крикнуть погромче, потому что коса разила с ужасным ревом. Казалось, что девятый вал, поднявшись до неб, обрушился вниз, снес все с берега и откатился назад, чтобы подсесть гряде облаков. Слышалось, как даже облака истоиво и горячо молятся шепотом, прося пощады. Только не я! Только не меня!

— Это вам за все зло, что вы совершили! — сказал Самайн.

И коса взлетала раз за разом, собирая жатву душ, которые падали и обращались в сленных головастика, отвратительных клопов и мерзопакостных тараканов — они расползались, разбегались, сучили ножками, ползали, корчились, ковыляла.

— Ну и ну! Да он — клопный царь!

— Повелитель блох!

— Прядильщик змей!

— Мушиный заводчик!

— Нет! Самайн! Бог октября. Бог мертвых!

Самайн топнул своей ножищей, придавив тысячу клопов, прятавшихся в траве, растоптал десять тысяч крохотных тварей-душ, барахтавшихся в пыли.

— Сдается мне... — сказал Том, — не пора ли нам...

— Смываться? — перебил Ральф — как видно, это слово давно вертелось у него на языке.

— Проголосуем?

Коса взвизгнула. Самайн неистовствовал.

— Не хватало еще! — сказал Смерч.

Все разом вскочили.

— Эй, вы! — громыхнул над их головами голос Самайна. — Назад!

— Нет, сэр, спасибо, — сказал кто-то и еще кто-то.

И — правой-левой! — бросились прочь.

— Сдается мне, — сказал Ральф, задыхаясь, прыгая, удирая, утирая слезы, — что я почти всю жизнь вел себя хорошо. Я не заслужил смерти.

— Аа-ххх! — ухнул Самайн.

Коса упала, как нож гильотины, снесла крону дубу, срубила клен. Целый урожай спелых яблок посыпался где-то в мраморную чашу.словно полный дом мальчишек разом свалился с лестницы, считая ступеньки.

— По-моему, он не расслышал, Ральф, — сказал Том.

Они нырнули, залегли среди скал, поросших кустарником. Коса высекала искры из валунов.

Самайн испустил такой вопль, что лавина камней обрушилась с ближайшего холма.

— Уй-ю-юй! — сказал Ральф, скорчившись, согнувшись в три погибели, свернувшись в клубок — колени к груди, глаза крепко зажмурены. — Если вздумаешь препить — только не в Англии!

И как последний заряд дождя — ливень, лавина бьющихся в истерику душ, превращенных в мокриц, обращенных в клопов, в пауков-сенокосцев, в блох, в жуков-могильщиков, распознанных по телу, затопила мальчишек.

— Эй! Гляди! Вон пес!

Одичалый пес, обезумев от страха, опрометью мчался вверх по скале.

Но его мордочка, его глаза — что-то такое у него в глазах...

— Неужели это?..

— Пифкин? — подхватили все.

— Пиф! — закричал Том. — Ты здесь назначил встречу? Ты...

Но — ууух! — свистнула коса.

Визжа от ужаса, песик перекувырнулся через голову и кубарем скатился в траву.

— Держись, Пифкин! Мы тебя узнали, мы видим тебя! Да не бойся ты! Не убегай! — Том свистнул.

Но песик, скуля и жалуясь испуганным, родным, знакомым голосом славного Пифкина, умчался и пропал.

Но что это? Эхо его жалобного таяканья донеслось с далеких холмов:

— Спаси-и-ите! Ищи-и-и-ите... Ищите. Ищите! Ищи-и-и-и-те...

«Где? — подумал Том. — Негодники божины, где?»

13

Самайн поднял косу, играя своей силой. Он рассмеялся, довольный собой, плюнул огненной слюной на свои загорелые ладони, покрепче ухватился за рукоятку косы, широко размахнулся и — замер...

Где-то вдали послышалось пение.

Ближе к вершине холма, в небольшой рощице, мерцал слабый огонек костра.

Там собрались люди, как тени; поднимая руки, они пели песню. Самайн прислушался; коса, как застывшая улыбка великана, неподвижно висела в воздухе.

О Самайн, бог мертвых!

Выслушай нас!

Мы, великие жрецы друидов, здесь,

В этой роще деревьев, великанов Дубов,

Молим тебя за души умерших!

Там, вдалеке, эти неведомые люди у горящего костра размахивали блестящими ножами, поднимали вверх кошек, коз, распевая:

Мы молим тебя за души тех,

Кто превращен в бессловесных тварей.

О бог мертвецов, мы приносим тебе

В жертву вот этих животных,

Чтобы ты освободил

Души наших родных и друзей,

Умерших в этом году!

Ножи сверкали.

Самайн улыбнулся во весь рот. Жертвенные животные закричали.

Повсюду: под ногами у мальчишек, в траве, среди камней — где плененные души, стинувшие в пауках, заточенные в тараканах, заброшенные в блохах, мокрицах и сороконожках, разлевали немые рты и беззвучно зывали, корчась и извиваясь.

— Освободи! Не погуби! — молились друиды на склоне холма.

Костер жарко разгорелся.

Ветер с моря завыл над долинами, пронесся среди скал, коснулся пауков, покатила свернувшихся мокриц, опрокинул тараканов. Крохотные пауки, насекомые, мелкие-премелкие собачки и коровки пухом понеслись прочь, как хлопья снега. Маленькие души, узницы, заключенные в тельца насекомых, рассеялись.

Освобожденные, они с лепотом и щебетом полетели ввысь, словно к куполу, рождающему гулкое эхо.

— В небеса! — воскликнули друидские жрецы. — Вы свободны! Летите!

И они улетели. Они скрылись в воздухе, слитно вздохнув, с невыразимой благодарностью и облегчением.

Самайн, бог мертвых, пожал плечами и отпустил их с миром.

Но вот — так же внезапно — он весь застыл в напряжении.

Точно так же замерли мальчишки и мистер Смерч, притаившиеся в скалах.

По долине, по склону холма беглым шагом наступала армия римских солдат. Предводитель бежал впереди всех, крича:

— Солдаты Рима! Истребляйте дикарей! Низвергайте нечистых богов! Так приказал Светоний!

— За Светония!

Самайн, в небесах, замахнулся своей косой, но поздно!

Солдаты вонзили мечи и топоры в стволы священных дубов друидов.

Самайн взревел от боли, как будто топоры подрубили ему колени. Священные деревья стонали, их ветви со свистом рассекали воздух, стволы с предсмертным стоном и грохотом валялись наземь.

Самайна там, наверху, била дрожь.

Жрецы-друиды, спасавшиеся бегством, остановились, обмятые дрожью.

Деревья валялись.

Жрецы с подрубленными сухожилиями, коленями, ступнями падали. Их перскатывало ветром, как стволы ураганом.

— Нет! — захлопотал Самайн высоко в воздухе.

— Да! — загремели римляне. — А ну!

Солдаты нанесли последний страшный удар.

И Самайн, бог мертвых, с подрубленными корнями, с подрубленными голеньями, стал падать на землю.

Ребята, задрав головы, успели отскочить. Им казалось, что целый лес, разом подрубленный, обрушился гигантской грудой. Они утонули в тени его полупночного падения. Громоподобный голос его смерти опережал его падение. Он был самым гигант-

ским деревом на свете, выше самого высокого дуба, который когда-либо валялся замертво и расставался с жизнью. Он падал с душераздирающим скрипом, бил сучьями дико воющий воздух, стараясь удержаться.

Самайн грянулся оземь.

Он свалился с ревом, который потряс до глубины окрестные холмы и задул, как свечки, священные костры.

Когда Самайн, срубленный, простерся на земле, все оставшиеся в живых друидские дубы повалились вслед за ним, словно подкошенные последним взмахом косы. Его собственная громадная коса, как великанская улыбка, затерянная в полях, расплылась серебряной лужицей и канула в траву.

Молчание. Тлеющие уголья. Шорох ветра в листве.

Солнце вдруг скатилось вниз.

Мальчишки смотрели, как жрецы-друиды истекают кровью в траве, а римский центурион топчет угасшие костры, разбирающая священный пепел.

— Здесь мы воздвигнем храм нашим богам!

Солдаты снова разожгли костры и воскурили благовония перед золотыми идолами, которых принесли с собой.

Но не успели они развести огонь, как на востоке загорелась звезда. В далекой пустыне, под звон вербажужных бубенцов, тронулись в путь Волхвы.

Римские солдаты подняли свои бронзовые щиты, заслоняясь от горящей в небе Звезды. Но щиты расплавились. Римские кумиры сплавились, превратились в статую Девы Марии с Младенцем. Оружие римлян плавилось, растекалось, преображалось. И вот они уже одеты в облачения священников, поющих псалмы на латыни перед новыми и новейшими алтарями, а тем временем Смерч, припав к земле, искоса наблюдал за этой сценой и шептал своим маленьким ряженым спутникам:

— Вот-вот, ребята, видали? Боги сменяют богов. Римляне срубили друидов, их дубы, их бога мертвых под корень, да? И поставили на их место своих богов, так? А вот и христиане плетели и свергли римлян! Новые алтари, мальчишки, новые куржания, новые имена...

Порыв ветра задул все свечи в алтаре.

В полной тьме Том закричал от страха. Земля дрогнула и закружилась воляком. Ливень мигом вымочил их до костей.

— Что творится, мистер Смерч? Где мы?

Смерч высек огонь своим кремневым пальцем и поднял его высоко вверх.

— Да это же, разрази меня... это же темное средневековье. Самая долгая, самая темная ночь. Много веков минуло с тех пор, как Христос пришел и покинул мир. и...

— Где Пифкин?

— Я здесь! — донесся голос с непроглядно-черного неба. — Похоже, я лечу на метле! Она меня унесит!

— Эй, и меня тоже, — сказал Ральф, а за ним Джи-Джи, потом Растрепан Нибби, и Уолли Бэбб, и все остальные.

Раздался шепот по всей земле, словно гигантский кот умылся, расправляя усищи в полной тьме.

— Метлы, — бормотал Смерч. — Шабаш Метел. Октябрьский праздник Метлы и Помела. Ежегодный перелет.

— Перелет — куда? — спросил Том, крича во весь голос, потому что в воздухе проносились со свистом и гиканьем невидимые полицаи.

— Ясно — Туда, Где Делают Метлы!

— Спасите! Лечу-у! — завопил Генри-Хэнк.

Шшш-ух! Метла одним взмахом унесла его прочь.

Гигантская лохматая кошка шмыгнула мимо Тома, оцарапав ему щеку. Он вдруг почувствовал, что деревянная лошадка выкидывает под ним кренделя.

— Держись! — сказал Смерч. — Когда под тобой норовистая метла, остается только одно: держись крепче!

— Держусь! — крикнул Том, улетая.

14

Метлы дочиста вымели все небо.

Мальчишки, оседавшие восемь метел, своими воплями дочиста разогнали остатки облаков.

Поглощенные, они не заметили, как их испуганные вопли перешли в крики восторга, и почти позабыли про Пифкина, который мчался рядом с ними среди облаков-островков.

— Правьте сюда! — приказал Пифкин.

— Сию минуту! — откликнулся Том Скеалтон. — Слушай, Пиф, оказывается, удержаться на метле ужасно трудно!

— Ты будешь смеяться, — сказал Генри-Хэнк, — но мне тоже.

Все поддерживали его: то и дело приходилось цепляться, карабкаться, чтобы не расстаться со скакуном.

Метлы в небе летели так густо, что на небе не осталось ни облачка, не было места даже клочку тумана, не говоря о мальчишках. Образовалась невиданная дорожная пробка из метельного транспорта; можно было подумать, что все леса на земле с гулом встряхнулись, сбросили ветки и, шаря по осенним полям, срезали под корень и обматывали удавками все колосья, из которых могли получиться хорошие веники, метлы, выбивалки, пучки розог, — и взлетали прямо в небо.

Со всего света слетелись и все шесты, на которых натягивали веревки, чтобы вешать белье на задних дворах. А с ними прилетели и пучки травы, охапки сена, колючие ветки — разогнать стада облачных овец, начистить до блеска звезды, напасть на мальчишек.

Эти самые мальчишки, каждый на своем толщем скакуне, оказались под градом бесчисленных ударов, затрещин, оплеух, их хлестали наотмашь прутья, палки, плети. Так им встало за то, что взлетели в небо. На каждого пришлось по сотне синяков, по дюжине царапин и точно по сорок девять шишек на каждый незащитный череп.

— Эй, мне расквасили нос! В кровь! — радостно ахнул Том, разглядывая свои красные пальцы.

— Плянь! — крикнул Пифкин; он влетел в облако сухим, вылетел мокрым-мокрехонек. — Чепуха! Мне подбили глаз, дали в ухо и выбили зуб!

— Пифкин! — воззвал к нему Том. — Ты все твердил, чтобы мы тебя искали, а мы понятия не имеем... Где?

— В воздухе! Везде! — сказал Пифкин.

— Во-дает! — пробормотал Генри-Хэнк. — Да ведь вокруг земли накручено два триллиона сто миллиардов девяносто девять миллионных акров воздуха! На каждом из них искать Пифкина?

— Я хотел сказать... — Пифкин задохнулся.

Прямо перед ним целая толпа метел пустилась в пляс, руки в боки, встала стеной, как кукуруза в поле или как деревенский плетень, внезапно спятивший или сбесившийся.

Облако — раздутая бесовская харя — разинуло пасть. Оно заглогло Пифкина вместе с метлой, потом захлопнуло рот, и в глубине его туманного чрева послышалось урчание — видно, от Пифкина у него начались колики.

— Пробивайся наружу, Пифкин! Аягни его в пузо! — крикнул кто-то.

Но никто не лаялся в брюхе у облака, и оно, сытое и довольное, проплыло, смакуя свой вкусный и питательный обед из малячишки, по Заливу Безвременья к Рассвету Вечности.

— «Ищете меня в воздухе»? — фыркнул Том. — Елки-моталки, да это как в страшной сказке: «Пойди туда, не знаю куда!» Жуть!

— Я вам покажу еще не такую жуть! — сказал Смерч, проплывая мимо на помеле, похожем на мокрую разъяренную кошку на палке. — Хотите поглядеть на ведьм? На колдуний, ведуний, ворожей, колдунов, ведунов, черных магов, демонов, дьяволов? Вы их увидите — во множестве, целыми толпами. Разуйте-ка глаза!

И вправду — внизу, по всей Европе, по всей Франции, по Германии и Испании, ночные дороги так и кишели толпами, шайками, процессиями невиданных грешников, спешащих на север, впопыхах бегущих с юга, от теплого моря.

— Так, так! Скачите, бегите! В сторону ночи — это сюда. В царство мрака — по этой дороге! — Смерч спикировал вниз, пошел на бреющем полете, громко крича над скопищами и толпами, как генерал, ведущий в бой опытных, беспощадных солдат. — Быстрей! В укрытие! Затаись! Переждите век-другой!

— От чего им прятаться? — удивился Том.

— Христиане! Христиане идут! — громко закричали голоса внизу, на дорогах.

Это и был ответ.

Том моргнул и стал всматриваться, паря в воздухе.

Все толпы со всех дорог бежали, собирались на уединенных фермах или на перекрестках трех дорог, на сжатых полях, в го-

редах. Старики. Старухи. Беззубые, они в дикой ярости воили, прозя небу, пока метлы снижались к земле.

— Да-а, — сказал Генри-Хэнк, — вот это ведьмы!

— Отдай мою душу в химчистку и повесь сушиться на забор, если ты не прав, мальчуган, — согласился с ним Смерч.

— Вон ведьмы сгигают через костры, — сказал Джи-Джи.

— А там — мешают вареву в котлах! — сказал Том.

— А те — чертят знаки в пыли, на дворе фермы! — добавил Рильф. — Они что, взыправдашние? То есть я всегда думал...

— Взыправдашние? — Смерч так разобиделся, что чуть не свалился со своей метлы, похожей на взбешенную кошку. — (О вы, святые негодники, великопутаники, будьте мне свидетелями! Да в каждом городишке есть своя ведьма. В каждом городе прячется какой-нибудь древнегреческий жрец-язычник, какой-нибудь римский поклонник карманных божков, и все они удирают по дорогам, залезают в каналы, затаиваются в пещерах от христиан! Да в каждой деревушке из трех домов, на каждой убогой ферме затаились последыши древних религий. Видели, как друидов порубили в щепки? Они прятались от римлян. А теперь римляне, которые бросали христиан голодным львам, сами бегут куда глаза глядят и прячутся подальше. Так все мелкие, идолопоклоннические культы, какие только есть, отчаянно борются за существование. Смотрите, как они удирают, ребятки!

И он был прав.

Костры горели по всей Европе. На всех перекрестках и у каждого стога сена черные силуэты прыгали в обалде кошек над языками огня. Котлы кипели. Старые ведьмы изрыгали проклятия. Псы играли раскаленными угольями.

— Ведьмы! Да их видимо-невидимо! — сказал потрясенный Том. — Я и не знал, что их такое множество!

— Толпы, легионы. Том. Европа кишела ведьмами. Ведьмы под ногами, под кроватями, и в погребах, и на чердаках.

— Ну и ну! — сказал Генри-Хэнк, гордясь своим костюмом. Ведьмы. — Настоящие ведьмы! А они умели разговаривать с покойниками?

— Нет, — сказал Смерч.

— А вызывать дьявола?

— Нет.
— Держать бесов в дверных петлях и выпускать в полночь,
с визгом жалобным и воем?

— Нет.
— Лететь на помеле?
— Отнюдь.
— Напускать на людей чих и чох?
— Увы — нет.
— Изводить людей, втыкая булавки в куколок?
— Нет.
— Эгей, да что же они, в конце концов, умели?
— Ничего.
— Ничего! — закричали все мальчишки в страшной обиде.
— Зато они думали, что умеют, ребятки!

Смерч повел свою летучую бригаду на метлах на бреющем полете над фермами, где ведьмы кидали лягушек в кипящие котлы, толкали в ступках сушеных жаб, брали понюшку пыльцы из мумий, кривлялись, корчились от смеха.

— Ну-ка, призадумайтесь. Что значит слово «ведьма»?

— Это... — начал Том, но ничего не успел сказать.

— Ведение, — продолжал Смерч. — Ум. Вот что это значит на самом деле. Знание. Так что каждый мужчина, каждая женщина — у кого хватало мозгов что-то проведать, разведать, сведать, кто хотел знаний, — поняли?... — каждый, у кого ума было не занимать и кто позабыл об осторожности, назывался...

— Ведьма! Ведун! Ведьмак! — закричали ребята.

— И кое-кто из этих знатоков, ведающих и знающих, при-творялся ведьмой или знахарем или внушал себе, что видит при-видения, бродячих мертвецов или ковыляющих мумий. А если кто-нибудь ненароком умирал в одночасье, они приписывали себе всю честь. Им нравилось верить, что они владеют силой, а на деле они ничего не могли, ребятки, увы и ах, но это чистая правда. Послушайте-ка! Там, за холмом. Все метлы родом оттуда. И туда они все слетаются.

Вяжем метлу мы,
Метла непростая;
В небе угрюмом
Птицей летает!

Ведьме раздолье,
Как ветру в поле, —
Знай, погоняет!
С визгом и воем
Волны прибоя
С облачной пеной
В море-Вселенной
Одолевает!

Внизу полным ходом работала фабрика ведьминых метел, все суетились, вырезали лапки, вязали метлы, а те, как только их испекавали на лапки, в снопах искр вылетали из дымовых труб. А ведьмы прыгали на них с коньков крыш и мчались по извездному небу.

По крайней мере, так казалось мальчишкам, и до них доно-силась песня, где-то пел хор:

Вставали ль ведьмы в час ночной,
В полночный час,
И с нежитью и чертовней
Пускались в пляс?
Нет!

Все это — самооговор,
Все — болтовня!
Ну станет ли хвалиться вор,
Что свел коня?

Расхвастались себе во вред
Да на беду!
За этот безобидный бред —
Предать суду!

Материками овладела
Безумный страх:
Младенцев, бабок, юных дев
Жгли на кострах!

Толпы свирепствовали, металась по деревням и фермам, с факелами, с проклятиями. Костры пылали от Ла-Манша до бе-регов Средиземного моря.

Когда в десятке европейских стран
Десятки тысяч «коладунов» и «ведьм»
Плясали в воздухе чудовишный канкан —

Повешены, другие сожжены, —
Народ честил друг друга: ах, подсвинок сатаны,
Ух, чертова свинья! Вздвигнувшийся кабан!

Дикие кабаны, на которых ведьмы сидели как вайты, трусили по черепичным крышам, высекая искры, храпя клубами дыма:

Европу затянула дым ведьминых костров.
Их судей жгли другие в свой черед.
За что? За пару слов!

Додумались: «Невиноватых — нет!
Все — ложь, все — грех!»
Так что ж нам делать?
— Истребляйте всех!

Дым клубился в небе. На каждом перекрестке болтались на виселицах ведьмы, вороны састались, черные, как оперение мрака.

Мальчишки висели в небе, цепляясь за свои металы, выкатив глаза, разинув рты.

— Может, кто-нибудь хочет стать ведуном? — помолчав, спросил Смерч.

— О-ой, — сказал Генри-Хэнк, дрожа в своих ведьминых лохмотьях. — Только не я!

— Не позавидуешь, а, мальчуган?

— Не позавидуешь!

Металы понесли их дальше сквозь дым и копоть.

Они приземлились на безлюдной улице, на открытом месте, и это был Париж.

Металы выпали у них из рук — свалились замертво.

15

— А ну-ка скажите, ребятки, что нам нужно, чтобы напугать пугальщиков, нагнать страху на страховальщиков, напугать ужас на ужасальщиков?

— Самые главные боги?

— Самые главные колдуны?

— Самые большие соборы? — сказал Том Скеелтон.

— Молодчина, Том, правильно! Всякая мысль растет, так? Религия разрастается. И как еще! Воздвигают храмы, которые так велики, что могут бросить тень на весь континент. Строят башни, которые видны за сто миль. Строят такой высочайший и величайший храм, что там живет горбун, звонит во все колокола. Так вот, ребята, помогите-ка мне воздвигнуть храм кирпичик за кирпичиком, контрфорс за контрфорсом. Давайте построим...

— Нотр-Дам! — закричали восемь мальчишек.

— И у нас есть очень веские причины, чтобы построить Нотр-Дам, потому что... — сказал Смерч. — Прислушайтесь...

Бом!

В небе ударил колокол.

Бом!

— ...На помощь... — прошепело над ними, когда звон затих.

Бом!

Мальчишки взглянули вверх и увидели, что на недостроенной колокольне, на луне, промоздятся какие-то леса. И на самой верхушке был подвешен бронзовый колокол, звонивший во всю мочь.

А изнутри колокола после каждого удара, рывка, толчка слабый голосок молил:

— На помощь!

Ребята посмотрели на Смерча.

У них в глазах горел один вопрос: Пифкин?

— Встретимся в воздухе! — вспомнил Том. — Так и есть!

Так оно и было: там, в колоколе, болтался вниз головой бедняга Пифкин, вместо языка отбивая удары своей головой. Ну если не сам Пифкин, то его тень, дух, заблудшая душа.

То есть поймите: когда колокол отбивал часы, вместо языка в нем качался живой, из плоти и крови, Пифкин. И его голова ударяла в колокол. Бом! И снова: бом!

— Да ему мозги вышибет! — ахнул Генри-Хэнк.

— На помощь! — звал Пифкин, тень, мотавшаяся в пасти колокола, призрак, подвешенный на цепи вверх ногами, чтобы отзванивать четверти часа и полные часы.

— Летите! — крикнули мальчишки своим метлам, но те лежали замертво на парижской мостовой.

— Испустили дух,— мрачно пробормотал Смерч.— Ничего не осталось — ни духу, ни огня, ни задора. Ну что ж... — Он потер пальцами подбородок, так что искры брызнули во все стороны.— Как нам забраться в такую высь выручить Пифкина?

— Может, вы слетаете, мистер Смерч?

— Э нет, не пойдет. Вы сами должны его спасать, ныне и вечно, снова и снова, до последнего, главного спасения. Погодите-ка. Ага! Блестящая идея! Мы собрались построить Нотр-Дам, точно? Так давайте его строить, мы его непременно построим — и взберемся туда, на самый верх, где висит наш твердолобый, колокольно-звонкий, отбивающий часы Пифкин! Вперед и выше! Бегите вверх по ступенькам!

— По каким ступенькам?

— Да вот они! Вот! Вот! И вот!

Кирпичи слетались, складывались. Мальчишки прыгнули. И стоило им выбросить ногу вперед, вверх, опустить — как под ногой оказывалась ступенька, единственная. До следующего прыжка.

Бом! — загудел колокол.

— На помощь! — простонал Пифкин.

Ноги мальчишек, бегущих в воздухе, опускались, с топотом каблучков, шарканьем, стуком на ступеньку. На следующую.

Ступеньки одна за другой возникали в пустоте.

— Помогите! — сказал Пифкин.

Бом! — гулко откликнулся колокол.

Так они и взбегали по пустоте в пустоту, а Смерч понукал их, даже подпихивал сзади. Они бежали под бликами света, по чистому ветру, но кирпичи, каменные плиты и известковый раствор, тасуясь, как колода карт, метали себя им под ноги, застывая на лету, затвердевая под каблучками.

Им казалось, что они взбегают на слоенный торт, который наслаивается сам собой, слой за каменным слоем, под запололненный звон колокола и жалобный голос Пифкина, умолявший о помощи.

— Вон там — наша тень! — сказал Том.

И вправду — тень от собора, от грандиозного собора Парижской Богоматери, тянулась в лунном свете по всей Франции и наполовину захватывала Европу.

— Выше, ребята, выше! Не ждите, бегите!

Бим-бом!

На помощь!

Они бежали со всех ног. Они стали спотыкаться на каждой ступеньке, но новые ступеньки оказывались на месте и не давали им упасть, а вели их все выше и выше, и тень шпилей тянулась все дальше и дальше, через реки и поля, гасила последние костры ведьм на перекрестках. Ведьмы, бесовки, колдуны, знахари, дьявольские прислужники, за тысячу миль отсюда гасли, как свечи, курясь дымком, с воем разбегались, прятались куда попало, а собор рос в самое небо, все выше, выше.

— Как римляне срубили друидские рощи и подрубали под корень их бога мертвых, так мы, ребята, этим храмом отбрасываем такую тень, в которой ни одной ведьме не выжить, а жалкие колдунышки и потрепанные волшебники пикнуть не смеют. Конец всяким колдовским кострам. Одна лишь великолепная пламенеющая свеча — Нотр-Дам. Вперед!

Мальчишки залились счастливым смехом.

Потому что последняя ступенька утвердилась у них под ногами.

Они добежали до верха, запыхавшись.

Собор Парижской Богоматери был построен, завершен.

Бом! — негромко пробил очередной час.

Громадный бронзовый колокол содрогнулся.

И опустел.

Мальчишки наклонились, заглядывая в его разверстый зев.

Внутри не было никакого языка, похожего на Пифкина.

— Пифкин! — окликнули они.

— ..кин, — прошепстало эхо, как из пещеры.

— Он где-то здесь. Он же обещал встретиться с вами в воздухе. А Пифкин всегда держит слово, — сказал Смерч. — Посмотрите вокруг, ребятки. Отличная работа, а? Вместо того чтобы трудиться не покладая рук несколько веков — пробежались, отдышались, и все? Ах ты, да ведь тут не хватает не только Пифкина. А чего? Смотрите! Ищите! Ну?

Мальчишки озирались в полном недоумении.

— Э-эээ...

— Вам не кажется, что постройка ужасно скучная, а? Унылая, ничем не украшенная...

— Горгульи!

Все обернулись, уставились на... Уолли Бэбба, который вырядился Горгульей на Канун Всех святых. Он просиял от гордости.

— Горгульи! Здесь нет ни одной горгульи, ни одной химеры.

— Горгульи.— Смерч произнес диковинное слово раздельно, тягуче, смакуя, ощупывая его своим языком ящерицы.— Горгульи. А не рассадить ли нам их по местам, а, ребятки?

— Как?

— Пожалуй, можно просто свистнуть им — и они тут как тут! А ну свистите, зовите сюда бесов, свистите чертям, зовите залихватистым свистом адских чудовищ и клыкастых ночных тварей!

Уолли Бэбб набрал полную грудь воздуха.

— Я готов!

Да как свистнет!

Все засвистели.

А чудища?

Они примчались со всех ног.

16

Находившиеся не у дел, неприкаянные существа по всей полуденной Европе встряхнулись во сне и воспрянули от каменного своего сна.

А это значит, что все средневековые гербовые звери, все стародавние сказки, древние кошмары, все встхие, запятанные демонами, все погибавшие в небытии ведьмы, все вздрогнули, зашмыгав зов, и понеслись, поднимая пыльные смерчи, по всем дорогам, бесшумно полетели по воздуху, прорвались, как заряды дробы, сквозь кроны потрясенных деревьев, перебрали ручьи, переплыли реки, пронеслись выше леса стоячего и ниже облака ходячего — и прибывали, валили валом.

Более того, это значит, что все поверженные статуи, все идо-
лы, полубоги и полубожки со всей Европы, которые усыпали

землю, как жуткий таянущий снег, заброшенные в развалинах, вдруг встрепенулись, открыли глаза и выползли — саламандрами на дороги, летучими мышами в небеса, дикими собаками динго в чащи. Они летели, скакали галопом, ползали, извиваясь.

Все это сопровождалось восторгом и удивлением, а также нестройными криками мальчишек, облепивших парапет, и сам Смерч глядел, наклонившись, вниз, как с севера, юга, востока и запада прибывают полчища диковинных чудищ, в панике и неразберихе толкуются у ворот и жадут, когда им свистнут.

— Может, польем их расплавленным свинцом?

Мальчишки увидели, что Смерч улыбается.

— Да бросьте вы! — сказал Том.— Горбун уже пробовал это давным-давно.

— Ладно — значит, никаких котлов со свинцом. А не свистнуть ли нам, чтобы летели сюда?

И все разом засвистели.

Повинуясь призыву, все полчища, стада, прайды, лавины, сборища, бешеные стремнины чудищ, страшилищ, вздыбленных воплощений зла, подпорченных добродетелей, совратившихся святых, заблудших гордецов, самолюбий, лопнувших, как проколотые пузыри, подтягивались, вползали, сыпались дождем, взбегали по отвесным стенам Нотр-Дама. Словно бурный прибой кошмарных видений, валом, с воем и топотом, они захлестнули собор, примостились на каждом зубце, застыли на каждом торчащем камне.

Вот тут скакали свиньи, а там — черти в козлином облике, а на дальней стене явились отродья сатаны, которые на ходу меняли свой облик — сбрасывали рога, отращивали новые, теряли бороды, а вместо них прытко росли извивающиеся, как черви, усы.

Кое-где на штурм стен, шурша, ползли скопища масок и личин, взбирались на высокие контрфорсы, с помощью армии лангетов и ковыляющих омаров. Вон там лезут гориллы головы, зубастые и страшные, как смертный грех. А вон человечьи головы, с зажатыми в зубах колбасами. А за ними поспешает маска Шута, которую поддерживает паук, обученный балету.

Творилось такое, что Том сказал:

— Боже ты мой, что творится!

— То ли еще будет, смотрите! — сказал Смерч.

Мало того что Нотр-Дам взяли приступом разные чудища и жуткие рожи на паучьих ножках, хари и личины — теперь явились еще драконы, норотившие проглотить улепетывающих детишек, и киты, заглывающие пророка Иону, и колесницы, битком набитые черепами и скелетами. Акробаты и воздушные гимнасты, изуродованные до неузнаваемости бessenятами, ковылялаи, падали и застывали в причудливых позах на крыше.

Всему этому аккомпанировали свиньи на арфах, поросята на флейтах-пикколо, собаки наяривали на волянках, так что сама музыка помогала колдовству, заманивая новые толпы уродец на стены собора, где они навеки прилипали, приставаали к крыше, обращаясь в камень.

Вот обезьянка пощипывает струны лиры, а там — трепыхается дсва с рыбьим хвостом. Откуда ни возьмись прилетел сфинкс, сбросил крылья, стал наполовину женщиной, наполовину львом и улегся подремать на долгие века под высокими и гулкими колоколами.

— Ой, а это кто? — крикнул Том.

Смерч наклонился вниз и фыркнул:

— Это... да это же Грехи, ребятки! И разные неописуемые существа. Вон там, например, ползет Угрызение Совесть.

Они посмотрели, как оно ползет. Оно ползло бойким червячком, очень ловко.

— Ну, — громко прошептал Смерч. — Пора. Рассаживайтесь. Дремлите. Засыпайте.

Стаи диковинных существ повернулись раза по три на месте, как злые собаки, и улеглись. Все чудовища утвердились как влитые. Все гримасы застыли в камне. Все вопли утихли.

Луна заливала светом, пятнала вырезными тенями химер и чудовищ Нотр-Дама.

— Ты понимаешь, что к чему, Том?

— А как же. Все древние боги, сны незапамятных времен, все кошмары темных веков, все старые позабытые выдумки подыхали от безработицы, а мы им дали работу. Мы их сюда вызвали! Мы их вызвали!

— И здесь они останутся на долгие века, верно?

— Верно!

Они переглянулись и заглянули через парапет.

Толпы зверей расселись на восточной зубчатой стене.

Стаи грехов — на западной стене.

Полчища копмаров — на южной.

И мелкая россыпь несказанных пороков и падших добродетелей — на северной.

— Знаете, — заявил Том, гордясь плодом ночного строительства, — пожалуй, я бы не отказался пожить здесь.

Ветер негромко зашел, вылетая из губ зверей, свистя в зубах, шурша в оскаленных клыках:

— Благодарсссссствуй...

17

— Иосафат, — сказал Том Скелтон, стоя на парапете. — Да мы вызвали сюда всех каменных грифонов и чертей. А вот Пифкин опять потерялся. Я подумал: а что, если свистнуть и ему?

Смерч расхохотался так, что из-под его капюшона словно раскаты грома загремели в ночи, а сухие кости застучали одна о другую.

— Ребятки! Оталянитесь вокруг! Он где-то здесь!

— Где?

— Ту-ут, — уныло откликнулся далекий голосок.

Мальчишки едва не сломали себе спины, перевеливаясь через парапет, едва не свернули шеи, глядя вверх.

— Глядите, ищите, ребята, играйте в прятки!

Они искали и поневоле вновь восхитились причудливо вздыбленными черепицами собора, украшенными копмарами, обрамленными неотразимо уродливыми, плененными камнем тварями.

Как разыскать Пифкина среди всех этих чудищ морских бездонных глубин, разинувших немые челюсти как бы для вечного вздоха, вечной жалобы? Где он затерялся среди этих чудесно выточенных бредовых видений, рожденных во чреве ночных кошмаров, чудовищ, высеченных древними землетрясениями, извергнутых из пасти взбесившихся и остывающих, застывающих каменными страшилищами и химерами вулканов?

— Я тут! — простонал далекый, еле слышный, знакомый голос.

Там, внизу, на карнизе, на половине высоты собора, мальчишки, щуря глаза, разглядели, кажется, единственное маленькое круглое лицо ангела-бесенка, узнали знакомые глаза, нос, лукавый и нежный рот.

— Пифкин!

С криком они сорвались и помчались вниз по лестницам и темным коридорам, пока не спустились к карнизу. Там, далеко в воздухе, на ветру, над узкой перекадиной, перекинутой через бездну, виделось лицо, маленюкое и такое престестное на этом ширшестве уродств.

Том пошел первый, не глядя вниз, раскинув руки.

Ральф двинулся за ним. Остальные неуверенно пробирались следом.

— Осторожней, Том, не свайся!

— Не свайсь! Вот он, Пиф!

Это и вправду был он.

Стоя цепочкой прямо под каменной маской на вытянутой шее, под высунувшейся по пояс из камня горгульей, они не могли наглядеться на его благородный профиль, на неотразимый курносый нос, гладкие щески, пышную шапку курчавившихся мрамором волос.

Пифкин.

— Пиф, чтоб ты лопнул, зачем ты туда забрался? — окликнул Том.

Пиф не отвечал.

Губы у него были высечены из камня.

— Да ну, это просто кусок камня, — сказал Ральф. — Просто горгулья торчит здесь с незапамятных времен, смахивает на Пифкина, и все.

— Нет, я слышал его голос.

— Как это ты мог...

И тут ветер ответил на вопрос.

Он закружился вокруг высоких башен Нотр-Дама. Он зашвистел флейтой в ухах горгулий, загудел вольнойкой в их разинутых ртах.

— Ахххх... — зашелестел голос Пифкина.

У мальчишек зашевелились волосы на затылке.

— О-о-о-о-о, — простонал каменный рот.

— Слушайте! Слышите? — завопил Ральф.

— Да тише ты! — оборвал его Том. — Пиф, а Пиф? Следующий раз, как задует ветер, скажи, как тебе помочь. Как тебя туда занесло? Как нам тебя оттуда снять?

Налетел новый порыв ветра, мешая им дышать, и зашвистел в зубах мальчишки, высеченных из камня.

— Один! — сказал голос Пифкина, — вопрос, — выдохнул он, помолчав.

Безмолвие. Новый порыв ветра.

— за...

Мальчишки ждали.

— раз...

— Один вопрос зараз! — перевел Том.

Мальчишки покятились со смеху. Да, это точно Пиф, а кто же еще!

— Ладно. — Том слотнула сапогу. — Что тебя туда занесло?

Упылый ветер дул, теряя силу, и голос донесся как из глубины заброшенного колодца:

— Носило... Повсюду... сотни мест... считанные часы...

Мальчишки ждали, сжав зубы.

— Говори же, Пифкин!

Ветер вернулся, жалобно застонал в открытых каменных гудбах.

Нет — ветер замер.

Хлынул дождь.

Но это было то, что надо!

Капли дождя, прохладные и пропырливые, юркнули в каменные уши Пифкина, полились по носу, фонтаном забили из мраморного рта, так что слог за слогом потекла у него с языка, сливаясь в прозрачные струйки дождя, слитную речь:

— Эй-й! Вот это славно!

С губ у него сстали облачка тумана, брызги дождя:

— Побывали бы вы там, где я был! Ух ты! Меня схоронили вместо мумии! Меня загнали в собаку!

— Мы узнали тебя, Пифкин!

— И вот я здесь,— говорил дождь, стекая в уши, струясь с кончика носа, вытекая хрустальной струйкой из мраморных губ.— Здорово, смешно, чудно — сижу в камне, а рядом, для компании, куча страшилищ и нечисти! И кто знает, куда меня занесет через десять минут, где я окажусь — еще выше? или в глубооченной могиле?

— Где же, Пифкин?

Мальчишки струдились кучкой. Дождь налетал порывами, лил как из ведра, едва не смывая их с узкого карниза.

— Ты умер, Пифкин?..

— Пока нет... не весь...— выговорила ледяной дождь в его губах.— Часть меня далеко-далеко, дома, в больнице, а часть — в той египетской гробнице. Часть меня бродит в траве, в Англии. Часть — здесь. А часть — в таком жутком месте...

— Где?

— Не знаю, не знаю я, ах, ребята, не знаю — то на меня нападает смех, до колик, а через минуту я себя не помню от страха. Вот сейчас, сию минуту, я понял, я знаю — мне страшно. Помогите, друзья. Помогите, пожалуйста, умоляю!

Струйки дождя хлынули у него из глаз, как слезы.

Мальчишки протянули вверх руки — коснуться подбородка Пифкина, утешить его... Но не успели они дотянуться...

С неба ударила молния.

Ослепительная, голубая, белая.

Весь собор содрогнулся. Мальчишкам пришлось уцепиться за рога чертей и за крылья ангелов, чтобы не свалиться вниз.

Гром, дым. Грохот обвала, удары камней.

Лицо Пифкина исчезло. Сбитое ударом молнии, оно пронеслось по воздуху и грянулось оземь, разбилось вдребезги.

— Пифкин!

Но там, внизу, у подножия собора, только искры взлетели и унеслись, как пухок, вместе с пухистой невесомой пылью. Нос, подбородок, тугая щека, ясный глаз, тонко вырезанное ушко — все, все унеслось с ветром, как мякина и мелкий, легкий мусор. Только и было видно что дымок или дупок, как клубочек порохового дыма улетающий к югу и западу.

— Мексика.— Смерч, умевший чеканить слова как мало кто на земле, раздельно произнес это слово.

— Мексика? — переспросил Том.

— Последнее дальнее путешествие в эту ночь,— пропел Смерч, по-прежнему растягивая, смакуя слова.— Свистите, ребята, рычите, как тигры, ревите, как пантеры, завывайте, как кровожадные звери!

— Быть, рычать, реветь?

— Восстановите Змея, мальчики. Воздушного Змея Осени. Прилепите на прежнее место клыки, свирепые глаза, окровавленные когти. Орите громче, чтобы поднялся ветер, скрепил всех вместе и унес нас высоко, все дальше, все дальше. Кричите, ребята, визжите, трубите, вопите!

Мальчишки мялись в нерешительности. Тогда Смерч промчался по карнизу, как будто сбивая на бегу частокол. Он поспирал с карниза всех мальчишек — кого локтем, кого коленом. Мальчишки посыпались вниз, крича и вопя кто во что горазд.

Камнем летя к земле, в ледяной пустоте, они вдруг почували, как под ними распустился хвост павлина-убийцы, как громадный налитой кровью глаз. На нем загорелись десять тысяч огненных очей.

А это, неожиданно вывернувшись из-за угла, из-за горгулий, прилетел Осенний Змей, новехонький, с иголки, и подхватил их на лету.

Они уцепились за что попало — за раму, за углы, за крестовину, за гудящую, как барабан, бумагу, за клочки, обрывки, ошметки дышащей зловоном львиной пасти, окровавленного тигрового зева.

Смерч взвился в воздух и зацепился последним. На этот раз ему пришлось быть хвостом.

Осенний Змей парил, поджидая, неся восьмерых мальчишек на клубящейся волне зубов и злобных глаз.

Смерч наострил уши.

Далеко, за сотни миль, по дорогам Ирландии тащились нищие, умирающие с голоду, вымаливая еду у каждого порога. Их крики возносились к ночному небу.

Фред Фрайер, одетый Нищим, встрепенулся.

— Туда! Давайте слетаем туда!

— Нет. Мало времени. Прислушайтесь!

Еще дальше, за тысячи миль, что-то тикало в ночной тишине, как еле слышное постукивание жуков-могильщиков.

— Гробовщики в Мексике.— Смерч улыбнулся.— Прямо на улицах, со своими длинными ящиками, гвоздями и молоточками, тук-тук-тук, заколачивают.

— Пифкина? — пропептали мальчишки.

— Мы слышим,— сказал Смерч.— И летим туда, в Мексику.

И Осенний Змей, гудя, понес их вдаль на прибойной волне ветра в тысячу футов высотой.

Горгульи, трубя в каменные свои ноздри, гудя сквозь мраморные губы, воспользовались тем же ветром, чтобы провить им прощальный привет.

18

Они парили над Мексикой.

Они зависли над островом, над одним из озер в Мексике.

Они слышали, как далеко внизу в ночи лают собаки. Они видели немногочисленные лодки на озаренном луной озере, скользящие, как водомерки. До них доносились аккорды гитары и высокий, печальный мужской голос.

Далеко-далеко, за утонувшими во тьме границами страны, в Сосединепных Штатах, носились стайки ребят, стаи собак, хоча, таякая, стуча в двери — во все двери подряд, — прижимая к себе драгоценные мешки со сладостями, вне себя от радости — в Канун Всех святых.

— А здесь-то... — шепнул Том.

— Что здесь? — спросил Смерч, паря бок о бок с ним.

— Гляньте, здесь...

— И дальше, по всей Южной Америке...

«Да, к югу. Здесь и на юге. Все кладбища до одного. Все погосты — все усеяны огоньками свечей, — подумал Том. — Тысяча свечек на том кладбище, сто — на другом, еще десять тысяч крохотных мерцающих огоньков дальше — на сотню миль, на пятьсот миль, до самого южного хвостика Аргентины».

— Это у них так празднуют..

— El Día Los Muertos. У тебя какая отметка по испанскому, Том?

— День мертвых?

— Caramba, sí! Змей, рассыпся!

Нырнув вниз, Змей распался на кусочки в последний раз.

Мальчишки посыпались горохом на каменистый берег тихого озера.

Над гладью вод стелился туман.

На дальнем берегу озера они увидели темное кладбище. Там пока еще не зажгли ни одной свечи.

Из тумана выплыла долбленная лодка, бесшумно, без весел, словно ее принесло волной прилива.

Высокая фигура, закутанная в серый саван, неподвижно стояла на корме лодки.

Лодка легонько ткнулась носом в травянистый берег.

Мальчишки затаили дыхание. Насколько им было видно, капюшон этой одетой в саван фигуры поанился только мраком, там ничего больше не было.

— Мистер... мистер Смерч?

Они были уверены, что это он, и никто другой.

Но он безмолвствовал. Только еле видная улыбка мелькнула светлячком в глубине капюшона. Костявая рука сделала пригласительный жест.

Мальчишки, толкаясь, влезли в лодку.

— Шшшш! — раздался шепот из пустого капюшона.

Фигура повторила свой жест, и они поплыли, от легкого толчка ветра, по черному зеркалу вод, под ночным небом, где горели мириады никогда не виданных звезд.

Далеко, на том темном острове, тренькнула гитара.

Одинокий огонек свечи загорелся на кладбище.

Кто-то где-то дунул в горлышко флейты, и она издала певучий звук.

Вторая свечка замерцала среди надгробий.

Кто-то пропел одно слово из песни.

Третья свечка затеплилась, зажженная вспыхнувшей спичкой.

И чем быстрее плыла лодка, тем больше гитарных аккордов звучало в ночи, тем больше свечей загоралось среди памятников на каменистых склонах. Засветились дюжина, сотня, тысяча огоньков, пока не стало казаться, что это — звездное скопление, громадная туманность Андромеды упала с небес и легла россыпью огней в самой середине Мексики незадолго до полуночи.

Лодка толкнулась в берег. Ребята от неожиданности попадали с ног. Они вскочили как встрепанные, но Смерч уже исчез. Только сброшенный саван лежал, пустой, на дне лодки.

Гитара звала их. Голос пел для них.

Дорога, похожая на реку — белые камни, белая галька, — вела через город, похожий на кладбище, к кладбищу, похожему на город!

Потому что город обезлюдел.

Мальчишки подошли к невысокой ограде кладбища, к литым чугунным воротам, похожим на кружало. Они ухватились за чугунные завитки и заглянули внутрь.

— Ух ты! — Том был поражен. — В жизни такого не видел!

Теперь они поняли, почему город обезлюдел.

Потому что на кладбище былолюдно.

Перед каждой могилой склонила колени жепщина с букетом азалий, гардений или бархатцев, ставя цветы в каменную нишу.

У каждой могилы стояла на коленях дочь, зажигавшая новую свечку или свечку, только что задутую ветром.

У каждой могилы стоял спокойный мальчик с блестящими карими глазами, и в одной руке у него была крохотная похоронная процессия из папье-манше, приклеенная к плоскому камешку, а в другой — череп из папье-манше, в котором, как в погремушке, перекатывались рис или орехи.

— Смотрите! — шепнул Том.

Там были сотни могил. Сотни женщин. Сотни дочерей. Сотни сыновей. И сотни сотен, тысячи тысяч свечей. Все кладбище заполнили рои огоньков, как будто все светячки на свете прослышали про Великое Собрание и слетелись, расселись, свер-

кая, на каменных надгробиях, освещая смуглые лица, темные глаза, черные, как вороново крыло, волосы.

— Ну и ну, — сказал Том себе под нос. — Дома мы никогда не ходим на кладбище — разве только в День Поминовения, раз в году, да и то средь бела дня, при солнце, разве это удовольствие? А здесь — вот оно — красота!

— Красота! — шепотом прокричали все.

— В Мексике Капун Всех святых получше, чем у нас!

И правда: на каждой могилке стояли блюда с пряниками, выпеченными в виде священников, скелетов или призраков, а кто должен лакомиться ими? живые? или души, которые возвратятся перед рассветом, голодные, неприкаянные? Никто не мог сказать.

И каждый мальчик там, в ограде кладбища, рядом с сестрой и матерью, положил на могилу миниатюрную похоронную процессию. И было видно, что внутри крохотного деревянного гробика лежит маленький леденцовый человечек, и все это стоит перед крохотным алтарем с крохотными свечечками. А вокруг гробика стоят мальчишки-служки с головками из орехов, и на скорлупке нарисованы глазки. А перед алтарем стоит священник, голова у него из кукурузы, а туловище из каштана. А на алтаре — фотография покойного, когда-то живого, а ныне — поминаемого.

— Куда лучше! Нет сравнения! — прошептал Ральф.

— Cuevos! — пропел голос вдалеке, на склоне холма.

На кладбище песню подхватили другие голоса.

Мужчины, жители этой деревни, стояли, прислонясь к стенам, у некоторых в руках были гитары, у других — бутылки.

— Cuevos de los Muertos... — пел далекий голос.

— Cuevos de los Muertos... — пели мужчины внутри ограды, в тени кладбищенских стен.

— Черепа, — перевел Том. — Черепа мертвых.

— Черепа, сладкие сахарные черепа, сладкие, леденцовые черепа, черпа умерших, — пел голос, все ближе и ближе.

И вниз с холма, бесшумно ступая в темноте, спустился Торговец Черепами с горбом на спине.

— Нет, это не горб, — сказал Том вполголоса.

— У него там полный мешок черепов! — вскрикнул Ральф.

— Сладкие черепа, сладкие, белые, хрустящие сахарные черепа, — пел Торговец, и лицо его скрывалось под широченным сомбреро. Но голос, сладко-переливчатый голос был голосом Смерча.

И на длинной бамбуковой жерди, которую он нес на плече, болтались на черных нитках дюжины, десятки сахарных черепов, больших, как их собственные головы. И на каждом была надпись.

— Имена! Имена! — пел старик-Торговец. — Скажи мне свое имя, получишь свой череп!

И старик выдернул из связки один череп. На нем громадными буквами было написано: ТОМ.

Том взял в руки свое собственное имя, свой собственный сладкий, съедобный череп, и обхватил его пальцами.

— Ральф!

И череп с надписью РАЛЬФ взлетел в воздух. Ральф, заливаясь смехом, поймал его.

Словно быстрота — главное условие игры, старик хватал костявой рукой и метал, череп за черепом, а стучие сладости в прохладном воздухе.

ГЕНРИ-ХЭНК! ФРЕД! ДЖОРДЖ! РАСТРЕПА! ДЖИ-ДЖИ! УОЛЛИ!

Мальчишки под этим беглым огнем плясали и визжали, обстреливаемые собственными черепами с их собственными великолепными именами, выложенными сахаром на белом абу у каждого черепа. Они ловили, едва не роняя, восхитительные ядра, которыми их обстреливали.

Они стояли, разицув рты, уставясь на сахарные сувениры смерти, зажатые в липких пальцах.

А из-за кладбищенской ограды рвалась ввысь песня — ее пели высокие, как сопрано, мужские голоса:

Роберта... Мария... Кончита... Томас.
Calavera, Calavera, сладкий череп — вот это еда!
Ищи свое имя на белом сахарном абу!
Скорее сюда, скорее сюда!
Здесь целые груды сахарных белых костей.
Хрустящих сладостей! Денег нет — не беда!
Грызи свое имя! Вот это сласти, вот это да!

Мальчишки поднимали сладостные черепа, зажатые в пальцах.

Откуси «Т» и «О» и «М». Том!
Жуй «Г», глотай «Е», грызи «Н», соси «Р», кусай «И».
Генри!

У них потекли слюнки. А что, если у них в руках — яд?

Что за блаженство — счастливый час!
Каждый из вас
Насыщается тьмой, питается тьмою ночной!
Попробуй на вкус! Побольше кус!
Полетай! Сладкие косточки, слабые кости — хватай!

Мальчишки поднесли к губам сладкие, сахарные имена и уже готовы были запустить в них зубы...

— Оле!

Толпа мальчишек-мексиканцев налетела на них, крича их имена, выхватывая черепа.

— Томас!

И Том смотрит вслед Томасу, удирающему с его потным подписным черепом.

— Эй, — сказал Том. — Он здорово похож на меня!

— Неужели? — сказал Торговец Черепами.

— Энрико! — завопил маленький индеец, ухватив череп Генри-Хэнка.

Энрико умчался вниз по склону холма.

— Он был похож на меня! — сказал Генри-Хэнк.

— Верно, — сказал Смерч. — Быстро, ребята, видите, что они задумали! Держитесь за свои сладкие черепушки и прыгайте!

Мальчишки прыгнули.

Потому что как раз в эту минуту внизу раздался взрыв. На улицах города загремели взрывы. Начался фейерверк.

Мальчишки окинули прощальным взглядом букеты, могилы, пряники, лакомства, черепа на надгробиях, миниатюрные похороны с крохотными покойниками в гробиках, свечи, коленопреклоненных женщин, одиноких мальчишек, девочек, мужчин и пустились опрометью вниз по холму — к ракетам, к шутихам!

Том, Ральф и остальные ряженные мальчишки влетели на площадку, пыхтя и отдаваясь. Они резко тормознули, а потом пу-

стились плясать — под ногами у них рвались тысячи маленьких шутих. Горели все фонари. Вдруг открылись все лавки.

И Томас, и Жозе Жуан, и Энрико знай поджигали путихи и с воплями бросали их.

— Эй, Том, это тебе от меня, Томаса!

Том увидел, как его собственные глаза сверкают на рожице беснующегося мальчишки.

— Эй, Генри! Вот тебе от Энрико! Бах!

— Джи-Джи, вот — Бах! От Жозе Жуана!

— Ух ты, да это самый распрекрасный Канун из всех! — сказал Том.

Это была чистая правда.

Ведь еще никогда во время их необычайных путешествий не попадалось им такое множество диковинок, которые можно посмотреть, понюхать, потрогать.

На каждой дороге, у каждой двери, на каждом окошке громозились кучи сахарных черелов с прекрасными именами.

С каждой улочки доносился перестук жуков-могильщиков, гробовщиков — тук-тук-тук, заколачивай, забивай, стучи молотком по крышкам гробов, как по деревянным барабанам, под покровом ночи.

На каждом углу были газетные развалы, и там лежали газеты с портретами мэра, разрисованного как скелет, или президента в виде скелета, или самой красивой девушки, одетой ксилофоном, а Смерть наигрывала мелодии на ее музыкальных ребрышках.

— Calavera, Calavera, Calavera, — текла с холма песня. — Смотрите, политиканы погребены в последних новостях. И рядом с их именами — «покойтесь в мире». Такова земная слава!

Смотрите-ка — скелетики кувыркаются,
Друг дружке на плечи взбираются!
Проповедуют с кафедр, дерутся, играют в футбол!
Мальчиш-прыгуны, мальчиш-бегуны,
Крошки-скелетики играют в чехарду, падают на ходу!
Где это видано, где это слыхано —
Смерть превратили в сущую мелочь, так, в ерунду!

И в песне была правда истинная. И куда бы мальчишки ни бросили взгляд — везде крохотные акробаты, воздушные гим-

нисты, баскетболисты, священники, жонглеры, эквилибристы, только все они — хоровод скелетиков, рука в руке, косточка в косточке, и все такие маленькие, что можно зажать в кулаке.

А вон там, в окошке, целый микроскопический джаз-банд: скелетик-трубач, и скелетик-ударник, и скелетик, дующий в бас-трубу, не больше столовой ложки, и дирижер — тоже скелетик, в ярком колпачке и с дирижерской палочкой, и микроскопические нотки вылетают из горла крохотных валторн.

Мальчишки в жизни не видели сразу такого множества костей!

— Кости! — смеялись все. — О, чудные косточки!

Песня стала удаляться:

Покрепче в руке темный Праздник держи,
Грызи и глотай, не думай о смерти!
Выбегай из длинного темного туннеля
El Dia de Muerte.
Счастливей, счастливее всех — ты живой, ты жив!
Calavera, Calavera...

Траурные, обрамленные черным газеты устали белыми птицами в похоронной процессии ветра.

Мексиканские мальчишки убежали вверх по склону холма, догонять свою родню.

— Да, чудно, странно, чудно, — шептал себе под нос Том.

— Что? — спросил Ральф, стоявший рядом.

— Да то, что там, у себя в Иллинойсе, мы начисто позабыли, что к чему. Понимаешь, ну... все, кто умер там, в нашем городе, — про них же *позабыли*! Все их разлюбили. Все их забросили. Никто не приходит посидеть на могилах, поболтать с ними. Представляешь, как им одиноко? Прямо тоска берет. А вот здесь — ты погляди, а? Горе и счастье, счастье и горе — все вместе. Сплошной фейерверк, игрушечные скелетики здесь, на площади, а там, наверху, на кладбище, у всех мексиканских покойников гости — семья их навещает, полно цветов, свечек, сладостей, все поют. Кажется, что День благодарения, верно? И все садятся обедать вместе, хотя только половина из них может есть, но разве в этом дело, если все вместе? Похоже на спиритический сеанс, когда держишься за руки с друзьями, только некоторых уже нету в живых. Да, Ральф, чудно...

— Да,— сказал Ральф, кивая головой в маске.— Чудно.

— Смотрите, скорее смотрите вон туда! — сказал Джи-Джи. Мальчишки посмотрели.

На самой верхушке, на горке из белых сахарных черепов, лежал череп с именем ПИФКИН.

Сладкий череп Пифкина, да, но нигде, в кутерьме шутих и ведьминых колес, среди танцующих скелетов и летающих туда-сюда черепов, не было ни пылинки, ни следа, ни звука самого Пифа.

Ребята уже так привыкли к фантастическим выходкам Пифа — ведь он уже и на стенах Нотр-Дама сидел, и в золотом саркофаге ехал,— и сейчас им казалось, что он вот-вот выскочит, как чертик на пружинке, из кучи сахарных черепов, закутанный в белую развевающуюся простыню, и, чтобы напугать их, затынет загробным голосом что-нибудь похоронное.

Нет. Вдруг оказалось, что Пифа нет. Нет его.

И, может, никогда больше не будет.

Мальчишек затрясло. Холодный ветер нагнал туману с озера.

19

Вдоль по пустынной ночной улице, выйдя из-за угла, шла женщина. На плече у нее было коромысло с двумя одинаковыми чашами, полными раскаленных углей. Розовые груды жарких углей выпускали рои огненных светляков-искр, ветер подхватывал их и уносил вдаль. Там, где ступала она босой ногой, оставалась дорожка мелких, быстро гаснущих искр. В полном безмолвии — слышался только шорох скользящих шагов — она свернула в переулок и скрылась из виду.

Следом за ней шел мужчина, неся на голове — без усилий — маленький, легкий, почти невесомый гробик.

Это был просто ящичек, сколоченный из белых, некрашенных досок, забитый наглухо. На боках и крышке ящичка были прибиты дешевые розетки из фольги и сделанные из доскутков шелка и бумаги искусственные цветы.

А в этом ящичке лежал...

Мальчишки провожали глазами похоронную процессию, или, скорее, пару. Да, пару — человек и ящичек, и еще то, что лежало там, внутри.

Человек, сохраняя торжественное спокойствие, держа гробик на голове в равновесии, вошел, не преклоняя головы, в церковь, стоявшую неподалеку.

— И-и-и-неужели... — заикаясь, пробормотал Том. — Неужели там — Пиф, в этом ящичке?

— А ты как думаешь, сынок? — спросил Смерч.

— Не знаю я! — закричал Том. — Одно знаю: с меня хватит! Ночь слишком долгая. Я столько всего навидался. Да я теперь все знаю, все досконально.

— И мы,— загудели остальные, сбиваясь в кучу, дрожа дрожмя.

— И нам пора домой! Куда девался Пифкин, где он? Живой он или нет? Мы можем его спасти? Куда он пропал? Или мы опоздали? Что нам делать?

— Что делать? — закричали все вместе, и тот же вопрос рвался у них с губ и горел в глазах. Все мальчишки вцепились в Смерча, словно хотели вытянуть из него ответ, выпрясти, держа его за локти.

— Что нам делать?

— Чтобы спасти Пифкина? Последнее дело осталось. Ну-ка, смотрите вверх, на это дерево!

На дереве висели с дюжину горшков-пиньят: черти, призраки, черепа, ведьмы — болтались, качаясь на ветру.

— Разбейте свои пиньяты, ребятки!

Откуда ни возьмись у них в руках оказались палки.

— Бейте!

С воплями они принялись бить наотмашь. Пиньяты словно взорвались.

Из пиньяты в виде скелета посыпался дождь крохотных листьев-скелетиков. Они роем налетели на Тома. Ветер подхватил и унес скелетики-листья, а с ними и Тома.

Из пиньяты-мумии высыпались сотни хрупких египетских мумий, они вихрем улеслись в небо, унося Ральфа.

Так каждый мальчишка разбивал пиньяту, она лопалась и выпускала мелкие, как мошки, толкущиеся в воздухе копии его

самого: черти, ведьмы, призраки с пронзительным писком облепляли мальчишку, и все листики, все мальчишки неслись, кувыркаясь, в небо, а Смерч закатывался хохотом им вслед.

Они пролетели рикошетом последние окраинные улочки города. Они плюхались и скользили, как плоские камни по гладди озера, делая «блинчики»... и наконец приземлились — кувырком, в путанице локтей и своих и чужих коленок — на далеком склоне холма. Они сели на землю.

Они очутились посреди заброшенного кладбища, где не было ни души, ни огонька. Только надгробия, похожие на великанские свадебные торты, глазурованные в древности лунным светом.

Пока они приходили в себя, Смерч плавно и легко приземлился и сразу стремительно, гибко склонился к земле. Он ухватился за железное кольцо, торчавшее из земли. Потянул. Взвизгнули петли, откинулась крышка люка, разевавшая черную пасть.

Мальчишки струдились на краю глубокой ямы.

— К-ка-катакомбы? — сле выговорил Том. — Катакомбы?

— Катакомбы. — И Смерч указал пальцем вниз.

В пыльную глубину сухой земли вели ступеньки.

Мальчишки проглотили слюну — в горле пересохло.

— А что, Пиф там, внизу?

— Ступайте, выведите его наверх, ребята.

— Он там совсем один, внизу?

— Не совсем. С ним кое-кто есть... Или Кое-Что.

— Кто пойдет первым?

— Чур, не я!

Молчание.

— Я, — сказал Том.

Он поставил ногу на первую ступеньку. Начал уходить в землю. Сделал второй шаг. И вдруг пропал.

Остальные бросились за ним.

Они спускались по ступенькам гуськом, и с каждым шагом вниз темнота становилась все непрогляднее, а безмолвие все безмолвнее, и с каждым шагом вниз ночь становилась глубокой, как колодезь, налитый тьмой крошечной, и с каждым шагом вниз казалось, что тени, затаившиеся в стенах, вот-вот выпрыгнут из них, и с каждым шагом вниз казалось, что какие-то

страшные обличья ухмыляются им навстречу из глубокой пещеры, ждущей в глубине. Казалось, что летучие мыши гроздьями повисли над самой головой, издавая такой тонкий писк, что его и не услышишь. Этот звук могут слышать собаки — и тогда они, взбесившись со страху, опрометью бросаются удирать, не разбирая дороги. С каждым шагом вниз город оставался все дальше, дальше уходила земля и все добрые люди на земле. Даже кладбище осталось где-то далеко-далеко наверху. Мальчишкам стало страшно. Они почувствовали себя такими позабытыми, позаброшенными, что едва не разревелись.

Потому что с каждым шагом они уходили еще на миллиарды от жизни, от теплых постелей и ласковых огоньков свечей, от голоса матери, от дымка из отцовской трубки, от его покапывания по вечерам, когда ты лежишь и радуешься, что он здесь, рядом, хотя и в темноте, он живой, он ворочается во сне и может запросто отколошматить всякого, кто к тебе полезет.

Так, шаг за шагом, они спустились к подножию лестницы, упали в глубокую пещеру, похожую на длинный зал.

И там было много народу, и все вели себя на диво спокойно.

Они покоились там долгие годы.

Некоторые покоились тридцать лет.

Некоторые молчали сорок лет.

Некоторые не проронили ни слова за семьдесят лет.

— Вот они, — сказал Том.

— Мумии? — спросил кто-то дрожащим шепотом.

— Мумии.

Они вытянулись в длинный ряд, прислоненные к стенке. Пятьдесят мумий стояли вдоль правой стены. Пятьдесят мумий стояли вдоль левой стены. А четыре мумии стояли в дальнем конце, в темноте. Сто четыре сухих, как гробовой прах, мумий — куда более заброшенные, чем мальчишки, куда более одинокие, чем могут быть живые, покинутые здесь, заточенные в глубине, так далеко от собачьего лая, от светлячков, от чудесных мелодий, которыми полнили ночь голоса мужчин и струны гитар.

— Ой, ой-сй-сй! — сказал Том. — Сколько их тут, бедолаг! Я про них слышал.

— Что?

— Это бедняки, их родные не смогли платить налог за могилы, и вот могильщики выкопали бедняг и снесли их сюда. А земля здесь такая сухая, что они все превратились в мумии. Вы только поглядите, во что они одеты.

Мальчишки пригляделись — кое-кто из этих стародавних людей был одет в крестьянское платье, а женщины — в деревенские юбки, на некоторых были ветхие черные костюмы, городские, а один — видно, тореадор — был наряжен в потускневший от пыли костюм, шитый золотом и мишурой. Но каков бы ни был костюм, внутри были только сухие косточки да кожа, паутина и пыль, которая сыпалась с их ребер, стояло рядом чихнуть, нарушив их покой.

— А это что?

— Что «что»?

— Тишiiiiii!

Все наострили уши.

Они вглядывались в глубину длинного склепа.

Мумии глядели на них пустыми глазницами. Ждали — с пустыми руками.

А на самом дальнем конце глубокого темного подземелья кто-то плакал.

— А-а-а-ах... — доносилось до них. — О-о, — рыдал кто-то. — И-и-и-и, — и тихие, горестные всхлипывания.

— Да это, ребята, это же Пиф! Я только раз слышал, как он плачет, — но это он, точно, Пифкин. Он заточен здесь, в подземелье.

Мальчишки всматривались, широко раскрыв глаза.

И они увидели — в сотне футов, вдалеке, съежившись в углу, загнанный в самый дальний угол подземелья, кто-то маленький — шевелится! Плечи вздрагивают. Голова прижата к груди, прикрыта дрожащими руками. Скрытый руками рот жаловался, кривился от страха.

— Пифкин?..

Плач замолк.

— Это ты? — прошептал Том.

Долгое молчание, всхлипывающий вздох — голос:

— Я...

— Пиф, ради всего святого, что ты тут делаешь?

— Не знаю!

— Выходи, а?

— Нет, не могу. Боюсь!

— Слушай, Пиф, если ты останешься здесь...

Том замолчал.

«Пиф, — думал он, — если ты останешься здесь — то навсегда, пойми. Ты останешься здесь, в тишине и заброшенности. Ты так и будешь стоять в этой длинной очереди, и туристы будут приходить поглазеть на тебя и становиться в очередь за билетами, поглазеть еще разок. Ты...»

— Пиф! — сказал Ральф из-под маски. — Ты должен отсюда выйти.

— Не могу, — зарыдал Пиф. — Они не пустят.

— Они?

Но все догадались, что он говорит о длинной череде мумий. Чтобы выбраться, ему надо было пробежать, как сквозь строй, между двумя рядами кошмаров, таинственных ужасов, напастей, наваждений, нежити.

— Они ничего тебе не сделают, Пиф.

Пиф сказал:

— Нет, они все могут.

— ...могут... — подтвердило эхо из глубины подземелья.

— Я боюсь выходить.

— А мы... — начал Ральф.

«...Боимся входить», — подумали все.

— Надо бы выбрать того, кто похрабрее... — начал Том и осекся.

Потому что Пифкин снова заплакал, и мумии стерегли и ждали, а ночь в длинном склепе была так беспросветна, что стоило сделать шаг — и пол расступится, проглотит тебя, и тебе уж ничем не выбраться, не выкарабкаться. Пол скует твои приколотки костлявым мрамором и будет держать мертвой хваткой, пока подземный холод не заморозит тебя на веки веков, не превратит в сухую, иссохшую статую.

— А может, двинуть всем сразу, кучей, а? — сказал Ральф.

И все попытались двинуться вперед.

Как громадный паук на многих ножках, они попробовали проползти сквозь дверь. Два шага вперед, один — назад. Один шаг вперед, два шага — назад.

— А-ах! — зарыдал Пифкин.

От этого звука они шарахнулись друг на друга, что-то бормоча в диком ужасе, подвывая, они откатились обратно к двери. Они слышали, как колотятся сумасшедшие сердца — и свое, и чужие.

— Ох, да что же это такое, что нам делать — он боится выйти, мы боимся войти, да что же нам делать, как быть? — причитал Том.

А у них за спиной, прислонившись к стене, стоял Смерч. Про него все забыли. В его оскаленных зубах язычком пламени мелькнула и погасла улыбка.

— Держите, ребята. Это его спасет.

Смерч достал из-под своего черного плаща знакомый белосахарный череп, на лбу которого было написано: ПИФКИН!

— Спасайте Пифкина, ребята. Заключайте сделку.

— С кем?

— Со мной и другими, которых я не назову. Здесь. Разоми-те этот череп на восемь вкуснющих кусочков и раздайте всем. «П» тебе, Том, «И» — тебе, Ральф, половина от «Ф» — тебе Хэнк, вторая половинка — тебе, Джи-Джи, кусочек «К» — тебе, мальчуган, а кусочек — тебе, вот еще «И» и последняя — «Н». Берите сладкие кусочки, ребята. Вот наша темная сделка. Хотите, чтобы Пифкин был жив?

На него обрушился такой шквал возмущения, что Смерч едва не отступил. Мальчишки налетели на него, как стая собаченок, вопя во все горло, — как он посмеет усомниться, что они хотят видеть Пифкина живым!

— Ну ладно, ладно, — успокоил он их. — Вижу, что вы хотите, и без дураков. Хорошо. Готов ли каждый из вас отдать ему один год в конце своей жизни, а?

— Что? — сказал Том.

— Я говорю серьезно, мальчишки: один-единственный год, один драгоценный год жизни, когда от нее останется лишь ма-

ленький огарок. Если вы скинетесь по годiku, то сможете выкупить Пифкина из мертвых.

— По годiku!

Шепот, ропот, неслыханная сумма подсчета — недоумение. Трудно было сразу понять. Один год, да еще так нескоро, — его и не заметишь. Мальчишке одиннадцати-двенадцати лет не понять семидесятилетнего старика.

Год? Годик? Ясно, конечно, в чем вопрос? Само собой...

— Думайте, ребята, думайте! Это не шуточка — сделка с тем, у кого нет имени. Я не шучу. Это все взаправду, на самом деле. Вы принимаете суровые условия, и это серьезная сделка. Каждый из вас обещает отдать один год. Сейчас-то вы этот годик и не заметите, вы слишком юны, и я читаю в ваших мыслях, что вы не способны даже вообразить себе, как это будет. Только много лет спустя — лет через пятьдесят, с этой ночи, или лет через шестьдесят, с этого рассвета, когда время для вас потечет быстрее, иссякнет, вы будете от всей души желать прожить еще денек-другой, посидеть на солнышке, порадоваться на мир, и вот тогда-то придет некий мистер Р (то есть — Рок) или миссис К (то есть Костаявая) и предъявит вам счет к оплате. А может, и сам я приду, мистер Смерч собственной персоной, старый друг вашей юности, и скажу: «Платите». Так что обещанный год придется отдать. Я скажу: «Отдавайте», и вам придется отдать. Что это будет значить для каждого из вас? А вот что. Тот, кто мог бы прожить семьдесят один год, должен умереть в семьдесят. А кому довелось бы дожить до восьмидесяти шести, придется расставаться с жизнью в восемьдесят пять. Возраст преклонный. Кажется, годом больше, годом меньше — невелика разница. Но когда пробьет час, ребятки, вы можете об этом пожалеть. Правда, зато вы сможете сказать: этот год я потратил не зря, я отдал его за Пифа, я жизнью выкупил славного Пифкина, самого дорогого друга, какой только жил на земле. Спас самое лучшее яблоко, готовое упасть с осенней яблонь. Кое-кому из вас придется вместо сорока девяти лет подвести черту в сорок восемь. А кое-кто должен уснуть вечным сном не в пятьдесят пять, а в пятьдесят четыре. Ну, теперь вы понимаете все как есть? Можете сложить и вычесть? Арифметика вам ясна? Кто

прозакладывает триста шестьдесят пять дней своей собственной, личной жизни, чтобы вернуть Пифкина? Думайте, ребята. Помолчите. Потом говорите.

Наступила напряженная тишина — как в классе, когда все ученики впопыхах складывают и вычитают в уме.

И они на диво быстро справились с подсчетами. Вопрос был решен сразу, хотя они и понимали, что через многие годы могут пожалеть о поспешном решении, о роковой опрометчивости. Но что же им оставалось? Только плыть саженьками от берега, спасать утопающего мальчишку, пока он в последний раз не ушел, как под воду, в жуткую могильную пыль.

— Я... — сказал Том. — Я даю год.

— И я, — сказал Ральф.

— Пишите меня, — сказал Генри-Хэнк.

— Я! Я! Я! — наперебой кричали все остальные.

— Вы поняли, что даете в залог, мальчишки? Значит, вы и вправду любите Пифкина?

— Да, да!

— Быть посему, ребятки. Грызите, глотайте, сосите, хрустите.

И они сунули сладкие осколки сахарного черепа себе в рот.

Они грызали. Они глотали.

— Глотайте тьму, ребята, расставайтесь с годом жизни.

Они глотали торопясь, и от этого, видно, глаза у них разгорелись, в ушах стучало, а сердца громко бились.

Им показалось, будто птицы стайкой выпорхнули у каждого из грудной клетки, вылетели из тела и унеслись прочь невидимками. Они видели, но не могли разглядеть, как подаренные ими годы пролетели над миром и где-то сели, опустились — честная расплата по невиданным долговым обязательствам.

До них донесся отчаянный крик

— Я здесь!

И еще:

— Я!

И еще:

— Бегу-у-у!

Топ, топ, топ — три слова, три раза стукнули по каменному полу каблучки ботинок.

И вдоль подземелья, меж двух рядов мумий, наклонившихся, чтобы перехватить его, но бессильных, среди неслышимых криков и улюлюканья, обезумевший, сломя голову, опрометью, со всех ног, вскидывая колени, работая локтями, раздувая щеки, сопя носом, с зажмуренными глазами, топая, топ-топ-топая по полу, изо всех сил бежал — Пифкин.

Ну и мчался же он!

— Глядите, вон он! Давай, Пиф!

— Пиф, ты уже на поддороге!

— Надо же так нестись! — наперебой говорили мальчишки, рты у них еще были набиты сладкими обломками черепа с драгоценным именем Пифкина, которое навязло у них в зубах, сахарным именем, стекающим в горло, славным именем Пифкина на языках! Пиф, Пиф, Пифкин!

— Жми, Пифкин! Не оглядывайся!

— Не споткнись!

— Вот он, уже три четверти пробежал!

Пиф мчался сквозь строй. Он был отличный бегун, смелый, быстрый, как молния. Он миновал сотню коварных мумий, не задев ни одной, ни разу не огаянувшись — и вышел победителем.

— Ты выиграл, Пиф!

— Пиф, ты в порядке!

Но Пиф не остановился. Он промчался не только сквозь строй мертвецов, но и сквозь кучку теплых, живых, вспотевших, орущих мальчишек.

Он распахал их, взбежал вверх по лестнице, скрылся.

— Пиф, все в порядке, ты куда?

Они побежали по лестнице — догонять.

— Куда это он, мистер Смерч?

— Насколько я могу судить, — сказал Смерч, — он с перепугу убежал прямо домой.

— А Пифкин спасен?

— Надо убедиться, посмотреть. Вверх!

Смерч закрутился на месте со страшной скоростью. Его раскинутые руки рассекали воздух. Он вращался так быстро, что образовался вакуум, возник маленький одиноличный циклон. И этот смерч, всасывающей воздух воронкой, захватил мальчишек — кого за ухо, кого за нос, за локоть, за палец на ноге.

Как сорванные с дерева листья, все восемь мальчишек с реактивным воем вознеслись в небеса. Смерч, в бешеной крутоверти, камнем падал ввысь. Мальчишки тоже — насколько это возможно — канули вверх, низверглись следом за ним. Они ударили по облакам, как заряд шрапнели. Они летели за вожаком, как стая птиц, спешащих на север, опережая весну.

Земля словно бы поворачивалась с севера на юг. Тысячи деревушек и городов проплывали внизу, в созвездиях огней на кладбищах, по всей Мексике, в гирляндах тыкв с мерцающими внутри свечками, к северу от границы, по всему Техасу, по Оклахоме, Айове, и наконец-то — Иллинойс!

— Мы дома! — кричал Том. — Вон ратуша, а вон мой дом, а там Праздничное дерево! Дерево Всех святых!

Они сделали круг над ратушей, два круга над горящим тысячами огненных тыкв Деревом и, наконец, последний круг — над высоким домом Смерча, со множеством башенок, множеством комнат, множеством зияющих окон, высоко торчащих громоотводов, балюстрад, чердаков, завитков, и дом со скрежетом закачался от ветра, который они поднимали. Пыльный салют из окон приветствовал их. На других окнах ставни широко разевались, как будто торопясь высунуть свои древние языки и «показать горлашко» маленьким докторам нездешних наук, прилетевшим на крыльях ветра. Привидения осыпались, как лепестки белых цветов, увядавших на глазах в тот миг, когда они проносились мимо.

Кружа над домом, они увидели, что он подобен вечному, всеобщему Кануну Всех святых. И Смерч крикнул им то же самое, размахивая старческими руками в древних шелках и паутине: он встал ногами на крышу и звал ребят к себе, указывая в глубь дома через громадное застекленное окно в крыше: через него можно было заглянуть на все этажи, до самого дна.

Мальчишки столпились вокруг застекленного люка и заглянули в пролет лестницы, проходившей на каждой площадке через разные времена, разные сцены — там люди или скелеты извлекали ужасные звуки из флейт-позвоночников.

— Вот оно, перед вами. Хотите заглянуть? Видите? Там все наше тысячелетнее путешествие, весь наш полет — в одном месте: от пещерных людей через Египет, через Римскую импе-

рию — к пшеничному полю перед жатвой, к урожаю, собранному на кладбищах в Мексике смертью.

Смерч поднял широкую застекленную раму.

— Вниз по перилам, ребята! Катитесь вниз! Каждый — в свое время, в свой век, на свой этаж. Спрыгивайте там, где ваш костюм не в диковинку, соскакивайте там, где, по-вашему, валл паряд и ваща маска — на своем месте! Пошел!

Мальчишки прыгнули. Они спрыгнули вниз, на верхнюю площадку лестницы. А потом один за другим вскочили боком на перила и понеслись, вопя во все горло, вниз, вниз, сквозь все этажи, все площадки, все века, заключенные в диковинном тереме Смерча.

По спирали и вниз, по спирали вниз, они летели, скользили, клонясь на виражах, балансируя на вошечных перилах.

Трррах-бух! Джи-Джи в своем обезьяночеловечьем костюме приземлился в подвале. Озираясь, увидел рисунки на стенах пещеры, густой дым над кострами, тени неуклюжих людей-горилл. Из темноты сверкали, как уголья, глаза саблезубых тигров.

По спирали, словно в воронку, провалился Ральф, Мумия египетского мальчика, запеленутая на долгие века, и оказался на первом этаже, где по стенам стройными рядами вышагивали иероглифы, армия символов, летели эскадрильи древних птиц и шли стаи богов-зверей, а золотые скарабеи деловито катили свои навозные шары в глубь истории.

Плюх! Растрепан Нибли, у которого в руках все еще чудом осталась сверкающая коса, едва не расшибся в лепешку на втором этаже, где тень Самайна, друидского бога мертвых, размахнулась косой на дальней стене зала!

У-ух! Джордж Смит — то ли греческий призрак, то ли римское привидение — спрыгнул на третьем этаже, прямо перед обмазанными смолой дверными проемами, которые были облеплены старыми бродячими дупами, влипшими в смолу, как мухи!

Шлеп! Генри-Хэнк, Ведьма, шлепнулся прямо в кучу ведьм на четвертом этаже — они скакали через костры в деревнях по всей Англии, Франции, Германии!

Уоли Бэбб, заправская Горгулья, с лета грохнулся на шестом этаже, где прямо из стен росли локти, ноги и горбы, улыбались во весь рот настоящие, веселые и лукавые горгульи.

А Скелет, Том, последним соскользнул с перил на самой верхней площадке, не удержался на ногах и полстел, сбивая белые сахарные черепа, как кегли в мрачной игре, в окружении теней коленопреложенных женщин возле могил, а джаз-оркестры из крохотных скелетиков всюду наяривали комариные мелодии, не заглушая голос Смерча, который с высоты крыши прогромычал:

— Ну что, ребятки, поняли наконец? Все это одно и то же, дошло?

— Да... — послышался чей-то голос.

— Всегда одно и то же, только по-разному, да? В свой век, в свой час. Но всегда день уходил. Ночь всегда наступала. И вы всегда боялись — верно, Обезьяночеловек, верно, эй, Мумия, — что солнце больше никогда не взойдет?

— Да-а... — ответили несколько голосов.

И они взглянули наверх, сквозь этажи и лестничные площадки высокого дома, и увидели каждый век, каждую историю отдельно, и как люди всегда, с незапамятных времен, провожали глазами солнце, поворачивая головы следом, следя, как оно восходит и заходит. Перлдерные люди дрожали. Египтяне стонали и плакали. Греки и римляне торжественно проносили своих усопших. Лето падало за смертью. Зима хоронила его в могиле. Мириады голосов рыдали. Ветер времени сотрясал громадный дом. Окна дребезжали и, точь-в-точь как человеческие глаза, наливались слезами. Но вдруг — крики восторга! — это десять тысяч раз по миллиону человек приветствовали яркие горячие летние солнца, которые вставали и пламенели огнем в каждом окне!

— Понимаете, ребятки? Призадумайтесь! Люди исчезали навсегда. Они умирали. О боже, умирали! Но возвращались в сновидениях. Эти сновидения называли привидениями, духами, и их боялись люди во все времена...

— А-хх! — крикнул миллионголосый хор в подвалах, на башенках.

Тени вползали по стенам, похожие на старые фильмы, мелькающие на ветхом экране. Клубочки дыма маялись у дверей, глаза у них были грустные, печальные, а губы дрожали.

— Ночь и день. Лето и зима, ребятки. Время сева и время жатвы. Жизнь и смерть. Вот что такое Канун Всех святых, все вместе. Все едино. Полдень и полночь. Рождаетесь на свет, ребяташки. Потом падаете кверху лапками, как собака, которой сказали: «Умри!» Потом вскакиваете, заливаются лаем, бежите сквозь тысячи лет, и каждый день — смерть, и каждый вечер — Канун Всех святых, мальчишки, каждый вечер, каждый божий вечер — грозный и ужасный, пока наконец вы не сумели попрятаться в городах и поселках, немного передохнуть, перевести дух. Потом каждый начинает жить дольше, времени становится побольше, умирают реже, страх можно собрать и отложить, и в конце концов отвести ему один-единственный день в году, когда вы можете призадуматься о ночи и утренней заре, о весне, об осени, о том, что значит родиться и что значит умереть. И все это накапливается, складывается. Четыре тысячи лет назад, одна тысяча или в нынешний год — там или тут, — но празднества все одинаковые...

— Праздник Самайна...

— Время мертвых...

— Всех душ... Всех святых.

— День мертвых.

— El Día de Muerte.

— Канун Дня Всех святых.

— Канун Всех святых.

Неуверенные голоса мальчишек, посланные вверх, сквозь слои времени, из всех стран, из всех веков, перечисляли праздники, по сути дела одинаковые.

— Отлично, мальчишки, отлично.

Где-то вдали городские башенные часы пробили три четверти двенадцатого.

— Полночь близится, мальчишки. Канун Всех святых почти прошел.

— Нет, послушайте! — крикнул Том. — А как же Пифкин? Мы гонялись за ним по всем векам, хоронили его, выкапывали

обратно, или за его гробом, оплакивали на поминках. Так жив он или нет?

— Ага! — подхватили все. — Спасли мы его или нет?

— И правда — спасли или нет?..

Смерч вглядывался вдали. Мальчишки стали смотреть туда же, а там, за оврагом, стоял дом, в котором один за другим гасли огни.

— Это больница, где он лежит. Но вы сбегайте к нему домой. Постучите в последнюю дверь, крикните в последний раз: «Счастья или страсти-мордасти?» Это будет главный, последний вопрос. Ступайте, добейтесь ответа. Мистер Марсей, а ну-ка, проводите их — *честно!*

Входная дверь распахнулась — р-р-раз!

Марлей-молоток скривил свою перевязанную физиономию и засвистел им вслед на прощанье — а мальчишки съехали по перилам и наперегонки побежали к двери.

Но их остановил последний вопрос Смерча:

— Ребятки! Скажите, что это было? Нынешний вечер, со мной — счастья или страсти-мордасти?

Мальчишки набрали полную грудь воздуха, задержали, а потом выпалили единым духом:

— Ух ты, мистер Смерч, и то и другое!

Грюк! — стукнул Марлей-молоток.

Бряк! — хлопнула дверь.

И мальчишки припустились бегом, бегом, во всю прыть, вниз, через овраг, вверх по улицам, жарко дыша, роняя маски и наступая на них ногами, пока не добежали наконец до крыльца пифкинского дома, и остановились, глядя то на больницу вдали, то на входную дверь дома Пифкина.

— Ты, давай ты, Том, — сказал Ральф.

И Том потихоньку стал подходить к дому, поставил ногу на первую ступеньку крыльца, потом на вторую, дошел до двери — и никак не мог собраться с духом постучать, боялся услышать последние новости о добром старом Пифкине. Пифкин — умер? Пифкина будут хоронить насовсем? Пифкин — сам Пифкин умер навсегда? Нет!

Он постучал в дверь.

Мальчишки стояли и ждали на дорожке.

Дверь отворилась. Том вошел в дом. Минута тянулась долго-долго, стайка мальчишек стояла на улице, не мешая холодному ветру пробираться до костей, замораживать самые ужасающие мысли.

— Ну что там? — беззвучно кричали они перед закрытым домом, запертой дверью, перед темными окнами. — Ну что?

И вот дверь открылась, наконец-то Том вышел и остановился на крыльце, плохо соображая, где он и что с ним.

Потом поднял глаза и увидел друзей, которые ждали его — за миллион миль отсюда.

Том спрыгнул с крыльца, крича во все горло:

— Ура! Ура! Ура-а-а!

Он бежал по дорожке, крича:

— Все в порядке, он в порядке, он жив! Пифкин в больнице! Аппендикс себе вырезал. Сегодня, в девять вечера! Успел вовремя! Доктор говорит, что он молодчина!

— Пифкин?..

— В больнице?..

— Молодчина?..

Все охнули, будто кто дал им под лопатку. Потом задышали часто, шумно, это был дикий крик, нестройный вопль торжества.

— Пифкин, о Пифкин, Пиф!

Ребята стояли на пифкинском газоне, на дорожке перед пифкинским крыльцом, перед его домом и в немом изумлении переглядывались, улыбаясь все шире, а слезы набегали на глаза, и все вдруг заорали, а слезы, счастливые слезы заструились по щекам.

— Вот здорово, здорово, красота, ох как здорово! — приговаривал Том, еле живой, плача от радости.

— Можешь повторить, — сказал кто-то, и он повторил.

И они все сгрудились в кучку и досыта наревелись на радостях.

Похоже, что ночь здорово отсырела от слез, и Том решил всех взбодрить.

— Вы взгляните на пифкинский дом! Стыд и позор? Слушайте, что надо делать!..

Они разбежались во все стороны, и каждый вернулся, прихватив с собой горящую тыкву, и все тыквы поставили рядом на перилах дома Пифкина, и тыквы улыбались до ушей самым беззастенчивым образом, поджидая возвращения Пифкина домой.

Мальчишки, стоя на газоне, любовались этими сияющими улыбками; костюмы на плечах, локтях и коленках у них были порваны в клочья, грим стекал со щек каплями и струйками, и громадная, чудесная, счастливая усталость наваливалась на них, тяжелила веки, налиwała тяжестью руки и ноги, но уходить им не хотелось.

И башенные часы пробили полночь — буммм!

И снова, и снова — буммм? Буммм! — целых двенадцать раз.

И Канун Всех святых кончился.

И по всему городу захлопали двери, стали гаснуть огни.

Мальчишки начали разбредаться, прощаясь:

«Пока!», и «Привет!», и «Будь здоров!», и просто «Будь!», и доброй ночи, да, ночи. Газон опустел, но на крыльце Пифкина всю ночь подыхали огоньки свечей, теплые огоньки, теплый дух печеной тыквы.

И Призрак, и Мумия, и Скелет, и Ведьма, и все остальные пришли домой, на свое крыльцо, и, стоя на пороге родного дома, каждый обернулся, и посмотрел на город, и вспомнил эту сказочную ночь — ночь, которую никто из них не забудет никогда в жизни, — каждый посмотрел на дома других через городские улицы, но все они особенно долго смотрели на высоченный дом за оврагом, где мистер Смерч все еще стоял на самом верху крыши, окруженной балюстрадой из острых прутьев.

Мальчишки помахали руками, каждый со своего крыльца.

Дым, тянувшийся вверх из высокой готической трубы дома Смерча, помахал им в ответ.

Все новые и новые двери захлопывались во всем городе, запирались на ночь.

И с каждым звуком захлопнутой двери гасла тыква на громадном Дереве Всех святых — одна, другая, и еще, и еще одна... Дюжинами, сотнями, тысячами закрывались двери, гасли глаза

тыкв, словно слепли, а над задутыми свечками курился ароматный дымок.

Ведьма постояла, вошла в дом, закрыла дверь.

Тыква с ведьминым лицом на Дереве погасла.

Мумия шагнула через порог и хлопнула дверью.

В тыкве с лицом мумии погас огонек.

Оставался только один, последний мальчишка во всем городе, один на своей веранде — Том Скелтон в своих костяных доспехах, ему смерть как не хотелось уходить в дом, а хотелось выжать последнюю, самую сладкую каплю радости из самого любимого праздника в году, и он отправил мысленное послание с ночным ветром к волшебному дому за оврагом:

— Мистер Смерч, а вы *кто такой?*

И мистер Смерч, стоя высоко на крыше дома, послал обратно мысленный ответ:

— Я думаю, ты знаешь, мальчуган, я думаю, ты знаешь.

— Мы еще встретимся, мистер Смерч?

— Через много-много лет — да, я приду за тобой.

И вот последняя мысль Тома:

— О, мистер Смерч, неужели мы никогда не перестанем бояться ночи, бояться смерти?

И мысленный ответ полетел к нему:

— Когда ты достигнешь звезд, мальчуган, да, и станешь жить там вечно, все страхи отпустят тебя и сама Смерть истребится.

Том прислушался, услышал и спокойно помахал на прощанье.

Мистер Смерч там, вдали, поднял руку.

Щелк. Дверь дома захлопнулась за Томом.

Его тыква-череп на великанском дереве чихнула дымком и погасла.

Ветер играл ветвями исполинского Деревя Всех святых, на котором не осталось ни единого огонька, кроме одинокой тыквы на самой макушке.

Тыквы с глазами и лицом мистера Смерча.

На гребне крыши мистер Смерч наклонился, набрал полную грудь воздуха и — дунул.

Его свечка в его тыквенной голове затрепетала, угасла.

Но — чудо! — дым закрубился из его собственного рта, из ноздрей, из ушей, из глазниц, как будто его собственную душу задули, потасили в груди в тот самый миг, как душистая тыква испустила свой сладкий, теплый тыквенный дух.

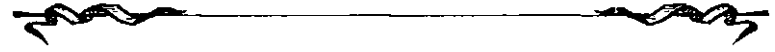
Он провалился сквозь крышу своего дома. Крышка стеклянного люка закрылась за ним.

Откуда-то налетел ветер. Он раскачал все темные, курящиеся дымком тыквы на раскидистом, прекрасном Праздничном дереве. Ветер подхватил тысячи потемневших листьев и взметнул их в небо, потнал по земле навстречу солнцу, которое непременно взойдет.

Как и весь город, Дерево погасило последние тлеющие угольки улыбок и погрузилось в сон.

А в два часа, перед рассветом, ветер вернулся за оставшимися листьями.





Поиграем в «отраву»



Мы тебя ненавидим! — кричали шестнадцать мальчиков и девочек, окруживших Майкла. Дела его были плохи. Перемена уже кончилась, а мистер Ховард еще не появлялся.

— Мы тебя ненавидим!

Спасаясь от них, Майкл вскочил на подоконник. Дети открыли окно и начали толкать его вниз. В этот момент в класс вошел мистер Ховард.

— Что вы делаете! Остановитесь! — закричал он, бросаясь на помощь Майклу, но было уже поздно.

До мостовой было три этажа.

Майкл пролетел их и умер, не приходя в сознание.

Следовательно беспомощно развел руками. Это же дети. Им всего восемь-девять лет. Они же не понимают, что делают.

На следующий день мистер Ховард уволился из школы.

— Но почему? — спрашивали его коллеги.

Он не отвечал, и только мрачный огонек вспыхивал у него в глазах. Он думал, что, если скажет правду, они решат, что он совсем свихнулся.

Мистер Ховард уехал из Мэдисон-сити и поселился неподалеку, в маленьком городке Грин-бэй.

Семь лет он жил, зарабатывая рассказами, которые охотно печатали местные журналы.

Он так и не женился. У всех его знакомых женщин было нечто общее — желание иметь детей.

На восьмой год его уединенной жизни, осенью, заболел один приятель мистера Ховарда, учитель. Заменить его было некем, и мистера Ховарда уговорили взять его класс.

Речь шла о замещении на несколько недель, и, скрепя сердце, он согласился.

Хмурым сентябрьским утром он пришел в школу.

— Иногда мне кажется, — сказал мистер Ховард, — что дети — это захватчики, явившиеся из другого мира.

Он остановился, и его взгляд испытующе заскользил по лицам маленьких слушателей. Одну руку он заложил за спину, а другая, как юркий зверек, перебегала от лацкана пиджака к роговой оправе очков.

— Иногда, — продолжал он, глядя на Уильяма Арнольда, Рассела Новеля, Дональда Боуэра и Чарли Хэнкупа, — иногда мне кажется, что дети — это чудовища, которых дьявол вышвыривает из преисподней, потому что не может совладать с ними. И я твердо верю, что все должно быть сделано для того, чтобы исправить их грубые примитивные мозги.

Большая часть его слов, влетающих в мытые-перемытые уши Арнольда, Новеля, Боуэра и компании, оставалась непонятой. Но тон был устрашающим — все уставились на мистера Ховарда.

— Вы принадлежите к совершенно другой расе. Отсюда ваши интересы, ваши принципы, ваше непослушание, — продолжал свою вступительную речь мистер Ховард. — Вы не люди, вы — дети. И пока вы не станете взрослыми, у вас не должно быть никаких прав и привилегий.

Он сделал паузу и опустился на мягкий стул, стоявший у вытертого до блеска учительского стола.

— Вы, кажется, живете в мире фантазий, — сказал он, мрачно усмехнувшись. — Чтобы никаких фантазий у меня в классе! Вы у меня поймете, что, когда получаешь линейкой по рукам, это не фантазия, не волшебная сказка и не рождественский подарок! — Он фыркнул, довольный своей шуткой. — Ну, напутал я вас? То-то! Вы этого заслуживаете. Я хочу, чтобы вы не забывали, где находитесь. И запомните — я вас не боюсь. Я вас не боюсь!

Он, довольный, откинулся на спинку стула. Взгляды мальчиков были прикованы к нему.

— Эй! А вы о чем там шепчетесь? О черной магии?

Одна девочка подняла руку:

— А что такое «черная магия»?

— Мы обсудим это, когда два наших юных друга расскажут, о чем они беседовали. Ну, молодые люди, я жду!

Поднялся Дональд Боуэр:

— Вы нам не нравитесь. Вот о чем мы говорили.

Он сел на место.

Мистер Ховард сдвинул брови:

— Я люблю правду. Спасибо тебе за честность. Но я не терплю дерзостей. Ты останешься сегодня после уроков и вымоешь все парты в классе.

Возвращаясь домой из школы, мистер Ховард наткнулся на четырех учеников из своего класса. Чиркнув своей тростью по тротуару, он остановился около них.

— Что вы здесь делаете?

Два мальчика и две девочки бросились врассыпную, как будто трость мистера Ховарда прощлась по их спинам.

— А ну, — потребовал он. — Подойдите сюда и объясните, чем вы занимались, когда я подошел.

— Играли в «отраву», — сказал Уильям Арнольд.

— В «отраву»? Так-так. — Мистер Ховард язвительно улыбнулся. — Ну и что же это за игра?

Уильям Арнольд прыгнул в сторону.

— А ну вернись сейчас же! — заорал мистер Ховард.

— Я же показываю вам, — сказал мальчик, перепрыгнув через цементную плитку тротуара, — как играют в отраву: если мы подходим к покойнику, мы через него перепрыгиваем.

— Что-что? — не понял мистер Ховард.

— Если вы наступите на могилу покойника, то вы отравлены, падаете и умираете, — вежливо пояснила Изабелла Скелтон.

— Покойники, могила, «отрава», — передразнил ее мистер Ховард. — Откуда вы все это взяли?

— Видите? — Каара Пэррис указала портфелем на тротуар. — Вот на той плите указаны имена двух покойников.

— Это просто смешно,— сказал мистер Ховард, посмотрев на плитку.— Здесь написаны имена подрядчиков, которые сделали плитку для этого тротуара.

Изабелла и Клара обменялись взглядами и возмущенно уставились на обоих мальчиков.

— Вы же говорили, что это могилы! — почти одновременно закричали они.

Уильям Арнольд смотрел на носки своих ботинок:

— Да, в общем-то... я хотел сказать...— Он поднял голову.— Ой! Уже поздно. Я пойду домой. Пока!

Клара Пэррис смотрела на два имени, вырезанных на плите.

— Мистер Келли и мистер Террил,— прочитала она.— Так это не могила? Они не похоронены здесь? Видишь, Изабелла, я же тебе говорила...

— Ничего ты не говорила,— надулась Изабелла.

— Чистейшая ложь,— стукнула тростью мистер Ховард.— Самая примитивная фальсификация. Чтобы этого больше не было. Арнольд и Боуэр, вам понятно?

— Да, сэр,— пробормотали мальчики неуверенно.

— Говорите громко и ясно! — приказал мистер Ховард.

— Да, сэр! — дружно ответили они.

— То-то же.— Мистер Ховард двинулся вперед.

Уильям Арнольд подождал, пока он скрылся из виду, и сказал:

— Хоть бы какая-нибудь птичка накакала ему на нос.

— Давай, Клара, сыграем в «отраву»,— нерешительно предложила Изабелла.

— Он все испортил,— хмуро сказала Клара.— Я иду домой.

— Ой, я «отравился»,— закричал Дональд Боуэр, падая на тротуар.— Смотрите! Я отравился! Умираю!

— Да ну тебя,— зло сказала Клара и побежала домой.

В субботу утром мистер Ховард выглянул в окно и выругался. Изабелла Скелтон что-то чертила мелом на мостовой прямо перед его окном и прыгала, монотонно напевая себе под нос. Негодование мистера Ховарда было так велико, что он тут же вылетел на улицу с криком «А ну, прекрати!», чуть не сбив девочку с ног. Он схватил ее за плечи и хорошенько потряс.

— Я только играла в классы,— заскулила Изабелла, размазывая слезы грязными кулаками.

— Кто тебе разрешил здесь играть? — Он наклонился и носовым платком стер линии, которые она нарисовала мелом.— Маленькая ведьма. Тоже мне придумала, классы, песенки, заклинания. А все выглядит так невинно! У-у, злодейка! — Он размахнулся, чтобы ударить ее, но передумал.

Изабелла, всхлипывая, отскочила в сторону.

— Проваливай отсюда и скажи всей своей банде, что им со мной не справиться. Пусть только попробуют сунуть сюда нос!

Он вернулся в комнату, налил полстакана бренди и выпил залпом. Потом весь день он слышал, как дети играли в пятнашки, прятки, колдуны. И каждый крик этих маленьких монстров больно отзывался в его сердце. «Еще неделя — и я сойду с ума,— подумал он.— Господи, почему ты не сделаешь так, чтобы все сразу рождались взрослыми?!»

Прошла неделя. Между ним и детьми быстро росла взаимная ненависть. Ненависть и страх, нервность, внезапные вспышки безудержной ярости и потом молчаливое выжидание, затишье перед бурей.

Меланхолический аромат поздней осени окутал город. Дни стали короче, быстро темнело.

«Они меня не тронут, не посмеют тронуть,— думал мистер Ховард, потягивая одну рюмку бренди за другой.— Глупости все это. Скоро я уеду отсюда, уеду от них. Скоро я...»

Что-то стукнуло в окно. Он поднял глаза и увидел белый череп.

Дело было в пятницу, в восемь вечера. Позади была долгая, трудная неделя в школе. А тут еще перед домом вырыли котлован — надумали менять водопроводные трубы. И ему всю неделю пришлось юнаться из котлована этих сорванцов — ведь они так любят торчать в таких местах, прятаться, лазить туда-сюда, играть в свои дурацкие игры. Но, слава богу, трубы уложены. Завтра рабочие заруют котлован и сделают новую цементную мостовую. Плиты уже привезли. Тогда эти чудовища найдут себе другое место для игр.

Но вот сейчас... за окном белел череп.

Не было сомнения, что чья-то маленькая рука двигала его и постукивала им по стеклу. За окошком слышалось приглушенное хихиканье.

Мистер Ховард выскочил на улицу и увидел трех убегающих мальчишек. Ругаясь на чем свет стоит, он бросился за ними в сторону котлована. Уже стемнело, но он очень четко различал их силуэты. Мистеру Ховарду показалось, что мальчишки остановились и перешагнули через что-то невидимое. Не успев обдумать увиденное, он ускорил бег, но тут нога его за что-то зацепилась и он рухнул в котлован.

«Веревка...» — пронеслось у него в сознании, прежде чем он со страшной силой ударился головой о трубу. Теряя сознание, он почувствовал, как лавина грязи обрушилась на его ботинки, брюки, пиджак, шею, голову, заполнила рот, уши, глаза, ноздри...

Утром, как обычно, хозяйка постучала в дверь мистера Ховарда, держа в руках поднос с кофе и румяными булочками. Она постучала несколько раз и, не дождавшись ответа, вошла в комнату.

— Странное дело, — сказала она, оглядевшись. — Куда мог подеваться мистер Ховард?

Этот вопрос она неоднократно задавала себе в течение многих лет...

Взрослые — люди ненаблюдательные. Они не обращают внимания на детей, которые в погожие дни играют в «отраву» на Оук-Бэй-стрит. Иногда кто-нибудь из детей останавливается перед цементной плитой, на которой неровными буквами выдано «М. Ховард».

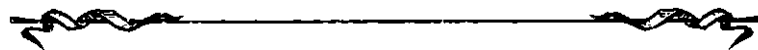
— Вилли, а кто это «мистер Ховард»?

— Не знаю, наверное, тот человек, который делал эту плитку.

— А почему так неровно написано?

— Откуда я знаю. Ты «отравился»? Ты наступил!

— А ну-ка, дети, дайте пройти! Вечно устроят игру на дороге...



Кричащая женщина

Меня зовут Маргарет Лири. Мне десять лет, и я учусь в пятом классе. У меня нет братьев и сестер, но есть прекрасные папа и мама, правда, они не могут уделять мне много внимания. Как бы то ни было, никто из нас даже не предполагал, что придется столкнуться с убитой женщиной. Или почти не предполагал.

Когда живешь на улице, подобной нашей, то и не подумаешь, что может произойти что-то ужасное, скажем, перестрелка, убийство или погребение человека заживо, чуть ли не у вас во дворе. А когда такое случается, просто не веришь. Продолжаешь как ни в чем не бывало намазывать масло на хлеб или же печь пирог.

Я расскажу вам, как это произошло. Была середина июля. Мама сказала мне:

— Маргарет, сходи в магазин и купи мороженое. Сегодня суббота, папа обедает дома. Мы должны угостить его чем-нибудь вкусненьким.

Я побежала через пустырь позади нашего дома, где ребята играют в бейсбол и где обычно сваливают стекла и всякий хлам. Когда я шла обратно из магазина и думала о чем-то своем, все это вдруг и произошло.

Я услышала крик женщины, остановилась и прислушалась. Звук шел из-под земли. Женщина была погребена под камнями.

ми, стеклами и мусором. Она ужасно кричала и умоляла вытащить ее.

Я стояла, оцепенев от ужаса, а она продолжала приглушенно кричать.

Тогда я бросилась прочь, споткнулась, упала, вновь вскочила и побежала.

Открыв дверь нашего дома, я увидела маму, спокойную, как всегда, даже не подозревавшую, что позади нашего дома, всего в каких-то сотне ярдов, погребена в земле живая женщина, которая кричит и просит о помощи.

— Мам... — произнесла я.

— Не стой там с мороженым, — прервала она меня.

— Но, ма...

— Положи его в холодильник.

— Послушай, ма, на пустыре кричит какая-то женщина.

— И вымой руки, — продолжала мама.

— Она кричит и кричит...

— Давай-ка посмотрим, где соль и перец.

— Послушай меня, — сказала я громко. — Мы должны ее выкопать. Она похоронена под тоннами земли, и, если мы ее не выроем, она задохнется и умрет.

— Я уверена, что она может подождать, пока мы пообедаем, — ответила мама.

— Ма, ты что, не веришь мне?

— Конечно верю, дорогая. А теперь вымой руки и отнеси эту тарелку отцу.

— Я даже не знаю, кто она и как туда попала. Но мы должны помочь ей, пока не поздно.

— О боже! — воскликнула мама. — Посмотри на мороженое. Ты что, стояла на солнце и ждала, пока оно растает?

— Но на пустыре...

— Иди-иди, сгоза.

Я пошла в столовую.

— Па, там, на пустыре, кричит какая-то женщина.

— Мне еще не встречались женщины, которые не кричат.

— Я серьезно.

— Да, ты выглядишь очень серьезной, — согласился папа.

— Мы должны достать кирки и лопаты и откопать ее, как египетскую мумию.

— Я не археолог, Маргарет. Как-нибудь, прохладным октябрьским днем мы примемся с тобой за дело.

— Но так долго ждать нельзя. — Я почти кричала.

Сердце колотилось у меня в груди. Я была возбуждена, испугана, а папа как ни в чем не бывало положил себе на тарелку мясо и прился за еду, не обращая на меня никакого внимания.

— Па?

— М-м?

— Па, ты должен после обеда пойти со мной и помочь, — взмолилась я. — Па, ну па, я отдам тебе все деньги, которые у меня есть в кошелке.

— Ну, — сказал папа, — это уже деловое предложение. Видимо, очень важное для тебя, раз ты предлагаешь мне свои деньги. И сколько ты будешь мне платить в час?

— За год я накопила целых пять долларов. Все они твои.

— Я тронут. — Папа коснулся моей руки. — Очень тронут. Ты хочешь поиграть со мной и готова платить за это деньги. Откровенно говоря, Маргарет, ты заставила своего старого папу почувствовать себя настоящим негодяем. Я слишком мало уделяю тебе времени. Вот что я скажу: после обеда я пойду с тобой и послушаю крики женщины. И сделаю это бесплатно.

— Да? Ты действительно пойдешь?

— Да, только общай мне...

— Что?

— Если хочешь, чтобы я пошел, ты должна сперва съесть весь свой обед.

— Обещаю.

— Ну хорошо.

В комнату вошла мама и села за стол. Мы стали обедать.

— Не так быстро, — заметила мама.

Я стала есть медленнее, а затем вновь заторопилась.

— Ты слышала, что сказала мама? — обратился ко мне папа.

— Но кричащая женщина... Мы должны поторопиться.

— А я, — заметил папа, — собираюсь есть спокойно. Сперва я со всем необходимым съем бифштекс, картошку, салат, затем мороженое и, если ты не возражаешь, выпью холодный кофе. Это у меня займет по крайней мере час. И вот

что, моя маленькая леди, если ты еще раз за столом во время обеда упомянешь об этой, как ее, кричащей... я не пойду с тобой слушать ее концерт.

— Да, сэр,— произнесла я.

— Тебе все понятно?

— Да, сэр.

Обед длился целую вечность. Все действия родителей были замедленными, как в некоторых фильмах. Мама медленно вставала и так же медленно садилась. Медленно-медленно двигались вилки, ножи и ложки. Даже мухи по комнате и те стали какими-то сонными. Все было так медленно, что хотелось крикнуть: «Поторопитесь! Пожалуйста, побыстрее! Давайте быстро встанем и побежим!»

Но нет, я продолжала сидеть. И пока мы все сидели и медленно поглождали обед, пока весь мир обедал, там, на улице, кричала женщина, и крик ее звучал у меня в ушах. Она была совсем одна. Солнце пекло, а на пустыре никого.

— Ну, вот и все,— сказал наконец папа.

— Мы сейчас пойдем искать эту женщину? — спросила я.

— Сначала немного холодного кофе.

— Кстати, о кричащих женщинах,— вмешалась мама.— Чарли Несбитт вчера вечером вновь подрался с женой.

— Ничего удивительного,— хмыкнул папа.— Они всегда дерутся.

— Чарли — негодяй,— заметила мама.— Впрочем, она не лучше.

— Не знаю, но мне кажется, она вполне порядочная женщина.

— Просто ты к ней хорошо относишься. Помнишь, как вы чуть было не поженились?

— Опять ты за старос? В конце концов, я была помолвлена с ней всего шесть недель.

— Ты проявил здравый смысл, разорвав помолвку.

— Ну ты же знаешь Хелен. Она помещалась на сцене. Хотела путешествовать. А у меня не было времени на подобные развлечения. Это и привело к разрыву. Хотя она была очень мила. Мила и добра.

— И что ей это дало? Ужасного грубияна в мужья — Чарли.

— Па...— подала я голос.

— Я согласен с тобой. У Чарли ужасный характер. Помнишь, как Хелен играла в школьной пьесе? Она была хороша, как картинка, и сама написала несколько песен, а одну — специально для меня.

— Ха...— засмеялась мама.

— Не смейся. Это была хорошая песня.

— Ты мне о ней не рассказывал.

— Это касалось только нас с Хелен. Как же она начиналась?

— Па...— перебила его я.

— Ты бы лучше пошел с дочкой на пустырь,— заметила мама,— а то она в обморок упадет. Можешь и потом спеть эту прекрасную песню.

— Хорошо, пошли,— сказал папа, и я потащила его на улицу.

На пустыре никого не было. Солнце пекло. Битые бутылки отливали всеми цветами радуги.

— Ну, и где твоя кричащая женщина? — усмехнулся папа.

— Мы забыли лопаты! — воскликнула я.

— Возьмем потом, когда услышим солистку.

Я повела его к тому месту.

— Послушай.

Мы прислушались.

— Я ничего не слышу,— наконец произнес папа.

— Ш-ш... подождем.

Мы еще постояли молча.

— Эй, кричащая женщина, где ты?! — закричала я.

Мы слышали, как солнце движется по небу. Слышали очень спокойное дуновение ветра среди листвы. Слышали, как где-то вдали проходил автобус. Как проехала какая-то машина. Но... только и всего.

— Маргарет,— сказал папа.— Думаю, тебе нужно лечь в постель и положить на лоб мокрую тряпку.

— Но она была здесь. Она кричала, кричала и кричала! — воскликнула я.— Посмотри, здесь копали. Ты стоишь прямо на этом месте!

— Маргарет, вчера именно здесь мистер Келли выкопал большую яму для всякого хлама.

— А ночью кто-то воспользовался его ямой и заживо захоронил женщину, а потом забросал ее землей.

— Ну... я иду домой. Хочу принять холодный душ.

— Ты не можешь мне копать?

— Долго не стой здесь, жарко.

Папа ушел. Я услышала, как хлопнула дверь, и топнула ногой.

— Проклятье!

И вдруг крик раздался снова. Она кричала и кричала, призывая меня.

Я бросилась к дому и с шумом хлопнула дверью.

— Па, она снова кричит!

— Да, конечно, кричит. Пошли.— Он повел меня по лестнице в спальню.— Ну вот.— Он заставил меня лечь и положил на голову влажное полотенце.— Успокойся.

— Па, мы не можем позволить ей умереть.— Я заплакала.— Она закопана, как тот человек из рассказа Эдгара Аллана По. Подумай, как ужасно кричать, когда никто не обращает на это внимания.

— Я запрещаю тебе выходить из дома,— встревоженно произнес папа.— Будешь лежать здесь весь день.

Он вышел и запер комнату на ключ. Я услышала, как он говорит с мамой. Через некоторое время я успокоилась, встала и на цыпочках подошла к окну. Кажется, высоко.

Привязав простыню к спинке кровати, я спустилась через окно на землю, взяла в сарае пару лопат и побежала на пустырь. Было еще жарче, чем прежде. Я стала копать, а женщина все кричала и кричала..

Это была тяжелая работа. Ковырять лопатой, отбрасывая камни и стекло. Я знала, что мне придется копать весь день. Что я могла сделать? Побегать и рассказать другим людям? Но они, как папа и мама, не обратили бы на это никакого внимания. И я продолжала копать одна.

Минут десять спустя на пустырь прибежал мой одноклассник Диппи Смит.

— Привет, Маргарет! — воскликнул он.

— Привет, Диппи,— с трудом переводя дух, ответила я.

— Что ты тут делаешь?

— Копаю.

— Зачем?

— В земле захоронена женщина. Она кричит, а я хочу ее выкопать.

— Я не слышу никакого крика,— сказал Диппи.

— А ты сядь, подожди немного и услышишь. А еще лучше, если ты мне можешь.

— Я не буду копать, пока не услышу крика.

Мы подождали.

— Слушай,— крикнула я.— Слышишь?

— Ей-богу! — Глаза его сияли.— Сделай еще раз.

— Сделай еще?

— Крикни.

— Нужно подождать,— в смущении проговорила я.

— Ну, сделай,— настаивал он, трясая меня за руку.— Сделай.— Он вытащил из кармана коричневый камушек.— Я тебе этот шарик отдам, если ты еще раз так сделаешь.

Из-под земли вновь раздался крик.

— Вот это да! — воскликнул Диппи.— Научи меня делать так же!

Он запрыгал вокруг, точно я чудо сотворила.

— Это не... — начала было я.

— Тебе купили десятицентовую книжку про чревоущивание от Даласской компании фокусов? — спрашивал Диппи.— Или у тебя такая чревоущивательная жестянка во рту?

— А-да,— соврала я.— Если ты можешь копать, позднее я научу тебя этому.

— Прекрасно. Дай лопату.

Мы стали копать вместе. Время от времени женщина кричала.

— Можно подумать,— сказал Диппи,— что она у нас прямо под ногами. Ты молодец, Мэгги. А как ее зовут?

— Кого?

— Женщину, которая кричит. Ты должна дать ей какое-нибудь имя.

— О да— Я на мгновение задумалась.— Ее зовут Вилма Швейгер. Это богатая старушка девяносто шести лет. Ее живьем закопал мужчина по имени Спайк. Он подделывал десяти-долларовые банкноты.

— Вот это да!
— Вместе с нею закопаны сокровища, а я... хочу вскрыть могилу и завладеть ими,— задыхаясь, произнесла я, продолжая энергично копать.

Диппи солзурился и напустил на себя таинственный вид.

— А я могу тоже стать гробокопателем? — Тут в голову ему пришла мысль.— Пусть это будет принцесса Омманатра, египетская царица, усыпанная бриллиантами.

«Мы спасем ее,— подумала я,— спасем, если только будем продолжать копать!»

— Слушай, у меня появилась идея! — воскликнула Диппи.

Он куда-то убежал и вскоре вернулся с куском картона, на котором стал что-то писать мелом.

— Продолжай копать! Мы не должны останавливаться!

— Я делаю надпись. Видишь? «КЛАДБИЩЕ СНА!» Мы будем здесь в коробочках хоронить птичек и жуков. Я пойду и постараюсь найти бабочек.

— Нет, Диппи!

— Так интереснее. Возможно, найду и мертвую кошку.

— Диппи, берись за лопату! Пожалуйста!

— Я устал,— произнес Диппи.— Думаю, надо сходить домой и немного вздремнуть.

— Ты не можешь этого сделать.

— Почему?

— Послушай, Диппи, я хочу кое-что тебе сказать.

— Что? — Он ударил ногой по лопате.

— Здесь действительно закопана живая женщина,— прошептала я ему на ухо.

— Ну конечно. Ты это уже говорила, Мэгги.

— Но ты мне не поверил.

— Объясни, как ты кричишь, не открывая рта. Тогда я буду копать.

— Не могу тебе ничего объяснить, потому что не я это делаю. Послушай, Диппи, я отойду в сторону, а ты стой здесь и слушай.

Вновь раздался крик женщины.

— Не может быть! — воскликнул Диппи.— Но там действительно женщина!

— Именно это я и пыталась тебе втолковать.

— Давай копать!

Мы копали без перерыва двадцать минут.

— Интересно, кто она?

— Не знаю.

— Может быть, это миссис Нельсон, миссис Тернер или миссис Брэдли. Интересно, она красивая? Какого цвета у нее волосы? Сколько ей лет? Тридцать, шестьдесят или девяносто?

— Копай!

Насыпь становилась все выше.

— Как ты думаешь, она наградит нас за спасение?

— Конечно.

— Центов двадцать пять даст, как по-твоему?

— Держу пари, что не меньше доллара.

— Как-то я прочитал книгу о магии,— начал вспоминать Диппи, продолжая копать.— Один индус, совершенно голый, был захоронен заживо. Он проспал в могиле шестьдесят дней и ничего не ел. Представляешь, шестьдесят дней без содовой, жвачки, конфет, наконец, без воздуха.— Вдруг лицо Диппи померкло.— А что, если эти звуки раздаются по радио, а мы так усердно работаем?

— Если это и радио, оно будет наше.

Вдруг на нас упала чья-то тень.

— Эй, ребята, что вы здесь делаете?

Мы обернулись. Перед нами стоял мистер Келли, которому принадлежал этот пустырь.

— Здравствуйте, мистер Келли,— поздоровались мы.

— Послушайте меня внимательно,— произнес мистер Келли.— Я хочу, чтобы вы взяли за свои лопаты и вновь закопали эту яму. Я хочу, чтобы вы это сделали.

Мое сердце бешено забилося. Мне самой хотелось закричать.

— Но, мистер Келли, кричит женщина и...

— Меня это не интересует. Я ничего не слышу.

— Послушайте! Слышите крик?

Мистер Келли прислушался и покачал головой.

— Я ничего не слышу. Давайте, давайте, засыпайте яму и по домам, а то вам придется долго меня помнить.

Мы засыпали яму землей. И пока мы работали, мистер Келли стоял рядом, скрестив руки. Все это время женщина кричала, но мистер Келли притворялся, будто ничего не слышит.

Когда мы закончили, он сказал:

— А теперь по домам. И если я еще раз увижу вас здесь...

— Это он,— прошептала я, поворачиваясь к Диппи.

— Что?

— Он убил миссис Келли. Задушил, засунул в ящик и закопал, но она пришла в себя. Почему, спрашивается, он не обращает внимания на ее крик?

— Действительно,— согласился Диппи.— Он ведь стоял здесь, все слышал и все равно лгал!

— Есть только один выход,— сказала я.— Позвонить в полицию и попросить их приехать и арестовать мистера Келли.

Мы побежали на угол к телефонной будке.

Пять минут спустя полицейский постучал в дом мистера Келли. Мы с Диппи вели наблюдение, спрятавшись в кустах.

— Мистер Келли? — спросил полицейский.

— Да, сэр. Чем могу быть полезен?

— Миссис Келли дома?

— Да, сэр.

— Можно ее видеть?

— Конечно. Эй, Анна!

В дверях показалась миссис Келли.

— Да, сэр?

— Прошу прощения,— извинился полицейский.— Нам сообщили по телефону, что вас заживо похоронили на пустыре. Правда, голос был похож на детский, но мы все-таки решили проверить. Извините, что беспокоил вас.

— Чертовы дети! — сердито воскликнул мистер Келли.— Если я когда-нибудь встречу их, то разорву на части!

— Убираем! — крикнул Диппи, и мы помчались со всех ног.

— Что будем делать дальше? — спросила я.

— Я должен идти домой,— ответил Диппи.— Ну и вышли мы! Нам еще за это попадет!

— А как быть с кричащей женщиной?

— Забудь о ней. Мы не должны даже близко подходить к этому месту. Старый Келли наверняка поджидает нас там с рем-

нем. Кстати, Мэти, я только что вспомнил: разве старый Келли не глуховат? Ведь он едва слышит.

— Черт возьми! Неудивительно, что он не слышал криков.

— Ну пока,— сказал Диппи.— Мы действительно попали в историю с этим проклятым загробным голосом. До встречи.

Я осталась одна. Помощи ждать было некуда. Никто мне не верил. Мне захотелось залезть в ящик к кричащей женщине и умереть. За мной охотилась полиция — ведь я наврала им. И отец, наверное, уже искал меня, обнаружив пустую кровать.

Оставалось последнее средство. Я заходила в каждый дом, расположенный вдоль дороги, звонила и спрашивала: «Простите меня, миссис Грисвад, у вас никто не пропал?» или «Здравствуйте, миссис Пайкс, вы прекрасно сегодня выглядите. Рада видеть вас дома». Потом я немного болтала с хозяйками, чтобы не показаться невежливой, и продолжала свой обход.

Час проходил за часом. Темнело. Я думала о том, много ли воздуха осталось в ящике с погребенной женщиной. Нужно было поторопиться, иначе она задохнется. Наконец я подошла к последнему дому — к дому мистера Чарли Несбитта, нашего соседа. Я долго стучала в дверь и уже готова была отказаться от своей затеи и пойти домой, как вдруг дверь открылась. Вместо миссис Несбитт, или Хелен, как называл ее мой отец, вышел сам Чарли, мистер Несбитт.

— О! — воскликнул он.— Это ты, Маргарет!

— Да,— ответила я.— Добрый вечер.

— Чем могу быть полезен?

— Я бы хотела поговорить с вашей женой, миссис Несбитт.

— О!..

— Можно?

— Она пошла по магазинам.

— Я подожду,— сказала я и прошмыгнула в дом.

— Ну ладно,— согласился он.

Я уселась на стул.

— Сегодня ужасно жарко,— произнесла я, пытаюсь сохранить спокойствие, хотя меня преследовала мысль о несчастной женщине, о том, что она задыхается в яме, а крик ее становится все слабее и слабее.

— Послушай.— Чарли подошел ко мне.— Думаю, тебе не стоит ждать.

— Почему, мистер Несбитт?

— Видишь ли, сегодня моя жена не вернется.

— Да?

— Она действительно пошла за покупками, но затем собиралась навестить свою мать. Вот так-то. А мать живет в Скенектеди. Так что жена вернется через два-три дня, а возможно, и через неделю.

— Жаль.

— Почему?

— Мне необходимо кое-что ей рассказать.

— Что именно?

— Я хотела сказать ей, что на пустыре захоронена женщина, которая все время кричит.

Мистер Несбитт уронил сигарету.

— У вас сигарета упала, мистер Несбитт.

— Правда? Действительно,— пробормотал он.— Я расскажу Хелен твою историю, как только она вернется домой. Ей понравится.

— Спасибо, но это живая женщина.

— Откуда ты знаешь?

— Я слышала ее.

— Да? Ты уверена? А может быть, это корень мандрагоры?

— А что такое мандрагора?

— Видишь ли, мандрагора — это такое растение, издающее крик. Где-то я об этом читал. А ты думаешь, что это не мандрагора?

— Я об этом не думала.

— Надо подумать,— сказал мистер Несбитт, закуривая новую сигарету. Он старался выглядеть спокойным.— Слушай, а ты... э-э... рассказывала кому-нибудь об этом?

— Да. Многим.

Мистер Несбитт обжег палец спичкой.

— И кто-нибудь что-нибудь предпринял?

— Нет. Мне никто не верит.

— Ну конечно,— улыбнулся он.— Естественно. Ты ведь только ребенок. Разве они обязаны тебя слушать?

— Я пойду и выкопаю ее.

— Постой.

— Я должна идти.

— Побудь со мной немного,— настаивал он.

— Благодарю, но я не могу.

Он схватил меня за руку.

— Ты умеешь играть в карты? В «блэджек»?

— Да.

Мистер Несбитт взял со стола колоду карт.

— Давай сыграем?

— Я должна идти копать.

— У тебя еще много времени. Может быть, моя жена скоро вернется. А ты ее немного подождешь.

— Вы думаете, она вернется?

— Конечно. Э... а тот голос... очень громкий?

— Он с каждым разом становится тише.

Мистер Несбитт вздохнул и улыбнулся:

— Детские игры! Давай сыграем в «блэджек». Это гораздо занятнее, чем кричащая женщина.

— Я должна идти. Уже поздно.

— Посиди немного. Тебе все равно нечего делать.

Я понимала, чего он хочет. Он пытался задержать меня в доме до тех пор, пока крики женщины окончательно не затихнут и я уже не смогу ей ничем помочь.

— Моя жена вернется через десять минут,— сказал он.— Всего десять минут. Подожди. Сиди, где сидишь.

Мы играли в карты. Часы тикали.

Солнце уже исчезло за горизонтом. Стало очень темно. Крик звучал в моем воображении все тише и тише.

— Я должна идти,— наконец произнесла я.

— Сыграем еще разок? — спросил мистер Несбитт.— Подожди еще часик. Моя жена вот-вот вернется. Подожди.

Наконец он посмотрел на часы:

— Ладно, Маргарет, думаю, тебе пора.

Я знала, что он задумал. Тайком, глубокой ночью, он собирался выкопать свою жену еще живой, утащить куда-нибудь и похоронить понадежнее. «Всего доброго, Маргарет. Всего доб-

рого». Он отпустил меня, потому что думал, что воздух в ящике уже кончился.

Дверь захлопнулась перед моим носом.

Я побежала обратно на пустырь и спряталась в кустах. Что же мне делать? Рассказать отцу с матерью? Но они не верили мне. Вызвать полицию? Но Чарли Несбитт скажет, что его жена уехала. Мне никто не верил!

Я посмотрела на дом мистера Келли. Никого. Я побежала на то место, откуда раздавались крики. Но криков уже не было. Все кончилось.

«Слишком поздно», — подумала я, легла и приложила ухо к земле.

И вдруг я услышала звуки — такие слабые, что их едва было слышно. Женщина больше не кричала. Она пела. Что-то вроде: «Я любила тебя всей душой, я любила тебя по-настоящему».

Это была печальная песня. Тихая. И какая-то прерывистая. Долгие часы под землей, должно быть, свели женщину с ума. Она больше не кричала, не звала на помощь, она просто пела.

Я прислушалась к песне. Затем быстро вскочила на ноги, пересекла пустырь, взбежала по ступенькам нашего дома и открыла входную дверь.

— Отец!

— Наконец-то! — закричал он.

— Отец, — повторила я.

— Ну, тебе попадет!

— Она больше не кричит.

— Хватит о ней говорить!

— Она поет.

— Что ты выдумываешь!

— Па, она там и скоро умрет, а ты не слушаешь. Она поет. —

И я замурлыкала: — «Я любила тебя всей душой, я любила тебя по-настоящему».

Отец побледнел, подошел ко мне и взял за руку.

— Что ты сказала?

— «Я любила тебя всей душой, я любила тебя по-настоящему», — вновь пропела я.

— Где ты слышала эту песню?!

— На пустыре, только что.

— Но это же песня Хелен, та самая, которую она написала для меня много лет назад! — закричал отец. — Ты не могла знать ее! Никто ее не знал, кроме меня и Хелен. И я никогда никому не пел эту песню.

— Да, ты прав.

— О боже! — воскликнул отец и выбежал из дома, прихватив лопату.

Через несколько секунд он уже яростно копал на пустыре. Вскоре к нему присоединились другие люди и стали помогать ему. Я чувствовала себя такой счастливой, что готова была рыдать.

Я набрала телефон Диппи и, когда он подошел, произнесла:

— Привет, Диппи. Все прекрасно. Все очень хорошо. Жеппина больше не кричит.

— Грандиозно!

— Немедленно приходи на пустырь. Не забудь лопату!

— Давай на спор: кто быстрее! Пока! — крикнул Диппи.

— Пока, Диппи.

Я бросила трубку и со всех ног помчалась на пустырь.



Горячечный бред

Его положили на чистые выглаженные простыни, а на столе под лампой с приглушенным розовым светом всегда стоял стакан густого, только что отжатого апельсинового сока. Чарльзу нужно было лишь позвать маму или папу, и тогда кто-нибудь из них заглядывал в комнату, чтобы посмотреть, как он себя чувствует. Акустика в детской была просто великолепная; Чарльз каждое утро слышал, как туалет прочищает свое фарфоровое горло, слышал, как стучит по крыше дождь и хитрые мышки сплывают по потайным коридорам в стенах, слышал, как поет канарейка в клетке внизу. Если держаться настороже, болезнь не так уж и страшна.

Была середина сентября, и весь мир полыхал осенними красками. К тому моменту, когда Чарльза, которому исполнилось тринадцать, охватила самая настоящая ужас, он пролежал в постели уже три дня.

У него начала изменяться рука. Правая. Чарльз бросил на нее один, короткий взгляд — она лежала сама по себе на стеганом одеяле, горячая, вся в поту. Вздрогнула, чуть пошевелилась. А потом вдруг стала другого цвета.

Днем снова пришел доктор и принялся стучать по худой груди Чарльза так, словно это был барабан.

— Как дела? — улыбаясь, спросил доктор. — Только не говори мне: «С насморком все в порядке, а вот я чувствую себя отвратительно!»

Он рассмеялся своей любимой шутке, которую частенько повторял.

Чарльз молчал, потому что для него эта старинная дурацкая шутка становилась реальностью. Она упрямо сидела в голове; сознание прикасалось к ней и сжималось в бессильном ужасе. Доктор не знал, сколь жестоки его слова!

— Доктор, — прошептал бледный Чарльз, который лежал на спине, боясь пошевелиться. — Моя рука, она мне больше не принадлежит. Сегодня утром она превратилась во что-то другое. Сделайте так, чтобы она снова стала моей, доктор, доктор!

Доктор продемонстрировал ему свои великолепные зубы и погладил по руке.

— А у меня такое впечатление, что с ней все в порядке, сынок. Просто тебе приснился страшный сон.

— Но она и в самом деле изменилась, доктор, о, доктор! — воскликнул Чарльз, жалобно протягивая к нему свою бледную, чужую руку. — Она изменилась!

— Я дам тебе розовую таблеточку, — подмигнув, сказал доктор и положил таблетку Чарльзу на язык. — Проглоти ее!

— А она сделает так, чтобы рука превратилась назад и снова стала моей?

— Конечно.

В доме было совсем тихо, когда доктор ехал по дороге в машине под безмятежным синим сентябрьским небом. Где-то внизу, в мире кухни, тикали часы. Чарльз лежал и не сводил глаз со своей руки.

Она ему не принадлежала, по-прежнему оставаясь чем-то чужим.

На улице подул ветер, и в холодное окно застучали листья.

В четыре часа Чарльзу показалось, что его другую руку опалил болезненный жар. Она пульсировала и менялась, клетка за клеткой. Совсем как живое, теплое сердце. Ногти сначала посинели, а потом стали ярко-красного цвета. Превращение заняло

около часа. Рука была похожа на самую обычную левую руку, только больше не была обычной. И перестала быть собственно-стью Чарльза.

Мальчик полежал некоторое время, охваченный паническим страхом и очарованный одновременно, а потом, окончательно обессиленный, заснул.

В шесть часов мама принесла суп. Чарльз к нему даже не притронулся.

— У меня нет рук,— сказал он, не открывая глаз.

— Твои руки в полном порядке,— попыталась успокоить его мама.

— Нет,— возразил Чарльз и заплакал,— они исчезли. Мне кажется, что на их месте появились обрубки. Мама, мама, обними меня, я боюсь!

Матери пришлось покормить его с ложечки, как маленького.

— Мама,— проговорил Чарльз,— пожалуйста, позови еще раз доктора. Я очень серьезно болен.

— Доктор придет сегодня вечером, в восемь,— ответила мать и вышла из комнаты.

В семь, когда на дом уже опустились черные тени, Чарльз сидел в постели. Вдруг он почувствовал, как в ногах возникло то же самое ощущение, что он испытал, когда его руки перестали быть его руками.

— Мама,— закричал он,— иди сюда! Скорее!

Однако, когда она пришла, все стихло.

Мать спустилась вниз, а Чарльз просто лежал и больше не пытался сражаться. Ноги отчаянно, ни на минуту не переставая, пульсировали, стали теплыми, потом раскалились докрасна. В комнате было невыносимо жарко от той перемены, что происходила с Чарльзом. Ослепительное сияние затопило пальцы ног, поползло к щиколотке, потом дальше, дальше — к коленям.

— Можно войти? — В дверях стоял улыбающийся доктор.

— Доктор! — крикнул Чарльз.— Быстрее, снимите с меня одеяло!

Доктор послушно приподнял одеяло.

— Ну вот, целый и невредимый. Немножко вспотел. У тебя небольшой жар. Я же велел тебе лежать в постели и не вставать,

сорванец.— Доктор несильно ущипнул Чарльза за розовую, влажную щеку.— Лекарство помогло? Твоя рука вернулась к тебе?

— Нет, а теперь то же самое случилось с другой и с ногами!

— Ну-ну, придется дать тебе еще три таблетки. По одной на каждую конечность. Ну как, годится, мой сладенький персик? — Доктор рассмеялся.

— А они мне помогут? Пожалуйста, пожалуйста, доктор. Чем я болен?

— Слабая форма скарлатины и небольшая простуда.

— Значит, во мне живет микроб, у которого рождается много детей?

— Да.

— А вы уверены, что у меня на самом деле скарлатина? Вы ведь не делали никаких анализов!

— Думаю, я еще в состоянии распознать явный случай скарлатины,— с уверенным видом сказал доктор и принялся считать пульс мальчика.

Чарльз молча лежал до тех пор, пока доктор не начал упаковывать свой черный чемодантик. В погрузившейся в тишину комнате зазвучал слабый голос мальчика, в глазах загорелся огонек, он что-то вспомнил.

— Когда-то я читал книгу. Про окаменевшие деревья; про то, как дерево превращалось в камень. Внутрь забирались минералы и росли там, а деревья были совсем похожи на деревья, только в действительности они были камнем.

Мальчик замолчал, было слышно только его тяжелое дыхание.

— И что? — спросил доктор.

— Я вот про что думаю,— через некоторое время продолжал Чарльз.— Микробы становятся большими? Когда-нибудь? Знаете, на уроке биологии нам рассказывали про одноклеточных животных, про амёбу, ну и все такое, про то, как миллионы лет назад они собрались вместе, и таким образом возникло первое тело. Все новые и новые клетки объединялись, становились крупнее, и в конце концов на свет появились рыбы, а потом и мы. Получается, будто мы — всего лишь куча клеток, решивших помогать друг другу. Правда? — Чарльз облизнул горячие губы.

— А зачем тебе это? — Доктор наклонился над своим пациентом.

— Я должен вам сказать, доктор, должен! — воскликнул Чарльз. — Что произойдет, ну представьте себе — только представьте, на минутку, — если, как в прежние времена, целая куча микробов соберется вместе, объединится, начнет размножаться, и возникнут новые...

Его белые руки лежали на груди, но вдруг они поползли к горлу.

— И они решат захватить какого-нибудь человека! — выкрикнул Чарльз.

— Захватить человека?

— Да, стать этим человеком. Мной, мои руки, мои ноги! А вдруг болезнь знает, что нужно делать, чтобы убить человека, но самой при этом остаться в живых?

Он пронзительно завизжал.

Его руки добрались до горла.

Доктор с диким воплем бросился к нему.

В девять часов отец и мать мальчика проводили доктора к машине, отец Чарльза протянул ему чемоданчик. Они постояли немного и поговорили, не обращая внимания на холодный ветер.

— Просто проследите за тем, чтобы руки были постоянно привязаны к телу, — посоветовал доктор родителям мальчика. — Я не хочу, чтобы мальчик причинил себе вред.

— Чарльз поправится, доктор? — Мать несколько секунд не выпускала руку доктора из своей.

Он погладил ее по плечу и сказал:

— Я ведь являюсь вашим семейным врачом вот уже тридцать лет. Всеми виной высокая температура. Ему все это просто кажется.

— Но синяки на шее, он же чуть сам себя не задушил!

— Не развязывайте ему руки, а утром все будет в порядке. Машина укатила по темной, сентябрьской дороге.

В три часа ночи Чарльз все еще не спал в своей маленькой, черной детской. Постель под ним была совсем влажной. Ему было очень жарко. У него больше не было ни рук, ни ног, уже

начало меняться тело. Он не шевелился, лишь, отчаянно сосредоточившись, не спускал глаз с большого, пустого пространства потолка. Некоторое время он кричал и метался, но теперь ослабел и охрип; мать несколько раз вставала и подходила к нему, вытирая сыну лоб влажным полотенцем. Теперь же он молча лежал, словно забыв о связанных руках.

Он чувствовал, как меняются внешняя оболочка его тела, сдвигаются органы, легкие, точно розовый спирт, полыхают огнем. Комнату освещали мечущиеся блики, будто от камина.

Чарльз лишился тела. Оно исчезло. Нет, оно существовало на самом деле, только превратилось в могучие вспышки какого-то обжигающего летаргического вещества. Словно гильотина аккуратно отсоединила голову, которая в данный момент лежала на окутанной ночным мраком подушке, в то время как тело, все еще живое, уже принадлежало кому-то другому. Болезнь пожрала тело Чарльза и благодаря этому сумела воспроизвести себя самое в охваченном жаром лихорадки двойнике.

Его руки покрывали знакомые коротенькие волоски, те же ногти на пальцах, все шрамы и даже крошечная родинка на правом бедре — все повторено самым идеальным образом.

«Я умер, — подумал мальчик. — Меня убили, но я живу. Мое тело умерло, превратилось в болезнь — и никто об этом не узнает. Я буду жить среди них; нет, не я... кто-то чужой. Гнусный и злобный, такой отвратительный, что осознать это просто невозможно. Даже думать страшно. Он будет покупать обувь и пить воду, когда-нибудь женится и, возможно, причинит миру столько зла, сколько до него никто не причинял».

И вот жар попопал по шее, подобрался к щекам; словно горячее вино обожгло губы и веки, которые вспыхнули огнем, будто сухие листья. Из ноздрей начали вырываться языки голубого пламени, потом все меньше, меньше, реже.

«Ну вот и конец, — подумал Чарльз. — Оно заберет мою голову и мозг, и все, что у меня есть в голове, каждый зуб, все до единой волосинки и каждую морщинку на ушах. И тогда от меня ничего не останется».

Его мозг наполнила кипящая ртуть. Левый глаз закрылся сам собой, точно улитка, спрятался в свой домик. Чарльз ослеп на один глаз, который ему уже не принадлежал. Это была вражде-

ская территория. Исчез язык, его отрезали. Онемела левая щека, куда-то пропала. Левое ухо перестало слышать. Теперь оно было собственностью кого-то другого — чудовища, которое появлялось на свет, минерала, поглотившего деревянное полено, болезни, пожравшей здоровые, живые клетки.

Чарльз попытался закричать, взвыл громко и пронзительно в тишине ночи, а в это время его мозг вытекал — куда? Ему вырезали правый глаз и ухо, он ослеп и оглох, все его существо было охвачено пламенем, ужасом, отчаянием и смертью.

Его вопль затих в тот самый момент, когда мать ворвалась в комнату и подскочила к постели.

Было ясное утро, дул легкий ветерок и подгоняла доктора в спину, когда он шел по дорожке к дому. Глядя на него из окна, на верхнем этаже стоял полностью одетый мальчик. Он не помахал доктору в ответ и ничего не сказал, когда тот крикнул:

— В чем дело? Уже встал? О господи!

Доктор бегом помчался вверх по ступенькам лестницы и, тяжело дыша, влетел в детскую.

— Почему ты не в постели? — спросил он у мальчика. Постучал по его худой груди, проверил пульс и температуру. — Поразительно! Все в норме. В норме, подумать только!

— Я больше никогда в жизни не заболелю, — объявил мальчик, тихо стоявший у окна. — Никогда.

— Надеюсь. Ты прекрасно выглядишь, Чарльз.

— Доктор?

— Слушаю тебя.

— А я могу пойти в школу сейчас?

— Завтра будет в самый раз. Тебе не терпится?

— Не терпится. Я люблю школу. Я хочу играть, драться, плеваться, дергать девочек за косички, пожать руку учителю, а потом вытереть пальцы об одежду в гардеробе. А еще я хочу вырасти и отправиться путешествовать и пожимать руки людям, живущим в разных концах света. Я хочу жениться и иметь много детей. Я буду ходить в библиотеки и трогать книги — вот сколько я всего хочу! — сказал мальчик, глядя в окно на улицу, где сентябрь вступил в свои права. — Каким именем вы меня называли?

— Что? — Доктор был явно удивлен. — Никаким. Только Чарльзом.

Мальчик пожал плечами.

— Наверное, это лучше, чем совсем без имени.

— Я рад, что ты хочешь в школу, — сказал доктор.

— С нетерпением жду, когда вы мне разрешите туда пойти, — улыбнувшись, ответил мальчик. — Спасибо за помощь, доктор. Можно, я пожму вам руку?

— С удовольствием.

В окно врывался прохладный осенний ветерок, а они, не обращая на него внимания, с самым серьезным видом пожимали друг другу руки. Почти целую минуту. Мальчик улыбался старику и благодарил его.

А потом, смеясь, помчался вниз по лестнице и проводил его до машины. Родители последовали за ними; счастливые и довольные, они тоже хотели попрощаться с доктором.

— Здоровехонький! — проговорил доктор. — Поразительно!

— И сильный, — добавил отец. — Ночью он самостоятельно высвободил руки. Правда ведь, Чарльз?

— Да? — переспросил мальчик.

— Именно! Как тебе удалось?

— Ну, — проговорил мальчик, — это было очень давно. Давно!

Все засмеялись, а пока они смеялись, совершенно спокойный мальчик опустил голую ногу на землю и чуть прикоснулся к веренице красных муравьев, спешивших куда-то по своим делам. У него засияли глаза, когда он осторожно, чтобы не заметили родители, болтавшие с доктором, покосился на муравьев, которые замерли на мигновение, потом задержались, а в следующую минуту замерли в неподвижности на бетонной дорожке. Мальчик почувствовал, что они уже остыли.

— До свидания!

Помахав рукой, доктор уехал.

Мальчик шагнул впереди своих родителей. Он посмотрел в сторону города и привился тихонько напевать «Школьные деньки».

— Хорошо, что он снова здоров, — сказал отец.

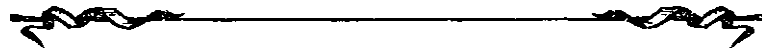
— Послушай, ему не терпится пойти в школу!

Мальчик повернулся и сжал своих родителей в объятиях, каждого по очереди. И поцеловал по несколько раз.

А потом, не говоря ни слова, взбежал по лестнице в дом.

В гостиной, прежде чем отец и мать успели туда войти, он быстро засунул руку в клетку с канарейкой и погладил желтенькую птичку, всего один разок.

А потом закрыл дверцу, отошел в сторонку и принялся ждать.



Гонец



Артин знал, что пришла осень. Пес, вернувшийся со двора, принес с собой запах холодного ветра, первых заморозков и теплый аромат тронутых гнильдой опавших яблок. В его жесткой курчавой шерсти запутались лепестки золотарника, последняя паутина лета, опилки только что спиленного дерева, перышко малиновки и первый побуревший лист с огненно-красного клена. Пес радостно вертелся около кровати, стряхивая на одеяло свою драгоценную добычу — хрупкие сухие листья папоротника, веточку ежевики, тоненькие травинки болотного мха. Конечно, пришла Осень. К нам в гости пожаловал диковинный зверь — Октябрь!

— Хватит, дружище, хватит!

Пес прилежался ближе к теплоте тела мальчика, отдавая ему собранные неповторимые запахи осени, ее голых полей, тяжелых туманов и аромат увядающих лесов. Весной шерсть пса пахнет расцветшей сиренью, ирисом и свежескошенной лужайкой, летом — фисташковым мороженым, каруселями и первым загаром. Но осень!

— Скажи, дружище, как там на воле?

И пес рассказывал, а прикованный к постели мальчик слушал и вспоминал, какой бывала осень, когда он сам ее встречал. Теперь его связным, его гонимом на волю стал пес. Он был ча-

стью его самого, той ловкой и быстрой его частью, которую он посылал познать внешний мир, мир вещей и быстротечного времени. Пес вместо него бегал по улицам городка и его окрестностям, к реке, озеру или ручью, или же совсем поблизости — в дровяной сарай, кладовую или на чердак. И неизменно возвращался с подарками. Иногда это были запахи подсолнечника, гаревой дорожки школьного двора или же молочая с лугов, а то свежесчищенных каштанов, перезревшей, забытой на огороде тыквы. Пес везде успевал побывать.

— Где же ты был сегодня утром, что видел, расскажи?

Но и без рассказов было ясно, что видел пес, гоняя по холмам за городом, где детвора самозабвенно кувыркалась в огромных, как погребальные костры, кучах опавшей листвы, приготовленной для сожжения. Запуская дрожащие от нетерпения пальцы в густую шерсть пса, Мартин, как слепой, пытался прочесть все, что принес ему гонец, побывавший на сжатой ниве, в узком овражке у ключа, и на аккуратном городском кладбище или же в чаще леса. И тогда в этот сезон пьянящих терпких запахов Мартину казалось, что он сам везде побывал.

Дверь спальни отворилась.

— Твой пес опять набедокурил, Мартин.

Мать поставила на постель поднос с завтраком. Ее голубые глаза глядели строго, с укоризной.

— Мама...

— Этот пес везде роет землю. Мисс Таркин вне себя. Он вырыл очередную нору в ее саду. Это уже четырнадцатая за неделю.

— Может, он что-то ищет.

— Глупости! Просто пес излишне любопытен и всюду сует свой нос. Если и дальше так будет, придется посадить его на цепь.

Мартин посмотрел на мать, как смотрят на незнакомого и чужого человека.

— Ты не сделаешь этого, мама! Как же я тогда? Как буду я знать, что происходит вокруг?

— Значит, это он тебе приносит новости? — тихо промолвила мать.

— Он рассказывает мне все и обо всем. Нет такой новости, которую бы он мне не принес.

Мать и сын смотрели на пса, и на сухие травинки и цветочные семена, осыпавшие одеяло.

— Ладно, если он перестанет рыть норы там, где не положено, пусть его бегает, сколько хочет, — уступила мать.

— Пес, ко мне!

Мартин прикрепил тонкую металлическую пластинку к ошейнику пса, она гласила: «Мой хозяин — Мартин Смит. Ему десять лет, он болен и не встает с постели. Добро пожаловать к нам в гости».

Пес понимающе тявкнул. Мать открыла дверь и выпустила его на улицу.

Мартин, полусидя на постели, прислушивался.

Где-то далеко под тихим осенним дождем бегает его посланник. Его далекий лай то и дело долетал до слуха мальчика. Вот он у дома мистера Хэлоуэя и, вернувшись, принесет Мартину запах машинного масла и хрупких внутренностей часовых механизмов, которые чистит и чинит старый часовщик. Или это будет запах мистера Джекобса, зеленщика, пахнущего помидорами и загадочным пряным духом того, что таится в жестянках с интригующей наклейкой с изображением пляшущих чертенят. Этот запах иногда доносился со двора и щекотал позари. А если пес не побывает у мистера Джекобса, тогда он обязательно навестит миссис Гилеспи или мистера Смита, или любого другого из друзей и знакомых, или они повстречаются ему на пути, и тогда он кого-нибудь облает, а к кому-то подастися, кого-то напугает, а кого-то приведет сюда на чай с печеньем.

И Мартин слышит, как возвращается его гонец. Он не один. Звонок в дверь, голоса, скрип ступеней деревянной лестницы и молодой женский смех. На пороге — мисс Хэйг, его школьная учительница.

У Мартина сегодня гости.

Утро, полдень, вечер, восход, закат, солнце и луна совершают свой обход, а вместе с ним и пес, добросовестно докладывающий затем о температуре земли и воздуха, о цвете и красках мира, плотности тумана и частоте дождя, а главное... о том, что снова пришла мисс Хэйг!

По субботам, воскресеньям и понедельникам она пекла пирожки с цукатами из апельсиновых корочек и приносила из

библиотеки новую книгу о динозаврах и первобытном человеке. По вторникам, средам и четвергам он каким-то непостижимым образом умудрялся обыгрывать ее в домино, а потом в шашки, и, чего доброго, говорила она, сделает ей мат, если они сразятся в шахматы. В пятницу, субботу и воскресенье они могли наговориться вдоволь, не умолкая. Она была такой красивой и веселой, а волосы ее были мягкими и пушистыми, цвета густого гречишного меда, как осень за окном. Какой легкой и быстрой была ее походка, как сильно и ровно билось ее сердце, когда вдруг однажды он усаживал его стук. Но прекраснее всего было ее умение разгадывать тайну безымянных знаков и сигналов, что позволяло ей безошибочно понимать пса. Ее ловкие пальцы извлекали из его шерсти все символы и приметы внешнего мира. Закрыв глаза и тихонько посмеиваясь, она перебирала жесткую шерсть на спине собаки и голосом цыганки-вещуньи рассказывала о том, что есть и что еще будет.

Но в один из понедельников в полдень мисс Хэйг не стало.

Мартин с усилием поднялся и сел на постели.

— Умерла?... — не веря, тихо прошептал он.

— Умерла, — подтвердила мать. — Ее сбила машина.

Для Мартина это означало холод и белое безмолвие преждевременно наступившей зимы. Смерть, холодное молчание и спящая белизна. Мысли, как стая вспугнутых птиц, взметнулись и, тихо шурша крыльями, снова сели.

Мартин, прижав к себе пса, отвернулся к стене. Женщина с волосами осени, мелодичным смехом и глазами, неотрывно глядящими на твои губы, когда ты говоришь, умевшая рассказывать о мире все, что не мог рассказать пес, женщина, чье сердце внезапно перестало биться в полдень, умолкла навсегда.

— Мама? Что они делают там, в могилах? Просто лежат?

— Да, просто лежат.

— Лежат, и все? Что в этом хорошего? Это ведь скучно.

— Ради бога, о чем ты говоришь?

— Почему они не выходят, не бегают и не веселятся, когда им надоест лежать? Ведь это так глупо...

— Мартин!..

— Почему Он не мог придумать для них что-нибудь получше. Это невозможно все время неподвижно лежать. Я пробовал это. И пса заставил однажды, сказав ему: «Замри». Но он

долго не выдержал, ему стало скучно, он вертел хвостом, открывал глаза и глядел на меня с тоской и недоумением. Бьюсь об заклад, дружище, что временами, когда им наскучит, они поступают, как ты. А, пес?

Пес ответил радостным лаем.

— Не говори такое, Мартин, — осудила его мать.

Мартин умолк, устремив взор в пространство.

— Я уверен, что они так и поступают, — сказал он.

Отгорев, осыпались багряные листья с деревьев. Пес убегал все дальше от дома, переходил ручей в овраге вброд, забегал на кладбище. Он возвращался, лишь когда стемнеет. Его поздние возвращения вызывали переполох в собачьем мире городка. Его встречали залпы яростного лая из всех подворотен, мимо которых он пробегал. Лай был столь громким, что в окнах жалобно дребезжали стекла.

В последние дни октября пес повел себя совсем странно, словно учуял, что вдруг переменялся ветер и подул с чужой стороны. Пес подолгу стоял на крыльце, мелко дрожа и поскуливая, и глядел на пустые поля за городом.

Каждый день он мог так стоять на крыльце, словно привязанный, дрожа всем телом и тихонько поскуливая, а потом вдруг срывался и бежал, словно его позвал кто-то. Теперь он возвращался поздно и всегда один. С каждым днем голова Мартина уходила все глубже в подушки.

— Люди всегда чем-то заняты, — успокаивала его мать. — Им недосуг прочесть, что ты написал на ошейнике. Может, кто и решил зайти, да за делами забыл.

Нет, здесь что-то другое, думал Мартин, вспоминая странное поведение пса, воспаленный блеск в его глазах, то, как по ночам его тело беспокойно вздрагивает под кроватью и он жалобно скулит, словно ему снятся дурные сны. Иногда среди ночи пес вдруг оказывался возле постели и мог так простоять полночи, глядя на Мартина, будто хотел, но не мог поведать ему величайшую и страшную тайну. Поэтому он громко стучал по полу хвостом или вертелся волчком, не в силах остановиться.

30 октября пес не вернулся домой. Мартин слышал, как родители звали его вечером после ужина, а потом пошли искать.

Становилось темно, опустели улицы, подул холодный ветер, и в доме стало так пусто-пусто...

Было уже за полночь, но Мартин не спал. Он лежал, глядя в потемневшее окно, туда, где для него уже ничего не было, даже осени, ибо его гонцу не принес ему вестей. Теперь не будет зимы, ибо никто не страшнет на него первые снежинки и не даст им растаять на ладони. Отец, мать? Нет, это уже будет не то. Они не умскют играть в те игры, которые они с псом знали, они не знают их секретов, правил, звуков и пантомимы. Не будет больше времен года, как не будет самого времени. Его связной, его гонец не вернулся, затерявшись в джунглях цивилизации, или отравлен, отравлен, попал под колеса, сброшен в канализационный люк.

Залившись слезами, Мартин уткнулся в подушку. Мир стал несмой картиной под стеклом. Мир был мертвым.

Мартин беспокойно метался на постели. Прошло 31 октября, канун Дня всех святых, и еще два дня после праздника. В мусорном баке догнивала последняя тыквенная маска, сожжены маски из папье-маше, а фигурки святых снова заняли свои места на полке до будущего года.

Для Мартина этот вечер был таким же, как все остальные, хотя под холодным звездным небом трубили шутовские трубы, резвились дети в маскарадных костюмах, рисуя мелом на плитках тротуара и на тронутых морозцем стеклах магические знаки и имена.

В доме стояла тишина, и было так хорошо, лежа в постели, смотреть в окно, на чистое небо и яркую луну. Он вспомнил, как в такие вечера они с псом уходили бродить по городу. Пес бежал то впереди, то сзади, временами исчезал в зеленом обрамлении парка и снова появлялся. Он радостно лакал из лужиц молочную-белую от лунного света дождевую воду, с лаем прыгал вокруг кладбищенских надгробий, словно читал имена усопших. Они с псом спешили на лужайки, где ночные тени не стояли на месте, а двигались вместе с ними или теснились вокруг. Беги, дружище, беги! Преследуй или убегай от дыма, туманов, ветра, чьих-то всплывших мыслей и воспоминаний. А потом — скорее домой, в безопасность, уют, теплоту и сон...

Девять часов вечера. Бьют куранты. Им вторит сонно ленивый бой часов в гостиной.

Пес, где ты, вернись и принеси мне все, что ты увидел, — ветку чертополоха, тронутую морозцем, или просто свежий ветер. Где ты? А теперь слушай, я зову тебя!

Мартин затаил дыхание.

Где-то там, далеко — звук...

Мартин, вздохнув, приподнялся на постели.

Снова звук... Еще слышимый, такой слабый и тонкий, словно серебряное острие иголки легонько коснулось неба где-то далеко-далеко.

Слабое эхо собачьего лая!

Пес, бегущий вдоль полей и ферм, по мягким проселочным дорогам, где оставил свои следы вспугнутый заяц. Пес, лаем нарушивший ночную тишину, кружащий по округе, то убегающий далеко-далеко, словно кто-то отпустил длинный-предлинный поводок, то появляющийся снова, будто кто-то, стоящий под капитаном, натянул поводок и свистом позвал его обратно в тень, темную, как ночь, влажную, как поднятый лопатой грунт, четко очерченную, как в новолуние. Пес на поводке кружил и рвался к дому.

«Пес, дружище, поскорей возвращайся, — думал Мартин. — Где же ты был все это время? А теперь, прошу, найди след домой!»

Пять, десять, пятнадцать минут. Лай все ближе. Послушай, негодник, как ты посмел пропадать так долго? Непослушный пес, нет, нет, хороший, добрый пес, возвращайся скорее и принеси мне с собой все, что можешь.

Вот он совсем близко, слышны его лай, такой громкий, что хлопают ставни и вертится флюгер на крыше.

Он уже за дверью.

Мартин поежился, как от холода.

Он должен встать и открыть дверь. Или лучше подождать, когда вернутся родители? Стой, пес, не убегай. А что, если он опять убежит? Нет, лучше спуститься вниз, распахнуть настежь двери и прижать к себе четвероногого друга, а потом, смеясь и плача, взбежать с ним по лестнице наверх...

Лай затих.

Мартин так плотно прижался лицом к оконному стеклу, что чуть не выдавил его. Тишина. Будто кто-то велел псу умолкнуть.

Прошла целая минута. Мартин до боли сжал кулаки. Внизу кто-то жалобно заскулил. Потом скрип медленно открываемой двери. Кто-то сжался над псом и выпустил его в дом. Ну конечно, пес привел с собой мистера Джекобса, а если не его, то мистера Гилеспи или же сосаду мисс Таркин. Входная дверь громко захлопнулась.

Повизгивая от радости, пес вбежал в комнату и прыгнул на постель.

— Пес, дружище, где же ты был, что делал? Ах, шалун ты эдакий...

Плача и смеясь, Мартин прижимал к груди мохнатого мокрого друга и кричал от радости. Но внезапно умолк и отстранился. Он пристально смотрел на пса, и в глазах его была тревога.

Что за запах принес ему на сей раз его верный посланец? Запах чужой земли и темной ночи, запах земных недр и того, что схоронено в них и уже тронутو тленом? Лапы и нос пса были в чужой земле, пахнувшей чем-то резким, незнакомым и пугающим. Пес, должно быть, опять рыл земаю и рыл гаубоко-гаубоко... Нет, этого не может быть! Только не это!

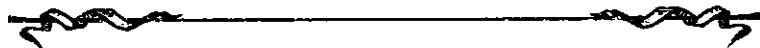
— Что ты принес мне? Откуда этот отвратительный запах тлена? Ты опять нашкодил, опять рыл норы там, где рыть не положено? Ты плохой, непослушный пес. Или ты хороший, ты, должно быть, искал друзей, ведь ты любишь общество и наверняка кого-то привел с собой?

Мартин слышал шаги на лестнице. Кто-то медленно поднимался в темноте, тяжело ступая и останавливаясь, чтобы передохнуть...

Пес дрожал. На одеяло, словно мелкий дождь, сыпались крупинки чужой земли.

Пес посмотрел на дверь. С шорохом, похожим на шепот, она отворилась.

К Мартину пришли гости.



Крошка-убийца

рудно сказать, когда она поняла, что ее убивают. В последний месяц внутри ее подобно приливу накатывало нечто неуловимое, чуть заметное: будто смотришь на абсолютно спокойную гладь тропических вод, хочешь искупаться и, наконец окунувшись, обнаруживаешь, что как раз под тобой обитают чудовища: невидимые твари, жирные, многолапые, с острыми плавниками, злобные и неотвратимые.

В комнате вокруг нее была каючом истерия. Парили острые инструменты, звучали голоса, мелькали люди в белых халатах.

«Как меня зовут?» — подумала она.

Алиса Лейбер. Она вспомнила. Жена Дейвида Лейбера. Но спокойнее от этого не стало. Она была наедине с этими тихими, шепчущимися белыми людьми, а ее переполняли нестерпимая боль, тошнота и страх смерти.

«Меня убивают у них на глазах. Эти врачи, эти медсестры не представляют, что таится внутри меня. Дейвида не знает. Никто не знает, кроме меня и... убийцы, маленького душегуба, крохотного палача.

Я умираю, а сказать им сейчас об этом не могу. Они засмеются и назовут меня сумасшедшей. Они увидят убийцу, возьмут его на руки, им и в голову не придет, что он повинен в моей смерти. Вот она я, умираю перед лицом Господа и человека, и

нет никого, кто поверил бы мне, все будут смотреть на меня с недоверием, утешать ложью, похоронят, ни о чем не подозревая, оплачут и спасут моего губителя».

«Где Дейвид?— задумалась она.— В комнате ожидания, курит одну сигарету за другой, прислушиваясь к долгому тиканию столь медленных часов?»

Из всех ее пор извергся пот, и тут же раздался агонизирующий крик. «Ну! Ну! Попробуй убей меня! — кричала она.— Старайся, старайся, а я не умру! Не умру!»

Пустота. Вакуум. Внезапно боль отпустила. Нахлынули усталость и сумрак. Все когнилось. О господи! Она стала погружаться в черное небытие, которое уступило место небытию и небытию, а за ними следующему и следующему...

Шаги. Легкие приближающиеся шаги.

Голос дадал произнес:

— Она спит. Не тревожь ее.

Запах твида, трубки, неизменного лосьона после бритья. Дейвид стоял рядом. И чуть поодаль безукоризненный запах доктора Джефферса.

Она не стала открывать глаза.

— Я не сплю,— тихо сказала она.

Какой сюрприз, облегчение, что можешь говорить, жить.

— Алиса,— сказал кто-то, взяв ее усталые руки. То был Дейвид.

«Хочешь познакомиться с убийцей, Дейвид? — подумала она.— Я слышу, как твой голос просит разрешения посмотреть на него, значит, мне ничего не остается, как показать тебе его».

Дейвид стоял над ней. Она открыла глаза. Комната стала в фокусе. Шевельнув ослабевшей рукой, она откинула одеяло.

Убийца взглянул на Дейвида с крошечным, краснолицым, голубоглазым спокойствием. Его глубокие глаза сверкали.

— Ах! — воскликнул Дейвид Лейбер.— Какой *красивый* ребенок!

Когда Дейвид Лейбер приехал забирать домой жену и новорожденного, его ждал доктор Джефферс. Он жестом предложил Лейберу сесть, угостил сигарой, сам закурил, присел на край

стола, долго серьезно попыхивал. Потом откашляясь, взглянула Дейвиду прямо в глаза и сказала:

— Твоя жена не любит своего ребенка, Дейв.

— Что?!

— Ей пришлось нелегко. Твоя любовь ей очень понадобится в ближайшее время. Я тогда не все тебе сказал, в операционной у нее была истерика. То, что она говорила,— невероятно. Не стану повторять. Скажу главное: она чувствует себя чужой ребенку. Так вот, может, все очень просто, и один-два вопроса все разъяснят.— Он пососал сигару, потом сказал: — Этот ребенок — желанный ребенок, Дейв?

— Почему ты спрашиваешь?

— Это важно.

— Да. Да, это желанный ребенок. Мы оба хотели его. Алиса была так счастлива год назад, когда...

— Гм... Тогда сложнее. Потому что если ребенок незапланированный, то подобные вещи объясняются тем, что женщине вообще ненавистна мысль о материнстве. К Алисе же это не подходит.— Доктор Джефферс выпнул сигару изо рта, поскреб подбородок.— Тогда что-нибудь еще. Возможно, что-то случилось в детстве, а проявляется теперь. А может, это временно! Сомнение и страх бывают у всякой матери, испытавшей сильные муки и близость смерти, подобно Алисе. Если это так, то время залечит. Все-таки я считал, что должен рассказать тебе об этом, Дейв. Тебе это поможет быть мягким и терпеливым с ней, если она скажет что-нибудь о... ну... о том, что лучше бы ребенок не рождался. И если дела будут идти не очень гладко, заходите ко мне, втроем. Я всегда рад встретиться со старыми друзьями, ладно? Слушай, выкури еще сигару за... э... за ребенка.

Был яркий весенний день. Автомобиль жужжал по широким, окаймленным деревьями бульварам. Синее небо, цветы, теплый ветер. Дейв говорил, закурил сигару, опять говорил. Алиса отвечала сразу, спокойно, все более расслабляясь. Но она держала ребенка не настолько крепко, не настолько тепло и не настолько по-матерински, чтобы рассеять подозрение, засевавшее у Дейва в мозгах. Казалось, она держит фарфоровую куколку.

— Ну,— сказал он наконец, улыбаясь.— Как мы его назовем?

Алиса Лейбер провожала взглядом зеленые деревья, пронесившиеся мимо.

— Давай не будем сейчас это решать. Лучше подождем, пока не придумаем какое-нибудь необычное имя. Не дыми ему в лицо.

Она произносила фразу за фразой, не меняя тона. Последнее замечание не содержало в себе ни материнского укора, ни интереса, ни раздражения. Она лишь проговорила его, и оно было сказано.

Муж, смутившись, выбросил сигару из окна.

— Прости,— сказал он.

Ребенок покоился в объятиях материнских рук, тени от солнца и деревьев бежали по его лицу. Он раскрыл голубые глаза, подобные свежим голубым весенним цветам. Из его крошечного, розового, упругого ротика исторглись влажные звуки.

Алиса мельком взглянула на ребенка. Ее муж почувствовал, как она вздрогнула у него за спиной.

— Холодно? — спросил он.

— Знобит. Лучше закрой окно, Дейвид.

Непохоже на озноб. Он медленно поднял стекло.

Ужин.

Дейв принес малыша из детской, устроил его на новом высоком стульчике, беспорядочно и уютно обложив подушками.

Алиса следила, как двигается ее нож и вилка.

— Он еще не дорос до высокого стула,— сказала она.

— Как-то смешно, что он есть,— сказал Дейв. Ему было хорошо.— Все смешно. И на работе. Заказов по горло. Если не прослежу, заработаю еще пятнадцать тысяч в этом году. Эй, посмотри-ка на отпрыска! Обслуживал себе весь подбородок! — Он потянулся, чтобы вытереть салфеткой ребенку рот. Краем глаза он заметил, что Алиса даже не взглянула.— Понятно, что это не очень-то интересно,— сказал он, принявшись снова за еду.— Но вообще-то можно предположить, что мать проявит хоть какой-то интерес к собственному ребенку!

Алиса резко подняла голову.

— Не разговаривай таким тоном! Не при нем! Потом, если тебе это необходимо.

— Потом? — закричал он.— При нем, не при нем, какая разница? — Тут он сдержался, почувствовав себя виноватым.— Ну ладно. Не буду. Я понимаю, каково тебе.

После ужина она позволила ему отнести ребенка наверх. Она не попросила его это сделать; она просто *позволила*.

Спустившись вниз, он увидел, что она стоит у радио и слушает музыку, не слыша ее. Закрыв глаза, она, казалось, о чем-то спрашивала себя, чему-то удивлялась. Когда он вошел, она вздрогнула.

Неожиданно она оказалась рядом, быстро обняла его, нежно, как прежде. Ее губы нашли губы Дейва, не отпускали. Он был ошеломлен. Теперь, когда ребенок исчез из комнаты и был наверху, она снова стала дышать, снова жить. Она чувствовала себя свободной. Стала шептать торопливо, бесконечно.

— Спасибо, спасибо, дорогой. За то, что ты всегда такой, какой есть. Надежный, такой надежный!

Он принужденно засмеялся:

— Мой отец говорил мне: «Сын, обеспечь свою семью!»

Она устало опустила голову, темными блестящими волосами касаясь его груди.

— Ты совершил гораздо больше. Порой мне хочется жить так, как когда мы только поженились. Никакой ответственности. Никого, кроме нас. Никаких... никаких детей.

Она сжала его руки, лицо ее было сверхъестественно бледным.

— Ах, Дейв, когда-то были только ты и я. Мы охраняли друг друга, теперь мы охраняем ребенка, но мы ничем от него не защищены. Ты понимаешь? В больнице у меня хватило времени, чтобы поразмыслить. Мир жестокий...

— Разве?

— Да. Жестокий. Но от него нас охраняют законы. А когда нет законов, хранит любовь. Моя любовь хранит тебя от моих же оскорблений. Для меня ты более уязвим, чем для других, но любовь — твоя защита. Я не боюсь тебя, потому что любовь сглаживает твой гнев, неестественные инстинкты, ненависть и незрелость. Ну... а ребенок? Он слишком мал, чтобы понимать, что

такое любовь, или ее законы, или что-либо иное, пока мы не научим его. И в свой черед не станем уязвимыми для него.

— Уязвимыми для ребенка? — Он отодвинул ее и тихо засмеялся.

— Знает ли ребенок, что хорошо, а что плохо? — спросила она.

— Нет. Но он узнает.

— Но ребенок так мал, так аморален, так бессознателен. — Она замолчала. Высвободив руки, она резко повернулась: — Какой-то звук? Что это?

Лейбер оглядел комнату:

— Я не слышал...

Она пристально глядела на дверь библиотеки.

— Вон там, — медленно сказала она.

Лейбер подошел к двери, открыл ее и включил в библиотеке свет.

— Ничего. — Он вернулся к ней. — Ты устала. Пошли спать... прямо сейчас.

Погасив свет, молча они медленно поднялись по бесшумной лестнице холла. Наверху Алиса извинилась:

— Я столько ерунды наговорила, дорогой. Прости меня. Я очень устала.

Он понял и так и сказал.

У двери детской она нерешительно остановилась. Резко повернула медную ручку и вошла внутрь. Он наблюдал, как она очень осторожно подошла к колыбели, заглянула туда и застыла, будто получила удар в лицо.

— Дейвид!

Лейбер шагнул вперед и подошел к колыбели.

У ребенка было ярко-красное и очень мокрое лицо; его крошечный розовый ротик открывался и закрывался, открывался и закрывался; глаза пламенели синевой. Руками он хватал воздух.

— Ой! — сказал Дейв. — Он только что плакал.

— Разве? — Алиса Лейбер вцепилась в перила кровати, стараясь удержаться. — Я не слышала.

— Дверь была закрыта.

— И поэтому он так тяжело дышит, поэтому у него такое красное лицо?

— Ну да. Бедный малыш. Плакал в темноте совсем один. Пусть сегодня он поспит в нашей комнате — вдруг заплачет.

— Ты его избалуешь, — сказала жена.

Лейбер чувствовал на себе ее взгляд, когда катил кровать в спальню. Он молча разделся, сел на край кровати. Вдруг поднял голову, тихо выругался и щелкнул пальцами.

— Проклятие! Совсем забыл тебе сказать. В пятницу мне необходимо лететь в Чикаго.

— Ах, Дейвид. — Ее голос затерялся в комнате.

— Я отложил эту поездку на два месяца, и теперь настал критический момент. Я просто обязан схать.

— Я боюсь оставаться одна.

— В пятницу к нам придет новая кухарка. Она все время будет здесь. Через несколько дней я вернусь.

— Я боюсь. Не знаю чего. Ты мне не поверишь, если скажу. Я, кажется, схожу с ума.

Он уже лежал в кровати. Она выключила свет; было слышно, как она обошла кровать, откинула одеяло, скользнула внутрь. Он ощутил вблизи теплый женский запах. Он сказал:

— Если хочешь, может, мне удастся задержаться на несколько дней...

— Нет, — неуверенно ответила она. — Поезжай. Я знаю, это важно. Просто я все время думаю о том, что я тебе говорила. Законы, любовь и защита. Любовь защищает тебя от меня. Но ребенок... — Она вздохнула. — Чем ты защищен от ребенка, Дейвид?

Прямо перед тем, как он успел ей ответить, объяснить, что глупо так рассуждать о младенцах, она неожиданно зажгла лампу около кровати.

— Смотри, — указала она.

Ребенок в кроватке не спал, а глубоким, пронзительным синим взглядом смотрел прямо на него.

Снова погас свет. Она дрожала рядом с ним.

— Нехорошо страшиться того, что породил. — Ее шепот понизился, стал резким, полным ненависти, быстрым. — Он хотел меня убить! Лежит здесь, подслушивает, ждет, когда ты уедешь, чтобы опять попытаться уничтожить меня! Я в этом уверена!

Она стала всхлипывать.

Долго она плакала в темноте. Успокоилась очень поздно. Дыхание ее стало тихим, теплым, размеренным, тело вздрогнуло от усталости, и она заснула.

Он задремал.

И прежде чем веки его тяжело сомкнулись, погружая его во все более и более глубокий сон, он услышал в комнате странный негромкий звук сознания и бодрствования.

Звук крошечных, влажных, упругих губ.

Малютка.

А потом... сон.

Утром сияло солнце. Алиса улыбалась.

Дейвид Лейбер размахивал часами над кроваткой. «Смотри, малыш! Как блеснит. Как красиво. Гляди. Гляди. Как блеснит. Как красиво».

Алиса улыбалась. Она сказала, чтобы он уезжал, летел в Чикаго, она будет очень смелой, беспокоиться нечего. Она присматривает за ребенком. Она станет заботиться о нем, все в порядке.

Самолет летел на восток. Небо, солнце, облака и Чикаго на горизонте. Дейва затащило тонкой заказов, планов, банкетов, телефонных переговоров, споров на заседаниях. Но каждый день он писал письма и слал телеграммы Алисе и малышу.

Вечером, на шестой день вдали от дома, раздался междугородный звонок. Лос-Анджелес.

— Алиса?

— Нет, Дейв. Это Джефферс.

— Доктор!

— Держи себя в руках, сынок. Алиса заболела. Будет лучше, если ближайшим рейсом ты возвратишься домой. Воспаление легких. Я сделаю все возможное, старина. Если бы не сразу после родов. Ей нужны силы.

Лейбер положил трубку. Он встал, не чувствуя ни ног под собой, ни рук, ни тела. Гостиничный номер поплыл и стал распадаться на куски.

— Алиса,— сказал он и слепо ткнулся в дверь.

Пропеллеры вращались, вертелись, кружились, встали; время и пространство остались позади. Дверная ручка сама повернулась в его руке, пол под ногами обрел реальность, вокруг струились стены спальни, освещенный закатным солнцем, стояла спиной к окну доктор Джефферс. Алиса лежала в постели, словно вылепленная из густого снега, и ждала. Джефферс все говорил и говорил, спокойно, не умолкая, при свете лампы мягко тек и бесцветно журчал голос, то понижаясь, то повышаясь.

— Твоя жена чересчур прекрасная мать, Дейв. Ее больше тревожил ребенок, чем она сама...

Внезапно бледное лицо Алисы исказила гримаса, которая тут же исчезла, не успев закрепиться. Потом медленно, чуть улыбаясь, она начала говорить и говорила то, что обычно говорят матери: о том о сем, о каждой детали — поминутный отчет матери, сосредоточенной на миниатюрной жизни в кукольном домике. Но она не останавливалась — пружина была туго заведена, — и к ее тону прибавились гнев, страх и легкое отвращение, что не изменило выражения лица доктора Джефферса, но заставило сердце Дейва обратить внимание на ритм этого монолога, который все учащался и конца ему не было.

— Ребенок не спал. Я думала, что он заболел. Он просто лежал в кроватке и смотрел, а по ночам плакал. Он плакал и плакал, очень громко, все ночи подряд. Я не могла успокоить его и не спала.

Доктор Джефферс медленно-медленно покачал головой:

— От переутомления подхватила воспаление легких. Но теперь она напичкана лекарствами и уже выкарабкивается из этой паршивой болезни.

Дейвид почувствовал себя больным.

— Малыш, как малыш?

— В добром здравии. Важная персона!

— Спасибо, доктор.

Доктор вышел, спустился вниз по лестнице, открыл тихонько входную дверь и удалился.

— Дейвид!

Он повернулся на ее перепуганный шепот.

— Снова этот ребенок.— Она стиснула ему руку.— Я лежала и впускала себе, что я дура, но ребенок знал, что я ослабла после болезни, и кричал без конца каждую ночь, а когда не пла-

кал, то наступала такая тишина, что мне становилось страшно. Я знала, что, как только вклячу свет, он будет сверлить меня взглядом!

Дейвид почувствовал, что его тело сжалось, словно кулак. Он вспомнил, как он видел, чувствовал, что ребенок не спит в темноте, не спит поздно ночью, когда детишки должны спать. Не спал, а лежал молча, как будто думал, и не плакал, а наблюдал из своей кровати. Он отбросил эту мысль. Безумие.

Алиса продолжала:

— Я хотела убить ребенка. Да, хотела. Через день после твоего отъезда я пришла к нему в комнату и взяла его за горло и долго так стояла, размышляя, боясь. Потом я натянула ему на голову простыню, перевернула его лицом вниз и прижала, потом выбежала из комнаты, оставив его в таком положении.

Он попытался остановить ее.

— Нет, дай я доскажу до конца,— хрипло сказала она, уставившись в стену.— Когда я вышла из комнаты, я подумала: «Как просто. Дети задыхаются каждый день. Никто и не узнает». Но когда я вернулась взглянуть на него мертвого, Дейвид, он был жив! Да, жив, перевернулся на спину, живой, смеющийся и дышащий. После этого я не могла к нему прикоснуться. Я бросила его там и не возвращалась ни покормить, ни взглянуть, ни за чем-либо еще. Может быть, за ним смотрела кухарка. Не знаю. Одно я знаю: от его плача я не спала, и все ночи думала и ходила по комнатам, и вот заболела.— Она была уже на пределе.— Ребенок лежит там и придумывает, каким способом меня убить. Простейшим способом. Потому что ему известно, что я слишком много знаю о нем. Я не люблю его, мы не защищены друг от друга и никогда не будем.

Она замолчала. Выговорившись, она наконец уснула. Дейвид Лейбер долго стоял над ней не в состоянии пошевелиться. Кровь застыла в его жилах, ни одна клеточка не шевельнулась в нем, нигде, нигде.

Наутро ему оставалось лишь одно. Что он и сделал. Он пошел к доктору Джефферсу и, рассказав ему все, выслушал терпеливые советы Джефферса.

— Давай во всем разберемся не спеша, сынок. Бывает, что матери ненавидят своих детей. У нас существует для этого спе-

циальный термин — амбивалентность. Способность любить и ненавидеть одновременно. Любовники часто ненавидят друг друга. Дети чувствуют отвращение к своим матерям...

Лейбер перебил:

— Я никогда не ненавидел свою мать.

— Естественно, ты никогда в этом сам себе не признаешься. Людей не радует осознание того, что они ненавидят своих близких.

— Значит, Алиса ненавидит ребенка.

— Скажем так: у нее навязчивая идея. Это больше чем обычная амбивалентность. Кесарево сечение вызволило дитя на свет и чуть не лилило Алису жизни. Она винит ребенка в том, что чуть не умерла и заболела воспалением легких. Она проецирует свои несчастья, обвиняя находящийся под рукой объект и выдавая его за источник бед. Мы все так поступаем. Мы натыкаемся на стул и проклинаем мебель, а не собственную неуклюжесть. Мы промахиваемся, играя в гольф, и ругаем траву, либо биту, либо мяч. Если наше дело кончается крахом, то виноваты боги, погода, фортуна. Я могу лишь повторить то, что уже говорил. Люби ее. Лучшее лекарство на свете. Найди способ, как показать ей свою привязанность, защити ее. Придумай, как показать ей, что ребенок безопасен и невинен. Сделай так, чтобы она почувствовала, что он стоил того риска. Немного погодя она успокоится, перестанет думать о смерти и полюбит ребенка. Если примерно через месяц она не придет в себя, обратись ко мне. Теперь ступай и не смотри такими глазами.

Наступило лето, стало легче, казалось, что все пришло в норму. Дейв работал, целиком погружившись в дела конторы, но при этом уделял много времени и жене. Она, в свою очередь, долго гуляла, набиралась сил, иногда играла в бадминтон. Она больше не срывалась. Казалось, она избавилась от своих страхов.

Лишь однажды в полночь, когда летний ветер внезапно пролетел вокруг дома, теплый и мягкий, встряхнув деревья, словно множество блестящих тамбуринов, Алиса проснулась, дрожа, и скользнула в объятия мужа, чтобы он успокоил ее и спросил, что случилось.

Она ответила:

— Здесь кто-то есть, следит за нами.

Он зажжет свет.

— Опять эти сны, — сказал он. — Правда, тебе уже лучше. Ты давно не тревожилась.

Она вздохнула, когда он щелкнул выключателем, и вдруг заснула. Обнимая ее, он около получаса размышлял о том, какая она милая и непредсказуемая.

Вдруг он услышал, как дверь спальни приоткрылась на несколько дюймов.

За дверью никого не было. И она не могла открыться сама. Ветер стих.

Он ждал. Прошел час, как ему показалось, а он все тихо лежал в темноте.

Затем далеко, завывая подобно крошечному метеориту, затухающему в безбрежной чернильной бездне космоса, заплакал ребенок в детской.

Маленький одинокий звук среди мириад звезд, и тьма, и дыхание женщины в его руках, и ветер, снова зашелестевший среди деревьев.

Лейбер медленно сосчитал до ста. Плач продолжался.

Осторожно высвободившись из рук Алисы, он соскочил с кровати, надел тапочки, хахат и тихо двинулся по комнате.

Надо спуститься вниз, согреть молока, подумал он, подняться наверх и...

Тьма полстела из-под него. Его нога подвернулась и провалилась. Подвернулась на чем-то мягком. Провалилась в ничто.

Он выбросил руки и судорожно вцепился в перила. Тело прекратило полет. Он удержался. Он выругался.

«Что-то мягкое», обо что он споткнулся, прошуршало и шлепнулось несколькими ступеньками ниже. Голова гудела. Сердце, разбухая и сжимаясь от боли, молотком стучало в груди.

Почему неаккуратные люди разбрасывают все по дому? Он осторожно нащупал пальцами предмет, из-за которого он чуть не нырнул с лестницы вниз головой.

Рука его застыла в изумлении. Дыхание замерло. Сердце пропустило один-два толчка.

Вещь, которую он держал в руке, была игрушкой. Большая неуклюжая тряпичная кукла, которую он купил для смеха...

Малышу.

На следующий день Алиса повезла его на работу.

На полпути к центру она замедлила ход и остановилась у обочины. Потом повернулась к мужу:

— Я хочу уехать на время, отдохнуть. Если ты не можешь отправиться со мной, то можно, я поеду одна, дорогой? Мы наверняка найдем кого-нибудь присмотреть за ребенком. Мне необходимо уехать. Я думала, что больше не испытываю это... это чувство. Но оказалось, что это не так. Я не в состоянии находиться с ним вместе. Он так глядит на меня, будто тоже ненавидит меня. Мне трудно это объяснить; одно лишь знаю — я хочу уехать, пока что-нибудь не произошло.

Он вылез из машины, подошел к дверце с ее стороны и, сделав ей знак подвинуться, сам сел за руль.

— Все, что ты сделаешь, — это обратишься к психиатру. И если он предложит тебе отдохнуть, ну что ж, пожалуйста. Только дальше так продолжаться не может, мое терпение лопнуло. — Он включил зажигание. — Теперь я поведу.

Она опустила голову, стараясь сдержать слезы. Когда они подъехали к зданию его конторы, она подняла голову:

— Хорошо. Запиши меня на прием. Я проконсультируюсь, с кем ты захочешь, Дейвид.

Он поцеловал ее.

— Вот теперь вы рассуждаете разумно, леди. Сможешь доехать до дома сама?

— Конечно, глушьш.

— Тогда до ужина. Веди осторожно.

— А разве я так и не делаю? Пока.

Он стоял у обочины, глядя, как она отъезжает, ветер трепал ее длинные темные, блестящие волосы. Минуту спустя, поднявшись наверх, он позвонил Джефферсу и договорился о приеме у надежного невропатолога.

Весь день его не покидало чувство тревоги. Перед глазами возникала пелена, в которой потерявшаяся Алиса все звала его

по имени. Настолько ее страх передался ему. Он почти поверил, что в чем-то ребенок не такой, как все.

Он продиктовал несколько длинных скучных писем. Проверил несколько деловых бумаг. Надо было задавать сотрудникам вопросы, следить за тем, чтобы они работали. К концу дня он был измочален, в голове стучало, и он был рад, что можно ехать домой.

Спускаясь на лифте вниз, он размышлял: «А может, рассказать Алисе об игрушке... тряпичной кукле... о которую он споткнулся ночью на лестнице? Господи, а вдруг от *этого* ей станет хуже? Нет, никогда не расскажу. В конце концов, случайность есть случайность».

Было еще светло, когда он возвращался домой на такси. Подъехав к дому, он расплатился с шофером и медленно пошел по зацементированной дорожке, наслаждаясь светом, все еще озарявшим небо и деревья. Белый фасад дома выглядел неестественно тихим и необитаемым, и тут, отрешенно, он вспомнил, что сегодня четверг и что прислуга, которую они позволяли себе нанимать время от времени, сегодня отсутствовала.

Он глубоко вдохнул воздух. Птица пела за домом. На бульваре шумели машины. Он повернул ключ в двери. Смазанная ручка тихо повернулась под его пальцами.

Дверь открылась. Он вошел, положил на стул шляпу и портфель, стал стягивать пальто и взглянул вверх. Сквозь окошко в холле у потолка струился по лестнице луч заходящего солнца. Он освещал яркое пятно — тряпичную куклу, валявшуюся около нижней ступеньки.

Но он не обратил внимания на игрушку.

Он лишь стоял и смотрел, не двигаясь, и все смотрел и смотрел на Алису.

Нелепо согнувшись, мертвенно-бледная, Алиса лежала внизу, у лестницы подобно измятой кукле, которая больше никогда не захочет играть.

Алиса была мертва.

В доме стояла тишина, слышен был лишь стук его сердца.

Она была мертва.

Он приподнял ее голову, коснулся пальцев. Обнял ее. Но жить она больше не будет. Даже не попытается. Он позвал ее по име-

ни, громко, несколько раз; прижимая ее к себе, он старался вновь и вновь одарить ее теплом, которого она лишилась, но это не помогало.

Он встал. Кажется, позвонил по телефону. Внезапно он оказался наверху. Открыл дверь в детскую, вошел и тупо посмотрел на колыбельку. Болел живот. Плохо было видно.

Ребенок лежал, закрыв глаза, с красным, мокрым от пота лицом, словно он долго и громко кричал.

— Она умерла, — сказал Лейбер ребенку. — Она умерла.

И он стал смеяться тихо, медленно, бесконечно, до тех пор, пока из ночи не вышел доктор Джефферс и не стал бить его по щекам.

— Прекрати! Возьми себя в руки!

— Она упала с лестницы, доктор. Она поскользнулась о тряпичную куклу и упала. Я сам чуть не упал из-за нее ночью. А теперь...

Доктор встряхнул его.

— Док, док, док, — бормотал Дейв. — Вот смешно. Смешно-то. Я... Я наконец придумал имя ребенку.

Доктор ничего не ответил.

Лейбер опустил голову на дрожащие руки и произнес:

— В воскресенье я окрепну его. Знаешь, как я его назову? Я назову его Люцифер.

Одиннадцать вечера. Явились незнакомые люди, прошли по дому и забрали его неотъемлемое тепло — Алису.

Дейвид Лейбер с доктором сидели в библиотеке.

— Алиса была не сумасшедшая, — медленно сказал Дейвид. — У нее хватало причин бояться ребенка.

Джефферс вздохнул.

— Не иди по ее стопам! Она винила ребенка в своей болезни, теперь ты обвиняешь его в том, что она умерла. Не забывай, что она споткнулась об игрушку. Ребенок не виноват.

— Ты говоришь о Люцифере?

— Прекрати его так называть!

Лейбер покачал головой.

— Алиса слышала по ночам какой-то шум в коридоре. Хочешь знать, кто это шумел, доктор? Ребенок. Четырех месяцев

от роду, ползал в темноте и подслушивал. Слышал каждое наше слово! — Он вцепился в подлокотники кресла. — А когда я включал свет — он ведь такой маленький. Он мог спрятаться за мебелью, за дверью, прижаться к стене... так что его не было видно.

— Перестань! — сказал Джефферс.

— Дай мне высказаться, а то я сойду с ума. Когда я был в Чикаго, кто не давал Алисе спать и измучил ее до того, что она заболела воспалением легких? Ребенок! Но Алиса не умерла, и он попытался убить меня. Это же так просто: ночью бросить на лестнице игрушку, а потом долго кричать, пока твой папа не пойдет вниз согреть молока и не подскользнется. Жестокий прием, но эффективный. Со мной не вышло. Алиса погибла.

Дейвид Лейбер замолчал, чтобы закурить сигарету.

— Я должен был понять. Сколько раз я включал свет среди ночи, а ребенок лежал, широко раскрыв глаза. Почти все дети спят по ночам. Но не этот. Он бодрствовал и думал.

— Маленькие дети не думают.

— Ну хорошо, он бодрствовал и вытворял своими мозгами, что мог. Что мы знаем об уме ребенка? У него было полно причин ненавидеть Алису: она подозревала его в том, что он есть на самом деле — ребенок, явно не похожий на других. Какой-то не такой. Что тебе известно о детях, доктор? Какие-то общие черты, да. Конечно, тебе известно, как во время родов дети убивают своих матерей. Почему? Может, таким образом они выражают свое возмущение тем, что их насильно выталкивают в этот отвратительный мир?

Лейбер наклонился к доктору, он был измучен.

— Все взаимосвязано. Предположим, что несколько детей из миллиона, появляющихся на свет, сразу же умеют передвигаться, видеть, слышать, думать, как могут большинство животных и насекомых. Насекомые рождаются уже вполне самостоятельными. Большинство млекопитающих и птиц приспособляются через несколько недель. А детям пужны годы, чтобы научиться говорить и ковылять на слабых ногах. Но представь, что один ребенок из миллиарда необыкновенный. Рождается совершенно сознательный, инстинктивно способный мыслить. Не отличное ли положение, не отличное ли прикрытие всему, что захочет

совершить такой ребенок? Он может притвориться обыкновенным, слабым, плачущим, невинным. Лишь *малая* трата энергии понадобится ему, чтобы ползать по темному дому, подслушивая. А как легко положить какую-нибудь штуку на верхней ступеньке! Как легко кричать всю ночь напролет и тем самым довести мать до воспаления легких! Как легко прямо во время родов, находясь внутри матери, *несколькими лобковыми движениями вызвать перитонит!*

— Ради бога! — Джефферс встал. — Омерзительно, что ты так говоришь!

— Омерзительно то, о чем я говорю. Сколько матерей погибло во время родов? Сколько происходит необъяснимых, невероятных случайностей, которые могут так или иначе вызвать смерть во время родов? Непознанные красные маленькие существа, с мозгами, которые работают в проклятой темноте, когда никто даже не догадывается об этом. Маленькие примитивные мозги, начиненные расовой памятью, ненавистью и природной жестокостью, с единственной мыслью о самосохранении. А самосохранение в данном случае заключается в том, чтобы уничтожить мать, осознавшую, что за кошмар породила она. Я спрашиваю тебя, доктор, существует ли на свете нечто более эгоистичное, чем ребенок? Нет.

Джефферс нахмурился и беспомощно покачал головой.

Лейбер положил сигарету.

— Я не утверждаю, что ребенок должен обладать большой силой. Достаточно научиться немного ползать несколькими месяцами раньше графика. Достаточно, чтобы все время слушать. Достаточно, чтобы плакать всю ночь напролет. Этого достаточно, более чем достаточно.

Джефферс попытался засмеяться:

— Тогда называй это убийством. Но убийство должно быть мотивировано. Какие мотивы у ребенка?

У Лейбера был готов ответ:

— Кто на свете больше всех довольствуется сном, свободой, отдыхом, сытостью, удобством, спокойствием, как не ребенок в утробе матери? Никто. Он плавает в магии сна, безвременья, нищеты и тишины. Потом внезапно его просят покинуть поме-

щение, силой заставляют убраться, вылететь в шумный, недобрый, эгоистичный мир, где его заставят самого передвигаться, охотиться, добывать пищу, гоняться за ускользающей любовью, которая когда-то была его неотъемлемым правом, сталкиваться с беспорядком взамен утробной тишины и постоянного сна. И ребенок *возмущается!* Возмущается холодным воздухом, огромным пространством, внезапным отторжением от привычных вещей. И в крохотной клеточке мозга ребенка остаются лишь эгоизм и ненависть, потому что чары были грубо разбиты. Кого же следует винить в том, что чары были так грубо нарушены и что волшебству наступил конец? Мать. Вот и получается, что ребенку есть кого ненавидеть всем своим неразумным умишком. И отец не лучше, и его убить. Он по-своему виноват!

Джефферс прервал его:

— Если то, что ты сказал, верно, то каждая женщина на свете должна опасаться своего ребенка, удивляться ему.

— А почему бы и нет? Разве у ребенка не отличное алиби? Его защищает тысячелетиями принятое медицинское убеждение. По природным причинам он беспомощен и не может отвечать за свои действия. Ребенок рождается с ненавистью. А жизнь все хуже, а не лучше. Поначалу ребенку достаточно внимания и материнской заботы. Но время течет, и все меняется. Новорожденный ребенок в силах своим чихом или плачем заставить родителей совершать глупые поступки и подпрыгивать от его малейшего писка. Годы идут, и ребенок чувствует, что даже эта крошечная власть быстро ускользает навсегда, без возврата. Почему бы ему не ухватиться за ту власть, которую он имеет? Почему бы ему не добиваться выгодного положения всеми способами, пока у него есть преимущества? Потом будет слишком поздно выражать свою ненависть. *Теперь* есть время для борьбы.

Голос Лейбера звучал тихо, спокойно.

— Мой маленький мальчик лежит по ночам в колыбельке с мокрым красным лицом и задыхается. Потому что плакал? Нет. Потому что медленно вылез из кроватки, долго полз по темным коридорам. Мой маленький мальчик. Я хочу убить его.

Доктор протянул ему стакан воды и таблетки.

— Никого ты не убьешь. Будешь спать двадцать четыре часа. Выспишься и придешь в себя. Возьми-ка.

Лейбер принял таблетки и дал отвести себя наверх в спальню, плача, он чувствовал, что его укладывают в постель. Доктор подождал, пока он глубоко не заснул, и ушел.

Лейбер в одиночестве плаыл и плаыл по течению.

Он услышал шорох.

— Что... что *это*? — слабо спросил он.

Что-то шевелилось в коридоре.

Дейвид Лейбер спал.

Следующим утром, очень рано, доктор Джефферс подъехала к дому. Утро было чудесное, и он собирался прокатить Лейбера за город на прогулку. Лейбер, должно быть, все еще спит наверху. Джефферс дал ему достаточно снотворного, чтобы отключить его по крайней мере на пятнадцать часов.

Он позвонил в дверь. Молчание. Прислуга, наверное, еще не встала. Джефферс толкнул входную дверь, она оказалась незапертой, он вошел внутрь. Положил врачебный чемоданчик на ближайший стул.

Что-то белое мелькнуло на верху лестницы. Неуловимое движение. Джефферс едва обратил внимание.

Во всем доме стоял запах газа.

Джефферс побежал наверх, вломился в спальню Лейбера.

Лейбер без сознания лежал на кровати, а комнату застилаал газ, который с шипением струился из открытой форсунки внизу в стене около двери. Джефферс закрутил кран, распахнул все окна и подбежал к телу Лейбера.

Тело было холодным. Он был мертв уже несколько часов.

Сильно кашляя, доктор выскочил из комнаты, глаза слезились. Лейбер не включал газ сам. Он был *не в состоянии* это сделать. Снотворное отключило его, он не мог проснуться раньше полудня. Это не самоубийство. Или все-таки мог?

Джефферс минут пять постоял в коридоре. Потом подошел к двери детской. Она была закрыта. Он открыл ее. Вошел внутрь и подошел к кроватке.

Кровать была пуста.

Покачиваясь, он постоял подминуты у колыбели, потом сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Дверь детской захлопнулась. В кроватку, где так безопасно, вернуться ты не смог. В твои планы не входило, что дверь захлопнется. Столь ничтожная деталь, как захлопнувшаяся дверь, может разрушить наилучший план. Я найду тебя, спрятавшегося где-то в доме и притворившегося тем, чем ты на самом деле не являешься.— Доктор был потрясен. Он приложил руку ко лбу и слабо улыбнулся: — Ну вот, теперь я говорю то же, что говорили Алиса и Дейвид. Но я не могу рисковать. Я ни в чем не уверен, но рисковать я не могу.

Он спустился вниз, открыл чемоданчик, лежащий на стуле, вытащил оттуда какой-то предмет и взял его обеими руками.

Что-то прошуршало в коридоре. Что-то крошечное и такое бесшумное. Джефферс быстро обернулся.

«Мне пришлось сделать операцию, чтобы ввести тебя в этот мир,— подумал он.— Теперь, как я понимаю, я должен сделать операцию, чтобы увести тебя из него...»

Он сделал несколько медленных, уверенных шагов в коридор. Поднял руки к солнечному свету.

— Смотри, малыш! Как блесит... как красиво! Скальпель.



Друг Николаса Никльби — мой друг*

Представьте себе лето, которое никогда не кончится.

Год тысяча девятьсот двадцать девятый.

Представьте мальчишку, который никогда не станет взрослым.

Это я.

Представьте парикмахера, который никогда не был маленьким.

Это мистер Уйнески.

Представьте собаку, которая никогда не умрет.

Это мой Пес.

Представьте маленький городок, из тех, которых уже не осталось.

Готово? Начали...

Гринтаун, Иллинойс. Конец июня.

У дверей парикмахерской с одним-единственным креслом лает собака.

Внутри мистер Уйнески обхаживает очередную жертву, а клиент подремывает в обволакивающей полуденной духоте.

За креслом стою я, Ральф Сполдинг, двенадцати лет от роду, неподвижный, как монумент павшим в Гражданской войне, и

* Николас Никльби — главный герой романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

вслушиваюсь в жаркий ветер, ощущаю вездесущую жаркую летнюю пыль, мир, который скоро уже можно вынимать из духовки, мир без добра и зла, мир, где мальчишки развалились в траве рядом с псами, а псы дремают, положив головы на колени своих хозяев, под деревьями, которым лень даже шевельнуть ветками, и листья шепчут обреченно: «Ничто и никогда уже не повторится».

Прохладная вода сбегает тонкой струйкой с огромной, как катафалк, глыбы льда в окне скобяной лавки. И на много миль вокруг прохладно только мисс Мороз, ассистентке странствующего фокусника, втиснутой в ледяной гроб, в узкую ледяную полость, принявшую форму женского тела. Уже три дня как она выставлена на всеобщее обозрение — люди утверждают, что она не дышит, не ест, не говорит. Последнее, по-моему, для женщины труднее всего.

На улице все недвижимо — лишь медленно вращается полосатый шест над парикмахерской и по нему бесконечно бегут красные и белые полосы, выскальзывают из ниоткуда и исчезают в никуда — перетекают из одной тайны в другую.

— Эй...

Я наострил уши.

— ...что-то приближается...

— Дневной поезд, Ральф.— Мистер Уйнески легонько щелкнул ножницами, пристально разглядывая что-то в ухе клиента.— Всего лишь поезд, который проходит в полдень.

— Нет...— выдохнул я, закрыв глаза и подавшись вперед.— Что-то действительно приближается.

Далекий посвист гудка, одинокий, печальный, выпинающийся душу...

— Ты-то чувствуешь, а, Пес?

Пес залаял. Мистер Уйнески фыркнул:

— Ну что может учуять собака?

Значительное. Важное. Судьбу. Вопросы, от которых не скрыться. Пес говорит. Я говорю. Мы говорим.

— Так, вас уже четверо... Небольшой, но все-таки коллектив.— Мистер Уйнески отвлекся на миг от разморенного летней жарой человека в изящном белом кресле.— Ральф, меня больше беспокоят волосы. Подмети-ка.

Я уже смел сегодня тонну волос, не меньше.

— Можно подумать, они прямо из пола сами собой растут. Мистер Уйнески наблюдал за моей метлой.

— Точно! Столько я не настриг! Могу поклясться, проклятые волосы растут потихоньку, пока валяются на полу. Оставь их на неделю, а вернешься — придется сапоги надевать, чтобы проложить тропинку.— Он ткнул ножницами в кучу у порога.— Посмотри. Ты когда-нибудь видел столько оттенков, намеков на локоны или пупок на подбородке? Вот — шевелюра, ставшая ненужной мистеру Томпкинсу. Вот хохолок Чарли Смита. А вот все, что осталось после Гарри Джо Флинна.

Я таращился на мистера Уйнески так, словно он цитировал «Апокалипсис».

— Черт возьми, мистер Уйнески, вы, наверное, все на свете знаете!

— Примерно так.

— Я... я когда вырасту, стану парикмахером!

Мистер Уйнески тут же засуетился, чтобы скрыть удовольствие.

— Тогда наблюдай за этим ежиком, Ральф, всмотрись в него. Локти так, кисти эдак! Пусть говорят ножницы! Клиенты довольны. Старайся казаться вдвое занятней, чем на самом деле. Шик-пик, мальчуган, пик-пик. Этому стоит поучиться у французов! О, эти французы! Как они ласкают вокруг кресла, легкого, на цыпочках, а острые ножницы шепчут и пощелкивают, пощелкивают и перешелтываются, слышишь, Ральф?

— Да, конечно,— пробормотал я в тон перешелтыванию и пощелкиванию и осекся — ветер занес в летнюю страну тонкий дальний плач, такой тоскливый, такой странный.— Снова он. Поезд. И что-то там есть, на поезде...

— Дневные поезда здесь не останавливаются.

— Но я чувствую...

— Эти волосы собрались меня удушить, Ральф...

Я смел волосы. Затем, после долгого молчания, сказал:

— Я думаю, не поменять ли мне имя.

Мистер Уйнески вздохнул. Разомлевший клиент по-прежнему не подавал признаков жизни.

— Мальчуган, с тобой сегодня что-то не так?

— Это не со мной. Просто имя — из рук вон. Только послушайте: Ральф. — Я прорычал еще раз: — Р-р-ральф.

— Да, с музыкой арфы точно не спутаешь...

— Просто какая-то шальная собака. — Я покосился на дверь. — Прости, Пес.

Мистер Уйнески глянул вниз.

— По-моему, его это совершенно не трогает.

— Ральф — это так тупо. Сегодня же поменяю.

Мистер Уйнески задумался.

— Юлия на Цезаря? Александра — на Великого?

— Да какая разница! О, мистер Уйнески, помогите мне, а? Найдите мне имя...

Пес внезапно сел. Я выронил метлу.

Вдалеке на горячий плак железнодорожной станции медленно выползал поезд — само великолепие, сплошные пожарные сирены и движущиеся поршни, и лето на железном брюхе горит жарче, чем в окрестных полях.

— Вот он и прибыл!

— И убыл, — откликнулся мистер Уйнески.

— А вот и не убыл!

Теперь уже мистер Уйнески едва не выронил ножницы.

— Черти полосатые! Да он тормозит, этот треклятый поезд!

Мы услышали, как поезд остановился.

— Пес, сколько пассажиров сошло? Быстро!

Пес гавкнул. Мистер Уйнески беспокойно засрзал.

— Наверное, мешки с почтой...

— Нет... Это человек! Он налегке. Багажа у него совсем мало. Идет к нашему дому. Могу спорить, у бабушки будет новый постоялец. И займет он пустую комнату, как раз рядом с вашей, мистер Уйнески! Верно, Пес?

Пес залаял.

— Эта собака слишком много болтает, — с неудовольствием заметил мистер Уйнески.

— Я мигом, только гляну разок. Ну пожалуйста, мистер Уйнески!

Далекие шаги вот-вот затеряются на жарких пыльных улицах. Мистер Уйнески дрожал.

— ...пошли прахом все мои надежды, — едва слышно пробормотал парикмахер и добавил печально: — Ладно, Ральф, иди.

— Только не Ральф!

— Как-там-тебя-звать... сбегай посмотри и возвращайся... с плохими вестями.

— Ой, спасибо, мистер Уйнески, спасибо!

Я побежал. Пес помчался за мной. Вдоль по улице, по аллее, задворками — и вот мы притаились в папоротниках у бабушкиного дома.

— Лежи, приятель, — шепнул я. — Приближается Событие, чем бы оно ни было!

По улице, а потом по дорожке, ведущей к дому, и дальше, по ступеням, легко, как на прогулке, шагал незнакомец. Он так помахивал тросточкой, у него был такой ковровый саквояж... и длинные, каштановые с сединой волосы, и серебристые усы, и бородака клыннышом... Изысканность просто порхала вокруг него, как стая пташек.

На крыльце, среди гераней в горшках, он остановился, обернулся и принялся изучать Гринтаун.

Может быть, он слышал гудящее вдали насекомое — шум парикмахерской, где мистер Уйнески, будущий его враг, предсказывает судьбу по шинкам на головах, над которыми жу-жжит своей электрической машинкой. Может быть, он слышал даже, как в безлюдной библиотеке, где золотая пыль неторопливо плавает в солнечных столбах, чья-то рука быстро скользит по бумаге, шуршит, постукивает пером о дно чернильницы, зачеркивает и снова пишет... Тихая женщина роется в книгах, как большая одинокая бабочка. Ей тоже предстоит стать частью жизни незнакомца, но пока...

Пришелец снял высокую блекло-зеленую шляпу, вытер лоб и, глядя в жаркое слепое небо, проговорил:

— Привет, парень. Привет, Пес.

Мы с Псом восстали из папоротника.

— Черт! Как вы догадались, что мы здесь прячемся?

Незнакомец заглянул в шляпу, словно там у него лежал ответ.

— В прошлом воплощении я был мальчишкой. А в предыдущий раз, если память мне не изменяет, я был чуть больше, чем обычным счастливым псом. Но! — Трость ткнулась в таб-

личку на крыльце, обещавшую «Комнаты с пансионом».— Эта надпись не обманывает, как ты считаешь?

— Лучшие комнаты во всем квартале, сэр!

— А кровать?

— Матрасы такие, что можно три раза утонуть от счастья.

— А постояльцы за обедом?

— Разговорчивые, но в меру.

— А как кормят?

— Горячие булочки каждое утро, персиковый пирог в обед и слоеный торт на ужин!

Незнакомец вдохнул и выдохнул восхитительный запах.

— Да тут и душу продашь!

— Прошу прощения?! — Бабушка уже стояла возле двери и хмурилась, разглядывая гостя.

— Не больше чем общепринятое выражение, сударыня.— Незнакомец быстро повернулся к ней.— Я не имел в виду ничего антихристианского.

И вот он уже внутри, и говорит не переставая, и бабушка тоже говорит, а он пишет и размахивает пером над регистрационной книгой, и мы с Псом тоже внутри, затаив дыхание, читаем по буквам:

— Ч... А...

— И вверх ногами читаешь, приятель? — весело окликнул меня незнакомец, обмакивая перо в чернила.

— Да, сэр!

Он продолжал писать. Я продолжал читать:

— ...Р... Л... Ъ... З... Чарльз!

— Верно.

Бабушка заглянула в регистрационный лист.

— О, какой прекрасный почерк.

— Благодарю вас, сударыня.— Перо закрипело снова. И я снова декламировал по буквам:

— Д... И... К... К... Е... Н... С...

Вот тут я занулся и замолчал. Перо тоже смолкло. Незнакомец наклонил голову и, прищуриль глаз, принялся разглядывать меня.

— Ну-ну? — поддразнил он.— И что же получается?

— Диккенс! — воскликнул я.

— Хорошо!

— Чарльз Диккенс, бабушка!

— Спасибо, Ральф, я еще не научилась читать. Приятное имя...

— Приятное? — Я разинул рот.— Великое! Но я думал, вы...

— Умер? — Незнакомец рассмеялся.— Нет. Жив, как видишь, прекрасно себя чувствую и рад встретить знатока, ценителя и друга-читателя!

И вот мы поднимаемся по лестнице — бабушка несет свежие полотенца и чистые наволочки, я, отдуваясь, волоку саквояж — и встречаемся с дедушкой — что твой дреднот, следующий встречным курсом.

— Дедушка! — Я так и впился глазами в деда, чтобы не пропустить растерянности, которая вот-вот должна отразиться у него на лице.— Позволь представить тебе... Мистер Чарльз Диккенс!

Дедушка крикнул от неожиданности, оглядел нового постояльца с головы до ног, быстро справился с собой, протянул руку, крепко сжал ладонь незнакомца, потряс ее и заявил:

— Друг Николааса Никльби — мой друг!

По-моему, мистера Диккенса слегка пошатнуло от этого злания, но он взял себя в руки, поклонился, молвил: «Благодарю вас, сэр», — и отправился вверх по лестнице. Дедушка подмигнул мне, ущипнул за щеку и двинулся прежним курсом, оставив меня в полном замешательстве.

В мансарде с сияющими распахнутыми окнами, из-за чего по комнате во всех направлениях носились прохладные ветерки, мистер Диккенс снял легкое дорожное пальто и кивком головы указал мне на саквояж:

— Всюду сгодится, верно, Пип? Ничего, если я буду звать тебя Пип?

— Пип? — Щеки у меня вспыхнули, лицо засияло от неожиданно свалившегося счастья.— О да. Ой, да что вы. Пип — это замечательно!*

* Имя главного героя романа Ч. Диккенса «Большие надежды».

Между нами вклинилась бабушка:

— Вот вам чистые простыни, мистер?..

— Диккенс, мэм.— Наш постоялец по очереди обшарил все свои карманы.— Ты знаешь, Пип, у меня, похоже, не оказалось ни тетрадки, ни карандаша. Не мог бы ты оказать мне любезность...

Моя рука метнулась за ухо и кое-что нащупала там.

— Готов поспорить,— заявил я,— это желтый «тайкондерога» номер два! — Другая рука скользнула в задний карман брюк.— А вот блокнот номер двенадцать!

— Превосходно!

— Отлично!

Мистер Диккенс кружил по комнате, разглядывая мир то из одного окна, то из другого, и говорил то на север, то на северо-восток, то на восток, то на юг:

— Две долгих недели я путешествовал с некоей идеей. День взятия Бастилии... Знаешь такой?

— Четвертое июля по-французски?

— Молодец, парень! Так вот, к этому дню книга должна вылиться на бумагу. Ты мне поможешь отворить шлюзы Революции, Пип?

— Вот этим? — Я посмотрел на свои блокнот и карандаш.

— Лизни-ка кончик карандаша!

Я лизнул.

— Сверху — на первой странице — заголовок. Название... — Мистер Диккенс задумался, опустил голову, подергал ус.— Пип, как стоило бы назвать роман, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже?

Я собрался с духом и начал:

— Повесть...

— Дальше?!

— Повесть... о двух городах?!

— Сударыня!

Бабушка посмотрела на него.

— Этот мальчик — гений!

— Я читала в Библии о двух городах,— сказала бабушка.— Там к полудню все завершается*.

— Записывай, Пип! — Мистер Диккенс похлопал по блокноту.— Быстрее. «Повесть о двух городах». Так, теперь в середине страницы. Книга первая. «Возвращен к жизни». Глава первая. «То время».

Я царапал карандашом. Бабушка застилала кровать. Мистер Диккенс, прищурившись, смотрел в небо и наконец начал диктовать:

— «Это было самое прекрасное время, это было самое несчастное время — век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежда, зима...»

— По-моему, звучит красиво,— заметила бабушка.

— Весьма признателен,— кивнул наш постоялец и, закрыв глаза, пощелкал пальцами, вспоминая.— Так, где я остановился, Пип?

— Это была зима отчаяния,— сказал я.

Далеко за полдень я услышал, как бабушка зовет вниз какого-то Ральфа. Я такого не знал. Я писал.

Через минуту дедушка позвал:

— Пип!

Я подскочил:

— Да, сэр?

— Обедать пора, Пип,— прогудел дедушка в лестничный пролет.

Я скатился к столу — волосы взмокали от усердия, руки налились свинцом. Я поглядел на дедушку:

— Откуда ты узнал... про Пипа?

— Да примерно с час назад это имя вылетело из окна.

— Пип? — переспросил, усаживаясь за стол, только что вошедший мистер Уйнески.

— Классно,— сказал я.— Я сегодня где только не был. В почтовой карете на Дуврской дороге — раз! В Париже — два! Напутешествовался до отвала! Я...

— Пип? — снова спросил мистер Уйнески.

Дедушка мягко и просто пришел мне на помощь:

— Когда мне было двенадцать, я тоже менял имена — и не раз.— Он пересчитал зубья на вилке.— Дик. Это был Дик — Мертвый Глаз. И... Джон. В честь Джона Сильвера. Потом еще Хайд. Ради второй половинки мистера Джекила...

* Имеются в виду Содом и Гоморра. Быт. 19, 24.

— Меня никогда не звали иначе чем Бернард Сэмюэл Уйнески,— отчеканил парикмахер, по-прежнему не сводя с меня глаз.

— Ни разу? — изумленно переспросил дедушка.

— Ни единого раза.

— Как же вы тогда докажете, что у вас было детство? Или вы — чудо природы, корабль, заштилившийся в море жизни?

— Что? — нахмурился мистер Уйнески.

Дедушка сдался и передал ему полную тарелку.

— Приятного аппетита, Бернард Сэмюэл, приятного аппетита.

Мистер Уйнески не прикоснулся к еде.

— Дувр... Ла-Манш...

— С мистером Диккенсом, конечно,— успокоил дедушка.— Бернард Сэмюэл, у нас новый постоялец, романист, он пишет новую книгу и выбрал Пипа — то есть Ральфа — в секретари...

— Весь день работали,— гордо похвастался я,— сделали не меньше четверти...— и поспешил зажать рот ладонью.

По лицу мистера Уйнески промелькнуло темное облачко.

— Романист? По имени Диккенс? Неужели вы всерьез полагаете...

— Я верю тому, что человек говорит о себе,— заявил дедушка,— пока он сам не скажет чего-нибудь другого. Тогда я буду верить новым сведениям. Передайте масло, пожалуйста.

Масло было передано в полном молчании.

— Адовы огни...— пробормотал мистер Уйнески.

Я поглубже зарылся в кресло.

Раздвигая цыпленка и раскладывая куски по тарелкам, дедушка говорил:

— К нам в дом пришел человек с хорошими манерами. Он сказал, что его зовут Диккенс. И насколько я могу судить, его действительно так зовут. Он полагает, что пишет книгу. Я проходил мимо его двери, заглянул внутрь — он действительно ее пишет. Неужели я стану объяснять ему, что он не должен этого делать? Видно, ему просто необходимо написать эту книгу...

— Повесть о двух городах! — уточнил я.

— Повесть! — Мистер Уйнески вышел из себя.— О двух...

— Пожалуйста, тише,— попросила бабушка.

Человек с длинными волосами, аккуратными усами и бородой уже спустился по лестнице и входил в столовую. Он кивнул, улыбнулся, с сомнением оглядел нас и проговорил:

— Друзья?..

— Мистер Диккенс,— сказал я, отчаянно пытаюсь уладить ситуацию,— позвольте познакомить вас с мистером Уйнески, величайшим в мире парикмахером...

Двое мужчин долго разглядывали друг друга.

— Мистер Диккенс,— произнес дедушка,— окажите нам любезность, освятите нашу трапезу молитвой, соответствующей вашему таланту.

— Почту за честь, сэр.

Мы наклонили головы. Все, кроме мистера Уйнески.

Мистер Диккенс спокойно посмотрел на него. Мистер Уйнески пробормотал что-то и уставился в пол.

И тогда мистер Диккенс прочитал молитву:

— О Владыка, подавший нам этот щедрый стол! О Владыка, пославший тучный урожай покорным слугам Твоим, собравшимся здесь в любви и смирении! О Владыка, украсивший наш пир яркой редиской и великолепным цыпленком, даровавший нам истинное летнее вино — лимонад, научивший нас простым радостям картофеля, лука и, наконец, как подсказывает мне обоняние, честного хлеба, претворенного в высокородный клубничный торт, великолепно украшенный и любовно утопающий в плодах с Твоих собственных теплых садовых гряд,— за все это и за радость общения за нашим столом мы премного Тебе благодарны. Аминь.

О, что это было за лето!

Никогда не было такого в Гринтауне.

Никогда в жизни я не вставал так рано и с таким удовольствием! Пять минут, чтобы проснуться, а через минуту я уже в Париже... в шесть утра — лодка через Ла-Манш из Кале, Уайтклифф, небо в тучах чаек, Дувр, а к полудню — почтовая карета и Лондонский мост! Завтрак с мистером Диккенсом под дсревьями, и Пес норовит лизнуть прохладным языком наши разгоряченные щеки, а потом — снова в Париж, в четыре — короткое возвращение к чаю, и опять...

- Орудие к бою, Пип!
- Есть, сэр!
- Окружить Бастилию!
- Есть, сэр!

И вновь палили ружья, толпа неслась сломя голову, и в самой гуще был я, секретарь мистера Ч. Диккенса, Гринтаун, Иллинойс. Я смотрел во все глаза и держал ушки на макушке, потому что в один прекрасный день мечтал тоже стать писателем — и по мере сил старался расцветить повествование.

— Мадам Дефарж — она сидит и вяжет, я вижу, как мелькают спицы у нее в руках...

Я поднимал голову и видел бабушку, вязавшую у окна.

— Сидни Картон, какой он? Знающий, тонко чувствующий и способный на поступок...

Под окном по газону проходила дедушка с косилкой.

За холмами ухали оружейные залпы — летняя гроза крупила облачные бастионы...

Мистер Уйнески...

Почему-то я забыл про него, изменил таинственному шесту парикмахерской, который возникал ниоткуда и, закручиваясь, уходил куда-то, не вспоминал сказочные волосы, сами по себе росшие на белом кафельном полу...

Мистеру Уйнески оставалось каждый вечер возвращаться домой и обнаруживать за столом все того же писателя с волосами, давно требующими стрижки, все еще благодарного Господу и за то, и за это, и еще вот за это, — а сам мистер Уйнески благодарности вовсе не испытывал. Потому что за столом сидел я и смотрел на мистера Диккенса так, словно это он был Богом.

Наконец однажды вечером...

— Мы будем благодарить? — спросила бабушка.

— Мистер Уйнески еще бродит по саду, — сказал дедушка.

— Бродит?

Я выглянул в окно. Дедушка передвинула кресло, чтобы видеть меня.

— Так говорится — бродит. Я видел, как он пнул розовый куст, растоптал папоротник у крыльца, хотел было стукнуть яблоном, но раздумал; Господь сотворил ее слишком твердой. Тогда

да он просто попрыгал на одуванчиках. О, вот и он — Моисей, пересекший Черное море желчи.

Дверь хлопнула. Мистер Уйнески стоял во главе стола.

— Сегодня я буду благодарить! — Он сверкнул глазами в сторону мистера Диккенса.

— Почему бы и нет, — миролюбиво отозвалась бабушка. — Да. Пожалуйста.

Мистер Уйнески крепко зажмурился и начал свою молитву-проклятие:

— О Господь, который избавил меня от прекрасного июня и гораздо менее прекрасного июля, помоги мне как-нибудь выбраться и из августа. О Господь, избавь меня от толп и бесчинств на улицах Парижа и Лондона, которые днем и ночью сотрясают стены моей комнаты, а главные виновники этих бесчинств — мальчишка-аунатик, человек, присвоивший чужое имя, и облезлый Пес, готовый подлаивать всякому сброду. Дай мне силы прогнать радостным воплем про Обманщика, Вора, Дурака и Графомана, которые уже стоят у меня в горле. Помоги мне не помчаться к начальнику полиции и не орать по дороге, что скорее всего человек, который делит с нами нашу скромную трапезу, на самом деле зовется Рыжим Джо Пайком из Уилксборо и разыскивается за подлог или Быком Хаммером из Хорнбиалла, и полиция очень желает поговорить с ним за преднамеренное оскорбление и мелкое воровство в Оклахоме. Господи, избавь невинных мира сего от жестокой хватки проходимцев, способных обмануть их доверие. И еще, Господи, помоги мне выговорить — тихо и со всем почтением к присутствующей здесь даме, — что если пресловутый Чарльз Диккенс завтра же дневным поездом не уберется в свое Разбитое Крыльцо, к Черту-на-Кулички или еще куда-нибудь подальше, то я, как Дадила, безжалостно обстригу этого барана. Господи, не милости к своим намерениям пропущу я у Тебя, а простой справедливости. Не потакай злодеям! Все, кто согласен со мной, скажите «Аминь».

Он сел и как ни в чем не бывало принялся за картошку.

Молчание висело над столом, мы сидели как замороженные. А потом мистер Диккенс с закрытыми глазами простионал:

— О-о-о!

Это был плач, надрывный крик, и в нем звучало отчаяние, долгое и бездонное, как далекий гудок поезда в тот день, когда незнакомец прибыл в Гриптаун.

— Мистер Диккенс,— позвал я.

Нет, слишком поздно. Он уже поднялся на ноги, согнутый, ослепший от горя, и, хватаясь за мебель, придерживаясь за стену, выбирается в коридор и бредет вверх по лестнице.

— О-о-о! — долгий крик человека, сорвавшегося с утеса в Вечность.

Мы сидели и ждали, когда он долетит до дна. Далеко в холмах — на верху дома — хлопнула дверь.

Душа моя перевернулась и умерла.

— Мистер Диккенс,— проговорил я.— Чарли...

Этим же вечером, совсем поздно, завыл Пес.

Он выл, словно сочувствовал рыданиям, доносившимся из мансарды.

— Ну и дела,— сказал я.— Внору за водопроводчиком посылать. Сплошной потоп.

Мистер Уйнески вышагивал по дорожке — взад-вперед.

— Он уже четыре раза обошел квартал,— сообщил дедушка, раскуривая трубку.

— Мистер Уйнески! — позвал я.

Ответа не последовало. Шаги стихли вдали.

— И угораздило же! Я как будто войну продул,— сказали.

— Нет, Ральф, то есть, прошу прощения, Пип,— произнес дедушка, усаживаясь рядом со мной на ступеньку.— Ты просто поменял генералов в самый разгар боя. И вот теперь один из них так несчастен, что места себе не находит.

— Мистер Уйнески? Я... я почти ненавижу его!

Дедушка попытался трубкой.

— Думаю, он и сам не понимает, почему мучается. Сегодня вечером таинственный дантист вырвал ему зуб, и теперь он языком все щупает дырку — а это больно.

— Дедушка, мы же не в церкви!

— Чтобы говорить притчами, так? Ладно, давай попросту. Ты привык подметать волосы с пола его заведения. А он — человек без жены, без семьи, у него только и есть что работа. Че-

ловеску без семьи обязательно нужен кто-нибудь в этом мире, неважно, понимает он это или нет.

— Завтра я вымою окна в парикмахерской,— пообещал я.— Я... я смажу шест, и он будет вертеться как сумасшедший.

— Я знаю, ты так и сделаешь.

В ночи прогудел поезд. Пес все выл, и мистер Диккенс вторил ему немислимыми рыданиями из своей комнаты наверху.

Я отправился в постель и слушал, как городские часы пробили один раз, потом — два и наконец три. Рыдания наверху стихли. Я вышел в коридор и остановился возле двери нашего постояльца.

— Мистер Диккенс?

Всхлипы прекратились. Дверь оказалась не заперта. Я рискнул войти.

— Мистер Диккенс?

Он лежал на постели, и в лунном свете было видно, как слезы катятся у него из глаз, а глаза широко открыты и невидяще смотрят в потолок.

— Мистер Диккенс?

— Здесь больше нет никого с этим именем,— глухо откликнулся постоялец, и голова качнулась из стороны в сторону, вторя словам.— Никого с этим именем — в этой комнате, в этой постели, в этом мире.

— Кроме вас,— сказал я.— Вы — Чарльз Диккенс.

— Тебе лучше знать,— донесся скорбный ответ.— Тем более когда ночь движется к утру.

— Все, что я знаю,— это то, что вы пишете каждый день. А каждую ночь я слышал, как вы говорите.

— Верно, верно.

— И вы закончили одну книгу и начали другую, и писали таким четким почерком.

— Было такое.— Кивок.— О да, клянусь демоном обладания, я делал это.

— Ну! — Я обошел вокруг кровати.— Так чего вы вдруг начали стыдиться себя — вы, всемирно известный писатель?

— Ты знаешь, и я знаю. Я — мистер Никто из Ниоткуда, и мой путь в Вечность освещают не свечи, а мертвый электрический фонарь.

— Опять двадцать пять,— вздохнул я и пошел к двери. С ума сойти — он ведь собирался все бросить. Разрушить такое великое лето!— Доброй ночи,— промолвил я и взялся за ручку двери.

— Подожди!

Это была такая отчаянная мольба, такой вопль беды и боли, что я выпустил ручку. Но не повернулся.

— Пип,— позвал старик из постели.

— Угу? — проворчал я.

— Давай-ка помолчим. Присядь.

Я медленнно опустился в высокое кресло у ночного столика.

— Поговори со мной, Пип.

— Ничего себе! В три часа ночи...

— Ну да, в три утра. О, это яростное и жуткое время суток. Долгая дорога пролегла от заката, и еще десять тысяч миль впереди до рассвета. Вот когда нам нужны друзья. Спроси о чем-нибудь, друг Пип.

— О чем?

— Думаю, ты и сам знаешь.

Я немного поразмыслил и вздохнул:

— Ну уж ладно. Тогда... кто вы?

Сначала он затих в своей постели, а потом, словно читая написанное на потолке кончиком носа, проговорил:

— Я — человек, который так и не дорос до своей мечты.

— Что?

— Я имел в виду, Пип, что я так и не стал тем, кем хотел.

Теперь и я говорил тихо.

— А кем вы хотели быть?

— Писателем.

— А вы пробовали?

— Пробовал! — воскликнул он и чуть не зашелся странным, нервным смехом. — Пробовал, — повторил он, справившись с собой. — Владыка милосердный, сынок, никто в жизни не переводил столько бумаги, не проливал столько чернил и пота! Я употребил продукцию целой чернильной фабрики, я извел весь товар небольшого бумажного комбината, сломал шесть дюжинок пишущих машинок, истощил и исписал до основания десять тысяч мягких карандашей.

— Не слабо!

— Да в том-то и беда, что слабо.

— И что вы написали?

— Чего я только не написал. Поэму. Эссе. Драму. Фарс. Повесть. Роман. Тысяча слов в день, парень, каждый день в течение тридцати лет, и не было дня, в который я бы не мля и не мучил бумагу. Миллионы слов перетекали с моих пальцев на листы — и все это никуда не годилось.

— Такого не может быть!

— Так было. Не то что посредственно, даже не на среднем уровне. Просто невероятно, отвратительно плохо. Друзья знали об этом, редакторы знали об этом, учителя знали об этом, издатели знали об этом, а в один странный прекрасный день, часа в четыре, — мне стукнуло пятьдесят — тогда и я узнал об этом.

— Но нельзя же писать тридцать лет и...

— Не выкарабкаться к совершенству? Не задеть ни одну чувствительную струнку? Смотри, Пип, смотри долго и внимательно, рассматривай человека особого таланта, выдающихся способностей, единственного в истории, который написал пять миллионов слов и не вдохнул жизнь ни в один рассказик, чтобы он мог приподняться на хилых ножках, а я — крикнуть: «Эврика! Мы сделали это!»

— И вы ни разу не продали ни одного?

— Ни единого анекдота в пару строк. Ни одного грошового сонета для газеты. Я не могу похвастаться даже опубликованным объявлением из раздела «купаю-продам» или рецептом домашней засолки огурцов. Разве не удивительно быть до нелепости скучным, настолько неумелым, ни разу не вызвать ни единого смешка или слезинки, не поднять настроение хотя бы одному человеку, не отвести удар? И знаешь, что я сделал, обнаружив, что никогда не смогу стать писателем? Я убил себя.

— Убил?

— Выкинул на помойку. Уничтожил. Как? Запросто: я упаковал себя и поволок на вокзал, а потом отправил в долгую поездку на поезде. Много ночей просидел я на тормозной площадке последнего вагона, отправляя конфетти из собственных рукописей порхать над рельсами стаей испуганных птиц. Повесть разлетелась над Небраской, поэмы в стиле Гомера усы-

пали север, а любовные сонеты — Южную Дакоту. От эссе я избавился в комнате для мужчин, в Чистых Ручьях, штат Айдахо. В конце лета хлебные поля познакомились с моей прозой. Они привыкли к удобрениям и, может быть, сумели вырастить на моих произведениях особенно полновесные колосья. Я проехал два чемодана собственной души тем долгим летом во славу собственного неухоженного «я». Сначала медленно, потом быстрее и быстрее, я выбрасывал рассказ за рассказом — прочь из моих рук, прочь из моей головы, из моей жизни, — и они падали, медленно тонули в пыльных реках ночных прерий, в затерянных континентах песка и одиноких скал. Свободный поезд вопил во мраке, а я разжимал пальцы и выпускал последние, немые, ненаглядные мои страницы... На подходах к конечной станции чемоданы опустели. Я тогда много пил, мало ел, при случае рыдал в собственной комнате, но уже обрубил якоря, сбросил мертвую тяжесть грехов и мечтаний, и началась — хвала Господу! — последняя, легкая, нарицающая часть моего путешествия, исполненная благородной безмятежности и определенности. Я чувствовал себя заново родившимся. Я все спрашивал себя: что случилось, что произошло со мной? Да я просто стал новым человеком!

Он видел все это на потолке, и я вместе с ним — как кино, прокрученное на экране стены в лунном свете.

— Итак, я стал новым человеком. И вот сошел я с поезда в конце этого долгого лета избавления и неожиданного перерождения и посмотрел в засиженное мухами, веснунчатое от дождевых капель стекло автомата, продающего жевательную резинку, на заброшенном складе в Пичгаме, Миссури. За два месяца путешествия у меня отросла борода, а волосы расчесывал только ветер, творя то вполне пристойные, то безумные прически. Я стоял, разглядывая собственное отражение, и тихонько восклицал: «Эй, Чарли Диккенс, неужели это ты?» — Человек на постели негромко рассмеялся. — «Эй, Чарли, — повторил я. — Мистер Диккенс, вот вы где!» И отражение в зеркале крикнуло в ответ: «Черт побери, сударь, да кому же еще и быть? А ну-ка, отойди. Нас ждут великие дела!»

— Неужели вы так и сказали, мистер Диккенс?

— Клянусь Божьими стопами и храмами истины, Пип! И я действительно отошел в сторону! Я шел через страшный го-

род и наконец-то знал, кто я, и меня начинало лихорадить, когда я думал о том, что должен сделать в своей новой жизни и какая огромная работа меня ждет! Понимаешь, Пип, этому надо было дать вырасти. Все эти годы писательства, пропитанные запахом поражения, мое прежнее подсознание шептало: «Только подожди. Все будет черно, как ночью, и плохо, но в свое время я спасу тебя!» Спасло меня, в конце концов, наверное, то же самое, что погубило вначале: почтение к старшим. Великие первопроходцы и рыхлые пахари бумажных полей топтались в буйной зелени литературных высокогорий, а я изо всех сил греб на своем каноэ по пересохшему руслу вниз. Господи боже, Пип, как я уплетал Толстого, пил и не мог напиться Достоевским, с каким наслаждением закусывал Мопассаном, гостил на пикниках с винами и цыганком у Флобера и Мольера. Я смотрел на богов слишком уж снизу вверх. Я читал слишком много! Поэтому когда моя работа исчезла, их — осталась. И внезапно я обнаружил, что не могу забыть их книги, Пип!

— Как это?

— Не могу забыть ни одной буквы, ни одного предложения, ни одного абзаца из любой книги, хоть раз побывавшей перед этими голодными всепоглощающими глазами!

— Фотографическая память!

— В самую точку! Диккенс, Гарди, Остен, По, Готорн — все пошались в объектив старой фотокамеры и все эти годы ждут проявки: ждут возможности сорваться с моего языка. Пип, сам того не зная и не желая, я запер их там. Попроси, и я заговорю на разных литературных языках. Киплинг — первый. Теккерей — второй. Взвесь меня, я вежу столько же, сколько Шейлок. Потуши свет, и ты не отличишь меня от Огелло. Я — это они, Пип, все-все здесь, во мне!

— И что было потом?

— А потом, Пип, я еще раз посмотрел в то пятнистое стекло и сказал себе: «Мистер Диккенс, сэр, если все это правда, то не пора ли приниматься за свою первую книгу?» — «Пора, и немедленно!» — ответил я сам себе, купил бумаги, чернил и с тех пор неизменно пребывал в восторге и радости. Я был как лунатик, и я был искренне счастлив. Я писал, писал все книги своего заново обретенного «я». Это я, Чарльз Диккенс, писал их одну за другой. Я путешествовал по несбыточным просторам Се-

верной Америки и прокладывал свои пути так, чтобы писать и выступать, выступать и писать — здесь преподавал, там размышлял, наполовину подавшись своей мании, наполовину освободившись от нее, то узнаваемый, то неузнанный; задерживаясь в одном месте, чтобы закончить «Коперфида», торчал в другом ради «Домби и сына», которого начал снежным рождественским днем после чая с Призраком Марли. Иногда я зимовал на маленьких ветреных полустанках, и ни одна душа не догадывалась, что рядом залег в спячку Чарльз Диккенс. Потом, очнувшись и встряхнувшись, как выдра по весне, я двигался дальше. Иногда целое лето проводил в одном городе, прежде чем меня успевали прогнать. О да, прогнать. Люди, подобные моему мистеру Уйнески, Пип, никому не прощают фантазий, даже если от них нет никакого вреда. Видишь ли, мальчуган, у него просто нет чувства юмора. Это — безнадежно. Он не видит, не понимает и не поймет никогда, что все мы делаем только то, что должны делать. Одни смеются, другие плачут, третьи потрясают кулаками, но в итоге — то же самое: они должны это делать. Земля кишит людьми; каждый в конце концов тонет, но, пока они живут, каждый по-своему гребет к далекому берегу. А мистер Уйнески? Он привык к ножницам и не желает понимать мое перо и бумагу, на которую я вынужден выписывать свою тоскующую английскую душу.

Мистер Диккенс спустил ноги с кровати и потянулся за саквояжем.

— Значит, пришло время собираться и уходить.

Я первым схватился за саквояж.

— Нет! Вы не можете уйти! Вы же еще не закончили книгу!

— Пип, милый мой, да ты просто не слушал...

— Но мир ждет! Вы не можете бросить «Два города» прямо посередине!

Он тихо забрал у меня саквояж.

— Пип, Пип...

— Вы не должны, Чарли!

Он посмотрел мне в лицо — наверно, оно раскалилось добела, потому что он вздрогнул.

— Я жаду! — закричал я. — И они — тоже!

— Они?..

— Чернь возле стен Бастилии. Париж! Лондон! Море у Дувра. Гильотина!

Я бросился к окнам и распахнул их настежь, словно ночной ветер и лунный свет могли принести в комнату звуки и тени, чтобы они прокрались по ковру к его глазам, а занавеси бились в фантастическом танце, и — могу поклясться — я действительно слышал и гул толпы, и скрип корабельных канатов, и звон острых клинков, и воинственные песни, видел головы, катящиеся, как калустные кочаны... все это принес полночный ветер. И Чарли тоже слышал...

— Ох, Пип, Пип...

Слезы опять покатились у него из глаз. Я уже держал наготове карандаш и блокнот.

— Да? — осведомился я.

— Где мы сегодня, Пип?

— Мадам Дефарж. Вяжет.

Он уронил саквояж. Он сел на край постели, и его руки зашевелились, начали перебирать спицы, распутывать нити, сплетать и расплетать пряжу. Он смотрел на руки и говорил, а я записывал; через несколько минут голос стал громче и увереннее, и весь остаток ночи...

— Мадам Дефарж... да... годится. Берем, Пип. Она...

— Доброе утро, мистер Диккенс! — Я ужом проскользнул на свое место. Мистер Диккенс уже ополовинил стопку блинов перед собой. Я откусил разок и тут увидел на столе, между нами, гораздо более высокую стопку листов бумаги.

— «Повесть о двух городах?» — замирая, уточнил я. — Вы... закончили ее?

— Готово. — Мистер Диккенс ел, опустив глаза. — Закончил в шесть утра. Работа была тяжелая. Готово. Сделано. Проехали.

— Ничего себе!

Послышался гудок поезда. Чарли поднял голову, потом внезапно встал, забыв про недоеденный завтрак, и поспешил в прихожую. Хлопнула входная дверь, я выскочил на крыльцо. Мистер Диккенс шел по дорожке от дома, и в руке у него был саквояж.

Он шел так быстро, что мне пришлось бежать в обход, чтобы перехватить нашего постояльца у железнодорожной станции.

— Мистер Диккенс, книга закончена, да, но она ведь еще не опубликована!

— Ты будешь моим душеприказчиком, Пип.

Он ускользал. Я бросился вдогонку.

— А «Дэвид Копперфилд»? А «Крошка Доррит»?

— Это твои друзья, Пип?

— Ваши, мистер Диккенс, Чарли... О черт, если вы не напишете про них, они никогда не будут жить.

— Как-нибудь обойдется.— Он свернул за угол.

— Чарли, погодите. Я придумаю... новое название. «Записки Пиквикского клуба». Точно, «Записки Пиквикского клуба»!

Поезд подползал к перрону. Чарли прибавил шаг.

— А в придачу — «Холодный дом», Чарли, и «Тяжелые времена», и «Большие...» Мистер Диккенс, послушайте! «Большие надежды»! О черт!

Он был уже далеко впереди, и мне оставалось только кричать ему вслед:

— Ну и ладно, давайте катитесь отсюда! Проваливайте! Знаете, что я собираюсь сделать?! Вы не заслуживаете чтения! Нет, не заслуживаете! Так вот, ни сейчас, ни потом мне и в голову не придет дочитывать «Повесть о двух городах»! Только не я! И никто другой! Ни за что! Никогда!

На станции звякнул колокол. Паровоз увеличивался на глазах. Но мистер Диккенс замедлил шаг. Он остановился посреди тротуара. Я подошел и уставился ему в спину.

— Пип,— негромко сказал он,— ты действительно сделаешь то, что сказал?

— Да вы! — выкрикнул я.— Вы — ничтожество, вы... — Я попрыгал в памяти и выдал: — Клякса горчичная, картофеляина недорытая!

— Ба, «Обманщик Пип»?

— Обманщик! И мне плевать, что случилось с Сидни Картоном!

— Ну почему же, эта вещь намного, намного лучше всего, что я когда-либо делал, Пип. Тебе обязательно надо ее прочесть.

— Почему?!

Он повернулся и посмотрел на меня огромными грустными глазами:

— Потому что я написал ее для тебя.

Последние мои силы ушли на то, чтобы огрызнуться:

— И что с того?

— И теперь,— сказал мистер Диккенс,— я опоздал на поезд. И у меня есть сорок минут до следующего.

— Ладно, значит, мы успеем,— заявил я.

— Куда успеем?

— Кое с кем встретиться. Одна встреча, Чарли, и я обещаю вам, что обязательно дочитаю вашу книгу. Это недалеко. Вон там, Чарли.

Он оглянулся.

— Там? Это библиотека?

— Всего десять минут, мистер Диккенс, дайте мне десять минут, всего десять, Чарли, ну пожалуйста.

— Десять?

Он, как слепой, позволил мне довести себя до библиотеки, поднялся по ступеням и испуганно, бочком, протиснулся внутрь.

Библиотека походила на каменоломню, десять тысяч лет не знавшую дождя.

В ту сторону — тишь. В другую — безмолвие. Здесь время отдыхало между книгами законченными и еще неначатыми. Здесь никто не умирал, никто не рождался. Библиотека, как и все ее книги, просто была.

Мы ждали на краю безмолвия.

Мистер Диккенс дрожал. А мне внезапно подумалось, что за все лето я его ни разу здесь не видел. Он боялся полка с художественной литературой, боялся, что мы придем туда и встанем перед его книгами, уже написанными, изданными, переплетенными, с библиотечными штампами на титулах, зачитанными до дыр, скучно и аккуратно расставленными по порядку. Стал бы я его мучить...

Мистер Диккенс сжал мой локоть и прошептал:

— Пип, что мы здесь делаем? Пойдем отсюда. Здесь...

— Послушайте! — прошептал я.

Откуда-то издалека, из-за книжных холмов, донесся шелест — словно бабочка шевельнулась во сне.

— Будь я проклят! — Глаза у мистера Диккенса полыхнули огнем. — Я знало этот звук.

— Еще бы!

— Кто-то пишет, — произнес он, затаив дыхание, и кивнул собственной догадке.

— Да, сэр.

— Пишет... пером. И пишет... пишет...

— Что?

— Стихи, — выдохнул мистер Диккенс. — Точно. Кого-то пет в этой комнате, до него — бездна, тысячи фатомов глубины, и он, Пип, могу поклясться, пишет стихи. Именно! Росчерк, еще росчерк, нажим, снова длинный росчерк — это не цифры, Пип, не вычисления, не какая-нибудь статистика. Чувствуешь ритм, волны, чувствуешь стремительность? Стихи, ей-богу, да, сэр, несомненно, стихи!

— Мэм, — позвал я.

Шорох прекратился.

— Не мешай ей! — прошептал мистер Диккенс. — У нее вдохновение. Пусть работает!

Бабочка зашевелилась снова.

Росчерк, росчерк, нажим, еще, еще... Остановка. Росчерк, росчерк. Я наклонил голову. Я пошевелил губами, как мистер Диккенс. Мы замерли в неизвестности, подались вперед, чуть касаясь прохладного мрамора; воздух трепетал под сводами сокровищницы, отзвуки бродили по подземелью.

Росчерк, росчерк, нажим, еще, еще. Типина.

— Давай, — кивнул мне мистер Диккенс.

— Мэм! — снова позвал я негромко, но настойчиво.

Что-то произошло по коридору.

Перед нами стояла библиотекарь, женщина без возраста — ни молодая, ни старая; без собственного цвета — ни светлая, ни смуглая; неопределенного роста — ни высокая и ни маленькая, довольно хрупкая. Наверное, она часто разговаривает здесь сама с собой, в сумраке стеллажей, отгородивших библиотеку от

всего мира, и голос ее звучит не громче шороха переворачиваемых страниц. Поступить ее настолько легка, что, кажется, она не идет, а скользит меж полок, будто на невидимых роликах.

Она шла, и свет ее лица прокладывал дорожку в полумраке. Ее губы двигались, она была занята словами, живущими в глубокой пещере затуманенных глаз.

Чарли сосредоточенно читал по ее губам, затем удовлетворенно кивнул. Он просто стоял и ждал, пока женщина вернется из своей дали и заметит нас. Это случилось не сразу, но вот она вздохнула и тихо рассмеялась:

— Ох, Ральф, это ты и... — Она узнала гостя, и лицо у нее потеплело. — Наверное, вы друг Ральфа. Мистер Диккенс, не так ли?

Чарли смотрел ей в глаза с такой преданностью, что я забеспокоился.

— Мистер Диккенс, позвольте вам представить...

— «И даже Смерти не остановить меня...» — проговорил он.

Женщина удивленно моргнула, высокий сияющий лоб стал словно еще выше и светлее.

— Мисс Эмили, — сказал Чарли.

— Ее зовут... — продолжала я.

— Мисс Эмили. — Он протянул руку, чтобы коснуться ее ладони.

— Очень приятно, — сказала она. — Но как вы...

— Узнал ваше имя? Черт меня возьми, сударыня, я услышал, как вы пишете. Мне ли не знать этот шорох — только поэты могут так!

— Ну что вы... Пустяки, право...

— Выше голову, — ласково произнес он. — «И даже Смерти не остановить меня» — это не пустяки, это отличная, первоклассная поэзия.

— Мои собственные стихи так слабы, — взволнованно проговорила она. — Я переписываю ее, чтобы научиться.

— Кого? — не утерпел я.

— Что ж, это прекрасный способ.

— Правда? — Она пристально посмотрела на Чарли. — Вы не...

— Не шучу? Нет, мне никогда не придет в голову шутить с Эмили Дикинсон*, сударыня.

— Эмили Дикинсон? — переспросил я.

— Я многим обязана вам, мистер Диккенс, — вспыхнула она. — Я прочла все ваши книги.

Он вздрогнул

— Все?

Она торопливо поправилась:

— Все, которые были опубликованы, сэр.

— Мистер Диккенс только что закончил одну, — ввернула я. — Классная вещь! «Повесть о двух городах».

— А вы, сударыня? — ласково спросил он.

Она распахнула маленькие ладони, словно выпуская птицу.

— Я? Я до сих пор не посылала ни одной строчки даже в местную газету.

— Вы непременно должны это сделать! — воскликнул он с подлинной страстностью. — Завтра же, нет, сегодня!

— Но, — голос ее упал, — начать с того, что мне некому их прочесть.

— Ну почему же, — тихо проговорил мистер Диккенс, — у вас ведь есть Пип. И вот, возьмите мою карточку. Мистер Ч. Диккенс, эсквайр. Который, если ему будет дозволено, с радостью задержится, чтобы лично убедиться, все ли в порядке в этой книжной Аркадии.

Она взяла карточку.

— Но я не могу...

— Пустое. Вы должны. Мое перо в лучшем случае порождает только теплый белый хлеб прозы. Ваши слова должны стать для него мармеладом и летним медом. Я буду читать долго и просто. Вы — коротко, в восторге от жизни, искушенные страшной восхитительной Смертью, с которой вы, как я знаю, коротке. Довольно. Вам — туда. — Он махнул рукой. — В дальнем конце коридора уже зажжена лампа, и та, что засветила ее, снова будет водить вашей рукой... Муза ждет. Берегите ее. До свидания, и спасибо.

* Эмили Дикинсон (1830—1886) — известнейшая американская поэтесса, один из классиков американской литературы.

— Спасибо? — переспросила она. — Не значит ли это «спаси вас Бог»?

— Так говорят, милостивая сударыня.

И внезапно мы снова оказались на солнце, и мистер Диккенс чуть не упал, споткнувшись о собственный саквояж, оставленный у порога. В глубокой задумчивости он сделал несколько шагов, остановился посреди лужайки, запрокинул голову и счастливо вздохнул:

— Небо-то какое голубое, а, парень?

— Да, сэр.

— А трава зеленая.

— Точно. — И тут я наконец огляделся. — То есть я хотел сказать, классно!

— А ветер... Чуешь, чем пахнет этот сладкий ветер? — Мы оба принохались. Мистер Диккенс продолжал: — И мир отличный, когда в нем есть мальчишки, умеющие спасать взрослых. — Он похлопал меня по плечу.

Я опустил голову. Черт, никогда не знаешь, как вести себя в подобной ситуации. Меня выручил свисток поезда.

— Эй, следующий поезд! Вон он подъезжает!

Мы подождали. После долгого молчания мистер Диккенс произнес:

— Ну и пусть себе... Пойдем-ка домой.

— Домой! — радостно завопил я и осекся. — А как же... мистер Уйнески?

— О, после всего случившегося я верю в тебя, Пип. Просто теперь каждый день, пока я пью чай и собираюсь с мыслями, тебе придется бегать в парикмахерскую и...

— Подметать волосы!

— Ты — храбрый юноша. Это не так уж много. Дань признательности Банка Англии Первому Национальному Банку Гринтауна, Иллинойс. А теперь, Пип... карандаш!

Я пошарил за ухом и достал жевательную резинку; пошарил за другим и нашел:

— Вот карандаш!

— Бумага?

— Есть бумага, сэр!

И мы с ним бодро зашагали под зелеными летними деревьями.

— Название, Пип, название... Это — самое главное!

Он поднял трость, чтобы небо обратило внимание на этот важный факт. Я прищурился, разбирая незримые письмена.

Первое слово легким призраком проявилось в воздухе.

— Э... А... — разбирал я по буквам. — О, «Лавка»!

— И как оно тебе?

Я колебался.

— Оно... оно как будто незаконченное, сэр.

— Ты настоящий христианин. Смотри!

Второе слово блеснуло в солнечном свете.

— Д... Р... Е... Древностей! Лавка Древностей!

— Значит, начинаем роман, Пип!

— Да, сэр! — откликнулся я. — Часть первая!

Ледяной ветер трепал голые ветви.

— Что это? — удивился я и сам же себе ответил: — Лето кончилось.

Листочки календаря облетели, кончились летние часы и дни, их унесло вместе с желтыми листьями за холмы. Мы с Чарли работали вместе, закончили повесть, отредактировали ее. И дни, проведенные в библиотеке, тоже кончились, а ведь их было немало! Мы столько читали вслух вместе с мисс Эмили, но теперь кончилось и это. Приходили и уходили поезда. Луна росла и старилась. Издали кричали новые поезда, и новые судьбы, новые дороги нетерпеливо подрагивали на краю перрона, и внезапно мисс Эмили тоже оказалась здесь, на платформе, а рядом с ней — Чарли, оба нарядные, — и протягивают мне бумажный пакет.

— Это еще что?

— Рис, Пип, самый обыкновенный рис. Обряд плодородия. Бросай его на нас, мальчуган. Пожелай нам счастья в пути. Слышишь колокольцы, Пип? Это для мистера и миссис Диккенс! Ну, бросай!

Я бросал и бежал за ними, бежал и бросал, а потом махал вслед последнему вагону поезда, пока он совсем не скрылся с глаз, и кричал им:

— Счастья новобрачным! Счастливых дней, Чарли! Возвращайтесь! Будьте счастливы... счастливы...

Вот тогда я и обнаружил, что плачу, а Пес покусывает мои туфли, ревнуя и радуясь, что теперь я снова принадлежу только ему, а мистер Уйнески ждет на пороге парикмахерской, чтобы вручить щетку и снова принять меня в сыновья.

Пришла осень. Она устроилась по-хозяйски надолго. И вот однажды от моих путешественников-молодоженов пришло письмо.

Я не распечатывал его весь день, и только в сумерках, когда дедушка сметал с крыльца последние редкие листья, я вышел к нему и сел, держал письмо и ждал, пока он его заметит. Наконец дедушка посмотрел в мою сторону. Тогда я вскрыл письмо и прочел вслух октябрьским сумеркам:

Дорогой Пип...

Мне пришлось остановиться, когда я снова увидел свое особое имя, и усиленно поморгать — слишком много лишней влаги скопилось в глазах.

Дорогой Пип. Мы сегодня в Авроре, а завтра — в Фелицате, а послезавтра будем в Элджине. У Чарли лекции расписаны на шесть месяцев вперед и дальше. Мы с ним оба упорно работаем и... очень счастливы... Да что мне тебе объяснять?

Он зовет меня Эмили.

Пип, вряд ли ты знаешь, кто она, но некогда была такая женщина-поэт. Я надеюсь, когда-нибудь ты возьмешь ее книги в библиотеке.

Ну вот, Чарли смотрит на меня и говорит: «Это книги моей Эмили», и я ему почти верю. Нет, я просто верю.

Я остановился, с трудом согнулся и продолжал:

Мы сумасшедшие, Пип.

Люди так говорят. Мы знаем. И все равно продолжаем... сходиться с ума. Но вдвоем — это так замечательно. Сходиться с ума в одиночку — вот чего я больше совершенно не могла выносить.

Чарли шлет всем привет и хочет, чтобы ты знал: он начал новую книгу, быть может, самую лучшую... одну из тех, для которых ты сам придумал название — «Холодный дом».

Так что мы пишем и едим, едим и пишем, Пип. Пройдет всего лишь несколько коротких лет, и мы сядем на поезд, который останавливается в твоём городке набрать воды. И если ты будешь там и окликнешь нас именами, под которыми мы сами себя знаем, то мы сойдем с поезда. Но, может быть, к тому времени ты уже слишком повзрослел... Если мы не найдем тебя, Пип, то все поймем, и тогда пусть поезд увозит нас в другие города.

Эмили Дикинсон

Р. С. Чарли уверяет, что твой дедушка — вылитый Платон, только не говори ему.

Р. Р. С. Чарли — мой ненаглядный.

— Чарли — мой ненаглядный, — повторил дедушка, присаживаясь и забирая у меня письмо, чтобы перечитать. — Хорошо, — вздохнул он и убежденно повторил: — Хорошо.

Мы долго сидели на крыльце, глядя на пламенеющее октябрьское небо и редкие звезды. В миле от нас лаяла собака. За много миль от нас, по самой линии горизонта двигался поезд; он свистел, приближаясь, потом прозвенел колокол — один удар, два, три... проехал.

— Знаешь, — сказал я, — по-моему, они не сумасшедшие.

— По-моему, тоже, Пип, — сказал дедушка. Он раскурил трубку, задул спичку и повторил: — По-моему, тоже.



Мотель куриных откровений

то случилось в 1932 году, во время Великой депрессии, в самую тяжкую ее пору. Мы сели в свой «бьюик» 1928 года выпуска и двинулись на запад — мать, отец, мой брат Слип и я. И однажды остановились в мотеле, который потом всегда называли «Мотелем куриных откровений».

Этот мотель, по словам отца, и сам был точно апокалиптическое видение, однако самое главное — у его хозяев была курица, умеющая «писать» совершенно библейские пророчества на снесенных ею яйцах, и это получалось у нее столь же произвольно, как произвольно исторгают пророчества по поводу Всевышнего, Времени и Вечности трясуны-пятидесятники, корчась и вопя в безумном экстазе во время своих молитвенных радений, словно пророчества эти с болью рвутся у них изнутри наружу, ищут выхода через рот, проступают сквозь кожу.

У всех от рождения свой дар, но с тех пор мне кажется, что куры — самые таинственные из бессловесных тварей. Особенно несущки. Ведь они умудряются — то ли намеренно, то ли чисто интуитивно — передавать людям послания свыше и как бы «пишут» их аккуратным почерком на яичной скорлупе, под которой, чуть вздрагивая во сне, ждут своего часа зародыши цыплят.

В ту долгую осень 1932 года, когда, подкачав колеса и подтянув ремень вентилятора, мы полетели по шоссе номер 66, то понятия не имели, что где-то впереди нас ждет этот мотель и там — самая потрясающая курица в мире.

В пути мы являли собой отличный пример взаимно презрительных, хотя и дружелюбных, семейных отношений. Раскрыв на коленях автомобильный атлас, мы с братом считали себя по меньшей мере в тысячу раз умнее отца; отец, разумеется, был уверен, что маме до него далеко, а она не сомневалась в том, что никто из родных по сообразительности ей и в подметки не годится.

Подобная расстановка сил была близка к идеалу.

По-моему, в любой семье, которая хочет сохранить себя, должно присутствовать определенное количество взаимного неуважения. Пока людям есть о чем спорить, они будут собираться вместе за обеденным столом. Иначе семья распадется сама собой.

Так что вскакивая по утрам с постели, мы уже ждали той минуты, когда кто-нибудь сморозит очередную глупость по поводу пережаренного бекона и недожаренной яичницы. Или, скажем, пересушенных (а также недосушенных) тостов. Или если подали только одну порцию джема. Или если на столе стоит соус, который двое из нас четверых терпеть не могут.

Если бы нам с утра пораньше вручали набор колоколов, мы бы могли прозвонить отличную заутреню по поводу собственных неудовольствий! Когда отец говорил вдруг, что, как ему кажется, он все еще растет, мы со Скипом тут же хватались за сантиметр и обмеряли его, стараясь доказать, что за ночь он, наоборот, как бы сохся, уменьшился. Таковы уж люди. Такова их природа. Такова человеческая семья.

Итак, мы, постоянно ворча друг на друга, тащились по Иллинойсу, ссорились, проезжая по Озарку, а в горах расцвели уже краски осени — мы простояли целых десять минут, любуясь их ярким буллуяющим половодьем. Потом мы «на авось» попытались счастья в Канзасе и Оклахоме и поехали дальше, прикрывая неудачу притворными вздохами раскаяния и лицемерно веселой болтовней, пока не утонули в прямо-таки роскошной темно-красной грязище, неудачно съехав с магистрали на проселок.

Теперь каждый из нас мог вволю прославлять собственную дальновидность и проклинать других за неосмотрительность, подскакивая на бесконечных колдобинах и недобрым словом поминая облезлые дорожные знаки и отвратительные тормоза старого «бьюика». С трудом миновав очередную лужу, мы въехали во двор какого-то совершенно запущенного мотеля, где плата была стандартной — доллар за ночь, — зато окрестности очень подошли бы банде головорезов: неподалеку виднелся лесок, а сам мотель стоял на самом краю глубокого горного карьера, так что наши тела вполне могли бы пролежать несколько лет на дне одного из озер, образовавшихся на месте многочисленных котлованов, прежде чем их обнаружили бы.

Однако мы все же остались там ночевать. Скип и я, лежа в одной постели, долго развлекались тем, что считали струйки дождя, без конца просачивавшиеся сквозь крышу из дранки и каждый раз в новом месте, и пипали друг друга, когда кто-то один чересчур пахально перетягивал теплое одеяло на себя.

Следующий денек был еще лучше. Промокнув насквозь и исходя паром, мы из полосы дождя вылетели прямо на сорокаградусную жару, которая тут же высосала из нас все жизненные соки и последнее мужество. Отец, правда, пару разков плелнул Скипа, однако попало при этом почему-то мне.

К полудню от нашего взаимного презрения не осталось и следа — видно, вышло через поры вместе с потом, — и уже явно начинался хорошо знакомый период изнурительной вежливости, перемежающейся грубостями, но тут в пригородах Амарильо навстречу нам попалась обыкновенная техасская ферма, где разводили кур.

Решение остановиться именно здесь пришло сразу.

Почему?

Да потому, что мы увидели: с курами люди обращаются так же грубо, как и с часнами собственной семьи, особенно когда кто-то вертится под ногами.

Когда старик — видимо, хозяин фермы — сперва с улыбкой плнул ногой петуха, а потом, как ни в чем не бывало, открыл для нас ворота, мы со Скипом просто расцвели. Старик наклонился к отцу и сказал, что у них есть еще и мотель, где ночевка стоит всего пятьдесят центов — это было действительно очень дешево, однако запах там, надо сказать, дорогого стоил!

Поскольку у отца уже не осталось сил спорить с нами, он добродушно согласился, что это место ничуть не хуже прочих и вполне годится, чтобы смыть с себя дорожную грязь.

Ожидания нас не обманули. Жалкая комнатенка, в которую мы вошли, оказалась прямо-таки находкой: не только все пружины на кровати и на диване одновременно впились в тело, стоило туда шлепнуться, но и весь домишко тут же вздрагивал и еще долго продолжал трястись, точно страдал пляской святого Витта. Видимо, его фундамент не вынес бесчисленных налетов жестоких постояльцев, которые с криком «Ух, здорово!» кидались на измученные пружинные матрасы.

Судя по запаху, можно было предположить, что кое-кто из этих дикарей прямо здесь и скончался. Вонь стояла ужасная; в ней различались запахи живых любовных признаний и похоти, выдаваемой за страсть. Ветерок сквозь щели в полу приносил ароматы куриных испражнений — видно, здешние несчастные птицы неизменно страдали расстройством желудка, каюя землю у стока из туалета, всю пропитанную дезинфицирующей жидкостью, которая просачивалась сквозь стгнивший линолеум.

Зато после того как мы, спрятавшись от жары в комнатку, перекусили — ленч состоял из бутербродов с холодной фасолью и свиной, украшенных отвратительными потеками сероватого растительного маргарина, — Скип и я, удрав от родителей, отыскали поблизости пустынный ручей и долго швырялись друг в друга камешками, чтобы немного остыть.

Вечером мы отправились в город и за обедом в кафе тщетно пытались «прочитать» на найденной грязной ложке, засиженной мухами, некое таинственное послание свыше, «написанное» коричневыми точками мушиных следов, и все время стряхивали с себя тощих кузнечиков, которые, похоже, более всего желали утопиться в наших тарелках с супом. Потом, купив билеты по десять центов, мы посмотрели гангстерский боевик и вернулись к себе, на куриную ферму, повеселев и на время забыв о пережитых страданиях и о Великой депрессии.

До одиннадцати вечера никто здесь, в Техасе, спать не ложился из-за жары. К нам зашла хозяйка, хрупкая изможденная женщина, — таких я видел множество, почти на всех газетных фотографиях, посвященных этой стране песчаных бурь. Она

была настолько иссушена ветрами и жарой, что от нее остались буквально кожа да кости, однако в глазах, в самой их глубине, точно горели две свечи. Разговор шел о восемнадцати миллионах безработных и о том, что еще может случиться, и о том, куда мы всей семьей направляемся, и о том, чего ждать в следующем году.

Жара, дожимавшая нас весь день, чуточку отступила, словно давая людям передышку. Откуда-то со стороны грядущей утренней зари подул прохладный ветерок. Мы несколько притихли. Я посмотрел на брата, он — на маму, а она — на отца: мы снова чувствовали себя единой семьей; что бы там ни случилось, сегодня мы были вместе и вместе держали путь неведомо куда.

— Видите ли... Отец вытащил автомобильный атлас и раскрыл его, показывая хозяйке наш маршрут, отмеченный красными чернилами, точно круг наших четырех судеб, внутри которого нам еще долго предстояло жить, точнее — стараться выжить: сводить концы с концами, есть что придется и ложиться спать, не надеясь, что приснится какой-нибудь сон. — Завтра... — он коснулся карты дорог желтым от никотина пальцем, — мы будем в Томбстоуне. Послезавтра — в Тусоне. Там мы немного задержимся — поищем работу. Денег хватит недели на две, если экономить, конечно. Если там работы не будет, мы двинемся дальше, в Сан-Диего. Там у нас родственник работает в порту, в таможенной инспекции. В Сан-Диего побудем с недельку, ну и еще три недели в Лос-Анджелесе. А потом денег останется только на то, чтобы вернуться домой, в Иллинойс, и там, может быть, записаться на получение пособия по безработице. Или — кто его знает? — вдруг снова удастся получить работу в электрокомпаний? Меня оттуда полгода назад уволили...

— Понятно, — сказала хозяйка.

И ей действительно все было понятно. Потому что все те восемнадцать миллионов безработных как бы проехали здесь и тоже останавливались в этом мотеле, а потом уезжали — куда-нибудь, все равно куда, в никуда; и снова возвращались — в никуда, все равно куда, куда-нибудь, где они когда-то лишились работы и были совсем не нужны, а потом снова исчезали в поисках неведомо чего.

— А какую работу вы ищете? — спросила хозяйка.

Вот это она сказала! Она и сама сразу поняла, что ляпнула что-то не то. Отец помолчал, задумался и рассмеялся. И мать рассмеялась. И мы с братом тоже рассмеялись. Всем вдруг стало очень смешно.

Еще бы, кто же спрашивает, какая нужна работа! Уже давно существовала просто работа, которую нужно найти, без всяких там названий и определений; работа, чтобы кормить семью, платить за бензин, иногда, может, покупать мороженое в вафельном стаканчике. Кино? Ну и в кино раз в месяц не грех сходить. Все равно мы со Скипом всегда ухитрялись просочиться в зал — через заднюю дверь, через служебный вход, через подвал и оркестровую яму; а еще можно было спуститься по пожарной лестнице прямо на балкон... Ничто на свете не могло удержать нас от походов на утренние субботние сеансы! Интереснее могли быть только фильмы с участием Адольфа Менжу, которые показывали вечером...

И вдруг все разом умолкло, словно чувствуя, что подошло время для чего-то очень важного. Хозяйка извинилась, вышла и через несколько минут вернулась, неся две небольшие коробочки из серого картона. По тому, как она с ними обращалась, можно было предположить, что там фамильные драгоценности или урна с пеплом любимого дядюшки.

Женщина осторожно села, разгладив фартук на коленях и бережно опустила на него коробочки, чуть прикрывая их от нас ладонями, и сидела так довольно долго, с большим мастерством выдерживая паузу, как в настоящем театре. Многие начинают понимать важность паузы для драматического действия, когда становится необходимо подчеркнуть смысл самого ерундового события, чтобы оно показалось значимым, и для этого как бы замедлить бег времени.

И странно, нас тронуло поведение этой тихой женщины, ее печальное, чуть отчужденное измученное лицо, в чертах которого отразилась вся ее напрасно прожитая жизнь. В глубине глаз плакали дети, так и не рожденные ею на свет. А может, рожденные, да только рано умершие и похороненные не в земле, а словно в ней самой, в душе, в сердце. А может, она родила их и вырастила, но они покинули ее, разъехались по белому све-

ту и никогда ей не пишут? По лицу хозяйки можно было прочитать и ее жизнь, и жизнь ее мужа, и то, как они выжили здесь благодаря своей ферме... Господь не раз грозил дыханием своим погасить разум этой женщины, однако душа ее, себе самой на удивление, все-таки устояла, и огонь в ее глазах продолжал гореть.

Увидишь такое лицо — с написанными на нем бесчисленными утратами, — и невозможно не обратить на него внимания. Когда оно вдруг вспыхнет от счастья, если хозяин его вдруг найдет то, к чему может прилепиться душой или хотя бы просто смотреть с наслаждением, не отводя глаз.

Именно так вспыхнуло лицо нашей хозяйки, когда она приподняла крышку одной из коробок.

И внутри оказалось...

— Ну и что? — вырвалось у Скипа. — Это же просто яйцо!..

— Смотри внимательнее, — сказала ему хозяйка.

И мы очень внимательно посмотрели на чистенькое, только что снесенное яйцо на подстилке из ваты.

— Ничего себе, — пробормотал Скип.

— Вот это да! — прошептал я.

На скоряупе, прямо посредине, был странный след — словно яйцо треснуло, стукнувшись обо что-то, а потом трещина затянулась, и на ее месте появилось нечто загадочное: отчетливое выпуклое изображение головы длиннорогого быка!

Это было здорово! Такая толкая работа, будто над яйцом потрудились какой-то волшебник-ювелир, заставив кальций, содержащийся в скоряупе, лечь послушно его воле и создать нужный рисунок — бычью морду и огромные рога. Да такое яйцо любой мальчишка с тордостью повесил бы себе на шею и показывал бы приятелям в школе — пусть лопнут от зависти!

— Это яйцо, — сказала хозяйка, — вместе с рисунком появилось на свет ровно три дня назад.

Сердца наши екнули; мы открыли было рты:

— Но...

Хозяйка закрыла крышку коробки, и рты наши тоже закрылись сами собой. Женщина глубоко вздохнула, на секунду прикрыла усталые глаза и приподняла крышку на второй коробке.

— Спорим, я знаю, что там! — вскричал Слип.

Что уж тут спорить, все и так было ясно.

Конечно, и во второй коробке на вате лежало такое же кругленькое белоснежное яйцо.

— Ну вот, смотрите,— сказала эта женщина, владевшая жалким мотелем и куриной фермой, затерявшейся среди безлюдных равнин, под бездонными небесами, где ни земля, ни небо не кончаются за горизонтом, а тянутся все дальше и дальше, без конца и без края.

Мы дружно склонились над яйцом, припугнувшись, чтобы получить разглядеть его.

На сей раз на скорлупе виднелись слова. Словно сама душа несущки, направляемая неведомым нам почным ее собеседником, с трудом и болью вывела, «начертала» эти буквы на скорлупе неровным, но вполне разборчивым почерком.

Вот что там было написано:

«Мир вам. Благоденствие ваше грядет».

И вдруг стало очень тихо.

У нас и без того было полно вопросов еще насчет первого яйца. Они так и рвались с языка. Как, например, могла курица со своим крошечным нутром умудриться завести там еще какой-то орган, способный делать на скорлупе рисунки и надписи? А может, в нее вставлен механизм — вроде как в наручных часах? Или это сам Господь использует столь простенькую живую тварь как медиума? И это Его рука изображает на яичной скорлупе разные фигуры, пишет заповеди и откровения?

Однако, увидев надпись на втором яйце, мы так и не задали ни одного вопроса; мы слова не могли проронить.

«Мир вам. Благоденствие ваше грядет».

Отец глаз не сводил с этой надписи.

И все мы тоже.

Губы дружно шевелились — мы без конца перечитывали написанные на скорлупе слова.

Один раз отец, правда, вскинул глаза на нашу хозяйку. Она ответила ему прямым, спокойным, уверенным и честным взглядом; нет, в чистоте ее помыслов сомнений не было, как не могло быть сомнений и в том, что вокруг нас дрожат в жарком мареве бескрайние, безлюдные, безводные равнины. В ее глазах

мерцал, порой расцветая, тот огонь, что вспыхнул не менее полувека назад. Она не жаловалась и ничего не объясняла. Да, она просто нашла это яйцо подле своей несущки. Вот оно. Смотрите сами. Читайте написанные на нем слова. А потом.. пожалуйста, прочитайте их еще раз!

Мы тяжело вздохнули и с трудом выдохнули воздух.

Затем отец медленно повернулся и пошел прочь. У самой двери он кинул взгляд через плечо, как-то странно моргая, но слез рукой не смахнул, хотя глаза у него были влажны и сияли ярко и возбужденно. Он молча спустился с крыльца и побрел меж хижин старого мотеля, сунув руки поглубже в карманы.

Мы с братом все еще не могли отвести глаз от надписи на яйце, но хозяйка осторожно закрыла коробку крышечкой, поднялась и пошла к дверям. Мы молча двинулись следом.

Отец стоял у загона для кур, освещенный последними закатными лучами, хотя в небе уже показалась луна. Мы тоже подошли к проволочной сетке и стали смотреть, как за ней мечутся по крайней мере тысяч десять кур, до смерти пугаясь то порыва ветра, то тени от облака, то далекого лая собаки, то шума автомобиля, мчащегося по пустынному, расклевывшемуся за день шоссе.

— Вон она,— сказала хозяйка.— Вон та.

И показала куда-то в море куриных спин и голов.

Туда, где суетились и кудахтали то громче, то тише тысячи птиц.

— Вот она, моя дорогая, моя милая девочка! Видите?

Рука женщины ничуть не дрожала, когда она неторопливо стала показывать нам свое сокровище, тыкая пальцем куда-то в пространство...

— Ну что, правда, хороша? — спросила хозяйка.

Я смотрел во все глаза, я даже на цыпочки встал и припугнулся. Я смотрел так, что у меня чуть глаза не выскочили.

— А я вижу! — крикнул мой брат.— По-моему...

— Ну да, такая беленькая,— поддержала его хозяйка.— С рыжими крапинками.

Я посмотрел на эту женщину. Она была совершенно спокойна: уж она-то свою несущку знала отлично! Это мы не могли разглядеть ее среди множества других кур, однако ее любимы-

ца, несомненно, была там, реальная, как мир вокруг нас, как небо над головой — сама всего лишь маленькая частичка этого огромного мира.

— Вон она,— сказал мой брат и сразу умоак, смутившись.— Нет, постойте... Ну да, вон та!

— Да,— сказал я.— Теперь и я его вижу!

— Ее, бабда!

— Ну, ее,— поправился я, и на секунду мне показалось, что я действительно ее вижу — замечательную несупку с куда более белым и пыльным, чем у остальных, оперением и куда более резвую и веселую, чем прочие куры, однако ступавшую удивительно гордо...

Волнующееся птичье море расступилось на миг перед нашим взором, чтобы явить ему одну-единственную из множества птиц, похожих на островки лунного света на темной траве. На секунду куры застыли на месте, но тут снова то ли лай собаки, то ли прозвучавший выстрелом выхлоп проезжающего мимо автомобиля обратил их в паническое бегство. Стоило им сомкнуть свои ряды, и та несущка исчезла.

— Ты видел? — спросила меня хозяйка, крепко впевпвшись в проволочную сетку и высматривая свою любимицу в толпе мечущихся кур.

— Да.— Мне не было видно, какое при этом стало лицо у отца — то ли осталось серьезным, то ли он сухо усмехнулся.— Я ее видел.

Отцу с матерью повернулись и пошли к нашему домику, но хозяйка и мы со Скипом остались стоять у сетки и молча, даже не показывая пальцами на кур, простояли там еще минут десять.

А потом пришла пора ложиться спать.

Но мне не спалось. Я лежал рядом со Скипом и вспоминал, как раньше по ночам, когда отец с матерью разговаривали о всяких взрослых вещах, мы любили слушать их разговоры — мать озабоченно спрашивала о чем-то, а он отвечал ей спокойно, уверенно и тихо. Горшок с золотыми монетами, счастье на том конце радуги — нет, в такое я больше не верил. Молочные реки с кисельными берегами. Нет, нет. Мы слишком много проехали и слишком много видели, чтобы я мог в это поверить. И все же...

Когда-нибудь в гавань войдет мой корабль...

В это я верил.

Когда я слышал, как отец говорит это, на глаза мне наворачивались слезы. Я видел такие корабли — на озере Мичиган летним утром. Они проплывали мимо после регаты, полные веселых людей, которые горстями бросали в воздух конфетти и трубили в трубы, а мне представлялось...— бесконечное множество раз в бесконечное множество ночей я отчетливо видел на стене перед собой дивную картину: мы тоже стоим на причале — мама, папа, Скип и я! — и корабль, огромный, белоснежный, всплывает в гавань, а на верхней палубе стоят миллионеры и подбрасывают вверх не конфетти, а долларовые банкноты и золотые монеты, и все это шумным дождем падает вниз, и мы пляшем от радости, и стараемся изловчиться и поймать как можно больше, и ойкаем, когда тяжелой монетой попадает по голове, и смеемся, когда нас щекочут похожие на хлопья снега банкноты...

Мать что-то спрашивала — насчет того корабля,— а отец отвечал ей, и в ночной тиши мы со Скипом погружались в одни и те же мечты — как мы стоим на причале, а корабль...

Но сегодня ночью я вдруг спросил в давно уже наступившей тишине:

— Пап, а что оно означает?

— Что именно? — откликнулся отец из темноты, где он лежал рядом с матерью.

— То, что написано на яйце. Неужели тот корабль скоро придет?

Отец долго молчал. Потом твердо ответил:

— Я думаю, да. Надпись означает именно это. А теперь спи, дур.

— Хорошо, сэр.

Я вытер слезы и отвернулся к стене.

Из Амарильо мы выехали в шесть утра, чтобы успеть хоть немного проехать по холодку, и в течение первого часа все тупо молчали, еще не проснувшись как следует. И весь следующий час мы тоже молчали — думали о том, что произошло вчера. Наконец на отца подействовал выпитый кофе, и он обронил вслух:

— Десять тысяч.

Мы ждали, что он скажет еще, но отец молча качал головой.

— Десять тысяч бессловесных тварей! — воскликнул он наконец. — Но лишь одна, невесть откуда взявшаяся, вдруг решает передать нам...

— Ну что ты, отец, в самом деле! — с упреком сказала мама.

Словно хотела спросить: «Ты ведь не веришь этому, правда?»

— Да уж, папа! — Мой брат говорил с той же чуть заметной насмешкой.

— Тут есть над чем подумать. — Отец не обращал на них внимания. Он не сводил глаз с дороги, ведя машину легко и свободно, не стискивая руль, а уверенно направляя наше «угловое суденышко» через пустыню. Стоило миновать один холм, как сразу же за ним возникал следующий, а там и еще один, и дальше... а что дальше?

Мать заглянула отцу в глаза, но у нее не хватило духу окликнуть его тем же насмешливым тоном еще раз. Она отвернулась к окошку, посмотрела на дорогу и промолвила так тихо, что нам почти не было слышно:

— Как там было написано? Повтори-ка!

Отец плавно миновал поворот в сторону Уайт-Сэндз, откашляясь, на ходу протер ладошкой ветровое стекло перед собой, точно расчищая кусочек неба, и сказал, как бы вспоминая:

— Мир вам. Благоденствие ваше грядет.

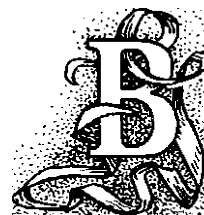
Мы проехали еще с милую, прежде чем я решился спросить:

— А сколько... ну, сколько может... стоять такое яйцо, пап?

— Людям его оценить невозможно, — ответил он, не оглядываясь и продолжая вести машину к далекому горизонту. — Знаешь, сынок, этого просто нельзя делать! Нельзя вешать ценник на яйцо, посредством которого с нами говорят Небеса! Мотелем куриных откровений — вот как мы теперь всегда будем называть этот мотель.

И мы помчались дальше со скоростью сорок миль в час сквозь жару и пыль послезавтрашнего дня.

Мы со Скипом сидели смирно и даже потихоньку, незаметно не пихали друг друга, пока где-то в полдень не пришлось вылезти, чтобы «полить цветочки» на обочине дороги.



Озеро

Одна спрятала меня от мира, птиц в небе, детей на песке, мамы на берегу. Миг зеленой тишины. Затем волна вернула меня обратно небу, песку, детям. Я шел из воды, а меня ждал мир, он ничуть не изменился с тех пор, как я исчез под водой.

Я выбежал на берег.

Мама шлепнула меня мохнатым полотенцем. «Стой и сохни», — сказала она.

Я стоял и смотрел, как солнце собирает капельки воды с моих рук. На месте капелек появились пупырышки.

— Гляди-ка, ветер, — сказала мама. — Надень свитер.

— Подожди, я хочу поглядеть на пупырышки.

— Гарольд, — сказала мама.

Я надел свитер и стал смотреть, как набегают и падают волны на берег. Не тяжело. Напротив, с зеленой изысканностью. Даже пьяный не смог бы так плавно опускаться, как эти волны.

Была сентябрь. Те последние дни, когда, неизвестно почему, становится грустно. Берег вытянулся и опустел, всего лишь шесть человек сидели на песке. Дети перестали играть в мяч, ветер и на них нагонял тоску своим особым свистом, и они сидели, чувствуя, как вдоль бесконечного берега бредет осень.

Все сосисочные были забиты полосами золотистых досок. За ними прятались горчица, лук, мясо — все запахи долгого радост-

ного лета. Будто лето заколотили в гроб. Друг за дружкой опускали они крышки, запирали двери. Прилетал ветер и касался песка, сдувая миллионы примет июля и августа. И так случилось, что теперь, в сентябре, не осталось ничего, лишь следы моих теннисных туфель и ног Дональда и Дилауса Арнольдов близ воды.

Песок слетал с навесов на тротуар, карусель спряталась под брезентом, в воздухе, оскалив зубы, застыли в галопе лошади на медных шестах. Лишь музыка ветра на скользком брезенте.

Я постоял здесь. Все были в школе. А я нет. Завтра я буду сидеть в поезде и ехать на запад через Соединенные Штаты. Мама и я в последний раз пришли на берег попрощаться.

Вокруг было так пустынно, что и мне захотелось побыть одному. «Мам, я побегу по берегу?» — сказал я.

— Хорошо. Только недолго и не подходи близко к воде.

Я побежал. Песок подо мной летел в разные стороны, а ветер нес меня. Знаете, как это бывает, бежишь, вытянув руки, растопырив пальцы, и ощущаешь, какой ветер упругий. Словно крылья.

Сидящая мама исчезла вдаль. Вскоре она превратилась в коричневого пятнышко, и я остался совсем один.

Одиночество — не новость для двенадцатилетнего мальчика. Он так привык, что рядом всегда люди. И по-настоящему остаться один он может только внутри. Вокруг столько правильных людей, объясняющих детям, что и как надо делать, что мальчишке приходится убегать далеко на берег, пусть даже мысленно, для того чтобы побыть в своем собственном мире.

Теперь же я и впрямь был один.

Я вошел в воду и дал ей остудить свой живот. Раньше, когда вокруг была толпа, я не смел подойти сюда, взглянуть на это место, войти в воду и назвать это имя. Но теперь...

Вода словно фокусник делит тебя пополам. Такое чувство, будто тебя разрезали надвое; нижняя часть тает словно сахар и растворяется. Вода холодит, и изящно колышущаяся волна время от времени опадает цветком кружев.

Я звал ее, десятки раз я звал ее:

— Толли! Толли! Толли!

Всегда ждешь ответа на свой зов, когда юн. Верить, что все, о чем мечтаешь, сбывается. И порою так оно и случается.

Я вспомнил, как в мае Толли плавала в воде и как болтались ее светлые косички. Она смеялась, и на ее двенадцатилетних плечиках блестело солнце. Я вспоминал о том, как успокоилась вода, о том, как туда прыгнул служащий спасательной станции, и о том, как Толли больше не вышла наружу.

Спасатель пытался уговорить ее вернуться, но она не вернулась. Он вылез из воды, лишь водоросли свисали с его пальцев, а Толли ушла. Она больше не будет сидеть впереди меня в классе, она не будет гонять со мной мяч летними вечерами по мощеным кирпичом улицам. Она ушла слишком далеко, и озеро не отпустит ее назад.

И теперь, пустынной осенью, когда небо такое опростое, вода огромная и берег такой длинный, я в последний раз пришел сюда, один.

Я звал и звал ее. Толли! О Толли!

Ветер мягко дул мне в уши — так он шепчется в раковинах. Вода поднималась, обняла мою грудь, потом колени, вверх-вниз, так и вот так, впитываясь в песок под моими ногами.

Толли! Вернись, Толли!

Мне было всего двенадцать лет. Но я знал, как я люблю ее. Это была любовь, которая приходит до понятий тела и морали. Это была такая любовь, что не хуже ветра, воды и песка, вечно лежащих рядом. Она была соткана из теплых длинных дней на берегу и из коротких спокойных, монотонных дней в школе. Вот и кончались длинные осенние дни пропавших лет, когда я носил ее портфель из школы.

Толли!

Я в последний раз позвал ее. Я вздрогнул. Я чувствовал воду на лице и не понимал, как она попала туда. Вода не поднималась так высоко.

Повернувшись, я вышел на берег и постоял полчаса, надеясь увидеть хоть намек, хоть знак, хоть что-нибудь, что напомнило бы мне Толли. Потом я опустился на колени и построил замок из песка, красиво заострив его кверху так, как Толли и я часто строили их. Но на этот раз я построил его лишь наполовину. Затем я поднялся.

— Толли, если ты слышишь меня, выйди и доделай его.

Я двинулся по направлению к далекому пятну, маме. Набегали волны, смывая замок крут за крутом, делая его все меньше и меньше, превращая в ровное место.

Молча я шел по берегу.

Вдали скрипела карусель, но катался на ней только ветер.

На следующий день я уехал на поезде.

У поезда короткая память; он все оставляет позади. Он забывает и поля Иллинойса, и реки детства, мосты и озера, долины и коттеджи, обиды и радости. Он всех покидает, и они исчезают за горизонтом.

Я вытянулся вверх, раздался вширь, сменил мой детский ум на взрослый, выбросил старую одежду — она мне стала мала, — перешел из средней школы в высшую, затем в колледж. А потом была девушка в Сакраменто. Некоторое время мы встречались с ней, затем поженились. К двадцати двум годам я почти забыл, как выглядит Восток.

Маргарет предложила провести наш вечно откладывающийся медовый месяц в этом месте.

Поезд как память. Он может вернуть все то, что вы оставили так много лет назад.

Лейк-Блафф, с населением 1000 человек, всплыл на горизонте. Маргарет была такой красивой в своем новом платье. Она смотрела, как прежний мир возвращал меня обратно к себе. Она держала меня за руку, когда поезд подошел к станции Блафф и наши вещи вынесли на перрон.

Прошло столько лет, что же они делают с лицами и телами людей. Когда мы шли по городу, я никого не узнавал. Были лица словно эхо. Эхо походов по тропинкам в оврагах. Легкая радость на лицах, ведь школы на лето закрыты и можно качаться на металлических канатах, взлетать вверх и вниз на качелях. Но я молчал. Я шел и смотрел, полон воспоминаний, слетевшихся в куту подобно осенним листьям.

Две недели мы жили здесь, вместе осматривали все заново. То были счастливые дни. Я думал, что люблю Маргарет. Во всяком случае мне так казалось.

Это произошло в один из последних дней, которые мы провели на берегу. Сентябрь еще не наступил, как тогда, много лет назад, но уже появились на пляже первые признаки опустело-

сти. Народу становилось меньше, некоторые сосисочные были уже закрыты и заколочены, и, как всегда, тут нас ждал ветер, чтобы спеть свою песню.

Мне даже померещилась мама, сидящая на песке там, где она всегда сидела. И снова мне захотелось побыть одному. Но я не мог заставить себя сказать об этом Маргарет. Я лишь шел рядом с ней и ждал.

Становилось поздно. Почти все дети ушли домой, и только несколько женщин и мужчин грелись на ветренном солнце.

К берегу подошла спасательная лодка. Из нее медленно вылез спасатель, держа что-то в руке.

Я застыл на месте. Я затаил дыхание и почувствовал себя маленьким, всего двенадцатилетним, очень маленьким, крошечным и испуганным. Ветер стонал. Я не видел Маргарет. Я видел лишь берег и спасателя, медленно вылезавшего из лодки с серым мешком в руках, и его лицо — такое же серое и заостренное.

— Постой здесь, Маргарет, — сказал я. Зачем я сказал это?

— Но почему?

— Просто постой, вот и все...

Я медленно пошел по песку туда, где стоял спасатель. Он взглянул на меня.

— Что это? — спросил я.

Спасатель долго не мог выговорить ни слова, он глядел на меня. Он положил серый мешок на песок, волна, что-то шепча, обняла мешок и отступила.

— Что это? — настаивал я.

— Странно, — тихо сказал спасатель.

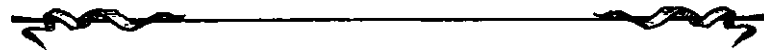
Я ждал.

— Странно, — тихо повторил он. — Самое странное, что мне довелось видеть. Она умерла очень давно.

Я повторил его слова.

Он кивнул.

— По-моему, десять лет назад. В этом году здесь не утонул ни один ребенок. С тысяча девятьсот тридцать третьего здесь утонуло двенадцать детей, но все они были найдены спустя несколько часов. Все, кроме одной, насколько я помню. Это тело, должно быть, десять лет пролежало в воде. Это не очень-то приятно.



Я смотрел на серый мешок в его руках.
— Откройте его,— попросил я.
Зачем я сказал это? Еще громче застонал ветер.
Он стал возиться с мешком.
— Скорей откройте его! — закричал я.
— Может, лучше не делать этого,— сказал он. Тут он, по-видимому, увидел мое лицо.— Она была такой маленькой...

Он чуть-чуть приоткрыл мешок. Этого было достаточно.
На берегу было пусто. Лишь небо, и ветер, и вода, и одинокая осень направлялась сюда. Я глядел вниз, на нее.

Снова и снова я что-то произносил. Имя. Спасатель смотрел на меня.

— Где вы нашли ее? — спросил я.
— Ниже по берегу, там, на мели. Долго же она лежала, правда?

Я кивнул.

— Да. Боже мой, да.

Я думал: люди растут. Я вырос. А она совсем не изменилась. Она все еще маленькая. Она все еще юная. Смерть не позволила ей вырасти или измениться. Все те же рыжие волосы. Она всегда будет молодой, и я всегда буду любить ее, о господи, я всегда буду любить ее.

Спасатель снова завязал мешок.

Несколькими минутами позже я шел вниз по берегу. Я остановился, что-то увидев. «Тут он ее нашел», — отметил я про себя.

Здесь около самой воды стоял песочный замок, построенный лишь наполовину. Словно строили Тома и я. Она половину и я половину.

Я глядел на него. Потом стал перед замком на колени и заметил маленькие следы, шедшие из воды и снова тянувшиеся в озеро, обратно они не возвращались.

И тогда... я понял.

— Я помогу тебе,— сказал я.

Так я и сделал. Очень медленно я достроил замок, затем поднялся, повернулся к нему спиной и пошел прочь. Только бы не видеть, как он исчезает в волнах, как и все на свете исчезает.

Я шел по берегу обратно, где незнакомая женщина по имени Маргарет ждала меня и улыбалась...

Ребятки!

Выращивайте гигантские грибы у себя в подвалах!



ью Фортнем проснулся и, лежа с закрытыми глазами, с наслаждением прислушивался к утренним субботним шумам.

Внизу шкварчал бекон на сковороде; это Синтия будит его не криком, а милым ароматом из кухни.

По ту сторону холла Том взаправду принимал душ.

Но чей это голос, перекрывая жужжание шмелей и порох стрекоз, спозаранку честит погоду, эпоху и злодейку-судьбу? Ничья соседка, миссис Гудбоди? Конечно же. Христианнейшая душа в теле великаниши — шесть футов без каблуков, чудесная садовница, диетврач и городской философ восьмидесяти лет от роду.

Хью приподнялся, отодвинул занавеску и высунулся из окна как раз тогда, когда она громко приговаривала:

— Вот вам! Получайте! Что, не нравится? Ха!

— Доброй субботы, миссис Гудбоди!

Старуха замерла в облаках жидкости против вредителей, которую она распыляла с помощью насоса в виде гигантского ружья.

— Глупости говорите! — крикнула она в ответ. — Чего тут доброго с этими козявками-злыднянками. Поналезли всякие!

— И какие на этот раз?

— Не хочу кричать, чтобы какая-нибудь сорока не услышала, но... — Тут соседка подозрительно огляделась и понизила голос: — К вашему сведению: в данный момент я стою на первой линии огня и защищаю человечество от вторжения с летающих тарелок.

— Замечательно, — отозвался Фортнем. — Нсдаром столько разговоров, что инопланетяне прибудут чуть ли не со дня на день.

— Они уже здесь! — Миссис Гудбоди послала на растения новое облако отравы, норовя обрызгать нижнюю поверхность листьев. — Вот вам! Вот вам!

Фортнем убрал голову из окна. Несмотря на приятную свежесть денька, прекрасное поначалу настроение было слегка подпорчено. Бедняжка миссис Гудбоди! Обычно такая образцово разумная. И вдруг такое! Не иначе как возраст берет свое.

В дверь кто-то позвонил.

Он схватил халат и, еще спускаясь с лестницы, услышал незнакомый голос: «Срочная доставка. Дом Фортнемов?» Затем он увидел, как Синтия возвращается от двери с небольшим пакетом в руке.

— Срочная доставка — пакет авиапочтой для нашего сына.

Тому хватило секунды, чтобы оказаться на первом этаже.

— Ух ты! Наверняка из ботанического сада в Грейт-Байю, где культивируют новые виды растений.

— Мне бы так радоваться заурадной посылке! — сказал Фортнем.

— Заурадной? — Том мигом порвал бечевку и теперь лихо радочно сдирал оберточную бумагу. — Ты что, не читаешь последние страницы «Популярной механики»? Ага, вот они!

Все трое смотрели внутрь небольшой коробочки.

— Ну, — сказал Фортнем, — и что это такое?

— Сверхгигантские грибы Сильвана Глейда. «Стопроцентная гарантия стремительного роста. Выращивайте их в своем подвале и гребите деньги лопатой!»

— А-а, разумеется! — воскликнул Фортнем. — Как я, дурак, сразу не сообразил!

— Вот эти вот фигушечки? — удивилась Синтия, щурясь на содержимое коробочки.

— «За двадцать четыре часа достигают невероятных размеров, — шпарил Том по памяти. — Посадите их у себя в подвале...»

Фортнем перетянулся с женой.

— Что ж, — промолвила она, — это по крайней мере лучше, чем жабы и зеленые змейки.

— Разумеется, лучше! — крикнул Том на бегу.

— Ах, Том, Том! — с легким упрёком в голосе сказал Фортнем.

Сын даже приостановился у двери в подвал.

— В следующий раз, Том, — пояснил отец, — ограничивайся обычной бандеролью.

— Полный отпад! — сказал Том. — Они там чего-то перепутали и решили, что я какая-нибудь богатая фирма. Срочно, авиа, да еще с доставкой на дом — нормальному человеку это не по карману!

Подвальная дверь захлопнулась.

Слегка ошарашенный, Фортнем повертел в руках обертку посылки, потом бросил ее в корзину для мусора. По пути на кухню он не удержался и залягул в подвал.

Том уже стоял на коленях и лопаткой взрыхлял землю.

Фортнем ощутил за спиной легкое дыхание жены. Через его плечо она вглядывалась в прохладный полумрак подвала.

— Надеюсь, это действительно съедобные грибы, а не какие-нибудь... поганки!

Фортнем крикнул со смехом:

— Доброго урожая, фермер!

Том поглядел вверх и помахал рукой.

Опять в распрекрасном настроении, Фортнем прикрыл подвальную дверь, подхватил жену под руку, и они направились в кухню.

Ближе к полудню по дороге к ближайшему супермаркету Фортнем примстил Роджера Уиллиса, тоже члена клуба деловых людей «Ротари», преподавателя биологии в городском университете. Тот стоял у обочины и отчаянно голосовал.

Фортнем остановил машину и открыл дверцу.

— Привет, Роджер, тебя подбросить?

Уиллис не заставил просить себя дважды, вскочил в машину и захлопнул дверь.

— Какая удача — ты-то мне и нужен. Который день собираюсь с тобой повидаться, да все откладываю. Тебе не трудно сделать доброе дело и на минут пять стать психиатром?

Фортнем изучающе покосился на приятеля. Машина катила вперед на средней скорости.

— Ладно. Выкладывай.

Уиллис откинулся на спинку кресла и сосредоточенно уставился на ногти своих рук.

— Погоди чуток. Веди машину и не обращай на меня внимания. Ага. Ну ладно. Вот что я тебе намеревался сказать: с этим миром что-то неладно.

Фортнем тихонько рассмеялся:

— А когда с ним было ладно?

— Да нет, я имею в виду... Странное что-то... небывалое... происходит.

— Миссис Гудбоди, — произнес Фортнем себе под нос — и осекся.

— При чем тут миссис Гудбоди?

— Сегодня утром она повела мне о летающих тарелках.

— Нет. — Уиллис нервно куснула костяшку на указательном пальце. — Это не похоже на летающие тарелки. По крайней мере, мне так кажется. Интуиция — это, по-твоему, что?

— Осознанное понимание того, что долгое время оставалось подсознательным. Но только никому не цитируй это наскоро скроенное определение. В психиатрии я всего лишь любитель.

Фортнем снова рассмеялся.

— Хорошо-хорошо! — Уиллис отвернул просветлевшее лицо и поудобнее устроился на сиденье. — Ты попал в самую точку! То, что накапливается на протяжении долгого времени. Копится, копится, а потом — бац, и ты выпалонул, хотя и не помнишь, как набиралась слюна. Или, скажем, руки у тебя грязные, а тебе невдомек, когда и где ты их успел переначкать. Пыль ложится на предметы безостановочно, но мы ее не замечаем, пока не накопится много, и тогда мы говорим: фу-ты, какая грязь! Помоему, как раз это и есть интуиция. А теперь можно спросить: ну а на меня какая такая пыль садилась? То, что я видел по ночам

сколько-то падающих метеоритов? Или наблюдения за странностями погоды по утрам? Понятия не имею. Может, какие-то краски, запахи, загадочные поскрипывания в доме в три часа ночи. Или то, как у меня почесываются волоски на руках? Словом, Господь один ведает, как накопилось столько пыли. Только в один прекрасный день я вдруг понял.

— Ясно, — несколько обеспокоенно сказал Фортнем. — Но что именно ты понял?

Уиллис не поднимал взгляда от своих рук, лежащих на коленях.

— Я испугался. Потом перестал бояться. Потом снова испугался — прямо среди бела дня. Доктор меня проверял. У меня с головой все в порядке. В семье никаких проблем. Мой Джо замечательный пацан, хороший сын. Дороти? Прекрасная женщина. Рядом с ней не страшно постареть и даже умереть.

— Ты счастливчик.

— Сейчас вся штука в том, что за фасадом моего счастья. А там я тряусь от страха — за себя, за свою семью... А в данный момент и за тебя.

— За меня? — удивился Фортнем.

Он припарковал машину на пустынной стоянке возле супермаркета. Какое-то время Фортнем в полном молчании смотрел на приятеля. В голосе Уиллиса было что-то такое, от чего мороз бежал по спине.

— Я за всех боюсь, — сказал Уиллис. — За твоих и моих друзей и за их друзей. И за всех прочих. Чертовски гаупо, правда?

Уиллис открыл дверь, вышел из машины и потом нагнулся посмотреть в глаза Фортнему.

Тот понял: надо что-то сказать.

— И что нам в этой ситуации делать? — спросил он.

Уиллис метнул взгляд в сторону палящего солнца.

— Быть бдительными, — произнес он с расстановкой. — На протяжении нескольких дней внимательно приглядываться ко всему вокруг.

— Ко всему?

— Мы не используем и десятой части способностей, отпущенных нам Богом. Необходимо чутче слушать, зорче смотреть, больше прикидываться и тщательнее следить за вкусовы-

ми ощущениями. Возможно, ветер как-то странно метет вон те семена на этой стоянке. Или что-то не в порядке с солнцем, которое торчит над телефонными проводами. А может, цикады в вязах поют не так, как положено. Нам следует хотя бы на несколько дней и ночей сосредоточиться по-настоящему — прислушиваться и приглядываться и сравнивать свои наблюдения.

— Хороший план, — шуточно сказал Фортнем, хотя на самом деле ощутил нешуточную тревогу. — Я обещаю отныне приглядываться к миру. Но чтобы не прозевать, мне надо хотя бы приблизительно знать, что имею я ищущего.

С искренним простодушием глядя на него, Уиллис произнес:

— Если оно тебе попадется — ты не пропустишь. Сердце подскажет. В противном случае нам всем конец. Буквально всем. — Последнюю фразу он произнес с отрешенным спокойствием.

Фортнем захлопнул дверцу. Что сказать еще, он не знал. Только почувствовал, как краснеет.

Похоже, Уиллис уловил, что приятелю неловко.

— Хью, ты решил, что я... Что у меня крыша поехала?

— Ерунда, — чересчур поспешно отозвался Фортнем. — Ты просто перенервничал, вот и все. Тебе бы стоило недельку отдохнуть.

Уиллис согласно кивнул.

— Увидимся в понедельник вечером?

— Когда тебе удобно. Заглядывай к нам домой.

Уиллис двинулся через кое-где поросшую бурьяном стоянку к боковому входу в магазин.

Фортнем проводил его взглядом. Неожиданно расхотелось куда-нибудь трогаться отсюда. Фортнем поймал себя на том, что тишина давит на него и он дышит долгими глубокими вдохами.

Он облизал губы. Соленый привкус. Взгляд остановился на голом локте, выставленном в окно. Золотые волоски горели на солнце. На пустой стоянке ветер играл сам с собой. Фортнем высунулся из окна и посмотрел на солнце. Солнце посмотрело

на него в ответ таким палящим взглядом, что он шустро втянул голову обратно. Громко выдохнув, вслух рассмеялся. И завел двигатель.

Кусочки льда мелодично позвякивали в живописно запотевшем стакане холодного лимонада, а сам сладкий напиток чуть кислил и доставлял подлинное наслаждение языку. Покачиваясь в сумерках в плетеном кресле на веранде, Фортнем смаковал лимонад, отпивая по маленькому глотку и закрывая глаза. Кузнечики стрекотали на газоне. Синтия, вязавшая в кресле напротив, с любопытством поглядывала на него; он чувствовал ее повышенное внимание.

— Что за мысли бродят у тебя в голове? — наконец напрямую спросила она.

— Синтия, — не открывая глаз, отозвался он вопросом на вопрос, — твоя интуиция не заржавела? Тебе не кажется, что погода предвещает землетрясение? И что все провалится в тартарары? Или что, к примеру, объявят войну? А может, все ограничится тем, что дельфиниум в нашем саду запаричивает и погибнет?

— погоди, дай пощупаю свои косточки — что они подсказывают.

Он открыл глаза. Теперь наступил черед Синтии закрыть глаза и прислушаться к себе. Возложив руки на колени, она на время окаменела. Потом тряхнула головой и улыбнулась:

— Нет. Никакой войны не объявят. И ни один континент не канет в море. И даже парша не поразит наш дельфиниум. А почему ты, собственно, спрашиваешь?

— Сегодня я встретил уйму людей, предрекающих конец света. Если быть точным, то лишь двух, но...

Дверь на роликах с грохотом распахнулась. Фортнем так и привскочил, словно его ударили.

— Какого!..

На веранде появился Том с садовой корзинкой в руке.

— Извини, что побеспокоил, — сказал он. — Все в порядке, папа?

— В порядке. — Фортнем встал, довольный случаем размять ноги. — Что там у тебя — урожай?

Том с готовностью подошел поближе.

— Только часть. Так и прут — чокнуться можно! Всего каких-то семь часов плюс обильный полив, а поглядите, какие они вымахали! — Он поставил корзинку на стол перед родителями.

Урожай действительно впечатал. Сотни небольших серовато-коричневых грибов торчали из кома влажной земли.

Фортнем изумленно ахнул. Синтия потянулась было к корзинке, но потом с нехорошим чувством отдернула руку.

— Не хочу портить вам радость, и все же... Вы совершенно уверены, что это грибы, а не что-то другое?

Том ответил ей оскорбленным взглядом:

— Чем я, по-твоему, собираюсь накормить вас? Бледными поганками?

— Да нет, мне просто почудилось, — поспешно сказала Синтия. — А как отличить грибы полезные от ядовитых?

— Съесть их, — отрезал Том. — Если останешься живым — значит, полезные. Если с копыт долой — значит, увы и ах. — Том расхохотался.

Фортнему шутка понравилась. Зато Синтия только заморгала и обиженно села в кресло.

— Лично мне они не по душе! — заявила она.

— Фу-ты, пу-ты! — раздраженно передразнил Том, подхватывая корзинку. — Люди, кажется, тоже делятся на полезных и ядовитых.

Том запаркал прочь. Отец счел нужным окликнуть его.

— Да ладно, проспали, — сказал Том. — Все почему-то думают, что их убудет, если они поддержат инициативного парнишку. Да провалятся оно пропадом!

Фортнем пошел в дом за Томом и видел, как тот остановился на пороге подвала, швырнул корзинку с грибами впиз, с силой захлопнул дверь и выбежал из дома через задний выход.

Фортнем оглянулся на жену, виновато отводящую глаза.

— Прости меня, — сказала она. — Уж не знаю, что меня за язык потянуло, но я не могла не высказать Тому свое мнение. Я...

Зазвонил телефон. У аппарата был длинный провод, поэтому Фортнем вышел с ним на веранду.

— Хью? — спросила Дороти Уиллис. В ее до странности усталом голосе слышались испуганные нотки. — Хью, Роджер не у вас?

— Нет, Дороти. Его здесь нет.

— Он ушел из дома! Забрал всю свою одежду из гардероба. — Она расплакалась.

— Дороти, не падай духом! Я буду у тебя через минуту.

— Да, мне нужна помощь. Помогите мне! Что-то нехорошее с ним случилось, я чувствую. — Снова всхлипы. — Если вы ничего не предпримете, мы его больше никогда не увидим живым!

Фортнем медленно положил трубку, до последнего момента полную горестных причитаний Дороти. Вечерний стрекот кузнечиков варуд стал оглушительным. Фортнем ощутил, как волосы у него на голове встанут дыбом — волосок за волоском, волосок за волоском.

На самом деле волосы на голове не способны становиться дыбом. Это только выражение такое. И очень глупое. В реальной жизни волосы не могут подняться сами собой.

Но его волосы это сделали — волосок за волоском, волосок за волоском.

Вся мужская одежда действительно исчезла из чуланчика-гардеробной. Фортнем в задумчивости погонял пустые проводочные вешалки туда-сюда по штанге, потом повернулся и выглянул наружу, где стояли Дороти Уиллис и ее сын Джо.

— Я просто шел мимо, — доложил Джо. — И варуд вижу — гардероб пустой. Одежды отца как не бывало.

— Все было прекрасно, — сказала Дороти. — Жила душа в душу. Я просто не понимаю. Я просто не могу понять. Совершенно не могу! — Закрыв лицо ладонями, она опять разрыдалась.

Фортнем выбрался из гардеробной и спросил Джо:

— А ты слышал, когда отец уходил из дома?

— Мы с ним играли в мяч на заднем дворе. Папа говорит: я ненадолго зайду в дом. Сперва я поиграл сам, а после пошел за ним. А его и след простыл!

— Я думаю, — сказала Дороти, — он по-быстрому собрал вещи и ушел пешком. Если его где-то ждало такси, то не у дома — мы бы услышали звук отъезжающей машины.

Теперь все трое шли через холл.

— Я проверю вокзал и аэропорт,— сказал Фортнем.— И вот еще... Дороти, в семье Роджера никто часом не...

— Нет, это не приступ безумия,— решительно возразила Дороти. Потом куда менее уверенно добавила: — У меня такое странное чувство, будто его украли.

Фортнем отрицательно мотнул головой:

— Это против здравого смысла. Собрать вещи и выйти на встречу своим похитителям!

Приоткрыв входную дверь, словно она хотела пустить в дом вечерний сумрак или ночной ветер, Дороти обернулась и обвела взглядом весь нижний этаж.

— Это похищение,— медленно произнесла она.— Они каким-то образом проникли в дом. И выкрали его у нас из-под носа.— Она помолчала и добавила: — Что-то страшное уже случилось.

Фортнем вышел на улицу и замер среди стрекота кузнечиков и шороха листьев. Прорицатели конца света, подумал он, свое слово сказали. Сперва миссис Гудбоди, затем Роджер. А теперь их компания пополнилась женой Роджера. Что-то страшное уже случилось. Но что именно, черт возьми? И почему?

Он оглянулся на Дороти и ее сына. Джо моргал, сгоняя слезы на щеки. Потом медленно повернулся, прошел через холл, остановился у входа в подвал и взялся за ручку двери.

Веки Фортнема дернулись, зрачки сузились, словно он пытался вспомнить какую-то картинку.

Джо распахнул дверь, начал спускаться по лестнице вниз и наконец пропал из виду. Дверь за ним медленно прихлопнулась сама собой.

Фортнем открыл рот, чтобы сказать что-то, но тут Дороти схватила его за руку и ему пришлось посмотреть в ее сторону.

— Умоляю, найдите его для меня!

Он поцеловал ее в щеку.

— Я сделаю все, что в человеческих силах.

Все, что в человеческих силах. Боже мой, с какой стати он выбрал именно эту формулу?

Он заспелпил прочь от дома Уиллисов.

Хриплый вдох и тяжкий выдох, опять хриплый вдох и тяжкий выдох, астматический судорожный вдох и пилящий выдох. Неужели кто-то умирает в темноте? Слава богу, нет.

Просто за живой изгородью невидимая миссис Гудбоди так поздно все еще занята работой — выставив костлявые локти, орудует своей пушкой-распылителем. Чем ближе Фортнем приближался к дому, тем больше его окутывал одуряюще-сладкий запах средства по борьбе с насекомыми.

— Миссис Гудбоди! Все трудитесь?

Из-за темной живой стены донеслось:

— Да, черт возьми. Будто мало нам было тли, водяных клопов, личинок древоточца! Теперь припожаловали *Marasmus oreades*. Растут как из пушки.

— Любопытное выражение.

— Теперь или я, или эти *Marasmus oreades*. Я им спуску не дам, я им задам жару! Изничтожу! Вот вам, гадам, вот!

Он миновал живую изгородь, чахоточную помпу и визгливый голос. У дома его поджидала жена. Фортнему почудилось, что он прошел через зеркало: от одной женщины, провожавшей на крыльце, к другой — на крыльце встречающей.

Фортнем уже открыл рот доложить о происходящем, но тут заметил движение внутри, в холле. Шаги, скрип досок. Поворот дверной ручки.

Это сын в очередной раз скрылся в подвале.

Будто бомба разорвалась перед Фортнемом. Голова пошла крутом. Все было цепляюще знакомо, словно въяве сбывался старый сон и каждое предстоящее движение тебе заранее известно, как и каждое слово, которое еще не сошло с губ говорящего.

Он поймал себя на том, что тупо смотрит через холл на дверь подвала. Вконец озадаченная Синтия потянула мужа за рукав и втащила в дом.

— У тебя такой взгляд из-за Тома? Да я уже смирилась. Он принимает эти чертовы грибы так близко к сердцу. А впрочем, им несколько не повредило то, что он швырнул их с лестницы вниз. Шлепнулись на земляной пол и растут себе дальше...

— Растут, значит? — пробормотал Фортнем, думая о своем. Синтия тронула его за рукав:

— Как насчет Роджера?

— Он действительно пропал.

— Мужчины, мужчины, мужчины...

— Нет, ты не права, я виделся с Роджером почти ежедневно на протяжении последних десяти лет. Когда столько общался, видишь человека насквозь и можешь с точностью сказать, как у него дома — тип и гладь или ад крошечный. До сих пор он не ощутил дыхания смерти в затылок; он не паниковал и не пытался, выпучив глаза, гоняться за вечной юностью, срывая персики в чужих садах. Нет-нет, могу поклясться, могу поставить на спор все до последнего доллара, что Роджер...

За их спинами раздался звонок. Это посыльный с почты неслышно взойшел на крыльцо и ждал с телеграммой в руке, когда ему откроют дверь.

— Дом Фортнемов?

Синтия послешно включила люстру в прихожей, а Фортнем стремительно разорвал конверт, разгладил бумажку и прочел:

НАПРАВЛЯЮСЬ НОВЫЙ ОРЛЕАН. ЭТА ТЕЛЕГРАММА ВОЗМОЖНО НЕОЖИДАННОСТЬ. ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ, ПОВТОРЯЮ, ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ПАКЕТОВ СРОЧНОЙ ДОСТАВКИ. РОДЖЕР.

Синтия растерянно спросила:

— Ничего не понимаю. Что это все значит?

Но Фортнем уже бросился к телефону и спешно набирал короткий номер.

— Девушка! Мне срочно полицию!

В десять пятьдесят телефон зазвонил уже в шестой раз за вечер. Фортнем снял трубку и задохнулся от волнения:

— Роджер! Ты откуда звонишь?

— Где я, черт возьми? — передразнивающим тоном отозвался Роджер. — Ты прекрасно знаешь, где я, и ты в ответе за это. Мне бы стоило разозлиться на тебя!

Фортнем энергичным кивком показал жене на кухню, и Синтия кинулась со всех ног туда — снять трубку второго телефонного аппарата. Как только раздался тихий щелчок, Фортнем продолжил:

— Роджер, клянусь тебе, я понятия не имею, где ты находишься. Я получил от тебя телеграмму...

— Какую телеграмму? — игриво осведомился Роджер. — Я никаких телеграмм не посылал. Я спокойно сел себе на юг в поезде. Вдруг на станции вваливается полиция, хватает меня и норовит снять с поезда, и вот я звоню тебе из полицейского участка на вокзале защитного городка, чтобы эти обалдуи наконец оставили меня в покое. Хью, если ты подобным образом шутишь...

— Послушай, Роджер, ведь ты просто взял и исчез!

— Какое там исчез! Обычная деловая поездка. Я и Дороти предупреждал, и Джо говорил.

— Все это очень запутанно, Роджер. Ты, случаем, не в опасности? Может, кто-то тебе угрожает? То, что ты говоришь, ты говоришь добровольно?

— Я жив, здоров, свободен, и никто меня не запутывает.

— Но где именно ты находишься?

— Дурацкий разговор! Слушай, я на тебя не дуюсь за твою глупую выходку — чего тебе еще?

— Я рад, Роджер...

— Тогда будь пайной и позволь мне съездить дальше по моим делам. Позвони Дороти и скажи, что я вернусь через пять дней. Ума не приложу, как она могла забыть!

— А вот забыла. Так, значит, Роджер, увидимся через пять дней?

— Через пять дней, обещаю.

Столько спокойной уверенности и теплоты в голосе — словно вернулся Роджер былых дней. Фортнем ошумело тряхнул головой.

— Роджер, — сказал он, — последний день был самым безумным в моей жизни. Так ты, значит, не убежал от своей Дороти? Уж мне-то, черт возьми, ты можешь сказать правду!

— Я люблю ее всем сердцем. А теперь передаю трубку лейтенанту Паркеру из риджтаунской полиции. До свидания, Хью.

— До сви...

Но в трубке уже гудел раздраженный голос лейтенанта. Кто позволил мистеру Фортнему навязать такие хлопоты полиции? Что происходит? Что вы себе позволяете, мистер Фортнем? За кого вы себя принимаете? Что делать с вашим так называемым другом — отпускать или упрятать в кутузку?

— Отпустите его,— бросил Фортнем куда-то в середину этого потока ругательств и повесил трубку. Его воображению представилось, как в двухстах милях южнее на вокзальном перроне гремит грозное «Посадка закончена» и громоздкий поезд с грохотом устремляется вперед сквозь черную-пречерную ночь.

Синтия неспешно вернулась в гостиную.

— Чувствую себя полной дурой,— сказала она.

— А я себя кретином.

— Тогда кто же послал ту телеграмму и зачем?

Фортнем налил себе виски и застыл в центре комнаты, разглядывая содержимое стакана.

— Я искренне рада, что с Роджером все в порядке,— наконец прервала молчание его жена.

— С ним не все в порядке,— сказал Фортнем.

— Но ведь ты только говорил...

— Ничего я не говорил. А что мы, в сущности, могли сделать? Настоять на том, чтобы его сняли с поезда и в наручниках доставили домой? И это притом, что он твердит, будто с ним полный порядок? Дело обстоит иначе. Телеграмму он отослал, да только потом решил все иначе. Знать бы почему! Почему? — Фортнем ходил по комнате из угла в угол, временами отпивая из стакана.— Чего ради он предостерегал нас против срочной доставки? Единственная вещь, которую мы получили срочной доставкой на протяжении целого года,— это пакет для Тома — тот, что доставили сегодня утром...

На последних слогах его голос начал спотыкаться.

Синтия первой бросилась к корзинке для мусора и выхватила оттуда измятую бумагу, в которую был упакован пакет с грибами.

Обратным адресом значился Новый Орлеан, штат Луизиана.

Синтия подняла глаза от бумаги:

— Новый Орлеан. Ведь именно туда и направляется Роджер в данный момент?

В сознании Фортнема звякнула дверная ручка, дверь открылась и с хлопком закрылась. Другая дверная ручка в другом доме звякнула, дверь открылась и с хлопком закрылась. И в ноздри ударил запах свежеразрытой земли.

Через секунду он уже набирал телефонный номер. Прошло мучительно много времени, прежде чем на другом конце провода раздался голос Дороти Уиллис. Он представил себе, как она сидит в своем страшно опустевшем доме, где во всех комнатах горит ненужный свет.

Фортнем быстро и спокойно изложил ей свой разговор с Роджером, после чего замялся, откашлялся и сказал:

— Дороти, я понимаю, что задаю дурацкий вопрос. Но ответь мне: за последние несколько дней вы получали что-нибудь с почты — срочной доставкой на дом?

— Нет, не получали,— устало отозвалась она. Потом вдруг встрепелась: — А впрочем, погоди. Три дня назад. Но я была уверена, что вы в курсе! Все мальчишки в округе помешаны на этом увлечении.

Фортнем теперь взвешивал каждое свое слово.

— Помешаны на чем? — спросил он.

— Странный допрос,— сказала Дороти.— Что может быть плохого в выращивании съедобных грибов?

Фортнем закрыл глаза.

— Хью, вы меня слушаете? Я сказала: что может быть плохого...

— ...в выращивании съедобных грибов? — наконец откашлянулся Фортнем.— Разумеется, ничего плохого. Совершенно ничего. Абсолютно ничего.

И он медленно-медленно повесил трубку.

Легкие занавески колыхались, словно сотканые из лунного света. Тикали часы. Глубокая ночь заполняла собой каждый уголок спальни. А Фортнему вдруг вспомнился звонкий голос миссис Гудбоди, прорезающий утреннюю благодать — миллион лет назад. Он вспомнил и Роджера, когда тот в полдень навел тучу на солнце в ясном небе. Потом в ушах зазвучал лающий голос полицейского, костерившего его по телефону из далекого южного штата. А потом вернулся голос Роджера, и в ушах застучали колесами поезда, уносящий друга далеко-далеко. Стук колес медленно затихал, пока в сознании не всплыл диалог с невидимой миссис Гудбоди, работающей где-то за живой изгородью:

— Растут как из пушки.

— Любопытное выражение.

— Теперь или я, или эти *Marasmius oreades*.

Фортнем открыл глаза и проворно вскочил с постели.

Через несколько мгновений он уже был внизу и листал энциклопедию.

Найдя нужное, он подчеркнул ногтем то, что его интересовало:

«*Marasmius oreades* — разновидность съедобных грибов, обычно произрастающих на газонах летом или ранней осенью...»

Захлопнув книгу, он вышел на крыльцо и закурил.

Пока Фортнем безмятежно покуривал, небо прочертила падающая звезда. Деревья тихо шептались.

Дверь дома распахнулась. На пороге стояла Синтия в ночной рубашке:

— Не спится?

— По-моему, слишком душно.

— Да вроде бы нет.

— Ты права, — сказал он и почувствовал, как зябко рукам. — Можно сказать, даже холодно. — Он затыкнул пару раз, потом сказал, не глядя на жену: — Синтия, а что, если... — Он хмыкнул, замялся. — Ну, словом, что, если Роджер был прав вчерашним утром? И что, если миссис Гудбоди тоже права? И вдруг в данный момент действительно происходит нечто ужасное? К примеру... — тут он кивком указал на небо, усеянное миллионами звезд, — к примеру, как раз сейчас Землю завоевывают пришельцы из иных миров.

— Хью...

— Нет, дай поиграть моему воображению.

— Совершенно очевидно, что нас никто не завоевывает. Мы бы заметили.

— Сформулируем это так: мы заметили нечто лишь интуитивно, мы смутно беспокоились. Если что-то происходит, то где и как? Откуда опасность и каким способом нас завоевывают?

Синтия посмотрела на звезды и хотела что-то сказать, но муж опередил ее мысль:

-- Нет-нет, я не имею в виду метеориты и летающие тарелки — они бросаются в глаза. Как насчет бактерий? Они ведь тоже могут явиться из космоса, не правда ли?

— Я что-то читала о подобном.

— Быть может, чужие споры, семена, пыльца и вирусы в огромных количествах ежесекундно таранят нашу атмосферу на протяжении миллионов лет. Возможно, прямо сейчас мы стоим под невидимым дождем. И этот дождь идет над всей страной, над городами и городками, над полями и лесами. Над нашим газоном тоже.

— Над нашим газоном?

— А также и над газоном миссис Гудбоди. Однако люди ее типа постоянно истребляют сорняки и паразитов в своем саду — выкалывают бурьян, распыляют инсектициды. В городах, с их ядовитой атмосферой, пришельцам тоже не выжить. Есть зоны неблагоприятного климата. Наилучшие погодные условия скорее всего на юге: в Алабаме, Джорджии и Луизиане. В тамошних топях и при такой жаре пришельцы будут расти как на дрожжах.

Синтия рассмеялась:

— Уж не к тому ли ты клонишь, что ботанический сад в Грейт-Байю, который специализируется на выращивании новых видов, на самом деле находится под управлением двухметровых грибов с другой планеты и что посылаку Тому прислали именно они?

— Твоя версия выглядит забавной.

— Забавной? Да можно со смеха лопнуть!

Синтия весело закинула назад свою красивую головку.

Фортнем вдруг рассердился:

— Боже правый! Что-то происходит, это очевидно! Миссис Гудбоди истребляет этих *Marasmius oreades*. А что такое *Marasmius oreades*? Грибы-вредители. Грибы-убийцы. И вот, в самый разгар войны миссис Гудбоди с *Marasmius oreades* почтовый курьер приносит в наш дом что? Грибы для Тома. Что еще происходит? Роджер высказывает опасения за свою жизнь! Не проходит и нескольких часов, как он исчезает. И присылает нам телеграмму — какого содержания? Избегайте того, что приносит почтовый курьер! То есть не берите грибы для Тома! Значит

ли это, что у Роджера есть какие-то основания предупреждать, потому что его собственный сын уже получил подобный пакет и нечто произошло? Да, несколько дней назад Джо получил пакет с грибами. Откуда? Из Нового Орлеана. А куда исчез Роджер? Он едет в Новый Орлеан! Синтия, это же так очевидно! Неужели ты все еще не понимаешь? Я был бы только счастлив, окажись все эти факты совершенно не связаны друг с другом. На самом же деле образуется недвусмысленная цепочка: Роджер, Том, Джо, грибы, миссис Гудбоди, бандероли, обратный адрес!

Жена пристально смотрела на него — без прежнего веселья, но и не до конца серьезно:

— Только не лезь в бутылку.

— А я совершенно спокоен! — чуть ли не выкрикнул Фортнем. Однако через секунду взял себя в руки. В противном случае оставалось только расхохотаться или заплакать. А ему хотелось хладнокровно оценить ситуацию.

Он обводил взглядом окрестные дома и думал, что в каждом из них есть подвал. Все соседские мальчишки, читающие «Популярную механику», шлют деньги в Новый Орлеан и населяют подвалы грибами. Естественный энтузиазм мальчишек. Он и сам подростком получал по почте всякие химикалии для опытов, семена, черепашек, разные мази от прыщей и прочую ерунду. Так во скольких американских домах сегодня ночью разрастаются гигантские грибы благодаря стараниям невинных детских душ?

— Хью! — Жена тронула его за рукав. — Грибы, даже гигантские, не способны мыслить, двигаться, у них нет рук и ног. Как они могут распоряжаться почтовой службой доставки и «завладеть миром»? Будь серьезен, взгляни трезвым взглядом на этих якобы страшных завоевателей, врагов рода человеческого! А давай-ка просто посмотрим на них!

Она потянула его за собой в дом. Когда Синтия повела его через холл к двери в подвал, Фортнем решительно уперся. Он замотал головой и сказал с глуповатой ухмылкой:

— Нет-нет, я прекрасно знаю, что мы там найдем. Ты победила. Вся эта история — чужья собачья. Роджер вернется на следующей неделе — мы с ним опрокинем по стаканчику и по-

смеемся над собой. Ты иди спать наверх, а я выпью молока и приду через пару минут.

— Так-то лучше!

Синтия крепко обняла мужа, поцеловала его в обе щеки и взбежала вверх по лестнице.

В кухне Фортнем взял стакан, открыл холодильник, достал бутылку молока и вдруг застыл на месте.

Его взгляд приковала желтая мисочка на верхней полке холодильника. Не сама мисочка, а ее содержимое.

Свежесрезанные грибы.

Он стоял с вытаращенными глазами по меньшей мере полминуты, выдыхая облачка пара. Потом взял желтую мисочку, принялся к ней, потрогал пальцем грибы и вышел с ней из кухни в холл. Он посмотрел вверх вдоль лестницы. Где-то там, укладываясь спать, скрипела кровать Синтия. Фортнем собрался было крикнуть: «Синтия, ты зачем поставила грибы в холодильник?» — но осекся. Ответ он знал. Она их туда не ставила.

Поставив мисочку с грибами на плоский верх балясины перил в самом начале лестницы, Фортнем задумчиво разглядывал ее содержимое. Он представил себе, как он поднимается в свою спальню, открывает окна, любителю лунным светом на потолке. И в его воображении проигрался последующий диалог:

— Синтия?

— Да, дорогой.

— Синтия, у них есть способ получить руки и ноги.

— Что-что? Ты опять за свои глупости?

Тогда он соберет все свое мужество, ввиду ее неизбежного гомерического смеха, и скажет:

— А что, если человек, бредущий по болоту, возьмет и съест такой вот гриб...

Синтия только фыркнет и ничего не скажет.

— Но ведь если гриб попадет внутрь человека, ему ничего не стоит через кровь завладеть каждой человеческой клеткой и превратить человека — в кого? В марсианина? Если принять версию с поеданием, то грибам не нужны руки-ноги. Они проникают в людей и одааживают их конечности. Они живут в людях, и люди становятся грибами. Роджер отведал грибов, выра-

ценных сыном. И Роджер стал «чем-то другим». Он сам себя похитил, когда направился в Новый Орлеан. В короткую минуту просвещения он дал нам телеграмму и предостерег против этих грибов. Тот Роджер, который позже звонил из полицейского участка, был уже другой Роджер, пленник того, что он имел несчастье съесть. Синтия, ведь все части головоломки сопадают. Неужели ты и теперь не согласишься?

— Нет,— отвечала Синтия из воображаемого разговора,— нет и нет, ничто не совпадает, нет и нет...

Из подвала вдруг донесся какой-то звук — не то слабый шепот, не то едва слышный шорох. С трудом оторвав взгляд от грибов в миске, Фортнем подошел к двери в подвал и приложил к ней ухо.

— Том? — окликнул он.

Нет ответа.

— Том, ты внизу?

Нет ответа.

— Том!!!

Спустя вечность голос Тома отозвался из глубины:

— Что, папа?

— Уже далеко за полночь,— сказал Фортнем, следя за своим голосом, пытаясь подавить волнение.— Что ты делаешь там, внизу?

Молчание.

— Я спросил...

— Ухаживаю за грибами,— не сразу ответил сын. Его тихий голос звучал как чужой.

— Ладно, давай оттуда. Вылезай! Ты меня слышишь?

Молчание.

— Том! Послушай, это ты положила грибы в холодильник сегодня вечером? Если да, то зачем?

Секунда десять прошло, прежде чем мальчик снизу отозвался:

— Конечно. Хотел, чтобы вы с мамой попробовали.

Фортнем чувствовал, как бешено колотится его сердце. Пришлось три раза глубоко вдохнуть — без этого невозможно было продолжить разговор.

— Том! А ты... ты, часом, сам не попробовал эти грибы? Ты их не пробовал, а?

— Странный вопрос. Разумеется. Вечером, после ужина. Сделал сандвич с грибами. А почему ты спрашиваешь?

Фортнему пришлось схватиться за ручку двери, чтобы не упасть. Теперь настала его черед молчать. Колени подгибались, голова шла крутом. Он пытался справиться с дурнотой, уговаривал себя, что все это бред, бред, бред. Однако губы не подчинялись ему.

— Папа! — тихонько позвал Том из глубины подвала.— Спускайся сюда.— Очередная пауза.— Хочу, чтоб ты поглядел на мой урожай.

Фортнем ощутил, как ручка двери выскользнула из его вспотевшей ладони и звякнула, возвращаясь в горизонтальное положение. Он судорожно вздохнул.

— Папа, иди сюда! — негромко повторил Том.

Фортнем распахнул дверь.

Перед ним был черный зев подвала.

Фортнем шлепнула пальцами по стене в поисках выключателя.

Том, казалось, угадал его намерение, потому что торопливо сказал:

— Не надо света. Свет вреден для грибов.

Фортнем убрал руку с выключателя.

Он нервно сглотнул. Потом оглянулся на лестницу, которая вела в спальню, к жене. «Надо бы мне сперва подняться наверх,— подумал он,— и попрощаться с женой... Но что за нелепые мысли! Какой вздор лезет в голову! Нет ни малейшей причины... Или все-таки есть?

Конечно же нет».

— Том! — сказал Фортнем нарочито бодрым голосом.— Готов я к этому или нет, но я спускаюсь.

И, захлопнув за собой дверь, он шагнул в непроглядную темноту.



Силач

на шагнула к окну маленькой кухни, выглянула во двор.

На фоне темнеющего неба четко вырисовывалась мускулистая фигура мужчины, одетого в спортивный костюм и теннисные туфли. У ног его разбросаны штанги, гантели, прыгалки, пружинные эспандеры, эластичные шнуры, чернеют чугунные гири всевозможных размеров. Он не сознает, что за ним сейчас наблюдают.

Это ее сын. Все зовут его просто «Силач».

В могучих руках мелькают маленькие пружины, свернутые спиралью.словно иллюзионист в цирке, он заставляет их исчезать и появляться вновь. Сжал пальцы — пропали, ослабил хватку — сверкают по-прежнему, сжал еще раз — и их опять нет...

Силач проделывал этот фокус минут десять, стоя неподвижно как статуя. Потом нагнулся, поднял стофунтовую штангу. Ровно, без натути дыша, поработал с ней, отбросил прочь и отправился в гараж, уставленный досками для серфинга, которые он сам вырезал, склеил, отполировал, покрасил и навоощил. Здесь висела боксерская груша. Силач наносил легкие, быстрые, уверенные удары по упругой коже, пока его кудрявящиеся золотистые волосы не намокли. Тут он остановился, набрал побольше воздуха в легкие, так что мощная грудь стала просто

богатырской, и застыл, закрыв глаза, любуясь собой в каком-то воображаемом зеркале: двести двадцать фунтов напряженных мускулов, загорелых, просоленных морским ветром и собственным потом.

Он медленно выдохнул. Открыл глаза. Направился в дом и пролепел на кухню, даже не взглянув на пожилую женщину, копошащуюся рядом, — его мать. Открыл холодильник, подставил арктическому холоду распаренное тело и, запрокинув голову, стал поглощать молоко прямо из бумажного пакета. Влив в себя целую кварту, наконец сел за стол и принялся разгладывать тыквы, приготовленные к Дню всех святых.

Он опупывал, поглаживал их, словно это были любимые зверьки. Силач купил тыквы днем и успел вырезать уже почти все. Вышло просто отлично: настоящие красотики! Он так гордился своей работой! Сейчас он с увлеченностью ребенка прилепился колдовать над теми, что оставались нетронутыми.

В любом движении — будь то могучее усилие мускулов, выталкивающее доску навстречу набстающей волне, или неуловимо плавный взмах ножа, дарующий зрение безжизненному плоду, — сквозила такая мальчишеская непринужденность, легкость и быстрота, что Силачу никто не дал бы тридцати, хотя именно столько ему уже стукнуло.

Яркий свет лампочки еще больше пзьерошил растрепанные летним ветром волосы, выделил каждую черточку лица, на котором не читалось ничего, кроме всепоглощающей сосредоточенности: Силач вырезал на тыкве глаз. Казалось, в его теле нет ни грамма жира — тугое сжатие мускулов, готовых в любой момент использовать дремлющую энергию.

Мать занималась домальними делами, тихонько переходя из комнаты в комнату. Потом встала в дверях, глядя на сына и разбросанные на столе тыквы. Она улыбалась. Все в нем так знакомо! Каждый вечер слышать глухие удары по груше, доносящиеся со двора, видеть, как он сжимает в руках стальные пружины или, кряхтя, одну за другой поднимает гири и удерживает на странно неподвижных, словно отлитых из стали плечах... Она привыкла ко всему этому, как свыкалась с неумолчным гулом океана, что накатывал на берег за домом и закрывал песок ровным блестящим покрывалом. Теперь приметой их жизни стали

и разговоры сына по телефону, сводившиеся к двум стандартным ответам: девушкам — «сегодня не могу, устал», подвыпившим восемнадцатилетним приятелям — «нет-нет, ребята, нужно полировать машину или тренироваться...»

Мать кашлянула. Силач словно не услышал.

— Понравился обед?

— Ага.

— Пришлось долго выбирать вырезку. Я купила свежей спаржи.

— Все было вкусно, мам.

— Я так рада, что ты остался доволен. Мне всегда приятно, когда обед тебе по вкусу.

— Ага,— отозвался он, не прерывая работы.

— Когда вечеринка?

— В полвосьмого.— Силач закончил вырезать смеющийся рот на последней тычке и выпрямился.— На случай, если заявятся все — может, кто и не придет,— я купил два кувшина сидра.

Он поднялся, выходя из кухни, на мгновение загородил широкими плечами дверной проем. Массивная фигура излучала спокойствие и уверенность. В полутьме спальни проделал потешную пантомиму: казалось, он не натягивает карнавалы костюм, а беззвучно борется с невидимым противником.

Через минуту Силач появился у входа в гостиную с гигантским леденцом в бело-зеленую полоску. Он был облачен в короткие черные штаны, рубашку с рюшами по вороту, наподобие тех, которые носят маленькие мальчишки, и смешную детскую палочку. Лизнул леденец и деланно плаксивым голосом объявил:

— Я злой непослушный мальчишка!

Сладившая за каждым движением сына, мать звонко рассмелась. Под этот аккомпанемент он прошелся по комнате, старательно подражая походке малыша, держа во рту леденец и притворяясь, будто ведет на поводке большую собаку.

— Ты сегодня будешь лучше всех! — объявила мать, раскрасневшаяся от хохота. Он тоже стал смеяться.

Зазвонил телефон.

Изображая ребенка, только начинающего ходить, Силач проковыляла в спальню. Разговор получился долгим; несколько

раз доносилось: «Вот дела-то», а когда все такой же невозмутимый на первый взгляд Силач вернулся, лицо его выражало упрямую непреклонность.

— Что случилось? — забеспокоилась она.

— А, половина ребят не придет. Они договорились с другими. Это Томми звонил. У него свидание с какой-то девочкой. Черт, надо же!

— И без них народу хватит,— отозвалась мать.

— Ну, не знаю...

— Все пройдет нормально. Поезжай, сынок.

— Лучше бы я выкинул тыквы на помойку,— хмурясь, проговорил Силач.

— Ничего, отправляйся туда и повеселись хорошенько. Ты уже которую неделю пикуда не выходишь.

Молчание.

Он застыл в дверях, вертя в широкой ладони гигантский, с голову, леденец. Кажется, Силач готов забыть о вечеринке и приступить к обычным вечерним занятиям. Иногда он, не щадя себя, отжимался, иногда играл сам с собой на заднем дворе в баскетбол и даже вел счет: белые против черных, поединки равных команд... Бывало, замрет на месте, вот как сейчас, а потом глядишь — нет его, исчез, и через несколько мгновений замечая, что он уже далеко от берега, плывет бесшумно как тюлень, рассекая воду сильными взмахами рук, освещенный сиянием полной луны. Если же только звезды нависают над землей, разглядеть его невозможно, лишь время от времени раздастся тихий всплеск, когда он ныряет и долго остается под водой. Часто Силач уносился далеко в океан на своей доске для серфинга, отчищенной наждачной бумагой так, что была она гладкой и шелковистой, точно девичья кожа. А когда возвращался, оседлав распахнувшую белую пасть волну, несущую его к берегу, огромный, одинокий, как песчинка в бескрайних просторах, когда соскакивал с зарывшейся в песок доски, то походил на пришельца из другого мира. Он обычно долго стоял потом, озаренный луной, держа отполированный до блеска кусок дерева, почему-то напоминающий надгробье без надписи.

За всю свою жизнь Силач пожертвовал лишь тремя такими вечерами ради девушки. Все началось и закончилось за неделю.

Она любила поехать и при встрече всегда говорила одно и то же: «Пойдем заморим червячка», так что во время последнего свидания он подвез ее к ресторану, открыл дверцу машины, помог выйти, забрался внутрь, произнес: «Вот здесь можно заморить червячка. Пока!» — и уехал. Вернулся к привычной жизни, дальним ночным заездам и одиночеству. Много лет спустя другая его знакомая опоздала на полчаса, потому что слишком долго собиралась, и с тех пор он с ней не разговаривал.

Перебирая все это в памяти, мать смотрела на сына.

— Не стой здесь, — вдруг нервно произнесла она. — Ты мне действуешь на нервы.

— Вот еще... — пробурчал он обиженно.

— Слышишь, что я сказала! — Но даже ей самой стало ясно, что ссраитого окрика не вышло. То ли голос у нее от природы такой слабый, то ли она в глубине души просто не желала разговаривать с сыном в повышенном тоне. Так можно ссотовать на ранний приход зимы: от каждого слова веет холодом одиночества. И вновь беспомощно, бессильно: — Слышишь, что я сказала...

Он отправился на кухню.

— Я так думаю, многие ребята все-таки придут.

— Конечно придут, — с лукавностью откликнулась мать, и на лицо мгновенно вернулась улыбка.

Да, улыбка никогда не покидает ее надолго. Часто после бесконечных разговоров с сыном по вечерам мать словно поднимала вместе с ним тяжеленные гири. Когда он расхаживал по комнатам, ноги ныли у нее. А если Силач сидел, погруженный в раздумья, а это бывало нередко, она искала способ отвлечься от мрачных мыслей и частенько сжигала тосты или портила бифштекс...

Она коротко, негромко рассмеялась и сразу оборвала себя — так фальшиво получилось.

— Езжай, сынок, повеселись.

Но звуки эхом разнеслись по дому, словно здесь уже стало пусто, холодно и надо ждать, когда он войдет и тепло вернется.

Губы шевелились будто сами по себе.

— Ну, лети! Лети...

Он подхватил сидр и тыквы, быстро отнес в машину. Та оставалась такой же новенькой и блестящей, что и год назад, ведь ею совсем не пользовались. Силач постоянно полировал ее, копаясь в моторе, целыми часами лежал под автомобилем, подкручивая разные железки, или, развалясь на переднем сиденье, листал статьи о здоровье и развитии мускулатуры, но ездил редко. Гордо укладывая плоды своего труда на переднее сиденье, он уже предвкушал возможность как следует повеселиться и, подавившись настроению, изобразил неуклюжего, нелепо семенящего мальчугана, который вот-вот все уронит. Мать привычно засмеялась.

Силач лизнул нелепый леденец, вскочил в кабину. Дал задний ход, съехал с посыпанной гравием дорожки, развернулся и, не посмотрев на стоящую во дворе женщину, помчался вдоль берега вперед.

Она замерла, провожая глазами удалявшуюся машину. Леонард. Леонард, сыночек.

На часах пятнадцать минут восьмого. Было уже совсем темно. Дети, нарядившись привидениями, с криками носились по тротуарам, облаченные в развевающиеся на ветру простыни и маски, звонили в двери; раздувшиеся бумажные пакеты били их по коленкам.

Леонард!

Никто никогда не называл его так. Силач или Сэмми (уменьшительное от Самсона), Крутой, Геркулес, Атлас, но Леонард — никогда... На пляже его вечно окружали старшеклассники: уважительно щупали бицепсы, испытывали силу, восхищались и любовались так, словно перед ними был не человек, а новый спортивный автомобиль. А он горделиво шагал в сопровождении своей свиты.

Так повторялось из года в год. Глядевшие на него снизу вверх восемнадцатилетние становились девятнадцатилетними и приходили уже не так часто, отпраздновав двадцатилетие, появлялись совсем редко, а потом пропадали навсегда. Но на смену им неизменно приходило следующее поколение восемнадцатилетних; да, всегда появлялись новые ребята, готовые так же толпиться вокруг своего кумира на солнечном пляже. Ну а их

повзрослевшие предшественники с той же неизменностью уходили куда-то, увлеченные чем-то или кем-то другим...

Леонард, мой хороший, славный мальчик!.. По субботам мы ходим в кино. Он весь день работает без напарников на высоковольтных линиях, ночью спит один в своей комнате и никогда не читает книг или газет, не слушает радио, не ставит пластинки, а в нынешнем году ему исполнится тридцать один. Когда, в какой момент произошло то, что обрекло его на такую жизнь — одиночество на работе днем, тренировки в одиночестве по вечерам? Конечно, в его жизни были женщины. Они появлялись время от времени, от случая к случаю... Маленькие, тщедушные и на редкость невзрачные все до единой, к тому же наверняка глупые, но это все-таки женщины, вернее, девушки! Впрочем, если мальчику уже за тридцать...

Мать вздохнула. Ну вот, скажем, вчера звонил телефон. Подошел Силач, но она могла легко угадать содержание беседы, потому что за последние двадцать лет слышала тысячи подобных разговоров.

Женский голос:

— Сэмми, это Кристина. Чем занимаешься?

Он сразу насторожился: короткие золотистые ресницы затрепетали, лоб прорезали морщинки.

— А что?

— Мы с Томом и Лу идем в кино, хочешь с нами?

— Если б еще что-то стоящее...

Она назвала фильм.

— Да ну! — Он презрительно фыркнул.

— А что, хорошая картина!

— Ничего хорошего. К тому же я еще не брился...

— Ну, пяти минут тебе хватит.

— Надо принять ванну, а это долгое дело...

Да, действительно долгое, подумала мать. Например, сегодня он мылся два часа. Причесывался раз двадцать, ерошил волосы и снова терзал их расческой, постоянно разговаривая с собой.

Женский голос в трубке:

— Ладно, как хочешь. Собираешься на пляж на этой неделе?

— В субботу.

— Значит, увидимся на пляже?

Он, скороговоркой:

— Ох нет, извини, в воскресенье.

— Хорошо, перенесем на воскресенье.

Он, еще быстрее:

— Если получится. Понимаешь, что-то не в порядке с машиной...

Она, холодно:

— Ясно... Ну пока, Самсон.

Он еще долго стоял, сжимая трубку.

Ладно, что там вспоминать. Сейчас-то мальчику весело... Вечеринка в полном разгаре, он привез с собой сидр и яблоки, целую уйму обычных яблок и тех, что на веревочках, чтобы вылавливать из воды, а еще конфеты, сладкие кукурузные — съел их и вспомнил осень. Он бегает там со своим леденцом, похожий на озорного малыша, и все кричат, дуют в рожки, смеются, танцуют...

В восемь, в поддевотого и еще через полчаса она открывала затянутую сеткой дверь и выглядывала на улицу, почти убедив себя, что слышит шум вечеринки, бодряще-неистовые звуки буйного веселья, что подхватил свежий ветер и, промчавшись через все темное побережье, принес сюда. Ей захотелось самой перенестись в маленький домик на пирсе, нависший над волнами, где сейчас рябит в глазах от пестрых маскарадных нарядов, где повсюду сияют безжизненной улыбкой тыквы, такие же непохожие одна на другую, как и люди, где обедаются воздушной кукурузой, выбирают лучший костюм или маску, где...

Раскрасневшаяся от возбуждения, мать стиснула дверную ручку и вдруг обратила внимание, что дети больше не ходят от дома к дому. Праздник закончился — во всяком случае, для соседских ребятишек.

Она прошла к задней двери и оглядела двор.

Всюду царилла какая-то неестественная тишина. Неуютно было здесь без знакомого стука баскетбольного мяча по гравию, размеренного уханья и поскрипывания боксерской груши под градом ударов или негромкого клацанья ручных эспандеров.

Что, если сегодня ее мальчик найдет себе какую-нибудь юбку и просто не вернется, никогда больше не вернется домой? Ни звонка, ни письма, вот как все может обернуться... Ни единого слова. Просто уедет и больше никогда не вернется домой. Что тогда? Что делать тогда?

Нет! Нет там никого подходящего для ее Леонарда. Вообще нигде нет. Есть только наш дом. Только наш дом, и больше ничего.

И все же у нее так сильно забилося сердце, что пришлось присесть.

Дул легкий ветер с моря.

Она включила радио, но ничего не услышала.

Сейчас, подумала мать, им уже нечем заняться, разве что игрой в жмурки. Да, правильно, в жмурки, а потом...

Она ахнула и вскочила со стула.

В окно полыхнула спящий свет.

Из-под колес пулеметной очередью полетел гравий. Машина с ходу затормозила и замерла с включенным мотором. Фары потаски, но мотор продолжал работать. Потом стих, снова взревел, снова стих...

На переднем сиденье она с трудом разглядела неподвижную фигуру. Он сидел в кабине, уставившись прямо перед собой.

— Ты... — Мать не закончила и поспешила к задней двери. Губы сами собой раздвинулись в улыбке, но она стерла ее с лица. Сердце успокоилось и билось ровно. Она деланно нахмурилась.

Он выключил мотор. Вышел из машины и зашвырнул тыквы в мусорный бак. Грохнула крышка.

— Что случилось? Почему ты так рано вернулся?

— Ничего. — Силач протиснулся мимо матери, держа в руках два непчатых кувшина с сидром. Поставил их на раковину.

— Сейчас еще нет и десяти...

— Знаю. — Он ушел в темную спальню и ушелся там.

Мать выждала пять минут. Она всегда так делала. Сыну хочется, чтобы она сама пришла к нему с расспросами, иначе он будет злиться. Поэтому, помедлив немного, она заглянула в комнату.

— Расскажешь, что стряслось?

— А, они просто торчали там и не хотели ничем заняться. Просто топтались без толку, как дураки какие!

— Вот неудача-то.

— Топтались там как тупые, несчастные, безголовые дураки!

— Ох ты, как несладко получилось.

— Я хотел расшевелить их, но они просто топтались на месте без толку. Пришло всего восемь, восемь из двадцати, всего восемь, и только я один в маскарадном костюме. Говорю тебе, один-единственный! Дурачье, какое дурачье...

— И это после всех хлопот...

— Они притащили своих девчонок, и те тоже стояли и ни черта не делали. Никаких там игр, ничего! Некоторые ушли с подружками, — произнес Силач, укрытый темнотой, не глядя на мать. — Ушли на пляж и не вернулись. Вот честное слово! — Он встал и прислонился к стене, такой огромный, нелепый в шутовских коротких штанишках. Наверное, забыл, что на голову еще напялена детская шапочка, и тут внезапно вспомнил, сорвал ее и швырнул на пол. — Я пробовал рассмешить их, играл с лапшевой собачкой и еще всякие штуки делал, но никто и с места не сдвинулся. Я чувствовал себя дураком в этом костюме, ведь я один был такой, все остальные одеты по-нормальному, и только восемь из двадцати, да и те почти все разошлись через полчаса. Пришла Ви. Она тоже хотела увести меня гулять по пляжу. К тому времени я уже разошелся. Здорово разошелся. Нет уж, говорю, спасибо! И вот вернулся. Можешь взять леденец-то. Куда это я его девал? Вылей сидр в раковину или выпей, мне все равно.

Пока он говорил, мать не плевельнула ни одним мускулом. Как только закончил, открыла было рот...

Звонок.

— Если это они, меня нет.

— Лучше все-таки ответь.

Он схватил телефон, сорвал трубку.

— Сэмми? — Отчетливый, громкий, высокий голос. Голос восемнадцатилетки. Силач держал трубку на расстоянии, сердито уставясь на нее. — Это ты, Сэмми?

Он в ответ лишь хмыкнул.

— Боб говорит.— Юноша на другом конце провода заторопился.— Хорошо, что застал тебя! Слушай, как насчет завтрашней игры?

— Какой еще игры?

— Какой игры?! Господи! Ты, наверное, шутишь, да? «Нотр-Дам» против «Футбольного клуба»!

— А-а, футбол...

— Что значит: «А-а, футбол...» Сам же расписывал, подбивал идти, сам говорил...

— Футбол отменяется.— Он уставился перед собой, не замечая ни трубки, ни стоящей поблизости женщины, ни стены.

— Значит, не пойдешь? Силач, без тебя это будет не игра!

— Надо полить газон, вымыть машину...

— Да подождет это все до воскресенья!

— А потом еще вроде бы должен приехать дядя навестить меня. Пока.

Он положил трубку и прошел мимо матери во двор. Укладываясь спать, она слышала, как он там возится.

Силач терзал грушу до трех утра. Три часа, а раньше всегда заканчивал в двенадцать, думала мать, прислушиваясь к глухим ударам.

Через полчаса он вернулся в дом.

Звуки шагов становились все громче, потом внезапно смолкли. Он добрался до ее спальни и стоял у двери.

Силач не шелохнулся. Мать отчетливо слышала его дыхание. Ей почему-то казалось, что на нем по-прежнему детский костюмчик, но убедиться в этом совсем не хотелось.

После долгой паузы дверь медленно открылась.

Он вошел и лег на кровать рядом, не касаясь ее. Она сделала вид, что спит.

Он лежал на спине, неподвижный как труп.

Она не могла его видеть, но почувствовала, как вдруг затряслась кровать, словно он смеялся. Трудно сказать точно, ведь при этом он не издал ни звука.

А потом раздалось мерное поскрипывание маленьких стальных пружин. Они сжимались и распрямлялись в его могучих кулаках. Сжимались — распрямлялись, сжимались — распрямлялись...

Хотелось вскочить и крикнуть, чтобы он бросил эту ужасную лязгающую мерзость, хотелось выбить их из его пальцев!

Но чем он тогда займет руки? Что он будет в них сжимать? Да, чем он займет руки, когда бросит пружины?

Поэтому ей оставалось одно: затаить дыхание, зажмуриться и, напряженно вслушиваясь, молиться про себя: «О Господи, пусть так и будет, пусть он и дальше сжимает свои железные пружины, пусть он их сжимает, пусть не останавливается, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы он не останавливался, пусть не останавливается, пусть...»

А до рассвета было еще далеко.



Карлик

Эйми отрешенно смотрела на небо.

Тихая ночь была такой же жаркой, как и все это лето. Бетонный пирс опустел; гирлянды красных, белых и желтых лампочек светились над деревянным настилом сотней сказочных насекомых. Владельцы карнавальных аттракционов стояли у своих шатров и, словно оплавленные восковые фигуры, безмолвно и слепо разглядывали темноту.

Час назад на пирс пришли два посетителя. Эта единственная пара развлекалась теперь на «американских» горках и с воплями скатывалась в сиявшую огнями ночь, перелетая из одной бездны в другую.

Эйми медленно зашагала к берегу, перебирая пальцами несколько потертых деревянных колец, болтавшихся на ее руке. Она остановилась у билетной будки, за которой начинался «Зеркальный лабиринт». В трех зеркалах, стоявших у входа, мелькнуло ее печальное лицо. Тысячи усталых отражений зашевелились в глубине коридора, заполняя чистый и прохладный полумрак горячими конвульсиями жизни.

Она вошла внутрь и остановилась, задумчиво рассматривая тощую шею Ральфа Бэнгарта. Тот раскладывал пасьянс, покусывая желтыми зубами незажженную сигару. Веселая пара на «американских» горках вновь завопила, скатываясь вниз в очередную пропасть, и Эйми вспомнила, о чем хотела спросить.

— Интересно, что привлекает людей в этих взлетах и падениях?

Помолчав с полминуты, Ральф Бэнгарт вытащил сигару из рта и с усмешкой ответил:

— Многим хочется умереть. «Американские» горки дают им почувствовать смерть.

Он прислушался к слабым винтовочным выстрелам, которые доносились из тира.

— Наш бизнес создан для идиотов и сумасшедших. Взять хотя бы моего карлика. Да ты его видела сотню раз. Он приходит сюда каждую ночь, платит десять центов, а потом тащится через весь лабиринт в комнату Чокнутого Луи. Если бы ты только знала, что он там вытворяет. О боже! На это действительно стоит посмотреть!

— Он такой несчастный, — ответила Эйми. — Наверное, тяжело быть маленьким и некрасивым. Мне его так жалко, Ральф.

— Я мог бы играть на нем, как на аккордеоне.

— Перестань. Над этим не шутят.

— Ладно, не дуйся. — Он игриво шлепнул ее ладонью по бедру. — Ты готова тревожиться даже о тех парнях, которых не знаешь. — Ральф покачал головой и тихо засмеялся. — Кстати, о его секрете. Он еще не в курсе, что я знаю о нем, понимаешь? Поэтому лучше не болтай — иначе парень может обидеться.

— Какая жаркая ночь. — Она нервно провела пальцами по деревянным кольцам на своей руке.

— Не меняй темы, Эйми. Он скоро придет. Ему даже дождь не помеха.

Она отступила на шаг, но Ральф ухватил ее за локоть.

— Чего ты боишься, глупенькая? Неужели тебе не интересно посмотреть на причуды карлика? Тихо, девочка! Кажется, это он.

Ральф повернулся к окну. Тонкая и маленькая волосатая рука положила на билетную полку монету в десять центов. Высокий детский голос попросил один билет, и Эйми, сама того не желая, пригнулась, чтобы посмотреть на странного посетителя.

Карлик бросил на нее испуганный взгляд. Этот черноглазый темноволосый уродец напоминал человека, которого сунули в давяльный пресс, отжали до блеклой кожи, а потом набили

ватой — складку за складкой, страдание за страданием, пока поруганная плоть не превратилась в бесформенную массу с распухшим лицом и широко раскрытыми глазами. И эти глаза, должно быть, не закрывались и в два, и в три, и в четыре часа ночи, несмотря на теплую постель и усталость тела.

Ральф надорвал желтый билет и лениво кивнул:

— Проходите.

Будто испугавшись приближавшейся бури, карлик торопливо поднял воротник черной куртки и вперевадку зашагал по коридору. Десять тысяч смущенных уродцев замелькали в зеркалах, как черные суетливые жуки.

— Быстрее!

Ральф потащил Эйми в темный проход за зеркалами. Она почувствовала его руки на своей талии, а потом перед ней возникла тонкая перегородка с маленьким отверстием для подглядывания.

— Смотри, смотри, — хихикал он. — Только не смейся громко.

Она нерешительно взглянула на него и прижала лицо к стене.

— Ты видишь его? — прошептал Ральф.

Эйми кивнула, стараясь унять гулкие удары сердца. Карлик стоял посреди небольшой голубой комнаты — стоял с закрытыми глазами, предвкушая особый для него момент. Он медленно приоткрыл веки и посмотрел на большое зеркало, ради которого приходил сюда каждую ночь. Отражение заставило его улыбнуться. Он подмигнул ему и сделал несколько пируэтов, величаво поворачиваясь, пригибаясь и медленно пританцовывая.

Зеркало повторяло его движения, удлинняя тонкие руки и делая тело высоким, красивым и стройным. Оно повторяло счастливую улыбку и неуклюжий танец, который позже закончился низким поклоном.

— Каждую ночь одно и то же! — прошептал Ральф. — Забавно, правда?

Она обернулась и молча посмотрела на его тонкий, искривленный в усмешке рот. Не в силах противиться любопытству, Эйми тихо покачала головой и вновь прижалась лицом к пере-

городке. Она затаила дыхание, взглянула в отверстие, и на ее глазах появились слезы.

А Ральф толкал ее в бок и шептал:

— Что он там делает, этот маленький урод?

Через полчаса они сидели в билетной будке и пили кофе. Перед уходом карлик снял шляпу и направился было к окошку, но, увидев Эйми, смутился и зашагал прочь.

— Он что-то хотел сказать.

— Да. И я даже знаю, что именно, — лениво ответил Ральф, затушив сигару. — Парнишка застенчив, как ребенок. Однажды ночью он подошел ко мне и пропищал своим тонким голоском: «Могу поспорить, что эти зеркала очень дорогие». Я сразу смекнул, к чему он ведет, и ответил, что зеркала безумно дорогие. Коротышка думал, что у нас завяжется разговор. Но я больше ничего не сказал, и он отправился домой. А на следующую ночь этот придурок заявил: «Могу поспорить, что такие зеркала стоят по пятьдесят или даже по сто баксов». Представляешь? Я ответил, что так оно и есть, и продолжал раскладывать пасьянс...

— Ральф... — тихо сказала Эйми.

Он взглянул на нее и с удивлением спросил:

— Почему ты так на меня смотришь?

— Ральф, продай ему одно из своих запасных зеркал.

— Слушай, девочка, я же не учу тебя, как вести дела в твоём аттракционе с кольцами.

— А сколько стоят такие зеркала?

— Я достаю их через посредника за тридцать пять баксов.

— Почему же ты не скажешь этому парню, куда он может обратиться за покупкой?

— Эйми, тебе просто не хватает хитрости.

Ральф положил руку на ее колено, но она сердито отодвинулась.

— Даже если я назову ему адрес поставщика, он не станет покупать это зеркало. Ни за что на свете! Пойми, он застенчив, как дитя. Если парень узнает, что я видел его кривляние в комнате Чокнутого Луи, он больше сюда не придет. Ему кажется, что он, как и все другие, бродит по лабиринту и что зеркало не

имеет для него никакого значения. Но это обычный самообман! Карлик появляется здесь только по ночам, когда поток посетителей убывает, и он остается в комнате один. Бог его знает, чем он тешит себя в праздничные дни, когда у нас полным-полно народа. А ты подумай, как сложно ему купить такое зеркало. У него нет друзей, и даже если бы они были, он не осмелился бы просить их о подобной покупке. Чем меньше рост, тем больше гордость. Он ведь и со мной заговорил только потому, что я единственный, кто смыслит в кривых зеркалах. И потом, ты же видела его — он слишком беден, чтобы тратить на такие вещи. В нашем чертовом мире работу найти нелегко, особенно карлику. Наверное, живет на какое-то нищенское пособие, которого едва хватает на еду и парк аттракционов.

— Какая ужасная участь! Мне так его жаль. — Эйми опустила голову, скрывая набежавшие слезы. — Где он живет?

— На Ганджес Армс, в портовом районе. Там комнаты метр на метр — как раз для него. А почему ты спрашиваешь?

— Влюбилась. Мог бы и сам догадаться.

Он усмехнулся, прикусив желтыми зубами незажженную сигару.

— Эйми, Эйми! Вечно ты со своими шуточками...

Теплая ночь переросла в горячее утро, а затем в пылающий полдень. Море казалось голубым покрывалом, усыпанным блестками и крошечным битым стеклом. Эйми шла по многолюдной набережной, прижимая к груди пачку выгоревших на солнце журналов. Свернув на пирс, она подбежала к павильону Бенгарта и, открыв дверь, закричала в жаркую темноту:

— Ральф? Ты здесь? — Ее каблучки застучали по деревянному полу за зеркалами. — Ральф? Это я!

Кто-то вяло зашевелился на раскладушке.

— Эйми?

Ральф сел и включил тусклую лампу на туалетном столике. Протерев полусонные глаза, он покосился на нее и сказал:

— Ты выглядишь как кошка, слопавшая канарейку.

— Я кое-что узнала об этом маленьком человечке.

— О карлике, милая Эйми, об уродливом карлике. Маленькие человечки появляются из наших яичек, а карлики рождаются из glands...

— Ральф! Я только что узнала о нем потрясающую вещь!

— О боже, — пожаловался он своим рукам, словно призывал их в свидетели. — Что за женщина! Я бы и двух центов не дал за какого-то мелкого гаденыша...

— Ральф! — Она раскрыла журнал, и ее глаза засияли. — Он писатель! Подумай только! Писатель!

— Слишком жаркий денек, чтобы думать.

Он снова лег на раскладушку и с игривой улыбкой осмотрел ее фигуру.

— Я прошла сегодня утром по Ганджес-Армс и встретила мистера Грили — знакомого продавца. Он сказал, что мистер Биг* печатает на машинке и днем и ночью.

— У этого карлика такая фамилия?

Ральф начал давиться смехом.

— Рассказы писателей часто связаны с их реальной жизнью, — продолжала Эйми. — Я нашла одну из его историй в прошлогоднем журнале, и знаешь, Ральф, какая мысль пришла мне в голову?

— Отстань. Я хочу спать.

— У этого парня душа огромная как мир; в его воображении есть то, что нам даже и не снилось!

— Почему же он тогда не пишет для больших журналов?

— Наверное, боится или еще не понимает, что это ему по силам. Так всегда бывает — люди не верят в самих себя. Но если он когда-нибудь наберется храбрости, уверяю тебя, его рассказы примут где угодно.

— Так ты думаешь, он богат?

— Вряд ли. Известность приходит медленно, и он сейчас, скорее всего, довольствуется жалкими грошами. Но кто из нас не сидел на мели? Хотя бы немного? А как, должно быть, трудно пробиться в люди, если ты такой маленький и живешь в дешевой однокомнатной конуре...

— Черт! — прорычал Ральф. — Ты говоришь как бабушка Флоренс Найтингейл.

Она полистала журнал и нашла нужную страницу.

— Я прочитаю тебе отрывок из его детективной истории. В ней говорится об оружии и крутых парнях, но рассказ идет

* Большой (англ.).

от лица карлика. Наверное, издатели даже не знали, что автор писал о себе. Ах, Ральф, прощу тебя, не закрывай глаза. Послушай! Это действительно интересно.

И она начала читать вслух:

— «Я карлик. Карлик-убийца. Теперь эти два понятия уже неразделимы. Одно стало причиной другого.

Я убил человека, когда мне исполнился двадцать один год. Он издевался надо мной: останавливал на улице, поднимал на руки, чмокал в лоб и баюкал, напевая “баюшки-баю”. Он тащил меня на рынок, бросал на весы и кричал: “Эй, мясник! Взвесь мне этот жирный кусочек!”

Теперь вы понимаете, почему я погубил свою жизнь и пошел на убийство? И все из-за этого ублюдка, терзавшего мою душу и плоть!

Мои родители были маленькими людьми, но не карликами — вернее, не совсем карликами. Доходы отца позволяли нам жить в собственном доме, похожем на белое свадебное пирожное безе: крохотные комнаты, миниатюрные картины и мебель, камни и янтарь с комарами и мухами — все маленькое, малюсенькое, микроскопическое! Мир гигантов оставался вдалеке, как шум машин за высокой садовой стеной. Мои несчастные мама и папа! Они делали все, что могли, и берегли меня, словно фарфоровую вазу — единственную драгоценность в их муравьином мире, с домиком-ульем, дверцами для жуков и окнами для бабочек. Лишь теперь я понимаю гигантские размеры их психоза. Им казалось, что они будут жить вечно, оберегая меня, как мотылька, под стеклянным козырьком. Но сначала умер отец, а потом сгорел наш дом — это маленькое гнездышко с зеркалами, похожими на почтовые штампы, и шкапами, которые напоминали своими размерами солонку. Мама не успела убежать при пожаре, и я остался один на пепелище родного крова, брошенный в мир чудовищу неудержимым оползнем реальности. Жизнь подхватила меня и закрутила в водовороте событий, унося на самое дно общества, в эту мрачную зияющую пропасть.

Мне потребовался год, чтобы привыкнуть к миру людей: на работу меня не принимали, и казалось, что на всем свете не было места для такого, как я. А потом появился Мучитель... Он на-

цепил мне на голову детский чепчик и закричал своим пьяным друзьям: “Я хочу познакомить вас со своей малышкой!”»

Эйми замолчала и смахнула слезу, бежавшую по щеке. Ее рука дрожала, когда она передавала Ральфу журнал.

— Почитай! Это его жизнь! Это история убийства! Теперь ты понимаешь, что он человек? Маленький и сильный человек!

Ральф отбросил журнал в сторону и лениво прикурил сигару.

— Мне нравятся только вестерны.

— Но ты должен это прочитать. Ему нужен человек, который мог бы поддержать его в такое трудное время. Он настоящий писатель, однако парня надо в этом убедить.

Ральф с усмешкой склонил голову набок:

— И кто же это сделает? Ты и я? Небесные посланники Спасителя?

— Не говори со мной таким тоном!

— А ты тогда пошевели мозгами, черт возьми! Тебе захотелось понянчить его на своей груди, но он уже сыт по горло этой дешевой жалостью. Как только ты появишься у него со слезами и сюжетами, он выставит тебя за дверь, и правильно сделает.

Она задумалась над его словами, стараясь рассмотреть вопрос со всех сторон.

— Не знаю, Ральф. Возможно, ты прав. Но это не только жалость. Хотя он действительно может понять меня как-то неверно, и я должна быть предельно осторожна.

Он встряхнул ее и по-дружески ущипнул за щеку.

— Отстань от него, Эйми, я тебя прошу. Ты ничего не получишь, кроме проблем и неприятностей. Я еще никогда не видел, чтобы ты так заводилась. Давай лучше сделаем себе хороший день: пообедаем, поболтаем немного, прокатимся по побережью до какого-нибудь маленького городка и поужинаем в ресторане с первоклассным шоу. Черт с ним, с этим карнавалом, а? Один хороший день и никаких забот! Я тут припас на такой случай небольшую сумму.

— Понимаешь, он другой,— ответила Эйми, всматриваясь в темноту.— Он такой, какими мы уже никогда не будем — ни ты, ни я, ни остальные на этом пирсе. Как странно, правда? Судьба дала ему тело, которое годится только для карнавальных забав, но он сумел пробиться в люди. А мы получили все,

чтобы не торчать в балаганах, и тем не менее оказались здесь, на этом проклятом пирсе. Иногда мне кажется, что от нас до берега миллионы миль. Мы смеемся над его телом, но у него есть мозги, и он может создавать в своих книгах чудесные миры, которые нам даже не снились.

— Черт, ты даже меня не слушала,— возмутился Ральф, вскакивая с раскладушки.

Она сидела, опустив голову, и ее руки, сложенные на коленях, сотрясала мелкая дрожь. Голос Ральфа казался далеким, как морской прибой.

— Мне не нравится этот взгляд на твоём лице,— произнес он с тяжёлым вздохом.

Эйми медленно открыла кошелек и, вытащив оттуда несколько смятых банкнот, начала их пересчитывать.

— Тридцать пять. Сорок долларов. Наверное, хватит. Я собираюсь позвонить Билли Фаину и попросить его отправить одно из кривых зеркал на Ганджес Армс для мистера Бига.

— Что?

— Ты только подумай, Ральф, как он обрадуется, когда получит это зеркало. Он поставит его в своей комнате и будет пользоваться им, когда захочет. Я могу позвонить по твоему телефону?

— Делай что хочешь. Черт возьми, ты просто рехнулась!

Он повернулся и зашагал по коридору. Чуть позже хлопнула дверь.

Эйми подождала еще несколько секунд, потом подняла трубку и с болезненной медлительностью начала накручивать телефонный диск. Перед последней цифрой она затаила дыхание и, закрыв глаза, представила, как тяжело и грустно живется в этом мире маленьким людям. А как, наверное, приятно получить в подарок большое зеркало — зеркало для твоей комнаты, где ты можешь любоваться своим большим отражением, писать рассказы и не покидать уютных стен до тех пор, пока тебе этого не захочется. Но возможна ли такая чудесная иллюзия на нескольких квадратных метрах жилья? Что она принесет ему: радость или печаль, страдание или помощь? Она смотрела на телефон и мечтательно кивала. По крайней мере, за ним перестанут подсматривать. Ночь за ночью, поднимаясь в три или четыре часа,

он будет танцевать и улыбаться, кланяться и махать себе руками — высокий-высокий, красивый и мужественный в этом сияющем зеркале.

Голос в трубке ответил:

— Билли Фаин слушает.

— О, Билли! — воскликнула она.

И снова ночь опустилась на пирс. Темный океан вздыхал и ворочался, осыпая брызгами деревянный настил. Ральф застыл в своей будке, как восковая фигура. Он навис над картами с открытым ртом, и пирамида окурков у его локтя становилась все больше и больше. Пройдя под паутиной голубых и красных ламп, Эйми улыбнулась и помахала ему рукой. Но он, казалось, не замечал ее приближения. Его холодный взгляд застыл на разложенных картах.

— Привет, Ральф,— сказала она.

— Что нового в делах Амура? — спросил он, поднося ко рту грязный бокал с холодной водой.— Как поживает Чарли Бойер и Гари Грант?

— Посмотри, я купила себе новую шляпку,— улыбаясь, ответила она.— У меня сегодня прекрасное настроение! И знаешь почему? Завтра утром Билли Фаин отправит писателю зеркало! Ты только представь лицо этого парня!

— Я не так силен в воображении.

— Ты дуешься на меня, словно я собираюсь выйти за него замуж.

— А почему бы и нет? Будешь носить его с собой в чемодане. Тебя спросят: «Где твой муж?», а ты откроешь крышку и скажешь: «Вот он, голубчик!» Это как серебряный кларнет. В час раздумий ты будешь вытаскивать его из футляра и, немного поиграв, укладывать назад. Только не забудь поставить туда маленькую коробочку с песком.

— И все равно я чувствую себя прекрасно,— ответила Эйми.

— Твоя благотворительность похожа на пощечину.— Поджав губы, Ральф мрачно посмотрел на карты.— Я знаю, с чего все началось. Ты решила наказать меня за то, что я подсматривал за этим кардиком. Теперь он получит свое зеркало, а я — пинок под зад. Такие, как ты, всегда перебежали мне дорогу, отнимая маленькие радости и лишая жизнь удовольствий.

— Тогда больше не зови меня к себе на выпивку. Терпеть не могу жалобы слабаков!

Ральф тяжело вздохнул и тихо прошептал:

— Ах, Эйми, Эйми. Неужели ты думаешь, что чем-то поможешь этому парню? Он проклят своей судьбой, и ты напрасно убеждаешь себя в обратном. Я знаю, что у тебя на уме. «Пусть меня считают дурой, но мой подарок сделает его счастливым». Верно?

— Я готова на все, если моя глупость принесет кому-то искреннюю радость,— ответила она.

— О боже, избавь меня от таких благодетелей...

— Замолчи! — закричала Эйми и закрыла лицо руками. — Замолчи! Замолчи!

После нескольких минут напряженного безмолвия Ральф отодвинул в сторону запятнанный стакан и поднялся.

— Ты посидишь за меня в будке? Мне надо отлучиться по делам.

— Ладно, иди. Я посижу.

Она увидела, как тысячи холодных отражений замелькали среди зеркал по стеклянным коридорам — тысячи поджатых губ и скрюченных в гневе пальцев. Эйми сидела, вслушиваясь в тиканье старых настенных часов. Внезапно по ее телу пробежала дрожь. Она попыталась успокоиться, раскладывая пасьянс. Но озноб усиливался с каждой минутой. В глубине лабиринта застучал молоток, потом раздались странные протяжные звуки. Она ждала, задыхаясь от страха и наступившей тишины. В освещенном проходе зашевелились ряды отражений. Они возникали и исчезали, подпрыгивали и сгибались, пока Ральф шел среди зеркал, разглядывая ее напуганную фигуру. Когда он подошел к двери, Эйми услышала его тихий смех.

— Что тебя так развеселило? — осторожно спросила она.

— Слушай, милочка,— ответил Ральф,— мы же не хотим поссориться, правда? Значит, завтра мистер Биг получит от Билли большое зеркало?

— Ты решил устроить какую-то пакость?

— О нет! Зачем мне это?

Забрав у нее карты, он вышел из будки. Его лицо сияло от удовольствия; проворные руки быстро тасовали колоду. Оста-

новившись у двери, Эйми смущенно смотрела на отрешенную ухмылку Ральфа. Ее правый глаз начал подергиваться, и она прижала пальцем нижнее веко. Старые часы отмеряли минуты. У стен пирса шумели волны, и воздух казался густым от влажной духоты и низких облаков. Далеко над морем змеились вспышки молний.

— Ральф,— прошептала она.

— Успокойся, Эйми,— ответил он.

— Я о той поездке по побережью, которую ты мне предлагал...

— Можем поехать хоть завтра... или через месяц,— произнес он.— Или через год. Старина Ральф Бэнгарт терпеливый парень. Я ни о чем не тревожусь. Вот, смотри.— Он протянул руку к ее лицу.— Я абсолютно спокоен.

Она подождала, пока над морем не утих раскат грома.

— Прости, если я тебя расстроила. Только не надо делать ничего плохого. Обещай мне это, Ральф.

В лицо пахнуло запахом дождя. Порыв прохладного ветра закружил обрывки карнавальных лент. В будке тикали часы, и Эйми кусала губы, наблюдая за картами, которые мелькали в руках Ральфа. Из тира доносились выстрелы и звон падавших мишеней.

А потом появился он.

Карлик шел по безлюдной набережной, и его маленькое тело раскачивалось из стороны в сторону. В свете уличных фонарей смуглое лицо Бига казалось маской боли, как будто каждое движение требовало от него невероятных усилий. Когда он свернул на пирс, у Эйми забило сердце. Ей хотелось подбежать к нему и закричать: «Это твоя последняя ночь, и больше никто не будет подсматривать за тобой!» Ей хотелось плакать и смеяться; ей хотелось сказать это Ральфу в лицо. Но она промолчала.

— О, кого мы видим! — воскликнул Ральф.— Сегодня вход бесплатный! Специально для старых клиентов!

Карлик взглянул на него снизу вверх, испуганно отступил на шаг, и в его маленьких черных глазах отразилось замешательство. Зашептав слова благодарности, он поднял руку и начал натягивать горлышко свитера на дрожащий подбородок. Дру-

гая рука сжимала серебряную монетку. Осмотревшись по сторонам, он быстро кивнул и вошел в зеркальный коридор. Тысячи перекопанных мукой лиц замелькали на стеклянных стенах лабиринта.

— Ральф,— прошептала Эйми, вцепившись в его локоть.— Что ты задумал?

— Решил поиграть в благотворительность,— с усмешкой ответил он.

— Ральф!

— Тихо! Слушай!

Они замерли в теплой тишине билетной будки, и через пару минут в глубине лабиринта послышался крик.

— Ральф!

— Ты думаешь, это все? — ответил он.— Послушай, что будет дальше!

Раздался еще один крик, за которым последовали горькие рыдания и стремительный топот. Судя по звукам, карлик налетал на зеркала, отскакивал от них и, истерично завывая, метался в тупиках лабиринта. Когда он выскочил в коридор, Эйми отшатнулась, увидев его широко открытый рот и дрожащие щеки, по которым стекали слезы. Мистер Биг пронесся мимо нее в пылавшую молниями ночь и, затравленно осмотревшись, побежал по лирсу.

— Что ты сделал, ублюдок?

Ральф корчился от хохота и хлопал себя ладонями по ляжкам. Она ударила его по щеке.

— Что ты сделал?

Он не мог перестать смеяться.

— Идем. Я все тебе покажу.

Они шли по лабиринту раскаленных добела зеркал, и тысячи пятен ее губной помады казались красными огоньками, сиявшими в серебряной пещере. С обеих сторон мелькали сотни истеричных женщин, за которыми крались хищные фигуры мужчин с искривленными ртами.

— Идем, идем,— шептал он за ее спиной.

Они вошли в небольшую комнату, заполненную запахом пыли.

— О боже! Ральф, что ты наделал?

Это была заветная комната, которую карлик посещал каждую ночь в течение целого года. Он входил сюда, как в святилище, с закрытыми глазами, предвкушая чудесный миг, когда его уродливое тело станет большим и красивым.

Прижимая руки к груди, Эйми медленно подошла к зеркалу.

Оно было другим. Оно превращало людей в крохотных и скорченных чудовищ — даже самых высоких, самых прекрасных людей. И если новое зеркало придавало Эйми такой жалкий и отвратительный облик, что же оно сделало с карликом — этим напуганным маленьким существом?

Она повернулась к Ральфу и с упреком изглянула ему в глаза:

— Зачем? Зачем ты так?

— Эйми! Вернись!

Но она уже бежала мимо зеркал. Из-за жгучих слез ей было трудно найти дорогу, и она почти не помнила, как оказалась на ночном пирсе. Не зная, в какую сторону идти, Эйми остановилась. Ральф схватил ее за плечи и развернул к себе. Он что-то говорил, но его слова походили на бормотание за стеной гостиничного номера. Голос казался далеким и незнакомым.

— Замолчи,— прошептала она.— Я не хочу тебя слушать.

Из тира выбежал мистер Келли.

— Эй, вы не видели тут маленького паренька? Подлец стащил у меня заряженный пистолет. Вырвался прямо из рук! Я вас прошу, помогите мне его найти!

Он побежал дальше, выискивая воришку между брезентовых шатров под гирляндами синих, красных и желтых ламп. Эйми медленно пошла за ним следом.

— Куда ты направилась?

Она посмотрела на Ральфа как на незнакомца, с которым случайно столкнулась в дверях магазина:

— Надо помочь Келли найти этого парня.

— Ты сейчас ни на что не способна.

— И все же я попытаюсь... О господи! Это моя вина! Зачем я звонила Библи Файну? Если бы не зеркало, ты бы так не залился, Ральф! Зачем я покупала это проклятое стекло! Мне надо найти мистера Бига! Найти во что бы то ни стало! Даже если это будет последним делом в моей жалкой и никому не нужной жизни!

Утирая ладонями мокрые щеки, Эйми повернулась к зеркалам, которые стояли у входа в «лабиринт». В одном из них она увидела отражение Ральфа. Из ее груди вырвался крик. Но она продолжала смотреть на зеркало, очарованная тем, что предстало ее глазам.

— Эйми, что с тобой? Куда ты...

Он понял, куда она смотрит, и тоже повернулся к зеркалу. Его глаза испуганно расширились. Ральф нахмурился и сделал шаг вперед.

Из зеркала на него шурился гадкий и противный маленький человечек, не больше двух футов ростом, с бледным и вдавленным внутрь лицом. Безвольно опустив руки, Ральф с ужасом смотрел на самого себя.

Эйми начала медленно отступать назад. Повернувшись на каблуках, она зашагала к набережной, потом не выдержала и перешла на бег. И казалось, что теплый ветер нес ее на своих крыльях по пустому пирсу — навстречу свободе и крупным каплям дождя, которые благословляли это бегство.



Скелет

...колько ни откладывай, а сходить к врачу придется. Мистер Харрис уныло свернул в подъезд и поплелся на второй этаж. «Доктор Берли» — блеснула золотом указывающая вверх стрелка. Увидев знакомого пациента, доктор Берли непременно вздохнет — ну как же, десятилетний визит на протяжении одного года. И чего он, спрашивается, так страдает, ведь за все обследования заплачено.

Сестричка вскинула глаза, весело улыбнулась, подошла на цыпочках к стеклянной двери, чуть ее приоткрыла, сунула голову в кабинет.

— Угадайте, доктор, кто к нам пришел, — прошелестело в ушах Харриса, а затем — ответ, совсем уже еле слышный:

— Господи боже ты мой, неужели опять?

Харрис нервно глотнул.

При виде Харриса доктор Берли недовольно фыркнул.

— И у вас, конечно же, снова боль в костях! — Он нахмурился, чуть поправил очки. — Мой дорогой Харрис, вас прочесали самыми частыми гребешками, какие только известны науке, и не выловили ни одной подозрительной бактерии. Все это — просто нервы. Вот, посмотрим на ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дохните на меня. Слишком много белковой пищи. Посмотрим глаза. Недостаток сна. Мои рекомендации? Брось-

те курить, откажитесь от мяса, побольше спите. С вас десять долларов.

Харрис утробно молчал.

— Вы еще здесь? — снова взглянул на него врач. — Вы — ипохондрик. Теперь с вас одиннадцать долларов.

— А почему же у меня все кости ноют? — спросил Харрис.

— Знаете, как это бывает, если растянешь мышцу? — Доктор Берли говорил спокойно, вразумительно, словно обращаясь к ребенку. — Так и хочется сделать с ней что-нибудь — растереть, размять. И чем больше суетишься, тем хуже. А оставишь ее в покое — и боль быстро исчезнет. Выясняется, что все твои старания не приносили никакой пользы, а наоборот — шли во вред. То же самое сейчас с вами. Оставьте себя в покое. Примите слабительное, поставьте клизму. Отдохните от этого города, прогуляйтесь в Финикс — вы же полгода туда собираетесь, и все кончается пустыми разговорами. Смена обстановки будет вам очень кстати.

Пятью минутами позднее мы находим Харриса в ближайшем магазинчике, перелистывающим телефонную книгу. От этих, вроде Берли, зашоренных идиотов — разве дождешься от них элементарного сочувствия, не говоря уж о помощи? Палец, скользивший по списку «ОСТЕОПАТЫ (СПЕЦИАЛИСТЫ по КОСТЯМ)», остановился на М. Мьюнигане. За фамилией этого Мьюнигана не следовало ни обычного «доктор медицины», ни прочих академических аббревиатур, зато его приемная располагалась очень близко: три квартала вперед, потом один направо...

М. Мьюниган был похож на свой кабинет — такой же темный и маленький, такой же пропахший йодом, йодоформом и прочей непонятной медициной. Зато он слушал Харриса с напряженным вниманием, с живым, заинтересованным блеском в глазах. Сам Мьюниган говорил со странным акцентом — словно и не говорил, а высвистывал каждое слово, наверное — плохие зубные протезы.

Харрис рассказал ему все.

М. Мьюниган понимающе кивнул. Да, он встречался с подобными случаями. Кости человеческого тела. Человек забыва-

ет, что у него есть кости. Да, да — кости. Скелет. Трудный случай, очень трудный. Дело тут в утрате равновесия, в разладе между душой, плотью и скелетом.

— Очень, очень сложно, — негромко присвистывал М. Мьюниган.

Неужели и вправду напелся врач, понимающий мою болезнь? Харрис слушал как завороченный.

— Психология, — сказал М. Мьюниган, — корнями своими все это уходит в психологию.

Он подлез к унылой грязноватой стене и включил подсветку полудюжины рентгеновских снимков; в воздухе повисли прозрачные силуэты бледных тварей, выловленных в пене доисторического прибора. Вот, вот! Скелет, пойманный врасплох! Вот световые портреты костей, длинных и коротких, толстых и тонких. Мистер Харрис должен хорошо осознать стоящие перед ним проблемы, сложность своего положения.

Рука М. Мьюнигана указывала, постукивала, шлепала, поскребывала по бледным туманностям плоти, обволакивающим призраки черепа, позвоночного столба, тазовых костей — известковые образования, кальций, костный мозг, здесь, и здесь — тоже, это, то, эти и те и еще другие! Смотрите!

Харрис зябко поежился. Сквозь рентгеновские снимки в кабинет ворвался зеленый, фосфоресцирующий ветер страны, населенной монстрами Даали и Фузели*.

И снова тихое присвистывание М. Мьюнигана. Не желает ли мистер Харрис, чтобы его кости были... подвергнуты обработке?

— Смотря какой, — сказал Харрис.

Мистер Харрис должен понимать, что М. Мьюниган не сможет ему ничем помочь, если Харрис не будет нужным образом настроен. Психологически пациент должен ощущать необходимость помощи, иначе все усилия врача пойдут впустую. Однако (М. Мьюниган коротко пожал плечами) М. Мьюниган попробует.

* Джон Генрих Фузели (1742–1825) — английский художник, иллюстратор и эссеист.

Харрис лежал на столе с открытым ртом. Освещение в кабинете потухло, все шторы были плотно задернуты. М. Мьюниган приблизился к пациенту.

Легкое прикосновение к языку.

Харрис почувствовал, что из него вырывают челюстные кости. Кости скрипели и негромко потрескивали. Один из скелетов, тускло светившихся на стене, задрожал и подпрыгнул. По Харрису пробежала судорога, он непроизвольно захлопнул рот.

М. Мьюниган громко вскрикнул. Харрис чуть не откусил ему нос! Бесполезно, все бесполезно! Сейчас не тот момент! Легкий шорох, шторы поднялись, М. Мьюниган обернулся, прежний энтузиазм сменился на его лице полным разочарованием. Когда мистер Харрис почувствует психологическую готовность к сотрудничеству, когда мистер Харрис почувствует, что действительно нуждается в помощи и готов полностью довериться М. Мьюнигану, — тогда появятся какие-то шансы на успех. А пока что гонорар составляет всего два доллара; М. Мьюниган протянул маленькую ладошку. Мистер Харрис должен задуматься. Здесь вот схема, пусть мистер Харрис возьмет ее домой и изучит. Схема познакомит мистера Харриса с его телом. Он должен ощущать свое тело, насквозь, до мельчайшей косточки. Он должен хранить бдительность. Скелет — структура очень странная, громоздкая и капризная. Глаза М. Мьюнигана лихорадочно поблескивали.

— И — всего хорошего, мистер Харрис. Да, кстати, не хотите ли хлебную палочку?

М. Мьюниган пододвинул к Харрису банку с длинными, твердыми, круто посоленными хлебными палочками, взял одну из них сам и начал с хрустом грызть. Хорошая вещь — хлебные палочки, очень помогают сохранять... ну... форму. Всего хорошего, мистер Харрис, всего хорошего!

Мистер Харрис пошел домой.

На следующий день, в воскресенье, мистер Харрис обнаружил в своем теле бессчетную тьму новых болей и недомоганий. Он провел все утро за изучением миниатюрной, однако абсолютно четкой и анатомически точной схемы скелета, полученной от М. Мьюнигана.

За обедом Кларисса, супруга мистера Харриса, чуть не довела его до нервного припадка — щелкала суставами своих тонких, удивительно изящных пальчиков, пока мистер Харрис не заткнул уши и не закричал: «Прекрати!»

После обеда он засел у себя в комнате, ни с кем не общаясь. Кларисса и три ее подружки сидели в гостиной, играли в бридж, смеялись и непрерывно тараторили; Харрис тем временем со все возрастающим интересом ощупывал и изучал каждую часть своего тела. Через час он встал и громко крикнул:

— Кларисса!

Кларисса умела не войти, а впорхнуть в комнату; плавные, пританцовывающие движения тела неизменно позволяли ей хоть немножко, хоть на малую долю миллиметра, но все же не касаться ворсинок ковра. Вот и теперь она извинилась перед гостями и весело влетела в комнату мужа.

Харрис сидел в дальнем углу, пристально изучая анатомическую схему.

— Все грустишь, милый, и хмуришься? — Кларисса села ему на колени. — Не надо, пожалуйста, а то мне тоже грустно.

Даже ее красота не смогла вывести мистера Харриса из раздумий. Он покачал на ноге невесомость Клариссы, затем осторожно потрогал ее коленную чашечку. Округлая косточка, укрытая светлой, своим светом светящейся кожей, чуть пошевелилась.

— Это что, — судорожно вздохнул Харрис, — так, что ли, и полагается?

— Что полагается? — звонко расхохоталась Кларисса. — Ты это про мою коленную чашечку?

— Ей что, так и полагается двигаться?

Кларисса удивленно потрогала свое колено.

— Ой, а ведь и правда!

— Хорошо, что твоя тоже ползает, — облегченно сказал Харрис. — А то я уже начинал беспокоиться.

— О чем?

— Да вот и колено, и ребро. — Он похлопал себя по грудной клетке. — Ребра у меня не до самого низа, вот тут они кончаются. А есть и совсем уж странные — не доходят до середины, а так и болтаются в воздухе, ни на чем!

Кларисса ощупала свое тело, чуть пониже груди.

— Ну конечно же, глупенький, здесь они у всех кончаются. А эти коротенькие, смешные — это называется «ложные ребра».

— Вот видишь — ложные. Остается только надеяться, что они не позволят себе никаких фокусов, будут вести себя как самые настоящие.

Шутка получилась предельно неуклюжей. Теперь Харрису страстно хотелось снова остаться в одиночестве. Ведь здесь вот, совсем рядом, только нащупай дрожащими, боязливыми пальцами, лежали дальнейшие открытия, новые, еще более странные археологические находки — и он не хотел, чтобы над ним кто-то смеялся.

— Спасибо, милая, что пришла, — сказал Харрис.

— Кушайте на здоровье.

Маленький носик Клариссы шаловливо потерялся о нос Харриса.

— Подожди! А вот здесь, здесь... — Харрис ощупал сперва свой нос, затем — нос жены. — Ты понимаешь, что тут происходит? Носовая кость доходит только досюда. А все остальное заполнено хрящевой тканью!

— Ну конечно же, милый!

Кларисса смешно сморщила хрящевой носик и выпорхнула из комнаты.

Харрис остался один. Пот быстро переполнял углубления и впадины его лица, неудержимым половодьем заливал щеки.

Он облизнул губы и закрыл глаза. Теперь... теперь... следующим пунктом повестки дня... что? Да, позвоночник.

Харрис прошелся рукой по длинному ряду позвонков, примерно так же, как у себя в кабинете — по многочисленным кнопкам, вызывающим операторов и курьеров. Только сейчас в ответ на осторожные нажимы из скрытых в мозгу дверей вырывались бесчисленные страхи и кошмары. Позвоночник казался до ужаса незнакомым, единственная ассоциация — хрупкие останки только что съеденной рыбы, разбросанные по холодной фарфоровой тарелке. Харрис отчаянно перебирал маленькие, круглые бугорки.

— Господи! Господи!

Зубы Харриса начали выбивать дробь. «Боже милостивый, — думал он, — как же мог я этого не понимать? Все эти годы я существую, имея внутри себя — скелет! Почему все мы считаем себя чем-то само собой разумеющимся? Почему мы не задумываемся о своих телах и своем бытии?»

Скелет. Жесткий, белесый, суставчатый остов. Нелепый подергунчик, связанный из сухих ломких палочек, пародия на человека — отвратительная, с длинными, вечно трясущимися пальцами, с черепом вместо лица, с черными, пустыми, плящимися в никуда глазами. Одна из этих омерзительных штук, которые качаются на цепях в заброшенных, затянутых паутиной чуланах либо отдельными, добела выгоревшими на солнце частями лежат в пустынях вдоль караванных троп.

Зная все это — разве можно спокойно сидеть? Харрис вскочил на ноги. «Вот сейчас внутри меня, — он схватился за живот, затем за голову, — внутри моей головы находится череп. Гнутая костяная коробка, дающая приют электрической медузе моего мозга, надтреснутая скорлупа с дырами, словно пробитыми выстрелом из двустолки! С костяными гротами и пещерами, куда вмещаются и мое осязание, и мой слух, и мое зрение, и все мои мысли. Череп, надежная темница, через крохотные, хрупкие оконца которой мой мозг смотрит на окружающий мир».

Разве можно так жить? Хотелось хищным хорьком метнуться в этот курятник, в гостиную, чтобы мирное квохтанье сменилось истерическим кудахтаньем, чтобы облаком выданных перьев запялсали в воздухе карты... Харрис не двинулся с места, но для этого потребовалось отчаянное, почти непосильное усилие. «Спокойно, спокойно, нужно же держать себя в руках. Да, это — откровение, ты должен смело взглянуть ему в лицо, осознать его и прочувствовать». «Так ведь скелет же! — вопило его подсознание. — Я не могу этого принять, да я просто не могу поверить! Это вульгарно, гротескно, ужасно! Все скелеты — кошмар, они трещат, стучат и дребезжат в древних замках, длинными, лениво раскачивающимися маятниками свисают с почерневших дубовых балок...»

— Милый, иди сюда, я познакомлю тебя с дамами! — Чистый, ясный голос жены доносился не из-за стенки, а с непостижимо огромного расстояния.

Мистер Харрис встал. Скелет удержал его в вертикальном положении! Эта мерзость внутри, этот наглый захватчик, этот несказанный ужас — он поддерживал руки Харриса, его ноги и голову! Ощущение, словно сзади, за спиной, стоит некто, кому там не место. С каждым новым шагом Харрис все четче осознавал безвыходность своего положения, полную свою зависимость от чужеродного Нечто.

— Секунду, милая, я сейчас, — бессильно откликнулся Харрис.

«Брось, возьми себя в руки! — сказал он себе. — Завтра на работу. В пятницу ты должен съездить наконец в Финикс. До Финикса далеко, несколько сотен миль. Ты должен быть в форме, иначе поездка снова отложится, а кто же, кроме тебя, уломяет мистера Креддона инвестировать в твой керамический бизнес? Так что — выше нос!»

Через секунду он находился уже в обществе дам, знакомился с миссис Уидерз, миссис Эбблмэтт и мисс Кеди; все они содержали внутри себя скелеты, но относились к этому на удивление спокойно, ибо милосердная природа придела неприглядную наготу ключиц, бедренных и берцовых костей грудями, икрами и пушистыми бровями, красными, капризно надутыми губками и... «Господи! — беззвучно вскрикнул мистер Харрис. — Всякий раз, когда они смеются, разговаривают или едят, проглядывает часть скелета — зубы! Господи, я никогда об этом не думал!»

— Извините, ради бога, — судорожно выдохнул он и выбежал из гостиной, выбежал как раз вовремя, чтобы донести свой ленч до клумбы с петуниями.

Перед сном, пока Кларисса раздевалась, Харрис сидел на кровати и аккуратно подстригал ногти. Вот еще одно место, где скелет выпирает наружу — не только выпирает, но и яростно, агрессивно растет.

Видимо, он пробормотал нечто подобное вслух — одетая в пеньюар жена села рядом, обняла его за шею, сладко зевнула и сообщила:

— Милый, так ведь ногти — совсем никакие не кости, это просто ороговевшая эпидерма.

Харрис отбросил ножницы.

— А ты точно знаешь? Будем надеяться, что да — так будет уютнее, и будем надеяться... — он обвел взглядом плавные изгибы ее тела, — что все люди устроены одинаково.

— В жизни не видела такого закоренелого ипохондрика. — Кларисса вытянула руку, не подпуская мужа к себе. — Давай, в чем там у тебя дело? Расскажи мамочке все по порядку.

— Внутри, — сказал он, — что-то у меня внутри не так. Съел, наверное, что-нибудь.

Весь следующий рабочий день мистер Харрис изучал со все нарастающим раздражением размеры, формы и устройство различных костей своего тела. В десять утра он захотел пощупать локоть мистера Смита и попросил о том разрешения. Мистер Смит недоверчиво нахмурился, однако возражать не стал. После ленча мистер Харрис захотел потрогать лопатку мисс Лорел. Мисс Лорел мгновенно прижалась к нему спиной, мурлыча, как котенок, и зажмурил глазки.

— А ну-ка прекратите! — резко скомандовал мистер Харрис. — Что это с вами, мисс Лорел?

Оставшись в одиночестве, он начал думать о своем неврозе. Война уже кончилась, так что все эти психические сдвиги связаны, скорее всего, с чрезмерной нагрузкой на работе и неопределенностью будущего. Харрис был очень приличным, даже талантливым керамистом и скульптором. Как только представится такая возможность, он съездит в Аризону, возьмет у мистера Креддона в долг, построит печь для обжига и организует собственную мастерскую. Вот о чем ему нужно беспокоиться, а не о всякой ерунде. Надо же так свихнуться! К счастью, он успел познакомиться с М. Мьюниганом — человеком, готовым помочь и оказать возможную помощь. Только лучше уж он будет бороться сам, не прибегая, без крайней к тому необходимости, к услугам доктора Берли или там Мьюнигана. Чужеродное, непонятное ощущение должно пройти.

Харрис сидел и смотрел в пустоту.

Чужеродное ощущение и не думало проходить, оно усиливалось.

Весь вторник и среду Харриса страшно беспокоило, что его эпидерма, волосы и прочие внешние пристройки являют собой весьма жалкую картину, в то время как обволакиваемый ими скелет представляет собой чистую, точную структуру, организованную с предельной эффективностью. Харрис изучал свое угрюмое, со скорбно поджатыми губами, лицо в зеркале; иногда, благодаря некому фокусу освещения, он почти видел череп, ухмыляющийся из-за завесы плоти.

— Отпусти! — кричал он. — Отпусти меня! Мои легкие! Прекрати!

Харрис судорожно хватал воздух ртом, ребра давили его, не давали дышать.

— Мой мозг! Прекрати сжимать мой мозг!

Ужасающая, невероятная головная боль выжигала из мозга все, подчистую, мысли, как степной пожар — траву.

— Мои внутренние органы — оставь их, ради бога, в покое! Не трогай мое сердце!

Под угрожающими взмахами ребер — бледных паучьих лап, играющих со своей жертвой, — сердце Харриса в ужасе сжималось.

Кларисса ушла на собрание Красного Креста, Харрис лежал на кровати один, насквозь мокрый от пота. Он пытался хоть как-то себя вразумить — но только острее ощущал дисгармонию между грязной, неряшливой внешней оболочкой и невообразимо прекрасной, чистой и холодной вещью, замурованной внутри.

Кожа лица: жирная, с явно уже проступающими морщинами.

А теперь взгляни на белоснежную безупречность черепа.

Нос: великоват, тут уж не поспоришь.

А теперь взгляни на крошечные косточки носа, какой он у черепа, вверху, до того места, где отвратительный носовой хрящ начинает формировать этот идиотский, кособокий хобот.

Тело: толстовато, не правда ли?

И сравни с ним скелет — стройный, худощавый, с экономными, законченными очертаниями, тонкий и безупречный, как

белый богомол. Резная слоновая кость, шедевр какого-нибудь великого восточного мастера.

Глаза: заурядные, невыразительные, по-идиотски вылапленные.

А теперь, будь добр, взгляни на глазницы черепа, такие круглые и глубокие, озера тьмы и спокойствия, всеведущие и вечные. Сколько в них ни глядывайся, взор никогда не отыщет дна их черного понимания. Здесь, в чашах тьмы, кроется вся ирония, и вся жизнь, и все вообще, что есть.

Сравнивай. Сравнивай. Сравнивай.

Этот ужас продолжался часами, скелет же, худощавый, занятый какими-то своими проблемами философа, тихо лежал, как изящное насекомое в грубой куколке, лежал, не говорил ни слова и только ждал, ждал...

Харрис медленно сел.

— Ну-ка, ну-ка, — воскликнул он, — подожди-ка минутку! Так ты же тоже беспомощный. Я тебя тоже припер. Я могу заставить тебя делать все, абсолютно все, чего только душа пожелает. А ты бессилен сопротивляться! Я скажу: ну-ка двинь своим запястьем, своими фалангами, и — алле-гоп! — они поднимаются, двигаются, и вот я махнула кому-нибудь там рукой! — Харрис расхохотался. — Я прикажу берцовым костям и бедром начать периодическое движение, и — правой-левой-три-четыре, правой-левой-три-четыре — мы гуляем вокруг квартала. Вот так вот!

Он помолчал, торжествуя ухмыляясь.

— Так что тут у нас с тобой пятьдесят на пятьдесят. Игра с равными шансами. Только не игра, а борьба, и мы еще поборемся. В конце концов, из нас двоих только я думаю! Да, да, и это — самое главное! Даже будь ты сильнее, все равно думаю я!

Безжалостные челюсти сомкнулись, перекусывая мозг Харриса пополам. Харрис закричал. Кости черепа вонзились поглубже и наполнили мозг бесчисленными кошмарами. Затем, пока Харрис хрипел и стонал, они не спеша обнюхали и сожрали эти кошмары, один за другим, вплоть до самого последнего, и тогда все померкло...

В конце недели он снова отложил поездку в Финикс — по состоянию здоровья. Опустив монетку в уличные весы, он увидел, как медлительная красная стрелка остановилась на цифрах 165.

Харрис чуть не взвыл. «Сколько уже лет я вешу сто семьдесят пять фунтов. Ну не мог же я так вот, за здорово живешь, взять и потерять сразу десять фунтов!» Он всмотрелся в нечистое, засиженное мухами зеркало — и почувствовал дрожь холодного, нерассуждающего ужаса. «Ты, все это — ты! Думаешь, я не понимаю, что ты там задумал, сучий ты кот!»

Он тряс кулаком перед своим сухим костлявым лицом, обращаясь — в первую очередь — к своим верхним челюстным костям, к своей нижней челюсти, к черепу и шейным позвонкам.

— Это все ты, чертова хреновина, все ты! Решил, значит, заморить меня голодом, чтобы я терял вес, так? Отскоблить жир и мясо, чтобы не осталось ничего, только кожа да кости, да? Хочешь отделаться от меня, чтобы ты был самый главный, да? А вот нет и нет!

Харрис влетел в кафе.

Фаршированная индейка, картошка со сливками, четыре разновидности овощей, три десерта — ничего этого он не хотел. Он не мог есть, сто тошнило. Харрис пересилил себя — но тогда заболели зубы. «Больные зубы, так, что ли? — зао ощерился Харрис. — А я вот буду есть, хоть бы даже каждый мой зуб шатался и клался, пусть они хоть все повываливаются на тарелку!»

Голова Харриса пылала, грудную клетку свело, дыхание вырывалось из легких неровными, судорожными толчками, дико ныли зубы — и все же он одержал победу. Пусть и маленькую — но победу! Харрис собирался было выпить молоко, но вдруг передумал и вылил содержимое стакана в вазу с настурциями. «Нет уж, драгоценный ты мой, никакого кальция тебе не будет, ни сегодня, ни потом. Никогда, слышишь, никогда не буду я употреблять пищу, богатую кальцием и прочими веществами, укрепляющими кости. Я, милейший, буду есть для одного из нас, для себя — и никак уж не для тебя».

— Сто пятьдесят фунтов,— сообщил он жене через неделю. — А вот ты, ты замечаешь, как я изменился?

— К лучшему,— улыбнулась Кларисса. — Ты, милый, всегда был чуть толстоват для своего роста. А теперь,— она потрепала мужа по подбородку,— у тебя такое сильное, мужественное лицо, все линии четкие, определенные.

— Да не мои это линии, а этой погани! Значит, он нравится тебе больше меня, так, что ли?

— Он? Кто такой «он»?

За спиной Клариссы, в зеркале, сквозь плотскую гримасу ненависти и отчаяния проглядывала спокойная, торжествующая улыбка черепа.

Продолжая негодовать, Харрис закинул себе в рот несколько таблеток пивных дрожжей. Единственный способ прибавить в весе, когда организм почти не принимает пищу. Кларисса посмотрела на бутылочку с таблетками.

— Милый,— удивилась она,— если ты набирасшь вес ради меня, так не надо. Правда не надо.

«Ну пеужели ты не можешь заткнуться!» — хотелось крикнуть Харрису.

Кларисса заставила мужа лечь, положить голову ей на колени.

— Милый,— сказала она,— последнее время я за тобой наблюдаю. Тебе... тебе очень плохо. Ты ничего не говоришь, но вид у тебя просто страшный, какой-то затравленный. Ночью ты ни минуты не лежишь спокойно, все время дрожишь, мечешься. Возможно, стоит обратиться к психиатру, однако я заранее знаю, что он тебе скажет. Я сложила вместе все твои намеки и нечаянные оговорки. Так вот, ты и твой скелет — одно неделимое целое, одна неделимая страна, где свобода и справедливость в равной степени принадлежат каждому. Соединенные, вы выстоите, разъединенные — падете. Вы должны ладить, как немолодая уже, притертая семейная пара, а если ничего не получается — сходи к доктору Берли. Только сперва расслабься. Это же типичнейший порочный круг: чем больше ты суетишься и тревожишься, тем сильнее выпирают твои кости, давая тебе новый повод для тревог. Да и кто, в конце концов, начинщик всей

склоки — ты или эта безымянная сущность, которая, если тебе верить, прячется позади твоего пищеварительного тракта?

Харрис закрыл глаза.

— Я. Пожалуй, что и я. А ты продолжай, говори мне, говори.

— Поспи,— сказала Кларисса.— Поспи и забудь.

Первую половину дня Харрис летал как на крыльях, но к вечеру заметно поуял. Хорошо, конечно, так вот валить все на неумеренное воображение, но ведь этот конкретный скелет действительно огрызается, да еще как!

После работы Харрис решительно направился к М. Мьюнигану. Через полчаса он свернул за нужный угол, увидел фамилию «М. Мьюниган», написанную на стеклянной табличке золотыми, почти облупившимися буквами,— и в тот же самый момент все его кости словно сорвались с привязи, выплеснули в тело жгучую, ни с чем не сравнимую боль. Ослепленный и оглушенный, Харрис зажмурился и побрел, шляно раскачиваясь, прочь. Глаза он открыл только за углом, на главной улице; вывеска М. Мьюнигана исчезла из виду.

Боль отпустила.

Значит, М. Мьюниган способен помочь. Если одна его фамилия вызывает такую яростную реакцию, нет никаких сомнений, что он действительно способен помочь.

Но не сегодня. Каждая попытка Харриса вернуться к дому с облупленной вывеской неизменно кончалась новым взрывом боли. Мокрый от пота, он бросил бесполезное занятие и направился в ближайший бар.

Пересекая полутемный зал, он ненадолго задумался; а не лежит ли значительная часть вины на плечах того самого М. Мьюнигана? В конце концов, кто как не Мьюниган привлек внимание Харриса к скелету?..

Мысль плотно засела в голове, затем потянулось все дальнейшее. Не может ли быть, что М. Мьюниган пытается использовать его в каких-то своих, гнусных целях?.. В каких целях? С какой стати? Да нет, глупости, его и подозревать-то не в чем. Просто такой себе плюгавенький докторишка. Пытается помочь. Мьюниган и его банка хлебных палочек. Смешно. М. Мьюниган — нормальный парень...

В баре Харрис увидел здоровую, ободряющую, пробуждающую надежды картину. У стойки стоял высокий, толстый, да какой там «толстый» — круглый, как шар, мужчина. Он пил пиво, кружку за кружкой. Вот кто добился настоящего успеха. Харрис с трудом подавил желание подойти, хлопнуть толстяка по плечу и поинтересоваться, как это ему удалось настолько хорошо упрятать свои кости. И вправду, скелет любителя пива был упакован надежно, даже роскошно. Мягкие подушки жира здесь, упругие наслоения того же жира там, несколько круглых, как люстры, горбов жира под подбородком. Бедный скелет пропал, погиб — из этой китовой туши ему не вырваться. Если он и делал когда-нибудь такие попытки, то был быстро сломлен и прекратил сопротивление — в настоящий момент на поверхности толстяка нельзя было заметить ни малейших следов его костлявого партнера.

Ну что тут скажешь? Остается только завидовать. Утлой лодочкой Харрис приблизился к океанскому лайнеру, заказал себе рюмку, выпил и решился заговорить.

— Эндокринная система?

— Ты меня, что ли, спрашиваешь? — удивленно повернул голову толстяк.

— Или диета такая специальная? — продолжил Харрис.— Вы уж меня простите, ради бога, только я, как вы сами видите, совсем дохожу. Никак не могу набрать вес — все вниз и вниз. Мне бы вот такой, как у вас, желудок! А как вышло, что вы его натренировали — боялись чего-нибудь или что?

— Ты,— громко объявил толстяк,— совсем назюзюкался. Но это ничего, я люблю пьяницу.— Он заказал выпивку себе и Харрису.— Слушай внимательно, я расскажу все, как есть. Слой за слоем, двадцать лет не переставая, сопливым юнцом и зрелым мужчиной я строил это.

Он подхватил снизу свое огромное, словно глобус, брюхо и начал лекцию по гастрономической географии.

— Это же тебе не тяп-ляп, бродячий цирк какой-нибудь — разбили ночью, перед рассветом шатер, расставили-разложили там всякие чудеса — и готово. Нет, я выращивал свои внутренние органы, словно все они — породистые собаки, кошки и прочие животные. Мой желудок — розовый персидский кот, тол-

стый и сонный. Время от времени он просыпается, чтобы помурлыкать, помяукать, поворчать, порычать и стребовать с хозяина горсть шоколадных конфеток. Если я хорошо кормлю свой желудок, он готов ходить передо мной на задних лапах. Кишки же мои, дорогой друг, это редчайшие бразильские анаконды, толстые, гладкие, скрученные в тугие кольца и пышущие безупречным здоровьем. Я забочусь о них, обо всем этом своим зверье, слежу, чтобы они были в форме. Из страха перед чем-нибудь? Возможно.

По этому поводу следовало выпить — что и было сделано.

— Набрать вес? — Толстяк перекатил слова во рту, как нечто вкусное. — Вот, послушай, что для этого нужно. Заведи себе склочную, болталивую жену, а заодно — чертову дюжину родственничков, способных из-за любого, самого невинного буторка вспугнуть целый выводок кошмарных неприятностей. Добавь сюда щепотку деловых партнеров, чья первая, чуть ли не единственная цель в жизни — вытащить из твоего кармана последний, случайно завалявшийся там доллар, — и ты на верном пути. Почему? Ты и сам не заметишь, как начнешь — абсолютно бессознательно! — оттораживаться от них жиром. Создавать эпидермиальные буферные государства, строить органическую китайскую стену. Вскоре ты поймешь, что еда — единственное в мире удовольствие. Но все эти беды и беспокойства должны происходить от внешних источников. К сожалению, многим людям просто не о чем особенно тревожиться, в результате они начинают грызть сами себя и теряют вес. Окружи себя максимальным количеством мерзких, отвратительных людишек, и в самое кратчайшее время у тебя нарастет хорошая, — толстяк похлопал себя по шарообразному брюху, — трудовая мозоль.

С этими словами он направился, сильно покачиваясь, к двери и окунулся в темные волны ночи.

— А ведь именно это доктор Берли мне и втолковывал, — сказал себе Харрис. — Ну разве что чуть другими словами. Если я все-таки сумею съездить в Финикс...

Дневное время, когда в добела выгоревшем небе висит желтое, безжалостное солнце, не очень подходит для пересечения Мохавской пустыни; вскоре по выезде из Лос-Анджелеса Харрис оказался в раскаленном пекле. Движение на шоссе почти

замерло — зачастую ни спереди ни сзади не было видно ни одной машины. Харрис постукивал пальцами по баранке. Одолжит там Креддон эти деньги, необходимые для организации самостоятельного дела, или нет — все равно хорошо, что поездка в Финикс состоялась. Смена обстановки — великая вещь.

Машина рассекала обжигающий кипяток пустынного воздуха. Один мистер Х. сидел внутри другого мистера Х. Один из них взмок от пота, второй — возможно — тоже. Один из них чувствовал себя довольно поганно, второй — возможно — тоже.

На очередном повороте внутренний мистер Х. неожиданно сдавил плоть внешнего, заставив его резко дернуть раскаленную баранку.

Машина слетела с дороги, в бурлящую лаву песка, и развернулась боком.

Пришла ночь, поднялся ветер, металлический горбик, выпирающий из песка, так и оставался немым. Водители немногих пролетающих мимо машин ничего не замечали — машина Харриса закончила свой путь так неудачно, что с шоссе ее почти не было видно. Мистер Харрис лежал без сознания, но затем услышал завывания ветра, почувствовал на щеках уколы песчинок и открыл глаза.

В горячем, полубезумном своем состоянии он потерял шоссе. Все утро Харрис описывал по пустыне круг за бесчисленным кругом; его воспаленные, забитые песком глаза почти ничего не видели. В полдень он прилег в жалкой тени чахлого колючего кустика. Солнце рубило Харриса бритвенно-острым мечом, рассекало его — до костей. В небе кружили стервятники.

Харрис с трудом разлепил спекшиеся, утратившие чувствительность губы.

— Вот так, значит? — хрипло прошептал он. — Не мытьем, так катаньем? Ты загоняешь меня по этому аду, заморишь голодом и жаждой, убьешь. — Он сглотнул набившийся в рот песок. — Солнце прожарит мою плоть, и ты сможешь выглянуть наружу. Стервятники мной пообедают, и вот уже ты будешь лежать один, лежать и торжествующе ухмыляться. Куски добела выгоревшего ксилофона, разбросанные стервятниками — известными любителями бредовой музыки. Да, ты будешь в полном восторге. Свобода.

Харрис шел по пустыне, дрожавшей и пузырившейся под безжалостным потоком солнечного света, затем споткнулся, упал ничком и стал проталкивать в свои легкие маленькие глотки огня. Воздух превратился в голубое, как у спиртовки, пламя, в этом пламени жарились и никак не могли прожариться кружившие над головой стервятники. Финикс. Шоссе. Машина. Вода. Жизнь.

— Эй!

Оклик донесся откуда-то издали, из голубого спиртовочного пламени.

Мистер Харрис попытался сесть.

— Эй!

Снова тот же голос. И снова. И хруст торопливых шагов.

Харрис издал вопль неизмеримого облегчения, встал и тут же рухнул на руки человека в форме и со значком.

Вытаскивание и починка машины оказались делом долгим и скучным; Харрис добрался до Финикса в таком состоянии ума и настроении, что деловая операция превратилась для него в тупую, бессмысленную пантомиму. Он договорился с мистером Креддоном, получил заем, но и деньги не значили ровно ничего. Эта штука, засевшая внутри его, как белый, ломкий меч — в ножнах, портила ему работу, мешала есть, придавала какой-то жутковатый оттенок его любви к Клариссе, не позволяла даже доверять автомобилю. Случай в пустыне преисполнил Харриса паническим ужасом. Преисполнил до мозга костей — если, конечно, здесь уместна ирония.

Смутно, словно издали, до Харриса донесся собственный его голос, благодаривший мистера Креддона за деньги. Затем Харрис включил зажигание, и снова под колесами машины полетели долгие мили. На этот раз он выбрал путь через Сан-Диего, чтобы избежать пустынного участка шоссе между Эль-Сентро и Бомонтом. Лучше уж ехать вдоль побережья, нету больше доверия к этой пустыне. Но... осторожнее, осторожнее! Соленные волны грохотали о берег, со змеиным шипением набегали на пляжи лагуны. Песок, рыбы и рачки очистят кости от плоти ничуть не хуже стервятников. Так что помедленнее, помедленнее, особенно на тех поворотах, откуда можно слететь в воду.

Да у меня что, совсем крыша съехала?

И к кому же прикажете обратиться? К Клариссе? К Берли? К Мьюнигану? К костоправу. К Мьюнигану. На том и порешим.

— Здравствуй, милый!

Жесткость зубов и челюстных костей, оцущавшаяся через страстный поцелуй Клариссы, заставила Харриса страдальчески поморщиться.

— Здравствуй,— откликнулся он, вытирая губы запястьем и пытаясь унять дрожь.

— Ты похудел; да, милый, а это твое дело?..

— Кажется, все в порядке. Да, все в порядке.

Кларисса снова бросилась к нему на шею.

За обедом они изо всех сил старались изобразить приподнятое настроение; старалась, собственно говоря, одна Кларисса, Харрис только слушал ее смех и трескотню. Затем Харрис начал ходить кругами вокруг телефона; несколько раз он брался за трубку, но тут же отдергивал руку.

На пороге гостиной появилась Кларисса, в пальто и в шляпке.

— Прости, милый, но я ухожу. И не нужно, не нужно так кукситься! — Она ущипнула мужа за щеку. — Я вернусь из Красного Креста часа через два, ну через три, а ты ложись пока и дрыхни. Мне просто необходимо идти.

Как только хлопнула наружная дверь, Харрис бросился к телефону.

— М. Мьюниган?

Едва успел Харрис положить трубку, как мир взорвался оглушительной болью. Каждая его кость раздирала тело невероятными, в самом страшном кошмаре невообразимыми муками. Пытаясь хоть немного сдержать эту атаку, Харрис проглотил весь в доме аспирин, и все равно через час, когда у дверей позвонили, он лежал уже пластом, обливаясь потом и слезами, судорожно хватая воздух. Он не мог не то что встать, но даже пошевелиться.

— Входите! Входите, ради всего святого!

В гостиную вошел М. Мьюниган; слава богу, Кларисса не заперла дверь.

Мистер Харрис выглядит ужасно, совершенно ужасно! Маленький и темный, М. Мьюниган стоял в самой середине гостиной. Харрис бессильно кивнул. Боль крушила его тело тяжелыми кулаками, рвала острыми железными крюками. При виде выпирающих костей Харриса глаза М. Мьюнигана заблестели. Да, я вижу, что сегодня мистер Харрис психологически готов принять помощь. Или я ошибаюсь? Харрис снова кивнул и всхлипнул. Как и в прошлый раз, М. Мьюниган говорил, присвистывая. Этот свист как-то там связан с его языком. Да какая, собственно, разница? Полуослепшим от слез глазам Харриса показалось, что маленький М. Мьюниган становится еще меньше, вроде как съеживается. Ерунда, конечно. Воображение. Всплывшая и задыхаясь, Харрис поведал историю своей поездки в Финикс.

М. Мьюниган пылал сочувствием. Этот скелет — да он же предатель, диверсант! Ничего, мы с ним разберемся, разберемся раз и навсегда!

— Мистер Мьюниган, — бессильно выдохнул Харрис, — я... раньше я этого не замечал. Ваш язык. Круглый и вроде трубочкой. Он что, пустой внутри? Глаза, глаза ничего не видят. Бред у меня. Что мне делать?

М. Мьюниган негромко высвистывал какие-то сочувственные слова, подходил все ближе. Не может ли мистер Харрис расслабиться в своем кресле и открыть рот? Свет в гостиной был уже потушен, М. Мьюниган заглянул в широко распахнутый рот Харриса. А нельзя ли еще чуть-чуть пошире? В тот, первый раз помочь Харрису было трудно, даже невозможно, ведь этому противились и плоть, и кости. Ну а теперь сотрудничество плоти обеспечено, и пусть себе скелет протестует, сколько хочет.

Голос М. Мьюнигана, доносившийся из темноты, казался каким-то маленьким-маленьким, совсем крошечным, присвистывание стало высоким и пронзительным. Ну вот, сейчас. Расслабьтесь, мистер Харрис. Начинаем!

Что-то начало выламывать нижнюю челюсть Харриса, словно во все стороны одновременно, что-то придавило ему язык, что-то забило гортань. Харрис отчаянно попытался вдохнуть. Пронзительный свист. Он не мог, совсем не мог дышать! Что-то

заползло ему в рот, мячиком вздуло щеки, взорвало челюсти. Что-то, похожее на струю кипятка, протиснулось в носоглотку, колоколом загремело в ушах.

— А-а-а-а! — завопил задыхающийся Харрис. Его голова — голова со взломанным, взорванным разбитым черепом — безвольно повисла; в легких полыхнула адский, мучительный огонь.

Через мгновение Харрис снова обрел способность дышать. Наполненные слезами глаза широко раскрылись. Харрис закричал. Кто-то раскачивал его ребра, выламывал их, собирал в охапку, как хворост. Боль, страшная боль! Харрис осел на пол, из его рта с хрипом вырывался горячий воздух.

В глазах Харриса фейерверком вспыхивали искры, пылали яркие пятна; он чувствовал, как расшатываются, а затем и вовсе исчезают кости рук, ног... Прошло еще какое-то время, и он сумел разглядеть гостиную, полускрытую пеленой слез.

В гостиной никого не было.

— М. Мьюниган? Бога ради, мистер Мьюниган, где вы? Помогите мне!

М. Мьюниган исчез.

— Помогите!

А потом Харрис услышал.

Из глубочайших подземелий его тела доносились крошечные, невероятные звуки — негромкое потрескивание и поскрипывание, похрупывание и почмокивание, и быстрый сухой хруст, словно там, в кроваво-красной мгле, крошечная изголодавшаяся мышь умело и прилежно обгладывала... что?!

Кларисса шла по тротуару, высоко подняв голову, и вспоминала собрание Красного Креста. Сворачивая на улицу Сент-Джеймс, она чуть не столкнулась с маленьким темным человечком, от которого густо несло йодом.

Кларисса тут же забыла бы про случайного встречного, не извлеки он в этот самый момент из-под пальто нечто длинное, белесое и до странности знакомое. Вытащив непонятный предмет, он начал его грызть, как леденцовую палочку. Когда с утолщением на конце было покончено, человек сунул внутрь своей белой конфеты узкий, ни на что не похожий язык и начал с очевидным удовольствием высасывать начинку. Пока он грыз свое

необыкновенное лакомство, Кларисса дошла до своего дома, повернула ручку и исчезла за дверью.

— Милый? — окликнула она с порога и улыбнулась. — Где ты, милый?

Кларисса закрыла входную дверь, миновала прихожую, вошла в гостиную.

— Милый...

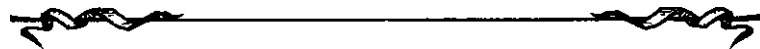
Она двадцать секунд смотрела на пол и пыталась что-нибудь понять.

И закричала.

Снаружи, в густой тени платанов, маленький человечек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, затем слегка оттопырил губы и негромко сыграл на этом импровизированном инструменте короткий, печальный мотивчик, аккомпанируя кошмарному, пронзительному завыванию Клариссы, стоявшей посреди гостиной.

Если вспомнить детство, сколько раз случалось Клариссе, бегая по пляжу, раздавить медузу и взвизгнуть. А обнаружить целенькую, с желатиновой кожицей медузу у себя в гостиной — в этом и совсем нет ничего страшного. Ну, отступишь на шаг, чтобы не раздавить.

Но когда медуза обращается к тебе по имени...



Ревун

реди холодных волн, вдали от суши, мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы — Макдан и я — смазывали латунные подшипники и включали фонарь на верху каменной башни. Макдан и я, две птицы в сумрачном небе...

Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос — могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной.

— Здесь одиноко, но я надеюсь, ты уже свыкся? — спросил Макдан.

— Да, — ответил я. — Слава богу, ты мастер рассказывать.

— Завтра твой черед ехать на Большую землю. — Он улыбался. — Будешь танцевать с девушками, пить джин.

— Скажи, Макдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один?

— О тайнах моря. — Макдан раскурил трубку.

Четверть восьмого. Холодный ноябрьский вечер, отопление включено, фонарь разбрасывает свой луч во все стороны, в длинной башенной глотке ревет Ревун. На берегу на сто миль ни

одного селения, только дорога с редкими автомобилями, одиноко идущая к морю через пустынный край, потом две мили холодной воды до нашего утеса и в кои-то веки далекое судно.

— Тайны моря, — задумчиво сказал Макдан. — Знаешь ли ты, что океан — огромная снежинка, величайшая снежинка на свете? Вечно в движении, тысячи красок и форм, и никогда не повторяется. Удивительно! Однажды ночью, много лет назад, я сидел здесь один и тут из глубин поднялись рыбы, все рыбы моря. Что-то привело их в наш залив, здесь они стали, дрожа и переливаясь, и смотрели, смотрели на фонарь, красный — белый, красный — белый свет над ними, и я видел странные глаза. Мне стало холодно. До самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост. И вдруг — без звука — исчезли, все эти миллионы рыб стигнули. Не знаю, может быть, они плыли сюда на паломничество? Удивительно! А только подумай сам, как им представлялась наша баня: выскитя над водой на семьдесят футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом исполина. Они больше не возвращались, но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством?

У меня по спине пробежал холодок. Я смотрел на длинный серый газон моря, простирающийся в ничто и в никуда.

— Да-да, в море чего только нет. — Макдан взволнованно пыхтел трубкой, часто моргая. Весь этот день его что-то тревожило, он не говорил, что именно. — Хотя у нас есть всевозможные механизмы и так называемые субмарины, но пройдет еще десять тысяч веков, прежде чем мы ступим на землю подводного царства, придем в затонувший мир и узнаем *настоящий* страх. Подумать только: там, внизу, все еще трехсоттысячный год до нашей эры! Мы тут трубим во все трубы, отхватываем друг у друга земли, отхватываем друг другу головы, а они живут в холодной пучине, двенадцать миль под водой, во времена столь же древние, как хвост кометы.

— Верно, там древний мир.

— Пошли. Мне нужно тебе кое-что сказать, сейчас самое время.

Мы отсчитали ногами восемьдесят ступенек, разговаривая, не спеша. Наверху Макдан выключил внутреннее освещение,

чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа, на смазанной оси. И неустанно каждые пятнадцать секунд гудел Ревун.

— Правда, совсем как зверь? — Макдан кивнул своим мыслям. — Большой одинокий зверь воет в ночи. Сидит на рубеже десятка миллиардов лет и ревет в пучину: «Я здесь, я здесь, я здесь...» И пучина отвечает — да-да, отвечает! Ты здесь уже три месяца, Джонни, пора тебя подготовить. Понимаешь, — он всмотрелся в мрак и туман, — в это время года к маяку приходит гость.

— Стаи рыб, о которых ты говорил?

— Нет, не рыбы, нечто другое. Я потому тебе не рассказывал, что боялся — сочтешь меня помешанным. Но дальше ждать нельзя: если я верно пометил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится. Никаких подробностей — увидишь сам. Вот, сиди тут. Хочешь, уложи утром барахлишко, садись на катер, отправляйся на Большую землю, забирай свою машину возле пристани на мысу, кати в какой-нибудь городок и жги свет по ночам — я ни о чем тебя не спрошу и корить не буду. Это повторялось уже три года, и впервые я не один — будет кому подтвердить. А теперь жди и смотри.

Прошло полчаса, мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом устали ждать, и Макдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет Ревуна.

— Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек, остановился, вникая гулу океана, и сказал: «Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда; я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, какие когда-либо были; он будет как пустая постель с тобой рядом ночь напролет, как безлюдный дом, когда откроешь дверь, как голые осенние деревья. Голос, подобный птицам, что улетают, крича, на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных, утрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе, и очажки покажутся еще жарче, и люди в далеких городах скажут: «Хорошо, что мы

дома". Я сотворю голос и механизм, и нарекут его Ревуном, и всякий, кто его услышит, постигнет тоску вечности и краткость жизни».

Ревун заревел.

— Я придумал эту историю,— тихо сказал Макдан,— чтобы объяснить, почему оно каждый год плывет к маяку. Мне кажется, оно идет на зов маяка...

— Но...— заговорил я.

— Шшш! — перебил меня Макдан.— Смотри!

Он кивнул туда, где простерлось море.

Что-то плыло к маяку.

Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная, в высокой башне было холодно, свет вспыхивал и гас, и Ревун все кричал, кричал сквозь клубящийся туман. Видно было плохо и только на небольшое расстояние, но так или иначе вот море — море, скользкое по ночной земле, плоское, тихое, цвета серого ила, вот мы, двое, одни в высокой башне, а там, вдали, сперва морщинки, затем волна, бугор, большой пузырь, немного пены. И вдруг над холодной гладью — голова, большая темная голова с огромными глазами, и шея. А затем... нет, не тело, а опять шея, и еще, и еще! На сорок футов поднялась над водой голова на красивой тонкой темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело, словно островок из черного коралла, мидий и раков. Дернулся гибкий хвост. Длина чудовища от головы до кончика хвоста была, как мне кажется, футов девяносто — сто.

Не знаю, что я сказал, но я сказал что-то.

— Спокойно, парень, спокойно,— прошептал Макдан.

— Это невозможно! — воскликнул я.

— Ошибаешься, Джонни, это *мы* невозможны. Оно все такое же, каким было десять миллионов лет назад. Оно не изменялось. Это *мы* и весь здешний край изменились, стали невозможными. *Мы*!

Медленно, величественно плыло оно в ледяной воде там, вдали. Рваный туман летел над водой, стирая на миг его очертания. Глаз чудовища ловил, удерживал и отражал наш могучий луч, красный — белый, красный — белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послание древним шифром. Чудо-

вище было таким же безмолвным, как туман, сквозь который оно плыло.

— Это какой-то динозавр! — Я присел и схватился за перила.

— Да, из их породы.

— Но ведь они вымерли!

— Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко, в глубь глубин, в Бездну. А что, Джонни, правда, выразительное слово, сколько в нем заключено: Бездна. В нем весь холод, весь мрак и вся глубь на свете.

— Что же мы будем делать?

— Делать? У нас работа, уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега, а зверь длиной с миноносец и плывет почти так же быстро.

— Но почему, почему он приходит именно сюда?

В следующий миг я получил ответ.

Ревун заревел.

И чудовище ответило.

В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, и из нее вырвался звук, в точности повторяющий голос Ревуна. Одинокий, могучий, далекий-далекий. Голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук.

— Ну,— зашептал Макдан,— теперь понял, почему оно приходит сюда?

Я кивнул.

— Целый год, Джонни, целый год несчастное чудовище лежит в пучине за тысячи миль от берега, на глубине двадцати миль, и ждет. Ему, быть может, миллион лет, этому одинокому зверю. Только представь себе: ждать миллион лет. Ты смог бы? Может, оно последнее из всего рода. Мне так почему-то кажется. И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего Ревуна, и он ревет, ревет над пучиной, куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и презить о мире, где

были тысячи тебе подобных; теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос Ревуна то зовет, то смолкает, то зовет, то смолкает, и ты просыпаешься на илистом дне пучины, и глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но зов Ревуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в твоём брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, и Ревун все зовет, и в конце ноября, после того как ты изо дня в день припирался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности, и ты жив. Поневоле всплываешь медленно: если подняться сразу, тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть, и еще столько же дней пути в холодной воде отделяет тебя от маяка. И вот наконец ты здесь — вон там, в ночи, Джонни, — самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя, такая же длинная шея торчит из воды и как будто такое же тело, но главное — точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни, теперь понимаешь?

Ревун взревел. Чудовище отозвалось.

Я видел все, я понимал все: миллионы лет одинокого ожидания, когда же, когда вернется тот, кто никак не хочет вернуться? Миллионы лет одиночества на дне моря, безумное число веков в пучине, небо очистилось от летающих ящеров, на материке высохли болота, лемуры и саблезубые тигры отжили свой век и завязли в асфальтовых лужах, и на пригорках белыми муравьями засуетились люди.

Рев Ревуна.

— В прошлом году, — говорил Макдан, — эта тварь всю ночь проплавала в море, круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила — недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась: путка ли, столько проплыть! А наутро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картинке. И чудовище ушло прочь от тепла и молчания, уплыло и не

вернулось. Мне кажется, оно весь этот год все думало, ломало себе голову...

Чудовище было всего лишь в ста ярдах от нас, оно кричало, и Ревун кричал. Когда луч касался глаз зверя, получалось: огонь — лед, огонь — лед.

— Вот она, жизнь, — сказал Макдан. — Вечно все то же: один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любят его. И наступает час, когда хочется уничтожить то, что ты любил, чтобы оно тебя больше не мучило.

Чудовище понеслось на маяк. Ревун ревел.

— Посмотрим, что сейчас будет, — сказал Макдан.

И он выключил Ревуна.

Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца, слышали медленное скользкое вращение фонаря.

Чудовище остановилось, оцепенело. Его глазищи-прожектора мигали. Пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, другую сторону, словно искало звук, канувший в туман. Оно взглянуло на маяк. Снова заворчало. Варут зрачки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах.

— Макдан! — вскричал я. — Включи Ревуна!

Макдан взялся за рубильник. В тот самый миг когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. Мелькнули могучие лапищи и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз в правой части искаженной страданием морды сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел; чудовище ревели. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу; на нас посыпались осколки.

Макдан поймал мою руку.

— Вниз! Живей!

Башня качнулась и подалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатались вниз по лестнице.

— Живей!

Мы успели — нырнули в подвальчик под лестницей в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней, Ревун захлебнулся. Чудовище рухнуло на башню. Башня рассыпалась. Мы стояли молча, Макдан и я, слушая, как взрывается наш мир.

Все. Лишь мрак и плеск валов о груды битого камня.

И еще...

— Слушай,— тихо произнес Макдан.— Слушай.

Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Свет исчез. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. И чудовище, разинув пасть, ревело могучим голосом Ревуна. И суда, что в ту ночь плали мимо, хотя не видели света, не видели ничего, зато слышали голос и думали: «Ага, вот он, одинокий голос Ревуна в Лоунсам-бей! Все в порядке. Мы пропали мыс».

Так продолжалось до утра.

Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груды камней над подвалом.

— Она рухнула, и все тут,— мрачно сказал Макдан.— Ее потрепало волнами, она и рассыпалась.

Он уцепился за руку.

Никаких следов. Тихое море, синее небо. Только резкий запах водорослей от зеленой жижи на развалинах башни и береговых скалах. Жужжали мухи. Плескался океан.

На следующий год поставили новый маяк, но я к тому времени устроился на работу в городке, женился, и у меня был уютный, теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь закрыта, а из трубы струится дымок. А Макдан стал зрителем нового маяка, сооруженного, по его указаниям, из железобетона.

— На всякий случай,— объяснил он.

Новый маяк был готов в ноябре. Однажды поздно вечером я приехал один на берег, остановил машину и смотрел на серые волны, слушая голос нового Ревуна: раз... два... три... четыре раза в минуту, далеко в море, один-одинешенек.

Чудовище? Оно больше не возвращалось.

— Ушло,— сказал Макдан.— Ушло в пучину. Узнало, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в Бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга! Все ждать, и ждать, и ждать... Ждать.

Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоунсам-бей. Только слушал Ревуна, Ревуна, Ревуна. Казалось, это ревет чудовище.

Мне хотелось сказать что-нибудь, но что?



Банка

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в ступенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные крути. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие... И аккомпанемент: вечерняя тишина, нарушаемая только стрекотанием сверчков да вздохами лягушек, доносящимися с заболоченного луга. Самая обычная банка, а в ней то, что заставляет желудок подпрыгнуть к самому горлу, почище чем вид человеческой руки, покачивающейся в бледно-желтом формалине лабораторной кюветы.

Оно глядело на Чарли. Чарли глядел на него. Долго.

Очень долго. Его большие, мозолистые, волосатые на запястьях руки намертво вцепились в веревку, отделяющую экспонат от рогатосев. Он честно заплатил монетку в десять центов и теперь смотрел.

Приближалась ночь. Карусель засыпала на ходу, быстрый, веселый перестук сменился вымученным, словно из-под палки, позвякиванием. Временные рабочие, пришедшие уже снимать балаганчик, играли в покер, курили и негромко чертыхались.

Мигнули и погасли наружные лампы, цирк погрузился в полутьму позднего летнего вечера; зрители потянулись домой. Громко заорало и тут же стихло радио; теперь ничто не нарушало безмолвия необъятного, в мириадах звезд луизианского неба.

Для Чарли мир сузился до размеров банки, где покачивалось белесое нечто. Челюсть Чарли отвисла, бесхитростно выставив на показ влажную розовую полоску языка и зубы; в широко раскрытых глазах светились удивление и восторг.

В темноте обозначилась смутная фигура, совсем маленькая рядом с мосластой долговязостью Чарли.

— О,— сказал человек, выходя на свет голой, одинокой лампы, освещавшей балаган.— Ты что, друг, так все тут и стоишь?

— Ага,— откликнулся Чарли, словно с трудом выплывая из пучины сна.

Такой страстный интерес не мог не произвести впечатления.

— Эта штука,— хозяин цирка кивнул на банку,— она всем нравится... в общем, в каком-то смысле.

Чарли неуверенно потрогал свой длинный костявый подбородок.

— А вы... ну, значит... вы никогда не думали насчет ее продать?

Глаза циркача широко распахнулись, снова сощурились.

— Ни в жизнь,— фыркнул он.— Приманка для посетителей. Они любят посмотреть на что-нибудь этакое. Точно любят.

— А-а...— разочарованно протянул Чарли.

— С другой стороны, если подумать,— продолжил хозяин цирка,— если у человека есть деньги, то вообще говоря...

— Сколько денег?

— Ну, если у человека найдется...— Хозяин цирка начал разгибать пальцы, зорко поглядывая на Чарли.— Если у человека найдется три, четыре... ну, скажем, семь или восемь...

Видя, что Чарли встречает каждую новую цифру кивком, хозяин цирка решил поднять цену.

— ...ну, может, десять долларов, или там пятнадцать...

Чарли нахмурился.

— ...а в общем-то, если у человека найдется двенадцать долларов... — пошел на попятную хозяин цирка.

Чарли радостно ухмыльнулся.

— ...тогда, пожалуй, он мог бы и купить эту штуку в банке.

— Надо же, — удивился Чарли, — у меня тут в кармане как раз двенадцать зеленых. И я вот думал, как зауважают меня в Уайльдеровской Лощине, если я возьму и привезу домой вот такую штуку вроде этой и поставлю на полку над столом. Ребята меня вообще зауважают, вот на что хошь можно спорить.

— Ну так, значит... — прервал его мечты хозяин цирка.

По завершении сделки банка была водружена на заднее сиденье фургона. При виде покупки, сделанной хозяином, конь жалобно заржал и нервно затанцевал на месте.

На лице хозяина цирка читалось почти нескрываемое облегчение.

— Знаешь, — сказал он, глядя на Чарли снизу вверх, — а ведь хорошо, что я загнал тебе эту хреновину. Так что ты и не благодари, не надо. Я вот на нее все смотрел, а последнее время какие-то у меня про нее мысли появились, странные мысли... Да ладно, и что у меня за привычка такая дурацкая трепать языком больше, чем надо! Пока, фермер.

Чарли тронул поводья. Голые синеватые лампочки померкли и исчезли, как умирающие звезды; на фургон, и на коня, и на дорогу навалилась темная луизианская ночь. В мире не было ничего, кроме Чарли, коня, глухо и размеренно постукивающего копытами, и сверчков.

И банки, стоящей позади высокого переднего сиденья.

Банка качалась вперед-назад, вперед-назад и негромко говорила: плех-плех, плех-плех... И холодное серое нечто сонно билось о стекло и выглядывало наружу, выглядывало наружу и ничего не видело, ничего не видело.

Чарли повернулся назад, с гордостью, почти нежно похлопал по крышке банки. Его рука вернулась холодная и преображенная, полная возбужденной дрожи и странного, незнакомо-го запаха. «Да-а, ребята!» — думал он. — «Да-а, ребята».

Плех, плех, плех...

В Лощине, перед единственным ее магазином, мужчины сидели и стояли, негромко переговаривались и сплевывали в пыльном свете зеленых и кроваво-красных фонарей.

Знакомое поскрипывание сказало им, что едет Чарли; ни одна тяжелая, угловатая, с волосами, как пакля, голова не повернулась на остановившийся фургон. Красными светлячками тлели сигары, лягушачьим бормотанием звучали голоса.

— Привет, Клем! Привет, Милт! — наклонился с высокого сиденья Чарли.

— Привет, Чарли. Привет, Чарли. — Тусклое, невнятное бормотание. Политический конфликт продолжается.

Чарли разрубил его по шву:

— У меня тут есть одна вещь. Такая вещь, что вы, может, захотите посмотреть.

На крыльце магазина зеленою поблескивали глаза Тома Кармоди. Сколько помнил Чарли, Том Кармоди вечно устраивался либо под каким-нибудь навесом, в тени, либо в тени деревьев, а если в комнате — то в самом дальнем углу, и всегда из темноты на тебя поблескивали его глаза. Ты никогда не знаешь, какое выражение у него на лице, а глаза его всегда вроде как над тобой смеются. И сколько раз ни посмотрят на тебя глаза Тома Кармоди, каждый раз они смеются над тобой каким-то новым способом.

— У тебя, красавчик, нет ничего такого, на что нам захотелось бы посмотреть.

Чарли сжал кулак, осмотрел его со всех сторон и только затем продолжил:

— Такая штука в банке. Выглядит вроде как похоже на мозг, и вроде как похоже на маринованную медузу, и вроде как похоже... Да вы сами посмотрите!

Вспыхнул водопад розовых искр — один из фермеров пригнул сигару и лениво направился к фургону. Чарли великодушно снял с банки крышку; лицо фермера, освещенное неверным светом фонаря, изменилось.

— Слышь, а правда, что за хрень такая?..

Это было начало оттепели. За первым фермером последовали и остальные; они неохотно поднимались и шли, повинувшись непреодолимому тяготению. Ни один из них не делал никаких

усилий — разве что выставлял вперед то одну, то другую ногу, чтобы не шлепнуться удивленным лицом о землю. Вокруг банки собралось плотное кольцо людей, после чего Чарли — впервые в своей жизни — прибегнул к чему-то вроде стратегии и вернул стеклянную крышку на место.

— Хотите посмотреть еще — заходите ко мне домой, — щедро предложил он. — Там она и будет.

— Ха! — презрительно сплюнул с крыльца Том Кармоди.

— Слышь, — забеспокоился Дед Медноув, — дай я еще взгляну! Так это что, восьминог?

Чарли тряхнул поводьями, конь нехотя ожил.

— Заходите, милости просим!

— А что скажет твоя жена?

— А она нас метлой не погонит?

Но фургон уже исчез за холмом. Фермеры стояли, всматривались в темную ночную дорогу и говорили, говорили... Том Кармоди, так и не покидавший крыльца, негромко выругался.

Чарли поднялся по ступенькам своей халупы, прошел в гостиную и водрузил банку на предназначенный ей трон. Теперь эта унылая комнатка станет дворцом, в ней будет император — да, лучшего слова и не придумаешь! — император, белый и холодный, бесстрастно покачивающийся в своем личном бассейне, император, возведенный на полку, приколоченную над кособоким дощатым столом.

И прямо сейчас, прямо на глазах у Чарли, банка выжгла холодный туман, набежавший с недалекого болота.

— Что это ты там притащил?

Высокий голос жены вывел Чарли из благоговейного экстаза. Теди стояла в дверях спальни: узкое тело обтянуто вылинявшим голубым ситцем, волосы стянуты на затылке в бесформенный узел, красные уши чуть оттопырены. Ее глаза напоминали вылинявший ситец.

— Ну так что? — повторила она. — Что это такое?

— А вот ты сама, Теди, как ты думаешь, на что это похоже?

Теди шагнула вперед, не отрывая взгляда от банки; бесстыжим маятником качнулись ее бедра, чуть осклалились белые кошачьи зубы.

Мертвое белое нечто, парящее в жидкости.

Теди бросила тускло-голубой взгляд на Чарли, снова на банку, еще раз на Чарли, еще раз на банку — и резко повернулась.

— Оно... оно похоже... оно очень похоже на тебя, Чарли!

Хлопнула дверь спальни.

Содержимое банки не шелохнулось, только у Чарли, соскучившегося по жене, лихорадочно заколотилось сердце. Потом, позднее, когда сердце уже успокоилось, Чарли заговорил, обращаясь к висящему в банке предмету:

— Я пашу эту болотину, каждый год ноги до жопы снашиваю, а потом она хватает деньги и бежит из дома — навещает, видите ли, своих родственничков по девять недель кряду. Я не в силах ее удержать. Она и эти мужики, собирающиеся у магазина... они надо мной смеются. И я не могу ничего с этим сделать — ведь я не знаю, как ее удержать! Кой хрен, теперь я хотя бы попробую!

Философическое нечто, обитавшее в банке, воздержалось от советов и рекомендаций.

— Чарли?

Кто-то у входной двери.

Чарли удивленно повернулся — и тут же расплылся довольной ухмылкой.

Они, мужики от магазина.

— Вот, значит... мы... мы, Чарли, мы тут подумали... ну, значит... мы пришли посмотреть на эту... эту штуку... которая у тебя в этой самой банке...

Вслед за жарким июлем пришел август.

Впервые за многие годы Чарли узнал, что такое счастье, он ликовал, как кукуруза, поспевшая в рост с первыми после засухи дождями. Каким блаженством были привычные вечерние звуки: приближающийся порох сапог в высокой траве, затем небольшая заминка — гости вежливо отплевывались в канаву, затем скрип крыльца под тяжелыми ногами, жалобный стон косяка, на который навалилось очередное плечо, и наконец очередная голос:

— Можно мне зайти?

(Но сперва волосатое запястье аккуратно вытрет губы.)

— Заходите все, сколько вас там, — с деланным безразличием приглашает Чарли.

Стульев, ящиков из-под мыла, в конце концов половиков, чтобы сидеть на корточках, хватит на всех. К тому времени, когда сверчки ногами выскребут из своих надкрылий ровное летнее гудение, а лягушки раздуют шеи и, как зобатые бабы, воплями огласят великую ночь, комната под завязку заполнится людьми со всех низинных земель.

Говорить они начнут не скоро. Первые полчаса такого вечера, пока народ собирался и рассаживался, проходили за тщательным изготовлением самокруток. Аккуратно раскладывая табак по полоске бумаги, заклеивая сигарету языком, осторожно перекачивая ее в ладонях, они раскладывали и перекачивали мысли свои, и страхи, и удивление, готовясь к вечеру. Самокрутки дарили им время подумать. Руки фермеров работали, придавая форму бумажным трубочкам с табаком, но еще больше работали их мозги, придававшие форму мыслям.

Это было нечто вроде примитивной церковной службы. Люди сидели на стульях, и сидели на корточках, и стояли, прислонившись к оштукатуренным стенам, и мало-помалу все они начинали благоговейно взирать на полку с банкой.

Нет, они не выпяливались на банку сразу, как какие-нибудь там зеваки, все происходило неспешно, словно бы само собой, словно они так, от нечего делать, осматривали комнату, отпуская свои глаза в свободное плавание, позволяли им бесцельно перебирать все находящиеся здесь предметы.

А потом — по чистой, конечно же, случайности — в фокусе их рассеянного внимания неизбежно оказывались одно и то же место, один и тот же предмет. Через некоторое время здесь сойдутся взгляды всех в комнате глаз, как иголки, воткнутые в невероятную игольницу. И не останется никаких звуков, только разве что попыхивание чьей-то, из кукурузного початка вырезанной, трубки. Или шлепанье босых детских ног по дощатому крыльцу. А тогда, возможно, вмешается голос какой-нибудь из женщин: «Вы бы, ребята, бежали отсюда! Ну-ка!» И смех, похожий на негромкий звон ручья, и вот уже босые ноги мчатся распугивать лягушек.

Чарли — само собой! — будет на самом виду. В кресле-качалке, подложив под толстый свой зад ковровую подушечку, медленно покачиваясь, блаженно купаясь во всеобщем почтении, пришедшем вместе с банкой.

Ну а Теди — Теди мы найдем в дальнем конце комнаты, вместе с тесной кучкой женщин, серых и тихих, как мышки, терпеливо выносящих мужские причуды.

Теди словно готова в любую секунду взорваться, но она ничего не говорит, молчит и только смотрит, как мужчины стадом на водопой тянутся в ее гостиную и садятся у ног Чарли, и глазек на эту штуку, вроде как на Святой Грааль, смотрит, и лицо у нее ледяное, и губы сжаты в ниточку, и она никому не говорит даже самого простого вежливого слова.

После подобающего периода молчания кто-нибудь — ну скажем, Дед Медноув или Крик-Роуд — откашляет из глубинных своих глубин мокроту, подастся вперед, возможно, смочит кончиком языка губы, и в мозолистых пальцах будет необычная для таких пальцев дрожь.

Словно пение камертона, построит эта дрожь всех присутствующих к разговору. Уши настрожены. Люди расположились уютно и непринужденно, как свиньи в теплой июльской луже.

Дед смотрел на банку, смотрел долго, затем снова обжегал свои губы быстрым, язычковым языком, откинулся назад и сказал — как всегда — писклявым стариковским тенором:

— И вот что же все-таки это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно? Я вот, бывает, просыпаюсь ночью, ворочаюсь-ворочаюсь на матрасе из кукурузных кочерыжек и все думаю, как эта вот банка стоит тут, в ночной темноте. Думаю об этой штуке, как висит она в своем рассоле, бледная и спокойная, ну прямо твоя устрица. Иногда я разбужу мать, и тогда мы вместе о ней думаем...

Руки Деда плясали в зыбкой пантомиме, все молча смотрели, как свивают невидимую нить толстые, с толстыми, грубо обкромсанными ногтями большие пальцы, как мерно колышутся остальные восемь, похожие на черные, скрюченные обрубки.

— ...лежим с ней и думаем. И дрожим. И пусть душная ночь, и деревья потеют, и от жары даже москиты не летают, а мы все равно дрожим и ворочаемся с боку на бок, пытаюсь уснуть...

Дед опять погрузился в молчание, словно говоря: я сказал вполне достаточно, и пусть теперь кто-нибудь другой выразит свое удивление, и свое благоговение, и свой страх.

Джук Мармер из Ивовой Трясины отер пот с ладоней о колени и тихо начал:

— Я вот помню, как был сопливым мальчишкой, и у нас была эта кошка, всю дорогу рожавшая котят. Господи Иисусе, да ей хватало раз смыться за ограду, и вот тебе, пожалуйста — подарочек... — Джук говорил вроде как благостно, мягко и доброжелательно. — Ну и мы что, мы раздавали котят, только к тому времени, как она в тот раз окотилась, у каждого из соседей, которые поближе, до которых можно дойти пешком, был уже наш котенок, а у кого и два. Тогда мама вынесла на заднее крыльцо большую двухгаллонную стеклянную банку, до краев наполненную водой. «Джук, — сказала мама, — утопи котят!» Вот как сейчас помню, стою я там, а котята пицат и бегают, тычутся во все стороны, маленькие, слепые, беспомощные, и хуже всего, не совсем даже слепые, а чуть-чуть начинают открывать глаза. Посмотрел я на маму и сказал: «Нет, мама, только не я! Ты лучше сама!» А мама вся побледнела и говорит, что это нужно сделать, а никого другого не попросишь, только меня. И она ушла на кухню, делать соус и жарить курицу. Ну, я... я взял одного... одного котенка. Подержал его в ладони. Он был теплый. А потом он пискнул, и мне захотелось убежать куда угодно, чтобы только никогда не возвращаться.

Джук размеренно кивал головой; вспыхнувшими, помолодевшими глазами он смотрел в прошлое, воссоздавал прошлое в словах, языком придавал ему форму.

— Я уронил котенка в воду. Котенок закрыл глаза и открыл рот, пытаюсь вдохнуть. Вот как сейчас помню: показались маленькие белые зубы, высунулся розовый язык, а вместе с ним выскочили пузырьки воздуха, такая ниточка до самой поверхности воды! До сегодня помню и никогда не забуду, как этот

котенок плавал в воде потом, когда все было кончено, медленно покачиваясь и ни о чем больше не тревожился, и смотрел на меня и не осуждал меня за то, что я сделал. Но он и не любил меня, нет, совсем не любил. А-а-а, да что там!..

Сердца бешено колотились. Глаза испуганно перебежали с Джуга вверх, на полку с банкой, снова на Джуга, снова вверх...

И долгое молчание.

Джаду, черный человек с Цаплиной Топи, закатил глаза — сумеречный жонглер, вскинувший слоновой кости шары. Темные пальцы сгибались и перекрещивались, как ножки огромных кузнечиков.

— Вы знаете, что это такое? Вы знаете, знаете? А я вам скажу. Это — центр жизни, и ничто другое! Точно, тут и сомневаться не в чем. Господь мне свидетель!

С болота прилетевший ветер раскачивал его, как тростинку — ветер, ни для кого, кроме самого Джаду, невидимый и неслышимый, неосязаемый. Его глаза описали полный круг, словно получив свободу двигаться по собственному желанию. Его голос, как сверкающая иглока с черной ниткой, подхватывал слушателей за мочки ушей, сшивал в единый затаивший дыханье орнамент.

— Из нее, лежавшей в Срединной Хляби, выползли когда-то все твари. Они делали себе руки и ноги, делали себе рога и языки, и они росли. Сперва, может, совсем крохотульная амеба. Потом — лягушка с надутой, словно сейчас лопнет, шеей. Да, да! — Джаду хрустнул суставами пальцев. — А потом она поднялась на задние лапы и стала... стала человеком! Это — центр творения! Срединная Мама, из которой все мы вышли десять тысяч лет назад! Верьте мне, верьте!

— Десять тысяч лет! — прошептала Бабушка Гвоздика.

— Она очень старая! Вы только на нее гляньте! Она ни о чем больше не тревожится. Зачем ей? Она все знает. Она плавает, как свиная отбивная — в жиру. У нее есть глаза, чтобы видеть, но она не моргает глазами, ее глаза не бегают, не дергаются. А зачем ей? Она все знает. Она знает, что все мы вышли из нее, что все мы в нее вернемся.

- Какие у нее глаза?
- Серые.
- Нет, зеленые!
- А волосы? Черные?
- Коричневатые!
- Рыжие!
- Нет, седые!

Затем неспешное свое мнение изложит Чарли. Иногда он скажет то же самое, что и всегда, иногда — что-нибудь другое. Не важно. Вечер за летним вечером рассказывай одну и ту же историю, и каждый раз она будет другой. Ее изменят сверчки. Ее изменят лягушки. Ее изменит нечто, грядущее из банки.

— А что,— сказал Чарли,— если какой старик упел в болота, а может, и не старик совсем, а мальчишка, и он заблудился там, и шли годы, и он все не мог выбраться, и лаптал ночами по всем этим тропинкам и канавам, топям и кочкам, и кожа его все бледнела, а сам он холодел и съеживался. В сырости и без солнца он так съеживался и съеживался, и стал совсем маленький, и упал потом в трясину, и так и остался лежать в болотной жиже, ну вроде как червяки или еще кто. И ведь как знать, может, это кто-нибудь всем нам знакомый, а если не всем, то хоть кому-нибудь из нас. Кто-нибудь, с кем мы перебрасывались словом. Как знать...

В дальнем конце комнаты — громкий судорожный вздох. Одна из стоящих в тени женщин мучительно подыскивает слова.

— Каждый год в это болото убегает уйма маленьких голеньких детишек.— Глаза миссис Тридден сверкают черным, антрацитовым блеском.— Они бегают там и бегают, и не возвращаются. Я и сама там раз чуть не заблудилась. Вот так я и лишилась своего сына, своего маленького Фоли.

Волна сдавленных вздохов, улоки плотно стиснутых ртов напряженно опустились. Головы, шляпки подсолнухов, повернулись на толстых стеблях шей, все глаза вглядываются в ее ужас и в ее надежду. Миссис Тридден, натянутая как струна, цепляется за стену скрюченными, судорогой сведенными пальцами.

— Мой маленький,— хрипло выдохнула она.— Мой маленький. Мой Фоли. Фоли! Фоли, это ты? Фоли! Фоли, маленький, скажи мне, это ты?

Все повернувшись к банке и затаили дыхание.

Вещь, смутно белевшая в банке, хранила молчание и только слепо взирала на людей, одна на многих. И где-то в глубине крепких, ширококостных тел пробилась тайная струйка страха, первый ручеек весенней оттепели, и вскоре их непоколебимое спокойствие, и вера, и покорное смирение были подточены и изъедены этой струйкой, и растаяли, и унеслись бурным потоком. Кто-то закричал:

— Оно пошевелилось!

— Да нет, ничего оно не шевелилось. Тебе просто мерещится.

— Да вот же, ей-бо! — воскликнул Джук.— Я видел, как оно повернулось, медленно так, совсем как мертвый котенок!

— Да тише ты, тише! Мертвая эта штука, давным-давно мертвая. Может, еще с того времени, когда тебя и на свете не было.

— Он подал мне знак? — взвизгнула миссис Тридден.— Это мой Фоли! Там, у тебя в банке, мой мальчик! Ему было три годика! Мой мальчик, пропавший в болоте?

Она затряслась от рыданий.

— Успокойтесь, миссис Тридден. Ну успокойтесь, успокойтесь. Садитесь, возьмите себя в руки. Это такой же ваш ребенок, как, скажем, мой. Ну не надо, не надо.

Одна из женщин обняла миссис Тридден за плечи, вскоре дрожь и всхлипы перешли в неровное, толчками, дыхание и быстрый, как крылья бабочки, трепет испуганных губ.

Когда все совсем стихло, Бабушка Гвоздика тронула увядший розовый цветок, воткнутый в седые, по плечи длиной волосы и начала говорить, не вынимая изо рта трубки, покачивая головой, так что волосы ее паясали в свете лампы.

— Все это болтовня, все это пустые слова. Скорее всего мы так и не узнаем никогда, что там такое в этой банке. Скорее всего если бы мы даже и узнали, то не хотели бы знать. Ну, вроде волшебства цирковых фокусников. Если узнаешь, в чем там

жульничество, смотреть потом совсем не интересно, все равно как на кишки дохлой крысы. Мы тут все собираемся сюда раз в десять дней или что-то вроде, и мы разговариваем, вроде как светскую беседу ведем, и у нас всегда, всегда есть о чем поговорить. Узнай мы вдруг, что же это там за хреновина такая, очень может быть, нам и поговорить-то стало бы не о чем, так что вот так.

— Что она такое, эта хреновина? — пророкотал могучий голос. — Да она вообще ничто, вот же зуб даю, ничто!

Том Кармоди.

Как всегда, Том Кармоди стоял в тени — снаружи, на крыльце, и только глаза его смотрели в комнату, а губы, почти неразличимые в темноте, издевательски посмеивались, и неслышный этот смех пронзил Чарли, как жало осы. Теди, это Теди его настрополила. Теди пытается убить новую жизнь мужа, только о том и мечтает.

— Ничего, — повторил Кармоди, — в этой посудине нету, кроме спившихся медуз, гнилых и вонючих.

— Послушай, братец Кармоди, — неспешно процедил Чарли, — а ты, часом, не завидуешь?

— Еще чего! — презрительно фыркнул Кармоди. — Я просто хотел посмотреть, как вы, болваны пустоголовые, по сотому разу пережевываете пустое место. Можешь заметить, что я в вашей болтовне не принимал никакого участия и даже ноги внутрь дома не поставил. А теперь я уйду. Ну как, никто не составит мне компанию?

Желающих не нашлось. Кармоди расхохотался — ну как тут не расхохочешься, если столько людей посходило с ума; а Теди стояла в дальнем углу и сжимала кулачки — так что ногти впились в ладони. Чарли увидел, как подергиваются ее губы, и весь похолодел, и не мог ничего сказать.

Смеясь во все горло, Кармоди простучал по крыльцу высокими каблуками саног, и стрекот сверчков унес его прочь.

Беззубые десны Бабушки Гвоздики крепко сжали трубку.

— Как я уже говорила, в тот раз, перед грозой: эта самая, на полке, штука — почему она не может быть ну вроде как всем сразу? Уймой самых разных вещей. Всеми видами жизни — и

смерти — и еще чего угодно. Смешайте дождь и солнце, и грязь, и все вместе: траву, и змей, и детей, и туман, и долгие дни и ночи дохлой гадюки. Ну почему это должна быть одна вещь? Может, это — уйма?

Тихая беседа текла еще целый час, и тогда Теди ускользнула в ночь, по следам Тома Кармоди, и Чарли покрылся потом. Что-то они задумали, эти двое. Что-то нехорошее. Горячий пот лился с Чарли не переставая.

Гости разошлись поздно, Чарли лег в постель с противоречивыми чувствами. Вечер прошел отлично, только как вот насчет Теди и Тома?

Время шло и шло. Судя по рисунку небосвода, по звездам, спрятавшимся за край земли, было уже за полночь, и только тогда Чарли услышал шорох высокой травы, раздвигаемой небрежным маятником бедер. Негромко простучали каблуки — по крыльцу, в гостиную, в спальню.

Теди бесшумно легла в постель. Чарли ощущал на себе пристальный, как прикосновение, взгляд ее кошачьих глаз.

— Чарли?

Чарли помедлил.

А потом сказал:

— Я не сплю.

Теперь помедлила Теди.

— Чарли?

— Что?

— Вот спорим, ты не знаешь, где я была, спорим, ты не знаешь, где я была! — Негромкий насмешливый напев в ночи.

Чарли молчал.

Молчала и Теди, но не долго, слова рвались у нее с языка.

— Я была в Кейп-Сити, в цирке. Меня отвез Том Кармоди. Мы... мы говорили с хозяином, мы говорили, Чарли, мы правда говорили.

Теди едва слышно хихикнула.

Чарли похолодел. И приподнялся, опираясь на локоть.

— И мы узнали, что в той банке, мы узнали, что в той банке... — детской дразнилкой пропела Теди.

Чарли резко отвернулся, зажал уши руками.

— Я не хочу ничего слышать!

— Не хочешь, Чарли, а придется.— Злое змеиное шипение.— Это ж чистый анекдот. История, Чарли, просто прелесть.

— Уходи,— сказал Чарли.

— Не-а! Нет, Чарли, нетушки. Не уйду я, драгоценный ты мой,— не уйду, пока не расскажу.

— Вали отсюда!

— Подожди, дай я расскажу тебе все по порядку. Мы поговорили с этим самым хозяином цирка, и он... он чуть не лопнул от хохота. Говорит, что продал эту банку со всем ее содержимым одному... одному сельскому лоху за двенадцать зеленых. А она вся вместе и двух не стоит.

В темноте изо рта Теди расцвел черный цветок жуткого смеха.

Торопливо, захлебываясь, она закончила свой рассказ:

— Ведь все это, Чарли, самый обычный хлам. Резина, папье-маше, шелк, хлопок, борная кислота! И все, и больше ничего! А внутри — проволоочный каркас. Вот и все, что там есть, Чарли! — Резкий, уши царапающий визг.— Вот и все!

— Нет, нет!

Чарли сел как подброшенный, с треском разорвал простыню пополам.

— Я не хочу слушать! — ревел он.— Я не хочу слушать!

— То ли будет, когда все ребята узнают, какая грошовая подделка мокнет в твоей знаменитой банке! Вот уж они посмеются, прямо кататься со смеху будут!

— Ты... Чарли схватил ее за запястья,— ты хочешь им рассказать?

— Боишься, Чарли, что мне не поверят? Что посчитают меня за врушу?

— Ну почему ты не можешь оставить меня в покое? — Он яростно отшвырнул Теди.— Мелкая пакостница! Тебе ничто никогда не нравится, ты завидуешь всему, что бы я ни сделал. Этой банкой я немного поприжал тебе хвост, так ты и спать не могла, все придумывала, как бы мне нагадить!

— Ладно,— рассмеялась Теди,— никому я ничего не скажу.

— Не скажу! — с ненавистью повторил Чарли.— Главное ты уже сделала: испоганила все для меня. Теперь не так-то уж и важно, расскажешь ты кому еще или не расскажешь. Мне ты уже рассказала, и вся моя радость на этом кончилась. А все ты и Том Кармоди. Мне так хотелось стереть с его лица эту проклятую ухмылочку. Он ведь сколько уже лет надо мной смеется! Ну иди, рассказывай, что хочешь и кому хочешь — мне все равно, а так хоть ты удовольствие получишь!.

Чарли яростно шагнул, сорвал с полки банку, размахнулся, чтобы швырнуть ее об пол, но тут же замер и осторожно, дрожащими руками поставил свою драгоценность на длинный стол. И начал всхлипывать. С утратой банки он утратит весь мир. И Теди — Теди он тоже терял. С каждой неделей, с каждым месяцем она ускользала все дальше, она издевалась над ним, поднимала его на смех. Сколько уже лет Чарли сверял время своей жизни по маятнику ее бедер. Но ведь и другие мужчины — Том, к примеру, Кармоди — сверяли свое время по тому же эталону.

Теди стояла в ожидании, когда же Чарли расшибет банку, однако тот только ласково гладил холодное прозрачное стекло и мало-помалу успокаивался. Банка заслуживала благодарности — ну, хотя бы за долгие вечера, щедрые вечера, полные друзей, и тепла, и разговоров, свободно гулявших из конца в конец гостиной..

Чарли медленно повернулся. Да, Теди потеряна, потеряна безвозвратно.

— Теди, ты же не ходила в цирк.

— Именно что ходила.

— Ты врешь,— покачал головой Чарли.

— Именно что не вру.

— В этой... в этой банке должно быть что-нибудь. Что-нибудь кроме хлама, о котором ты говорила. Слишком уж многие люди верят, что в ней что-то есть. Теди. Ты не можешь этого изменить. Хозяин цирка, если ты и вправду с ним говорила... он соврал.— Чарли глубоко вздохнул и добавил: — Иди сюда, Теди.

— Что ты там еще придумала? — подозрительно сощурилась Теди.

— Подойди ко мне.— Чарли шагнул вперед.— Иди сюда.

— Не трогай меня, Чарли.

— Теди, я же просто хочу показать тебе одну вещь.— Голос Чарли звучал тихо, спокойно и настойчиво.— Ну, кисонька. Ну, кисонька. кисонька, котенок ты мой маленький... котенок!

Прошла неделя. Снова наступил вечер. Первыми пришли Дед Медноуз и Бабушка Гвоздика, за ними — Джук, миссис Тридден и Джаду, цветной человек. Дальше потянулись и все остальные — молодые и старые, благодушные и озлобленные, и все они рассаживались по стульям и ящикам, и у каждого были свои мысли, и надежды, и страхи, и вопросы. И все они негромко здоровались с Чарли, и никто не смотрел на святилище.

Они ждали, пока придут и другие, пока соберутся все. По блеску их глаз можно было понять, что каждый видит в банке что-то свое, не такое, как остальные, — что-то касающееся жизни, и бледной жизни после жизни, и жизни в смерти, и смерти в жизни, и у каждого была своя история, свой мотив, свои реплики — старые, хорошо знакомые, но все равно новые.

Чарли сидел отдельно ото всех.

— Привет, Чарли.— Кто-то заглянул в раскрытую дверь спальни.— Твоя жена, она что, снова гостит у родителей?

— Ага, смылась в Теннесси. Вернется через пару недель. Только и знает, что бегать из дому... Да будто вы ее не знаете!

— Да уж, непоседа тебе жена досталась, это точно.

Негромкие разговоры, скрип поудобнее устанавливаемых стульев, а затем, совсем неожиданно, стук каблуков и глаза, сверкающие из полутьмы крыльца,— Том Кармоди.

Том Кармоди стоял, не переступая порога, его ноги подламывались и дрожали, руки висели плетью и тоже дрожали, и он заглядывал в гостиную. Том Кармоди боялся войти. Том Кармоди не улыбался. На влажных, безвольно обвисших губах открытого рта — ни тени улыбки. Ни тени улыбки на белом как мел лице, лице человека, давно и опасно больного.

Дед взглянул на банку, прокашлялся и сказал:

— Странно, я как-то не замечал этого раньше. У него голубые глаза.

— Оно всегда имело голубые глаза,— пожала плечами Бабушка Гвоздика.

— Нет,— проскрипел Дед,— ничего подобного. Последний раз они были карие. И еще...— Он снова взглянул на банку и моргнул.— У него же коричневые волосы. Раньше у него не было коричневых волос.

— Были,— вздохнула миссис Тридден.— Были.

— И ничего подобного!

— Были, были!

Том Кармоди, дрожащий во влажной духоте летнего вечера, Том Кармоди, заглядывающий в комнату, не отрывающий глаз от банки. Чарли, небрежно на нее поглядывающий, небрежно перекатывающий в ладонях самокрутку, переполненный мира и спокойствия, уверенный в своей жизни и в своих мыслях. Том Кармоди, один в полутьме крыльца, видящий в банке то, чего никогда не видел прежде. И все — видящие то, что они хотят видеть, мысли их — частый перестук дождя по крыше.

«Мой мальчик. Мой маленький мальчик», — думает миссис Тридден.

«Мозг!» — думает Дед.

Пальцы цветного человека, мелькающие, как ножки кузнечика.

«Срединная Мама!»

«Амеба!» — поджал губы рыбак.

«Котенок! Котенок! Ну кисонька, кисонька, кисонька! — Мысли захлестывают Джуга, выпарапывают ему глаза.— Кисонька!»

«Все и вся!» — скрипят усохшие и поблекшие мысли Бабушки.— Ночь, трясина, смерть, белесая нежить, влажные морские твари!»

Тишина. А затем Дед шепчет:

— И вот что же все-таки это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно?

Чарли удовлетворенно взглянул вверх, размял самокрутку, чтобы была чуть плоская и хорошо лежала во рту. И перевел глаза на дверь, на Тома Кармоди, который никогда уже больше не улыбнется.

— Сдается мне, никогда мы этого не узнаем. Да, сдается, что не узнаем.

Он медленно покачал головой и повернулся к гостям, которые смотрели, и смотрели, и смотрели...

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие...



Человек в рубашке Роршаха*

рокау.

Что за фамилия!

Послушайте: она лает, рычит, повизгивает, нагло заявляя о себе:

Иммануил Брокау!

Ничего не скажешь — звучит! Очень подходящее имя для выдающегося психиатра из числа тех, что долгое время бороздили воды вселенского океана, но ни разу не потерпели крушения.

Быстро перелистайте труды Фрейда, точно перцем приправленные выдержками из историй болезни его пациентов, и все студенты разом чихнут:

Брокау!

Так что же все-таки с ним случилось?

Однажды он, точно герой первоклассного водевиля, взял да и исчез.

И стоило выключить театральный прожектор, как все сотворенные доктором Брокау чудеса разом померкли. Психиче-

* Герман Роршах (1884–1922) — швейцарский психиатр, изобретатель знаменитого теста Роршаха, выявляющего некие глубинные свойства человеческой личности в зависимости от ассоциаций, которые вызывают у индивидуума очертания чернильных клякс.

ски неустойчивые кролики норавлии снова спрятаться в цилиндр фокусника. Дым от выстрела всасывался обратно в дуло ружья. Все мы ждали, что будет дальше.

Десять лет о докторе Брокау никто ничего не знал. И мы уже почти перестали надеяться.

Брокау пропал, точно канул — с шутками и раскатистом хохотом — в бездны Атаантики. Чего ради? Чтобы отыскать там Моби Дика? Чтобы заняться с ним психоанализом и выяснить, что этот дьявол-альбинос на самом деле имел против безумца Ахава?

Кто знает?

В последний раз я видел Брокау, когда он бежал в сумерках по летному полю к самолету, а провожавшая его жена и шестнадцать шпидев смотрели ему вслед.

— Прощайте навсегда!

Его веселый крик показался мне шуткой. Однако уже на следующий день я обнаружил, что с двери в его кабинет содрали табличку с именем, а медицинские купетки, раздавленные пациентками, главным образом пожилыми толстухами, выставили прямо под дождь — их должны были увезти и продать с аукциона где-нибудь на Третьей авеню.

Итак, этот гигант мысли, как бы одновременно являвший собой Ганди, Моисея, Христа, Будду и Фрейда, теории которых плотными слоями лежали в его душе, точно геологические пласты в горной армянской пустыне, бесследно исчез, будто просочился меж облаками и растворился в небесной синеве. Чтобы умереть? Или чтобы жить тайно?

Прошло десять лет. Как-то я ехал на автобусе по прекрасному калифорнийскому побережью близ Ньюпорта. На остановке в автобус сел какой-то мужчина лет семидесяти, который ссыпал мелочь в кассу с таким видом, точно это была манна небесная. Я вскинул голову, посмотрел на него со своего заднего сиденья и обомлел:

— Брокау! Клянусь всеми святыми!

Да, это был он. То ли в ореоле святости, то ли так и не ставший святым, он возвышался в проходе, как видение бога Саваофа, бородатый, благодушный эрудит, похожий отчего-то на ар-

хиерея, веселый и все понимающий, все способный простить, этаким мессия и одновременно университетский наставник, вечный и неизменный...

Иммануил Брокау.

Но отнюдь не в темном строгом костюме, о нет!

Теперь он был одет, точнее, гордо облачен, словно принадлежал некоей новой церкви, вот во что:

Шорты-бермуды. Черные кожаные мексиканские сандалии. Бейсбольная шапочка с эмблемой популярной лос-анджелесской команды. Французские темные очки. И...

Вот это рубашка! Господи! Что за рубашка!

Это было нечто совершенно невообразимое! На ней цвели и переплетались лианы и ветки кустарников, а фоном им служили расплывшиеся, точно карнавальный фейерверк, крупные и мелкие пятна и кляксы самых ярких и разнообразных оттенков; а в зарослях виднелись еще и бесчисленные изображения мифологических чудовищ, и какие-то символы...

Рубашка была с отложным воротником, очень свободная и болталась на своем владельце, переливаясь всеми цветами радуги, точно тысяча флажков с парада Объединенных, однако совершенно Обезумевших Наций.

Но вот доктор Брокау сдвинул на затылок свою бейсбольную шапочку, снял французские очки, выискивая свободное местечко, и медленно двинулся по проходу, время от времени слегка поворачиваясь, останавливаясь, наклоняясь к пассажирам и что-то шепча — то мужчине, то женщине, то ребенку.

Я хотел было его окликнуть, но вдруг услышал, как он спрашивает:

— Ну, и что ты здесь видишь?

Мальчи, совершенно потрясанный клоуническим нарядом незнакомого старика, непонимающе заморгал, надеясь на подсказку, и доктор тут же ему помог:

— Да на моей рубашке, сынок! Что на ней, как по-твоему?

— Лопадки! — не задумываясь, выпалил ребенок. — Танцующие лопадки!

— Bravo! — Доктор одарил его лучезарной улыбкой, потрепал по щечке и двинулся дальше. — А вы, сэр?

Молодой человек, совершенно обескураженный тем, с какой бесцеремонностью этот человек вторгся в его мечты о лете, промямлил:

— Как?... Ну... облака, конечно.

— Кучевые или дождевые?

— Э-э... нет, пожалуй, это не грозовые тучи, а такие, знаете, кудрявые, похожие на белых овечек...

— Неплохо!

Психиатр двинулся дальше.

— Мадемуазель? Вы что-нибудь видите здесь?

— Прибой! — Девочка-подросток серьезно и внимательно смотрела на него. — Громадные волны! И на них — любители серфинга. Класс!

Доктор продолжал неторопливо идти по проходу, и уже кое-где слышался смех, становившийся все заразительнее, все громче, и старик с «грозным» видом оборачивался в сторону смеявшихся «наглецов». Теперь уже по крайней мере человек десять слышали первые ответы и включились в игру. Одна женщина умудрилась увидеть на рубашке небоскребы! Доктор изумленно уставился на нее. И подмигнул. Мужчина с нею рядом разглядел среди лиан кроссворды. Доктор с уважением пожал ему руку. Сидевший чуть дальше ребенок увидел зебр на фоне ди-кой африканской растительности — зебры, по его словам, были как живые; когда доктор хлопнул в ладоши, животные умчались прочь. А старушка увидела неясные лики Адама и Евы, изгоняемых из окутанных туманом райских кущ. Доктор даже на минутку присел с нею рядом, и они о чем-то побеседовали яростным шепотом; в итоге доктор вскочил и решительно двинулся дальше. Не знаю, действительно ли старуха видела Изгнание из Рая? Зато моя молодая соседка уверяла, что видит, как знаменитую парочку приглашают обратно!

Собаки, молнии, кошки, автомобили, грибовидные облака и кровожадные тигровые лилии!

Каждый новый участник игры своим ответом вызывал все больший энтузиазм. Мы вдруг обнаружили, что смеемся. Этот замечательный старик был просто неиссякаемым источником хэппенинга, капризом природы, проявлением неумной воли

Господней, согласно которой нас, разобитенных, точно сшивали в единое целое.

Слоны! Кабины лифтов! Набатные колокола! День Страшного Суда!

Когда доктор садился в автобус, нам абсолютно ничего друг от друга не было нужно. Но теперь!.. Словно прошел невероятный снегопад, и невозможно было не говорить о нем, или из-за внезапного перепада в напряжении разом сгорели два миллиона домов, и это событие объединило нас, обездоленных, заставив болтать друг с другом, смеяться и даже хохотать до слез, и мы чувствовали, как эти слезы очищают нам души и лица.

Каждый ответ казался смешнее предыдущих, но громче всех восхищался и прямо-таки скисал от смеха сам доктор Брокау, великий ученый, старый высокий человек, удивительный целитель, который задавал вопросы, получал на них ответы и этим избавлял любого от того клубка тайных и мучительных противоречий и тревог, что таился внутри. Киты. Бурые водоросли. Покрытые травами луга. Исчезнувшие города. Прекрасные женщины!.. Он останавливался. Поворачивался к собеседнику. Присаживался рядом. Снова вскакивал. Пестрая рубашка хлопала, как парус. Наконец он воздвигся прямо передо мной:

— Ну а вы что видите, сэр?

— Разумеется, доктора Брокау!

Его смех оборвался, как от выстрела. Он снял черные очки, потом снова нацелил их и схватил меня за плечи, желая получше рассмотреть.

— Саймон Винклаус, вы ли это?

— Я, я! Господи, доктор, я думал, вы давным-давно умерли и похоронены. Чем это вы занимаетесь?

— Занимаюсь? — Он дружески жал мне руку, нежно поглаживал меня по плечу и даже по щеке, потом оглядел себя и с извиняющимся видом забавно фыркнул. — Занимаюсь? Ничем не занимаюсь — я на пенсии. Взял да и ушел. И через день оказался за три тысячи миль от того места, где вы видели меня в последний раз... — Его пахнувшее мятой теплое дыхание коснулось моего лица. — Теперь я здесь известен прежде всего как... нет, вы только послушайте!.. как человек в рубашке Роршаха!

— В чем? В какой рубашке? — Я был потрясен.

— В рубашке Рорпаха.

Яркий, похожий на залетевший с карнавала воздушный шарик, он легко опустился на сиденье со мною рядом.

Я ошеломленно молчал.

Мы ехали по берегу синего моря, над головой сияло летнее небо.

Доктор смотрел вперед, но словно читал мои мысли, написанные на небесных скрижалях меж облаков.

— Вы спросите почему? С чего вдруг? Я все еще вижу перед собой ваше удивленное донельзя лицо, когда много лет назад мы встретились на летном поле. В тот самый день, когда я уезжал навсегда. Мой самолет следовало бы называть «Счастливейший Титаник». На нем я навеки бесследно капнул в бездонную голубизну небес. И все же вот он я, во плоти! Не пьяница, не безумец, не жалкий старикашка-пенсионер, высохший от скуки. Где же я был? Что? Почему? Каким образом?

— Да,— сказал я,— действительно, почему же вы все-таки — при таком удачном раскладе — внезапно ушли на пенсию? У вас было все — мастерство, репутация, деньги. Ни намека на...

— Скандал? Ни единого! Но тогда почему же, спросите вы? Да потому, что у меня, старого верблюда, сломался не один горб, а сразу целых два! Было две соломинки. И непростые. Удивительные! Итак, горб номер один...

Он помолчал. Искоса глянул на меня из-под черных очков.

— Можете говорить как на исповеди, доктор,— успокоил я его.— Клянусь, я буду молчать.

— Как на исповеди? Это хорошо. Что ж, спасибо...

Автобус легонько тряхнуло.

Голос доктора тоже дрогнул было и тут же зазвучал как обычно.

— Вы, наверно, помните мою фотографическую память? Я и благословлял, и проклинал ее, ибо помнил абсолютно все. Все, что когда-либо говорил, видел или делал сам, все, чего касался или слышал,— все мгновенно усваивалось мною и оседало в памяти навек; все это я мог вспомнить или воспроизвести и через сорок, и через пятьдесят, и через шестьдесят лет. Все, все застреало вот здесь, точно попав в ловушку.— Он легонько кос-

нулся висков кончиками пальцев.— Сотни психических больных, день за днем, год за годом — и ни разу не пришлось мне проверять что-либо по записям в медицинских картах! Я довольно скоро понял, что мне достаточно всего лишь включить свою память «на перемотку». Разумеется, истории болезни я вел и тщательно хранил, но никогда в них не заглядывал. Не слушал магнитофонные записи бесед с пациентами. Ну вот вам и пролог для последующих событий и моих, всех крутом шокировавших, поступков.

В один прекрасный день на шестидесятом году жизни я услышал от своей пациентки некое слово и попросил ее повторить. Почему? Неожиданно я почувствовал, что мои полукруглые каналы как бы расширились, в них словно открылись под давлением свежего холодного воздуха невидимые шлюзы. «...И верил»,— сказала та женщина. «Я думал, вы сказали “зверя”»,— удивился я. «О нет, доктор, “верил”».

Всего одно слово. Один-единственный камешек, упавший с края в бездну, но повлекший за собой лавину! Ибо я совершенно отчетливо слышал, как она сказала: «Он любил во мне зверя» — обычная «птикантная» история из области секса, не правда ли? Тогда как на самом деле она сказала: «Он любил меня и верил»,— а это, как вы сами понимаете, совсем другой коленикор.

В ту ночь я не мог уснуть. Я курил, смотрел в окно. Голова и слух были какими-то удивительно ясными, словно я наконец избавился от насморка, не проходившего лет тридцать. Я сомневался в себе самом, в своем проплатом, в собственных чувствах и ощущениях; часа в три ночи, окончательно запутавшись, я помчался в клинику — и, разумеется, обнаружил там то, что оказалось хуже всего.

То, что было занесено в истории болезни моей секретаршей — а медицинских карт было сотни! — совершенно не совпадало с тем, что хранилось у меня в голове!

— То есть...

— То есть, когда я услышал «зверя», на самом деле это было «верил»! «Зов» превратился в «зоб». «Лоб» звучал для меня как «гроб» и наоборот. Я слышал «кыш!», хотя кто-то говорил «мышь». «Лапу» я воспринимал как «шляпу», а «лень» — как

«день». В слове «да» мне слышалась «беда», а в слове «нет» — «привет» или даже «омлет». «Запор» превращался в «забор» или «набор», «зуб» — в «дуб», «черт» — в «корт»... Короче, что ни назови, все я слышал неправильно. Десятки, сотни миллионов неверно услышанных слов! Я весь похолодел от ужаса, меня трясло! Боже мой! Великий и милосердный! Что же это такое? Поистине я стал игрушкой в руках Судьбы.

Столько лет практики! Столько пациентов! Господи, Брокау, восклицал я, захлебываясь от рыданий, ты же подобен Моисею, настолько давно спустившемуся с горы Сион, что слово Божье стало звучать в ушах сто не громче писка блохи. И теперь, на склоне дней, постаревший и умудренный, ты пожелал, как и Моисей, перечесть то, что молнией написано было на священных скрижалях, и обнаружил: написано там нечто совсем иное, чем помнится тебе!

И тогда этот отчаявшийся Моисей оставил все свои посты и бежал в ночь. Хорошо понимая причину своего отчаяния, я сел в поезд и поехал в Фар-Рокавей — возможно, из-за печального отзвука в этом названии, напоминавшего мне о каменистой пустыне.

Я шел по берегу реки, слушая плеск беспокойной воды и грохот приближавшейся грозы, и в душе у меня тоже безумствовала буря. «Как,— яростно спрашивал я себя,— как мог ты жить наполовину глухим и даже не замечать этого?! Ты и узнал-то об этом сейчас только потому, что — исключительно по воле случая! — слух, этот дар Божий, вернулся к тебе! Как же ты мог быть таким беспечным?»

Единственным ответом мне был страшный раскат грома над песчаными дюнами.

Ну вот и все о том, какова была та соломинка, что сломала первый горб на спине дурацкого верблюда в человеческом облике.

Некоторое время мы оба молчали.

Автобус, покачиваясь, катился по золотившейся в лучах солнца прибрежной дороге; в окна залетал легкий ветерок.

— А вторая соломинка? — наконец решился тихонько напомнить я.

Доктор Брокау задрал на лоб свои темные французские очки-поляроиды, и солнечные зайчики, отражаясь от стекол, запрыгали по темноватому салону автобуса. Мы оба молчали, глядя на вспыхивавшие крошечные радуги, — вид у доктора был сперва отрешенный, потом во взгляде его мелькнуло восхищение и наконец нечто похожее на озабоченность.

— Зрение! Проницательность! Способность увидеть текстуру, разглядеть мельчайшие детали! Разве это не чудо? Разве не достойно восхищения? Да, именно восхищения! А что это, в сущности, такое — зрение, проницательность, интуиция? Да и действительно ли мы так уж хотим увидеть и познать наш мир?

— Еще бы! — воскликнул я.

— Типичный и весьма необдуманный ответ юнца. Нет, дорогой мой мальчик, мы этого вовсе не хотим! В двадцать лет — да, пожалуй, мы действительно думаем, что хорошо бы все на свете увидеть, примерить на себя, попробовать. Так и я считал когда-то. Однако у меня с раннего детства было слабое зрение, и я вечно «привыкал» к очередным очкам, прописанным мне окулистом. Просто смешно! И вот наступило время контактных линз. Слава богу, решил я, наконец-то мои глаза смогут видеть как полагается благодаря этим чудесным штукам, прозрачным точно слеза! И тут вдруг... Но что это было? Может, случай психосоматического заболевания? Недели не прошло, как я вставил контактные линзы, а у меня вдруг существенно улучшился... слух! Уши мои совершенно прочистились! Нет, здесь, конечно, без психосоматики не обошлось... Однако не вынуждайте меня высказывать вслух несформировавшуюся еще гипотезу, мой друг! Я уверен в одном: стоило вставить крохотные прозрачные стеклышки в мои близорукие, младенчески голубые глаза — и передо мной раскрылся целый мир! И в нем — люди! И на них — Господи, спаси и помилуй! — всякая грязь. И чудовищное количество пор! Саймон, вам когда-нибудь приходило в голову, что люди, по большей части, состоят именно из пор?

Доктор печально прикрыл глаза, давая мне время прочувствовать его вопрос. Я задумался.

— Из пор? — растерянно выдал я наконец.

— Именно! Но кому это важно? Кому это надо — рассматривать какие-то поры? К сожалению, я — со своим восстановленным зрением — видел их прекрасно! Тысячу, миллион, десять миллиардов... Поры! Крупные, мелкие, бледные, багровые... У каждого — на лице, на руках... Толпы людей шли мимо. Собирались на автобусных остановках. В театрах. У телефонных будок. И все это были сплошные поры и совсем немного реальной плоти! Мелкие поры у миниатюрных женщин. Очень крупные у мужчин-великанов. Или наоборот. Такое множество пор, что казалось, они пляшут вокруг меня, точно пылинки в солнечных лучах, проникающих на закате сквозь узкие окна церкви. Поры! Они целиком захватили мое воображение. Я смотрел на красивых женщин, а видел не прекрасные глаза, не сочные губы, не изящный изгиб уха... я видел поры! Разве не лучше было бы мне, мужчине, интересоваться тем, как движутся тонкие, хрупкие женские кости внутри покрытой нежной бархатистой кожей плоти? Разумеется, да! Но я видел лишь кожу — точнее, поры в ней, похожие на дырки в сыре или кухонное сито. Красота сникла и превратилась в гротеск. Переводя взгляд с одного предмета на другой, я словно двигал окуляры двухсотдюймового телескопа, помещенного в мою проклятую бабку! Куда бы я ни посмотрел, везде я видел изрытую порами, точно лунными кратерами, человеческую кожу. Причем чудовищно близко!

А моя собственная физиономия? Господи, обычное утреннее бритье превратилось в изощренную пытку! Я просто глаз не мог оторвать от зеркала — моя кожа напоминала мне поле битвы, покрытое воронками от снарядов. «Черт тебя побери, Иммануил Брокау! — шептал я. — Твоя кожа напоминает Гранд-Каньон в лучах яркого солнца, или кожуру апельсина, или очищенный от пикурки гранат...»

В общем, благодаря контактными линзам я снова почувствовал себя пятнадцатилетним подростком — то есть меня снова стали терзать бесконечные сомнения, я буквально распинаясь на кресте, невыносимо страдая от ужаса и ощущения полнейшей собственной неполноценности. Самый кошмарный возраст! Неужели теперь прыщавый призрак моего отрочества вновь вернулся, чтобы преследовать меня?

Я проводил ночи без сна, ощущая себя жалкой развалиной. Боже мой, второе отрочество! Господь милосердный, сжался надо мной! Как же я мог быть так слеп всю свою жизнь? Да, я был слеп и понимал это, но всегда мне казалось, что хорошее зрение не так уж и важно. Так я ползал по этому миру, точно похотливый очкарик-слепец, но близорукости своей не замечая ни у других, ни у себя самого пор и прыщей, зияющих ран и горьких слез. Но теперь реальная действительность решительно выгнала меня на улицу из моего жалкого убежища, и на лице этой действительности я прежде всего увидел поры.

Я поспешил зажмуриться и на несколько дней завалился в постель. Отлежавшись, я сел на постели и провозгласил с широко открытыми глазами: реальная действительность — это еще не все! Не нужны мне такие знания! Я ввожу в действие закон против пор! И принимаю на вооружение те истины, которые чувствую интуитивно или могу подстроить под себя.

Я продал свои глаза.

То есть отдал контактные линзы племяннику, малолетнему садисту, обожавшему всякую дрянь и водившемуся с разными подонками.

И вернулся к своим привычным, уже опять ставшим слабыми для меня очкам и прежнему туманному миру сладких грез и нежных видений. Я видел вполне достаточно, но не слишком много. Я обнаружил, что снова способен любить окружающих меня людей-призраков. Я снова видел в зеркале себя «настоящего» и уже вполне мог не только спать спокойно, но даже и нравиться себе, воспринимая собственное лицо как старого доброго приятеля. Я мог смеяться хоть каждый день, настолько я снова был счастлив! Сперва я смеялся негромко. А потом научился и хохотать вовсю.

Ах, Саймон, какая злая шутка — эта наша жизнь!

Тщеславие, и только оно одно заставляет нас покупать контактные линзы, благодаря которым можно увидеть все — и все потерять!

Зато, добровольно расставшись всего лишь с небольшой частичкой того, что называют «мудростью», «реальной действительностью», «истиной», можно вновь ощутить всю полноту жизни! Разве кто-нибудь этого не знает? Писатели-то уж, во

всяком случае, знали об этом всегда! Всем известно, что написанные исключительно благодаря вдохновению и интуиции романы порой куда «правдивее» стенографически точных репортажей с указаниями места и времени событий. Да и значат они для человечества куда больше!

И тут наконец мне пришлось-таки посмотреть правде в глаза. Меня мучили две взаимосвязанные, как оказалось, проблемы: мое слабое зрение и мой никуда не годный слух. Боже, шептал я про себя, тысячи людей прошли через мой кабинет, со скрипом ложились на кушетку и ждали, точно в пещере Дельфийского Оракула, когда же послышится эхо моих пророчеств. Ну почему, почему все так нечестно? Я же никого из своих пациентов как следует не видел и не слышал!

Кто на самом деле была эта мисс Харботта?

А что я могу сказать о старом Динсмейере?

А как в действительности выглядела мисс Гримс? Какого цвета были у нее волосы? И какой размер одежды она носила?

И правда ли, что миссис Скрепуайт была похожа — как внешне, так и шепелящим голосом — на древнюю египетскую мумию, выпавшую из своих лохмотьев прямо у меня на смотровом столе?

Я даже догадываться ни о чем не мог. Две тысячи дней тумана отделяли от меня моих утраченных теперь детей — их веселые голоса сперва окликали меня откуда-то издали, а потом умолкли совсем.

Боже мой, я же сонялся по рыночной площади, не замечая, что на груди у меня табличка: «Слеп и глух», и люди спешили бросить в мою нищенскую плошку горсть мелочи, расталкивая тех, кто уже излечился с моей помощью. Излечился! Вот уж действительно чудо! Ничего себе лекарь — старая развалина без руки, без ноги! Но что, что именно я говорил своим пациентам? Каким образом ставил правильный диагноз, если ничего не мог толком расслышать? Да и кто они такие, в самом деле? Каковы они в действительности? Этого я никогда не узнаю.

И тогда я решил: в городе по крайней мере сотни психиатров, которые видят и слышат куда лучше меня, однако даже их пациенты варут начинают купаться в море голышом, или ни с того ни с сего посреди игры покидают спортплощадку, или скру-

чивают ни в чем не повинных женщин по рукам и ногам и любуются содеянным, преспокойно раскуривая сигару.

Приходилось признать: карьера моя, несомненно, удалась.

Но ведь даже в сказке, как известно, «битый небитого везет». Битый просто не может везти битого! Как и слепой, да к тому же хромым не может исцелить хромого, да к тому же слепого.

Так кричал мой разум, однако какой-то наглый голосишко из дальнего угла моей души отвечал ему с издевкой: порой пчелиный воск может оказаться крепче бычьих рогов! Ты, Иммануил Брокау, точно фарфоровый гений — весь в трещинах от старости, но все равно великолепен. Твои замутненные глаза видят что-то недоступное прочим, твои забытые пробками уши слышат неслышимое. Ты лечишь, пользуясь своими несовершенными органами чувств, на неподвластном разуму уровне! Bravo!

Но нет, не мог я жить как прежде со столь полноценной неполноценностью! Не мог я долее хранить с самодовольным видом свою тайну, позволявшую мне морочить людям голову, и продолжать играть роль доктора Айболита, что лечит всех тварей земных подряд!

Что ж, мне было из чего выбирать. Например, снова вставить контактные линзы. Или купить слуховой аппарат, чтобы помочь моему и без того быстро восстанавливавшемуся слуху. А что потом? А потом я бы обнаружил, что начисто утратил свое «шестое чувство», так помогавшее мне и так удачно сочетавшееся с плохим зрением и слабым слухом в течение тридцати лет моей врачебной практики. Да я бы полностью потерял себя — что было бы ужасно не только для меня, целителя, но прежде всего для моих пациентов.

С другой стороны, как работать, оставаясь слепым и глухим? Это же чудовищный обман, хотя все мои записи в полном порядке — чистые, свежие, отутюженные, только что из прачечной!..

И я решил выйти на пенсию.

Сложил вещички и сбежал в пронизанную солнцем, золотистую, неведомую даль, решив, что пусть лучше уши мои совсем закупорит загадочными восковыми затычками...

Наш автобус по-прежнему ехал вдоль побережья. День был теплый. Легкие облачка порой скрывали солнце, и тогда их тени пробегали по пляжам и по телам купальщиков, растянувшихся на песке под разноцветными зонтами.

Я прокашлялась.

— Доктор, неужели вы больше никогда не захотите лечить людей?

— Но я и теперь их лечу!

— Вот как? А только что вы сказали...

— О, разумеется, неофициально, не имея собственного кабинета, не получая гонораров — нет, этого больше не будет никогда! — Доктор тихонько засмеялся. — Я по-прежнему не могу понять, как умудрился вылечить столько людей практически «наложением рук» — особенно если учесть, что руки у меня, если можно так выразиться, были «по локоть огрублены». Впрочем, мои «руки» и теперь при мне: я по-прежнему пользуюсь своими загадочными способностями.

— Каким же образом?

— С помощью этой вот рубашки. Вы же сами видели. И слышали.

— Как вы разговаривали с пассажирами?

— Именно. Посмотрите — какая расцветка, какое буйство красок! Мужчина, скажем, увидит в этой пестроте одно, а юная девушка — совсем другое. А этот малыш — третье. Зебры, козы, молнии, египетские амулеты... Что, что, что это такое? — спрашиваю я. И мне отвечают, отвечают, отвечают... Словом, я человек в рубашке Роршаха.

У меня дома дюжина таких рубашек.

Всвозможных расцветок, самых невероятных. С потрясающими рисунками. Одну из них специально для меня успел еще создать гениальный Джексон Поллак. Я ношу их по очереди — иногда один день, иногда неделю, в зависимости от того, многие ли и достаточно ли быстро и вдохновенно отвечают на мои вопросы. Потом я снимаю одну рубашку и надеваю новую. Десять миллиардов изумленных взглядов, десять миллиардов неожиданных ответов!

Да, я запросто мог бы продать такую рубашку вашему психоаналитику, приехавшему сюда в отпуск. Чтобы он тестиро-

вал ваших друзей. Или действовал на нервы вашим соседям. Или смешил вашу жену. Но нет! Это исключено, это мое личное и самое любимое развлечение! Я не стану делить его ни с кем! Я, мои рубашки, залитые солнцем пляжи, этот вот автобус и еще — тысяча солнечных дней впереди! Меня ждут пациенты.

Итак, я брожу по берегу — странно, но в этих местах не бывает зимы! Удивительно, но здесь, по-моему, не бывает и «зимы тревоги нашей» и даже смерть кажется совершенно невероятной, всего лишь пустым слухом, стоит зайти за дюны. Я иду куда и когда захочу, встречаюсь с разными людьми, и моя рубашка хлопает на ветру, как парус. Могу пойти на север или на юг, а может, сверну к юго-западу, и повсюду в ответ на мои вопросы у людей изумленно открываются глаза и они смотрят на меня — кто рассеянно, кто злобно, кто весело подмигивая, кто с трудом выпаривая слова от смущения. Но стоит кому-то одному сказать хотя бы слово насчет того, что он видит среди пересекающихся линий и пестрых клякс, как я умолкаю и останавливаюсь. Порой мы с этим человеком некоторое время беседуем. Иногда я даже иду вместе со всей его компанией купаться. И наши тела рассекают водную гладь — как я своими разговорами рассекаю дунни. Мы можем брести по берегу часами, особенно если погода хороша. Я редко провожу в одной и той же компании более одного дня, так что люди, не зная, с кем они идут рядом, свободны от каких бы то ни было условностей. Они мне ничем не обязаны. И говорят, что хотят. И все они невольно становятся моими пациентами! А потом они идут дальше по окутанному вечерними сумерками берегу, навстречу завтрашнему ясному дню, а я остаюсь позади, глухой и слепой старый человек, и машу им вслед рукой, желая счастливого пути, а потом отправляюсь домой и с удовольствием ужинаю, чувствуя, что сделала свою работу хорошо.

Но иногда я встречаю на пляже какую-нибудь наполовину уснувшую душу. Из такого человека не так-то просто вытащить его тревоги и уничтожить их при ярком солнечном свете. Одного дня на это не хватит. Ну что ж, мы, как бы случайно, встречаемся снова — через неделю — и бродим по кромке прибоя, бесечно болтая или, напротив, рассказывая о себе нечто сокровенное. И я на ходу выслушиваю исповедь человека задолго

до того, как за него возьмутся тупые священники, как его одолеют слухи и собственные тяжкие сожаления. Самое ведь обычное дело — друзья гуляют, разговаривают, слушают друг друга и уже тем самым излечивают себя, раскрывая другому тайну своих сомнений и печалей. Хорошие друзья должны делиться друг с другом бедами, должны «дарить» друг другу собственные страхи и уныние. Только так они могут от этого избавиться.

Мусор скапливается не только на лужайках и пляжах, но и в душах. С помощью всего лишь яркой рубашки и примитивной палки с гвоздиком на конце для сбора мусора я каждый день на рассвете начинаю... чистить пляжи. О, как там много тел, согретых жарким солнцем! И сколько заблудших душ, потерявших дорогу во тьме! Я стараюсь никого не пропустить и ни об кого не... споткнуться.

В окно автобуса ворвался свежий и прохладный ветер, и по старой пестрой рубашке доктора пробежали волны.

Автобус остановился.

Доктор Брокау, точно вдруг заметив, что проехал свою остановку, вскочил.

— Подождите!

Все пассажиры разом обернулись с улыбкой, точно ожидая выхода эстрадной звезды.

Доктор похлопал меня по руке и бросился к передней двери автобуса. Уже готовясь сойти, он обернулся, шлепнул себя по лбу, снял черные очки, подмигнул мне и возопил:

— А вы-то!

По всей вероятности, я уже стал для близорукого доктора персонажем с картины какого-нибудь представителя пуантилизма — я сидел слишком далеко от него.

— А вы-то сами! — Да, он обращался ко мне — загадочно-му облачку живой материи, и точно такие же теплые облачка окружали его со всех сторон. — Вы-то ведь так мне ничего и не сказали! Так что же, что видите вы?

Он выпрямился во весь рост, чтобы я мог получше разглядеть его невероятную рубашку, рубашку Рорпаху, трепетавшую на ветру и переливавшуюся всеми красками радуги.

Я посмотрел на нее. Зажмурился на мгновение и возвестил:

— Это восход солнца!

Доктор привычно мягко парировал:

— А вы уверены, что не закат? — И приложил согнутую чашечкой ладонь к уху, чтобы лучше слышать.

Я снова посмотрел на его рубашку и улыбнулся. Я надеялся, что он увидит, почувствует мою улыбку, даже если будет в тысяче миль от этого автобуса!

— Нет, — сказал я. — Это, конечно же, восход. И очень красивый.

Он зажмурился, как бы переваривая то, что я сказал. Его руки, великие руки доктора Брокау, блуждали по полотну старой, потрепанной и ставшей совсем мягкой рубашки, точно по знакомым берегам. Потом он согласно кивнул, открыл свои светло-голубые глаза, махнул мне на прощание рукой и шагнул в свой широкий мир.

Когда автобус тронулся, я посмотрел назад.

И увидел, как доктор Брокау, сразу же сойдя с шоссе, бредет по пляжу среди нежащих на солнце тысяч купальщиков, выбирая наутад одного из представителей этого теплого мира.

Казалось, он легко идет по морю из человеческих тел, «аки по суху», и мне еще долго была видна его высокая фигура.



Город, в котором никто не выходит

Пересекая Соединенные Штаты ночью или днем на поезде, вы проносите мимо череды печальных городишек, где никто и никогда не выходит. Точнее, не выходит никто посторонний. Человеку, не имеющему здесь корней и родных, похороненных на местном кладбище, никогда не придет в голову посмотреть вблизи на пустынную одинокую станцию или полюбоваться унылыми пейзажами.

Я заговорил об этом со своим попутчиком, таким же, как и я, коммивояжером, когда мы мчались по штату Айова на поезде Чикаго—Лос-Анджелес.

— Это точно, — согласился он. — Люди выходят в Чикаго, все до единого. Выходят в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Те, кто там не живет, приезжают, чтобы увидеть город, а потом рассказать всем своим знакомым. Но чем, скажите на милость, станет любоваться турист в Фокс-Хилле, штат Небраска? Вы или я, например? Нет уж, увольте. Знакомых у меня там нет, дел быть не может, это никакой не курорт, так за каким чертом он мне сдался?

— А вам не кажется, что для разнообразия взять и провести отпуск совсем не так, как всегда, было бы просто восхитительно? Выбрать какую-нибудь деревеньку, затерявшуюся среди

равнин, где вы не знаете ни единой души, и, плонув на все, махнуть туда?

— Вы там от тоски умрете.

— Эта идея почему-то совсем не навевает на меня тоску! — Я выглянул в окно. — Какая следующая остановка? Как называется город?

— Рэмпарт.

— Звучит недурно. — Я улыбнулся. — Может быть, я там сойду.

— Вы гаупец и врун. Чего вы ищете? Приключений? Романтики? Через десять секунд после того, как поезд скроется из виду, вы начнете проклинать себя самыми разными словами, найдете такси и помчитесь вдогонку за поездом.

— Вполне возможно.

Я наблюдал за телефонными столбами, пронесившимися мимо, мимо, мимо... Где-то далеко впереди появились едва различимые очертания города.

— Впрочем, вряд ли, — услышал я собственный голос.

Коммивояжер, сидевший напротив, несколько удивленно на меня взглянул.

Потому что медленно, очень медленно я начал подниматься на ноги. Потянулся за шляпой. Заметил, как моя рука взялась за чемодан.

Я и сам был немало удивлен.

— Подождите! — воскликнул коммивояжер. — Что вы делаете?

Поезд вошел в довольно крутой вираж, и я покачнулся. Теперь уже стали отчетливо видны шпиль церквушки, густой лес и пшеничное поле.

— Похоже, схожу с поезда, — сказал я.

— Сядьте! — возмутился мой попутчик.

— Нет, — ответил я. — В этом приближающемся городе что-то есть. Я должен посмотреть. У меня полно времени. На самом деле мне нужно быть в Лос-Анджелесе только в следующий понедельник. Если я сейчас не сойду с поезда, то до конца жизни буду думать о том, что потерял, упустил и не увидел что-то особенное, а ведь у меня была такая возможность.

— Мы же просто разговаривали! Тут нет ничего особенного.

— Вы ошибаетесь,— возразил я ему.— Тут что-то есть.

Я надел шляпу и взял в руку чемодан.

— Господи,— простонал коммивояжер,— кажется, вы и в самом деле собираетесь это сделать.

Сердце отчаянно колотилось у меня в груди, щеки пылали.

Локомотив подавал сигнал. Поезд мчался по рельсам вперед. Город был уже совсем близко!

— Пожелайте мне удачи,— попросил я.

— Удачи! — сказал мой попутчик.

А я с громким криком бросился к проводнику.

К стене здания станции прямо на платформе был приставлен древний облезлый стул. А на нем совершенно расслабленно, так, что он совсем утонул в своей одежде, устроился старик лет семидесяти; казалось, его приколотили гвоздями, когда строили станцию, и он с тех пор тут и сидит. Солнце так долго жгло его лицо, что оно стало почти черным, а щеки превратились в тяжелые, совсем как у ящерицы, складки кожи,— создавалось впечатление, будто он постоянно щурится. Летний ветерок чуть нивелил волосы цвета дымного непа. Голубая рубашка, расстегнутая у ворота, откуда выглядывали белые пружинистые завитки, невероятно похожие на внутренности часового механизма, по цвету ничем не отличалась от белесого, точно выгоревшего, неба над головой. Ботинки покрылись трещинами и водырями, словно старик бесконечно и неподвижно стоял возле пылающей печи, засунув их, не жалея, в ее огнедышащую пасть. Тень старика, прячущаяся где-то у его ног, была выкрашена в непроглядный мрак.

Когда я вышел на перрон, старик быстро оглядел весь состав, а потом удивленно уставился на меня.

Я решил, что вот сейчас он помахает мне рукой.

Однако в его полуприкрытых глазах что-то промелькнуло, они как будто чуть изменили свой цвет; произошел некий химический процесс — узнавание. Впрочем, старик по-прежнему сидел неподвижно, ни один мускул лица — ни уголок рта, ни веко — не дрогнуло.

Я проследил глазами за отъезжающим поездом. На платформе никого не было. Возле покрытой паутиной, заколоченной досками кассы не стояло никаких машин. Лишь я один, оставив за спиной железный перестук колес, устремился в неизведанное, ступив на расшатанные доски платформы.

Поезд утробно загудел, сообщая всей округе, что он начал взбираться на холм.

«Какой же я дурак! — подумал я. Мой попутчик был совершенно прав. Скука, царящая в этом городке, скука, которую я ощутил всем своим существом, уже навела на меня ужас.— Ну хорошо, я дурак — согласен. Но бежать отсюда — нет!»

Не глядя на старика, мы с моим чемоданом прошли по платформе. Оказавшись рядом с сидящим, я услышал, как его хрупкое тело снова изменило положение, теперь для того, чтобы я обратил на него внимание. Ноги старика коснулись прогнивших досок платформы.

Я не остановился.

— Добрый день,— донесся до меня едва различимый голос.

Я знал, что он на меня не смотрит, что его глаза подняты к огромному, безоблачному, мерцающему небу.

— Добрый день,— ответил я.

И направился по прямой дороге в сторону города. Ярдов через сто я оглянулся.

Старик по-прежнему сидел на своем стуле, смотрел на солнце, будто задал ему какой-то вопрос и ждал ответа.

Я ускорил шаг.

И оказался в провинциальном сонном городке, днем, один, где никто меня не знал. Я был похож на форель, которая плывет вверх по течению, не касаясь берегов прозрачной реки жизни, нссущей свои воды мимо.

Мои подозрения подтвердились: в этом городке никогда и ничего не происходило. Хронология событий здесь примерно такова.

Ровно в четыре часа хлопнула дверь скобяной лавки Хоннегера, из нее вышел пес и принялся валяться в пыли. В четыре тридцать соломинка с хлопаящим звуком коснулась дна опустевшего стакана с лимонадом, да так громко, словно в тишине закусочной разверзлись хляби небесные. Пять часов — ма-

чишки и мелкие камешки посыпались в городскую речку. Пять пятнадцать — в косых лучах вечернего солнца перенга муравьев чинно пропала под старыми вязами.

И все же — я медленно кружил по улицам — здесь обязательно должно быть нечто такое, что необходимо увидеть. Я это знал. Знал, что ни в коем случае не должен останавливаться, главное — старательно смотреть по сторонам. Знал, что обязательно найду, если буду хорошенько искать.

Я не останавливался. И смотрел по сторонам.

За все время моей прогулки по городку я обратил внимание только на один постоянный, неменяющийся фактор: старик в выгоревших голубых брюках и рубаше всегда был рядом. Когда я зашел в закусную, он устроился снаружи возле двери и сидел, сплевывая табак, который мгновенно превращался в пыльные шарики, разбегающиеся в разные стороны. А когда я стоял у реки, он присел чуть ниже по течению, изображая, будто моет руки.

Где-то в половине восьмого вечера я уже в восьмой или девятый раз делал обход тихого городка, когда услышал у себя за спиной шаги.

Я оглянулся. Старик меня догонял, он шагал, глядя прямо перед собой, в зубах у него была зажата сухая травинка.

— Давненько, — тихо сказал он.

Мы шли, не останавливаясь, в сгущающихся сумерках.

— Давненько, — продолжал старик, — я жду на платформе.

— Вы? — спросил я.

— Я. — Он кивнул, оставаясь в тени деревьев.

— Вы ждали кого-то на станции?

— Да, — ответил он. — Тебя.

— Меня? — В моем голосе, видимо, прозвучало удивление, которое я испытал. — Почему?.. Вы же меня ни разу в жизни не видели.

— А разве я сказал, что видел? Сказал только, что ждал.

Мы уже были на окраине городка. Старик повернул, и я — вслед за ним, на темнеющий берег реки, в сторону насыпи, по которой промчался ночной поезд, направляющийся куда-то на восток, на запад, почти не делающий остановок в пути.

— Хотите что-нибудь про меня узнать? — спросил я. — Вы шериф?

— Да нет, я не шериф. И не хочу про тебя ничего знать. — Старик засунул руки в карманы. Солнце уже село, стало неожиданно холодно. — Меня просто удивило, что ты в конце концов приехал.

— Удивило?

— Удивило, — сказал он, — и... обрадовало.

Я резко остановился и посмотрел на старика:

— Сколько же вы так просидели на станции?

— Двадцать лет. Ну примерно — чуть больше или чуть меньше.

Я знал, что он говорит правду; его голос шелестел тихо и неспешно, словно вода в реке.

— Вы ждали меня? — переспросил я.

— Или кого-нибудь вроде тебя, — ответил старик.

Мы шли вперед. Становилось все темнее.

— Как тебе понравился наш город?

— Приятный, тихий.

— Приятный, тихий. — Он кивнул. — А люди понравились?

— Похоже, люди здесь тоже приятные и тихие.

— Вот именно, — согласился старик. — Приятные и тихие.

Я уже собирался повернуть, но мой попутчик не умолкал, и, чтобы не показаться ему невежливым и выслушать, мне пришлось продолжать идти рядом с ним. Нас окутал глубокий ночной мрак, поскольку мы уже оказались в полях за городом.

— Да, — заявил старик, — в тот день, когда я вышел на пенсию, двадцать лет назад, я уселся на платформе на станции и с тех самых пор там и сидел — просто так, дожидаясь, когда что-нибудь случится. Я не знал, что это такое будет, не знал, не смог бы сказать, если бы кто меня и спросил. Только был уверен, что, когда оно все-таки произойдет, я сразу все пойму, узнаю. Посмотрю и скажу: «Да, сэр, вот чего я так долго ждал». Крушение поезда? Нет. Моя старая подруга вернулась в город через пятьдесят лет? Нет, нет и нет. Трудно сказать. Я ждал кого-то. Или чего-то. Мне кажется, ты именно к этому относишься. Жаль, я не могу...

— А почему бы не попытаться? — предложил я ему.

На небе появились звезды, мы по-прежнему, не останавливаясь, шли вперед.

— Ну,— медленно начал старик,— тебе известно, что у тебя внутри?

— Вы имеете в виду мой желудок или психологию?

— Вот-вот. Я имею в виду твою голову, мозги. Ты про это много знаешь?

У меня под ногами шуршала трава.

— Кое-что.

— Вы теперь многих ненавидите?

— Не очень.

— Такое происходит со всеми. Ненависть — нормальное явление, правда? И не только ненависть... мы ведь никогда об этом не говорим, но разве нам не хочется причинить страдания тому, кто нас обидел, иногда даже убить его?

— Не проходит и недели, чтобы такое чувство не возникло,— ответил я.— Только мы противостояли ему.

— Всю свою жизнь мы гоним от себя эти мысли,— сказал старик.— В городе начнутся разговоры, а что скажут мама и папа, что скажет закон? И поэтому ты откладываешь одно убийство, а потом другое, и третье... К тому времени, когда достигнешь моего возраста, у тебя за душой накопится уже много всего такого. И если ты не пойдешь на какую-нибудь войну, тебе ни за что не избавиться от тяжести в душе.

— Кое-кто стреляет уток, а иные ставят капканы,— заявил я.— Другие занимаются боксом или борьбой.

— А есть и такие, кто ничего эдакого не делает. Я сейчас говорю про них. Вот я, например. Всю жизнь я засаливал тела, складывал их на лед, чтобы не протухли,— в своей голове, естественно. Иногда ты свирепеешь оттого, что город, в котором живешь, и люди, рядом с которыми живешь, заставляют тебя отказаться от подобных идей. И начинаешь завидовать древним пещерным дикарям — им только и нужно было, что издать воинственный клич, размахнуться дубиной, треснуть кого-нибудь по башке — и все в порядке.

— Что приводит нас к...

— Что приводит нас к следующему выводу: каждый человек в своей жизни хотел бы совершить хотя бы одно убийство,

сбросить груз, лежащий у него на плечах, отыграться за все несбывшиеся убийства, за то, что ему не хватило духа поднять руку на своих врагов. Иногда такая возможность представляется. Кто-то перебегает дорогу прямо перед носом его машины, а он забывает нажать на тормоз и мчится вперед. Тут никто ничего не докажет. Этот человек даже себе не признается, почему он так поступил. Он просто не успел поставить ногу на педаль тормоза. Но ты и я, мы-то знаем, что произошло на самом деле, не правда ли?

— Да,— согласился я.

Теперь город остался далеко позади. Мы пересекли небольшую речушку по деревянному мосту, совсем рядом с железно-дорожной насыпью.

— Так вот,— продолжал старик, глядя в воду,— совершать стоит только идеальное убийство, когда никто не сможет догадаться, кто виноват, почему он это сделал и кто стал жертвой, верно? Лет двадцать назад мне в голову пришла идея. Я думаю об этом не каждый день, даже не каждую неделю. Иногда забываю на целые месяцы. Послушай меня внимательно: здесь останавливается всего один поезд в день, а порой и вовсе ни одного. Если ты хочешь кого-нибудь убить, нужно подождать — может быть, на это уйдут многие годы — человека, который сойдет с поезда просто так, без всякой на то причины, человека, которого никто в городе не знает и который сам очутился здесь впервые. Сидя на своем стуле на платформе, я понял, что только в этом случае ты можешь подойти к нему и, когда рядом никого не будет, убить, а тело сбросить в реку. Его обнаружат через многие мили вниз по течению. А может, и вовсе не найдут. Никому и в голову не придет искать бедолагу в Рэмпарте. Он ведь туда не собирался. Он ехал в какое-то совсем другое место. Вот какая идея пришла мне в голову лет двадцать назад. И я понял, что узнаю этого человека в ту самую минуту, когда он сойдет с поезда. Узнаю так же уверенно...

Я остановился. Уже совсем стемнело. Луна займет на небе свое место только через час.

— Узнаете? — спросил я.

— Да,— ответил старик. Я заметил, как он поднял голову к звездам.— Ну ладно, что-то я разболтался.

Старик подошел ко мне поближе и взял за локоть. Его рука показалась мне такой горячей, словно, прежде чем прикоснуться ко мне, он подержал ее над печкой. Другая рука, правая, напряженная, сжатая в кулак, оставалась в кармане.

— Пожалуй, пора кончать с разговорами.

Раздался пронзительный крик.

У нас над головами по невидимым рельсам мчался ночной экспресс — взлетел на холм, мимо леса, фермерских домиков, городских стросний, полей, канав, лугов, вспаханных земель и водоемов, а потом с диким воем прогрохотал где-то в вышине и исчез. Еще несколько секунд после того, как он скрылся из виду, дрожали, звенели рельсы, потом все стихло.

Старик и я стояли в темноте, не спуская друг с друга глаз.левой рукой он все еще держал меня за локоть, другая по-прежнему оставалась в кармане.

— А мне можно кое-что сказать? — спросил я наконец.

Он кивнул.

— Про себя. — Мне пришлось помолчать немного, потому что каждый вдох давался с трудом. Я заставил себя снова заговорить. — Забавно получается. Мне часто приходили в голову точно такие же мысли. Как раз сегодня, в поезде, по дороге в Лос-Анджелес я подумал: как великолепно, как замечательно, как прекрасно это было бы... Дела в последнее время идут неважно. Жена больна. На прошлой неделе умер лучший друг. В мире много войн. А я сам как натянутая струна. Было бы совсем неплохо, даже здорово было бы...

— Что? — спросил старик, так и не убрав руки с моего локтя.

— Сойти с поезда в каком-нибудь маленьком городишке, — ответил я, — где меня никто не знает, положить в карман пистолет, найти кого-нибудь, пристрелить, закопать, а потом вернуться на станцию, сесть в какой-нибудь поезд и вернуться домой. И никто ни за что на свете не догадается, кто это сделал. «Идеальное убийство», — подумал я. И сошел с поезда.

Мы стояли в темноте еще, наверное, минуту и смотрели друг на друга. Может быть, прислушивались к тому, как стучат наши сердца. Очень громко и отчаянно.

Мир подо мной дрогнул. Я сжал кулаки. Я хотел упасть. Хотел закричать совсем как поезд.

Потому что совершенно неожиданно понял, что все сказанное мной не было ложью, сочиненной ради спасения жизни. Все, что секунду назад и поведал этому человеку, — истинная правда.

Теперь я знал, почему вышел на этой станции и бродил по городу. Знал, что искал.

Я услышал тяжелое, быстрое дыхание старика. Он сжимал рукой мой локоть, словно боялся упасть. Он стиснул зубы и наклонился ко мне, а я наклонился к нему. Между нами повисло короткое напряженное молчание, точно перед взрывом.

Наконец он заставил себя заговорить. Я услышал голос человека, раздавленного страшным грузом.

— А откуда мне знать, что у тебя есть пистолет?

— Ниоткуда. — Слова прозвучали как-то смазанно. — Вы ничего не можете знать наверняка.

Старик ждал. Мне показалось, что в следующее мгновение он потеряет сознание.

— Так вот, значит, как оно получается? — спросил он.

— Вот так-то оно получается, — ответил я.

Он зажмурился. Сжал губы.

Еще через пять секунд ему удалось — очень медленно, с трудом — оторвать пальцы от моей невыносимо тяжелой руки. Потом он взглянул на свою правую руку и вынул ее из кармана — она была пуста.

Осторожно, напряженно, неуверенно мы отвернулись друг от друга и, ничего не видя, совсем ничего, в темноте ночи зашагали в разные стороны.

Огоньки останавливающегося по требованию пассажиров полуночного экспресса плясали на рельсах. Только когда поезд отошел от станции, я выглянул в дверь пудмановского вагона и посмотрел назад.

Старик сидел на своем месте, на стуле, прислоненном к стене, в выгоревших голубых брюках и рубашке. Его пропеченное солнцем лицо не повернулось в мою сторону, когда поезд пронесся мимо. Его взгляд был устремлен на восток, на пустые рельсы, туда, откуда завтра, или послезавтра, или еще когда-нибудь появится поезд, какой-нибудь, неважно какой, приблизит-

ся к станции, замедлит ход, а потом и остановится. Лицо старика ничего не выражало, а бесцветные глаза, словно скованные лютым морозом, смотрели на восток. Казалось, что ему все сто лет.

Поезд взвыл.

Неожиданно почувствовав и себя древним стариком, я прищурился и высунулся из двери.

Теперь нас разделял тот самый мрак, который свел сначала. Старик, станция, городок, лес затерялись в ночи.

Целый час я стояла, слушая вой ветра и глядя назад, в темноту.



Пристальная покерная фишка работы А. Матисса

ейчас, в момент нашего с ним знакомства, Джордж Гарви — ничто, нуль без палочки. Позднее он будет цеголять моноклем работы самого Матисса — белой покерной фишкой с изображением голубого глаза. Вполне возможно, что еще позднее из золоченой клетки, вделанной в искусственную ногу Джорджа Гарви, полькуются трели и рулады, а левая его рука обретет новую — красная медь с нефритом! — кисть.

Но сперва взгляните на ужасающе заурядного человека.

— Финансовую секцию, дорогая?

Его квартира, вечер, шорох газет.

— Метеорологи пишут: «Ожидается дождь».

Дыхание, черные волоски в поздрых колышутся — внутри-наружу, внутри-наружу, тихо, спокойно, размеренно, час, другой...

— Пора и ложиться.

По внешности — прямой потомок восковых витринных манекенов образца 1907 года. Умеет, на зависть всем магазинам и фокусникам, сесть в зеленое велюровое кресло и — исчезнуть. Отвернитесь — и вы уже забыли его лицо. Тарелка мапной каши.

И вот, случайнейшая из случайностей сделала его ядром, средоточием авангардного литературного течения, дичайшего на памяти человечества.

Уже двадцать лет супруги Гарви жили в гулкой пустоте одиночества. Прелестная женщина, однако опасность неизбежной встречи с ним втистую отпугивала всех возможных посетителей.

Гарви обладал способностью мгновенно мумифицировать людей — о чем не догадывались ни его жена, ни он сам. Супруги утверждали, что после суматошного рабочего дня им очень приятно провести вечер спокойно, в обществе друг друга. Оба выполняли тусклую, бесцветную работу. Случалось, что даже они сами не могли припомнить название тусклой, бесцветной фирмы, поручавшей им эту работу, — белая краска на белом.

Записывайтесь в авангард! Записывайтесь в «Странный септет»!

Великолепная семерка расцвела махровым цветом в парижских полуподвалах, под звуки довольно вялой разновидности джаза; шесть с лишним месяцев она чудом сохраняла свои в высшей степени неустойчивые взаимоотношения, вернулась в Соединенные Штаты и тут, ежесекундно готовая с треском развалиться, паткнулась на мистера Джорджа Гарви.

— Мой бог! — воскликнул Александр Пейп, экс-самодержец шайки. — Я познакомился с потрясающим занудой. Вы просто обязаны на него посмотреть! Прошлым вечером Билл Тимминс оставил на двери записку, что, мол, вернусь через час. Я слоняюсь по холлу, и тут этот самый Гарви предлагает мне подождать в его квартире. Вот там мы и сидели — Гарви, его жена и я. Невероятно! Он — сама чудовищная Тоска, порожденная нашим материалистическим обществом. У него в арсенале миллионы способов парализовать человека! Великолепный антикварный экземпляр с непревзойденным талантом доводить до ступора, до глубокого сонного оцепенения, до полной остановки сердца. Клинический, лабораторный случай. Пошли к нему, нагрянем на него все вместе!

Они слетелись как стервятники! Жизнь текла к дверям Гарви, жизнь сидела в его гостиной. «Странный септет» разместился на засаленном диванчике, «Странный септет» пожирал добычу глазами.

Гарви нервничал, не находил себе места.

— Если кто-нибудь хочет закурить... — Бледнейшая, почти что и не заметная улыбка. — Так вы не стесняйтесь — курите.

Тишина.

Инструкция гласила: «Молчать, чтобы никто ни полслова. Пусть подергается. Это — лучший способ выявить его сокровищительную заурядность. Американская культура — абсолютный ноль».

Три минуты полной тишины и неподвижности. Мистер Гарви чуть подался вперед.

— Э-э... — произнес он, — каким бизнесом занимаетесь вы, мистер?..

— Крэбтри. Поэт.

Гарви обдумал услышанное.

— Ну и как, — сказал он, — ваш бизнес?

Ни звука.

Пред нами фирменное молчание Гарви. Пред нами крупнейший в мире производитель и поставщик молчаний, назовите любое, и он вручит вам заказ, упакованный в благопристойное откашливание, завязанный еле слышными перешептываниями. Смущенное и оскорбленное, невозмутимое и торжественное, равнодушное и беспокойное, и даже то молчание, которое золото, — все что угодно, только обратитесь к Гарви.

Но вернемся к конкретному молчанию данного, конкретно-го вечера — «Странный септет» буквально им упивался. Позднее, в своей квартире, за бутылкой «незамысловатого, но вполне приличного» красного вина (очередная фаза развития привела их в соприкосновение с реальной реальностью) эта тишина была разорвана в клочья, изгрызена и разжевана.

— Ты обратил внимание, как он мял уголок воротника? Да-а!

— И все-таки что ни говорите, мужик он почти крутой. Я упомянул Майтси Спэннера и Бикса Байдербека — видели его в тот момент? Хотя бы глазом моргнула. А вот я... я только мечтать могу о таком выражении лица, чтобы полное безразличие и ноль эмоций.

Готовясь ко сну, Джордж Гарви перебирал в уме события необыкновенного вечера. Приходилось признать, что в тот момент, когда ситуация стала совсем неуправляемой — когда на-

чалось обсуждение загадочных книг, незнакомой музыки,— он запаниковал, похолодел от ужаса.

Но это, похоже, не слишком озаботило необычных гостей. Более того, при прощании все они энергично трясли ему руку, рассыпались в благодарностях за великолепно проведенный вечер.

— Вот это я понимаю — прирожденный, профессиональный, высшего разряда зануда! — воскликнул в противоположном конце города Александр Пейп.

— Как знать, возможно, он потихоньку хихикает над нами,— возразил Смит, малый американский поэт двадцатого века.

Находясь в бодрствующем состоянии, Смит оспаривал все без исключения утверждения Пейпа.

— Надо сводить туда Минни и Тома, они валяются в нашего Гарви. Да-а, вечерок был — просто восторг, воспоминаний на месяц хватит.

— А вы заметили,— блаженно зажмурился Смит, малый поэт.— Краны в их ванной.— Он сделал драматическую паузу.— Горячая вода.

Все раздраженно вскинули на Смита глаза.

Им и в голову не пришло попробовать.

Шайка разрасталась; она на невероятных дрожжах, она выламывала двери, выпирала через окна.

— Ты не видел еще Гарви? Господи! Возвращайся в свой гроб! Вот точно говорю — Гарви релетирует. Ну разве можно быть настолько серым без системы Станиславского?

Александр Пейп неизменно ввергал всю компанию в уныние безукоризненными речевыми имитациями; теперь он заговорил точь-в-точь как Гарви — медленно, неуверенно и смущенно.

— «Улисс»? А это не та книга, где про грека, про корабль и про одноглазого людоеда? Простите? — Пауза.— О-о! — Еще одна пауза.— Понятно.— Полное изумление.— «Улисса» написал Джеймс Джойс? Странно. Я готов был покаяться, что точно помню, как много лет назад, в школе...

Они ненавидели Александра Пейпа за эти блестящие имитации — и все же покатались от хохота. Продолжение не замедлило последовать.

— Теннесси Уильямс? Это что, тот самый, который написал слащавую деревенскую песенку «Вальс»*?

— Быстро! — хором закричал народ.— Какой там у Гарви адрес?

— Да-а,— сказал мистер Гарви своей жене,— последнее время жизнь бьет ключом.

— А ведь это все ты,— ответила его жена.— Ты заметил, как они боятся пропустить хоть одно твоё слово?

— Напряженность их внимания,— сказал мистер Гарви,— граничит с истерией. Они буквально взрываются от самых невинных моих замечаний. Странно. Ведь в конторе любая моя шутка словно натывается на каменную стену. Вот сегодня, скажем, я и вообще не пытался шутить. Очевидно, во все, что я делаю или говорю, незаметно выплывает струйка подсознательного юмора. Очень приятно, что во мне это есть, раньше я даже не подозревал... Ага, вот и звонок. Начинается.

— Нужно извлечь Гарви из постели в четыре утра,— сообщил Александр Пейп.— Вот тогда он — действительно пальчики оближешь. Полное изнеможение плюс мораль *fin de siècle*** составляют изысканнейший салат.

Все дружно обиделись на Пейпа — ну почему именно он придумал наблюдать Гарви на рассвете? И все же конец октября был отмечен повышенным интересом к послеполуночному времени.

Собственное подсознание нашептывало мистеру Гарви, что он — премьер, открывающая театральный сезон, что дальнейший успех полностью зависит от устойчивости скуки, навешиваемой им на зрителей. Купаясь во внимании гостей, он, однако, догадывался, с какой именно стати стекаются эти лемминги к его личному океану. По сути своей, в глубине, Гарви был на ред-

* Песня в стиле кантри «Теннесси-вальс» не имеет, естественно, никакого отношения к Теннесси Уильямсу.

** «Конец века» (*фр.*) — литература и искусство 1890-х; декадентство.

кость блестящей личностью, однако втиснутую лишенные какого-либо воображения родители втиснули его в прокрустово ложе привычного своего окружения. Далее он попал в еще худшую соковыжималку — Контора плюс Фирма плюс Жена. Конечный результат: человек, чьи потенциальные возможности превратились в бомбу замедленного действия, двадцать лет мирно тикавшую в мирной гостиной. Подавленное подсознание Гарви наполовину осознавало, что авангардисты в жизни не встречали никого, ему подобного — или, вернее, встречали миллионы таких, но никогда прежде не удосуживались подвергнуть одного из них исследованию.

Итог исследования: он стал первой знаменитостью сезона. Через месяц в этой роли может оказаться какой-нибудь абстракционист из Аллентауна, сменивший кисти на садовый распылитель ядохимикатов и кондитерские шприцы, разбрызгивающий с двенадцатифутовой стремянки малярную краску исключительно двух — синего и светло-серого — оттенков на холст, загрунтованный неровными слоями клея и кофейной гущи, чей творческий рост зависит от признания общественности. Или — чикагский жестянщик, творец мобилей, пятнадцать лет от роду, но уже умудренный всей мудростью веков.

Ушлое подсознание мистера Гарви прониклось еще большими подозрениями, когда он допустил колоссальную оплошность — прочитал номер излюбленного авангардистами журнала «Ньюклиэс».

— Вот, скажем, этот материал о Данте, — сказал Гарви. — Очень, очень любопытно. Особенно анализ пространственных метаморфоз, происходящих у подножия Antipurgatorio, и обсуждение Paradiso Terreste*. А пассаж, где обсуждаются песни XV—XVIII веков, так называемые «доктринальные кантос», просто великолепен.

Ну и как же реагировал на это «Странный септет»?

Они были опеломлены — все, до единого.

В воздухе повис зябкий холодок.

Дальше — хуже. Выйдя из роли восхитительно заурядного недотепы, не имеющего за душой ни единой собственной мыс-

* Речь, вероятно, идет о второй и третьей частях «Божественной комедии» Данте.

ли, жалкого раба машинной цивилизации, чья единственная мечта — чтобы все не хуже, чем у соседей, Гарви доводил их до бешенства своими соображениями по статье «Все ли еще экзистенциален экзистенциализм, или Крафт-Эббинг*». И они ушли.

Им не нужны умственные рассуждения об алхимии и символике, преподносимые твоим писклявым голоском, увещевало Гарви его подсознание. Им нужен исключительно простой, старомодный белый хлеб с деревенским, домашнего приготовления, маслом, чтобы пережевывать затем в каком-нибудь полутемном баре, восклицая «как восхитительно!»

Гарви отступил на прежние позиции.

На следующий вечер он снова был таким же, как раньше, милейшим, драгоценнейшим, чистейшей воды — хоть на зуб пробуй — Гарви. Дейл Карнеги? Великий религиозный вождь! Харт Шаффнер и Маркс? Лучше любой Бонд-стрит. Новейшая Книга Месяца? Вот она, на столе. Вы читали когда-нибудь Элинон Глин?

«Странный септет» впал в почти истерический экстаз. Они согласились — не очень даже упираясь — посмотреть Мильтона Берля. Каждая шутка, каждое слово Берля вызывало у Гарви приступы неудержимого хохота. Соседи Гарви согласились записывать на видеомэгнитофон дневные мыльные оперы, Гарви их ежевечерне смотрел, смотрел, не отрываясь от экрана, с чистым, религиозным благоговением. «Странный септет» с таким же благоговением смотрел на Гарви, они изучали его лицо, анализировали его абсолютную преданность «Матушке Перкинс» и «Второй жене Джона».

Гарви хитрил прямо на глазах. Ты на вершине успеха, говорило ему внутреннее «я». Оставайся на вершине! Радуй свою аудиторию! Завтра... завтра поставь им пластинки «Двух Черных Ворон»! И осторожнее, осторожнее! Вот, скажем, Бонни

* Непереводимая игра слов. Искажена (что не отражается на произношении) фамилия немецкого психиатра Крафт-Эбинга, чем подчеркивается ее созвучие с английскими словами. В результате название статьи можно понять как «Все ли еще экзистенциален экзистенциализм, или это ремесло приходит в упадок?».

Бейкер... да, вот именно! Они вздрогнут, не в силах поверить, что тебе и вправду нравится, как она поет. Ну а Гай Ломбардо? Верно, самое то!

Ты символизируешь серую, безликую толпу, не отставало Джорджево подсознание. Они приходят сюда, чтобы изучить ужасающую пошлость воображаемого Человека Толпы — которого они якобы ненавидят. Однако колодец со змеями их завораживает.

— Они тебя любят, — сказала Джорджу Гарви жена, угадавшая ход его мыслей.

— Несколько устрашающей любовью, — печально улыбнулся Гарви. — Я ночами не сплю — все пытаюсь понять, зачем они сюда приходят. Сам у себя я не вызываю ничего, кроме тоски и неприязни. Глупый, уныло-болтаивый человечек. Ни одной свежей мысли в голове. И теперь выяснилось: мне нравится быть в обществе. Собственно говоря, мне всегда хотелось быть компанейским, только вот возможности не представлялось. Последние месяцы стали для меня сплошным праздником. Их интерес утасует. А я хочу сохранить его навсегда. Что же мне делать?

Услужливое подсознание снабдило его списком необходимых приобретений.

Пиво. Тупо до крайности, свидетельствует об отсутствии воображения.

Претцели*. Восхитительная старомодность.

Навестить маму. Прихватить картину Максфилда Парриша** — ту, выпуклую, засиженную мухами. Произнести о ней речь.

К декабрю мистера Гарви объял полный, безысходный ужас.

Члены «Странного септета» уже свыклись с Милтоном Берлем и Гаем Ломбардо. Мало-помалу они сами убедили себя, что в действительности Берль слишком тонок для американской публики, а Ломбардо опсредил свое время на добрых двадцать лет — просто так уж выходит, что пошлые люди любят его совсем не за то, по своим пошлым причинам.

* Сухое солоноватое печенье.

** Максфилд Парриш (1870–1966) — американский художник и иллюстратор.

Империя Гарви сотрясалась, готовая рухнуть.

Неожиданно оказалось, что он — вполне заурядный человек, не отклоняющийся от принятых в обществе вкусов, а едва за ними поспевающий, — авангардисты с восторгом вцепились в Нору Баэз, в Никербокер-квартет урожая семнадцатого года, в Эла Джонсона, исполняющего «Куда пошли Робинзон Крузо с Пятницей субботним вечером», и Шепу Филдза с его «зыбким ритмом». Максфилд Парриш был воспринят как нечто само собой разумеющееся. Уже на второй вечер все пришли к единодушному мнению: «Пиво — напиток интеллектуалов. Очень жаль, что идиоты тоже его употребляют».

Короче говоря, друзья испарились. До Гарви доходили слухи, что Александр Пейп даже играл одно время с мыслью провести — сугубо для прикола — в свою квартиру горячую воду. Этот чахлый сорняк был безжалостно вырван с грядки, но не прежде, чем Пейп сильно упал в глазах *cognoscenti**.

Гарви из кожи вон лез, пытаясь прозреть прихотливые сдвиги вкусов и моды. Он увеличил количество бесплатно выставленной пищи, раньше всех предугадал возвращение к «ревушим двадцатым» — не только сам сменил брюки на грубошерстяные колючие бриджи, но даже уговорил жену вырядиться в ровный, как мешок, балахон и сделать короткую стрижку «под мальчика».

Но стервятники прилетали, быстренько сметали все со стола и убирались восвояси. Теперь, когда по миру устрашающим гигантом плагало телевидение, они торопливо влюбились в радио. Интеллектуалы слушали пиратские перезаписи радиопьес тридцатых годов — таких, как «Вик и Сэди» и «Семья Пенпера Янга», — а затем до хрипоты обсуждали их на своих собраниях.

Джорджа Гарви спасла серия решительных, с чудом граничащих действий, задуманных и осуществленных его запаниковавшим подсознанием.

Первым из этой серии был эпизод с неловко захлопнутой дверцей машины.

Мистер Гарви лишился кончика мизинца.

* Ценитель искусства (*int.*).

В последовавшей суматохе он нечаянно наступил на крошечный кусочек своей плоти, а затем, столь же нечаянно, отфутболил его далеко в сторону. К тому времени как утрата была выужена из удичной канавы, ни один хирург не взялся бы уже пришивать ее на место.

Счастливей несчастный случай! На следующий же день перерезанный страдалец заметил в окне восточной лавки очаровательнейший *objet d'art**. Быстренько припомнив, что рейтинг Гарви в среде авангарда неуклонно падает, зрителей на спектаклях становится все меньше и меньше, многоопытное подсознание затолкнуло его в лавку и заставило вытащить бу-мажник.

— Ты давно не встречал Гарви? — кричал Александр Пейш в телефонную трубку. — Мой бог, ты должен это увидеть!

— Что это такое?

Все глаза устремились в одну точку.

— Наперсток китайского мандарина. — Гарви небрежно взмахнул рукой. — Восточная древность. Мандарины носили такие наперстки, чтобы защитить свои пятидюймовые ногти.

Он поднял стакан с пивом. Золотой, чуть отстававший в сторону мизинец завораживающе сверкал.

— Никто не любит калек, их недостатки вызывают невольное раздражение. Утрата мизинца очень меня огорчила. Но теперь, с этой золотой фитюлиной я чувствую себя лучше прежнего.

— Такого красивого пальца ни у кого из нас нет и никогда не будет, — сказала жена Гарви, раскладывая по тарелкам эс-леный салат. — И Джордж имеет на него полное право.

Гарви был потрясен, с какой легкостью расцвела заново его совсем было увядавшая популярность. О искусство! О жизнь! Маятник, качающийся налево, направо, снова налево, от сложного к простому, снова к сложному. От романтики к реализму, чтобы неизбежно вернуться к романтике. Проницательный человек способен ощущать интеллектуальные перигелии, заранее готовится к новым головокружительным орбитам. Полубом-рочная, загнанная в подсознание гениальность Джорджа Гарви

* Произведение искусства (*фр.*).

села в постели, начала принимать пищу, даже рискнула встать и прогуляться, с некоторым удивлением пробуя свои не находившие прежде никакого применения руки-ноги. А затем разгулялась.

— У людей нет ни крупицы воображения, — говорила эта тайная, столь долго пребывавшая в небрежении сущность Гарви — его собственным языком. — Если несчастный случай лишит меня ноги, я не стану пристегивать на ее место деревяшку. Нет, я закажу себе золотую, усыпанную драгоценными камнями ногу, и чтобы в ней была устроена золотая клетка с дроздом, чьи трели будут улаживать мой слух на прогулках и во время дружеских бесед. Лишились руки, я закажу себе новую, из красной меди с нефритом, полую, и в ней будет отделение для сухого льда и еще пять отделений — по одному на каждый палец. «Кто-нибудь хочет выпить? — воскликну я. — Херес? Бренди? Дюбонне?» Затем невозмутимо поверну над бокалами золотые кончики моих пальцев. Пять холодных струй из пяти пальцев, пять напитков. Я закрою золотые краны и воскликну: «Пьем до дна!»

А самое главное, почти начинаешь хотеть, чтобы собственный глаз тебя оскорбил. Выковырять его, говорит Библия, я не ошибаюсь? Это действительно из Библии? Если бы такое случилось со мной — помилуй бог, я бы и не подумал об этих кошмарных стеклянных глазах, не говоря уж о всяких там черных пиратских повязках. Знаете, что бы сделал я? Я бы взял покерную фишку и послал ее этому вашему французскому знакомому, как там его фамилия? Да, Матисс! Я бы написал: «К этому письму приложены покерная фишка и чек на ваше имя. Нарисуйте, пожалуйста, на фишке голубой, прекрасный, человеческий глаз. Ваш покорный слуга Дж. Гарви!»

Гарви всегда презирал свое тело, в частности — считал свои глаза слабыми, тусклыми и невыразительными. Соответственно, он не очень удивился, когда через месяц — одновременно с очередным падением галлаповского индекса — его правый глаз заслезился, загноился, а затем и вовсе ослеп.

Гарви был убит.

И — в равной степени — тайно ликовал.

Авиаписьмо с покерной фишкой и чеком на пятьдесят долларов улетело во Францию. «Странный септет» наблюдал за всеми действиями Гарви, злорадно ухмыляясь.

Неделю спустя из Франции вернулся непогашенный чек.

Следующей почтой прибыла покерная фишка.

А. Матисс нарисовал на фишке прекраснейший, изысканнейший голубой глаз, с бровью и нежными пушистыми ресницами. А. Матисс уложил глаз на зеленый бархат, в маленькую коробочку, какими пользуются для своих изделий ювелиры. Не было никаких сомнений, что все это действие доставляло ему такое же удовольствие, как и Джорджу Гарви.

«Харперс Базар» опубликовал фотографию Гарви с матиссовским глазом и фотографию самого Матисса, разрисовывающего монокль после длительных экспериментов с тремя дюжинами фишек.

А. Матисс проявил на редкость здравый смысл, попросив фотографа запечатлеть сие событие для потомков. Журнал цитировал его слова: «Выбросив двадцать семь глаз, я изготовил в конечном итоге такой, как мне хотелось. Он летит уже к моему Гарви».

И еще один снимок — глаз, воспроизведенный в шести цветах, угрожающе таращится с зеленого бархата своей коробочки. Музей современного искусства начал торговать копиями. Друзья и сподвижники «Странного септета» играли в покер на красные фишки с голубыми глазами, белые фишки с красными глазами и синие фишки с белыми глазами.

Но лишь один во всем Нью-Йорке человек носил оригинальный матиссовский монокль — мистер Гарви.

— Я — все тот же убийственный зануда, — сказал он как-то жене, — но кто же сможет рассмотреть глупость мою и неотесанность за этим моноклем и мандаринским пальцем? А если их интерес снова начнет иссякать — нет ничего проще, чем утратить в результате несчастного случая руку или ногу. Ты уж не сомневайся. За выстроенным мной фасадом никто и никогда не сумеет найти того, прежнего недотепу.

Не далее как вчера нам удалось поговорить с его женой.

— Я почти не воспринимаю Джорджа как того, полузабытого Джорджа Гарви. Он сменил имя, хочет, чтобы все называли его «Джулио». Иногда ночью я посмотрю на него и окликну: «Джордж», но он не отвечает. Так вот и лежит с китайским паперстком на мизинце и голубым матиссовским моноклем в глазнице. Я часто просыпаюсь по ночам, часто смотрю на Джорджа. И знаете что? Иногда эта невероятная матиссовская покерная фишка словно бы заговорщицки мне подмигивает.



ив!

Удивительная кончина Дадли Стоуна

— Умер!

— Живет в Новой Англии, черт возьми!

— Умер двадцать лет назад!

— Пустите-ка шапку по кругу, и я сам доставлю вам его голову!

Вот такой разговор произошел однажды вечером. Завел его какой-то незнакомец, с важным видом он изрек, будто Дадли Стоун умер. «Жив!» — воскликнули мы. И уж нам ли этого не знать? Не мы ли последние могикане, последние из тех, кто в двадцатые годы курил ему фимиам и читал его книги при свете пламенеющего, исполнившего обеты разума?

Тот самый Дадли Стоун. Блистательный стилист, самый величественный из всех литературных львов. Вы помните, конечно, как вас ошеломило, сбило с ног, как затрубили трубы судьбы, когда он написал своим издателям вот эту записку:

Господа, сегодня, в возрасте тридцати лет, я покидаю свое поприще, расстаюсь с пером, сжигаю все, что создал, выбрасываю на свалку свою последнюю рукопись. На том привет и прощай-прощай.

Искренне Ваш Дадли Стоун.

Гром среди ясного неба.

Шли годы, а мы при каждой встрече опять и опять спрашивали друг друга:

— Почему?

Совсем как в рекламной радиопередаче, мы обсуждали на все лады, что же заставило его махнуть рукой на писательские лавры — женщины? Или вило? А может, это лошади обскакали его и выпудили прекрасного иноходца сойти с круга в самом расцвете сил?

Мы уверяли всех и каждого, что, продолжай Стоун писать, перед ним померкли бы и Фолкнер, и Хемингуэй, и Стейнбек. Тем печальнее, что на подступах к величайшему своему творению писатель вдруг отвернулся от него и поселился в городе, который мы назовем Безвестность, на берегу моря, самое верное название которому — Былое.

Почему?

Это так и осталось загадкой для всех нас, кто различал пробаески гения в пестрых страницах, вышедших из-под его пера.

И вот несколько недель назад, однажды вечером, поглядев друг на друга, мы задумались над безжалостной работой времени, над тем, что лица у всех у нас все больше обмякают и все заметней редкнут волосы, и вдруг нас взбесило, что нынешняя публика ровным счетом ничего не знает о Дадли Стоуне.

«Томас Вулф, — ворчали мы, — прежде чем ухнуть в пучину вечности, по крайней мере вовсю наслаждался успехом. И по крайней мере критики толпой глядели ему в след, точно огненному метеору, прорезавшему тьму.

А кто ныне помнит Дадли Стоуна, кто помнит кружки, что собирались вокруг него в двадцатые годы, неистовство его последователей?»

— Шапку по кругу, — сказал я. — Я скаताю за триста миль, ухвачу Дадли Стоуна за шиворот и скажу ему: «Послушайте, мистер Стоун, что ж это вы нас так подвели? Почему за двадцать пять лет не удосужились написать ни одной книги?»

В шапку накидали звонкой монеты, я отправил телеграмму и сел в поезд.

Сам не знаю, чего я ожидал. Быть может, что на станции меня встретит высохшая мумия, бледная тень, дряхлый старец на северных ногах, с еле слышным, будто шелест осенних трав на ночном ветру, голосом. И когда поезд, пыхтя, подкатил к платформе, я внутренне сжался от тоскливого предчувствия. Сумасбродный простофиля, я сошел на безлюдной захолустной станции, в миле от моря, не понимая, чего ради меня сюда занесло.

Доска у железнодорожной кассы заросла толстым слоем всевозможных объявлений, их, видно, из года в год наклеивали или набивали одно на другое. Сняв несколько геологических пластов печатного текста, я наконец нашел то, что мне было нужно. Дадли Стоун — кандидат в члены Совета округа, в шерифы, в мэры! Его фотографии, выцветшие от солнца и дождя бюллетени, на которых он был почти неузнаваем, сообщали о том, что он год от году добивался в этом приморском краю все более ответственных постов. Я стоял и читал.

— Привет! — донеслось до меня откуда-то сзади. — Это вы и есть мистер Дуглас?

Я круто обернулся. Прямо на меня по платформе мчался человек великолепного сложения, крупный, но ничуть не толстый, ноги у него работали как могучие рычаги, в лацкане пиджака — яркий цветок, на шее — яркий галстук. Он стиснул мою руку и поглядел на меня с высоты своего роста, точно микеланджеловский Создатель, своим властным прикосновением сотворивший Адама. Лицо его было точно лики южных и северных ветров на старинных мореходных картах, что грозят зноем и холодом. Такое пышущее жаром жизни лицо — символ солнца — встречаешь в египетской каменной резьбе.

«Надо же, — подумал я. — И этот человек за двадцать с лишним лет не написал ни строчки? Не может быть! Он такой живой, прямо до неприличия. Я, кажется, слышу, как мерно бьется его сердце».

Должно быть, я преглупо вытаращил глаза, ошарашенный этим зрелищем.

— Признайтесь, — со смехом сказал он, — вы ожидали встретить привидение?

— Я...

— Жена накормит нас тушеным мясом с овощами, и у нас в досталь эля и крепкого портера. Люблю звучанье этих слов. Приятно слышать такие слова. От слов этих веет здоровьем, румянцем во всю щеку. Крепкий портер!

На животе у него подсакивали массивные золотые часы на сверкающей цепочке. Он сжал мой локоть и потащил меня за собой — чародей, влекущий в свое логово незадачливого простофилю.

— Рад познакомиться. Вы, наверно, приехали, чтобы задать мне все тот же вопрос, а? Что ж, не вы первый. Ну, на этот раз я все выложу!

Сердце мое так и подпрыгнуло.

— Замечательно!

За безлюдной станцией ждал открытый «форд» выпуска 1927 года.

— Свежий воздух. Когда едешь вот так в сумерках, все поля, травы, цветы — все вливается в тебя вместе с ветром. Надеюсь, вы не из тех, кто только и делает, что закрывает окна! Наш дом — как вершина Столовой горы. Комнаты у нас подметает ветер. Залезайте.

Десять минут спустя мы свернули с большака на дорогу, которую уже многие годы не выравнивали и не утрамбовывали. Стоун вел машину прямо по выбоинам и ухабам, с лица его не сходила улыбка. Бац! Последние несколько ярдов нас трясло всю, но вот наконец мы подкатили к заброшенному, некрапленому двухэтажному дому. «Форд» тяжело вздохнул и затих.

— Хотите знать правду? — Стоун обернулся, крепко ухватил меня за плечо, заглянул в глаза. — Ровно двадцать пять лет назад один человек пристрелил меня из револьвера.

И он выскочил из машины. Я оторопело уставился на него. Он был как каменная глыба, отнюдь не привидение, и, однако, я понял: в словах, что он бросил мне, перед тем как пулей устремиться в дом, есть какая-то правда.

— Это моя жена, это наш дом, а вот и ужин! Взгляните, какой вид! Окна гостиной выходят на три стороны — на море, на берег и на луга. Мы их никогда не закрываем, только зимой. Среди лета к нам сюда доносится запах цветущей липы, вот

честное слово, а в декабре веет Антарктикой — напатырным спиртом и мороженым. Садитесь! Лена, ведь правда приятно, что он приехал?

— Надеюсь, вы любите тушеное мясо с овощами, — сказала Лена.

Рослая, крепко сбитая, она ловко управлялась с добротной, массивной посудой, которую не разбил бы кулаком и великан, и озаряла стол ярче всякой лампы; лицо ее, точно ясное солнышко, так и светилося доброжелательством. Ножи в этом доме были под стать львиным зубам. Над столом поднялось облако аппетитнейшего пара и повлекло нас, ликующих чревоугодников, напрямик в ад. Тарелка моя наполнялась трижды, и раз от разу я чувствовал, что сыт, сыт по горло и наконец по самые уши. Дадли Стоун налил мне пива, которое, по его словам, сам сварил из моливших о пощаде черных гроздьев дикого винограда. А потом он взял бутылку, в которой не осталось уже ни капли вина, и, дуя в зеленое стеклянное горлышко, быстро извлек из нее нехитрую мелодийку.

— Ну ладно, довольно я вас томил, — сказал он, вглядываясь в меня из той дали, которая разъединяет людей еще больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им самой близостью. — Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кенделла?

— Второсортный писатель, который подвизался в двадцатые годы? — сказал я. — У него было несколько книг. Выдохся к тридцать первому году. Умер на прошлой неделе.

— Мир праху его.

На мгновение, как и подобает, мистер Стоун примолк и опечалился, но едва заговорил, печаль как рукой сняло.

— Да Джон Оутис Кенделл. Выдохся к тысяча девятьсот тридцать первому году. Писатель, который многое обещал.

— Меньше, чем вы, — поспешно вставил я.

— Ну-ну, не торопитесь. Мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах, тень одного и того же дуба падала на мой дом утром, а на его — вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет, обоим завиделся волшебный

свет в белокурых волосах одной и той же девушки, и нам еще не исполнилось двадцати, когда оба мы отправились искать счастья, брать судьбу за бока и набивать себе синяки и шишки. Поначалу у обоих получалось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было шесть, если на меня была одна плохая рецензия, на него десяток. Мы были точно два друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны. Джон Оутис оставался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслепую: «Спаси меня! Ты оставляешь меня в Тэнкстауне, в Огайо, а ведь у нас один путь». А кондуктор объяснял: «Путь-то один, да поезда разные!» И я кричал: «Я верю в тебя, Джон! Не падай духом, я за тобой вернусь!» И тормозной вагон все больше отставал, сто было уже не разглядеть, только красный и зеленый фонари, точно вишневый и лимонный леденцы, еще светились во тьме, и мы всю душу вкладывали в прощальные крики: «Джон, старина!», «Дадли, дружище!» — и Джон Оутис оглутился в полночь на неосвещенной боковой ветке, позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к свету.

Дадли Стоун замолчал и тут заметил полнейшее мое недоумение.

— Я не зря все это рассказываю, — сказал он. — Этот самый Джон Оутис в тысяча девятьсот тридцатом году продал кой-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату.

— Он замышлял вас убить?

— Черта с два замышлял. Он меня убил! Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше.

Миссис Стоун подала сносный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на три огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня, словно кот на сметану.

— Вот тут, на вашем стуле, сидел Джон Оутис. Во дворе у нас в копильне — семнадцать окороков, в винном погребе — пятьсот бутылок превосходнейшего вина, за окном — простор, дивное море во всей красе, в небе луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, за окном напротив — Лена, гибкая

ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу, и, не забудьте, обоим нам по тридцать всего-навсего, жизнь наша — чудесная карусель, всё нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади, и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчет море или мы сами — всё, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер.

— Я засмеялась, думала, это такая зажигалка, — вставила миссис Стоун.

— И вдруг Джон Оутис говорит: «Сейчас я убью вас, мистер Стоун», — и я понял, что он не шутит.

— Что же вы сделали?

— Сделал? Я был огулушен, раздавлен. Я услышал, как хлопнулась надо мной крышка гроба! Услышал, как с грохотом, точно уталь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой пронесется вся жизнь, все твоё прошлое. Челуха. Ты видишь будущее. Видишь, как лицо твоё превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами и наконец еле-еле выдавишь из себя: «Да что ты, Джон, что я тебе сделал?»

«Что ты мне сделал?» — заорал он.

И окинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на ней книг — на каждом корешке, на черном сафьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое имя. «Что сделал?» — ужасным голосом выкрикнул он. И рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку.

«Осторожней, Джон, — сказал я. — Что тебе надо?»

«Только одно, — сказал он. — Убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава. Пускай знают, пока я жив и даже когда умру: я тот, кто убил Дадли Стоуна».

«Ты не сделаешь этого!»

«Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитей, чем теперь, когда ты меня затмил. О, как я люблю твои книги и как я ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь. Поразительное раздвоение. Нет, больше я не могу. Писать как ты мне

не под силу, так я найду другой путь к славе, полетче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной!»

«Это преувеличение».

«А я думаю, это чистая правда», — сказал он.

Я перевел взгляд на Лену — она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и сменить все карты.

«Спокойно, — сказал я. — Спокойствие. Повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту. Потом спустишь курок».

«Нет», — прошептала Лена.

«Спокойствие», — сказал я ей, себе, Джону Оутису.

Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребе, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого, точно мятой, веют прохладой летние небеса, и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу, к рассвету. Подумал о том, что мне только тридцать и Лене тоже и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая, точно спелый плод, только и ждет, чтобы я ею наслаждался! Я никогда еще не взбирался на горы, не перескакал океана, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа, я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне так хотелось прочесть. Столько еще предстояло сделать!

В эти молниеносные шестьдесят секунд я подумал наконец и о своей карьере. Обо всех уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать. О рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И, хотите верьте, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов — корабли, на которых не плавал, цветы, которых не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, и надо всем моя Лена — богиня всего этого изобилия. Посредине — опора весов, Джон Оутис Кенселл с его револьвером. А на второй, пустой чаше — мое перо, чернила, чистая бумага, десяток моих книг. Я подбавил туда и сюда еще кое-какой мелочи. Шестьдесят секунд истекали. Вечерний

ветерок залетел в растворенные окна. Коснулся завитка волос на шее у Лены, о как нежно коснулся, как нежно...

Реvolver был наставлен на меня в упор. Мне случилось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называют Большим утальным мешком, но, поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире.

«Джон,— сказал я наконец,— неужто ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?»

«Да, черт возьми!» — крикнул он.

Как нелепо, что он мне завидовал! Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки — и все переменится.

«Джон,— сказал я спокойно,— если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверно, хочешь, чтобы я больше не написал ни строчки?»

«Еще как хочу! — крикнул он. — Приготовься!»

И прицелился мне в сердце!

«Ладно,— сказал я,— больше я писать не стану».

«Что?»

«Мы с тобой старые друзья, мы никогда не лгали друг другу, верно? Так вот тебе мое слово: никогда больше мое перо не коснется бумаги».

«Ха-ха!» — Он презрительно и недоверчиво засмеялся.

«Вон там,— я кивнул в сторону письменного стола,— лежат единственные экземпляры двух моих рукописей, я работал над ними последние три года. Одну я сожгу прямо сейчас, у тебя на глазах. А другую можешь сам бросить в море. Общи весь дом, возьми всю исписанную бумагу до последнего листочка, сожги мои опубликованные книги тоже. Пожалуйста».

Я поднялся. В эту минуту он мог бы меня пристрелить, но мои слова заворовали его. Я швырнула одну рукопись в камин и чиркнул спичкой.

«Нет!» — вырвалось у Лены. Я обернулся.

«Я знаю, что делаю», — сказал я.

Она заплакала. Джон Оутис Кенделл смотрел на меня во все глаза, точно околдованный. Я припис ему вторую, еще не опубликованную рукопись.

«Пожалуйста», — сказал я и подsunул рукопись ему под ногу, как под пресс-папье. Потом отошел и сел на свое место. Дул

ветерок, вечер был теплый, и сидящая напротив меня Лена была блее яблоневого цвета.

«Отныне я не напишу ни строчки», — сказал я.

К Джону Оутису наконец вернулся дар слова:

«Как же ты можешь?»

«Зато все будут счастливы», — сказал я. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, ведь в конце концов мы снова станем друзьями. И Лена будет счастлива — ведь я опять буду просто ее мужем, а не дрессированным моржом, который пляшет под дудочку своего литературного агента. И сам я тоже буду счастлив — ведь лучше быть живым человеком, чем мертвым писателем. Ну а теперь бери мою последнюю рукопись и ступай отсюда».

Мы сидели здесь втроем, вот как с вами сейчас. Пахло лимоном, липой, камелией. Внизу бился о камни и ревел океан. Чудесная музыка, пронизанная лунным светом. И наконец Джон Оутис подобрал рукопись и понес вон из комнаты, точно мое бездыханное тело. На пороге он приостановился и сказал:

«Я тебе верю».

И вышел. Я слышал, как отъехала его машина. Тогда я уложил Лену в постель. Нечасто мне случалось на ночь глядя ходить одному по берегу моря, но сейчас я пошел.

Я дышал полной грудью, ощущивал свои руки, ноги, лицо и плакал как малый ребенок; я вошел в воду и с наслаждением ощущал, как холодный соленый прибой пенится у моих ног и обдаст меня миллионами брызг.

Дадли Стоун примолк. Время в комнате остановилось. Мы все трое точно по волшебству перенеслись в прошлое, в тот год, когда совершилось убийство.

— И он уничтожил ваш последний роман? — спросил я.

Дадли Стоун кивнул.

— Неделю спустя на берег вынесло одну страницу. Он, наверно, швырнул их со скалы, всю тысячу страниц, я так ясно представляю: точно стая белых чаек опустилась на воду, и в глухой предрассветный час ее унесло отливом. Лена бежала по берегу с той единственной страницей в руках и кричала: «Смотри, смотри!» И когда я увидел, что она мне дает, я швырнула листок назад, в океан.

— Неужто вы сдержали слово?

Дадли Стоун посмотрел на меня в упор:

— А вы бы как поступили на моем месте? В сущности, Джон Оутис оказал мне милость. Он не убил меня. Не застрелил. Выслушал. И поверил мне на слово. Оставил меня в живых. Дал мне возможность и дальше есть, спать, дышать. Он в один миг раздвинул мои горизонты. И я был так ему благодарен, что стоял в ту ночь чуть не по пояс в воде и плакал. Да, был благодарен. Понимаете ли вы, что это значит? Благодарен, что он оставил меня в живых, когда одним движением руки мог меня уничтожить.

Миссис Стоун поднялась, ужин был окончен. Она собрала посуду, мы закурили сигары, и Дадли Стоун провел меня в свой кабинет, к столу, на котором громоздились пакеты, кипы газет, бутылки чернил, пишущая машинка, всевозможные документы, гроссбухи, алфавитные указатели.

— Все это уже накалило во мне. Джон Оутис просто снял сверху пену, и я увидел само варево. Все стало ясно — ясней некуда. Писательство было для меня той же горчицей, я писал и черкал с тяжелым сердцем и растравлял себе душу. И уныло смотрел, как алчные критики разделявали меня, разбирали на части, нарезали ломтями, точно колбасу, и за полночь закусывали мной. Грязная работа, куда уж хуже. Я уже и сам был готов махнуть на все рукой. Совсем доспел. И тут — бац! — явился Джон Оутис. Взгляните.

Он порылся на столе и вытащил пачку рекламных листов и предвыборных плакатов.

— Прежде я только писал о жизни. А тут захотел жить. Захотел что-то делать сам, а не писать о том, что делают другие. Решил возглавить местный отдел народного образования — и возглавил. Решил стать членом окружного управления — и стал. Решил стать мэром. И стал. Был шерифом! Был городским библиотекарем! Заправлял городской канализацией. Я был в гуще жизни. Сколько рук пожал, сколько дел переделал. Мы испробовали все на свете и на вкус и на ощупь, чего только не нагаделись, не наслушались, к чему только не приложили рук! Лазили по горам, писали картины, вон кое-что висит на стене! Мы

трижды объехали вокруг света. У нас даже вдруг родился сын. Он уже взрослый, женат, живет в Нью-Йорке. Мы жили, действовали.— Стоун помолчал, улыбнулся.— Пойдемте во двор. У нас там телескоп, хотите посмотреть на кольца Сатурна?

Мы стояли во дворе, и нас овеяло ветром, облетевшим всю ширь океана, и, пока мы смотрели в телескоп на звезды, миссис Стоун спустилась в крошечную тьму погреба за редкостным испанским вином.

На следующий день автомобиль промчался по неровной, тряской дороге, от побережья через луга, и в полдень доставил нас на безлюдную станцию. Мистер Дадли Стоун почти не уделял внимания своей машине, он что-то рассказывал, улыбался, смеялся, показывал мне то камень времен неолита, то какой-нибудь полевой цветок и умолк, лишь когда мы подъехали к станции и остановились в ожидании поезда, который должен был меня увезти.

— Вы, наверно, считаете меня сумасшедшим,— сказал он, глядя в небо.

— Ницуть не бывало.

— Так вот,— сказал Дадли Стоун,— Джон Оутис Кендела оказал мне еще одну милость.

— Какую же?

Стоун поудобнее расположился на кожаном, в заплатках, сиденье.

— Он помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся. Где-то в глубине души я, должно быть, чувал, что моя литературная слава сильно раздута и может лопнуть как воздушный шар. В подсознании мне ясно рисовалось будущее. Я знал то, чего не знал ни один критик,— что иду уже не к вершине, а под гору. Обе книги, которые уничтожил Джон Оутис, никуда не годились. Они убили бы меня наповал еще верней, чем Оутис. Он невольно помог мне решиться на то, на что иначе у меня, пожалуй, не хватило бы мужества: изящно откланяться, пока котильон еще не кончился и китайские фонарики еще бросали лестный розовый свет на мой здоровый румянец. Я видел слишком много писателей, видел их взлеты и падения, видел, как они сходили с крута, уязвленные, жалкие, отчаявшиеся. Но, конеч-

но, все это стечение обстоятельств, совпадение, подсознательная уверенность в своей правоте, облегчение и благодарность Джонсу Оутису Кенделлу за то, что я просто-напросто жив,— все это была по меньшей мере счастливая случайность.

Мы еще немного посидели под ласковым солнцем.

— А потом я объявил о своем уходе со сцены и имел удовольствие видеть, как меня ставят в один ряд с великими. За последнее время очень мало кто из писателей удостоился столь пышных проводов. Преотличные вышлись похороны! Я был, что называется, совсем как живой. И это еще долго не смокало. «Если бы он написал еще одну книгу! — вопили критики. — Вот это была бы книга! Шедевр!» Они задыхались от волнения, ждали. Ничегошеньки они не понимали. Еще и теперь, четверть века спустя, мои читатели, которые в ту пору были студентами, отправляются на допотопных паровичках, дышат нефтяной вонью и неремазываются в саже, лишь бы разгадать тайну — отчего я так долго заставляю ждать этого самого «шедевра». И — спасибо Джонсу Оутису Кенделлу — у меня все еще есть кое-какое имя. Оно тускнеет медленно, безболезненно. На следующий год я сам бы убил себя собственным пером. Куда как лучше отцепить свой тормозной вагон самому, не дожидаясь, когда это сделают за тебя другие. А Джон Оутис Кенделл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот наконец я хоть кому-то рассказал все как было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому вашему слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас, и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю выцветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи.

Мы стояли с ним на платформе.

— До свиданья, спасибо, что прислали и выслушали меня, и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям! А вот и поезд! И мне надо бежать — мы с Аснотой сегодня после обеда едем по побережью с миссией Красного Креста. Прощайте!

Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний «форд», осевший под его тяжестью, и вот уже нажал могучей ножицей на стартер, мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой обернулся ко мне, помахал рукой — и покатила прочь, к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется Безвестность, на берегу ослепительного моря под названием Былое.



Толпа

Мистер Сполнер закрыл лицо руками. Он почувствовал, что летит куда-то, затем услышал крик боли и ужаса, чистый и сильный, как аккорд, и наконец удар. Автомобиль, пробив стену, падал, кувыркаясь легко и быстро, как игрушка, и выбросил его вон. Наступила тишина.

Толпа сбегалась. Он слышал далекий топот ног. Ему казалось, что он способен определить вес и возраст каждого из бегущих по траве лужайки, плитам тротуара, асфальту мостовой, а затем по грудам кирпича через пробоину в стене к тому месту, где на фоне ночного неба, словно в прыжке над пропастью, застыл его автомобиль с бессмысленно вертящимися колесами. Он не понимал, откуда взялась толпа, и старался лишь не потерять сознание. Он видел нависшие над ним лица, словно большие круглые листья склонившегося дерева, кольцо движущихся, меняющихся, глядящих на него лиц, жаждущих знать, жив он или мертв. Они изучали его лицо, ставшее вдруг диском лунных часов, а тень от носа, падающая на щеки, была стрелкой, показывающей, дышит он или нет.

Как мгновенно образуется толпа, думал он, как внезапно возникает и превращается в одно огромное око.

Звук сирены. Голос полицейского. Его поднимают, несут, кровь медленно струится по губам. Носилки вдвигают в сани-

тарную машину. Кто-то спрашивает: «Умер?», кто-то отвечает: «Жив», а еще кто-то уверенно заявляет: «Он не умрет». И по лицам глядящей на него толпы он знает, что будет жить. Все это так странно. Он видит лицо мужчины, худое, бледное, напряженное. Он судорожно глотает слюну, кусает губы, ему плохо. Лицо женщины с рыжими волосами, ярко накрашенным ртом и таким же ярким румянцем, веснущатое лицо мальчишки, еще лица... Старик с впалым беззубым ртом, старая женщина с бородавкой на подбородке... Откуда они? Из домов, отелей, проезжавших мимо машин, трамваев, с улиц и переулков этого настороженного, готового к несчастьям мира?

Толпа гладела на него, а он на толпу. Она не нравилась ему, совсем не нравилась. В ней было что-то нехорошее, пугающее, но что, он не смог бы определить. Она была опасней машины, созданной руками человека, жертвой которой он стал.

Дверца машины «скорой помощи» захлопнулась. Но через стекло он видел, как толпа продолжала поедать его глазами. Толпа, которая собралась так невероятно быстро, так мгновенно, что была подобна стервятнику, готовому броситься на жертву, глазелющая, указывающая пальцами, своим нездоровым любопытством тревожащая последние мгновения одиночества перед концом...

Санитарная машина тронулась. Голова его откинулась на подушку. Толпа провожала его взглядами. Он чувствовал это, даже закрыв глаза.

Перед его мысленным взором продолжали вертеться колеса автомобиля, то одно, то все четыре сразу... Прошло несколько дней.

Его неотступно преследовала мысль, что здесь что-то не так, с этими колесами и со всем, что с ним произошло, с невесть откуда взявшейся толпой и ее нездоровым любопытством. Толпа, бешено вертящиеся колеса автомобиля... Он проснулся.

Солнечный свет заливал больничную палату. Чья-то рука держала его за запястье, проверяя пульс.

— Как вы себя чувствуете? — спросил его врач.

Вертящиеся колеса исчезли. Мистер Сполнер окинул взглядом палату.

— Хорошо... мне кажется.

Он пытался найти нужные слова, чтобы спросить о том, что с ним случилось.

— Доктор!

— Да, я вас слушаю.

— Эта толпа, вчера вечером?..

— Это было два дня назад. Вы находитесь у нас со вторника. Все в порядке. Вы поправляетесь. Но нельзя еще вставать.

— Но эта толпа, доктор. И вертящиеся колеса... После несчастных случаев люди немного не в себе, не так ли?

— Бывает, но это быстро проходит.

Он лежал, напряженно вглядываясь в лицо врача.

— Это как-то влияет на чувство времени, доктор?

— Паника, страх могут нарушить ощущение времени.

— Минута может показаться часом или наоборот — час минутой?

— Да, бывает и такое.

— Тогда вы должны выслушать меня, доктор.— Он признавал, что лежит на больничной койке и солнечный свет из окна падает прямо на него.— Вы не думаете, что я сошел с ума? Да, я действительно сехал на большой скорости. Я знаю и очень сожалею об этом. Я выскочил на обочину и врезался в стену. Удар был сильный, я пострадал, но я не потерял сознания. Я многое помню, особенно... толпу.— Он на мгновение умолк, а потом, как бы поняв, что его беспокоит, продолжил: — Толпа сбежалась слишком быстро, доктор. Через тридцать секунд после аварии она уже была здесь и окружила меня... Это невозможно, доктор.

— Вам показалось, что прошло тридцать секунд, а на самом деле могло пройти три или четыре минуты... Ваше чувство времени...

— Да, я знаю. Несчастный случай, мое состояние... Но я был в полном сознании, доктор! Я все помню, но одно меня смущает, черт возьми, и кажется очень странным — колеса моей перевернувшейся машины. Они все еще вертелись, когда сбежалась толпа.

Доктор лишь улыбнулся.

— Я в этом уверен, доктор. Передние колеса машины должны были встать, и очень быстро! А это невозможно. Колеса

останавливаются почти сразу же, действует сила сцепления... А эти не остановились.

— Вам это могло показаться.

— Нет. Улица была совсем пуста, ни души, и вдруг авария, вертящиеся колеса, и толпа вокруг, собравшаяся так быстро. Все произошло почти одновременно. А как они смотрели на меня!.. По их взглядам я понял, что остался жив и не умру...

— Просто у вас был шок,— успокоил его врач и покинул залитую солнцем палату.

Через две недели он уже вышел из больницы. Домой он сехал на такси. В больнице его часто навещали, и каждому, кто к нему приходил, он рассказывал одно и то же: авария, вертящиеся колеса, толпа. Его слушали, смеялись и не обращали внимания.

Он наклонился и постучал в стекло водителя.

— В чем там дело? — справился он.

Шофер, оглянувшись, ответил:

— Сожалею, мистер, но в этом проклятом городе ездить стало опасно, что ни день, то авария. Вот и сейчас что то случилось, и нам придется ехать в объезд. Вы не возражаете?

— Хорошо. Однако нет! Пойдите. Поезжайте прямо, давайте узнаем, что случилось.

Такси, сигналя, тронулось.

— Странно,— пробормотал шофер.— Эй, ты, убери-ка с дороги свой драндулет! — крикнул он кому-то, а потом опять повторил уже тише: — Странно, уйма народу. Откуда берется столько зевак?

Мистер Споанер посмотрел на свои руки — они дрожали.

— Вы тоже заметили? — произнес он.

— Еще бы не заметить. Стоит чему-то случиться, как они тут как тут. Словно их родную маму сбила машина,— согласился таксист.

— Они сбегутся так быстро,— поторопился добавить пассажир.

— Точно так же, когда пожар или взрыв. Кажется, никого нет, но только — бум! — и все уже плазуют. Не понимаю, как это у них получается.

— Вы видели когда-нибудь аварию или несчастный случай ночью?

Таксист кивнул.

— Еще бы. Никакой разницы, что ночью, что днем — толпа всегда тут как тут.

Они подъехали поближе к месту происшествия. Можно было сразу угадать, что пострадавший лежит на мостовой, хотя густая толпа скрывала его от взоров.

Увидев зевак, Сполнер открыл окно машины и хотел было закричать на них, но вдруг испугался, что они обернутся и он увидит их лица.

— Мне везет на происшествия, — закаючил мистер Сполнер у себя в конторе. День клонился к вечеру. Его приятель Морган сидел напротив на краю стола и внимательно слушал его. — Не успел я сегодня утром выйти из больницы, как по дороге домой пришлось ехать в объезд из-за несчастного случая на мостовой.

— Все идет по кругу, — глубокомысленно заметил Морган.

— Хочешь, я расскажу, как это произошло со мной?

— Я уже слышал.

— Ты не согласен, что в этом есть что-то странное?

— Согласен, но давай лучше выпьем.

Они беседовали еще с полчаса, а может, и больше. И все это время у Сполнера в голове что-то тикало, как часы с вечным заводом, и в памяти возникали отдельные картины случившегося — колеса, толпа...

Примерно в половине пятого они услышали за окном звук удара, скрежет и звон металла.

— Что я говорил — все идет по кругу. Теперь это грузовик и кремового цвета «кадиллак».

Сполнер подошел к окну. Он чувствовал озноб, пока стоял у окна и следил за секундной стрелкой своих часов. Одна, две, три, четыре, пять секунд — толпа начинает собираться. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать — они бегут со всех сторон. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать секунд — их становится все больше, сигналят машины. Сполнер с любопытством и как-то отстраненно смотрел на эту картину, словно на обратную съемку взрыва, когда разбросанные взры-

вом частицы снова собираются в единое целое. Девятнадцать, двадцать, двадцать одна секунда — толпа была в полном сборе. Сполнер молча указал на нее рукой.

Она собралась так быстро.

Но он успел увидеть распростертое тело женщины на мостовой, пока его не скрыла толпа.

— Ты выглядишь чертовски скверно, приятель. На, выпей, — обеспокоенно сказал Морган.

— Я в порядке, оставь меня в покое. Ты видишь этих людей? Ты можешь разглядеть хотя бы одного из них? Надо увидеть их поближе.

— Ты куда? — испуганно закричал Морган.

Но Сполнер был уже за дверью. Морган бросился за ним.

Они выбежали на улицу. Сполнер, не раздумывая, стал протискиваться через толпу к месту происшествия. И вдруг увидел женщину с рыжими волосами и ярко накрашенным ртом.

— Смотри! — крикнул он следовавшему за ним Моргану. — Ты видишь ее?

— Кого?

— Черт возьми, она уже исчезла.

Жертву происшествия плотным кольцом окружили зеваки. Толпа тяжело дышала, что-то бормотала, не давала Сполнеру прогиснуться поближе. Конечно, думал он, рыжая женщина увидела его и поспешила скрыться. А вот еще знакомое лицо. Веснушчатый мальчуган! Но их столько на белом свете и все на одно лицо. Однако, когда Сполнер начал пробираться к нему, мальчишка исчез. Что за чертовщина!

— Она умерла? — спросил кто-то.

— Умирает, — ответил другой. — Санитарная машина не успеет. Не надо было трогать ее.

Лица, знакомые и незнакомые, склонялись все ниже, чтобы лучше разглядеть.

— Эй, мистер, хватит толкаться.

— Чего это ты орудуешь локтями, парень?

Сполнер выбрался из толпы, и Морган едва успел подхватить его, иначе он бы упал.

— Зачем ты полез туда, дурак? Ты еще нездоров. Зачем ты выбежал на улицу? — ругал его Морган.

— Не знаю, право, не знаю,— бормотал Сполнер.— Они не должны были трогать ее, Морган. Никогда не надо трогать человека, ставшего жертвой уличной катастрофы. Это может убить его.

— Я знаю. Но что поделаешь с толпой. С этими идиотами.

Сполнер тщательно разложил на столе вырезки.

— Что это? — взглянув на них, спросил Морган.— С тех пор как ты попал в аварию, ты считаешь, что каждое уличное происшествие касается и тебя тоже.

— Вырезки обо всех автомобильных катастрофах и снимки их. Смотри, но не на автомобили, а на толпу,— сказал Сполнер.— Вот снимок происшествия в Уилширском районе. Теперь сравни его со снимком того, что произошло в Уэствуде. Ничего схожего, они разные. А теперь возьми снимок недавнего происшествия в Уэствуде и сравни с тем, что произошло там же десять лет назад. Видишь эту женщину — она на том и на другом снимке? Что это? Совпадение? Одна и та же женщина на снимке 1936 года и на снимке 1946 года. Совпадение возможно один раз. Но не двенадцать совпадений в течение десяти лет? К тому же между одним и другим местом происшествия расстояние в три мили. Нет, это не совпадение.— Он разложил перед Морганом с десяток снимков.— Смотри, на всех она!

— Может, она больная?

— Хуже. Можешь сказать, как она успевает попасть на все происшествия? Почему на всех снимках она в одной и той же одежде? А ведь прошло целое десятилетие?

— А ведь верно, черт побери!

— И наконец, почему она стояла и глазала на меня, когда я разбился на машине две недели тому назад?

Они выпили. Морган снова перебрал все снимки.

— Ты что, воспользовался услугами бюро вырезок, пока лежал в больнице? — спросил он.

Сполнер кивнул. Морган пригубил виски из стакана.

Темнело. За окном зажигались фонари.

— Что же все это значит? — спросил Морган.

— Не знаю,— ответил Сполнер.— Разве что существует некая закономерность для всех происшествий: чуть что, собира-

ется толпа. Как и мы с тобой, люди, возможно, давно ломают голову над тем, почему собирается толпа и так быстро. Как это все происходит. Я, кажется, нашел ответ.

Он бросил на стол пачку снимков.

— Догадка пугала меня.

— Возможно, это просто больные люди с извращенной психикой, любители острых ощущений, кровавых зрелищ, картин ужасов?

Сполнер пожал плечами:

— Но что может объяснить присутствие одних и тех же на каждом дорожном происшествии или пожаре? Обрати внимание, они придерживаются определенных мест, одной какой-то территории. В Брентвуде — одна группа лиц, в Хангтингтон-парке — другая. Но некоторые из них успевают побывать и тут и там.

— Значит, они меняются? Это не всегда одни и те же лица?

— Ты прав. Среди них бывают и прохожие. Несчастные случаи вызывают любопытство у многих. Но те, о которых я говорю, всегда появляются первыми.

— Кто же они? Зачем они сбегаются? Ты все на что-то намекаешь, но прямо не говоришь. Черт побери, есть же у тебя догадки? Ты напугал себя, теперь и мне не по себе.

— Я пытался добратся до них, но мне всегда что-то или кто-то мешал. Я всегда опаздывал, они исчезали в толпе. Словно толпа оберегала и прятала их. Такое всегда случалось при моем появлении.

— Похоже на тайную организацию.

— Знаешь, что у них общего? Они всегда появляются вместе, будь это взрыв, военная тревога или массовая демонстрация. Они там, где витает смерть. Стервятники, гиены, или... святые? Не знаю, кто они, но я должен сообщить об этом в полицию, и сегодня же вечером. Это зашло слишком далеко. Кто-то из них тронул тело пострадавшей женщины, и это убило ее.

Сполнер, собрав вырезки и снимки, положил их в портфель. Морган встал и начал надевать пальто. Сполнер защелкнул замок портфеля.

— Или, возможно... Я сейчас подумал...

— Что?

— Возможно, они хотели ее убить.
— Почему?
— Кто знает? Пойдешь со мной?
— Сожалею, но уже поздно. Увидимся завтра. Желаю успеха...

Они вышли.

— Передай полицейским мой привет. Надеюсь, они поверят тебе, — прощаясь, сказал Морган.
— Поверят, будь уверен. Спокойной ночи.

Снолнер медленно вел машину, направляясь к центру города.

— Мне надо добраться туда живым во что бы то ни стало.

Он был напуган, но ничуть не удивлен, когда выскочивший из переулка грузовик поехал ему навстречу. Он даже похвалил себя, что был разумен и ехал на малой скорости, и мысленно представил, как расскажет об этом в полиции. И в эту минуту грузовик врезался в его автомобиль. Впрочем, не в его, а в Морганов автомобиль, и это больше всего его огорчило. Его швырнуло в одну сторону, потом в другую, а он все думал: какая досада, что с ним опять такое случилось, да еще в машине Моргана, которую тот дал ему на несколько дней, пока он не получит из ремонта свою.

Разбилось ветровое стекло, и сильный удар сбросил его назад. Затем все кончилось, осталась лишь боль, заполнившая все его тело.

Топот бегущих ног. Он попытался открыть дверцу, и его тело тяжело, как у пьяного, вывалилось на мостовую. Он лежал, прижавшись ухом к асфальту, прислушиваясь к топоту ног, похожему на начало ливня, когда падают первые тяжелые капли, а потом обрушивается шквал дождя. Он попробовал поднять голову, чтобы увидеть бегущих.

Они были уже здесь.

Он ощущал их дыхание, смешанные запахи толпы, жадно втягивающей воздух, отнимающей его у того, кто лежал, борясь за каждый глоток кислорода. Ему хотелось крикнуть им, чтобы отодвинулись от него подальше, дали ему дышать. Кровь сочилась из раны на голове. Он попытался шевельнуться, но не смог

и понял, что что-то случилось с его позвоночником. Удара он не почувствовал, однако понял, что у него поврежден позвоночник. Он замер, боясь теперь пошевелиться.

Вскоре он понял, что потерял дар речи. Из его рта вырвались лишь бессвязные звуки, слов не было.

Кто-то сказал:

— Помогите мне поднять его. Мы перевернем его, так ему будет легче.

«Нет! Не трогайте меня!» — безмолвно вопил он.

Сполнеру казалось, что его вопль разорвет черепную коробку.

— Мы поднимем его, — спокойно повторил чей-то голос.

«Идиоты, безумцы, вы убьете меня!» — кричал он, но никто его не слышал. Слова не срывались с его уст, крик оставался невысказанным.

Чьи-то руки поднимали его. Он опять безмолвно молил не трогать его. Кто-то уложил его, как бы готовя к предсмертной агонии. Это сделали двое. Один худой, бледный, настороженный и совсем еще молодой, другой — глубокий старик.

Он уже где-то видел их.

Знакомый голос снова спросил:

— Он умер?

И другой голос, который тоже показался ему знакомым, ответил:

— Нет. Но он не доживет до приезда машины «скорой помощи».

Все было так нелепо и просто, как заговор сумасшедших, думал он. Как каждое задуманное ими происшествие.

Он кричал как безумный в их лица. В лица этих судей и присяжных заседателей, которых он уже видел. Превозмогая боль, он попытался сосчитать, сколько же их было здесь.

Вот веснушчатый мальчишка, старик с морщинистой губой, рыжая женщина, старуха с бородавкой на подбородке...

«Я знаю, зачем вы здесь. Вы не пропускаете ни одного несчастья. Вы берете на себя право решать, кому жить, а кому умереть. Вы потому и поднимали меня, что знали — это убьет меня! Если бы вы меня не тронули, я остался бы жив.

И так каждый раз, когда собирается толпа. Убить таким образом намного легче и проще. И алиби у вас готово, оно тоже

такое простое и понятное: вы не знали, что пострадавшего нельзя трогать, что это опасно для его жизни. Вы не хотели причинить ему зла».

Он смотрел на них с таким же любопытством, как смотрит утопленник через толщу вод на зевак на мосту. «Кто вы? Откуда вы взялись, откуда прибежали так быстро? Вы — это вездесущая толпа, которая всегда здесь, чтобы отнять кислород у умирающего, отнять у него право лежать спокойно, быть одному. Вы затаптываете его до смерти, вот что вы делаете. Я все теперь знаю о вас!»

Это был безмолвный монолог, ибо толпа молчала. Только лица вокруг — старик, женщина с ярко-рыжими волосами...

Кто-то поднял его портфель.

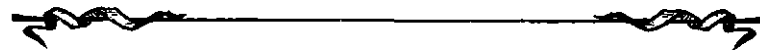
— Чей он? — спрашивали они друг у друга.

«Мой! — молча кричал им Сполнер. — В нем все доказательства против вас!» Он видел вопросительные взгляды из-под всклокоченных волос и низко надвинутых шляп.

Звук далекой сирены. Это спешила ему на помощь санитарная машина. Но глядя на лица в толпе, он знал: уже поздно. Знала это и толпа.

«Похоже... Я скоро буду с вами. Теперь я буду одним из вас...»

Он закрыл глаза и приготовился выслушать последнее слово полицейского следователя: смерть в результате несчастного случая.



Кое-кто живет как Лазарь

Вы не поверите, если я скажу, что этого убийства я ждала шестьдесят лет — надеясь на него, как только способна надеяться женщина. Я и пальцем не пошевелила, дабы предотвратить это убийство, когда его неизбежность стала очевидна. Анна Мария, сказала я себе, даже если ты будешь постоянно начеку, ты не сумеешь помешать тому, что должно свершиться. Но когда убийство наконец происходит после десяти тысяч дней напрасного ожидания, оно кажется не столько сюрпризом, сколько истинным чудом.

— Держи крепче! Ты меня уронишь!

Это голос миссис Харрисон.

Ни разу за полсотни лет мне не довелось слышать, чтобы она сказала что-нибудь шепотом или хотя бы нормально. Только крик, визг, громогласные приказы и шумные угрозы.

Да, всегда на пределе громкости.

— Успокойся, мамочка. Вот хорошо, мамочка.

Ни разу за эти долгие годы мне не довелось слышать, чтобы его голос поднялся на тон выше раболопного журчания или возвысился до громкого протеста. Ни единожды он не взорвался ругательствами, пусть бы и визгливыми!

Нет. Вечное, исполненное любви монотонное мурлыканье.

Этим утром, которое ничем не отличалось от множества утр в прежние годы, они подкатили в своем бесконечном черном роскошном лимузине, сунем катафалке, к отелю «Грин Бей», где неизменно проводили каждое лето. И вот он уже суетливо протягивает руку, чтобы помочь этому манекену, этому посыпанному пудрой и тальком ветхому мешку с костями, который только в дурном сне и в шутку можно величать «мамочкой».

— Осторожно, мамочка.

— Ты мне руку сломаешь!

— Прости, мамочка.

Из павильона возле озера я наблюдала, как он катил по дорожке инвалидное кресло, а старуха в нем размахивала тростью, словно мушкетом, из которого она собиралась убить напояла богинь Судьбы или фурий, если те вдруг заступят им путь.

— Осторожно, ты опрокинешь меня на клумбу! Слава богу, что у меня хватило ума в конце концов отказаться от поездки в Париж. Ты бы меня угробил в этих проклятых автомобильных пробках. Ты огорчен?

— Нет, мамочка.

— Мы увидим Париж в будущем году.

В будущем году. Ха, будущий год — это выдумка, никакого будущего года в природе не существует.

Я не сразу ловлю себя на том, что произнесла это вслух, больно вцепившись в подоконник. Почти семьдесят лет я слышу эти обещания — сперва мальчику, потом юноше-мальчику, потом мужчине-мальчику, а теперь вот этому седому насупленному жуку-богомолу с душой мальчика. Вот он катит кресло с вечно мерзнувшей женщиной, закутанной в меха даже сейчас, посреди лета, — катит мимо тех веранд отеля, где некогда восседали знатные дамы и бумажные веера в их руках трепетали, как пестрые крылья восточных бабочек.

— Вон там, в котедже, мамочка... — Его голос из-за расстояния уже плохо слышен. Голос юнца, хотя он уже старик. А прежде, в молодости, его голос казался голосом древнего старика.

Сколько же лет этой рухляди в инвалидной коляске? Пожалуй, девяносто восемь. Да, правильно, девяносто восемь. Она похожа на фильм ужасов, который неизменно крутят по вечерам каждое лето, потому что служба развлечений отеля скупится на новый.

Я быстро пробежалась в памяти по всем их присздам-отъездам вплоть до самого первого. Отель «Грин Бей» только-только построили, всюду виднелись модные тогда зеленые и лимонно-желтые дамские зонтики от солнца. Стояло лето 1890 года, и я впервые увидела Роджера. Ему было столько же, сколько и мне, всего лишь пять лет, но уже тогда у него был взгляд усталого и умудренного жизнью старика.

Он стоял на газоне возле павильона и смотрел вверх, на небо и на пестрые флажки, развешанные между деревьями.

— Привет, — сказала я.

Он просто оглянулся и ни слова не произнес.

Я толкнула его в плечо и отбежала.

Он хоть бы двинулся!

Тогда я вернулась и снова толкнула в то же место.

Он вытаращился на свое плечо и собрался было пуститься за мной, как вдруг издалека громынуло:

— Роджер, ты испачкаешь свой костюмчик!

И он медленно пошел в сторону летнего домика, где они жили. А на меня даже не оглянулся.

С того дня я его возненавидела.

Многоцветные зонтики расцветали тысячами и исчезали, стаи бумажных вееров уносила августовский ветер; павильон сгорел и был отстроен на том же месте и в том же виде, а озеро стало намного меньше — сохлось, как слива. И моя ненависть, словно покоряясь местному закону прилива и отлива публики в зависимости от сезона, то появлялась, то пропадала. Порой моя ненависть вырастала до размеров гигантских, а порой на время уступала место любви — но лишь на время. Ненависть возвращалась всегда — правда, с годами все более похожая на старую стертую подметку.

Помню его семилетним. Он едет в коляске — длинные волосы раскинуты по плулым покатым плечам. Мать рядом, и они держатся за руки. И слышен ее зычный повелительный голос:

— Если ты этим летом будешь хорошим мальчиком, то в будущем году мы поедем в Лондон. Или в крайнем случае через год.

А маленькая девчушка, дочка местной прислуги, не спускала с них глаз: сравнивала их глаза, уши, рты. Когда однажды днем

он в одиночку зашел в павильон выпить лимонада, я решительным шагом подошла к нему и громко заявила:

— Она не твоя мать!

— Что? — Он в панике оглянулся, словно его мать могла услышать мои слова.

— Она тебе даже не тетка и не бабушка! — продолжала я в полный голос. — Она — ведьма, которая украла тебя из люльки. Ты не знаешь своих настоящих родителей. Ты ни чуточки на нее не похож. Она держит тебя для того, чтобы получить от какого-нибудь короля или графа миллион долларов в качестве выкупа за тебя, когда тебе исполнится двадцать один год.

— Не говори такие вещи! — закричал он и вскочил со стула.

— А почему бы и нет? — со злостью сказала я. — Зачем ты сюда приезжаешь? Ты не умеешь играть в это, ты не умеешь играть в то. Ты ничего не умеешь. Ты никчемный. Она все за тебя знает. Она за тебя все говорит. Но мне-то про нее все известно! По ночам она спит в своей спальне, свесившись с потолка головой вниз в своем безобразном черном платье!

— Не говори такие вещи! — повторил он с бледным, перепуганным лицом.

— А с какой стати мне молчать?

— Потому что это правда.

И с этими словами он пулей устремился к двери и был таков.

Снова я увидела его только на следующее лето. Да и тогда всего лишь один раз, мельком, когда моя матушка велела отнести чистые простыни в летний домик, где жили Харрисоны, мать и сын.

Впервые я сделала паузу в своей ненависти к нему в то лето, когда нам было по двенадцать.

Однажды он позвал меня из-за стеклянной двери павильона и, когда я выглянула, сказал тихим спокойным голосом:

— Анна Мария, когда мне исполнится двадцать и тебе исполнится двадцать, я женюсь на тебе.

— Размечтался! — фыркнула я. — Так я и вышла за тебя замуж!

— Так и выйдешь, — убежденно сказал он. — Запомни мои слова, Анна Мария. И жди меня. Обещаешь?

Конечно же, я утвердительно кивнула. Как иначе?

— А как насчет... — вдруг встрепенулась я.

— О, она к тому времени уже умрет, — мрачно произнес он. — Она старая. Очень старая.

Он повернулся и пошел прочь.

А на следующее лето он так и не объявился на курорте. Я слышала, будто его мать больна. И по вечерам, перед сном, я истово молилась, чтобы она побыстрее окочурилась.

Но двумя годами позже они вновь появились у нас и уже больше не пропускали ни одного лета. Мы все росли и росли, и вот уже нам стукнуло по девятнадцать. Еще потерпели — и дотянули до двадцати. И вот, впервые за все время, они появились в павильоне вместе. Она была уже в инвалидной коляске и уже тогда непрестанно зябла и куталась в меха. Ее лицо под слоем пудры походило на жеванный пергамент.

Пока я ставила перед ней многослойное мороженое, она пристально рассматривала меня, потом повернулась к Роджеру, потому что он произнес:

— Мамочка, я хочу представить тебе...

— Я не знакомаюсь с девицами, которые прислуживают в буфетах! Я не отрицаю тот факт, что они существуют, работают и получают жалованье. Однако я тут же забываю их имена.

Она капризно ковырнула ложечкой мороженое — раз, другой. Но Роджер так и не прикоснулся к своему.

Они уехали на день раньше обычного. Я увиделась с Роджером в холле гостиницы, когда он оплачивал счет. На прощание он нежно взял меня за руку, а я не удержалась и сказала:

— Ты кое-что забыл.

— Багаж здесь, — стал вспоминать он. — Счет оплачен. Бумажник на месте. Нет, похоже, я ничего не забыл.

— Когда-то давно, — напомнила я, — ты дал мне одно обещание.

Он молчал.

— Роджер, — сказала я, — нам уже по двадцать. Тебе и мне.

Он схватил мою руку — так испуганно и проворно, словно он падает за борт, а я плячусь прочь и, отказав в помощи, позволяю ему рухнуть в пучину.

— Подожди еще год, Анна! Или два-три, не больше!
— О нет! — вскрикнула я в отчаянии.
— В самом худшем случае — четыре года. Доктора говорят...
— Роджер, доктора не знают того, что знаю я. Она будет жить вечно. Она переживет и тебя, и меня и будет попивать вино на наших похоронах.

— Да у нее ни одного здорового места нет! Анна, ей долго не протянуть, это же очевидно!

— С ней ничего не случится, потому что у нее есть могучий источник силы. Она прекрасно понимает, что мы ждем не дождемся ее смерти. И черпает силы в желании досадить нам.

— Я не могу вести подобные разговоры! Не могу!

Подхватив чемоданы, он заспешил через холл к выходу.

— Роджер, я ждать тебя не стану! — крикнула я вслед.

У самой двери он оглянулся — бледный-бледный — и посмотрел на меня так беспомощно, что я была не в силах повторить свою угрозу.

Дверь за ним закрылась.

А там и лето закончилось.

На следующее лето Роджер первым делом примчался к моему лотку с содовой водой.

— Это правда? Кто он?

— Пол, — ответила я. — Ты же знаешь Пола. В один прекрасный день он станет главным менеджером отеля. Мы поженимся этой осенью.

— Ты не оставляешь мне времени! — охнул Роджер.

— Поздно спохватился. Мы уже обручены.

— Господи! Они обручены! Да ты же его не любишь!

— Пожалуй что и люблю.

— «Пожалуй!» Так «пожалуй» или любишь? Это разные вещи! А вот меня ты любишь без всяких «может быть»!

— Ты так уверен, Роджер?

— Не падо всех этих штучек-дрючек! Ты же прекрасно знаешь, что любишь меня! Ах, Анна, ты будешь несчастна!

— Я и сейчас несчастнее некуда, — сказала я.

— Анна, не лори горячку! Дождись меня!

— Да я всю свою жизнь только и жду тебя. И знаю, что моему ожиданию конца-края не будет.

— Анна! — вдруг воскликнул он уже с другой интонацией. Казалось, ему только что пришла в голову совсем новая мысль. — Анна, а вдруг... А вдруг она умрет прямо этим летом?

— Черта с два.

— Она умрет, если ей станет хотя бы чуточку хуже. Я хочу сказать, в ближайшие два месяца... — Он смотрел на меня побитой собакой и старался прочесть мои мысли по глазам. — Анна, если она умрет в следующем месяце... или нет, лучше через две недели — какие-то короткие две недельки... Ведь ты же меня дождешься? Ведь ты согласишься выйти за меня замуж?

Я расплакалась.

— Ах, Роджер, мы даже ни разу не поцеловались. Это так глупо.

— Скажи мне, если она умрет через неделю, всего лишь через семь дней...

Он схватил меня за руки.

— Откуда тебе знать! — сказала я между всхлипами.

— Я позабочусь, чтоб это стало фактом. Клянусь тебе, через неделю ее не будет в живых — в противном случае я больше не стану доносить тебя.

Его как ветром сдуло. А для меня мир вдруг стал нестерпимо ярок, будто на небе включилось второе солнце.

— Роджер, не смей! — крикнула я, но мне совсем не хотелось, чтобы он остановился и вернулся. В голове у меня стучало: правильно, Роджер, сделай что-нибудь — что угодно! — и положи всему этому конец.

Той ночью, лежа в постели, я ломала голову над тем, какие есть способы убить и не быть схваченным. Думает ли лежачий в сотне метров отсюда Роджер о том же самом? Что он примет завтра? Отправится ли он на болото, чтобы найти похожие на съедобные, но смертельно ядовитые грибы? Или во время прогулки на машине войдет в крутой поворот на слишком большой скорости, чтобы пассажирка вывалилась из нарочно не до конца прикрытой двери?

Я представила, как эта восковая кукла описывает кривую по воздуху, шмыкается о придорожный дуб, тополь или клен и ее головенка раскалывается будто грецкий орех. Мне это так понравилось, что я привстала на постели и долго беззвучно хохотала.

тала до слез. А поплавав, снова принялась хохотать. Нет, нет, успокаивала я себя, он умный, он найдет наиболее безопасный путь. Например, неведомый грабитель проникнет ночью в дом и вытрясет жизнь из старой карги. Пусть она так перепутается, что сердце у нее выскочит из груди и уже не вскочит обратно!

Но потом явилась самая черная, самая древняя — и самая простодушно-детская мысль из всех, роившихся в моей голове. Есть лишь один способ прикончить эту бабу, рот которой так похож на окровавленную резаную рану. Поскольку она ему никто, даже не тетушка и не бабушка, а ведьма-похитительница, то избавиться от нее можно только так: подстеречь где-нибудь и вогнать в сердце кол!

Я услышала ее пронзительный вопль. Он был так громок, что ночные птицы испуганно вспорхнули с веток и расселись по звездам.

Я опять легла. Анна Мария, добропорядочная христианка, о чем ты тут мечтаешь ночной порой?! Об убийстве! Неужели ты и впрямь желаешь убить? Да, желаю. Ибо отчего бы и не убить убийцу, эту женщину, которая долгие годы медленно душает собственное дитя — как начала душить с колыбели, так с тех пор и не отнимает свои преступные руки! Он оттого так беспомощен и так бледен, бедняжка, что с младенчества ему ни разу не было позволено вдохнуть полной грудью.

И потом вдруг непрошеными гостями явились строки одного старого стихотворения. Не могу сказать, откуда они взялись в моей памяти. Может, я их где-то прочитала, или кто-то мне их процитировал, или я сама бессознательно сочиняла их на протяжении нескольких лет. Однако строки будто полыхали передо мной в темноте, и я зашептала:

Кое-кто живет как Лазарь
В могиле жизни,
Чтобы с опозданием восстать к смерти
В больничных сумерках или в море.

Следующие строки не возвращались. Я мучилась, повторяя эти слова и стараясь выудить из памяти продолжение, затем вдруг как-то сами собой выпрыгнули из темных глубин сознания последние пять строк:

Уж лучше пить глазами горечь ледяных небес на Севере,
Чем жить спящим мертворожденным, подобьем призрака
Взамен потерянного Рио влюбись в арктические берега!
О ветхий Лазарь,
Изыди вон*.

Стихотворение отзвучало во мне и отпустило меня в сон. Мое бдение закончилось, и я спала сном ребенка — в надежде, что утром услышу хорошие новости, которые решат мою судьбу раз и навсегда.

На следующий день я увидела, как он везет инвалидное кресло со своей матерью к конюю нирса. Меня так и пронзило: вот оно! Правильно! Она стинет в волнах, а через неделю найдут выброшенный волнами труп — страшного морского монстра, сплошное лицо без тела.

Но день прошел, и ничего не случилось. Ладно, решила я, все свершится завтра.

Второй день обещанной недели прошел, потом третий, четвертый, а за ними пятый и шестой. И вот на седьмой день вижу: бежит по тропке одна из горничных и верещит, вытаращив глаза:

— Ужас! Ужас! Ужас!

— Что, миссис Харрисон? — вскрикнула я. Мне чуть дурно не стало, однако на моем лице, помимо воли, расплылась довольная улыбка.

— Нет, нет! Ее сын! Он повесился!

— Повесился? — глупо переспросила я. Это меня так ошарашило, что я вдруг принялась ей объяснять самым идиотским образом: — Ничего подобного! Это не он должен был умереть. Это...

Я бы стгоряча выложила все, если бы горничная не схватила меня за руку и не потянула за собой, приговаривая:

— Веревку срезали. Он, слава богу, еще живой. Быстрее же, быстрее!

* Евангелие от Иоанна (11:43): «Лазарь, иди вон!» Воскрешенный Лазарь выходит из могилы-пещеры к жизни. В стихотворении обратное: при жизни труп воскресает к смерти.

Еще живой? Тут она глубоко заблуждалась. Они вынули его из пети, и он дышал. И продолжал дышать все последующие годы. Однако я бы поостереглась называть его действительно живым. Он не выжил в тот день. Нет.

Зато ей это лишь прибавило жизни. Этот его неудачный порыв к свободе ей был как с гуся вода. Однако попытки бегства она ему никогда не простила.

— Что ты хотел этим сказать? Что ты хотел этим сказать? — орала она на него, когда он лежал с закрытыми глазами и бледный как смерть в их летнем домике и потирал себе горло.

Примчавшись туда, я так их и застала: он судорожно глотает воздух, и она злобно пританцовывает рядом.

— Что ты хотел этим сказать? Что? Чего ты этим хотел добиться?

Глядя на распростертое на полу тело, я вдруг догадалась, что он хотел убсжать от нас обеих. Ибо мы обе были ему невыносимы. Я тоже не простила ему. То есть не могла простить очень и очень долго. Но потом я ощутила, что моя застарелая ненависть к нему превращается во что-то иное, в некую тупую боль. А в тот день я стрелой помчалась за врачом. За моей спиной миссис Харрисон продолжала вколачивать гвозди по самую шляпку.

— Что ты хотел этим сказать, глупый мальчишка? Что? Что?

Осенью того же года я вышла замуж за Пола.

И годы побежали однообразной чередой. Раз в году, на протяжении летних месяцев, Роджер регулярно бывал в павильоне и заказывал мятное мороженое. С ложечкой в вялой руке он грустно поглядывал на меня, однако никогда больше не называл по имени и ни разу не упомянул о своем давнем обещании.

На протяжении тех сотен месяцев, что я была женой Пола, мне не раз случалось думать, что Роджеру совершенно необходимо — теперь уже только для себя, исключительно для себя — что-то предпринять: восстать в один прекрасный день и истребить агрессивного дракона с уродливой, густо напудренной мордой и лапами, покрытыми сухой, чешуйчатой кожей. Во имя Роджера, и только Роджера, Роджер обязан положить этому конец.

Ну уж в этом-то году он это наконец сделает, думала я, когда ему исполнилось пятьдесят. То же я думала, когда ему стукнуло пятьдесят один. То же я думала и годом позже. А между сезонами, проглядывая чикагские газеты, я ловила себя на том, что надеюсь наткнуться на ее фотографию с ножом в сердце — огромный отвратительный окровавленный желтый цыпленок. Но увы, увы, увы.

До того как они объявились снова сегодня утром, я почти выкинула их из памяти. Роджер ужасно постарел и рядом с ней больше похож на старенького ларкающего мужа, чем на сына. Волосы седые с прожелтью, спина согбенная, синие глаза стали водянисто-голубыми, во рту не хватает зубов. Разве что иссохшие руки с ухоженными ногтями утратили лишний жир и стали выглядеть более энергичными.

В полдень он остановился у входа в павильон — одинокий жалкий бескрылый ястреб, глядящий с тоской в небо, куда за всю жизнь так и не решился взмыть. Потоптавшись у входа, Роджер открыл дверь и быстро прошагал ко мне. Впервые на моей памяти его голос поднялся почти до крика:

— Почему ты не сказала?

— Не сказала что? — спросил я и стала, не ожидая заказа, накладывать в розетку шаррики мятного мороженого.

— Одна горничная проговорила, что твой муж уже пять лет как в могиле! Пять лет! Ты была обязана сообщить мне об этом!

— Что ж, теперь ты знаешь, — только и промолвила я.

Роджер медленно опустился на стул.

— Господи, — воскликнул он, отправил в рот первую ложечку мороженого, просмаковал ее с закрытыми глазами и заявил: — Как горько!

Покончив с мороженым, он сказал:

— Анна, я никогда не решаюсь спросить. У вас были дети?

— Нет, — ответила я. — Сама не понимаю почему. И думаю, теперь уже никогда не пойму.

Я оставила его за столиком с новой порцией мороженого, а сама пошла мыть посуду.

Около девяти часов вечера я услышала чей-то смех возле озера. Чтоб Роджер когда-либо смеялся — такого я не помнила.

Разве что в самом раннем детстве. Поэтому мне и в голову не могло прийти, что это он приближается к павильону. Но чуть позже кто-то решительно распахнул дверь, и я увидела на пороге Роджера. Он возбужденно размахивал руками, переполненный безудержным весельем.

— Что случилось? — спросила я.

— Ничего-ничего! Ничего такого! — восклицал он. — Все отлично! Кружку пива, Анна! Налей кружку и себе! Выпей со мной!

Пока мы пили пиво, Роджер хохотал и подмигивал, но потом вдруг стал невероятно тих и грустен. Хотя продолжал улыбаться. И я заметила, как удивительно он помолодел.

— Анна, — громко прошептал он, наклоняясь поближе к моему лицу, — угадай, что происходит? Я завтра улетаю в Китай! А оттуда еду в Индию. Потом Лондон, Мадрид, Париж, Берлин, Рим и Мехико!

— Ты шутишь, Роджер?

— Я действительно еду! И заметь — я еду. Не мы, а я. Я, я один! Я, Роджер Бидвелл Харрисон. Я! Я! Я!

Я вытаращила на него глаза, а он ответил спокойным умиротворенным взглядом. Я ахнула, и до меня наконец-то дошло, что он совершил сегодня вечером — буквально несколько минут назад.

— О нет! — помимо воли шепнули мои губы.

Но да, да, его глаза ответили мне «да». Невероятное свершилось. Чудо произошло. После всех этих бесконечных лет бесплодного ожидания! Сегодня вечером наконец-то произошло. Сегодня.

Я дала ему выговориться. После Рима и Мехико он собирался еще в Вену и в Стокгольм. У него множество планов — так что и в сорок лет не уложиться. Оказалось, что он помнит наизусть расписание авиарейсов и лучшие отели по всему миру, а также знает едва ли не все достопримечательности света и уже везде побывал в своем воображении.

— Но самое прекрасное в этом всем, — подытожил он свой лихорадочный рассказ, — самое прекрасное в этом всем то, что со мной рядом будешь ты, Анна! Ведь ты согласна поехать со

мной, Анна? У меня отложена прорва денег. Я горю желанием их потратить. Анна, скажи мне, ведь ты согласна?

Я вышла из-за стойки и мельком взглянула на себя в зеркало. Женщина семидесяти лет, опоздавшая на вечеринку на каких-нибудь пятьдесят лет.

Я села за столик рядом с ним и помотала головой.

— Но, Анна, почему же нет? Не вижу ни единой причины для отказа!

— Причина есть, — сказала я. — Ты сам.

— Я? Но речь-то не обо мне!

— О тебе, Роджер, о тебе.

— Анна, мы проведем вместе сказочное время.

— Да, это была бы сказка, тут я не спорю. Но, Роджер... Ты был связан — все равно что женат — на протяжении почти семидесяти лет. Теперь, впервые в жизни, ты свободен от уз. Ты же не хочешь немедленно оказаться в новых оковах?

— Я... Не хочу? — сказал он и растерянно заморгал глазами.

— Если ты прислушаешься к себе, то поймешь, что нет, не хочешь. Ты заслужил право побыть какое-то время ни с кем не связанным, в одиночку объездить мир и в одиночестве поискать себя, понять: кто он такой, этот Роджер Харрисон. Тебе надо побыть вдали от женщин. А потом, когда ты объедешь вокруг света и вернешься, можно подумать о других вещах.

— Ну, если ты так говоришь...

— Нет. Мое мнение тут ни при чем. Не оглядывайся на меня. Теперь ты должен стать хозяином своей судьбы и только к себе прислушиваться. Уезжай в кругосветное путешествие и получи удовольствие на полную катушку. Бери счастья сколько сможешь.

— А ты будешь ждать моего возвращения?

— Моя способность ждать давно истощилась. Однако я буду здесь, никуда не денусь.

Он вскочил и устремился к двери. Потом остановился как вкопанный и оглянулся на меня — словно его поразила какая-то новая мысль.

— Анна, — сказал он, — а если бы это случилось сорок или пятьдесят лет назад, ты бы тогда поехала со мной? Тогда бы ты захотела поехать со мной?

Я ничего не ответила.

— Анна! — настаивал он.

После долгого молчания я наконец сказала:

— Есть вопросы, которые негоже задавать.

А про себя я уточнила: есть вопросы, на которые попросту не существует ответов. Если я пробегусь памятью по берегу нашего озера до самых первых времен — ничто в прошлом не подскажет мне, могла ли я стать счастливой. Быть может, еще сопливой девчонкой я почувствовала, что Роджер для меня недостижим и потому он что-то необычное. И меня уже тогда потянуло к нему — недостижимое и необычное имеет свойство притягивать сердца. Он был чем-то вроде редкостного цветка между страницами старой книги — раз в год этот цветок можно вынуть, повосхищаться им и... А собственно говоря, что еще можно с ним делать? Чья голова во всем этом разберется? Уж конечно, не моя. Мне трудно размышлять над подобными вопросами на закате вечера и на закате жизни. Знаю только, что жизнь — это вопросы, а не ответы.

Роджер, похоже, многое из того, что я думала, прочитал на моем лице. И то, что он угадал, заставило его сперва потупить взгляд, а потом и вовсе закрыть глаза.

Потом он вернулся ко мне, взял мою руку и прижал ее к своей щеке.

— Я вернусь. Клянусь тебе, я вернусь!

Выйдя из павильона, он на какое-то время застыл, ошарашенный обилием лунного света. Вертел головой и спешно устремляя взгляд во все концы света, как школьник, который впервые приехал на каникулы и растерянно и счастливо пыхтит, не зная, куда кинуться для начала.

— Не спеши возвращаться! — с жаром сказала я. — Делай все, что твоему сердцу угодно. Смакуй все не спеша. И не торопись возвращаться!

Я видела, как он чуть ли не вприпрыжку направился к лимузину возле летнего домика. Завтра утром я должна пойти к этому домику, постучаться в дверь — и не получить ответа. Однако я поступаю иначе. Я не пойду туда и горничным прикажу не ходить: дескать, пожилая леди не велела ее беспокоить. Это даст Роджеру возможность начать новую жизнь без помех. По-

лицию я могу позвать через неделю или даже через две-три недели. А если наручники будут ждать Роджера у трапа корабля после его возвращения из всех этих заманчивых мест планеты — не велика беда.

А впрочем, все может обойтись и без полиции. Возможно, старуха умерла от сердечного приступа, а Роджеру лишь почувнилось, что это он ее убил, и теперь он уплывает прочь в большой мир в гордом сознании своего мнимого преступления, не допуская мысли, что даже ее смерть была последним проявлением ее стальной воли и самодурства — властная прихоть добровольно умереть естественной смертью и отпустить его на волю.

Но если отложенное на семьдесят лет убийство все же совершилось и он действительно схватил ее за горло и придушил отравительную индюшку, у меня не найдется и слезинки, чтобы ее омакать. Если о чем я и жалею, так лишь о том, что исполнение приговора было отложено на столь длительный срок.

Подъездная дорога пуста. Лимузин проурчал прочь уже несколько часов назад.

Потушив свет в павильоне, я стою возле окна и смотрю на сверкающую гладь озера, возле которого в другом веке, под другим солнцем, я увидела мальчика с лицом старичка и пихнула его в плечо, приглашая поиграть, а он ждал семьдесят лет, прежде чем вернуть мне тычок, чмокнуть мне руку и кинуться наутек, растерянно оглядываясь: отчего же я не бегу за ним?

Перед многими вопросами стою я в растерянности сегодня вечером.

Лишь в одном я уверена.

Роджера Харрисона я больше не ненавижу.



Могильный день

Пришел Могильный день, и в эту зеленую пору все жители деревни, даже бабушка Лабилли, отправились по прогретой солнцем тропинке на кладбище. И вот они безмолвно стоят здесь — над головой изумрудное небо, под ногами щедрая земля Миссури, а вокруг пахнет ранним летом и распускающимися полевыми цветами.

— Ну что ж, добрались наконец,— объявила бабушка Лабилли, упершись подбородком в свою палку. Она обдала всех пронзительным взглядом янтарно-карих глаз и сплюнула на пыльную землю.

Кладбище раскинулось в тихом месте, на склоне невысокого холма. Вокруг покосившиеся деревянные надгробия и осевшие могильные насыпи; в пронзительно-свежем воздухе сновали пчелы, своим деловитым жужжанием лишь обогащая перво-зданную тишину; на фоне ясного неба, словно ожившие цветы, увядали и распускали вновь свои лепестки-крылья бабочки. Высоchenные загорелые мужчины, женщины в ношеных льняных платьях долго стояли молча, не отрывая глаз от земли, скрывавшей усопших и погребенных родных.

— Что ж, пора приниматься за работу! — объявила бабушка Лабилли и с трудом заковыла по влажной траве, проворно втыкая в нее свою палку.

Принесли лопаты и припасенные заранее ящики, по-праздничному расцвеченные букетиками сирени и маргариток. Вла-сти решили, что в августе через эти земли пройдет дорога, а поскольку кладбище за пятьдесят лет пришло в запустение и здесь уже давно никого не хоронили, родственники скрепя сердце согласились потревожить полуистлевшие останки своих предков и перенести их для вечного упокоения в другое место.

Бабушка Лабилли сразу же опустила на колени; лопата дрожала в бессильных руках. Другие уже разошлись по местам и проворно разбрасывали податливую землю.

— Бабушка,— почтительно обратился к ней Джозеф Пайкс, закрыв своей широкой тенью жалкие плоды ее усилий.— Бабушка, не надо бы тебе копать в этом месте. Здесь лежит Уильям Симмонс, бабушка.

Услышав его зычный голос, остальные прервали работу и навострили уши. Тишина; только бабочки шелестят крыльями в прохладном вечернем воздухе.

Бабушка медленно подняла глаза и смерила великана взглядом:

— Думаешь, я не знаю, кто здесь лежит, молодой Джозеф? Я уже шесть десятков лет не видела Уильяма Симмонса и сегодня непременно его навещу!

Разбрасывая жирную землю, лопата за лопатой, она ушла в свои мысли и заговорила сама с собой, не таясь перед тем, кто захочет послушать:

— Шестьдесят лет прошло, а ведь он был видным парнем, всего двадцать три годочка, ну а мне-то — двадцать, волосы словно золото, шея и руки — парное молоко, а щеки будто персик. Шестьдесят лет... И свадьбу уж назначили, но он заболел и помер. А я одна осталась и помню, как земля над ним осела, когда зарядили дожди.

Все не отрываясь смотрели на нее.

— Но все-таки, бабушка... — начал было Джозеф Пайкс.

Могила была неглубокой. Скоро открылся длинный железный ящик, покрытый коричневой коркой.

— Пособите-ка мне! — приказала она.

Девять мужчин подняли гроб, а бабушка тем временем тыкала в них своей палкой, покрикивая: «Осторожней!» и «Легче!»

— Теперь ставьте.

Мужчины послушно опустили ящик на землю.

— А сейчас окажите мне любезность, джентльмены, занесите-ка мистера Симмонса ненадолго в мой дом.

— Мы забираем его на новое кладбище,— возразил Джозеф Пайкс.

Бабушка пронзила его взглядом, словно иголками.

— Вы только занесите живенько этот вот ящик прямо ко мне. Премного благодарна.

Она повернулась и пошла в деревню. Мужчины смотрели, как старуха ковыляет по тропинке, становясь все меньше и меньше, пока совсем не исчезла из виду. Переглянувшись, уставились на гроб и поплевали на руки.

Через пять минут они с трудом протиснули свою поппу в узкую дверь белого домика бабушки Лабилли и осторожно поставили возле пузатой печки.

Она налила всем по стаканчику.

— Теперь давайте снимем крышку. Не каждый день ведь встречаешь старого друга!

Мужчины не тронулись с места.

— Что ж, не хотите, так я сама.

Она ковырнула гроб палкой, еще и еще раз, обламывая наросшую за долгие годы земляную корку.

По половицам резво засеменили пауки. В комнатке распространился густой дух, словно от вспаханной по весне земли. Тут уж мужчины подцепили неподатливое железо сильными пальцами. Бабушка отступила на шаг.

— Поднимай!

Она повелительно взмахнула своим сучковатым жезлом, будто какая-то древняя богиня, и крышка повиновалась.

Мужчины опустили ее на пол и повернулись.

Все разом охнули: словно осенний ветер ворвался в комнату.

В воздухе, кружась, медленно оседали золотые пылинки. Перед ними, как живой, лежал Уильям Симмонс. Казалось, он просто спит: на губах застыла легкая улыбка, руки сложены на груди. Принаряжен как в гости, только идти-то ему теперь совсем некуда.

Из груди бабушки вырвался слабый жалобный крик:

— Да он ведь совсем нетронутый!

И правда, время пощадило его, как засушенного жучка. Чистая, белоснежная, гладкая кожа. Красивые глаза, словно лепестками, прикрыты нежными веками, губы сохранили свой цвет, пышные волосы гладко причесаны, галстук завязан, и ногти аккуратно подрезаны. В общем, он остался таким же, как в тот день, когда гроб опустили в безмолвные могилы и засыпали землей.

Бабушка закрыла рот руками, с трудом дыша, напрягая слезящиеся глаза. Она почти ничего не видела.

— Где мои очки?

Стали искать их.

— Неужели так трудно найти очки? — кричала старуха. — Ладно, не надо.

Она подошла к нему совсем близко. Все затихло дыхание. В комнате стало совсем тихо.

Она стояла над открытым гробом и судорожно вздыхала, что-то приговаривая воркующим, дрожащим от волнения и слабости голосом.

— Господи, он сохранился, каким был,— сказала одна из женщин, пришедших в дом.— Не рассыпался в прах!

— Такого не бывает! — произнес Джозеф Пайкс.

— Но ведь случилось же,— возразила женщина.

— Шестьдесят лет под землей, и свеженький как огурчик! Ясно ведь, что такого не бывает!

Заходящее солнце, прощаясь, заглянуло в каждое окошко, среди цветов устраивались последние мотыльки и сами превращались в новые яркие лепесточки.

Бабушка Лабилли вытянула над телом дрожащую сморщенную руку:

— Земля его сохранила. Земля и здешний воздух. Сухая почва спасает от тлена.

— Он молодой,— тихо произнесла одна из женщин.— Со всем еще молодой.

— Да.— Старуха не отрывала взгляда от своего жениха.— Вот он лежит передо мной в гробу, и ему все еще двадцать три. А я стою здесь, и мне уж под восемьдесят!

Она закрыла глаза.

— Не надо, бабушка...— Джозеф Пайкс осторожно тронул ее за плечо.

— Он такой свеженький и красивый, а я... — Она зажмурилась изо всех сил. — Вот я склонилась над ним, но мне никогда не стать прежней, и даже мечтать о таком нельзя, так и буду старой клячей на тонких кривых ножках... О господи! Смерть оставляет людям молодость. Только посмотрите, как хорошо она с ним обошлась. — Бабушка медленно провела руками по увядшему лицу и телу, повернулась к остальным: — Смерть добрее жизни. Почему и я не умерла тогда? Теперь мы оба остались бы такими, как в день свадьбы. Лежала бы я в гробу, в белом венчальном платье, вся сплошь в кружевах, закрыв глаза, словно орбела. А ручки сложены на груди, будто я молюсь.

— Будет тебе причитать, бабушка!

— Я имею право причитать! Почему, почему я тоже не умерла? И не стояла бы такой сегодня, когда он вернулся повидать меня!

Ее руки вновь слепо метнулись к лицу, ощупывая каждую морщинку, оттягивая обвисшую кожу, шаря во рту, беззубом и высохшем, дергая седые редкие пряди и поднося их к невидящим от горя глазам.

— Хорошо же его встретили дома! — Она показала всем свои тощие руки-сучья. — Думаете, мужчина в полном расцвете полюбится на древнюю старуху, в жилах которой не кровь, а стоялая жижа? Меня обманули! Смерть навсегда сберегла его молодость. Поглядите на меня: разве так обошлась со мной жизнь?

— Ну, не все же тебе в убыток, бабушка, — рассудительно произнес Джозеф Пайкс. — Да и какой он молодой! Ему уж за восемьдесят!

— Дурак ты, Джозеф Пайкс! Он крепок, как камень, не источенный веками дождей. И он вернулся повидать меня, а теперь, конечно, выберет себе молоденькую. На что ему старуха?

— Ну, такому-то молодцу ни от кого не будет проку, — сказал Джозеф.

Бабушка отпихнула мужчину подальше от железного ящика.

— Убирайтесь все сейчас же! Не ваш гроб, и крышка, и жених не ваш! Оставьте его тут по крайности на ночь, а завтра выкопаете новую могилу!

— Хорошо, бабушка. Он ведь был твоим парнем. Я приду пораньше. Ты не убивайся так, не плачь.

— Что глазам захочется, то и буду делать...

Она застыла посреди комнаты и не двигалась, пока не вышли все. Немного погодя достала свечку, зажгла ее и тут заметила в окне фигуру, стоявшую на холме рядом с домом. Это Джозеф, он проторчит там всю ночь напролет. Но бабушка Лабилли не стала кричать ему, чтобы уходил. И хотя она не смотрела больше в окно, от сознания того, что он рядом, на душе было как-то спокойнее.

Она подошла к гробу и впиалась глазами в Уильяма Симмонса.

Как ясно она сейчас видела его, живого! Смотришь на руки, и вот они уже ловко управляют с поводьями, быстро двигаются вверх и вниз. Она вспомнила, как он причмокивал, погоняя лошадь, та бежала ровной рысью, и коляска плавно катилась по лугам под серебристым светом луны, пересекая длинные тени. А когда эти руки обнимали ее?... Разве забудешь такое?

Потрогала одежду, в которую он облачен, и вдруг вскрикнула:

— Его схоронили в другой!

Но в глубине души она сознавала, что костюм тот самый. За шестьдесят лет изменился не Уильям, а ее представление о нем.

Охваченная внезапным страхом, старуха стала шарить вокруг в поисках очков, нащупала их наконец и торопливо надела.

Присмотрелась и завопила:

— Да ведь это не Уильям Симмонс!

Но все равно отлично понимала, что перед ней лежит ее мертвый жених, и никто иной.

— У него подбородок был вовсе не такой скошенный! — твердила она вполголоса, стараясь быть честной. — Или, может, такой? И волосы, чудесные каштановые волосы, я ведь помню! А эти просто русые! Да и нос, сдается мне, совсем не остренький.

Она склонилась над незнакомцем, внимательно разглядывая его, и с каждой секундой все больше убеждалась, что перед ней подлинник, а не фальшивка. Она поняла то, что должна была знать с самого начала: память о мертвых — что воск, сознание лепит из нее по своей прихоти, придает новые черты, там что-то выровняет, здесь шлепнет лишний комочек, тут вытя-

нет, добавит роста... Формирует то так то эдак, вертит во все стороны, стругает и приглаживает, пока не создаст образ, мало схожий с реальным человеком.

Она испытывала боль, словно потеряла что-то важное, и растерянность. Теперь бабушка Лабилли жалела, что открыла гроб. Ну уж по крайней мере могло бы хватить ума обойтись своими слабыми глазами! Сначала она видела его смутно, и воображение восполняло недостающее. Но после того, как наде- ла очки...

Она снова и снова вглядывалась в лицо жениха, и постепенно оно становилось привычным. Образ, скроенный из воспомина- ний и мыслей, что дряхлели и сменялись новыми, наслаивались друг на друга в памяти за шестьдесят лет, исчез, вытесненный из сознания человеком, которого она знала на самом деле. Да, он оставался таким же пригожим, как был при жизни. Боль утраты больше не терзала ее душу; Уильям Симмонс остался самим собой, ни убавить, ни прибавить. Так всегда получается, если годами не видишь человека, и вдруг он возвратился. И под- ходит поздороваться. Сначала сильно не по себе, а потом при- выкаешь.

— Да, это ты.— Старуха засмеялась.— Вижу, как ты украд- кой выглядываешь из-под чужого незнакомого обличья и до- вольно посмеиваешься, что так ловко одурачил меня.

И опять заплакала. Если б только можно было сказать: «По- смотрите, ведь он выглядит совсем не так, это не тот человек, который мне полюбился!» — сразу стало бы легче. Но вредные человечки, засевшие в голове, раскачиваясь в своих крохотных качалках, заливались кудахтающим смехом: «Не обманешь, не обманешь, старая!»

Господи, как просто уверить себя, что перед ней кто-то дру- гой. Сразу бы полегчало. Но она не стала лукавить. Ее заполняли гнетущая тоска и грусть: вот он, свежий как родниковая вода, и она, древняя как океан.

— Уильям Симмонс! — вскричала бабушка Лабилли.— Не смотри на меня! Я знаю, ты любишь по-прежнему, так подожди немного, дай прихорошиться!

Она разворошила в печке огонь, мигом нагрела щипцы, за- вила свои седые космы в серебристые кудряшки. Мукой набели-

ла щеки, надкусила вишню, чтобы придать сочный цвет губам, пощипала щеки, чтобы вызвать румянец. Кинулась к сундуку, перевернула старую одежду, пока не нашла платье из вы- цветшего синего бархата. Его она и надела.

Подбежала к зеркалу и в ужасе отпрянула от своего отраже- ния.

— Нет-нет,— простонала старуха и закрыла глаза.— Что бы я ни сделала, я не стану моложе тебя, Уильям Симмонс! Даже если сейчас умру, это все равно не вылечит меня от старости...

Она почувствовала безумное желание стремглав унести в лесную чащу, упасть в кучу упавших листьев и превратиться вместе с ними в тлен. Метнулась к выходу, решив больше не возвращаться. Но когда распахнула дверь, внутрь ворвался хо- лодный ветер и принес странные звуки, заставившие ее заме- реть.

Зябкий вихрь пронесся по комнатке, с разгона налетел на гроб, забрался внутрь...

Казалось, Уильям Симмонс шевельнулся в своем железном ящике.

Бабушка Лабилли быстро захлопнула дверь.

Она неторопливо вернулась и, щурясь, присмотрелась к нему.

Он постарел на десять лет. На гладкой коже появились мор- щинки.

— Уильям Симмонс!

Целый час се суженый, словно внезапно заработавшие часы, мерно навестывал год за годом. Щеки постепенно стезжились, как сжимается кулак или вянет яблоко в корзине. Платье выле- пили из белоснежного снега, и теплый воздух растопил ее; те- перь она казалась обуянной. От дуновения ветерка сморщи- лись веки и губы. Неожиданно, словно от удара молотка, по лицу трещинами рассыпались миллионы морщин. Тело корчи- лось в муках старения. Ему исполнилось сорок, пятьдесят, шесть- десят! Семьдесят, восемьдесят, сто лет! Он сгорал на невидимом костре! Кожа, нещадно палимая временем, издавала тихое пур- шание, потрескивание, как сухие листья: сто десять, сто два- дцать лет... Годы все обильнее и глубже прочерчивали морщины и складки.

Всю холодную ночь бабушка Лабилли простояла рядом с ним, не обращая внимания на ноющую боль в своих по-птичьему тонких косточках, спокойно и холодно наблюдая за метаморфозами тела. Она была очевидцем этого невероятного превращения. И в конце концов почувствовала, что на сердце больше не давит неведомая боль. В душе не осталось ни грусти, ни сожаления.

Она спокойно заснула, прислонясь к стулу.

Желтые лучи солнца напоили светом лесной край, птицы, муравьи, быстрые воды ручейков тихонько зашпешили куда-то, каждый повинаясь своим законам.

Настало утро.

Бабушка проснулась и посмотрела на Уильяма Симмонса.

— О господи,— произнесла она, сразу осознав, что происходит.

От одного ее дыхания кости трупа затренили, начали расслаиваться и распадаться, как высохшие куклолки, крошиться, как сахарный леденец, сгорать на невидимом огне. Они осыпались серовато-белыми хлопьями, взмстались невесомой пылью, мельтешащей в солнечных лучах. Стоило крикнуть, и кости раскалывались на мелкие кусочки, а из гроба доносился сухой шелест.

Если сейчас подует ветер, а она откроет дверь, его унесет словно ворох сухих листьев?

Склонившись над ящиком, она долго смотрела на то, что осталось от двадцатитрехлетнего лица и тела. Когда наконец до бабушки Лабилли дошла суть случившегося, из глотки ее вырвался короткий вопль. Она отпрянула, судорожно ощупала лицо, иссохшие груди, провела руками по телу и ногам, коснулась беззубых десен....

На крик прибежал Джозеф Пайкс.

Он появился как раз вовремя, чтобы стать свидетелем удивительного зрелища: бабушка Лабилли неистово кружилась по комнате в своих желтых ботинках на высоких каблуках, скакала и плясала как сумасшедшая! Без устали хлопала в ладоши, смеялась, хотя из глаз капали слезы, игриво вскидывала подол юбки, вертелась крутом, вальсировала с невидимым партнером. И при этом выкрикивала, делясь своей радостью с солнечными

зайчиками и своим отражением, то и дело мелькавшим в большом настенном зеркале:

— Я молода! Мне скоро восемьдесят, но я моложе его!

Бабушка прыгала, скакала как ребенок, приседала в книксене.

— Ты был прав, Джозеф Пайкс, не все мне в убыток, не все! — хихикала она.— Потому что я моложе всех мертвецов на свете!

С этими словами бабушка Лабилли так бешено закружилась в вальсе, что взвихренный прах стал пылью и под ее торжествующие вопли мириадами сверкающих золотых песчинок повис в воздухе.

— Хей-хо! — кричала она.— Хей-хо!



Вышивание

В сумеречном вечернем воздухе на террасе часто-часто сверкали иголки, и казалось, это кружится рой серебристых мошек. Губы трех женщин беззвучно шевелились. Их тела откидывались назад, потом едва заметно наклонялись вперед, так что качалки мерно покачивались, тихо скрипя. Все три смотрели на свои руки так пристально, словно вдруг увидели там собственное, тревожно бьющееся сердце.

- Который час?
- Без десяти пять.
- Надо уже идти лущить горох для обеда.
- Но... — возразила одна из них.
- Верно, я совсем забыла. Надо же...

Первая женщина остановилась на полуслове, опустила на колени руки с вышиванием и посмотрела через открытую дверь, через дышащую безмолвным уютом комнату в притихшую кухню. Там, на столе, ожидая, когда ее пальцы выпустят чистенькие горошины на волю, лежала кучка изысканных упругих стручков. И ей казалось, что она в жизни не видела более яркого воплощения домовитости.

— Иди лущи, если тебе от этого будет легче на душе, — сказала вторая женщина.

— Нет, — ответила первая, — не хочу. Никакого желания.

Третья женщина вздохнула. Она вышивала розу, зеленый лист, ромашку и луг. Иголка то появлялась, то снова исчезала.

Вторая женщина делала самый изысканный, тонкий узор, ловко протыкала материю, безошибочно ловила иглу и посылала обратно, заставляя ее молниеносно порхать вверх-вниз, вверх-вниз. Зоркие черные глаза чутко следили за каждым стежком. Цветок, мужчина, дорога, солнце, дом — целая картина рождалась под ее руками, чудесный миниатюрный ландшафт, подлинный шедевр.

— Иногда думается, в руках все спасение, — сказала она, и остальные кивнули, так что кресла вновь закачались.

— А может быть, — заговорила первая женщина, — душа человека обитает в его руках? Ведь все, что мы делаем с миром, мы делаем руками. Порой мне кажется, что наши руки не делают и половины того, что следовало бы, а головы и вовсе не работают.

Они с новым вниманием посмотрели на то, чем были заняты руки.

— Да, — согласилась третья женщина, — когда вспоминаешь свою жизнь, то видишь в первую очередь руки и то, что они сделали, а потом уже лица.

Они посчитали в уме, сколько крышек поднято, сколько дверей открыто и закрыто, сколько цветов собрано, сколько обедов приготовлено торопливыми или медлительными — в соответствии с характером и привычкой — руками. Оглядываясь на прошлое, они видели словно воплощенную мечту чародея: вихрь рук, распахивающиеся двери, поворачивающиеся краны, летающие веники, ожившие розги. И единственным звуком был шелест порхающих розовых рук, все остальное было как немой сон.

— Не будет обеда, который надо приготовить, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, — сказала третья женщина.

— Не будет окон, которые надо открывать и закрывать.

— Не будет угля, который надо бросать в печь в подвале, как настанет зима.

— Не будет газет, из которых можно вырезать рецепты.

Внезапно все три расплакались. Слезы мягко катились вниз по щекам и падали на материю, по которой бежали их пальцы.

— От слез все равно не легче,— заговорила наконец первая женщина и поднесла большой палец сначала к одному глазу, потом к другому. Она поглядела на палец — мокрый.

— Что же я натворила! — укоризненно воскликнула вторая женщина.

Ее подруги оторвались от работы. Вторая женщина показала свое выпивание. Весь ландшафт закончен, все безупречно: вышитое желтое солнце светит на вышитый зеленый луг, вышитая коричневая дорожка подходит, извиваясь, к вышитому розовому дому — и только с лицом мужчины, стоящего на дороге, что-то было не так.

— Придется, чтобы исправить, выпарывать чуть ли не весь узор,— сказала вторая женщина.

— Какая досада.— Они пристально смотрели на чудесную картину с изъязном.

Вторая женщина принялась ловко выпарывать нитку крохотными блестящими ножницами. Стежок за стежком, стежок за стежком. Она дергала и рвала, словно сердилась. Лицо мужчины пропало. Она продолжала дергать.

— Что ты делаешь? — спросили подруги.

Они наклонились, чтобы посмотреть.

Мужчина исчез совершенно. Она убрала его.

Они молча продолжали выпарывать.

— Который час? — спросила одна.

— Без пяти пять.

— А это назначено на пять часов ровно?

— Да.

— И они не знают точно, что получится, какие будут последствия?

— Не знают.

— Почему мы их не остановили вовремя, когда еще не зашло так далеко?

— Она вдвое мощней предыдущей. Нет, в десять раз, если не в тысячу.

— Она не такая, как самая первая или та дюжина, что появилась потом. Она совсем другая. Никто не знает, что она может натворить.

Они ждали, сидя на террасе, где царил аромат роз и свежескошенной травы.

— А теперь который час?

— Без одной минуты пять.

Иголки рассыпали серебристые огоньки, метались в сгущающихся сумерках, словно стайка металлических рыбок.

Далеко-далеко послышался комариный писк. Потом словно барабанная дробь. Женщины наклонили головы, прислушиваясь.

— Мы ничего не услышим?

— Говорят, нет.

— Может быть, мы просто дуры. Может быть, мы и после пяти будем продолжать по-старому дуть горюх, отворять двери, мешать суп, мыть посуду, готовить завтрак, чистить апельсины...

— Вот посмеемся после, что так испугались какого-то дурацкого опыта!

Они неуверенно улыбнулись друг другу.

— Пять часов.

В тишине, которую вызвали эти слова, они постепенно возобновили работу. Пальцы беспокойно лезли. Лица смотрели вниз. Женщины лихорадочно вышивали. Вышивали сирень и траву, деревья и дома и реки. Они ничего не говорили, но на террасе отчетливо было слышно их дыхание.

Прошло тридцать секунд.

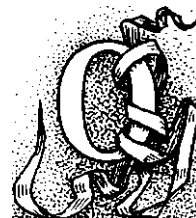
Вторая женщина глубоко вздохнула и стала работать медленнее.

— Пожалуй, стоит все-таки налущить гороха к обеду,— сказала она.— Я...

Но она не успела даже поднять головы. Уголкем глаза она увидела, как весь мир вспыхнул, озарившись ярким огнем. И она не стала поднимать головы, ибо знала, что это. Она не глядела, и подруги ее тоже не глядели, и пальцы их до самого конца порхали в воздухе; женщины не хотели видеть, что происходит с полями, с городом, с домом, даже с террасой. Они смотрели только на узор в дрожащих руках.

Вторая женщина увидела, как исчез вышитый цветок. Она попыталась вернуть его на место, но он исчез бесповоротно, за ним исчезли дорога, травинки. Она увидела, как пламя, точно в замедленном фильме, коснулось вышитого дома и поглотило

крышу, опалило один за другим выпитые листья на выпитом зеленом деревце, затем раздергало по ниточкам само солнце. Оттуда огонь перекинулся на кончик иголки, которая все еще продолжала сверкать в движении, с иголки пополз по пальцам, по рукам, лизнул тело и принялся распарывать ткань ее плоти столь тщательно и кропотливо, что женщина видела его во всем его дьявольском великолепии, пока он выпарывал узоры. Но она так и не узнала, что он сделал с остальными женщинами, с мебелью на террасе, с вязом во дворе. Ибо в этот самый миг огонь дергал розовые нити ее ланит, рвал нежную белую ткань и наконец добрался до ее сердца — вышитой пламенем нежной красной розы; и он сжег свежие лепестки, один тончайший вышитый лепесток за другим...



Женщины

ксан вспыхнул — как будто в зеленой комнате включили свет. Под водой, точно пар, который осенним утром выдыхает море, зашевелилось и поплыло вверх белое свечение. Из какой-то потайной впадины стали вырываться пузырьки воздуха.

Она была похожа на молнию — если посчитать море зеленым небом. И все же она не была стихией. Древняя и прекрасная, она нехотя поднималась из самых глубин. То проблеск, то шепот, то вздох — ракушка, травинка, листок... В ее безднах колыхались похожие на мозг хрупкие кораллы, желтые зрачки ламинарий, косматые пряди морской травы. Она росла с каждым приливом и с каждым веком, она по крупицам собирала и старательно берегла и прах, и саму себя, и чернила осьминогов, и все, что рождает море.

Нет, она не была стихией.

Просто — некая светящаяся зеленая сущность в осеннем море. Ей не требовались глаза — чтобы видеть, уши — чтобы слышать, кожа — чтобы осязать. Она вышла из пучины морской. И могла быть только женщиной.

Внешне она ничем не походила на мужчину или на женщину. Но у нее были женские повадки — мягкие, вкрадчивые, лу-

кавые. И двигалась она совсем как женщина. Словом, в ней легко угадывались все знакомые женские штучки.

Карнавальные маски, серпантин, конфетти... Все, что вбирали в себя у берега темные волны, наполняясь, словно человеческая память,— все сияющие зеленые пряди пропускали сквозь себя. Так ветви векового дуба пропускают сквозь себя ветер. Здесь были и апельсиновые корки, и салфетки, и яичная скорлупа, и головешки от костров... Она знала: их оставили после себя длинноногие загорелые люди из каменных городов — те, что бесцельно топчут песок уединенных островков, те, кого рано или поздно с визгом и скрежетом умчат по бетонному шоссе железные демоны.

Мерцая и пенясь, она медленно всплыла в утреннюю прохладу. Мерцая и пенясь, всплыли в утреннюю прохладу русалочки волосы...

Она долго пробивалась сквозь тьму и теперь отдыхала на волне. Пытливо вслушивалась в берег.

Там был мужчина.

Почерневший от солнца, поджарый, с длинными стройными ногами.

Каждый день он должен был входить в воду, купаться и плавать. Но он не входил. Рядом с ним на песке лежала женщина — женщина в черном купальнике. Обычно женщина беспечно щебетала или смеялась. Иногда они держались за руки, а иногда — слушали черную плоскую коробочку, из которой лилась музыка...

Свечение безмолвно висело на волнах.

По всему, сезон уже подходит к концу. Сентябрь. Все закрывается.

В любой день он может уехать и никогда не вернуться.

Нет, сегодня он должен войти в воду.

Они жарились на песке. Непромко играло радио. Вдруг женщина в черном купальнике беспокойно дернулась, хотя глаза ее были закрыты.

Мужчина продолжал лежать, подложив под голову мускулистую руку. Открытым ртом, ноздрями, всем лицом он впитывал солнце.

— Что с тобой? — спросил мужчина.

— Страшный сон приснился,— ответила женщина в черном купальнике.

— Что, прямо днем?

— А разве тебе ничего не снится днем?

— Мне вообще ничего не снится. И никогда не снилось.

Она по-прежнему лежала на песке, ее пальцы дрожали.

— Боже, какой жуткий сон...

— О чем?

— Не знаю,— ответила женщина, как будто и в самом деле не знала. Ей снилось что-то ужасное, но что именно, она забыла. Не открывая глаз, она попыталась вспомнить.

— Значит, обо мне,— лениво потягиваясь, сказал мужчина.

— Вовсе нет,— возразила она.

— Правда-правда,— сказал он, улыбаясь самому себе.— И я был в этом сне с другой.

— Да нет же...

— Не спорь,— продолжал мужчина.— Я знаю. Я был с другой — ты застаешь нас, начинается скандал, и в результате я оказываюсь в луже собственной крови.

Женщина невольно поморщилась:

— Перестань.

— Интересно,— продолжал он.— Какая она из себя? Кажется, мужчины предпочитают блондинок?

— Ну хватит издеваться,— сказала она.— Мне и без того плохо.

Он открыл глаза.

— Неужели этот сон так сильно на тебя подействовал?

Она кивнула:

— У меня так бывает. Иногда приснится что-нибудь днем, а потом просыпаюсь — и сама не своя.

— Бедняжка.— Он взял ее за руку.— Принести тебе что-нибудь?

— Ничего не надо.

— Мороженое? Колу? Эскимо?

— Спасибо, милый. Не беспокойся за меня. Это все последние четыре дня. Сейчас совсем не так, как в начале лета. Что-то случилось.

— Но ведь не с нами же случилось,— сказал мужчина.

— Нет-нет, конечно, не с нами,— поспешила согласиться женщина.— Только тебе не кажется, что иногда все вдруг меняется? Пирс или карусели, например. Даже хот-доги на этой неделе совсем не те, как раньше.

— Какие же?

— Как будто старые, что ли. Не знаю, как объяснить, но у меня начисто пропал аппетит... И вообще, скорее бы кончился отпуск. Да-да, больше всего на свете мне сейчас хочется домой.

— Завтра и так последний день. Ты ведь знаешь, что значит для меня эта лишняя неделя отпуска.

— Я все прекрасно понимаю,— вздохнула она.— Если бы только это место не казалось мне таким чужим и странным. Ничего не могу с собой поделать. У меня вдруг такое чувство — хочется вскочить и убежать.

— И это все из-за сна? Я со своей блондинкой и моя прежневременная кончина?

— Замолчи,— сказала женщина.— Не смей так говорить о смерти! — Она придвинулась к нему поближе.— И вообще, я сама ничего не могу понять...

— Успокойся.— Он погладил ее.— Я всегда сумею тебя защитить.

— Не меня — себя,— шепнула женщина.— У меня было такое чувство, что ты... устал от меня и... и ушел.

— Ну что ты... я же люблю тебя.

— Я просто глупая.— Она натянуто рассмеялась.— Ну и дура же я!

Они неподвижно лежали под куполом из неба и солнца.

— Знаешь,— задумчиво произнес мужчина,— и мне начинает казаться, что здесь стало как-то по-другому. Что-то действительно изменилось.

— Значит, ты тоже заметил...— обрадовалась она.

Он сонно улыбнулся, покачал головой и прикрыл глаза, упираясь солнцем.

— Вот-вот...— пробормотал он,— я тоже... Мы оба... Оба перерелись... Оба...

Мялко, одна за другой на берег выкатились три волны.

День продолжался. Солнце пощипывало небеса. В бухте качались на волнах ослепительно белые яхты. Ветер доносил запахи жареного мяса и подгоревшего лука. Песок шуригал и колысаясь, точно изображение в огромном зыбком зеркале.

Под боком у лежащих доверительно бормотало о чем-то радио. На фоне светлого песка их тела были похожи на застывшие черные стрелки часов. Они не двигались. Только ресницы беспокойно трепетали, а уши пытались расслышать неслышное. То и дело языки мужчины и женщины скользили по пересохшим губам. На лбах у обоих мельчайшей водяной пылью искрился пот.

Мужчина поднял голову, не размыкая век, вслушиваясь в раскаленный воздух.

Шумно вздохнуло радио.

Он снова уронил голову на песок.

Но уже через минуту женщина почувствовала, как он вновь приподнялся. Она приоткрыла один глаз — облокотившись на песок, мужчина внимательно оглаживал пирс, небо, воду и пляж.

— Что случилось?

— Ничего,— ответил он, снова укладываясь на песок.

— Совсем ничего?

— Мне показалось, я что-то слышал.

— Это радио.

— Нет. Что-то другое.

— Значит, еще чье-то радио.

Мужчина не ответил. Она почувствовала плечом, как он с силой сжимает и разжимает руку.

— Черт,— сказал он.— Ну вот, опять.

Они лежали и оба прислушивались.

— Я не слышу ничего такого...

— Тсс! — шикнула он.— Погоди...

Волны разбивались о берег, безмолвные зеркала рассыпались на мириады переливающихся звонких осколков.

— Там кто-то поет.

— Поет?

— Честное слово, я только что слышал.

— Не может быть.

— Сама послушай.

Они немного послушали.

— Я ничего не слышу,— ледяным тоном сказала женщина.

Мужчина встал. В небе, в пирсе, в песке, в киосках с хот-догами не было ничего особенного. Только настороженная тишина... И только ветер легонько шевелил волосы на его руках и ногах.

Он шагнул к морю.

— Постой! — крикнула она.

Он посмотрел на нее сверху вниз каким-то чужим и невидящим взглядом. Он все еще прислушивался.

Женщина включила радиоприемник погромче. Из него потоком хлынули слова, обрывки музыки, какая-то песенка:

«...Моя красотка просто класс...»

Он скривился и прикрыл лицо рукой.

— Выключи.

— А мне нравится!

Женщина сделала еще громче. Она прицеливалась пальцами в такт музыке, покачивалась и пыталась выдавить улыбку.

Было два часа дня.

Солнце плавало океан. С протяжным стоном старый пирс растекался в жарком мареве. В раскаленном небе птицы забывали, что надо махать крыльями. Солнечные лучи пронизывали зеленоватый бульон, омывающий пирс, играли в прибрежной ряби.

Пена, хрупкие коралловые извилины, зрачки водорослей вздрогнули и зашевелились.

Загорелый мужчина все еще лежал на песке, рядом с женщиной в черном купальнике.

Над водой, точно легкая дымка, стелилась музыка — как отзвук приливов и прошедших лет, морской соли и путешествий, приятных и привычных чудес. Ее можно было сравнить с плутоухом морской пены на песке, с летним дождем, с плавными движениями морской травы. Так поет затерявшийся во времени голос раковины. Так в заброшенных остовах затонувших кораблей шумно вздыхает океан. Такую же песню ведет ветер, что тихонько дует в выброшенный на горячий песок череп.

Но радио, которое лежало на одеяле, пело громче.

Свечение, легкое, как женщина, устало опустилось вниз и скрылось. Осталось лишь несколько часов. В любую минуту они могут уйти. Если бы он только вошел в море — хотя бы на мгновение вошел в море...

Белая дымка нетерпеливо шевельнулась, вообразив его лицо и тело в воде, глубоко в воде. Почти под двадцатиметровой толщей воды, куда непреклонно несет его неведомый подводный поток, а он лишь извивается и бьется. Вода забирает тепло его тела... Хрупкие извилины кораллов, драгоценные песчинки, соленые белые космы жадно впитывают горячее дыхание, которое вырывается из его открытого рта...

Волны перекатили размытую пену ее мыслей на отмель — вода была там теплая, как парное молоко, разогретая жарким полуденным солнцем.

Он не должен уйти. Если он сейчас уйдет, то уже не вернется.

Сейчас.

Шевелились холодные коралловые щупальца.

Сейчас.

Раскаленный воздух донес чью-то мольбу.

«Иди в воду. Ну же,— просила музыка,— смелее».

Женщина в черном купальнике крутила ручку приемника.

«Внимание,— орало радио.— Сегодня, сейчас вы можете купить новый автомобиль за...»

— Черт! — Мужчина протянул руку и убавил громкость. — Неужели нельзя сделать потише!

— Пусть играет,— ответила женщина в черном купальнике, через плечо поглядывая на море.

Было три часа. Солнце сверкало.

Он встал, весь мокрый от пота.

— Пойду купаться,— сказал он.

— Может, принесешь мне сначала хот-дог?

— Лучше подожди, пока я искупаюсь.

— Ну пожалуйста.— Женщина надула губы.— Я хочу сейчас.

— Как ты любишь?

— Да. Три штуки.

— Три? Ого, ничего себе — пропал аппетит! — сказал он и побежал в закусокную.

Женщина подождала, когда он уйдет. Затем выключила радио. Долго лежала и прислушивалась. Тишина. Она пристально всматривалась в море, пока от солнечных бликов не закололо глаза.

Море успокоилось. Лишь легкая рябь дробила свет на миллиарды крохотных солнц.

Снова и снова женщина щурилась на волны и хмуро отводила глаза.

Мужчина прибежал назад.

— Какой горячий песок — чуть пятки не обжег! — Он бросился на одеяло. — Налетай!

Она придвинула к себе все три хот-дога, взяла один и не спеша принялась есть. Покопчив с ним, передала мужчине остальные:

— Доешь, пожалуйста. Я немного пожадничала.

Он молча расправился с хот-догами.

— В следующий раз, — сказал мужчина, дожевывая, — не проси больше, чем сможешь осилить. Только добро переводить.

— Тебе, наверное, пить хочется, — сказала она, отвинтивая крышку термоса. — Доей лимонад.

— Спасибо. — Он допил. Затем довольно потер руки и сказал: — Ну, теперь в воду. — Он озабоченно взглянул на блестящее море.

— Подожди-ка, — воскликнула женщина, как будто только что вспомнила, — не купишь ли мне сначала флакон масла для загара? А то у меня все кончилось.

— А разве у тебя в сумочке не осталось?

— Ни капли.

— Могла бы сказать, когда я ходил за хот-догами, — проворчал мужчина. — Ну ладно.

Он побежал, подпрыгивая на ходу.

Когда он скрылся из виду, женщина достала из сумочки наполовину полный флакон масла, отвинтила колпачок и аккуратно вылила все в песок. При этом она поглядывала на море и

улыбалась. Затем поднялась и подошла к кромке воды, пристально всматриваясь в едва заметную рябь.

«Ты его не получишь. — думала она. — Не знаю, кто ты или что, но он мой, и я его тебе не отдам. Я не понимаю, что происходит — и не берусь понять. Знаю только, что сегодня в семь мы сядем в поезд. И завтра нас здесь уже не будет. Так что оставайся и жди... Океан, море — или как там тебя... Делай, что хочешь... со мной тебе все равно не справиться».

Подняла камешек и пхвыгнула его в море.

— Вот тебе! — крикнула она.

Мужчина стоял рядом.

— Ой! — Женщина отпрянула.

— Что это с тобой? Стоишь тут, бормочешь.

— Правда? — Она сама удивилась. — А где же масло для загара? Намажь мне, пожалуйста, спину.

Он налил в ладонь густую желтую жидкость и принялся втирать ее в золотистую кожу женщины. Время от времени она хитро поглядывала на море, кивала и словно приговаривала: «Ну что, видишь? То-то!»

Она мурлыкала, словно кошка.

— Все. — Мужчина отдал ей флакон.

Он уже наполовину зашел в воду, когда она пронзительно крикнула:

— Куда ты! Вернись!

Мужчина обернулся так, как будто она была чужой.

— Ну что там еще?

— Да ведь ты только что ел хот-доги и пил лимонад — тебе нельзя сейчас в воду, судороги сведут!

Он усмехнулся:

— Бабушкины сказки.

— Все равно возвращайся на песок и подожди часок, понял? Не хватало только, чтобы ты утонул.

— О господи... — проворчал он.

— Давай-давай — на берег.

Женщина снова улеглась на одеяле, и он послушно присоединился к ней — продолжая оглядываться на море.

Три часа. Четыре.

В десять минут пятого погода изменилась. Лежа на песке, женщина в черном купальнике заметила это, и у нее отлегло от сердца. С трех часов на небе стали появляться тучки. Теперь откуда-то из бухты неожиданно хлынул туман. Похолодало. Внезапно подул ветер. Небо на глазах затягивало серыми тучами.

— Кажется, будет дождь, — сказала она.

— Похоже, тебя это радует, — заметил мужчина. — Последний наш день, а ты радуешься тучам.

— По радио передавали, — доверительно сообщила женщина. — что сегодня во второй половине дня — и завтра тоже — пройдут ливни. Может быть, нам уехать прямо сегодня?

— Давай останемся — вдруг прояснится. Хочется хоть один денек покупаться, — сказал он. — До сегодняшнего дня я еще ни разу не заходил в воду.

— Зато мы от души поговорились и наелись — незаметно как время и пролетело.

— Угу, — ответил он, разглядывая свои ладони.

Пушистыми длинными лентами на песок ложился туман.

— Ой! — вскрикнула женщина. — Мне на нос упала капля! — Она глупо захихикала. Глаза ее снова молодо заблестели. Она почти ликовала. — Дождик-дождик, лей-лей!

— Чему ты так радуешься? Вот чудачка...

— Помоги-ка мне свернуть одеяла. Надо скорее бежать!

Мужчина принялся медленно и задумчиво складывать одеяла.

— Вот черт, даже напоследок не искупался. Пойду хотя бы слегка окунусь. — Он улыбнулся ей. — Я митом!

— Стой. — Она побледнела. — Еще простудишься, а мне потом за тобой ухаживать!

— Ну хорошо, хорошо. — Он отвернулся от моря. Заморосило.

Они шагали к отелю. Женщина шла впереди, что-то негромко напевая.

— Постой-ка! — крикнул он.

Женщина остановилась, не оборачиваясь. И услышала его голос — уже вдалеке.

— Там кто-то в воде! — кричал мужчина. — Кто-то тонет!

Она так и застыла на месте, с ужасом вслушиваясь в топот его ног.

— Подожди меня! — кричал он. — Я сейчас! Там кто-то тонет! Кажется, это женщина!

— Пусть ею занимаются спасатели! — крикнула в ответ она.

— Никого нет! Уже поздно! — Он бежал к самой воде, к волнам, к морю.

— Вернись! — вдруг в полный голос заверещала она. — Там никого нет! Прощу тебя, остановись!

— Не бойся, я быстро! — отозвался он. — Человек тонет, слышишь?

Туман ступил, застучал дождь, в волнах разливало белое сияние. Он бежал, а женщина в черном купальнике, теряя пляжные принадлежности, бежала за ним. Она что есть сил кричала, и из ее глаз лились слезы.

— Вернись! — простирала к нему руки она.

Он прыгнул прямо в хлынувшую на берег темную волну.

Женщина в черном купальнике осталась ждать под дождем.

...В шесть часов где-то за серыми тучами село солнце. Дождь мягко барабанил по волнам.

Под водой двигалось белое свечение.

На отмели призрачно белела пена, колыхались длинные, похожие на пряди волос зеленые водоросли. В плену прозрачной ряби, на самом дне, лежал мужчина.

Хрупкие пузырьки пены назревали — и тут же лопались. Мозговые извилины кораллов шевелились и дрожали — словно в них роились какие-то свои мысли. Оказывается, мужчины такие слабые... Ломаются, словно куклы... Ни на что, ни на что они не годны... Всего лишь минута под водой — и вот им уже худо, их тошнит, они бьются, а затем вдруг затихают и лежат... Лежат тихо-тихо... Надо же. Стоило ли ждать столько дней?

Что же с ним теперь делать? Вон — голова болтается, рот открыт, глаза не закрываются, кожа бледнеет. Проснись же, дура-лей! Проснись!

Его омывают волны.

Он вяло покачивается, рот его широко открыт.

Нет больше ни светящейся дымки, ни длинных зеленых прядей...

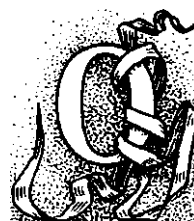
Его отпустили. Волна вернула мужчину обратно на берег. К жене, которая ждала его под холодным дождем.

Дождь поливал и поливал черную морскую гладь.

И вдруг нависшее свинцовое небо прорезал пронзительный женский вопль. Его было слышно далеко вокруг.

«Ну вот,— вяло шевельнулись в воде древние песчинки,— женщина есть женщина. Ей он теперь тоже не нужен!»

В семь часов вечера дождь усилился. Стало темно и так холодно, что в отелях по всему побережью пришлось включить отопление...



Прикосновение пламени

ни долго стояли под палящим солнцем, поглядывая на горящие циферблаты своих старомодных часов, а тем временем их колеблющиеся тени удлинялись, из-под сетчатых летних шляп струился пот. Когда они обнажили головы, чтобы вытереть морщинистые лбы, оказалось, что их вымокшие насквозь шевелюры такие белые, словно годами не видели света. Один из них пробурчал, что ступни его стали похожи на хлебные лепешки, и добавил, вдохнув горячего воздуха:

— Ты уверен, что это тот самый дом?

Второй старик, по имени Фокс, кивнул в ответ так, будто опасаясь вспыхнуть от любого резкого движения и возникающего при этом трения.

— Я видел ее три дня кряду. Она появится. Если еще жива, конечно. погоди, Шоу, ты сам ее увидишь. Боже, какой случай!

— Ну и дела,— сказал Шоу,— если б только люди могли заподозрить в подглядывании нас, двух старых дураков. Ей-богу, мне делается не по себе.

Фокс оперся на свою трость.

— Все разговоры я беру на себя... постой-ка! Вот она! — Он перешел на шепот.— Смотри, выходит из дому.

Страшно гроыхнула входная дверь. На верхней, тринадцатой ступеньке крыльца появилась полная женщина и посмотре-

лась, бросая по сторонам резкие, колючие взгляды. Сунув пухлую руку в сумочку, вытащила несколько скомканных долларовых бумажек, тяжело топая, спустилась по лестнице и решительно двинулась вниз по улице. Сверху из окон смотрели ей вслед жильцы дома, привлеченные обвальным грохотом двери.

— Давай,— шепнул Фокс,— идем к мяснику.

Женщина распахнула дверь и ввалилась в лавку. Старики успели заметить, как мелькнули ее жирно намазанные губы. Брови смахивали на усы, искоса поглядывали вечно подозрительные глаза. Поравнявшись с дверью, они слышали ее визгливый голос:

— Мне нужен кусок мяса попрличнее, ну-ка, посмотрим, что вы там припрятали для себя?

Мясник не проронил ни слова. На нем был захватанный, испачканный кровью фартук. В руках — ничего. Старики вошли вслед за женщиной, делая вид, что любят нежно-розовым филе.

— От этой баранины меня тошнит! — кричала она. — Почему эти мозги?

Мясник сухо ответил.

— Ладно, взвесьте мне фунт печени! — велела женщина. — И пальцы свои держите от нее подальше.

Мясник, не спеша, принялся взвешивать.

— Пошевеливайтесь! — набросилась она.

Теперь рук мясника не было видно из-за прилавка.

— Смотри,— прошептал Фокс. Шоу слегка запрокинул голову, чтобы увидеть, что делается под прилавком.

Окровавленная рука мясника крепко держала блестящий топор. Его пальцы то сжимались на рукоятке, то снова разжимались. Мясник возвышался над белым мраморным прилавком; женщина выкрикивала ему что-то в побагровевшее лицо, тот смотрел на нее голубыми, угрожающе-спокойными глазами.

— Теперь убедился? — шепнул Фокс. — Она и в самом деле нуждается в нашей помощи.

Они посмотрели на красные ломтики мяса, на борозды и вмятины, выбитые десятками ударов стального топора на поверхности разделочного стола.

Скандал разразился и у бакалейщика, и в мелочной лавке. Старики двинулись за женщиной на почтительном расстоянии.

— Миссис Убей Меня,— пробормотал мистер Фокс. — Это то же самое, что смотреть на двухлетнего ребенка, который выбегает на поле боя. В такую погоду она может, так сказать, налететь на мину. Ба-бах! И жара подходящая, и влажность хуже некуда, все чешутся, потеют, раздражаются. И тут, на тебе, заявляется эта дамочка и начинает вопить. И — привет. Ну как. Шоу, беремся за это дело?

— Ты что же, хочешь вот так просто взять и подойти к ней? — Шоу и сам опешил от собственного предложения. — Я надеюсь, мы не собираемся этого делать? Я ведь думал, мы идем просто из любопытства. Ну там, люди, их повадки, привычки и прочее. Это все очень занятно, конечно, но лезть в такое дело... У нас, слава богу, есть чем заняться.

— Есть? — Фокс кивнул на дорогу, женщина переходила улицу, едва уворачиваясь от проезжавших машин, насадно скрежетали тормоза, отчаянно гудели клаксоны и ругались шоферы. — Мы же христиане. Неужели мы позволим ей подсознательно отдать себя на съедение львам? Или же мы вернем ее обратно?

— Вернем ее?

— Ну да, вернем ее к любви, спокойствию, к долгой жизни. Ты только посмотри на нее. Ей не хочется больше жить. Она же нарочно выводит людей из себя. И уже не далек тот день, когда кто-нибудь уостит ее молотком или стрихнином. Когда люди идут ко дну, они становятся невыносимыми — орут, кричат, хватаются за что попало. Давай пообедаем и протянем ей руку помощи. Хорошо? А не то она будет продолжать в том же духе, пока не напорется на своего убийцу.

Лучи солнца даваливали Шоу в кипящий белесый асфальт тротуара, и ему на мгновение померещилось, будто улица качнулась у него под ногами, опрокинулась и превратилась в отвесную стену, с которой навстречу огненному небу летела женщина.

— Ты прав,— сказал он. — Не хотелось бы мне брать на душу такой грех.

Под солнцем выгорала и осыпалась с фасадов краска, жара выпарила влагу из воздуха и сточные воды из канав. Изнуренные старики стояли в подъезде дома, по которому носились ис-

сушающие потоки воздуха, как в пекарне. Когда они разговаривали, до них из душных комнат доносились приглушенные голоса жильцов, до одури измотанных жарой.

Открылась входная дверь. Вошел мальчик с буханкой хорошо выпеченного хлеба. Фокс остановил его:

— Сынок, мы тут разыскиваем одну женщину, ту, что страшно грохочет дверью, когда выходит из дому.

— А-а, эту! — обернулся мальчик, избегая по лестнице.— Миссис Крик!

Фокс сжал руку Шоу:

— Боже праведный! Вот так совпадение!

— Мне что-то домой захотелось, — сказал Шоу.

— Да, действительно! — воскликнул Фокс, не веря своим глазам и постукивая тростью по списку жильцов в холле.— Мистер и миссис Альберт Крик, квартира 331, наверху. Муженек у нее грузчик, этакий верзила, с работы приходит весь грязный, замызганный. Видел я их однажды в воскресенье. Она — тараторит без умолку, а он даже ухом не ведет. Даже не взглянет на нее. Идем, Шоу.

— Бессмысленно, — сказал Шоу.— Таким, как она, можно помочь только тогда, когда они сами этого хотят. Ты это знаешь, и я знаю. Она тебя просто растопчет, если ты окажешься у нее на дороге. Не делай глупостей.

— Но кто же тогда поговорит с ней? С такими, как она? Муж? Друзья? Бакалейщик, мясник? Они споют ей заушную! Разве они ей подскажут дорогу к психиатру? А сама она знает? Нет. А кто знает? Мы. И ты станешь скрывать от жертвы такую жизненно важную информацию?

Шоу снял свою намокшую шляпу и хмуро посмотрел внутрь.

— Как-то раз, давным-давно, на уроке биологии учитель спросил нас, могли ли бы мы скальпелем удалить нервную систему у лягушки, да так, чтобы не повредить. Вырезать всю эту тончайшую, подобную паутине систему со всеми ее мелкими узелками и узелочками, которых и не разглядеть толком. Это, конечно, невозможно. Нервная система выросла в плоть лягушки настолько, что ее не вытянуть. От лягушки ничего не останется. То же и с миссис Крик. Большой нервный узел не прооперируешь. В ее безумных слоновьих глазках одна желчь. С таким

же успехом ты бы мог попытаться навсегда удалить у нее из рта слюну. Как это ни прискорбно, но я думаю, мы зашли уже слишком далеко.

— Ты прав,— сказал Фокс серьезно.— Но моя цель всего лишь поставить предупредительный знак — «опасность». Заронить в ее подсознании зерно сомнения. Я хочу сказать ей: «Ты — жертва убийства. Ты ищешь место, где тебя прикончат». Я хочу посеять семя в надежде, что оно взойдет и расцветет. Есть еще слабая, хилая надежда на то, что она соберется с духом и пойд-дет-таки к психиатру!

— Слишком жарко сегодня для разговоров.

— Тем больше оснований действовать! При температуре девяносто два градуса по Фаренгейту совершается больше убийств, чем при какой-либо другой. Когда выше ста, жара мелеет убийц двигаться. Ниже девяносто — достаточно прохладно, и у жертвы больше шансов уцелеть. Но на девяносто два градуса приходится самый пик раздражительности, человек выходит из себя буквально из-за любой мелочи. Мозг превращается в крысу, бегающую по раскаленному докрасна лабиринту. Достаточно самого малого — взгляда, звука, прикосновения волоска, и — зверское убийство! Зверское. Какие страшные слова. Взгляни-ка на термометр. Восемьдесят девять градусов. Подползает к девяносто. Свербит и чешется — девяносто один. Пот градом — девяносто два. И это через каких-то один-два часа. Вот первый лестничный пролет. Будем переводить дух на каждой площадке. Итак, вперед!

Старики двигались в сумраке третьего этажа.

— Не нужно сверяться с номерами квартир,— сказал Фокс.— Давай утадем, какая квартира се.

За последней дверью тишину разорвало радио. От стены отрывались кусочки старой краски и бесшумно сыпались на потертый коврик, дверь сотрясалась вместе с косяком.

Приятеля переглянулись и мрачно кивнули друг другу.

И тут словно кто-то долбанул топором в стену — пронзительный женский голос кричал что-то в телефонную трубку кому-то на другом конце города.

— Зачем ей телефон, пусть откроет окно и орет себе. Фокс постучал.

Радио доорало наконец свою песню, но крик женщины не умолкал. Фокс постучал снова, подергал дверную ручку. К его ужасу, она подалась под его пальцами, медленно поплыла внутрь, и они оказались в положении застигнутых врасплох актеров, когда занавес поднимается раньше времени.

— О боже! — вскричал Шоу.

На них обрушилась лавина звуков. Было такое ощущение, словно стоишь у пластины и открываешь шляз. Старики машинально закрыли глаза руками, словно это был не шум, а ослепительный, режущий свет.

Женщина (это и в самом деле оказалась миссис Крик) стояла у настенного телефона и с невероятной скоростью разбрызгивала во все стороны слюну. Крупные белые зубы ее сияли. Монолог грохотал, раздувались ноздри, набухла, билась жилка на взмокнувшем лбу, свободная рука то сгибалась, то разгибалась. Плотно зажмурив глаза, женщина вопила:

— Передайте моему зятю, чтоб не показывался мне больше на глаза, лентяй чертов!

И вдруг, по подсказке какого-то животного инстинкта, миссис Крик широко открыла глаза. Она продолжала вопить в трубку и одновременно буравила их ледяным взглядом. Поорала еще с минуту, бросила трубку и, не переводя дыхания, процедила:

— Н-ну?

Старички сблизили плечи, словно ища защиты друг у друга. Их губы зашевелились.

— Громче! — гаркнула женщина.

— Не могли бы вы, — попросил Фокс, — сделать потише радио?

По движению его губ она уловила слово «радио». С обожженного солнцем лица на них все так же злобно смотрели ее глаза. Женщина хлопнула по приемнику. Так, не глядя, шлепают ребенка, орущего целыми днями напролет. Радио умолкло.

— Покупать я ничего не собираюсь!

Она разодрала пачку дешевеньких сигарет, как раздрают мясо, когда едят его с кости, достала сигарету, зажала ее напомаженными губами, прикурила и жадно затянулась. Выпусти-

ла дым из тонких ноздрей, и вот уже перед ними огнедышащий дракон в наполненной клубами дыма комнате.

— У меня дел по горло. Выкладывайте, что у вас там!

Они огляделись: журналы разбросаны по линолеуму, словно крупные пестрые рыбины, поломанное кресло-качалка, рядом немая кофейная чашка, покосившиеся, захватанные абажуры, окна замызганы, стопка тарелок в раковине, в них капает вода из крана, в углах под потолком колышется, словно мертвая кожица, паутина. А надо всем этим висит густой запах слишком долгой, слишком длинной, проведенной взаперти жизни.

Они посмотрели на стенной термометр: температура — девяносто градусов по Фаренгейту. Старики обменялись встревоженными взглядами.

— Меня зовут Фокс, а это мистер Шоу. Мы — отставные страховые агенты. Мы и теперь занимаемся еще страхованием для пополнения нашего пенсионного фонда. Но большую часть времени мы особенно ничем...

— Вы хотите мне страховой полис всучить? — Из сигаретного дыма высунулась голова миссис Крик.

— Нет, деньги тут ни при чем.

— Ну, дальше, — сказала она.

— Я даже не знаю, как начать. Можно присесть? — Фокс посмотрел по сторонам и пришел к выводу, что в комнате нет ничего, на что можно было бы сесть без опаски. — Ладно. — Он увидел, что она собирается снова наброситься на него с криком, и торопливо заговорил: — Мы вышли на пенсию после сорока лет работы: мы сопровождали человека от колыбели до кладбищенских ворот, если можно так выразиться. За это время мы сделали некоторые обобщения. В прошлом году мы сидели как-то в парке, разговаривали и, сопоставив факты, пришли к такому выводу: многие из тех, кому на роду написано умереть молодыми, могли бы уцелеть. Если как следует изучить вопрос, страховые компании могли бы в виде дополнительных услуг предложить клиентам новую разновидность...

— Я ничем не болею, — перебила Фокса миссис Крик.

— В том-то и дело, что болеете! — воскликнула мистер Фокс и тут же с перепугу зажал себе рот рукой.

— И вы смеете говорить мне, больна я или нет!

Фокс ринулся вперед:

— Позвольте, я разъясню. Люди умирают каждый день. С точки зрения психологии, где-то в человеке скапливается усталость. И вот она-то пытается погубить его. Взять, к примеру...— Он посмотрел по сторонам и заговорил о первом, что попало ему на глаза.— Ну, хотя бы эта лампочка. Она висит на перетертом шнуре, прямо над ванной. Однажды вы поскользнетесь, схватитесь за нее... И конец!

Миссис Альберт Джей Крик покосилась на лампочку в ванной.

— Ну и что с того?

— Люди,— продолжал мистер Фокс, увлеченный своей темой, в то время как мистер Шоу, не зная, куда ему деться, краснел, баднел и бочком пробирался к двери,— они, как автомобили, им нужно проверять тормоза, эмоциональные тормоза, понимаете? Фары, аккумуляторы, свои взгляды на жизнь, свои ответные реакции...

— Вы потратили две минуты, а толком еще ни черта не сказали,— фыркнула миссис Крик.

Мистер Фокс взглянул сначала на нее, потом на безжалостно палящее солнце за пыльными окнами. По его лицу струился пот. Он уловил момент, чтобы посмотреть на стенной термометр.

— Девяносто один,— проговорил он.

— Что у вас на уме? — поинтересовалась миссис Крик.

— Прошу прощения.— Он как замороженный смотрел на раскаленный ртутный столбик, который полз вверх по тоненькой трубочке термометра на противоположной стене.— Порой... порой мы все сбиваемся с пути. Взять хотя бы выбор партнера по браку. Плохая работа. Денег в обрез. Болезни. Мигрени. Железки пошаливают. Уйма всяких мелких неприятностей. Но пока мы об этом догадаемся, мы обрушиваем все это на головы окружающих.

Она следила за его губами, словно он говорил на каком-нибудь иностранном языке; смотрела на него недобро, искоса, набычившись, склонив голову вперед, в ее пухлой руке тлела сигарета.

— Мы носимся взад-вперед, наживаем себе врагов.— Фокс стащил шляпу и посмотрел мимо женщины.— Мы доводим людей до того, что им уже хочется, чтобы мы убрались куда-нибудь с глаз долой... заболели... умерли даже. Людям хочется ударить нас, врезать как следует, пристрелить. Вы понимаете?

Боже, до чего же тут жарко, думал он. Хотя бы одно окно было открыто. Хотя бы одно. Одно.

Глаза у миссис Крик раскрывались все шире и шире, словно для того, чтобы собрать в себя все сказанное.

— Есть люди, подверженные несчастным случаям,— это те, кто хочет наказать себя физически за какое-нибудь преступление, как правило, мелкий, безнравственный поступок, о котором, как им казалось, они давным-давно позабыли, выбросили из головы. Но подсознание толкает их в опасные переделки, заставляет быть беспечными, когда они переходят улицу, заставляет...— Он запнулся, и капля пота скатилась с его подбородка.— Заставляет их не обращать внимания на потертые шнуры лампочек над ванными... Эти люди — потенциальные жертвы. Они носят эту отметину на своих лицах, она как татуировка, только скорее с обратной стороны, чем снаружи. Убийца, встретив на улице человека, который навлекает на себя беду, заметит эти скрытые отметины, повернется и пойдет вслед за ним, сам не отдавая себе отчета, до ближайшей аллеи. Если повезет, пути потенциальной жертвы и потенциального убийцы не пересекутся и за пятьдесят лет. Но... однажды... роковое стечение обстоятельств! Эти несчастные, задевая самые неподходящие струнки душ и нервы прохожих, так и напрашиваются на убийство.

Миссис Крик медленно раздавила окурок в грязном блюде.

Фокс переложил трость из одной дрожащей руки в другую.

— И вот год назад мы решили поискать таких людей, нуждающихся в помощи. Ведь они даже не догадываются, что им нужна помощь. Им и во сне не придет в голову обратиться к врачу-психиатру. Сначала мы решили проверить свою догадку. Шоу был всегда против этого, только разве что ради времяпрепровождения, этакий разговор по душам. Вы, наверное, думаете, я спятил. Ну так вот, проверки продолжались целый год. Мы наблюдали за двумя мужчинами, изучали их окружение, их работу, семейные дела, все — на почтительном расстоянии. Вы

скажете, какое наше дело? Но оба они плохо кончили. Одного убили в баре. Другого выбросили из окна. А женщину, за которой мы наблюдали, переехал трамвай. Совпадение? А старик, который случайно отравился? Как-то ночью не включил свет в ванной. О чем он думал, что ему помешало включить свет? Что заставило его войти и выпить лекарство в темноте? А на следующий день он умер в больнице и, умирая, все твердил, что хочет жить и только жить. У нас достаточно доказательств, вполне достаточно. Целых два десятка. За короткий промежуток времени добрую половину из них унесла могила. Довольно проверять. Пора пустить в ход наши знания, чтобы не случилось беды. Настало время работать с людьми, пока с черного хода к ним не юркнул гробовщик.

Миссис Крик стояла так, словно он ударил ее чем-то тяжелым по голове.

Потом, едва шевеля своими расплывшимися губами, произнесла:

— И тогда вы пришли сюда?

— Ну...

— Вы за мной наблюдали?

— Мы только...

— Вы за мной следили?

— Чтобы...

— Вон отсюда! — крикнула женщина.

— Мы можем...

— Вон отсюда! — повторила она.

— Если вы только нас выслушаете...

— О-о, я так и знал, — прошептал Шоу, закрывая глаза.

— Вон отсюда, грязные старикашки! — орала миссис Крик.

— Деньги здесь ни при чем...

— Я вас вышвырну, вышвырну! — визжала она, сжимая кулаки и скрежеща зубами. Ее лицо окрасилось в непостижимый цвет. — Вы кто такие? Вы старые, дряхлые бабки, шпики, недоумки! — вопила она, срывая шляпу с мистера Фокса и выдирая из нее подкладку. — Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь! — Бросила шляпу на пол, раздавила каблуком, пнула ногой. — Вон! Вон!

— О, но ведь мы вам нужны!

Фокс в отчаянии смотрел на свою шляпу, а тем временем женщина осыпала его самой отборной бранью. Не было таких слов, которые она постеснялась бы употребить. Она изрыгала громы, молнии, дым и винные пары.

— Вы кем себя возомнили? Вы что, Бог? Бог и Святой Дух, снисходящие до людей, вынюхивающие да высматривающие; ах вы, старые калоши, перечницы, хрычовки! Вы, вы...

Она сыпала и сыпала им на голову такие ругательства, что они, ошеломленные, попятились к двери. Она обзывала их самыми что ни на есть распоследними словами, затем умолкла, набрала полные легкие воздуха и обрушила на стариков новый поток помоев, еще более грязных и гнусных, чем предыдущие.

— Послушайте! — сказал Фокс с металлом в голосе.

Шоу стоял за дверью и умолял своего друга выйти, все конечно, они это так себе и представляли, они оказались в дураках, они заслужили все эти ругательства. Боже, боже, какой позор!

— Старая дева! — орала миссис Крик.

— Я бы попросил вас выбирать выражения!

— Старая дева, старая дева!

Это почему-то оказалось страшнее всех действительно страшных ругательств.

Фокс пошатнулся, у него отвисла челюсть. Потом захлопнулась. Потом снова отвисла.

— Старуха! — вопила миссис Крик, не унимаясь. — Старуха, старуха, старуха!

Он стоял посреди выжженных желтых джунглей. Комната потонула в огне, сдавила его, мебель сдвинулась с места и пустилась в пляс, солнце било сквозь задраенные окна, обжигаящая пыль взлетала с ковра колючими искрами, стояло только прожужжать какой-нибудь мухе и описать в воздухе спираль. Рот миссис Крик, ее злое красное губы наполняли воздух непристойностями, копившимися всю долгую жизнь, а термометр на стене показывал девяносто два градуса. Фокс еще раз взглянул на термометр — девяносто два. А женщина визжала, как колеса поезда, снимающие с рельс стружку на повороте. Ее визг напоминал скрежет ногтей по классной доске, скрип железа по мрамору.

— Старая дева! Старая дева! Старая дева!

Фокс отвел руку с зажатой в ней тростью за спину и ударил.

— Не-ет! — закричал откуда-то сзади Шоу.

Женщина поскользнулась и упала на бок, пытаясь упереться руками в пол, издавая нечленораздельные звуки. Над ней стоял Фокс с явным недоумением на лице. Он смотрел на свое плечо, запястье, руку и пальцы, сквозь окутавшую его раскаленную завесу из дымчатого хрусталя. Он смотрел на трость, словно это была какой-то невероятный восклицательный знак, который появился неизвестно откуда зримо и явственно, прямо посреди комнаты. Его рот так и остался открытым, таеющими искорками оседала и гасла пыль. Он почувствовал, как от его лица отхлынула кровь, словно у него в желудке распахнулась настеежь маленькая дверца.

— Я...

На губах миссис Крик выступила пена.

Она ползала на четвереньках, а члены ее тела, казалось, оторвались от туловища и превратились в независимых существ. Ее ноги, руки, голова вели себя как отрубленные части какого-то животного, жаждущего вновь стать самим собой, но тщетно ищущего пути к желанному восстановлению. Грязные слова все еще извергались из ее рта, хотя теперь они и на слова-то не были похожи. Фокс смотрел на женщину и никак не мог прийти в себя. До сегодняшнего дня она разбрызгивала свой яд наслено и направо. Теперь же он вызвал на себя поток, который скапливался годами и должен был утопить его. Фокс почувствовал, что кто-то тащит его за воротник. Вот проплывает мимо дверной проем. Он услышал, как трость выпала у него из рук, загремела по полу, и отчего-то ему вдруг почудилось, что его ужалила страшная оса-невидимка. Но вот он выбрался из комнаты, шагая как автомат, начал спускаться по лестничным маршам разогретого дома, мимо опаленных стен. Сверху на него гильотиной обрушилось:

— Вон! Вон! Вон!

Звуки затихли, словно вопль человека, сброшенного в черноту колодца.

На нижней ступеньке последнего лестничного пролета, уже у выхода из подъезда, Фокс высвободился из-под опеки своего

друга и надолго привалился к стене, его глаза увлажнились, единственное, на что он еще был способен, оказался стон. В это время его пальцы шарили в пустоте в поисках оброненной трости. Не найдя ее, он провел ладонью по голове, коснулся мокрых век и с удивлением опустил трясущиеся руки. Старики устались на нижнюю ступеньку и просидели минут десять в молчании, приходя в себя с каждым вдохом, который давался не так-то легко. Мистер Фокс наконец поднял глаза на мистера Шоу, который уставился на него в испуге и изумлении.

— Ты видел, что я наделал? Да-а, еще бы чуть-чуть и... — Фокс покачал головой. — Какой же я дурак. Бедная, бедная женщина. Она была права.

— Ничего не подсластешь.

— Теперь я убедился в этом. Надо ж было такому случиться.

— Ну-ка, дай я тебе вытру лицо. Так-то лучше.

— Ты думаешь, она пожалуется на нас мистеру Крику?

— Нет, нет.

— А не попробовать ли нам...

— Поговорить с ним?

Поразмыслив над этим, они лишь покачали головами. Распахнулась входная дверь, с улицы пахнуло жаром, как из печки. И тут их чуть не сбил с ног какой-то здоровенный детина.

— Смотреть надо, куда прет! — рявкнул он.

Они обернулись и поглядели ему вслепую. Он шагал тяжелой поступью в раскаленной тьме, поднимаясь через одну ступеньку. Это было чудовище с ребрами мастодонта, буйной лавиной привой, огромными мясистыми ручищами; до тошноты волосатый, до боли обожженный солнцем. Они увидели его лицо лишь на мгновение, когда он расталкивал их своими ладонями; то было лоснящееся от пота, облупившееся под солнцем свиное рыло, пот капельками выступил под красными глазами, капал с подбородка, покрывая разводами майку от подмышек до пояса.

Они осторожно прикрыли входную дверь.

— Это он, — сказал мистер Фокс, — ее муж.

Они стояли в маленьком магазинчике напротив дома, где жила миссис Крик. Было половина шестого, солнце закатыва-

лось, тени под редкими деревьями на аллеях окрасились в цвет спелых гроздьев винограда.

— Что это висело у него из заднего кармана?

— Крюк. Грузчики такими пользуются. Стальной. Острый, тяжелый. Вроде тех, что когда-то носили однорукие инвалиды вместо протеза.

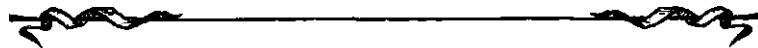
— Сколько градусов? — спросил мистер Фокс спустя минуту.

— Здесь, в магазине, термометр все еще показывает девяносто два. Тютелька в тютельку.

Фокс сидел на ящике, едва удерживая в руках бутылку апельсинового сока.

— Надо открыть, — проговорил он. — Да. Никогда в жизни мне так не хотелось апельсинового сока, как сейчас.

Они продолжали сидеть в этой топке и, глядя вверх на одно из окон противоположного дома, терпеливо ждали, ждали...



Водосток



Весь день лил дождь, и свет уличных фонарей едва пробивался сквозь серую мглу. Сестры уже долго сидели в гостиной. Одна из них, Джулиет, вышивала скатерть; младшая, Анна, пристроилась возле окна и смотрела на темную улицу и темное небо.

Анна прислонилась лбом к оконной раме, однако губы ее шевелились, и наконец, словно после долгого размышления, она сказала:

— Мне это никогда раньше не приходило в голову.

— Ты о чем? — спросила Джулиет.

— Просто я сейчас подумала... Ведь на самом деле здесь, под городом, еще один город. Мертвый город, прямо тут, у нас под ногами.

Джулиет сделала стежок на белом полотне.

— Отойди от окна. Этот дождь как-то странно на тебя влияет.

— Нет, правда! Разве ты никогда раньше не думала о водостоке? Ведь он пронизывает весь город, его туннели — под каждой улицей, и по ним можно ходить, даже не наклоняя головы. Они ветвятся повсюду и в конце концов выводят прямо в море, — говорила Анна, замороженно глядя, как капли дождя за окном разбиваются об асфальт тротуара, как дождь льется с

неба и исчезает, стекая вниз сквозь канализационные решетки на улах перекрестка.— А тебе не хотелось бы жить в водостоке?

— Мне бы не хотелось!

— Так здорово — я хочу сказать, если бы об этом больше никто-никто не знал! Жить в водостоке и подгадывать за людьми сквозь прорези решеток, смотреть на них, когда они тебя не видят! Как в детстве, когда мы играли в прятки: бывало, спрячешься, и никто тебя не может найти, а ты все время сидишь совсем рядом с ними в укромном уголке, в безопасности, и тебе тепло и весело. Мне это ужасно нравилось. Должно быть, если живешь в водостоке, чувствуешь себя так же.

Джулиет медленно подняла глаза от вышивки.

— Анна, ты моя сестра, не так ли? Ты ведь когда-то родилась, разве нет? Только вот иногда, когда ты что-нибудь такое говоришь, мне начинает казаться, будто мама в один прекрасный день нашла тебя в капусте, принесла домой, посадила в горшок и вырастила вот до таких размеров. И ты какой была, такой всегда и останешься.

Анна ничего не ответила. Джулиет снова взялась за иголку. Комната была совершенно бесшумной, и ни одна из сестер никак не оживляла ее серости. Минут пять Анна сидела, склонив голову к окну. Наконец она повернулась и, глядя куда-то вдаль, сказала:

— Наверно, ты подумаешь, что мне снился сон. Я имею в виду, пока я тут сидела и думала. Пожалуй, Джулиет, это и впрямь было сном.

На этот раз в ответ промолчала Джулиет.

Анна продолжала шепотом:

— Видно, вся эта вода меня как бы усыпила, и тогда я стала размышлять о дожде, откуда он берется и куда потом девается, исчезая в тех маленьких щелях у тротуаров, а потом подумала о резервуарах, которые глубоко внизу. И вдруг увидела там их: мужчину... и женщину. Внизу, в водостоке, под улицей.

— И зачем же они там оказались? — с любопытством спросила Джулиет.

— А разве нужна какая-то причина? — отозвалась Анна.

— Нет, разумеется, не нужна, если они ненормальные,— сказала Джулиет.— Тогда никаких причин не требуется. Сидят в своем водостоке, и пусть себе сидят.

— Но ведь они не просто сидят в этом туннеле,— проговорила Анна, склонив голову к плечу. Глаза ее двигались под закрытыми веками, как будто она куда-то смотрела.— Нет, эти двое влюблены друг в друга.

— Бог ты мой,— усмехнулась Джулиет,— неужели это любовь загнала их туда?

— Нет, они там уже много-много лет,— ответила Анна.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что они годами живут вместе в этом водостоке? — с недоверием спросила Джулиет.

— Я разве говорила, что они живы? — удивилась Анна.— Нет, конечно. Они мертвые.

Дождь, словно дробь, неистово бил в стекло, капли сливались вместе и струйками стекали вниз.

— Вот как,— обронила Джулиет.

— Да,— с нежностью в голос произнесла Анна,— мертвые. Он мертвый, и она мертвая.— Казалось, мысль ей понравилась. Словно это было интересное открытие, и она им гордилась.— Он, наверно, очень одинокий человек, который никогда в жизни не путешествовал.

— Откуда ты знаешь?

— Он похож на людей, которые ни разу не путешествовали, но всегда этого хотели. Можно определить по глазам.

— Так ты знаешь, как он выглядит?

— Да. Очень большой и очень красивый. Ну, как это иногда бывает, когда болезнь делает мужчину красивым. От болезни его лицо становится таким худым.

— И он мертвый? — спросила старшая сестра.

— Уже пять лет.— Анна говорила мягко, ее веки то приоткрывались, то опускались, как будто она собиралась поведать длинную историю, которую хорошо знала, и хотела начать ее не спеша, а потом говорить все быстрее и быстрее, покуда рассказ полностью не закрутит в своем вихре ее самое — с расширившимися глазами и приоткрывшимся ртом. Но сейчас она говорила медленно, голос ее лишь слегка дрожал.— Пять лет назад этот человек шел вечером по улице. Он знал, что это та

самая улица, по которой он уже многу раз ходил и по которой еще множество вечеров подряд ему предстоит ходить. Так вот, он подошел к люку — такой большой круглой крышке посередине улицы — и услышал, как у него под ногами бежит река, понял, что под этой железной крышкой мчится поток и впадает прямо в море. — Анна слегка вытянула правую руку. — Он медленно нагнулся и поднял крышку водостока. Заглянув вниз, увидел, как бурлит пена и вода, и подумал о женщине, которую он хотел любить — и не мог. Тогда он по железным скобам спустился в люк и исчез...

— А что случилось с ней? — спросила Джулиет, не отрываясь от своей работы. — Когда умерла она?

— Точно не знаю. Она там совсем недавно. Она умерла только что, как будто прямо сейчас. Но она действительно мертва. И очень красива, очень. — Анна любовалась образом, возникшим у нее в голове. — По-настоящему красивой женщину делает смерть, и прекраснее всего она становится, если утонет. Тогда из нее уходит вся напряженность, волосы ее развеваются в воде, подобно клубам дыма. — Она удовлетворенно кивнула: — Никто и ничто на земле не в состоянии научить женщину двигаться с такой задумчивой легкостью и грацией, сделать ее столь гибкой, струящейся и совершенной. — Анна попробовала передать эту легкость, грацию и зыбкость движением своей большой, неуклюжей и грубой руки.

— Все эти пять лет он ждал ее, но до сего дня она не знала, где он. И вот теперь они там и будут вместе всегда. В дождливое время года они будут оживать. А сухая погода — иногда это тянется по нескольку месяцев — будет для них периодом долгого отдыха: лежат себе в маленьких потайных нишах, как те японские водяные цветы, совершенно высохшие, старые, сморщенные и тихие.

Джулиет встала и зажгла еще одну небольшую лампу в углу гостиной.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты продолжала тему.

Анна засмеялась:

— Ну давай я расскажу тебе, как это начинается, как они вновь оживают. У меня все продумано. — Она наклонилась вперед, опершись локтями о колени и пристально глядя на улицу,

на дождь, на горловины водостока. — Вот они лежат в глубине, высохшие и тихие, а высоко над ними в небесах скапливаются водяные пары и электричество. — Она откинула рукой назад свои тусклые, седеющие волосы. — Сначала весь верхний мир осыпают мелкие капельки, потом сверкает молния и раздается раскат грома. Это закончился сухой сезон: капли становятся больше, они падают и катятся по водосточным трубам, желобам, водоотводам, канавам. Они несут с собой обертки от жевательной резинки, бумажки, автобусные билеты!

— Сейчас же отойди от окна.

Анна вытянула перед собой руки и продолжала:

— Я знаю, что делается там, под тротуаром, в большом квадратном резервуаре. Он огромный и совершенно пустой, потому что уже много недель наверху ничего не было, кроме солнечного света. Если скажешь слово, то в ответ раздастся эхо. Стоя там, внизу, можно услышать только, как наверху проезжает грузовик — где-то очень высоко над тобой. Весь водосток пересох, словно полая верблюжья кость в пустыне, и затаился в ожидании.

Анна подняла руки, как будто сама стояла в резервуаре и ждала чего-то.

— И вот появляется крохотный ручеек. Он течет по полу. Словно там, наверху, кого-то ранили, и у него из раны сочится кровь. Вдруг слышится гром. А может, это просто проехал грузовик?

Теперь она говорила немного быстрее, но поза ее была по-прежнему спокойна.

— А сейчас вода уже течет со всех сторон. По всем желобам вливаются все новые струйки — как тонкие пинурки или маленькие змейки табачного цвета. Они движутся, сплетаются друг с другом и наконец образуют как бы один могучий мускул. Вода катится по гладкому замусоренному полу. Отовсюду — с севера и с юга, с других улиц — мчатся потоки воды и сливаются в единый бурлящий водоворот. И вода поднимается, постепенно заливая две небольшие пересохшие ниши, о которых я тебе говорила, постепенно окружает этих двоих, мужчину и женщину, — те лежат там, как японские цветки.

Она медленно соединила ладони и переплела пальцы.

— Влага проникает в них. Сначала вода, приподняв, слегка шевелит кисть женщины. Это пока единственная живая часть ее тела. Затем поднимается вся рука и одна нога. Ее волосы...— Анна тронула свои волосы, лежащие у нее на плечах,— ...расплетаются и раскрываются, словно цветок в воде. Сомкнутые голубые веки...

В комнате стало темнее, Джулиет продолжала вышивать, а Анна все говорила о своих видениях. Она рассказывала, как вода, поднимаясь, захватила и развернула женщину, как ее тело, напитавшись влагой, расправилось, и она встала в полный рост.

— Вода безразлична к этой женщине и позволяет делать то, чего ей хочется. Женщина, после того как столько времени пролежала неподвижно, готова опять жить, и вода хочет, чтобы она ожила. А где-то в другом месте мужчина так же поднялся в воде...

Анна рассказывала об этом и о том, как поток, медленно кружа, нес его и ее, пока они не встретились.

— Вода открывает им глаза. Теперь они могут смотреть, но пока не видят друг друга. Они плывут рядом, еще не соприкасаясь.— Анна, закрыв глаза, слегка повернула голову.— Они смотрят друг на друга. Их тела светятся, как будто фосфоресцируют. Они улыбаются... Вот — их руки коснулись.

Наконец Джулиет отложила свое шитье и пристально посмотрела на сестру.

— Анна!

— Поток соединяет их. Они плывут вместе. Это совершенная любовь, где нет места для собственного «я», где существуют только два тела, подхваченные водой, которая их омывает и очищает. Здесь нет места для порока.

— Анна! Нехорошо говорить такие вещи! — воскликнула ее сестра.

— Нет же, все нормально,— возразила Анна, на мигновение повернувшись к ней.— Они ведь не думают, правда? Просто они так глубоко внизу, такие тихие, и их ничто не заботит...

Она медленно и осторожно, положив правую ладонь на левую, сплетала и расплетала дрожащие пальцы. Через залитое дождем окно пробивался неяркий весенний свет и, проходя сквозь бегущие по стеклу струи, падал на ее руки, отчего они

казались призраками, кружащими друг вокруг друга в толще серой воды. Анна дорассказала свой короткий сон:

— Он, высокий и спокойный, с раскинутыми руками,— Анна жестом показала, как он высок и легок в воде,— и она, миниатюрная, тихая и податливая.— Анна поглядела на сестру.— Они мертвы, им некуда деться, никому до них нет дела. И вот они там, их ничто не тревожит, о них никто ничего не знает. Их тайное убежище — глубоко под землей, в водах резервуара. Они касаются друг друга руками и губами, а когда оказываются у горловины водостока под перекрестком, поток подхватывает их обоих и увлекает своим течением. А потом...— она развела руки в стороны,— может быть, они пускаются в путешествие под всеми улицами и плывут бок о бок, то погружаясь, то всплывая, то кружась в безумном танце, когда попадают в случайные водовороты.— Анна взмахнула руками, дождь окатил водой окно.— И они приближаются к морю, проплывая под гордом по туннелям водостока, под одной улицей, под другой... Джессси-авеню, Креншоу, Эдмонд-пэйс, Вашингтон, Моторсити, набережная — и наконец океан. Они плывут туда, куда пожелает вода, та носит их по всей планете, а потом они снова попадают в водосток и, проплыв под десятком табачных и винных лавок, дюжиной бакалейных магазинов, кинотеатров, под вокзалом и шоссе номер 101, опять оказываются в резервуаре под ногами тридцати тысяч человек, которые даже не знают и не задумываются о его существовании.

Теперь голос Анны снова звучал сошью и тихо:

— А потом... Пролетели дни, и на улицах перестал греметь гром. Прекратился дождь. Кончился дождливый сезон. В туннелях с потолка больше не капает. Вода спадает.— Казалось, она была этим огорчена и расстроена.— Река вытекла в океан. Мужчина и женщина чувствуют, что вода мало-помалу опускает их на пол. И вот они внизу.— Анна плавно положила руки на колени и с грустью посмотрела на них.— Через их ноги уходит жизнь, которую им принесла вода. Сейчас вода, утекая, укладывает их на пол, рядом друг с другом, и туннели высыхают. И они лежат там. Наверху во всем мире уже светит солнце. А они спят в темноте — до следующего раза. До следующего дождя.

Теперь руки ее лежали на коленях ладонями вверх.

— Милый мужчина, прелестная женщина,— пробормотала Анна. Склонила голову к себе на ладони и крепко закрыла глаза.

Потом вдруг выпрямилась в своем кресле и зло посмотрела на сестру.

— А ты знаешь, кто этот мужчина? — с горечью воскликнула она.

Джулиет не ответила. Вот уже минут пять она, пораженная происходящим, затаив дыхание, наблюдала за сестрой. Ее губы побледнели и приоткрылись.

Анна почти закричала:

— Этот мужчина — Фрэнк, вот кто он! А женщина — я!

— Анна!

— Да, это Фрэнк, там, внизу!

— Но Фрэнка нет уже несколько лет, и, конечно, Анна, он не там!

Теперь Анна говорила, не обращаясь ни к кому в отдельности, но как бы сразу ко всем — к Джулиет, к окну, к стене, к улице.

— Бедный Фрэнк.— Она заплакала.— Я знаю, он ушел именно туда. Он не мог больше оставаться нигде в этом мире! Его мать отняла у него весь мир! Он увидел водосток и понял, какое это прекрасное и укромное место. Ах, бедный Фрэнк. И несчастная, бедная я! Никого у меня нет, кроме сестры. Ах, Джулиет, ну почему я не удержала Фрэнка, пока он еще был здесь? Почему я не дралась, чтобы отвоевать его у матери?

— Прекрати сейчас же, ты слышишь, сию же минуту!

Анна, беззвучно всхлипывая, отошла в угол около окна. Через несколько минут она услышала голос Джулиет:

— Ну, ты закончила?

— Что?

— Если ты успокоилась, помоги мне закончить вот это, а то у меня что-то не получается.

Анна подняла голову и подошла к сестре.

— Что нужно сделать? — спросила она.

— Вот здесь и здесь,— показала ей Джулиет.

— Хорошо,— кивнула Анна, взяла скатерть и села у окна.

Ее пальцы проворно управлялись с иголкой и ниткой, время от времени она смотрела в окно на непрекращающийся дождь и видела, как темно стало теперь на улице и в комнате, как трудно уже разглядеть круглую чугунную крышку водостока. За окном в черных сумерках различались только редкие вспышки и какие-то отблески. Вот молния прорезала небо, разорвав паутину дождя...

Прошло с полчаса. На другом конце гостиной Джулиет откинулась в кресле, сняла очки, положила их рядом на столик, прикрыла глаза и задремала. Секунд через тридцать она вдруг услышала, что входная дверь громко хлопнула, до нее донеслись шум ветра и стук удаляющихся шагов — сначала по дорожке, а потом вниз по темной улице.

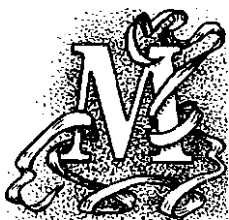
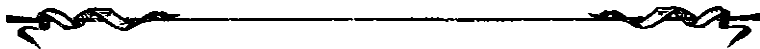
— Что? — спросила Джулиет, привстав в кресле и нащупывая свои очки.— Кто там? Анна, к нам приходил кто-нибудь? — Она поглядела на пустое кресло у окна, где сидела сестра.— Анна! — крикнула Джулиет. Она вскочила и выбежала в прихожую.

Дверь была распахнута, и сквозь ее проем прихожая наполнялась чудесной мглой моросящего дождя.

— Она просто вышла на минутку,— сказала Джулиет, стоя на пороге и вглядываясь в сырую черноту.— Она сейчас вернется. Ведь ты сейчас вернешься, Анна, дорогая моя? Анна, сестренка, отвечай, ты же обязательно вернешься сейчас?

Где-то на улице открылась и с грохотом захлопнулась крышка водостока.

Всю ночь на улице что-то шептал дождь, падая на закрытую чугунную крышку.



Время уходить

Мысль возрастала три дня и три ночи. Днем голова вынашивала ее, словно зреющую грушу. А ночью он позволял мысли обретать плоть и кровь и висеть в тишине комнаты, освещаемой лишь деревянной луной да деревенскими же звездами. В молчании перед рассветом он рассматривал эту мысль со всех сторон. На четвертое утро протянул руку, уже невидимую, взял мысль в ладонь, поднес ко рту и сжевал всю, без остатка.

Он вскочил так быстро, как только мог, затем сжег старые письма, упаковал несколько самых необходимых вещей в крохотный чемоданчик и надел вечерний костюм, повязав к нему галстук цвета воронова крыла, словно шел на поминки. Спинай он чувствовал, что в дверях стоит его жена и, словно критик, который в любую минуту может ворваться на сцену и остановить представление, оценивает его маленькую пьеску.

Протискиваясь мимо, он пробормотал:

— Извини.

— Извинить?! — закричала она. — И это все, что ты можешь сказать, ползая тут и что-то замышляя?!

— Я ничего не замышлял, просто так получилось: три дня назад мне был Голос о смерти.

— Прекрати болтать, — сказала она. — Это меня бесит.

Линия горизонта мягко раздвоилась в его глазах.

— Я почувствовал, как медленно кровь струится в моих венах. Слушая, как скрипят мои кости, можно подумать, что это ходят ходуном стропила на чердаке и осыпается пыль...

— Тебе всего лишь семьдесят пять, — упрямо буркнула жена. — Ты стоишь на своих двоих, все видишь, слышишь, нормально ешь, спишь, разве нет? Так к чему эта трепотня?

— Это природа говорит со мной, — сказал старик. — Цивилизация отделила нас от нашего истинного «я». Возьми, например, островитян-язычников...

— Не хочу...

— Всем известно, что островитяне-язычники точно знают время, когда умрут. Тогда они начинают ходить по деревне, пожимать руки, обниматься с друзьями, раздавать накопленное...

— А их жены имеют право слова?

— Они и женам отдают кое-что.

— Хотелось бы надеяться!

— А кое-что друзьям...

— Ну, с этим можно и поспорить!

— А кое-что друзьям. Затем они садятся в каноэ и медленно плывут к закату. И больше никогда не возвращаются...

Жена посмотрела на него снизу вверх так, словно он был деревом, а она лесорубом.

— Дезертирство, — сказала она.

— Нет, нет, Милдред, — просто смерть. Они называют это — «Время уходить».

— А кто-нибудь когда-нибудь нанимал каноэ и ездил за ними, чтобы проверить, как это дурачье устраивается дальше?

— Конечно же нет, — слегка раздраженно проговорил старик. — Это бы только все испортило.

— Ты хочешь сказать, что они заводят себе жен и друзей на другом острове?

— Да нет же, нет! Просто, когда соки жизни начинают остывать, человек нуждается в одиночестве и покое.

— Если ты сможешь доказать, что это дурачье в самом деле откидывается, — я заткнусь. — Жена сощурила один глаз. — А кто-нибудь находил их кости на этих дальних островах?

— Все дело в том, что они просто уплывали навстречу закату, словно животные,— животные ведь понимают, когда настает их Великое Время. И я не хочу ничего больше знать!

— Что же, зато знаю я,— сказала женщина.— Последняя цитата из этой проклятой статейки в «Нейшна джиографик», о свалке слоновьих костей.

— О кладбище, а не о свалке! — закричал он.

— Кладбище, свалка — без разницы. Я надеялась, что спалила все эти журнальчики. Ты что, спрятал где-нибудь несколько штук?

— Послушай меня, Миддред,— сказал он сурово, вновь берясь за свой чемоданчик.— Мои мысли устремлены на север, и что бы ты ни говорила, они не изменятся. Я настроен в унисон с бесконечными тайными струнами простой жизни.

— Ты настроен в унисон с тем, что посасным вычитал в этой паршивой газетке! — Она наставила на него палец.— Ты считаешь, что у меня склероз?

Его плечи поникли.

— Только давай не будем начинать все сначала. Я прошу тебя.

— Помнишь случай с мамонтами? — спросила она.— Когда тридцать лет назад в русской тундре нашли этих замерзших волосатых слонов? Тогда ты и этот старый осел, Сэм Херц, придумали замечательную штуку: завалить мировой рынок консервированным мамонтовым мясом! Думаешь, можно забыть, как ты говорил тогда: «Представь себе, как члены правления Национального географического общества будут платить за то, чтобы в их домах появилось нежное мясо сибирского мамонта, умершего десять тысяч лет назад!» Ты думаешь, время способно излечить подобные раны?

— Я все это прекрасно помню,— вздохнул он.

— Ты думаешь, я позабыла, как ты сбежал, чтобы найти в Висконсине «затерянное племя оссюс»? Как ты на собаках добрался до городка Субботний Вечер, нализался, загремел в этот чертов карьер, сломал ногу и провалялся там целых три дня?

— На память тебе грех жаловаться.

— Так скажи мне, что это еще за новости о дикарях и о Времени Уходить? А хочешь, я скажу тебе, что это за время? Это —

Время Быть Дома! Это время, когда фрукты уже не падают с деревьев прямо тебе в руку — за ними нужно идти в магазин. И, кстати, почему мы *ходим* в магазин, а? Потому что кое-кто в этом доме — не будем указывать пальцами, кто именно,— несколько лет назад разобрал нашу машину на винтики и оставил ржаветь во дворе. В этот четверг можно будет справить десятилетие «пучинки». Еще одно десятилетие — и от нее останется несколько кучек ржавчины! Выгляни в окно! Это — Время сгребать и сжигать листья. Это — Время чистить печь и навешивать ставни! Это — Время чинить крышу — вот что это за время! И если ты думаешь, что сможешь улизнуть от всего этого,— не обольщайся!

Он приложил руку к груди.

— Мне больно, что ты не можешь поверить в мои ощущения надвигающейся Судьбы!

— Это мне больно оттого, что «Нейшна джиографик» попадает в руки старых, выживших из ума людей! Я же прекрасно вижу, как ты читаешь эти газетки, а затем впадаешь в маразм и видишь прекрасные сны, которые мне потом приходится выметать вместе с мусором. Нужно было бы издателям «Джиографик» и «Попьюлар мекэникс» показать недоделанные паяупки, вертолеты и одноместные планеры, что валяются у нас на чердаке, в гараже и в подвале. И чтобы они не только посмотрели на это, но и развезли всю эту рухлядь по своим домам!

— Можешь болтать,— сказал он.— Я стою рядом с тобой, как белый камень, тонущий в водах Забвения. Ради всего святого, женщина, может быть, ты разрешишь мне уйти, чтобы спокойно умереть?!

— У меня будет достаточно времени для Забвения, когда я обнаружу тебя замерзшим насмерть на поленнице.

— Господи ты боже мой! — вскричал он.— Неужели мысль о собственной бренности кажется тебе обыденной и тшеславной?

— Ты жуешь эту мысль, словно табак.

— Хватит! Все накопленное мною добро выставлено на заднем крыльце. Отдай людям из Армии спасения.

— И «Нейшна джиографик»?

— Да! Черт бы их побрал, и «Джиггрэфик». А теперь — отойди!

— Если ты собираешься умереть, тогда тебе не понадобится битком набитый чемодан!

— Руки прочь, женщина! Смерть все-таки займет какое-то время. Неужто мне отказываться от последних удобств? Это должна была быть нежная сцена прощания. Вместо нее я получил взаимные упреки, сарказм, сомнения и тра-ля-ля-ля-ля.

— Ну ладно, — сказала она. — Иди проводи ночьку в лесу.

— Почему же обязательно в лесу?

— А куда еще человек из Иллинойса может пойти помирать?

— И-ну... — На мгновение он задумался. — Есть еще шоссе.

— Ты предпочитаешь, чтобы тебя задавили?

— Нет, нет! — Он крепко зажмурил глаза, затем снова открыл их. — Пустые прохлосочные дороги, ведущие в никуда, через ночные леса, пустыню, к далеким озерам...

— А что, разве тебе не хочется ныть где-нибудь каноз и грести, грести?.. А помнишь, как ты однажды свалился в воду и чуть было не утонул у пожарного причала?

— А кто хоть слово сказал о каноз?

— Да ты же, ты! Твои дикари — или забыл? — уплывают таким образом в великую неизвестность.

— Так то в южных морях! Здесь же человеку необходимо самому передвигать ноги, чтобы вернуться к истокам и встретить свой естественный конец. Я могу пройти северным берегом озера Мичиган, среди дюн, волн, ветра.

— Уилли, Уилли, — прошептала она мягко, покачивая головой. — Ох ты, Уилли, Уилли мой, что же мне делать с тобой?

Он понизил голос:

— Дать мне самому распорядиться своей головой.

— Да, — сказала она тихо. — Да.

На глазах ее выступили слезы.

— Ну будет, будет, — прошептал он.

— Ох, Уилли... — Она долго-долго смотрела на мужа. — Можешь ли ты, положи руку на сердце, сказать, что это твоя смерть пришла?

Он увидел свое маленькое четкое отражение в ее зрачке и смущенно отвернулся.

— Всю ночь я думал о вселенском потоке, его отливах и приливах, которые приносят человека в этот мир и уносят его обратно. А теперь утро — и прощай.

— Прощай? — Она смотрела на него так, словно слышала это слово впервые.

Его голос был нетверд.

— Конечно, если ты так настаиваешь, Милдред...

— Нет! — Она взяла себя в руки, вытерла слезы и высморкалась. — Ты чувствуешь то, что чувствуешь. С этим я бороться не могу!

— Ты уверена?

— Это ведь ты уверен, Уилли, — сказала она. — Ну а теперь — иди. Возьми теплую куртку — ночи сейчас действительно холодные...

— Но... — сказал он.

Она принесла его куртку, поцеловала в щеку и отошла раньше, чем он успел заключить ее в медвежьи объятия. Так он и стоял, глядя на кресло у камина и двигая челюстями. Она распахнула дверь.

— Ты взял с собой поесть?

— Мне не нужно... — начал было он. — Я взял бутерброд с ветчиной и несколько пикулей. Один, точнее. Вот и все, я подумал, что хватит...

Он спустился с крыльца и направился по тропе к лесу. Потом обернулся, словно собираясь что-то сказать, но передумал, махнул рукой и зашагал дальше.

— Уилл! — крикнула женщина ему вслед. — Смотри, не переустанешь! Чтобы твой уход не слишком затянулся. Как устанешь — присядь! Как проголодаешься — поешь! И...

Но в этом месте ей пришлось прерваться, она отвернулась и вытащила платок.

Через мгновение вновь взглянула на тропу — та выглядела так, словно последние десять тысяч лет по ней никто не ходил. Тропа была пустынна, женщина вошла в дом и захлопнула за собой дверь.

Вечер, десять часов, девять пятнадцать, высыпали звезды, луна крутая, земляничным светом горят сквозь занавески огни в доме, дымоход вытягивает из горящих поленьев длинные фонтаны искр, тепло. Вверх по трубе поднимаются звуки гремящих кастрюль, сковородок, ножей-вилочек, огня, мурлыкающего в очаге, словно огромный оранжевый котик. В кухне, на безбрежной металлической плите, через конфорки которой прорываются языки пламени, кипят кастрюли, сковороды жарят, наполняя воздух ароматами и паром. Время от времени старая женщина отворачивается от плиты, и тогда по глазам ее и широко раскрытому рту видно, что она прислушивается к тому, что происходит за пределами этого дома, вдалеке от огня.

Девять тридцать. Где-то далеко, но достаточно громко, неуклюже затопали.

Старая женщина выпрямилась и положила ложку на стол.

А снаружи, где одна лишь луна, топотали — топ-топ — тяжело и тупо. Так продолжалось три-четыре минуты, и за это время она не шелохнулась, только сжала кулаки и крепче стиснула зубы. А потом бросилась к столу, к плите, засуетилась и принялась наливать, поднимать, тащить, ставить...

Она закончила кухонную возню, как раз когда звуки снова пришли из темной дали, раскинувшейся за окнами. По тропе прогрохотали медленные шаги, и тяжелые ботинки замесили снег на парадном крыльце.

Она подошла к двери и стала ждать стука.

Но не услышала.

Она ждала.

Там шевелилось что-то большое. Кто-то переминался с ноги на ногу и несловко сопел.

В конце концов она вздохнула и резко, обращаясь к дверям, спросила:

— Уилл, это ты, что ли?

Ответа нет. Молчание.

И тогда она широко распахнула дверь.

На пороге стоял старик, держа в руках охапку дров. Из-за поленьев выплыла его голова:

— Увидел, что из трубы дым идет, подумал, дрова, наверное, понадобятся...

Она посторонилась. Он вошел и, не глядя в ее сторону, аккуратно положил полешки у очага.

Она гаянула за порог, взяла чемоданчик и внесла в дом. Потом закрыла дверь.

Он сидел за обеденным столом.

Она помещала стоящий на плите суп.

— Ростбиф в духовке? — спросил он тихо.

Она открыла дверь. Запах выплыл и окутал его. Он сидел, закрыв глаза, и прихихивался.

— А это еще что такое? Жжешь что-нибудь? — спросил он через минуту.

Она выждала какое-то время и произнесла, не поворачиваясь:

— «Нейшна джиогрэфик».

Он медленно кивнул, не произнеся ни слова.

Потом еда оказалась на столе — ароматная, пышущая жаром, и внезапно, после того как старуха опустилась на стул, наступило мгновение полной тишины. Она покачала головой. Посмотрела на него. И еще раз покачала головой.

— Ты не хочешь попросить благословения? — спросила она.

— Лучше ты начни.

Они сидели в теплой комнате у яркого огня, склонив головы и закрыв глаза. Она улыбнулась:

— Возблагодарим Господа...



Вот ты и дома, моряк

оброе утро, капитан.

— Доброе утро, Хэнкс.

— Милости просим к столу, сэр. Кофе

готов.

— Спасибо, Хэнкс.

Старик сел за камбузный столик и уронил руки на колени. Там, на коленях, они были как две переливчатые форели. Прозрачные, будто сотканные из пара его слабого дыхания, две рыбины лениво подрагивали в ледяной прозрачной глубине. Десятилетним мальчишкой ему случалось видеть, как форель поднимается почти к самой поверхности горных ручьев. Едва приметные движения рыб зачаровывали тем больше, что их сверкающая чешуя, если смотреть долго-долго, начинала загадочно бледнеть. Они как бы истаявали на глазах.

— Капитан,— забеспокоился Хэнкс,— с вами все в порядке?

Капитан резко вскинул голову и глянул привычным огненным взглядом.

— Разумеется, в порядке! Станный вопрос!

Дымок поставленной перед ним чашки кофе дразнил воспоминаниями о других ароматах других времен, там плясали неясные лики — полузабытые лица давным-давно минувших женщин.

Ни с того ни с сего старик захлопал носом, и Хэнкс подскочил с платком.

— Спасибо, Хэнкс.

Капитан как следует высморкался. Затем отхлебнул из чашки в дрожащей руке.

— Слышь, Хэнкс!

— Да, капитан, тут он я.

— А барометр-то падает.

Хэнкс оглянулся на настенный прибор:

— Нет, сэр. Показывает на умеренно ясно. Умеренно ясно, вот что он показывает.

— Собирается буря, и солоно придется, потому как распогодится не скоро, очень не скоро.

— Не нравятся мне такие разговоры,— буркнул Хэнкс, проходя мимо столика.

— Что чувствую, то и говорю. Рано или поздно покою придет конец. Уж так оно устроено, что бури не миновать. Я к ней готов, и с давних пор.

Да, с давних пор. Уж который год... А который именно? Много песка утекло в песочных часах — и не угадаешь сколько. Да и снега перепало немало: на белую простыню одной зимы ложилась новая простынка — и сколько их понаслоилось, без счета. До первых-то зим уже и не дощупаться в памяти.

Он встал и, покачиваясь, доплелся до двери камбуза, открыл ее и шагнул...

...на веранду дома, построенного в виде носовой части корабля. И пол веранды был из просмоленных досок, совсем как палуба на судне. Капитанскому взору предстала не бесконечная водная гладь, а подрасткисший от летнего дождя палисадник. Старик подошел к перилам и обежал глазами окрестные холмы — куда ни гляди, все холмы да взгорки, до самого горизонта.

«Зачем я здесь? — вдруг закипело в его сознании. — В этом нелепом доме, в этом корабле без паруса посреди прерий, где волюм извоешь от одиночества, где всех звуков — щебетнет осебно птица, пролетая на юг, да еще раз весной — возвращаясь на север».

Зачем он здесь? Действительно — зачем?

Уняв дрожь, старик поднял бинокль к глазам, чтобы лучше разглядеть не то пустыню перед собой, не то пустыню лет позади.

Ах, Кейт, Катарин, Кейти — где ты, где?

Ночью, утопая в перине, он благополучно забывал. Зато днем память не давала покоя. Он жил один, вот уже двадцать лет как один — если не считать Хэнкса, чье лицо встречало его на заре и провожало на закате.

А Кейт?

Тысячу штормов и тысячу затиший назад был один штиль и одна буря, на веки веков засевшие в его памяти.

Как звонок был его голос тогда, в угреннем порту:

— Вот он, Кейт, гляди! Вот он, корабль-красавец, что унесет нас, куда бы мы ни пожелали!

И они заторопились к причалу — такая нелепо молодая чета! Кейт, чудесной Кейт едва ли было двадцать пять. А ему — за сорок, хорошо за сорок. Но маляшской ощущал он себя, когда они с Кейт — рука в руке — подбегали к трапу.

Однако у самого трапа Кейт вдруг замешкалась, вдруг оглянулась на холмы Сан-Франциско и тихо выдохнула, словно для себя самой:

— В последний раз я касаюсь твердой земли.

— Брось ты! Коротенькое путешествие!

— Если бы! — спокойно возразила она. — Я чувствую, путешествие будет долгим-предолгим.

Секунда сколько-то он ничего не слышал, кроме заунывного скрипа корабельных снастей, и ему почудилось, что это шумно ворочается потревоженная во сне Судьба.

— С чего бы это я? — встряхнулась Кейт. — Взор какой-то!

И смело шагнула на борт корабля.

Той ночью они, недавно обвенчанные, падали к жарким тихоокеанским островам. Он — бывалый моряк с просоленной и задушевной кожей. Она — нежно-гибкая и пустрая, как саламандра, что в августовский полдень устраивает пляску на корабельном юте.

Где-то на половине пути судно угодило в штиль. Теплое уютное затишье: паруса поникли, но как-то умиротворенно, беспробужно.

Его разбудил посреди ночи не то последний выдох ветра, не то Кейт, которая прислушивалась к непривычной тишине.

Замолчали корабельные снасти, больше не пели паруса. Да и матросы словно вымерли — где топот голых пяток по палубе? Какое-то закодированное беззвучие. Будто взопла луна и обронила серебристый приказ для всего сущего под собой: мир и покой!

Капитан и его молоденькая жена поднялись на палубу. Члены команды, словно пригвожденные чарами к местам, где их застало мановение волшебной палочки, не обращали на них внимания. Стоя у самого борта, капитан и его жена всей кожей ощущали, как в их присутствии Сейчас удлиняется в Во Веки Веков.

И тогда, будто запросто читая будущее в зеркале моря, где увяз их корабль, Кейт промолвила:

— Не было от века более прекрасной ночи. И не было с сотворения мира двух людей более счастливых, чем мы, и корабля, прекраснее этого. Ах, оставаться бы так еще тысячу лет — в этом совершенном мире, где мы хозяева, где мы живем по нами же сотворенным законам. Обещай, что ты не позволишь мне умереть — никогда-никогда.

— Никогда, — решительно отозвался он. — Сказать почему?

— Да, и скажи так, чтобы я поверила.

Ему вдруг вспомнилась одна легенда, и он рассказал ее Кейт.

Жила-была одна прекрасная женщина. И так прекрасна она была, так любя богам, что боги исхитили ее из власти ненасытного Времени и поместили среди океана, дабы никогда более не коснулась ее нога тверди земной. Ибо земля обременила бы тело женщины силой непомерной тяжести. От зрелища людского тщеславия, от обилия пустых соблазнов и нелепых тревог изнемогла бы ее душа. Но среди волн да живет она вечно — там, и только там, не убудет во веки веков от ее красоты и молодости! И так плавала женщина по хлябям морским годы и годы — временами проплывая на корабле совсем близко от острова, где жил и старел ее возлюбленный. Тогда она принималась кричать что было сил: приди, любимый, и заведи меня на берег!.. Возлюбленный слышал ее стенания — и ничего не предпринимал, ибо любил ее и ведал, что берег обозначает для нее

гибель молодости и красоты. И вот однажды она решилась сама — бросилась в воду и доплыла до берега. Одну только ночь провели они вместе — чудную, чудную ночь... А наутро он увидел, что с рассветом красавица превратилась в древнюю-предревнюю старуху — будто иссохший лист лежал рядом с ним.

— Не знаю, слышал ли я эту историю от кого-то, — сказал капитан. — А может, она еще никем не рассказана — и совершится как раз сейчас и с нами... Вообрази себе, что я нарочно увлек тебя в море — прочь от гваатла больших и малых городов, прочь от автомобильных гудков и суетливых многомиллионных толп, прочь от всего, что изнашивает тело и душу.

Теперь Кейт хохотала. Звонко, громко, запрокинув голову. И матросы, отряхнув сонную одурь, варут зашевелились и ответно заулыбались.

— Том, любимый мой Том, разве ты не помнишь, что я сказала на трапе перед отплытием? «В последний раз я касаюсь твердой земли». Как-то само вырвалось. Но я бы еще тогда могла действительно догадаться о том, что ты замыслил! Ладно, твоя взяла — я остаюсь на борту, сколько бы мы ни плавали и куда бы мы ни плавали — хотя бы и на край земли. Стало быть, я уже никогда не постарею, да и ты тоже?

— Мне вечно будет сорок восемь!

И он рассмеялся — довольный тем, что изгнал из своей головы темные мысли. Обнимая Кейт, осыпая поцелуями ее шею, он словно погружался в снежный сугроб посреди августовской жары. Да, в ту знойную нескончаемую ночь в его постели был словно нерастопимый снег...

— Хэнкс, ты помнишь тот штиль в августе девяносто седьмого года? — крикнул старик в дом. — Сколько он, бишь, длился?

— Дней девять-десять, сэр.

— Нет, Хэнкс. Могу поклясться, тот штиль девяносто седьмого продолжался лет пять, не меньше.

Дней девять или лет десять, разве теперь вспомнишь... Но какое это счастье, Кейт, что я увлек тебя туда, в эти дни или годы, и не смутился тем, как люди пошучивали, будто прикасаясь к тебе, я тужусь помолодеть. Приятели-капитаны твердили: любовь, она повсюду, ждет в каждом порту, в тени каждого де-

рева, одинаковая в каждом кабаке, как подогретая кокосовая брага, которую нюхнул, по-быстрому опрокинул в себя и «поплыл». Господи, какое глупое заблуждение! Добро этим жалким забубенным головам перекоряться из-за гроша со шляхами на Борнео и тискать арбузы у потаскух на Суматре — что прочного они создадут в темных вонючих задних комнатках с этими лихо пляшущими под ними обезьянами? А на возвратном пути домой — с кем они, эти умудренные капитаны? Одни-одиношечники. Поганая, надо сказать, компания на пути длиной в десять тысяч миль! Нет, Кейт, пусть злые языки измозолятся, а мы будем вместе — вопреки всему.

Да, мертвый штиль посреди океана все не кончался и не кончался. Море дышало ровно, нечувствительно, и если где-то существовали исполинские дремлющие-континенты, то они не иначе как разломались и канули в бескрайний океан.

Однако на девятый день команда не вытерпела. Матросы спустили шлюпки на воду и сели в них — в ожидании приказа налечь на весла и буксировать корабль как баржу, ища ветра в море. И капитан в конце концов покорился общей воле.

К концу десятого дня на горизонте медленно восстал остров.

Капитан сказал жене:

— Кейт, мы отправляемся к берегу в шлюпках — пополнить запас провизии. Ты с нами?

Она посмотрела на остров узнающим взглядом, словно видела его когда-то и где-то, еще до своего рождения, и медленно мотнула головой: нет.

— Отправляйтесь. Ноги моей не будет на суше, пока мы не прибудем домой.

Глядя на Кейт, он угадал: она интуитивно действует по букве той легенды, которую он с такой легкостью слышал и так легко-мысленно рассказывал. Подобно той сказочной красавице, его любимая чувствовала, что на безлюдном песчаном берегу кораллового рифа таится некое зло, от которого ей будет ущерб, а то и гибель.

— Что ж, Кейт, Господь тебе навстречу. Нас не будет часа три.

И он уплыл вместе с матросами.

Ближе к вечеру они вернулись. С пятью бочонками свежей пресной воды. Из лодок поднимался пряный запах фруктов и цветов.

Кейт терпеливо поджидала на корабле, ибо эта женщина стояла на том, что нога ее больше не коснется суши.

Ей первой дали испить свежей прохладной воды.

Расчесывая волосы перед сном, глядя на едва заметное колышание волн, она сказала:

— Вот и все. Уже недолго. К утру все переменится. Ах, Том, Том, как это будет трудно — такой холод после такого зноя...

Посреди ночи он проснулся. Рядом в темноте беспокойно ворочалась Кейт и что-то бормотала во сне. Прикосновение ее руки обожгло. Потом она вскрикнула, но не проснулась.

Капитан пощупал ее пульс и прислушался к другому биению — снаружи начиналась буря.

Пока он встревоженно сидел возле Кейт, корабль начал медленно ходить вверх-вниз на высоких волнах. Чары рассеялись: период волшебного покоя завершился.

Одрябшие паруса наполнились жизнью, бодро зашумелись. Все канаты вдруг зазвучали — словно могучая рука вдруг перебирала струны, казалось, навек замолчавшей арфы. Волшебная музыка возобновленного путешествия.

Штиль как не бывало. Свирепствовал шторм.

И будто одного шторма было мало, внутри его свершилось нечто ураганное.

Лихорадка накинута на Кейт со свирепостью огненного смерча — испепелила враз. Тот шторм снаружи еще бушевал, а здесь, в каюте, уже воцарились пробовая тишь и вечный покой.

Матрос, обычно чинивший паруса, скроил для Кейт саван, в котором ей предстояло лечь на морское дно. В полумраке каюты иголка в руках матроса летала и посверкивала, будто крохотная тропическая рыбка — узкорылая, узкоспинная, неутомимая: ныр-ныр, ныр-ныр, снова и снова тычется рыльцем в холст и вшивает в него тишину.

В последние часы урагана они вынесли на палубу зашитый в белый саван штиль и бросили его в волны, на мгновения разорвав их бег. Да, меньше половины мгновения — и не стало Кейт.

Не стало и его жизни.

— Кейт, Кейт! О Кейт!

Как он мог оставить ее здесь — просто обронить в морские потоки между Японией и Золотыми Воротами? В ту ночь внутри капитана лютвала буря страшнее шторма и его собственные рыдания были громче ураганного воя. Позабыв о смертельной опасности, он прилип к рулевому колесу — и все кружил, кружил вокруг того места, где холщовый мешок причинил морю ничтожную ранку, которая затянулась с невероятной скоростью. И вот тогда-то он познал покой — тот самый покой, который остался с ним на всю дальнейшую жизнь. С тех пор он ни разу ни на кого не повысил голос и ни разу ни на кого не сжались у него кулаки. Именно так, спокойным, невыразительным голосом и не потрясая кулаками, капитан наконец-то отдал приказ идти прочь от того рокового места в океане, даже не оцарапав там, где должна была зиять рана. Ровным голосом командовал он в море во время кругосветных плаваний и в портах при погрузке и разгрузке товаров. Потом с тем же спокойствием в один прекрасный день сошел с корабля и навеки повернулся к морю спиной. Бросив родной корабль томиться в гавани, зажатой зелеными холмами, капитан где пенком, где на колесах все удалялся и удалялся от моря, пока не оказался в двенадцати сотнях миль от него. Там он, словно во сне, купил участок земли. Слово во сне, построил на нем дом — вместе с Хэнксом. Что он купил и что строит — этим он не интересовался очень долго. Одно вертелось в голове: счастье было так быстро! Против Кейт он был стариком. Однако он лишился возлюбленной слишком молодым... Впрочем, уж теперь-то он был слишком стар, чтобы надеяться на новое счастье.

Словом, оказался он в месте, где до восточного побережья тысяча миль, до западного — и того больше, и проклял свою жизнь и такое знакомое ему море, ибо помнил не то, что оно ему дало, а то, что оно так стремительно отняло.

И был день, когда он вышел в поле, твердо ступая по твердому, и бросил в землю семена, и стал готовиться к первому урожаю, и стал называть себя фермером.

Но однажды ночью в свое первое фермерское лето, забывшись так далеко от ненавистного моря, как только человек мо-

жет, он проснулся среди ночи от знакомого шума — и не поверил своим ушам. Он весь затрясся под одеялом и зашептал: «Нет, нет, этого быть не может... Я схожу с ума!.. Но... но ты только послушай!»

Он распахнул дверь своего фермерского дома и вышел на веранду — поглядеть, что к чему. Лишь теперь его как обухом ударило: так вот что я, стало быть, сделал — без собственного ведома.

Вцепившись в поручень веранды и смиривая слезы, он молча озираал окрестные поля.

На залитых лунным светом пологих холмах колыхалась пшеница — плескалась пшеница, взблескивая отраженным светом. Вал за валом, как волны в море. Его дом, ставший вдруг кораблем, находился прямехонько посреди великого и безграничного тихого океана колосьев.

Остаток ночи он провел вне дома — перебегая с места на место, все еще опарашенный своим открытием: море в самом центре континента!

Следующие годы были посвящены переделке дома. Пристроечка здесь, пристроечка там, досочка здесь, планочка там — глядишь, и вышло со временем подобие корабля. И внешне похоже, и по существу, и с тем же чувством надежности в случае лютых ветров и крутых волн.

— Слышь, Хэнкс, как давно мы не видели моря?

— Двадцать лет, капитан.

— Врешь! Мы его видели не далее как сегодня утром.

Капитан вернулся в дом. Сердце тяжело колотилось. Барометр на стене словно тучей заволокло, а по краю век будто молнии змеились.

— Не надо кофе, Хэнкс. Просто глоток чистой воды.

Хэнкс вышел за водой. Когда он вернулся, старик сказал:

— Обещай мне кое-что. Похорони меня там же, где я похоронил ее.

— Но, капитан, она же... — Тут Хэнкс осекся. Потом энергично кивнул: — Стало быть, где она. Хорошо, сэр. Не сомневайтесь, сэр.

— Замечательно. А теперь водицы.

Вода была свежая, ключевая, родом с островов под твердью земной. И с привкусом вечного сна.

— Чашка воды... А ты знаешь, Хэнкс, она была права. Никогда больше не ступать на берег — никогда-никогда. В этом что-то есть. Как права она была! И всего-то я ей дал — чашку воды с супи. Пригоршней воды коснулась супа ее губ, и в этой пригоршне нечистой воды... О, если бы, если бы...

Порыжелая от времени рука всколыхнула воду в чашке. Из ниоткуда вдруг налетел ураган, вздыбил волнами уютный чашечный штиль. Смертоносная буря разыгралась в крохотном сосуде.

Капитан поднял чашку к губам и быстрыми глотками испил ураган до дна.

— Хэнкс! — вскрикнул он.

Нет-нет, это не он вскрикнул, это ураган прощально взревел, уносясь и унося его с собой.

Пустая чашка покатилась по полу.

Стоял довольно ясный день. Воздух был приятно свеж, а ветер приятно кренок. Полночи Хэнкс копал могилу и половину утра закапывал ее. Теперь работа была закончена. Городской священник пособил ему немного, а теперь стоял в стороне и наблюдал, как Хэнкс укладывает поверх зарытой вровень с землей могилы куски прежде срезанного верхнего слоя почвы — с золотыми колосьями зрелой пшеницы ростом с десятилетнего мальчишку. Эти куски, отложенные при рытье, Хэнкс аккуратно пригонял один к одному, как части головоломки.

Наконец он поставил последний и разогнулся. Теперь поле сомкнулось над могилой и казалось нетронутым.

— Хотя бы крест или еще какой знак! — возмутился священник.

— Нет, сэр. Тут никакого знака быть не должно. И не будет.

Священник снова запротестовал, но Хэнкс решительно взял его под руку и повел на вершину взгорка. Там он обернулся и жестом пригласил посмотреть вниз.

Постояли молча. Довольно долго. Затем священник понимающе кивнул и с умиротворенной улыбкой сказал:

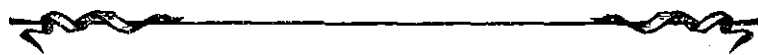
— Вижу-вижу. И понимаю.

Под ними колыбался океан пшеницы — волны бежали одна за другой, все на восток да на восток — ни тебе пролысинки, ни тебе выемки, чтобы указать на место, где капитан погрузился в вечный покой.

— Выходит, это погребение по морскому обычаю, — сказал священник.

— По самому что ни на есть морскому, — отозвался Хэнкс. — Я обещал ему. И слово сдержал.

Тут они разом повернулись и зашагали холмистым берегом — и ни словом не перемолвились, пока не дошли до дома, скрипящего на ветру.



Коса



И вдруг дорога кончилась. Самая обычная дорога, она сбегала себе в долину, как ей положено, — между голых каменистых склонов и зеленых дубов, а затем вдоль бескрайнего пшеничного поля, одиноко раскинувшегося под солнцем. Она поднималась к маленькому белому дому, который стоял на краю поля, и тут просто-напросто исчезала, как будто сделала свое дело и теперь в ней не было больше надобности.

Все это, впрочем, было не так уж и важно, потому что как раз здесь иссякли последние капли бензина. Дрю Эриксон нажал на тормоз, остановил ветхий автомобиль и остался сидеть в нем, молчаливо разглядывая свои большие грубые руки — руки фермера.

Не меняя положения, Молли заговорила из своего уголка, где прикорнула у него под боком:

— Мы, верно, не туда свернули на распутье.

Дрю кивнул.

Губы Молли были такими же бесцветными, как и лицо. Но на влажной от пота коже они выделялись сухой полоской. Голос у нее был ровный, невыразительный.

— Дрю, — сказала она, — Дрю, что же нам теперь делать?

Дрю разглядывал свои руки. Руки фермера, из которых сухой, вечно голодный ветер, что никогда не может насытиться доброй, плодородной землей, выдул ферму.

Дети, спавшие сзади, проснулись и выкарабкались из пыльного беспорядка узаов, перин, одеял и подушек. Их головы появились над спинкой сиденья.

— Почему мы остановились, пап? Мы сейчас будем есть, да? Пап, мы ужас как хотим есть. Нам можно сейчас поесть, папа, можно, а?

Дрю закрыл глаза. Ему было противно глядеть на свои руки.

Пальцы Молли лежали на его запястье. Очень легко, очень мягко.

— Дрю, может, в этом доме для нас найдут что-нибудь поесть?

У него побелели губы.

— Милостыню, значит, просить! — отрезал он. — До сих пор никто из нас никогда не побирался. И не будет.

Молли сжала ему руку. Он повернулся и поглядел ей в глаза. Он увидел, как смотрят на него Сюзи и маленький Дрю. У него медленно обмякли мускулы, лицо опало, сделалось пустым и каким-то бесформенным — как вещь, которую колоциматили слишком крепко и слишком долго. Он вышел из машины и неуверенно, словно был нездоров или плохо видел, пошел по дорожке к дому.

Дверь стояла незапертой. Дрю постучал три раза. Внутри было тихо, и белая оконная занавеска подрагивала в тяжелом раскаленном воздухе.

Он понял это еще на пороге — понял, что в доме смерть. То была тишина смерти.

Он прошел через небольшую прихожую и маленькую чистую гостиную. Он ни о чем не думал: просто не мог. Он искал кухню чутьем, как животное.

И тогда, заглянув в открытую дверь, он увидел тело.

Старик лежал на чистой белой постели. Он умер не так давно: его лицо еще не утратило светлой умиротворенности последнего покоя. Он, наверное, знал, что умирает, потому что на нем

был воскресный костюм — старая черная пара, опрятная и выглаженная, и чистая белая рубашка с черным галстуком.

У кровати, прислоненная к стене, стояла коса. В руках старика был зажат свежий пшеничный колос. Спелый колос, золотой и тяжелый.

Дрю на цыпочках вошел в спальню. Его пробрал холодок. Он стянул пропыленную мятую пилапу и остановился возле кровати, глядя на старика.

На подушке в изголовье лежала бумага. Должно быть, для того, чтобы кто-то ее прочел. Скорее всего просьба похоронить или вызвать родственников. Наморщив лоб, Дрю принялся читать, пелея бледными пересохшими губами.

«Тому, кто стоит у моего смертного ложа.

Будучи в здравом рассудке и твердой памяти и не имея, согласно условию, никого в целом мире, я, Джон Бур, передаю и завещаю эту ферму со всем к ней относящимся первому пришедшему сюда человеку независимо от его имени и происхождения. Ферма и пшеничное поле — его; а также коса и обязанности, ею определяемые. Пусть он берет все это свободно и с чистой совестью — и помнит, что я, Джон Бур, только передаю, но не определяю. К чему приложил руку и печать 3-го дня апреля месяца 1938 года. Подписано: Джон Бур. *Kurtie eleison!*»*

Дрю прошел назад через весь дом и остановился в дверях.

— Молли, — позвал он, — иди-ка сюда! А вы, дети, сидите в машине.

Молли вошла. Он повел ее в спальню. Она прочитала завещание, посмотрела на косу, на пшеничное поле, волнующееся за окном под горячим ветром. Ее бледное лицо посуровело, она прикусила губу и прижалась к мужу.

— Все это слишком хорошо, чтобы можно было поверить. Наверняка здесь что-то не так.

Дрю сказал:

— Нам повезло, только и всего. У нас будет работа, будет еда, будет крыша над головой — спастись от непогоды.

* Господи, помилуй! (греч.)

Он дотронулся до косы. Она мерцала, как полумесяц. На лезвии были выбиты слова: «Мой хозяин — хозяин мира». Тогда они ему еще ничего не говорили.

— Дрю, зачем, — спросила Молли, не отводя глаз от сведенных в кулак пальцев старика, — зачем он так крепко вцепился в этот колос?

Но тут дети подняли на крыльце возню, нарушив гнетущее молчание. У Молли подступил комок к горлу.

Они остались жить в доме. Они похоронили старика на холме и прочитали над ним молитву, а затем спустились вниз, и прибрались в комнатах, и разгрузили машину, и поели, потому что на кухне было вдоволь еды; и первые три дня они ничего не делали, только приводили в порядок дом, и смотрели на поле, и спали в удобных, мягких постелях. Они удивленно глядели друг на друга и не могли понять, что же это такое происходит: едят они теперь каждый день, а для Дрю нашлись даже сигары, так что каждый день он выкуривает по одной перед сном.

За домом стоял небольшой коровник, а в нем — бык и три коровы; еще они обнаружили родник под большими деревьями, что давали прохладу. Над родником была сооружена кладовка, где хранились запасы говядины, бекона, свинины и баранины. Семья человек в двадцать могла бы кормиться этим год, два, а то и все три. Там стояли еще маслобойка, ларь с сырами и большие металлические бидоны для молока.

На четвертый день Дрю Эриксон проснулся рано утром и посмотрел на косу. Он знал, что ему пора приниматься за дело, потому что пшеница в бескрайнем поле давно поспела. Он видел это собственными глазами и не собирался отыскивать от работы. Хватит, он и так пробездельничал целых три дня. Как только повеяло свежим рассветным холодком, он поднялся, взял косу и, закинув ее на плечо, отправился в поле. Он поудобнее взялся за рукоять, опустил косу, размахнулся...

Поле было очень большое. Слишком большое, чтобы с ним мог управиться один человек. И однако же до Дрю с ним управлялся один человек.

После первого дня работы он вернулся домой, спокойно неся косу на плече, но лицо у него было озадаченное. Ему никогда не приходилось иметь дело с таким странным пшеничным полем. Пшеница поспевала на нем отдельными участками, каждый сам по себе. Не положено пшенице так вести себя. Молли он об этом не сказал. Он не сказал ей про поле и всего остального. Того, например, что пшеница начинает гнить уже через пару часов после того, как ее сожнешь. Такого пшенице тоже делать не положено. Впрочем, все это мало его беспокоило: еды и без того было вдоволь.

Наутро пшеница, которую накануне он оставил гнить на земле, лопнула, пустила крохотные корешки и дала маленькие зеленые побеги — она родилась заново.

Дрю Эриксон поскреб подбородок. Ему очень хотелось знать, почему, зачем и как все это выходит и какой ему от этого прок, если он не может ее продать. Днем он раза два поднимался на холм к могиле в тайной надежде узнать там что-нибудь про поле. Он глядел сверху и видел, как много земли ему принадлежит. Поле простиралось на три мили по направлению к горам и было около двух миль шириной. На одних участках пшеница пускала ростки, на других стояла золотой, на третьих была еще зеленая, а на четвертых лежала, только что скатая его рукой. Но старик так ничего ему и не сказал, ведь он лежал теперь глубоко, под грудой камней. Могила была погружена в свет, ветер и тишину. И Дрю Эриксон отправился назад в поле, чтобы, снудаемый любопытством, снова взяться за косу. Работа доставляла ему удовольствие: она казалась нужной. Он бы не ответил, почему именно, но так ему казалось. Очень, очень нужной.

Он просто не мог позволить пшенице остаться неубранной. Каждый день поспевал новый участок, и, прикинув вслух, ни к кому, собственно, не обращаясь, он произнес:

— Если десять лет кряду жать пшеницу, как только она поспевает, то и тогда мне, пожалуй, не выйдет дважды работать на одном и том же участке. Такое большое поле, будь оно неладно... Он покачал головой. — И вызревает пшеница как-то хитро. Ровнехонько столько, чтобы я за день сумел управиться со спелым участком и оставить одну зелень. А наутро как пить дать уже новый участок готов...

Жать пшеницу, когда она тут же превращалась в гнилье, было до обидного бестактовым делом. В конце недели он решил несколько дней не ходить в поле.

Он пролежал в постели дольше обычного, прислушиваясь к тишине в доме, и эта тишина вовсе не походила на тишину смерти. Такая тишина могла быть только там, где живут хорошо и счастливо.

Он встал, оделся и не торопясь позавтракал. Он не собирался идти работать. Он вышел, чтобы подоить коров, выкурил на крыльце сигарку, послонялся по двору, а потом вернулся в дом и спросил у Молли, зачем это он выходил.

— Подоить коров,— сказала она.

— Ну конечно,— сказал он и снова пошел во двор. Коровы уже ждали, когда их подоят, и он подоил их, а бидоны поставил в кладовку, что над родником, но в мыслях у него было совсем другое. Пшеница. Коса.

Все утро он просидел на заднем крыльце, скручивая сигарки. Он сделал игрушечную лодку для малыша и еще одну для Сюзи, потом сбил немного масла и слил пахтанье, но голова у него разламывалась от одной сверлящей мысли. Когда пришло время поддничать, ему не хотелось есть. Он все смотрел на пшеницу, как она склоняется, волнуется и ходит рыбью под ветром. Руки непроизвольно сгибались, пальцы сжимали воображаемую рукоятку и ныли, когда он вновь сидел на крыльце, положив ладони на колени. Подушечки пальцев зудели и горели. Он встал, вытер ладони о штаны, сел, попытался свернуть еще одну сигарку, но ничего не вышло, и он, чертыхнувшись, отбросил табак и бумагу. Он чувствовал себя так, словно у него отрезали третью руку или укоротили две настоящих.

Он слышал, как в поле колосья шепчутся с ветром.

До часу дня он слонялся во дворе и по дому, прикидывал, не выкопать ли оросительную канаву, но на самом деле все время думал о пшенице — какая она спелая и как она ждет, чтобы ее убрали.

— Да пропади она пропадом!

Он решительно направился в спальню и снял косу со стены, где она висела на деревянных колышках. Постоял, сжимая ее в

руках. Теперь ему стало спокойно. Ладони перестали зудеть, голова уже не болела. Ему возвратили третью руку, и он снова был самим собой.

Это превратилось в инстинкт. Такой же загадочный, как молния, что бьет, но боли не причиняет. Он должен жать каждый день. Пшеницу необходимо жать. Почему? Необходимо — и все тут. Он засмеялся, чувствуя рукоятку косы в своих могучих руках. Затем, насвистывая, отправился в поле, где его ждала созревшая пшеница, и сделал то, что требовалось. Он подумал, что немного свихнулся. Черт возьми, ведь в этом пшеничном поле нет ничего необычного, правда? Почти ничего.

Дни бежали с размеренностью послушных лошадей.

Работа стала для Дрю Эриксона сухой болью, голодом и жизненной необходимостью. Он начал кое о чем догадываться.

Однажды Сюзи и малыш с радостным смехом добрались до косы и принялись с ней играть, пока отец завтракал на кухне. Он услышал их возню, вышел и отобрал косу. Кричать он на них не кричал, однако вид у него при этом был очень встревоженный. После этого он запирал косу всякий раз, как возвращался с поля.

Он выходил косить каждое утро, не пропуская ни дня.

Вверх. Вниз. Вверх, вниз и в сторону. И снова — вверх, вниз и в сторону. Он резал пшеницу. Вверх. Вниз.

Вверх.

Думай о старике и о колосе в его руках.

Вниз.

Думай о бесплодной земле, на которой растет пшеница.

Вверх.

Думай о том, как она растет, как непонятно чередуются спелые и зеленые участки.

Вниз.

Думай о...

Высокой желтой волной легла под ноги подкошенная пшеница. Небо сделалось черным. Дрю Эриксон выронил косу и согнулся, прижав к животу руки. В глазах стояла тьма, все вокруг бесцельно завертелось.

— Я кого-то убил! — выдохнул он, давясь и хватаясь за грудь. Он упал на колени рядом с лезвием. — Сколько же это я людей порешил...

Небо кружилось, как голубая карусель на сельской ярмарке в Канзасе. Но без музыки. Только в ушах стоял звон.

Молли сидела за синим кухонным столом и чистила картошку, когда он вошел, спотыкаясь, волоча за собой косу.

— Молли!

Он плохо видел ее: в глазах стояли слезы.

Молли сложила руки и тихо ждала, когда он соберется с силами рассказать ей, что случилось.

— Собирай вещи. — приказал Дрю, глядя в пол.

— Зачем?

— Мы уезжаем. — сказал он тусклым голосом.

— Уезжаем? — спросила она.

— Тот старик. Знаешь, что он здесь делал? Это все пшеница, Молли, и коса. Каждый раз, когда загоняешь косу в пшеницу, умирает тысяча людей. Ты подрезаешь их и...

Молли поднялась, положила нож и отодвинула картошку в сторону. В голосе ее звучало понимание.

— Мы долго ездили и мало ели, пока не попали сюда в прошлом месяце, а ты каждый день работал и устал...

— Я слышу голоса, грустные голоса там, в поле. В пшенице, — сказал он. — Они шепчут, чтобы я перестал. Просят не убивать их.

— Дрю!

Он не слышал ее.

— Пшеница растет по-дурному, по-дикому, словно она свихнулась. Я тебе не говорил. Но с ней что-то недоброе.

Она внимательно на него посмотрела. Его глаза глядели без мысли, как синие стекляшки.

— Думаешь, я тронулся? — спросил он. — Погоди, это еще не все. О господи, Молли, помоги мне: я только что убил свою мать!

— Перестань! — твердо сказала она.

— Я срезал колос и убил ее. Я почувствовал, что она умирает. Вот как я понял...

— Дрю! — Ее голос, злой и испуганный, хлестнул его по лицу. — Замолчи!

— Ох, Молли, — пробормотал он.

Он разжал пальцы, и коса со звоном упала на пол. Она подняла ее и грубо сунула в угол.

— Десять лет я живу с тобой, — сказала она. — На обед у нас частенько бывали одна только пыль да молитвы. И вот привалило такое счастье, а ты не можешь с ним справиться!

Она принесла из гостиной Библию и начала листать книгу. Страницы шелестели, как колосья под тихим ветром.

— Садись и слушай, — сказала она.

Снаружи донесся смех — дети играли у дома в тени огромного дуба.

Она читала, время от времени поднимая глаза, чтобы следить за выражением его лица.

После этого она каждый день читала ему из Библии. А в среду через неделю Дрю отправился в город на почту — узнать, нет ли для него чего в окошке «До востребования». Его ждало письмо.

Домой он вернулся постаревшим лет на двести.

Он протянул Молли письмо и бесстрастным срывающимся голосом рассказал его содержание:

— Мать умерла... в час дня во вторник... от сердца...

Он ничего не добавил, сказал только:

— Отведи детей в машину и собери еды на дорогу. Мы уезжаем в Калифорнию.

— Дрю... — сказала Молли, не выпуская письма из рук.

— Ты сама знаешь, — сказал он, — что на этой земле пшеница должна родиться худо. А посмотри, какой она вырастает. Я тебе еще не все рассказал. Она поспевает участками, каждый день понемногу. Нехорошо это. Когда я срезаю ее, она гниет! А уже на другое утро дает ростки, снова начинает расти. На той неделе, когда я во вторник жал хлеб, я все равно что себя по телу полоснул. Услышал — кто-то вскрикнул. Совсем как... А сегодня вот письмо.

— Мы остаемся здесь, — сказала она.

— Молли!

— Мы остаемся здесь, где у нас есть верный кусок хлеба и кров, где мы наверняка проживем по-человечески, и проживем долго. Я не собираюсь больше морить детей голодом, слышишь! Ни за что!

За окнами голубело небо. Солнце заглянуло в комнату. Спокойное лицо Молли одной стороной было в тени, но освещенный глаз блеснул яркой синевой. Четыре или пять капель успели медленно набежать на кончике кухонного крана, вырасти, переливаясь на солнце, и оборваться, прежде чем Дрю вздохнул. Вздохнул глубоко, безнадежно, устало. Он кивнул, не поднимая глаз.

— Хорошо,— сказал он.— Мы остаемся.

Он переплывисто поднял косу. На металле лезвия неожиданно ярко вспыхнули слова: «Мой хозяин — хозяин мира!»

— Мы остаемся...

Утром он пошел проведать старика. Из самой середины могильного холмика тянулся одинокий молодой росток пшеницы — тот самый колос, что старик держал в руках несколько недель назад, только народившийся заново.

Он поговорил со стариком, но ответа не получил.

— Ты всю жизнь проработал в поле, потому что так было надо, и однажды натолкнулся на колос собственной жизни. Ты его срезал. Пошел домой, надел воскресный костюм, сердце остановилось, и ты умер. Так оно и было, правда? И ты передал землю мне, а когда я умру, я должен буду передать ее кому-то еще.

В голосе Дрю зазвучал страх.

— Сколько времени все это тянется? И никто в целом свете не знает про поле и для чего оно — только тот, у кого в руках коса?..

Он вдруг ощутил себя глубоким старцем. Долина показалась ему древней, как мумия, потаенной, высохшей, призрачной и могущественной. Когда индейцы плясали в прериях, оно уже было здесь, это поле. То же небо, тот же ветер, та же пшеница. А до индейцев? Какой-нибудь доисторический человек, жесто-

кий и волосатый, крадучись выходил резать пшеницу грубой деревянной косой...

Дрю вернулся к работе. Вверх, вниз. Вверх, вниз.

Помешанный на мысли, что владеет этой косой. Он сам, лично! Понимание нахлынуло на него сумасшедшей, всесокрушающей волной — сила и ужас одновременно.

Вверх! Мой хозяин! Вниз! Хозяин мира!

Пришлось ему примириться со своей работой, подойти к ней по-философски. Он всего лишь отработывал пищу и кров для жены и детей. После всех этих лет они имеют право на человеческое жилье и еду.

Вверх, вниз. Каждый колос — жизнь, которую он аккуратно подрезает под корень. Если все рассчитать точно — он взглянул на пшеницу, — что ж, он, Молли и дети смогут жить вечно.

Стоит найти, где растут колосья Молли, Сюзи и маленького Дрю, и он никогда их не срежет.

А затем он почувствовал, словно кто-то ему нашептал: вот они.

Прямо перед ним.

Еще взмах — и он бы напрочь скошил их.

Молли. Дрю. Сюзи. И никакой ошибки. Задрожав, он опустился на колени и принялся разглядывать колоски. Они были теплыми на ощупь.

Он даже застонал от облегчения. А если б, не догадавшись, он их срезал? Он перевел дыхание, встал, поднял косу, отошел от поля на безопасное расстояние и долго стоял, не сводя с него глаз.

Молли страшно удивилась, когда, вернувшись домой раньше времени, он без всякого повода поцеловал ее в щечку.

За обедом Молли спросила:

— Ты сегодня кончил раньше? А пшеница — что она, все так же гниет, как только ее срежешь?

Он кивнул и положил себе еще мяса.

Она сказала:

— Ты бы написал этим, которые занимаются сельским хозяйством, пусть приедут посмотреть на нее.

— Нет,— сказал он.

— Я же только предлагаю,— сказала она.

Его зрачки расширились.

— Мне придется остаться здесь до самой смерти. Никто, кроме меня, не сумеет сладить с этой пшеницей. Откуда им знать, где надо жать, а где не надо. Они, чего доброго, еще начнут жать не на тех участках.

— Какие это «не те участки»?

— А никакие,— ответил он, медленно прожевывая кусок.— Неважно — какие.

Он в сердцах стукнул вилкой о стол.

— Кто знает, что им может прийти в голову! Этим молодчикам из правительственного отдела! А ну как им придет в голову перепахать все поле!

Молли кивнула.

— Как раз то, что нужно,— сказала она— А потом снова засеять его хорошим зерном.

Он даже не доел обеда.

— Никакому правительству я писать не собираюсь и никому не позволю работать в поле. Как я сказал, так и будет! — заявил он и выскочил из комнаты, с треском хлопнув дверью.

Он обогнул то место, где жизни его жены и детей росли под солнцем, и пошел косить на дальний конец поля, где, как он знал, это было для них безопасно.

Но работа ему разонравилась. Через час он узнал, что принес смерть трем своим старым добрым друзьям в Миссури. Он прочел их имена на срезанных колосьях и уже не мог продолжать работу.

Он запер косу в кладовку, а ключ спрятал подальше: хватит с него, он покончил с жатвой раз и навсегда.

Вечером он сидел на парадном крыльце, курил трубку и рассказывал детям сказки, чтобы послушать, как они смеются. Но они почти не смеялись. Они выглядели усталыми, чуждыми, какими-то далекими — словно и не его.

Молли жаловалась на голову, без дела бродила по дому, рано легла спать и крепко уснула. Это тоже было странно. Обычно

она любила посидеть допоздна — и язык у нее работал без устали.

В лунном свете поле было как море, подернутое рябью.

Оно нуждалось в жатве. Отдельные участки требовалось убрать немедленно. Дрю Эриксон сидел, тихо сглатывая набегавшую слюну, и старался на них не глядеть.

Что станет с миром, если он никогда больше не выйдет в поле? Что станет с теми, кто уже созрел для смерти, кто ждет пришествия косы?

Поживем — увидим.

Молли тихо дышала, когда он задул лампу и улегся в постель. Уснуть он не мог. Он слышал ветер в пшенице, его руки тосковали по работе.

В полночь он очнулся и увидел, что идет по полю с косой в руках. Идет в полусне, как лунатик, идет и боится. Он не помнил, как открыл кладовку и взял косу. Но вот он здесь, идет при луне, раздвигая пшеницу.

Среди колосьев встречалось много старых, уставших, жаждающих сна. Долгого, безмятежного, безлунного сна.

Коса завладела им, приросла к ладоням, толкала вперед.

С большим трудом ему удалось от нее избавиться. Он бросил ее на землю, отбежал подальше в пшеницу и упал на колени.

— Не хочу больше убивать,— молил он.— Если я буду косить, мне придется убить Молли и детей. Не требуй от меня этого!

Одни только звезды сияли на небе.

За спиной у него послышался глухой, неясный звук.

Что-то похожее на живое существо с красными руками взметнулось над холмом к небу, лизнув звезды. В лицо Дрю пахнул ветер. Он принес с собой искры, густой чадный запах пожара.

Дом!

Всклипывая, Дрю медленно, безнадежно поднялся на ноги, не сводя глаз с большого пожара.

Белый домик и деревья вокруг тонули в сплошном яростном вихре ревающего огня. Волны раскаленного воздуха пере-

катывались через холм, и, сбегая с холма, Дрю плаыл в них, барахтался, уходил под них с головой.

Когда он добежал, в доме не осталось ни одной черепицы, ни единой доски или половицы, на которых не плясало бы пламя. От огня шли звон, треск и шуршание.

Изнутри не доносилось пронзительных криков, никто не бежал и не кричал снаружи.

— Молли! Сюзи! Дрю! — завопил он.

Ответа не было. Он подбежал так близко, что его брови закурчавились, а кожа, казалось, начинает сползать от жара, как горящая бумага, превращаясь в плотные хрустящие завитки.

— Молли! Сюзи!

Тем временем огонь радостно пожирал свою пищу. Дрю раз десять оббежал вокруг дома, пытаясь проникнуть внутрь. Потом сел, подставив тело опаляющему жару, и прождал до тех пор, пока с грохотом не рухнули стены, взметнув тучи искр, пока не обвалились последние балки, погребая полы под слоем оплавленной штукатурки и обугленной драпки, пока само пламя не задохнулось наконец в густом дыму. Медленно начиналось утро нового дня, и ничего не осталось, кроме подернутых пеплом углей да едко тлеющих головешек.

Не замечая жара, который шел от развалин, Дрю ступил на пепелище. Было еще слишком темно, и он не мог толком разглядеть, что к чему. У горла на потной коже играли красные блики. Он стоял как чужак, попавший в повую необычную страну. Здесь — кухня. Обутлившись столы, стулья, железная печка, шкафы. Здесь — прихожая. Здесь — гостиная, а вот здесь была их спальня, где...

Где все еще была жива Молли!

Она спала среди рухнувших балок и докрасна раскаленных матрасных пружин и железных прутьев.

Она спала как ни в чем не бывало. Маленькие белые руки, вытянутые вдоль тела, усыпаны искрами. Лицо дышало безмятежностью сна, хотя на одной из щек тлела планка.

Дрю застыл, не веря собственным глазам. Посреди дымящихся остатков спальни она лежала на мерцающей постели из углей — на коже ни царапинки, грудь опускается и подымается, вбирая воздух.

— Молли!

Жива и спит после пожара, после того, как обвалились стены, как на нее обрушился потолок и все кругом было объято пламенем.

У него на ботинках дымилась кожа, пока он пробирался сквозь курящиеся развалы. Он мог бы сжечь подошвы и не заметить...

— Молли...

Он склонился над ней. Она не шевельнулась и не услышала. Не заговорила в ответ. Она не умирала, но и не жила. Она просто лежала там, где лежала, и огонь окружал ее, но не тронул, не причинил ей никакого вреда. Полотняная ночная рубашка была цела, хотя и припорошена пеплом. Каштановые волосы, как по подушке, разметались по куче раскаленных углей.

Он коснулся ее щеки — она была прохладной. Прохладной в этом адовом пекле! Губы, тронутые улыбкой, подрагивали от едва заметного дыхания.

И дети были тут же. Под дымной пеленой он различил в золе две маленькие фигурки, разбросавшиеся во сне.

Он перенес всех троих на край поля.

— Молли, Молли, проснись! Дети, дети, проснитесь! Они дышали и не двигались. Они не просыпались.

— Дети, проснитесь! Ваша мама...

Умерла? Нет, не умерла. Но...

Он тряс детей, словно те были во всем виноваты. Они не обрнули внимания — им снились сны. Он опустил их на землю и застыл над ними, а лицо его было изрезано морщинами.

Он знал, почему они спали, когда бушевал пожар, и все еще спят. Он знал, почему Молли так и будет лежать перед ним и никогда больше не захочет рассмеяться.

Могущество косы и пшеницы.

Их жизнь, которой еще вчера, 30 мая 1938 года, пришел срок, была продлена по той простой причине, что он отказался косить пшеницу. Им полагалось погибнуть во время пожара. Именно так и должно было быть. Но он не работал в поле, и поэтому ничто не могло причинить им вреда. Дом сгорел и рухнул, а они продолжали существовать, остановленные на полпу-

ти, не мертвые и не живые. Ожидая своего часа. И во всем мире тысячи таких же, как они, — жертвы несчастных случаев, пожаров, болезней, самоубийств — спали в ожидании, так же как спали Молли и дети. Бессильные жить, бессильные умереть. Только потому, что кто-то испугался жать спелую пшеницу. Только потому, что один-единственный человек решил не работать косой, никогда больше не брать этой косы в руки.

Он посмотрел на детей. Работа должна исполняться все время, изо дня в день, непрерывно и безостановочно: он должен косить всегда, косить вечно, вечно, вечно.

Что ж, подумаю он. Что ж. Пойду косить.

Он не сказал им ни слова на прощанье. Он повернулся (в нем медленно закипала злоба), взял косу и пошел в поле — сначала быстрым шагом, потом побежал, потом понесся длинными упругими скачками. Колосья били его по ногам, а он, одержимый, неистовый, мучился жаждой работы. Он с криком продирался сквозь густую пшеницу и вдруг остановился.

— Молли! — выкрикнул он и взмахнул косой.

— Сюзи! — выкрикнул он. — Дрю! — И взмахнул еще раз.

Раздался чей-то вопль. Он даже не обернулся взглянуть на пожарнице.

А потом, захлебываясь от рыданий, он снова и снова взмахивал косой и резал налево и направо, налево и направо, налево и направо. И еще, и еще, и еще. Выкашивая огромные клинья в зеленой пшенице и в спелой пшенице, не выбирая и не заботясь, ругаясь, еще и еще, проклиная, содрогаясь от хохота, и лезвие взлетало, сияя на солнце, и шло вниз с поющим свистом!

Вниз!

Взрывы бомб потрясли Москву, Лондон, Токио.

Коса взлетала и опускалась как безумная.

И задымили печи Бельзена и Бухенвальда.

Коса пела, вся в малиновой росе.

И вырастали грибы, извергая спящие солнца на пески Невады, Хиросиму, Бикини, вырастали грибы все выше и выше.

Пшеница плакала, осыпаясь на землю зеленым дождем.

Корея, Индокитай, Египет. Заволновалась Индия, дрогнула Азия, глубокой ночью проснулась Африка...

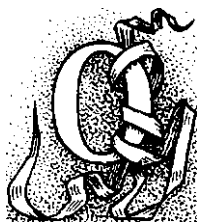
А лезвие продолжало взлетать, крушить, резать с бешеным человеком, у которого отняли — и отняли столько, что ему уже нет дела до того, как он обходится с человечеством.

Всего в нескольких милях от главной магистрали, если спуститься по каменистой дороге, которая никуда не ведет, всего в нескольких милях от шоссе, забитого машинами, несущимися в Калифорнию.

Иногда — раз в несколько лет — какой-нибудь ветхий автомобиль свернет с шоссе; остановится, запаренный, в тупике у обугленных остатков маленького белого дома, и водитель захочет спросить дорогу у фермера, который бешено, непрерывно, как одержимый, днем и ночью работает в бескрайнем пшеничном поле.

Но водитель не дожидается ни помощи, ни ответа. После всех этих долгих лет фермер в поле все еще слишком занят, занят тем, что подрезает и кропит зеленую пшеницу вместо спелой.

Дрю Эриксон все косит, и сон так ни разу и не смежил ему веки, и в глазах его пляшет белый огонь безумия, а он все косит и косит.



Стая воронов

Он вышел из автобуса на Вашингтон-сквер и прошел полквартила в обратном направлении, довольный тем, что все-таки решился и приехал в Нью-Йорк. Ныче из всех знакомых в городе ему хотелось навестить лишь чету Пирсонов, Пола и Элен. Однако он оставил их «на десерт» — сознавая, что они понадобятся ему как успокоительное после нескольких дней, насыщенных деловыми встречами с уймой чудаков, невротиков и неудачников. Пирсоны чинно пожмут ему руку, окружают дружеской атмосферой и найдут верные слова, дабы разгладить морщины на его лбу. Их вечерняя встреча будет шумной, долгой и замечательно счастливой, после чего он направится к себе в Огайо и на протяжении первых дней будет вспоминать Нью-Йорк с добрым чувством — исключительно благодаря этой забавной семейной паре, которая предоставляет ему прохладный оазис посреди знойной пустыни паники и неуверенности.

Элен Пирсон поджидала гостя возле лифта на четвертом этаже многоквартирного дома.

— Здравствуйте, Уильямс, здравствуйте! — звонко приветствовала она его. — Как приятно видеть вас снова! Заходите! Пол должен быть с минуты на минуту — заработался у себя в офисе. Сегодня у нас на ужин цыпленок качьяторе. Надеюсь, Уильямс, вы любите цыпленка, приготовленного на итальянский ма-

нер, «по-охотничьи»? Очень надеюсь, что любите. Как поживают супруга и детишки? Присаживайтесь, снимайте пальто, снимайте очки, вы без очков еще симпатичнее. Душиновато сегодня, да? Желаете выпить?

Пока журчала эта речь и Элен вела его в просторную гостиную с высоким потолком, подгоняя дружескими тычками в спину и обильно жестикулируя, он уловил слабый запах одеколона из ее рта. Боже правый, да она никак пьяна и полоскала рот одеколоном, чтобы скрыть это!

Уильямс пристально уставился на хозяйку дома.

— Вижу, тут мартини, — сказал он. — Не откажусь от стаканчика. Но не больше. Вы же знаете — пьяница я никудашный.

— Знаю-знаю, дорогой. Пол обещал быть дома к шести, а сейчас пять тридцать. Уильямс, мы так польщены тем, что вы пришли, так польщены, что вы решили провести время с нами — после того, как мы не виделись целых три года.

— Как вам не стыдно так говорить!

— Нет, Уильямс, я серьезно! — сказала она.

Язык у нее чуточку заплетался, бросалась в глаза также излишняя выверенность жестов. У него было ощущение, что он ошибся дверью или зашел с визитом к малолюбимой тетушке или едва знакомому человеку. Надо думать, у Элен выдался на редкость тяжелый день — а у кого их не бывает?

— Пожалуй, и я чуть-чуть выпью, — добавила она. — По правде говоря, я недавно уже выпила один стаканчик.

В один стаканчик он поверил. Такой эффект от одной порции означает, что она пьет давно, много и регулярно, — быть может, с тех самых пор, как они виделись в последний раз. Если пить день за днем...

Он уже видел, и не раз, что случалось с его друзьями, у которых появлялась такая привычка: только что были трезвыми, а минуту спустя, после одного-единственного глотка алкоголя, почти мертвецки пьяны — это все то мартини, выпитое за последние триста дней и поселившееся в крови, радостно бросается навстречу новой подружке. Вполне вероятно, что еще десять минут назад Элен была абсолютно трезвой. Теперь же она с трудом держала веки открытыми, а язык путался под ногами каждого слова, которое пыталось выйти из ее рта.

— Нет, Уильямс, я серьезно! — повторила она.

Прежде, помнится, она никогда не называла его просто Уильямс — всегда добавляла «мистер».

— Уильямс, мы крайне польщены тем, что вы дали себе труд посетить Пола и меня. Господи, у вас такие успехи за последние три года, вы сделали такой рывок в своей карьере, у вас прекрасная репутация, и теперь вам больше не нужно писать тексты для утренних телевизионных шоу Пола — для вас покончено с этой чертовой дребеденью.

— Почему же «чертова дребедень»? Вполне добротный материал. Пол — отличный продюсер, и я писал для него неплохие вещи.

— А я говорю, дребедень! Вы же настоящий писатель, теперь вы шишка в литературе, больше не надо сочинять ерунду за чистые гроши! Ну и как оно вам — быть преуспевающим романистом, у всех на устах, и иметь кучу денег в банке? Вот погодите, сейчас придет Пол — он весь прямо изождался вас. — Волны ее медленной речи захлестывали его. — Нет, ну вы просто душка, что навелили нас!

— Я обязан Полу буквально всем, — сказал Уильямс, отвлекаясь от собственных невеселых мыслей. — Я начинал в его шоу в тысяча девятьсот пятьдесят первом, когда мне исполнился двадцать один год. Платили десять долларов за страницу...

— Стало быть, сейчас вам тридцать один. Господи, еще совсем молодой петушок! — сказала Элен. — Уильямс, а сколько мне, по-вашему? Давайте-давайте, попробуйте угадать. Ну, сколько мне?

— О-о, я, право, не знаю, — сказал он и покраснел.

— Нет, давайте угадайте-ка, сколько мне лет?

«Миллион, — подумал он, — вам внезапно исполнился миллион лет. Но Пол-то должен быть в порядке. Вот он скоро придет, и с ним-то уж непременно все в порядке. Любопытно, узнает ли он вас, Элен, когда войдет в квартиру».

— Увы, я не мастак угадывать возраст.

«Ваше тело, — думалось ему дальше, — состоит из нью-йоркских старых булыжников — в вас столько невидимой смолы и асфальта и трещин от непогод! В вашем выдохе — сто процентов окиси углерода. Ваши глаза — истерической неоновой си-

невы, а губы — как багровая неоновая реклама. Ваше лицо — цвиста побелочной извести, какой красят каменные фасады, подпуская по ним здесь и там лишь немного зеленого и голубого. Вены горла вашего, виски ваши и запястья похожи на нью-йоркские крохотные скверики: там больше всякого мрамора и граппита, дорожек и тропок, чем собственно травы и неба, — вот и в вас больше всякого...»

— Валяйте, Уильямс, угадывайте, сколько мне лет?

— Тридцать шесть?

Она почти неприлично взвизгнула, и он решил, что переборщил с дипломатией.

— Тридцать шесть?! — прокричала она, хлопая себя по коленям. — Тридцать шесть! Дорогой мой, вы не можете говорить это серьезно! Вы шутите! Господи! Конечно же нет. Мои тридцать шесть были ровнехонько десять лет назад.

— Мы прежде как-то не заводили разговоров о возрасте, — запротестовал он.

— Ах вы, милый невинный младенец! — сказала Элен. — Прежде это не было важно. Но вы и не представляете, какую важность это может приобрести — поначалу совсем незаметно для вас. Господи, вы так молоды, Уильямс! Вы хотя бы понимаете, до чего вы молоды?!

— Более-менее понимаю, — сказал он, потупившись.

— Дитя, прелестное дитя, — не унималась Элен. — Обязательно скажу Полу, когда он придет. Тридцать шесть — ну вы и дали! Но ведь я и впрямь не выгляжу на сорок — и уж тем более на сорок шесть. Ведь правда, дорогой?

Никогда раньше она не задавала подобных вопросов, подумалось ему. А человек сохраняет вечную молодость лишь до тех пор, пока не начинает задавать окружающим подобных вопросов.

— А Полу исполняется всего сорок. Завтра день рождения.

— Жаль, что я не знал об этом.

— Забудьте. Он терпеть не может подарки. Он скрывает от всех, когда у него день рождения, и обидится, если вы ему что-либо подарите. С прошлого года мы перестали устраивать для него шумные дни рождения. В последний раз он схватил пирог и выпшвырнул в вентиляционную трубу — прямо с горящими свечами.

Элен осеклась, будто поймала себя на том, что сказала лишнее. Некоторое время они сидели в неловком молчании.

— Пол вот-вот придет с работы,— наконец произнесла она.— Еще выпьете? Вы так и не рассказали, каково быть знаменитостью. Вы всегда были такой совестливый. Мы с Полом частенько говорили друг другу: его девиз — качество. Вы не могли бы писать плохо, даже если бы очень постарались. Мы так гордимся вами. Мы с Полом всем говорим, что вы наш друг. Буквально всем и каждому.

— Как странно,— промолвил Уильямс.— Как странно устроено все в мире. Когда мне был двадцать один год, я горюшил всем побыстрее сообщить, что я знаком с вами. Я был так горд этим знакомством. Я так волновался, когда впервые встретился с Полом после того, как он купил мой первый сценарий, и я...

Зазвонил звонок, Элен подхватилаась открыть дверь, оставив Уильямса наедине с его стаканом. Он пережевывал в уме свои последние слова: не прозвучали ли они слишком сплывающе — как будто теперь он уже не горд повстречаться с Полом. Ничего такого он не имел в виду. Ладно, все придет в норму, когда шумно ввалится дружище Пол. С Полом всегда все в норме.

В прихожей раздался шум голосов, и вскоре Элен ввела в гостиную женщину лет этак пятидесяти с хвостиком. По молодой упругости ее походки можно было угадать, что морщины и седина у этой женщины явно преждевременные.

— Надеюсь, вы не против, Уильямс, совсем забыла вас предупредить, надеюсь, вы не против, это миссис Мирс, она живет на нашем этаже. Я сказала ей, что вы будете ужинать у нас, что вы приехали на несколько дней обсудить новую книгу со своим издателем, и ей так захотелось увидеть нас, она прочитала все ваши рассказы, Уильямс, и ей так нравится все, что вы пишете. Миссис Мирс, позвольте вам представить мистера Уильямса.

Женщина кивнула.

— Я и сама когда-то мечтала стать писательницей,— сказала она.— И как раз сейчас работаю над книгой.

Обе женщины сели. Уильямс ощутил улыбку на своем лице, как что-то отдельное от себя — вроде тех восковых клыков, ко-

торые мальчишки надевают на зубы, чтобы выглядеть вампирами. И очень скоро он ощутил, что его улыбка постепенно тает — словно воск фальшивых зубов.

— Вам случалось продавать плоды своей литературной рабобы, миссис Мирс?

— Нет, однако я не отчаиваюсь,— с вежливой улыбкой отклонила гостья.— Правда, в последнее время жизнь слегка осложнилась.

— Видите ли,— сказала Элен, нагнувшись поближе к Уильямсу,— две недели назад скончался ее сын.

— Мне искренне жаль,— смущенноотреагировал Уильямс.

— Да нет, ничего ужасного, ему так даже лучше, бедному мальчику. Он был примерно вашего возраста — около тридцати.

— И что случилось? — машинально спросил Уильямс.

— Бедняжка весил слишком много — двести восемьдесят фунтов, и его приятели не переставали потешаться над ним. Он мечтал стать художником. И даже продал по случаю несколько картин. Но люди насмеялись над ним из-за его веса, и вот шесть месяцев назад он сел на диету. И перед смертью, в начале этого месяца, весил только девяносто три фунта.

— Господи,— сказал Уильямс,— какой кошмар!

— Он сидел на диете — и никакими усилиями его нельзя было сдвинуть с нее. Что бы я ни говорила, он стоял на своем. Сидел безвыходно в своей комнате на этой проклятой диете и все худел и худел — до того, что в гробу его попросту никто не узнал. Мне кажется, в последние дни своей жизни он был счастлив как никогда. Ведь для бедного мальчика это был своего рода триумф — такая победа над собой!

Уильямс допил мартини. Чаша мрачных нью-йоркских впечатлений, копившихся на протяжении нескольких дней, теперь явно переполнилась. Казалось, темные воды смыкаются над ним. После своего приезда в Нью-Йорк он столько дел переделал, столько всего перевидал, столько пережил и с таким количеством людей успел пообщаться — и все за какую-то неделю... Он свято верил, что вечер в доме Пирсонов вернет его в божеский вид, а вместо этого...

— Ой-ой-ой! До чего же вы красивый молодой человек! — сказала миссис Мирс.— Элен, отчего ты не предупредила меня,

что молодой человек такой хорошенький? — Она повернулась к своей приятельнице с выражением почти серьезного упрека.

— Ха! Я-то думала, что ты и сама знаешь.

— Ах, в жизни он еще обаятельнее, чем на фотографиях! Много обаятельнее. Представьте, — продолжала щебетать миссис Мирс, — в одну из недель своего дистования мой Ричард был невероятно на вас похож. Две капли воды! Да, это длилось почти целую неделю!

В памяти Уильямса тем временем вдруг всплыло, как накануне он забежал в кинотеатр, где беспрерывно крутили журналы повостей. Забежал дать себе роздых между бесконечными посещениями редакций газет и журналов, а также всех и всяческих радиостанций. На экране он увидел мужчину, который собирался прыгнуть с моста Джорджа Вашингтона; полицейские пытались уговорить его отказаться от своей затеи. Потом показали другого самоубийцу, где-то в другом городе. Он стоял на карнизе гостиницы, а толпа внизу улюлюкала и подзуживала его прыгнуть. Уильямс опрометью кинулся вон из кинотеатра. Когда он выскочил на ярко освещенную улицу, под палящее солнце, окружающее показалось чересчур реальным, чересчур грубым — как это всегда случается, когда в одно мгновение выпадаешь из мира грез в мир существ из плоти и крови.

— Да-а, вы кр-р-раасавец, молодой человек! — с упоением повторила миссис Мирс.

— Кстати, пока не забыла, — сказала Элен. — Здесь наш сын Том.

Ну да, Том! Уильямс видел Тома однажды, много-много лет назад, когда парнишка забежал домой с улицы на время, достаточное для неспешной беседы. Светлая голова, цепкий ум, воспитанный и хорошо начитанный. Словом, Том из тех сыновей, которыми можно гордиться.

— Теперь ему семнадцать, — сообщила Элен. — Он в своей комнате. Вы не против, если я приглашу его сюда? Знаете ли, мальчик угодил в немного неприятную историю. Вообще-то он хороший парень. Мы для него ничего не жалели. А он связался с какой-то бандой в районе Вашингтон-сквер, обычное хулиганье. Они ограбили магазин, и Тома схватила полиция. Это было месяца два назад. Господи, сколько волнений, сколько хлопот!

Но теперь, слава богу, все уладилось. Ведь Том хороший парень. Да что я вам говорю, вы и сами знаете, Уильямс. Ведь правда?

Она налила себе еще martini.

— Замечательный мальчик, — сказал Уильямс и стрельнул взглядом в сторону ее стакана.

— Нынешняя молодежь, понимаете ли. Горюд проде наше-го — не место для подростков.

— Я насмотрелся на то, что творится на улицах.

— Ужас, не правда ли? А что мы можем сделать? Кстати, Уильямс, у нас с Полом для вас сюрприз: мы покупаем дом в деревне. Вы только подумайте, после столько лет, после всего пережитого Пол наконец-то бросает свое телевидение — да-да, на полном серьезе бросает, — и мы переезжаем. Разве не прекрасно? Он намеревается заняться сочинительством. Да, Уильямс, совсем как вы! Мы обоснуемся в Коннектикуте, в одном милом городке. Там Пол по-настоящему отдохнет. Там у него будет реальный шанс написать что-нибудь такое... Как вы думаете, Уильямс, у него есть способности? Вам не кажется, что из него получится вполне симпатичный писатель?

— Разумеется! — сказал Уильямс. — Разумеется, получится.

— Так вот, с идиотской работой на телевидении покончено, и мы перебираемся в деревню.

— И как скоро?

— Где-то в августе. Возможно, придется отложить до сентября. Но не позже первого января.

«О да, конечно! — подумал Уильямс, и настроение у него резко поднялось. — Это все изменит! Им нужно только уехать из этого города, убраться поскорее отсюда. За столько лет работы Пол должен был скопить кругленькую сумму. Только бы они уехали! Только бы она позволила мужу сделать это!»

Он посмотрел на Элен. Какое сияющее лицо. Правда, это сияние сознательно включено, оставлено на лице и поддерживается напряжением определенных мышц — что-то вроде жиденького света электрической лампочки в комнате после того, как на небе погас настоящий источник света.

— Ваша задумка просто замечательная! — сказал Уильямс.

— Уильямс, вы и вправду верите в то, что у нас получится? Действительно получится? И вы на полном серьезе говорите, что Пол потрясающий писатель?

— На полном. Вам нужно только попробовать.

— В крайнем случае Пола всегда возьмут обратно на телевидение.

— Несомненно.

— Так что на этот раз мы обязательно поступим, как задумано. Уедем из города, заберем с собой Тома — сельская атмосфера будет полезна для мальчика, да и для всех нас. Больше никаких пьянок, никаких вечеринок до утра. Полный покой и работа за пишущей машинкой — десять толстых пачек чистой бумаги для Пола. Ведь вы согласны с тем, что он чертовски хороший писатель, не правда ли, Уильямс?

— Вы же знаете мое мнение!

— Мистер Уильямс,— сказала миссис Мирс,— расскажите, пожалуйста, как вы стали писателем.

— В детстве обожал читать. А в двенадцать начал ежедневно писать, чем и занимаюсь по сей день.— Говоря это, он нервничал. Ему бы хотелось сосредоточиться и вспомнить, как это действительно началось.— Я просто не отступал. Каждый день по тысяче слов.

— Пола точно такой же,— поспешно встала Элен.

— Ах, вы, наверно, гребете деньги лопатой,— сказала миссис Мирс.

В этот момент все трое услышали щелчок замка входной двери.

Уильямс невольно вскочил со своего места и облегченно заулыбался. Улыбка не сходила с его лица, пока он шел навстречу Полу. Улыбка оставалась у него на губах, когда он увидел высокую фигуру и остался доволен его внешним видом. Да, на Пола было приятно посмотреть, и Уильямс, весь просияв, устремился к другу с протянутой рукой: «Пола!»

Пола несколько располнел за время, пока они не виделись. Цвет лица кирпичный, слегка выпуклые и немного воспаленные глаза ненормально светятся, изо рта пахнет виски. Пола схватил руку Уильямса и принялся энергично трясти ее.

— Уильямс, черт возьми! Рад видеть тебя, дружище! Ты все-таки не побрезговал нами, заглянул. Как же здорово опять свидеться, разрази меня гром! Ну, как ты? Знаменитость! Ах ты господи, надо выпить. Элен, сделай-ка на всю компанию. Добрый вечер, Мирс. Да что вы, сидите, сидите ради бога.

— Нет-нет, я пошла. Не хочу мешать,— сказала миссис Мирс, направляясь в прихожую.— Спасибо, что позволили мне зайти. До свидания, мистер Уильямс.

— Уильямс, черт этакий! Как же здорово быть опять вместе. Элен успела сказать тебе о наших планах уехать прочь из города?

— Она сказала...

— Да-да, мы на самом деле убираемся из этого дерьмового города. Лето на носу. Прочь из проклятого офиса. За десять лет на телевидении я прочитал в эфир миллион слов всяческой ерунды. Не думаешь ли ты, Уильямс, что мне самое время свалить отсюда? Или, по-твоему, мне надо было сделать это много-много лет назад? Нас ждет Коннектикут! Тебе еще налить? Тома уже видел? Элен, Том у себя в комнате? Тащи его сюда, пусть поболтает с Уильямсом. Слушай, Уильямс, до чего же мы рады тебя видеть! Я уже всем раструбил, что ты придешь к нам в гости. С кем из наших ты виделся в Нью-Йорке?

— Вiera пересекся с Рейнольдсом.

— Рейнольдс... Редактор «Юнайтед фичерс»? Как он поживает? Много ходит на люди?

— Изредка.

— Элен, ты слышала про него? Просидел в своей квартире безвылазно двенадцать месяцев. Ну, ты должна помнить Рейнольдса! Отличный парень. Вот только армейская жизнь его слегка покорежила. С головой что-то. Весь последний год не смел высунуться на улицу — боится кого-нибудь пришить.

— Не знаю,— сказал Уильямс,— вчера он преспокойно вышел из своей квартиры и проводил меня до автобусной остановки.

— Грандиозно! Большой подвиг с его стороны. Искренне рад. А ты уже слышал про Банка? На прошлой неделе погиб в автомобильной катастрофе на Род-Айленде.

— Не может быть!

— Еще как может, сэр. Да, чертова жизнь. Лучше парня в мире не бывало. Первоклассный фотограф и работал в самых солидных журналах. Действительно талантливый и к тому же молодой — дьявольски молодой. Надрался и врезался в другую машину по дороге домой. Проклятые автомобили, прости Господи!

Уильямсу вдруг почудилось, что в душевной гостинной мечется большая стая черных воронов. Ведь это же больше не Пол. Это просто муж незнакомой женщины, которая в какой-то момент трех прошедших лет пересекла в эту квартиру после отъезда настоящих Пирсонов. Куда уехали настоящие Пирсоны, никто не ведаст. И совершенно бессмысленно спрашивать сидящего перед ним человека, куда подевался Пирсон, потому что настоящий Пирсон наверняка никому не сообщил, куда он исчезает.

— Уильямс, ты, кажется, знаком с моим сыном, не правда ли? Элен, найди-ка Тома, и пусть он идет сюда!

Сын был приведен — семнадцатилетний молчаливый паренек. Алкоголь начал действовать на Уильямса, да и теперь он стоял с новым стаканом.

— Это наш Том, Уильямс, наш взрослый мальчик Том.

— Ты должен помнить Тома.

— Ведь ты помнишь Уильямса, Том? Всад ты помнишь!

— Скажи «здравствуйте». Том.

— Том — замечательный парень. А вы как его находите, Уильямс?

Баистая пьяной искрой в глазах, Пирсоны говорили дуэтом, не умолкая, суетливой скороговоркой, невзирая на некоторую алкогольную одеревенелость языков. Все время вперед, марш-марш, и слова бежали наперегонки.

Элен проворно высыпала очередную фразу:

— Том, поделись с мистером Уильямсом дюжиной жаргонных слов. Писателям это всегда интересно.

Упрямое молчание.

— Том набрался их как собака блох, — щебетала дальше Элен. — Но в сущности он правильный мальчик, просто у него хорошая память. Ну-ка, Том, выдай мистеру Уильямсу что-нибудь на бандитском. Давай же, Том, не робей!

Опять глухая оборона молчанием. Долговязый Том переминался с ноги на ногу, влившись взглядом в ковер.

— Давай же, Том, все ждут.

— Ах, Элен, оставь его в покое.

— Но почему же, Пол? Я просто подумала, что Уильямсу будет весьма интересно услышать бандитскую речь. Ты же умеешь, Том! Ну и поделись!

— Не хочет так не хочет, — сказал Пол.

Молчание и на это.

— Пойдем-ка, Уильямс, на кухню, — предложил Пол. — Дай вот только возьму себе еще стакан. — Высокий и грузный, он увлек гостя за собой.

Стены в кухне слегка покачивались. Пол вцепился в локоть Уильямса, долго жал ему руку и во время разговора наклонялся совсем близко к нему — и тогда Уильямс видел, что у Пирсона лицо заплаканного поросенка.

— Уильямс, скажи по совести: у меня получится? Если я махну на все рукой и сяду писать. У меня классная идея для романа. — Говоря, он похлопывал Уильямса по локтю. Сперва ласково, потом все сильнее и сильнее. — Как тебе мой план, Уильямс?

Уильямс попытался отпихнуть на безопасное расстояние, но не тут-то было: одной рукой Пол цепко держал гостя, а кулаком другой в такт своей речи дубасил его по локтю.

— Согласись, это будет здорово — снова начать писать! Творить, иметь свободное время и вдобавок сбросить лишний жирок.

— Только не упробь себя дистой, как сын миссис Мирс.

— Он был придурком!

Теперь кулак Пола остановился, зато вторая рука принялась с силой мять локоть гостя. За долгие годы дружбы они крайне редко касались друг друга — рукопожатие было едва ли не единственным телесным контактом. Однако теперь Пол то и дело трогал его: хлопал, щипал, пихал.

— Видит бог, далеко от города у меня будет уйма времени для работы, — говорил Пол, похлопывая Уильямса то по плечу, то по спине. — Там я сброшу весь накопившийся груз. Знал бы ты, как мы тут проводим чертовы уикенды! Уговариваем вместе с Элен бутылку-две виски. Выбраться из города на выходные такая морока — пробки на дорогах, в пригородах толпы народа. Поэтому мы торчим в городе и надираемся, вот и весь наш отдых. Но когда мы окажемся на природе, с этим будет неконечно. Уильямс, не взглянешь ли на мою рукопись?

— Ах, Пол, куда ты торопишься! — вмешалась появившаяся на пороге Элен.

— Не надо, Элен! Ведь Уильямс не против. Ты ведь не против, Уильямс?

«Я не против,— подумал Уильямс,— но меня воротит. Я боюсь, но перебыюсь... Будь я уверен, что где-нибудь в его романе я найду прежнего Пола — трезвого, искромётного собеседника, отличного режиссера, внутренне свободного человека, уверенного в себе, способного на быстрые решения, обладающего хорошим вкусом и умением критиковать с толком и прямодушно и вместе с тем тактично,— а самое главное: если я найду в его повествовании хорошего друга прежних времен, почти боготворимого, если я найду там этого Пола — о, тогда я готов проглотить любой самый пухлый том за одну секунду. Но что-то слабо верится в такое счастье. А встретиться на бумаге с новым, незнакомым Полом — нет уж, увольте. Никогда! Ах, Пол, Пол,— текли дальше мысли Уильямса,— разве ты не понимаешь, старики, разве до тебя не доходит, что никогда вы с Элен не выберетесь из города — никогда, никогда!»

— Дьявол! — воскликнул Пол.— Уильямс, как тебе наш Нью-Йорк? Не по вкусу, да? Как ты выразился однажды: город-неврастеник. А по сути, ничем не хуже какого-нибудь богом забытого Сиу-Сити или Кенюши. Просто здесь встречаешься с большим числом людей за тот же отрезок времени — вот и вся разница. Ну а как тебе на заоблачных высотах славы? Ты нынче такая величина!..

Теперь наперебой безостановочно говорили оба — и муж, и жена. Они пьянели на глазах, их речь утрачивала членораздельность, слова возвращались, тыкались не в свои предложения, перебегали группами из фразы в фразу, кружились в гипнотическом хороводе — бла-бла, бла-бла, бла-бла...

— Уильямс,— говорила Элен.

— Уильямс,— вторил Пол.

— Мы точно уезжаем,— это она.

— Уильямс, чтоб тебя разорвало, я так тебя люблю! Скажи мне, отчего я тебя так люблю, мерзавец ты этакий! — это он. И со смехом опять — хлопбы по правому плечу.

— А где Том?..

— ...горд тобой!

Окружающие вещи стали подергиваться туманом. Одурачивающая духота. Правая рука, исколоченная до синяков, висела плетью.

— ...с другой стороны, так трудно оставить прежнюю работу. Они ведь платят мне чертову уйму денег...

Пол повис на Уильямсе, вцепившись пальцами в сорочку у него на груди. Уильямс ощутил, как пуговицы выскальзывают из петель. Пол был в таком раже, что, казалось, вот-вот двинет гостя кулаком по лицу. Нижняя челюсть Пола угрожающе выдвинулась, а от его прерывистого дыхания, такого близкого, очки Уильямса запотели.

— Я горжусь тобой, Уильямс! Я души в тебе не чаю.

Пол горячо тискал его руку, хлопал по плечу, рвал сорочку, трепал по щеке. В процессе братских объятий очки Уильямса слетели и упали на линолеум.

— Ах, черт, прости, Уильямс! Прости, дружище!

— Пустяки. Забудем.

Уильямс проворно поднял свои очки. Правое стекло разбилось — дурацкий рисунок трещин, наподобие паучьей сети. Уильямс надел очки, и его правый глаз увидел, как в тумане, дюжину Полов, которые суетливо бьются испуганные извинения.

Уильямс помалкивал.

— Ах, Пол, вечно ты такой неуклюжий! — проверещала Элен.

Вдруг разом зазвонили телефон и дверной звонок, и Пирсоны говорили разом, а Том куда-то давно пропал, и Уильямс думал с трезвой ясностью: «Нет, меня не вырвет, я могу сдержаться, но мне сейчас надо в ванную комнату, а вот там меня действительно вырвет».

Ничего не говоря и ни перед кем не извиняясь, среди звонков, говора и вскриков, всей этой перепутанной суеты утрированной дружбы, он двинулся вперед как сомнамбула, задыхаясь от зноя и продираясь, как ему показалось, через толпу людей. Закрыв за собой дверь ванной, он рухнул перед унитазом на колени, словно для молитвы, и поднял крышку.

Его вырвало — раз, другой, третий. С закрытыми глазами, из которых текли слезы, Уильямс продолжал склоняться над уни-

тазом, не зная, что с ним: он задыхается или плачет? Если плачет, то почему? От боли или от горя? Или это попросту алкоголь выдавливает влагу из глаз? Все в той же позе молящегося он слушал, как вода шумит по белому фаянсу и по трубам устремляется в море.

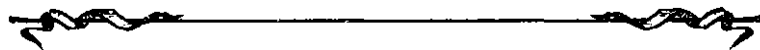
Снаружи голоса:

— С вами все в порядке?..

— Ты в норме, старик? Уильямс, с тобой все о'кей?

Уильямс нащупал бумажник в кармане пиджака, вынул его, убедился, что обратный билет там, вернул бумажник на место и любовно прижал его правой рукой. Затем встал, тщательно ополоснул рот, вытерся и посмотрел на себя в зеркале. Странный мужчина в очках с одной линзой в сеточке трещин.

Когда он шагнул к двери и положил ладонь на бронзовую ручку, готовый выйти, глаза его невольно закрылись, его качнуло, и было полное ощущение, что весит он всего лишь девяносто три фунта.



Электростанция

Лошади медленно брели к привалу. Седоки — муж и жена — смотрели вниз, на сухую песчаную долину. У женщины был растерянный вид, вот уже несколько часов она молчала, просто не могла говорить. Ей было душно под мрачным тусклым небом Аризоны, суровые обветренные скалы угнетали ее. На ее дрожащие руки упало несколько холодных дождевых капель.

Она бросила усталый взгляд на мужа. Он был весь в пыли, Впрочем, держаая в седле легко и уверенно. Закрыв глаза, она думала, как безмятежно пропал все эти годы. Достала зеркальце и посмотрелась в него. Она хотела увидеть себя веселой, но никак не могла заставить себя улыбнуться, сейчас это было совсем не к месту. Давили тяжелые свинцовые облака, удручала телеграмма, принесенная сегодня утром копытным посыльным; изматывала бесконечная дорога до города.

Она продрогла, а дороге все не было видно конца.

— Я никогда не была верующей, — произнесла она тихо, не поднимая век.

— Что? — оглянулся на нее Берти.

— Нет. Ничего, — прошептала она, покачив головой.

Все эти годы она прожила беззаботно, ни разу не испытыв потребности пойти в церковь. Она слышала, как почтенные лю-

ди говорят о Боге, о полированных церковных скамьях, о каллах в больших бронзовых ведрах и о колоколах, таких огромных, что звонарь раскачивается в них вместе с языком. Все эти высокопарные, страстные и проникновенные речи были ей одинаково безразличны. Она даже представить себя не могла на церковной скамье.

— Да мне просто ни к чему было ходить в церковь,— пробормотала она, словно оправдываясь.

Она никогда не придавала этому значения. Жила своими заботами, ходила по своим делам. От работы ее маленькие ручки стали гладкими, как галька. Труд отполировал ее ногти лаком, какого не купишь ни в одном магазине. Воспитание детей сделало ее руки ласковыми и сдержанно-строгими, а любовь к мужу — нежными. Теперь же нависшая тень смерти заставила их дрожать.

— Сюда,— позвал Берти.

Их лошади спустились по пыльной тропе туда, где в стороне от пересохшего ручья стояло старинное кирпичное здание. В окна были вставлены зеленые стекла, крыша — из красной черепицы. Внутри синели машины, а множество проводов тянулось далеко в пустыню. Она посмотрела на уходящие за горизонт мачты высоковольтных передач и, все еще занятая своими мыслями, оглянулась на необычные зеленые окна и огненно-красные стены.

Она не помнила ни одного стиха из Священного Писания и никогда не оставляла в своей Библии закладки. Правда, жила она в жаркой пустыне, среди раскаленного солнцем гранита, пот лил с нее ручьями, но тут ей ничего не угрожало. Беды, из-за которых люди не спят по ночам, в память о которых остаются морщины на лице, были ей неведомы. Несчастья проходили стороной, не задевая ее. Смерть была ураганом, гул которого доносился откуда-то издалека.

Двадцать лет унеслись в прошлое, как перекасти-поле, с тех пор как она поселилась на Западе, надела обручальное кольцо одинокого охотника, и пустыня заполнила их жизнь. Ни один из четырех ее детей ни разу не был опасно болен или при смерти. Никогда ей не приходилось становиться на колени, разве только чтобы отдраить и без того хорошо выскобленный пол.

Теперь всему этому пришел конец. Они ехали в далекий городок, потому что утром принесли клочок желтой бумаги, в котором сухо, но ясно говорилось о том, что ее мать умирает.

И сколько она ни думала об этом, как ни пыталась представить себе, все это никак не укладывалось у нее в голове. Она лишилась привычной опоры и оказалась в беспомощном положении. Ее мысли лихорадочно метались, как стрелки компасов в магнитную бурю, все привычные представления о том, где север и где юг, где верх и где низ, вдруг пошатнулись, рухнули, и все беспорядочно закружилось и завертелось. Рука Берти лежала у нее на плече, но даже от этого она не чувствовала себя уверенней. словно настал конец красивой сказки и началась страшная. Умирала ее мама. Это было невыносимо.

— Давай остановимся,— не в силах справиться со своим страхом, она очень нервничала и говорила с раздражением.

Берти оставался невозмутимым, его не ввела в заблуждение раздражительность жены. Он-то знал, что это не в ее характере — у нее была ясная голова. Дождь все накрапывал. Он повернулся к ней и нежно взял за руку.

— Конечно, нужно остановиться.— Берти покосился на небо.— Тучи с востока. Надо переждать, будет ливень. Не хватало еще вымокнуть.

Она разозлилась на себя из-за собственной несдержанности. Как-то против ее желания одно потянуло за собой другое. Она была не в состоянии говорить и расплакалась навзрыд, сотрясаясь всем телом. Ее лопадь сама остановилась у кирпичной стены и мягко переступала с ноги на ногу.

Пошипывая, с застывшим взглядом, она скользнула из седла на руки Берти и обняла его.

— Похоже, никого нет,— сказал он, опуская ее на землю.— Эй, есть тут кто-нибудь? — позвал он и увидел табличку на дверях:

«СТОЙ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Комитет по электроэнергии»

В воздухе висело густое жужжание. Провода пели на одной ноте, непрестанно, то слегка повышая, то чуть снижая тон, как хозяйка, которая гудит себе что-то под нос и готовит на плите в

мягком сумраке кухни. В здании никого не было видно. Все вокруг дрожало от вибрации. Так, кажется, должен гудеть горячий воздух, когда он плывет и струится над раскаленным полотном железной дороги в жаркий солнечный день. А слышно только, как звенящая напряженная тишина давит на барабанные перепонки.

Дрожь от вибрации пробегала через пятки по ее изящным ногам и, разливаясь по всему телу, подобралась к сердцу, коснулась его, и она заволновалась, словно в очередной раз увидела Берти сидящим на верхней балке загона. Дрожь проникала в мозг, пленила каждую его клеточку, и ей вдруг захотелось запеть. Так с ней бывало, когда она читала хорошие книги или слышала красивые песни.

Все вокруг было насыщено гудением. Оно пронизывало раскаленный воздух, пустыню и даже кактусы в ней — гудением было охвачено все.

— Что это? — спросила она, растерянно глядя на здание.

— Не знаю. Похоже на электростанцию, — отозвался Берти и толкнул дверь. — Хм, открыто, — удивился он. — Вот только жаль, нет никого.

Дверь широко распахнулась, и в виски им ударил сильный, как порыв ветра, гул.

Они вступили под своды таинственного покоящего зала. Она шла под руку с Берти, крепко прижавшись к нему.

Тут было сумрачно, как в подземном царстве. Все вычищено, отшлифовано до блеска, словно какие-то невидимки упорно, день и ночь, без устали, без конца терли, терли и терли пол, стены и машины. Им показалось, будто они шагают сквозь строй молчаливо стоящих людей. Но люди превратились в круглые, похожие на снаряды машины, поставленные в два ряда и гудящие во всю мочь. Из черных, серых, зеленых машин тянулись золотистые кабели и белые провода, поблескивали серебристые коробки с малиновыми контактами и белыми надписями. В полу было углубление и там бешено крутилось, с неразличимой для глаз скоростью полоскалось что-то невидимое. (Центрифуга вертелась очень быстро, казалось, она застыла на месте.) С темного потолка гигантскими змеями свисали медные провода, переплетения труб поднимались от цемент-

ного пола по огненно-красным кирпичным стенам. Пахло озонном, как после грозы. Время от времени раздавался треск, что-то шуршало, щелкало, шипело; там, где провода подходили к фарфоровым и стеклянным изоляторам, иногда проскакивали искры.

А за стенами, в мире реальном, начался дождь.

Ей не хотелось тут оставаться. Все здесь было ей чуждо: люди оказались серыми машинами, а музыка звучала как орган, гудевший то на высокой, то на низкой ноте. Но по окнам уже растекались дождевые струи.

— Похоже, это надолго. Придется тут заночевать. Да и поздно уже, — сказал Берти. — Пойду занесу вещи.

Она молчала. Ее тянуло дальше. Куда, к чему? Она не знала. Наверное, в город. Там бы она купила билеты и, крепко зажав их в руке, побежала бы к поезду, и поезд помчался бы с грохотом, а потом, проехав сотни миль, она бы сошла с него и пересела на лошадь или машину — и снова в путь. И наконец увидела бы свою маму, живую или мертвую. Только бы хватило времени и сил. Где бы ни проходила ее дорога, она будет довольствоваться лишь воздухом, чтобы дышать, пищей и водой, чтобы смочить пересохшие губы, да твердой землей под ногами, чтобы ходить. Но уж лучше вообще не испытывать всего этого. «Ну ладно ехать к маме, к чему слова, волнения? — спрашивала она себя. — И кому от этого легче?»

Пол под ногами блестел, как замерзшая речка. Шаги отдавались сухим гулким эхом, ясно и четко. Каждое произнесенное слово летело обрито, будто из каменной пещеры.

Она слышала, как Берти за ее спиной складывает на пол вещи. Он расстелил нару серых одеял и достал несколько банок консервов.

Была ночь. Потоки дождя все текли и текли по высоким зеленым окнам, струи воды свивались в тончайшие узоры. Удары грома рвали дождевую завесу, молнии врезались в каменистую землю и переламывались.

Она положила голову на подвернутое одеяло, но как ни старалась устроиться поудобнее, гудение огромной электростанции не давало покоя. Она перевернулась на другой бок, закрыла глаза, постаралась уснуть, но в голове по-прежнему гудело от вибрации. Тогда она встала, расправила одеяло и снова легла.

Гудение, однако, не отступало.

Какое-то чувство подсказывало ей, что и Берти не спит. Интуиция никогда не подводила ее. В том, как он дышал, была едва уловимая разница. Он дышал беззвучно, совсем неслышно, но она знала, что он сейчас задумчиво смотрит на нее в темноте. Она обернулась.

— Берти?

— Что?

— Я тоже не сплю.

— Знаю.

Она лежала, вытянувшись, неподвижно и была вся напряжена, а он расслабился и чуть поджал ноги. Она смотрела на него и дивилась его спокойствию.

— Берти, — сказала она и, помолчав, продолжала: — Как тебе здесь?

Он ответил не сразу.

— О чем это ты?

— Как ты можешь тут *отдыхать*? — сказала и запнулась. Нехорошо вышло. Получалось, что она его упрекает, а ей вовсе этого не хотелось. Она знала его как человека, который видит скрытое от глаз других, которого ничто не оставляет равнодушным, но эти качества не мешали ему оставаться добрым и простым. Его мучили те же мысли, что и ее, и он переживал за ее маму, но внешне выглядел хладнокровным и безразличным. Все его мысли и переживания были скрыты от глаз, запертаны глубоко в душе, где жила его всера, его внутренняя сила, она-то и не позволяла ему быть в разладе с самим собой. Он умел встретить любую неприятность. Уверенность и стойкость делали Берти неуязвимым, он был защищен ими, как лабиринтом или сетью, в которой запутывались и терялись все надвигающиеся напасти, и никакие беды, кажется, не могли причинить ему боли. Глядя на его спокойствие, она иногда, сама того не желая, выходила из себя, но тут же подавляла в себе бессмысленную злость, понимая, что злиться на него — это все равно что обижаться на природу за то, что она в каждый персик вложила по косточке.

— Почему я так и не научилась этому? — сказала она наконец.

— Чему?

— Ты научил меня всему... Ты заставил меня по-своему смотреть на мир. Я знаю только то, чему ты меня научил. — Она остановилась. Трудно это было выразить словами. Их жизнь текла спокойно, как кровь в жилах.

— И вот только верить ты меня не научил, — сказала она. — Я никогда об этом от тебя не слышала.

— Этому не учатся, — ответил он. — Просто однажды ты расслабишься, тебе станет легко. Вот и все.

«Расслабишься, — думала она. — Почувствую облегчение? Но только телесное. А как избавиться от того, что в мыслях?» Ее пальцы вдрут сами собой сжались. Взгляд блуждал по залу огромной электростанции. Над головой возвышались мрачные силуэты машин, вспыхивали искры... Вибрация пронизывала все тело.

От усталости ее клонило ко сну. Глаза слипались. Ее тело наполнилось гудением, словно затрепетали крылышки тысячи крошечных колибри.

Она проводила взглядом теряющиеся во мраке под потолком трубы, посмотрела на машины, услышала вой центрифуг... И тут ее дремота исчезла, и ею овладело беспокойство. Стены, пол, потолок — все запрыгало и заплясало перед глазами, гудение нарастало и нарастало, и к ней пришла вдруг удивительная легкость, она увидела в зеленых окнах очертания высоковольтной линии, убегающей в сырую мглу.

Ее тело дрожало и гудело. Ей показалось, что ее вдруг рвануло и оторвало от земли. Бешено крутящееся динамо подхватило ее и завертело, она стала невидимой и током потекла по медным проводам!

В какой-то миг она стала вездесущей!

Она пронеслась по проводам, оставляя позади громадные мачты высоковольтных передач, прожужжала в проводах над бесчисленными опорами, увенчанными изоляторами из зеленого стекла, похожими на хрустальных птиц, держащих в клюве высоковольтную линию. Провода несли ее через города, городки и поселки, фермы и ранчо, гасценды, разветвляясь в четыре стороны, потом еще в восемь. Она скользила по паутине проводов, брошенной на пустыню!

И мир стал вдруг чем-то большим, чем просто дома, горы, дороги и пасущиеся кони, покойник под каменной плитой, ко-

лючка кактуса или город, искрящийся в ночи своими огнями. Мир уже не был раздроблен, расколот на части. Охваченный сетью гудящих проводов, он стал вдруг единым целым.

С потоком света она влилась в каждый дом, в каждую комнату, и туда, где жизнь только пробудилась от шлепка по попке новорожденного, и туда, где жизнь в человеке уже едва теплилась, как свет в лампочке, горела неровно, тлела и погасла совсем. Поток электричества увлекал ее за собой. На сотни миль вокруг в окнах загорелся свет, и все стало доступно ее зрению и слуху, одиночество ушло. Теперь она стала такой же, как все, одной из многих тысяч людей, о чем-то размышляющих, в чем-то убежденных.

Она трепетала, как сухая, безжизненная тростинка. От высокого напряжения ее мысли металась и запутывались в переплетении проводов.

Во всем царило равновесие. В одном месте она видела, как жизнь увядает, а рядом, всего в какой-нибудь миле, люди поднимали бокалы за новорожденного, передавали сигары, улыбались, хохотали, жали друг другу руки. Она видела бледные, вытянутые лица умирающих в белых постелях, слышала, как они начинают постигать и принимать смерть, смотрела на их движения, угадывала чувства и понимала, как они одиноки и замкнуты, понимала, что им уже никогда, ни за что не увидать мир в равновесии, каким его видит она.

Она проглотила слюну, коснулась пальцами шеи — шея горела. Веки дрожали.

Она не была одинока.

Динамо-машина раскрутила ее, а центробежная сила пустила по проводам, как из пращи, к миллионам стеклянных колбочек, привинченных под потолками. Нужно только потянуть за шнурок или повернуть рубильник, или нажать на выключатель — и они вспыхнут.

Зажечь свет можно везде, его надо только включить. Пока света не было, в домах было темно. Но вот она сразу очутилась во всех домах, вошла в каждую комнату. И она уже не одинока. И ей досталась частица большого, общего горя и страха. Но вокруг не только одни страдания. Можно посмотреть на все и с другой стороны. Жизнь начинается с рождения — это неж-

ный, хрупкий младенец. Это тело, согретое обедом, свежие краски и звуки, запахи полевых цветов.

И как только свет где-то гаснет, жизнь зажигает его снова, и в домах опять светло.

Она очутилась сразу у Кларков и Греев, Шоу и Мартинсов, у Хэнфордов и Фентонов, у Дрейков, Губбельсов и Смитов. Она была одна, но не знала одиночества. В голове у человека есть разные отверстия. Пожалуй, это звучит странно, даже несколько глупо, но все же это отверстия. Сквозь одни мы смотрим на мир и на людей в нем, таких же беспокойных, разных и непростых, как и мы сами. Другие отверстия помогают нам слышать, и есть еще одно, чтобы поведать о своем горе, когда оно нас тяготит. Запахи пшеницы, льда, костров проникают через другие отверстия, и мы узнаем через них времена года — лето, зиму или осень. Все это дано человеку, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Зажмурьтесь — вы окажетесь в одиночестве. Чтобы верить во что-то, нужно просто открыть глаза.

Электрической сетью спутался весь мир, знакомый ей уже столько лет. Она вжилась в каждый провод этой сети. В ней светилась и дрожала каждая клеточка. Ее ласкало бесконечное легкое полотно, которое милую за милей укутало земаю мягким, гудящим покрывалом.

В электростанции пели работающие турбины, искры, яркие, как свечки, вспыхивали и соскакивали вниз по согнутым локтям труб и кабелей. Ряды машин казались хором святых, их нимбы переливались то красным, то желтым, то зеленым, их мощные гимны возносились под самую крышу, и в зале все дрожало от эха. Снаружи порывы ветра с воем разбивались о стены, дождь заливал окна. Некоторое время она лежала, положив голову на свернутое одеяло, а потом вдруг расплакалась.

Какие мысли заставляли ее плакать? Были это слезы радостного облегчения или смирения — она не знала. Торжественные звуки взлетали все выше и выше. Казалось, целый мир хлынул в ее душу. Она протянула руку и дотронулась до Берти. Он все еще не спал и смотрел в потолок. Наверное, его мысли тоже витали сейчас где-то в переплетении проводов, и в его душе отзывалось все, что ни есть на свете. Он чувствовал себя частицей целого, и это придавало ему силы и уверенности. Но ее это по-

вое ощущение единства со всем миром ошеломило. Гудение все нарастало. Руки мужа обняли ее, она уткнулась в его плечо и снова разрыдалась, горько и неудержимо...

Утром небо над пустыней было яркое, чистое. Они неторопливо вышли из электростанции, оседлали лошадей, привязали вещи и двинулись в путь.

Над нею сияло голубое небо. Она не сразу почувствовала, что держится в седле прямо, не сутулясь, взглянула на свои руки — они не дрожат, а раньше были как чужие. Видны были горы вдалеке, краски не блекли и не расплывались перед глазами. Все было неразрывно связано: камни с песком, песок с цветком, а цветок с небом. И так бесконечно.

— Но! Пошли! — раздался в душистом прохладном воздухе голос Берти, и лошади ускорили шаг, оставляя позади кирпичное здание.

Она держалась в седле легко и изящно. В ней пробудилось чувство безмятежной легкости, и она не смогла бы теперь прожить без этого. Это было бы так же невыносимо, как персик без косточки.

— Берти, — позвала она.

Он чуть придержал лошадь.

— Что?

— Мы могли бы... — начала она.

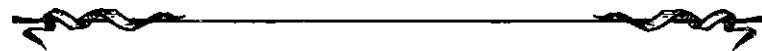
— Что бы мы могли? — переспросил он, не расслышав.

— Мы могли бы приехать сюда еще раз? — спросила она, показывая на электростанцию. — Ну, как-нибудь, в воскресенье?

Он задумчиво посмотрел на нее и кивнул.

— А что ж. Приедем, конечно, приедем.

Когда они въехали в город, она гудела себе под нос какую-то странную мелодию. Он оглянулся и прислушался. Так, наверное, гудит горячий воздух, когда плывет и струится над раскаленным полотном железной дороги в жаркий летний день. Гудит в одном ключе, на одной ноте. Гудение то чуть повышается, то понижается, но звук непрерывный, нежный и приятный на слух.



Иллюстрированная женщина

Когда новый пациент приходит в кабинет, впервые растягивается на кушетке и начинает пышный парад своих свободных ассоциаций, опытный психоаналитик обязан для начала определить, какими частями тела его собеседник касается поверхности кушетки.

Другими словами, определить точки соприкосновения пациента с реальностью.

От некоторых создается впечатление, что они всей своей анатомией парят в дюйме над кушеткой. Такие не бывали на твердой почве так давно, что у них развилось что-то вроде морской болезни.

Есть другой тип. Эти на дружеской ноге с силой земного притяжения: ложатся с такой основательностью, так плотно притирают себя к реальности, ворочаясь и пристраиваясь, что после их ухода в мягкости кушетки надолго остается отпечаток.

Случай с Эммой Флит совсем особенный. Когда она возлегла перед креслом доктора Джорджа С. Джорджа, тот долгое время не мог понять, где кончается пациентка и где начинается кушетка.

Потому что своими размерами Эмма Флит могла бы поспорить не только с кушеткой, но и со стоящим рядом трехстворчатым шкафом.

Сердце обливалось кровью при виде того, как эта женщина самостоятельно преодолевает двери, тогда как с платформой, лебедкой и бригадой рабочих процесс был бы и короче, и эстетичнее.

Когда она продвигалась через комнату, половицы прогибались под ней, как челюсть огромной рыбыны.

Доктор Джордж не мог сдержать новый сочувственный вздох, прикинув в уме, что эта гора мяса должна весить по меньшей мере четыреста фунтов.

Будто прочитав его мысль, Эмма Флит улыбнулась.

— Если быть точной, я вешу четыреста два фунта, — сказала она.

Тем временем доктор Джордж перевел сочувственный взгляд на кушетку.

— О, не беспокойтесь, — опять интуитивно угадала миссис Флит. — Кровать выдержит.

И она села на кушетку.

Та коротко тявкнула, как собака под рухнувшей на нее стеной.

Доктор Джордж откашлялся.

— Прежде чем вы удобно расположитесь, я должен предупредить вас без промедления и со всей честностью, что мы, специалисты-психоаналитики, не гарантируем ощутимых успехов в области лечения патологического аппетита. До настоящего времени проблема излишнего веса и злоупотребления пищей ускользает от разрешения с помощью психоанализа. Признание странное с моей стороны, однако я не хочу излишней деликатностью вводить вас в заблуждение и в бессмысленные расходы. Если вы надеетесь, что я помогу вам сбросить вес, то вы обратились не по адресу.

— Спасибо за откровенность, доктор, — сказала Эмма Флит. — Однако я мечтаю не похудеть, а поправиться. И надеюсь, что вы поможете мне прибавить еще фунтов сто или двести.

— О-о, нет! — воскликнул доктор Джордж.

— О-о, да! Вот только мое сердце, увы, препятствует тому, чего так страстно желает душа. Я хочу сказать: то сердце, кото-

рое любит, мечтает прибавить еще двести фунтов, но другое сердце, анатомическое, не выдерживает.

Она горестно вздохнула. А кушетка под ней горестно охнула.

— Позвольте мне коротко ввести вас в курс дела. Я замужем за Уилли Флитом. Мы работаем в странствующей труппе, которая называется «Шоу Дилбека и Хорсманны». Мое цирковое имя — Леди Меня-Много. А Уилли...

Поднявшись с кушетки, как вулкан из моря, она проплыла через комнату, догоняя свою исполинскую тень, и распахнула дверь.

В приемной, как раз напротив двери, с тросточкой в одной руке и с соломенной шляпой в другой, держа спину по-армейски прямо, сидел худощавый мужчина крохотного росточка с маленькими изящными ручками и скушающе разглядывал обоими маленькими ярко-голубыми глазками. В нем едва ли было три фута роста, и на полных шестьдесят фунтов он тянул разве что в мокрой одежде после дождя. Однако маленький подбородок выразительного личика был с достоинством вскинут, а в глазах полыхали гордыня и страсть, наводившие на мысль о неистовой гениальности.

— Это мой Уилли Флит, — с нежностью в голосе сказала Эмма и прикрыла дверь.

Кушетка опять вскрикнула под ней.

Лучистым взглядом Эмма безмятежно смотрела на ошарашенного психоаналитика, который никак не мог прийти в себя.

— Я так понимаю, детей у вас нет? — машинально спросил он.

— Детей нет, — сказала Эмма Флит, продолжая счастливо улыбаться. — Однако наша беда также и не в этом. В сущности, Уилли и есть мой ребенок. И я ему не только жена, но и в некотором отношении мать. Наверное, это отчасти связано с нашими размерами. Однако мы как бы уравниваем друг друга и живем в полной гармонии.

— Хорошо. Если ваша проблема не в отсутствии детей, и не в излишке веса, и не в разнице габаритов — тогда в чем же?

Эмма Флит тихонько рассмеялась. В ее приятном смехе не было и следа раздражения. Казалось, внутри массивного тела с жирной шеей спрятана субтильная девушка со звонким горлом.

— Потерпите, доктор. Следует ли мне начать с самого начала и поведать, как мы с Уилли познакомились?

Доктор пожал плечами, усмехнулся про себя, кивнул и внутренне расслабился, подготовившись к долгому рассказу.

— Старшеклассницей я весила сто восемьдесят фунтов. А к двадцати одному году тянула уже на все двести пятьдесят. Как вы можете догадаться, подружки редко брали меня с собой на загородные пикники. Когда предстояла прогулка на природе, я заранее знала, что мне суждено в гордом одиночестве куковать в городе.

С другой стороны, у меня было много подружек, любивших бывать со мной на людях. Почти все они несли под сто пятьдесят фунтов, однако на моем фоне казались худышками. Впрочем, это драма давно минувших дней. Теперь я несколько не стыжусь своего веса. Встреча с Уилли полностью изменила мою жизнь.

— По всему видно, ваш Уилли — примечательная личность, — вырвалось у доктора Джорджа, хотя подобный комментарий был против правил.

— О да! Он замечательный! В нем скрыто таят великие способности — у него огромный талант, пока непризнанный и неведомый миру! — ласковой скороговоркой произнесла Эмма Флит. — Он ворвался в мою жизнь подобно летнему урагану — да благословит его Господь! Восемь лет назад я была с подружкой на карнавале в День труда. К концу вечера я осталась одна-одинешенька среди редеющей толпы, потому что парни, весело проносясь мимо, подхватывали то одну, то другую из моих подружек и уводили их прочь, в темноту. И вот брожу я неприкаянно, теребя в руках свою сумочку — дешевая подделка под крокодиловую кожу, — и действую на нервы парню с весами под табличкой «Узнайте свой вес!», потому что, проходя мимо, я каждый раз делаю задумчивое лицо, словно собираюсь вынуть монетку и взвеситься.

Но, как оказалось, я не раздражала парня с весами. Совсем наоборот. Пройдя мимо него раза три, я вдруг заметила, что он тирадится на меня с почтительным любопытством, да что там с любопытством — с восхищением! И догадайтесь, кто был этот парень с весами? Разумеется, Уилли Флит. Когда я проплывала мимо весов в четвертый раз, он окликнул меня и обещал призовую игрушку, если я доставлю ему удовольствие и взвешусь. Когда я согласилась и подошла, он весь покраснел от возбуждения. Он так и пританцовывал возле меня. Прямо не знал, с какой стороны забежать и как мне получше угодить. За всю мою прежнюю жизнь не было случая, чтобы кто-нибудь так ласково суеился вокруг меня. Щеки у меня вспыхнули, но я чувствовала себя на седьмом небе. Наконец я уселась на стул весов. Уилли чем-то там пошелкал, и я услышала, как он присвистнул — в полном восторге.

«Двести восемьдесят фунтов! — закричал он. — Ох ты, ах ты, до чего же вы прекрасны!»

«Я... Как вы сказали?»

«Вы самая прекрасная девушка во всем мире!» — заявил Уилли, глядя мне прямо в глаза.

Я снова покраснела до самых ушей. И рассмеялась. Мы оба хохотали. А потом я, наверное, расплакалась — сама не помню как. Опомнилась, когда почувствовала на своем локте ласковое утешающее прикосновение его руки. Он растревоженно заглядывал мне в глаза.

«Извините, я сказал что-нибудь не то?»

«Наоборот. — Я в последний раз всхлипнула и успокоилась. — Вы сказали именно правильную вещь. Но это впервые в моей жизни, когда...»

«Когда что?» — спросил Уилли.

«Вы первый отнеслись по-доброму к тому, что я такая жирная».

«Но вы не жирная! — воскликнул он. — Вы крупная, вы большая, вы прекрасная. Микеланджело был бы от вас в восторге. Тициан вас бы обожал. Леонардо да Винчи стал бы вашим покорным рабом. В эпоху Возрождения люди были умнее. Они умели ценить размер, размах, ширь. Везде и во всем. И я их

понимаю. Я с ними деликом и полностью согласен. Мне ли не ценить размер! Поглядите на меня: я шесть сезонов путешествовал по стране с трупной карликов Сингера, и мой сценический псевдоним — Джек Наперсток. Ах ты господи, вы же, милая леди, как будто сошли с самой прекрасной картины эпохи Возрождения! Архитектор Бернини, воздвигший эти неохватные колонны алтаря и колоннады собора Святого Петра, он бы черту продал свою вечную душу за один взгляд на вас!»

«О нет! — вскричала я. — Мне не судьба быть такой счастливой. Когда вы умолкнете, я умру от горя».

«В таком случае, — сказал он, — я не стану останавливаться, мисс...»

«Эмма Герц».

«Эмма, — спросил он, — вы замужем?»

«Смеетесь?»

«Эмма, вы любите путешествовать?»

«Я никогда в жизни не путешествовала».

«Эмма, — сказал он, — карнавальные представления в вашем городе продлятся еще неделю, и все это время наша труппа будет здесь. Было бы здорово, если бы вы приходили сюда каждый день и каждый вечер. Мы будем беседовать, познакомимся поближе. И как знать — быть может, в итоге вы решитесь уехать вместе со мной».

«Как мне понимать ваше предложение?» — сказала я.

Ни гнева, ни раздражения я не испытывала. Просто была приятно поражена и заинтригована тем, что кому-то вообще вздумалось что-то предлагать мне — киту на двух ногах?

«Я имею в виду брак!» Задыхаясь от волнения, Уилли Флит не сводил с меня глаз.

И я вдруг представила его в костюмчике альпиниста, с альпенштоком в руке, в альпийской шляпе с пером и с мотком веревки на детском плечике. Идет покорять гору. И если бы я спросила его: «Зачем тебе это?» — возможно, я не добилась бы иного ответа, кроме: «Потому что ты существуешь».

Но я не спросила, и ему не пришлось подыскивать ответ. Мы еще долго стояли друг против друга посреди карнавальной ярмарки, прежде чем я пошла прочь — слегка покачиваясь.

«Ой, я пьяная! — закричала я. — Я совсем пьяная, а ведь ничтошеньки не пила!»

«Теперь, когда я тебя наконец нашел, — прокричал мне вслед Уилли Флит, — не вздумай исчезнуть! Не смей!»

Уж не помню, как я нашла дорогу домой — я была как слепая, у меня в голове все кругом шло от его хороших мужских слов, пусть и произнесенных тонким женским голоском.

Не прошло и недели, как мы стали мужем и женой.

Эмма Флит помолчала, смущенно разглядывая свои руки.

— Вам не будет скучно, доктор, если я расскажу о нашем медовом месяце? — застенчиво осведомилась она.

— Нет, — мгновенно отозвался доктор Джордж. Затем, устыдившись своего неприкрытого и отнюдь не врачебного любопытства, добавил менее горячим тоном: — Пожалуйста, продолжайте.

— Наш медовый месяц... Его нельзя назвать обычным.

Брови доктора слегка подпрыгнули вверх. Он невольно перевел взгляд с лежащей на кушетке Эммы Флит на дверь в приемную, где сидел крошечный сколок Эдмунда Хиллари, славного покорителя Эвереста.

— О, вы представить себе не можете, с каким страстным нетерпением Уилли увлек меня в свой будто кукольный домик, состоявший из одной небольшой комнаты с крохотным окном. Теперь эта комнатка стала и моей. Уилли — всегда спокойный и добрый, всегда деликатный, всегда истинный джентльмен. И когда мы оказались в его домике, он себе не изменил. Он самым вежливым образом попросил меня дать ему мою блузку. Я ее сняла и протянула в его маленькие изящные ручки. Тогда он попросил юбку, и я подчинилась. И так он перечислял предметы моей одежды, пока я не оказалась... Не знаю, можно ли покраснеть с головы до ног, но мне тогда показалось, что я покраснела от макушки до пят. Я была в центре комнаты, как огромный костер, и поыхала, то бледнея всем телом, то снова краснея, то снова бледнея.

«Боже! — вскричал Уилли. — Словно распустился огромный бутон самой прекрасной на свете камелии!»

И при этих его словах я снова зарумянилась от стыда от макушки до пят и новые волны огня и холода покатились у меня

по телу, но было чрезвычайно отрадно чувствовать, как моя кожа вызывает в Уилли упоение восторга. И что, по-вашему, Уилли сделал потом? Догадайтесь!

— Я не смею,— сказал доктор и вдруг сам зарделся.

— Он обошел вокруг меня — раз, другой, третий.

— То есть он кружил вокруг вас?

— Да, словно скульптор вокруг глыбы белоснежного мрамора, с которой ему предстоит работать. Он так и назвал меня — глыбой гранита или мрамора, из которой можно создать произведение искусства невиданной красоты. И он все кружил и кружил вокруг меня, торжествуя ахая и охая, потирая руки, сверкая глазками и довольно покачивая головой, не в силах нарадоваться на свое счастье. Казалось, он прикидывал, с какого места начать. Откуда, откуда же начать?

И вот он наконец обрел речь и спросил меня:

«Эмма, знаешь ли ты, почему я столько лет ездил с лилипутами и в дополнение к главной работе — куплетам и танцам — занимался тем, что взвешивал людей на ярмарках? Я отвечу тебе. Потому что всю свою взрослую жизнь я искал кого-нибудь вроде тебя. Вечер за вечером, лето за летом я видел перед собой, как прыгает и скачет стрелка моих весов. Но я была капризна. Я ждал подлинной удачи. И дождался. Теперь у меня есть ты, а вместе с тобой — и возможность выразить мой гений. Ты — мой холст, ты — голая белая стена собора, которую должно украсить роскошной фреской!»

Он захлебнулся от чувств и молча взирал на меня блестящими глазами.

«Эмма,— сказал он наконец нежнейшим голосом,— могу ли я делать с тобой все, что мне захочется? Могу ли я полностью располагать тобой?»

«Ах, Уилли,— вскричала я.— Делай со мной все, что хочешь, Уилли! Я твоя!»

Эмма Флит замолчала.

Доктор давным-давно сдвинулся на самый край своего кресла и весь подался вперед. Теперь он быстро выдохнул:

— Ну-ну, и дальше?

— А дальше он вынул из шкафчика все свои коробочки, бутылочки с чернилами, трафареты и сверкающие серебряные татуировочные иглы.

— Тату... Татуировочные иглы?

Доктор Джордж опаралшенно отъехал в глубину своего кресла:

— Он вас... татуировал?

— Да, он меня татуировал.

— Выходит, он мастер татуировки? Художник по телу?

— Да-да, вы употребили правильное слово: художник! Но так Уилли предначертано талантом, что холстом ему служит человеческое тело.

— Стало быть, вы,— медленно произнес доктор,— стали тем холстом, который он искал с юности?

— Да, я стала тем холстом, который он искал всю свою жизнь.

Миссис Флит сделала паузу, дабы психоаналитик как следует осознал суть произнесенного. И тот действительно хотя и не сразу, но без заметного усилия, но проникся.

Эмма продолжила свой рассказ не раньше чем убедилась по пере чувств на лице доктора, что сказанное ею достигло самого дна его души и вызвало там громкий всплеск эмоций.

— И с тех пор началась упоительная жизнь! Я души не чаяла в Уилли, а Уилли души не чаял во мне, и мы оба любили то, что было выше нас и чем мы занимались вместе. Мы были заняты созданием самой грандиозной картины в мире — такой, что свет еще не видел! «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — восклицал Уилли. «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — вторил я ему.

Ах, каким счастливым было то время! Мы провели за работой десять тысяч беспечальных светлых часов. Вы представить себе не можете, до чего я была горда своей ролью неоглядного берега, о который плещутся волны всех красок таланта Уилли Фаита!

Год мы трудились над моими руками — сперва над правой, затем над левой. Полгода ушло на мою правую ногу и целых восемь месяцев — на левую. И это была только подготовка к грядущему буйству деталей и красок: мы начали кропотливый труд над спиной — от затылка к лопаткам и ниже, ниже, пока не сомкнули края картины на бедрах. И тогда мы перешли на переднюю часть тела: ярмарочные карусели и взрывы шутих со-

седствоваали там с обнаженными красавицами Тициана, с умиротворяющими пейзажами Джорджоне и миниатюрными копиями картин великого Эль Греко.

Видит небо, не было и не будет на свете любви, подобной нашей! Любви двух существ, в едином порыве посвятивших себя одному делу — подарить миру совершенное произведение искусства. Мы и минуты не могли провести друг без друга, купались в общении друг с другом — и я все толстела и толстела, и у Уилли это ничего не вызывало, кроме искренней и буйной радости. С каждым лишним фунтом увеличивалась площадь холста, который предстояло заполнить искрометной фантазии художника.

Мы упивались этим временем, ибо смутно чувствовали, что с окончанием шедевра что-то уйдет из нашей жизни — карнавальные огни нескончаемого праздника поневоле померкнут. Правда, завершив титанический труд, Уилли получит возможность бросить труппу лилипутов и больше не выступать с куплетами в ярмарочных балаганах, ибо мы сможем выставлять меня в Музее искусства в Чикаго, в лучших собраниях Вашингтона и Нью-Йорка, в Лувре и лондонской галерее Тейта. Всю оставшуюся жизнь мы будем путешествовать по свету и ни о чем не печалиться!

И так мы трудились, год за годом. Окружающий мир был нам не нужен, ибо нам хватало друг друга. Днем мы зарабатывали на хлеб — каждый своей прежней работой. Зато по вечерам начиналось пиршество истинного труда — до самой полуночи. Сегодня Уилли корпит над моей лодыжкой, завтра над локтем, а послезавтра оживляет белые пустыни крестца. Уилли редко позволял мне любоваться его трудом. Он не любил, когда во время работы ему заглядывают через плечо. Хотя мне для этого порой пришлось бы заглядывать через свое плечо. Иногда мне приходилось проводить месяцы в мучительном ожидании, прежде чем он разрешал оценить новую работу, кропотливо созданную дюйм за дюймом на протяжении бесконечной череды вечеров, когда я утопала в волнах его вдохновения, покуда он расцвечивал меня всеми цветами радуги.

Восемь лет это продолжалось — восемь чудесных, незабываемых лет! И вот наступил день, когда работа завершилась.

Уилли упал как подкоженный на постель и проспал сорок восемь часов подряд. И я, тоже обессиленная, спала рядом — мамонт рядом с черным ягненокком.

Это случилось всего лишь четыре недели назад. Да, четыре коротких недели назад нашему счастью пришел конец!

— Так-так, ясно, — изрек доктор Джордж. — Вы с мужем страдаете тяжелой формой посткреативной депрессии типа «тоски по животу» — стресса, который мать испытывает после рождения ребенка. Ваша многолетняя работа закончена. И, как после завершения всякого вдохновенного труда, наступает период апатии, которая частенько сопровождается необъяснимой грустью. Но теперь вам следует сосредоточить внимание на тех напрадах, что окупят долгие титанические усилия. Итак, вы наживаетесь в кругосветное турне?

— Нет, — подувшисьнула Эмма Флит, и слезы заструились из ее глаз. — Какое турне, если Уилли может сбежать буквально в любой момент! Он уже начал убежать и слоняться по городу. Вчера я застала его в кладовке — он протирал и смазывал свои старые весы. А сегодня утром я застукала его с этими весами на ярмарке — впервые за восемь лет он сидел под табличкой «Узнайте свой вес!».

— Батюшки! — воскликнул психиатр. — Неужели он...

— Да, он взвешивает на ярмарке женщин. Он ищет новое положение! Он ничего не говорит, но я знаю, знаю! На этот раз он отыщет женщину еще крупнее — пятидесяти- или даже шестидесятифунтовую! Я утром почувала эту опасность еще месяц назад, буквально сразу после окончания нашего шедевра. Поэтому я стала есть еще больше и толстеть на глазах. От этого на коже появились растяжки, которые исказили некоторые пропорции, а кое-где появились новые свободные пространства, которые нуждались в заполнении. Таким образом, Уилли был вынужден тут подправить, там прибавить — и это заняло его на некоторое время. Но теперь я выдохлась, поправиться больше я уже не в силах. И нигде на моем теле — от щиколоток до кадыка — нет и миллионной доли дюйма, куда бы можно было врисовать еще одного демона, или дервиша, или барочного ангелочка. И мое сердце лопнет, если я прибавлю еще хотя бы фунт веса.

Больше никакого шанса. Для Уилли я безнадежно использованный материал. Я боюсь, что моему мужу, если он проживет долго, придется жениться еще раз четыре — и всякий раз на более объемной особе, дабы иметь еще больше простора для своего крепнущего таланта, пока он не создаст шедевр шедевров исполинского размера. А в последнюю неделю, в довершение всех бед, у него вдруг появилась страсть критиковать.

— Он позволяет себе критиковать свой шедевр? — сочувственно спросил психоаналитик.

— Как любой большой художник, он во власти мечты о полном совершенстве. И вот теперь Уилли находит недостаток тут, упущение там, излишне примитивную композицию в одном месте и неверный колорит — в другом. А кое-где мое лихорадочное прибавление веса непоправимо исказило пропорции. Для него я была прежде всего началом творческого пути — так сказать, первой пробой татуировочной иглы. И теперь ему надо двигаться дальше — от ученических проб к зрелому мастерству. Ах, доктор, он меня вот-вот бросит! Какая судьба ожидает одинокую брошенную четырехсотфунтовую женщину, чье тело сплошь покрыто иллюстрациями? Если он меня покинет — куда мне деваться, куда идти? Кому я такая нужна? Неужели мне предстоит вернуться к прежнему жалкому существованию и снова ощущать себя незваным и нежеланным гостем в этом мире — как это было до встречи с Уилли, до моего безумного счастья?

— Как психоаналитик, — произнес доктор Джордж, — я не имею права давать прямые советы. Однако...

— Однако? Однако что? — вся загорелась Эмма Флит.

— Искусство психоаналитика не в том, чтобы подсказать пациенту способ решить его проблему, а в том, чтобы пациент, незаметно подведенный к этому решению, самостоятельно обнаружил его. Однако в вашем случае...

— Ах, не мучьте, говорите!

— Случай представляется мне не слишком сложным. Дабы сохранить любовь вашего мужа...

— Дабы сохранить любовь моего мужа... Что?

Доктор лукаво усмехнулся:

— Для этого вам следует уничтожить шедевр.

— Что?

— Ну, стереть его, истребить. Ведь от татуировок можно избавиться, не правда ли? Я где-то однажды читал про это.

— Ах, доктор! — Эмму Флит будто лебедкой подняло с кушетки. — Это именно то! И это возможно! И тем более замечательно, что именно Уилли придется этим заняться! Ему понадобится по меньшей мере три месяца, чтобы вернуть кожу к прежнему виду, избавив меня от шедевра, который теперь лишь раздражает его своим несовершенством. А когда я стану опять девственно-белой, мы можем трудиться снова еще восемь лет, после чего смыть все — и еще восемь лет, а потом еще. О, доктор, я знаю, он согласится. Быть может, он уже давно ждет, когда я сама это предложу. Какая же я дуручка, что прежде не сообразила! Ах, доктор, доктор!

Она шагнула к нему и чуть было не раздавила в своих объятиях.

Оставив чуть живого психоаналитика приходить в себя, она пошла кругами в центре комнаты.

— Как странно и чудесно, — щебетала Эмма Флит, сотрясая пол неуклюжим танцем, — всего за полчаса вы сбросили с меня груз на три тысячи дней вперед или сколько их там у меня осталось. Вы истинно мудрый человек. Я готова заплатить вам любой гонорар!

— Меня устроит плата и по моей обычной таксе, — сказал доктор.

— Хотя я горю нетерпением сообщить обо всем Уилли, — вдруг сказала миссис Флит, — но вы были так мудры, так чутки, что заслужили честь увидеть шедевр перед тем, как он будет безвозвратно уничтожен.

— Едва ли это необходимо, мадам.

— Поскольку творение скоро погибнет, я не могу лишиться вас возможности оценить редкую фантазию, точный глаз и твердость руки такого крупного художника, как Уилли Флит!

Воскликнув это, она стала проворно расстегивать пуговицы своего безразмерного сарафана.

— Миссис Флит, едва ли...

— Вот! — сказала она и широко развела полы сарафана.

То, что под сарафаном она оказалась совершенно голой, доктора мало шокировало.

Однако опарашен он был невероятно. Удивлен настолько, что дыхание сперло. Глаза у него чуть не выкатились из орбит. Рот беспомощно открылся. Он рухнул обратно в кресло, не в силах отвести взгляд от необозримых телес Эммы Флит.

От необозримых телес Эммы Флит, молочного-белых и девственно-чистых. Ни единого миллиметра татуировки, ни тебе рисуночка, ни тебе картинки.

Нагое, нетронутое, никак не иллюстрированное.

Доктор Джордж еще раз охнул и привел в порядок свое лицо.

Довольная произведенным эффектом, со счастливой улыбкой акробата, проделавшего сложнейший трюк под куполом цирка, она запахнула сарафан и застегнула пуговицы.

Когда она пошла, переваливаясь, к двери, доктор воскликнул:

— Погодите!

Но Эмма Флит уже распахнула дверь и тихонько, звенящим от радости голосом подозвала мужа. Нагнувшись к его миниатюрному ушку, она что-то быстро зашептала, и доктор видел, как глаза Уилли Флита широко открылись, а рот округлился от удивления.

— Доктор! — тонким голосом вскричал он. — Спасибо вам, доктор! Огромное, огромное спасибо!

Он просеменил через кабинет, схватил руку психоаналитика и принялся ее трясти. Доктор Джордж не мог не удивиться пламенности и силе его рукопожатия. Эта маленькая ручка была воистину рукой искусственного художника, мастера. А в темных глазах, благодарно устремленных на доктора, прочитывался ум и огромный артистический темперамент.

— Все складывается наилучшим образом! — возбужденно сказал Уилли. — Теперь все будет отлично!

Доктор Джордж пребывал в растерянности, нерешительно переводя взгляд с крошечного супруга на исполинскую супругу, которая уже тянула Уилли прочь из кабинета — как видно, горю нетерпением поскорее начать новый этап работы.

— Надо ли нам прийти к вам еще раз, доктор? — осведомилась Уилли.

Боже правый, думал психоаналитик, неужели он всерьез думает, что покрыл татуировкой все ее тело — так сказать, от носа до кормы? И неужели она покорно поддакивает и подыгрывает ему? Значит, это он сумасшедший в этой паре?

Или же это она воображает, что он покрыл ее татуировкой с ног до головы? А поддакивает и подыгрывает — он. В этом случае безумна она.

Однако можно предложить и самое фантастическое: что они оба свято верят в то, что она вся расписана как Сикстинская капелла. И поддерживают друг друга в своей вере, создавая совместными усилиями некий особенный иллюзорный мир.

— Я спрашиваю, доктор, нам повторно приходиться? — повторил Уилли свой вопрос.

— Нет, — сказал доктор. — Повторно приходиться не надо.

Да, не надо. Потому что какое-то наитие свыше и природное милосердие заставили его прикусить язык, и доктор Джордж в итоге поступил как нельзя лучше. Сперва он, до конца не разобравшись, дал дельный совет, а потом вовремя промолчал. А терапевтический эффект оказался отличным. Кто из них верит в татуировку — он, она или они оба, — совершенно не важно. Если стать чистым холстом, готовым принять новую живопись, важно для Эммы Флит, то доктор сделал благое дело, предложив смыть пидевер. А если это ее супруг стал искать другую женщину, чтобы покрыть воображаемой татуировкой, то рецепт опять-таки сработал: жена вновь стала для него девственно-чистой и желанной.

Спасибо, доктор! Спасибо! Огромнейшее спасибо!

— Не надо меня благодарить, — сказал доктор. — Я ничего особенного не совершил.

Он едва не сказал, что все это было шуткой, забавным кульбитом. И он только чудом благополучно приземлился на ноги!

— Всего доброго! Всего наилучшего!

Лифт унес вниз гигантскую женщину и крошечного мужичку.

— Всего доброго, доктор, и спасибо, спасибо! — еще какое-то время доносилось из шахты лифта.

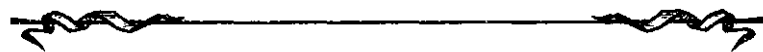
Доктор Джордж рассеянно огляделся и на ватных ногах вернулся в свой кабинет. Закрыв за собой дверь, бессильно прислонился к стене.

— Врач, излечись сам...

Он шагнул вперед. Чувство реальности не возвращалось. Надо бы прилечь, хотя бы на минуту-другую.

Но куда?

На кушетку, разумеется. На нее, родную.



Шлем



Посылку доставили с полуденной почтой. Мистер Эндрю Лемон потряс ее и сразу же, по звуку, догадался, что там, внутри. Мелькнула мысль об огромном волосатом тарантуле.

Прошло немало времени, прежде чем он собрался с духом, дрожащими пальцами разорвал шелестящие обертки и поднял крышку картонной коробки.

На снежно-белой парчовой подушечке, ошетилившись, лежало нечто безликое, этакий лохматый ком из конского волоса, каким набита старая софа.

Эндрю Лемон хихикнул:

— Индейцы приходили за этим и уходили, оставляя после себя кровавую память. Итак, приступим.

Приложив паричок с подкладкой из новой лакированной кожи к своему голому черепу, он приподнял его, как приподнимают шляпу, чтобы поздороваться с прохожим.

Паричок сидел как влитой, скрыв аккуратную, размером с монету, дырку, уродовавшую верхнюю часть лба. Эндрю Лемон, взглянув на странного человека, отразившегося в зеркале, издал восторженный вопль.

— Эй, ты кто такой? Лицо вроде знакомое, но, ей-же-ей, пройдешь мимо и не оглянешься! А почему? Потому что теперь

этого больше нет! Проклятая дыра исчезла, никто и не подумает, что она когда-то украшала мой лоб! С Новым годом вас, мужчина, да, вот именно — с Новым годом!

И он, улыбаясь, кругами заходил по комнатке, раздираемый желанием выйти на улицу, но страшаясь распахнуть дверь и удивить мир. Он походил перед зеркалом, искоса поглядывая на незнакомого, спящего за поверхностью стола, и всякий раз, встречаясь с ним глазами, смеялся и тряс головой от радости. Затем сел в кресло-качалку и, ухмыляясь, покачался, перелистывая номера «Дикого Запада» и «Захватывающих фильмов». Но не смог удержаться, чтобы не провести правой дрожащей рукой по лицу, постепенно подбираясь к краешку хрустящей осоки, нависшей над его ушами.

— Разреши угостить тебя, парень!

Он распахнул покрытую пятнышками дверцу аптечки и трижды глотнул из горлышка. На глаза набежали слезы, и он хотел уже было отрезать кусок жевательного табака, как вдруг остановился, прислушиваясь.

За дверью, в темном коридоре, раздался едва различимый шорох, словно мышь пробежала по истертой ковровой дорожке.

— Мисс Фремвелл,— пояснил он своему отражению в зеркале.

В одно мгновение паричок был содран с головы и брошен обратно в коробку. Лемон, покрывшись холодным потом, захлопнул крышку, не в силах вынести даже звука шагов этой женщины, двигавшейся мимо, словно летний ветер.

На цыпочках мужчина прокрался к запертой двери, ведущей в смежную комнату, и склонил голую, яростно полыхающую от возбуждения голову. Он услышал, как мисс Фремвелл вошла к себе в комнату и принялась готовить себе ужин, позвякивая фаянсовой посудой, ножами и вилками. Затем отошел от запертой на задвижку, засов и замок, да еще и забитой намертво четырехдюймовыми гвоздями двери. Мужчина вспомнил о почках, когда просыпался в своей одинокой постели, представляя, как она вытаскивает гвозди, откидывает засов, отодвигает задвижку... И как после подобных мыслей ему требовалось минут сорок, чтобы снова погрузиться в сон.

Теперь еще около часа она будет шелестеть в своей комнате. Наступит темнота. На небо выпадут звезды, когда он постучит к ней и спросит, не хочет ли она посидеть на крыльце или прогуляться в парке. И тогда, если она захочет узнать о его третьем, слепом глазе, то ей придется вот так, плавно и мягко, провести ручкой по его голове. Но ее маленькие беленькие пальчики никогда не подберутся к шраму души его ближе чем на тысячу миль, и он так и останется для нее словно, ну словно... вон те оспины на лице луны. Пальцем ноги он взлохматил номер «Удивительной научной фантастики» и фыркнул. Быть может, если она начнет фантазировать по этому поводу — ведь каждый хотя бы раз в жизни написал песенку или стишок? — то ей представится, как давным-давно на него налетел метеор, стукнул по лбу и исчез в таких даях, где нет ни кустов, ни деревьев, только пустота. Он снова фыркнул и покачал головой. Возможно, возможно. Но что она подумает, станет ясно только на закате.

Эндрю Лемон подождал еще час, изредка поплеывая из окошка в теплую лютую ночь.

— Восемь тридцать. Пора идти.

Он распахнул дверь в холл и на мгновение задержался, оглянувшись на скрывающийся в коробке паричок — новый, отличный паричок. Нет, пока он еще не мог выйти в нем на люди.

Он прошел по коридору к дверям мисс Наоми Фремвелл, таким тонюсеньким, что казалось, сквозь эту перегородку можно услышать биение ее сердца.

— Мисс Фремвелл,— прошептал он.

Он захотел взять ее, словно птичку, в свои большие ковшобразные руки и тихонько поговорить. А она будет молчать. Но, вытирая пот, внезапно набежавший на лоб, он вновь наткнулся на впадину и только в самый последний момент удержался, а то бы рухнул на дверь, задыхаясь от крика, ввалился в чужую комнату! Он приложил руку ко лбу, пытаясь скрыть зияющую пустоту. И ему стало страшно, он ни за что не хотел опускать ладонь. Все изменилось. Только что он боялся ввалиться в комнату, а теперь испугался, что нечто ужасное, тайное, личное может вырваться из-за этой двери и захлестнуть его.

Свободной рукой он еще раз царапнул по панели, словно стирая въевшуюся пыль.

— Мисс Фремвелл?

Он немного отступил, пытаясь определить, сколько ламп зажжено у нее в комнате. Ведь свет от них может ударить ему в лицо в тот момент, когда она распахнет дверь, отбросит его руку и обнажит зияющую рану. И тогда она будет внимательно, как в замочную скважину, смотреть в нее, разглядывая его жизнь.

Сквозь щель под дверью пробивался тусклый свет одной лампы.

Он сжал пальцы в кулак и трижды опустил его на дверь мисс Фремвелл.

Створка распахнулась и медленно отошла вбок.

Позже, сидя на веранде, в лихорадочном бесчувствии переставляя ноги, потя, он попытался набраться храбрости и завести разговор о женитьбе. Когда луна поднялась в полный рост, дыра на его голове стала выглядеть как тень от листа. Если он постарается держаться к ней в профиль, то кратер и вовсе не будет заметен: он растворится в черноте обратной стороны его лица. Но, повернувшись боком, Эндрю Лемон понял, что половина его словарного запаса бесследно испарилась, а сам он превратился в какой-то пень.

— Мисс Фремвелл, — выдавил из себя Эндрю Лемон.

— Да? — Она смотрела сквозь него.

— Мисс Наоми, я думаю, что до последнего времени вы меня совсем не замечали.

Она ждала. Он продолжил:

— Но я-то вас видел. Дело в том, что, ну-у, сейчас я должен наконец сказать вам все до конца. Мы с вами сидим здесь, на этом крыльце, в течение последних нескольких месяцев. Я хочу сказать, что теперь мы знаем друг друга довольно неплохо. Конечно, вы на целых пятнадцать лет моложе, но я хотел бы спросить: что вы скажете, если мы объявим о нашей помолвке?

— Спасибо вам большое, мистер Лемон, — сказала она быстро и вежливо. — Но я...

— О, понимаю! Я понимаю! Это все из-за моей головы, все из-за этой проклятой штуки!

Она посмотрела на его профиль в неверном свете луны.

— Нет, мистер Лемон, я бы так не сказала, то есть я бы сказала, что *это* здесь вовсе ни при чем. Я, разумеется, не слепая, но вряд ли *это* может стать действительной помехой. Моя подруга, очень близкая, кстати, вышла замуж за человека с деревянной ногой. Так после она рассказывала мне, что некоторое время вообще об этом не подозревала.

— Все из-за этой проклятушей дыры! — горько воскликнул мистер Лемон. Он вытащил плитку прессованного табака, прикинул, удобно ли будет куснуть разочек, передумал и убрал ее в карман. Руки его сжались в кулаки, и он уныло уставился на них, словно на две каменные глыбы. — Ну что же, я расскажу вам об этом все, мисс Наоми. Я расскажу, как все произошло.

— Если не хочется — тогда лучше не надо.

— Когда-то я был женат, мисс Наоми. Я был женат, черт побери! И вот в один прекрасный день моя женушка взяла молоток и просто-напросто ударила меня прямо по лбу!

Мисс Фремвелл задохнулась. Словно тот давний удар настиг ее сейчас.

Мистер Лемон рубанул кулаком теплый вечерний воздух.

— Да, мэм, она стукнула меня прямо в лоб, вот так. И мир взорвался, уверяю вас! Все обрушилось; так здание обращается в руины. Один-единственный ударчик похоронил меня! Что боль? Это не поддается описанию!

Мисс Фремвелл углубилась в себя. Она закрыла глаза и принялась размышлять, покусывая губы. Затем сказала:

— Бедный, бедный мистер Лемон.

— Она сделала это так спокойно, — в смятении произнес мистер Лемон. — Она просто встала надо мной, когда я лежал на кушетке, было два часа пополудни, вторник, и сказала: «Эндрю, проснись!» Я открыл глаза, посмотрел на нее, и все, и она ударила меня молотком. О боже!

— Но почему? — спросила мисс Фремвелл.

— Да просто так, действительно просто так. Ох, до чего же невыносимая была женщина!

— Но почему ей взбрело в голову сделать это?

— Я же говорю вам: просто так.

— Она что, была сумасшедшей?

— Вполне возможно. О да, даже наверняка.

— И вы подали на нее в суд?

— Да нет, не стал. В конце концов, она же не соображала, что делает.

— Вы потеряли сознание?

Мистер Лемон задумался, в его мозгу вырисовывалась картинка — настолько четкая и навязчивая, что ему не оставалось ничего другого, как облечь ее в слова.

— Нет, я помню, как встал. Я встал и сказал ей: «Что же ты делаешь?» — и потом заковылял в ее сторону. Там было зеркало. Я увидел дыру в голове, глубокую-глубокую, и кровь, вытекающую из нее ручьем. Я стал похож на жертву индейца. А она, моя жена, просто стояла. Потом закричала от ужаса, уронила молоток и выбежала.

— И после этого вы упали в обморок?

— Нет, не упал. Каким-то образом я вышел на улицу и промычал, что мне нужен врач. Потом сел в автобус, представляете себе, в автобус! Да еще заплатил за проезд! И попросил высадить меня возле какой-нибудь больницы. Тут все как закричат, представляете? Потом я отключился, а очнувшись, понял, что над раной коагулирует врач, прочищает ее, копается там.

Он поднял руку, и его пальцы запорхали над раной, ошупывая ее со всех сторон, — так язык дотрагивается до пустого места, на котором совсем недавно рос отличный, здоровый зуб.

— Аккуратная работа. Доктор смотрел на меня так, словно я — без минуты покойник.

— И сколько же дней вы провели в больнице?

— Два. Потом встал и принялся бродить, чувствуя себя непонятно как. А в это время жена упаковала свои вещички и улетпнула.

— Боже мой, боже мой, — вновь обретя дыхание, произнесла мисс Фремвелл. — Мое сердце стучит как сумасшедшее. Я словно бы все это вижу, слышу, чувствую. Почему, почему, ну почему же она так поступила?

— Я говорил вам: не вижу никакой причины. Просто спятила, так я думаю.

— Но, может, была какая-нибудь ссора?

Кровь прихлынула к щекам мистера Лемона. Он почувствовал, что дыра на лбу запылала, словно жерло вулкана.

— Да не было никакой ссоры, просто сидел совершенно спокойно, вот как сейчас. Днем я люблю сидеть, сняв башмаки, расстегнув рубашку...

— Может... может, у вас была другая женщина?

— Нет, никогда, ни одной!

— А вы не... выпивали?

— Нет, так, иногда, капельку; знаете, как это приятно...

— В карты играли?

— Нет, нет, нет!

— Но дыра у вас в голове, мистер Лемон?! Ее что же, просто так проделали, из-за ничего?!

— Вы, женщины, похожи друг на друга. Обязательно подавай вам какую-нибудь гадость! Говорю вам: не было никакой причины. Она просто обожала молотки.

— А что она сказала перед тем, как вас стукнуть?

— Только «Эндрю, проснись» — и все.

— А перед этим?

— Да ничего. Ну, то есть она говорила что-то насчет магазинов, что ей нужно сделать кое-какие покупки, но я сказал, что слишком жарко. Что я лучше полежу, потому как не очень хорошо себя чувствую для подобного похода. Но ее не заботило мое самочувствие. Она просто психанула, а затем, с часок об этом поразмышляв, схватила молоток и сделала из моей головы яичницу. Я думаю, это погода так на нее повлияла.

Мисс Фремвелл задумчиво сидела в тени, расчерченной квадратами решетки, потихоньку поводя бровями.

— И как долго вы были женаты?

— Год. Помню, что поженились мы в июле и тогда же я захандрил.

— Захандрили?

— Я никогда не был особенно здоровым человеком. Работал в гараже. Вот там-то и подхватил поясничные боли и не мог больше работать, а лежал целыми днями на кушетке. А Элли, она служила в Первом Национальном банке.

— Все ясно, — сказала мисс Фремвелл.

— Что?

— Ничего.

— Со мной вообще-то легко ужиться. Я попросту не болтаю. Характер мягкий, спокойный. Деньги зря не трачу — экономлю. Даже Элли признавала это. А еще не люблю ссор. Иногда Элли выпячивала челюсть и начинала меня заводить, словно кидала мячик, но я не возвращал подобные подачи. Сидел и молчал. Я отношусь к этому просто. Что за польза, если все время шебуршиться и чесать языком, не так ли?

Мисс Фремвелл посмотрела на лоб мистера Лемона при лунном свете. Губы ее задвигались, но он не расслышал ее слов.

Внезапно она вскочила на ноги, глубоко вздохнула и, оглядевшись вокруг, заморгала, словно удивляясь тому, что за стеклами веранды существует мир.

Некоторое время дорожные звуки были почти не слышны, и тут их словно кто-то включил. Мисс Фремвелл со стоном вздохнула.

— Как вы сами только что сказали, мистер Лемон, чесание языков вас никуда не приведет.

— Правильно! — воскликнул он. — Я человек спокойный, неразговорчивый...

Но мисс Фремвелл не смотрела на него, рот ее кривился. Увидев это, он замолчал.

Вечерний ветерок раздул ее платье и рукава его рубашки.

— Уже поздно, — сказала мисс Фремвелл.

— Но сейчас всего девять часов!

— Завтра мне рано вставать.

— Но вы так и не ответили на мой вопрос, мисс Фремвелл.

— На вопрос? — Она моргнула. — Ах да, на вопрос. — Она поднялась с плетеного стульчика и попыталась на ощупь отыскать ручку-кнопку от входной двери. — Мне необходимо хорошенько обдумать все сказанное вами, мистер Лемон.

— Но я же прав! Вся эта болтовня ни к чему хорошему не ведет!

Дверь закрылась. Он слышал, как девушка проходит по темному теплому холлу, и часто-часто дышал, чувствуя на лбу свой третий глаз — глаз, которому никогда не прозреть.

Он ощутил, как в грудной клетке зашевелилось нечто смутное, словно там поселилась болезнь от затянувшейся беседы. А затем, вспомнив о новой белой подарочной коробке, ожида-

ющей его прихода на столе, заспешил к себе. Открыл дверь и направился к своей комнате. Войдя, он чуть было не растянулся, поскользнувшись на номере «Романтических сказок». Лемон порывисто включил свет, несколько неуклюже открыл коробку, заулыбался и поднял паричок с подушек. Он стоял перед зеркалом и, следуя инструкциям, поправлял и подтыкал свой шлем. Причесался, затем вышел из комнаты и постучал в дверь мисс Фремвелл.

— Мисс Наоми? — позвал он, улыбаясь.

При звуке его голоса лампа за дверью погасла.

Еще не веря, он приник к темной замочной скважине.

— Мисс Наоми? — повторил он торопливо.

Но в комнате ничего не изменилось. По-прежнему было темно. Чуть погодя он подергал дверную ручку. Она не поддавалась. Он услышал вздох мисс Фремвелл и несколько слов, но ничего не разобрал. Ее маленькие ступни прошлепали к двери.

Включился свет.

— Да? — сказала она.

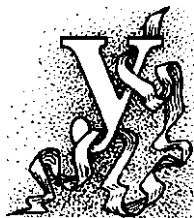
— Посмотрите на меня, мисс Наоми, пожалуйста, — умолял он. — Откройте дверь и посмотрите.

Звякнула задвижка, и дверь приоткрылась на дюйм. Его внимательно осмотрели.

— Посмотрите, — произнес мистер Лемон гордо, натянув паричок на вмятину. Он представил, что видит себя отраженным в ее зеркале, и приосанился. — Вы только посмотрите сюда, мисс Фремвелл.

Щель немного увеличилась, но дверь тотчас же хлопнула; щелкнула задвижка, и девушка за тонкой преградой бесстрастно приговорила его:

— А голова-то у вас, я гляжу, все-таки дырявая.



Фрукты с самого дна вазы

Уильям Эктон поднялся с пола. Часы на камине пробили полночь.

Он взглянул на свои пальцы, взглянул на большую комнату, в которой находился, и на человека, лежащего на полу. Уильям Эктон, чьи пальцы стучали по клавишам пишущей машинки, и ласкали любимых женщин, и жарили яичницу с беконом на завтрак поутру, именно этимидесятью скрюченными пальцами только что совершил убийство.

Он никогда в жизни не мнил себя скульптором, однако сейчас, видя между своими руками распростертое на полированном дубовом полу тело, он вдруг осознал, что подобно скульптору, тиская, скручивая и переворачивая человеческую плоть, он так отделал человека по имени Дональд Хаксли, что совершенно изменил его физиономию, да и всю его фигуру.

Сплетением своих пальцев он уничтожил вьедливый блеск Хакслиевых глаз, заменив его слепой, холодной тоской в глазных впадинах. Всегда розовые и чувственные губы разверзались, открыв лошадиные зубы, желтые от никотина резцы и клыки, золотые коронки на коренных зубах. Нос, тоже обычно розовый, обесцветился, как и его уши, и покрылся пятнами. Раскинутые на полу ладони Хаксли были раскрыты, впервые за всю их жизнь будто прося чего-то, а не требуя, как обычно.

Да, так это воспринималось с эстетической точки зрения. В общем-то, перемены в Хаксли пошли на пользу ему. Смерть превратила его в человека, более достойного и доступного. С ним теперь можно было говорить, и он вынужден был слушать вас.

Уильям Эктон посмотрел на свои собственные пальцы.

Дело сделано. Теперь не в его силах вернуть все обратно. Не слышал ли кто-нибудь? Он прислушался. Снаружи доносились обычные звуки ночного городского транспорта. Никто не стучал в дверь, не пытался разбить ее в щепки ударом плеча, никто не орал, требуя впустить его. Убийство, превращение человеческой плоти из теплой в ледяную произошло, и никто не знал об этом.

И что теперь? Часы продолжали отбивать полночь. В истерике он всеми фибрами души рвался в одном направлении — к двери. Только бы убежать, убраться отсюда, рвануть на вокзал, на поезд, остановить такси, сесть, ехать, мчаться, идти, ползти, лишь бы подальше отсюда и никогда не возвращаться назад!

Его руки покачивались перед его глазами, летали, поворачивались то одной, то другой стороной. Он сжал их в раздумье, они, легкие как перышко, повисли по бокам. Почему он так пристально разглядывал их? — спросил он самого себя. Было ли в них что-то настолько важное, что он сейчас, после успешного удушения своего противника, вынужден остановиться и изучить их досконально, морщинку за морщиной, завиток за завитком?

Руки были совершенно обыкновенные. Не толстые и не тонкие, не длинные и не короткие, не волосатые и не голые, не наманикюренные и не грязные, не мягкие и не мозолистые, не морщинистые и не гладкие — отнюдь не руки убийцы, однако и не руки ни в чем не повинного человека. Он сам удивлялся, глядя на них.

Его занимали, собственно, даже не сами его руки и не сами по себе его пальцы. В том тупом безвременье, которое наступило после совершенного им насилия, он находил интересным только *кончики* своих пальцев.

На камине по-прежнему тикали часы.

Он опустился на колени возле тела Хаксли, вынул из кармана Хаксли его носовой платок и стал методично протирать им

шею Хаксли. В каком-то исступлении он чистил, массировал шею, протирал ее снаружи и сзади. Затем он встал.

Он посмотрел на шею Хаксли. Посмотрел на полированный пол. Медленно наклонился и провел по полу платком несколько раз, потом принялся тереть и драить пол сначала вокруг головы трупа, затем возле его рук. Потом он отполировал пол вокруг всего тела. Он оттер пол на ярд вокруг всего тела убитого. Затем он отполировал пол еще на расстоянии двух ярдов вокруг трупа. Затем он...

Он остановился.

И в какое-то мгновение его глазам предстал весь дом, с его холмами в зеркалах, с резными дверями, прекрасной мебелью; и он вдруг совершенно явственно, слово в слово, будто кто повторил все это ему, услышал все, что говорил ему Хаксли и что говорил он сам во время их беседы всего какой-нибудь час назад.

Вот он нажимает кнопку звонка у Хаксли. Дверь открывается.

— О! — удивляется Хаксли. — Это ты, Эктон?

— Где моя жена, Хаксли?

— Уж не думаешь ли ты, что я скажу тебе это? Да не стой ты там, идиот этакий! Если хочешь поговорить всерьез, входи. В эту дверь. Сюда. В библиотеку.

Эктон *дотронулся* до двери в библиотеку.

— Выпьешь?

— Да. Ни за что не поверю, что Лили ушла от меня, что она...

— Есть бутылка бургундского, Эктон. Тебе не трудно будет достать его из шкафа?

Достаю. *Трогаю ее. Касаюсь* шкафа.

— Там есть интересные первые издания, Эктон. Пощупай вот этот переплет. *Пощупай* его.

— Я пришел не книги смотреть. Я...

Он *дотрагивался* до книг и до стола в библиотеке, он *дотрагивался* до бутылки и до стаканов с бургундским.

И вот, скорчившись на полу возле холодного тела Хаксли с носовым платком в руке, в полной неподвижности Эктон, оше-

ломленный пришедшей ему в голову мыслью и всем увиденным, расширенными от ужаса глазами, с отпавшей челюстью разглядывал комнату, стены, мебель, окружавшие его. Он закрыл глаза, уронил голову, стиснул в руках платок, превратив его в пыж, и, кусая губы, постарался осадить себя.

Отпечатки его пальцев были везде, *везде!*

— Тебя не затруднит налить бургундское, Эктон, э? Из бутылки, э? И собственными руками, э? А то я ужасно устал, понимаешь?

Пара перчаток.

Прежде чем приниматься еще за что-то, прежде чем протирать следующий предмет, ему необходимо найти пару перчаток, иначе, очищая очередную поверхность, он может невзначай оставить на ней отпечаток своей личности.

Он засунул руки в карманы. Он прошел через весь дом в переднюю к стойке для зонтов, к вешалке для шляп. Обнаружил пальто Хаксли. Вывернул его карманы.

Перчаток не было.

Снова засунув руки в карманы, он поднялся по лестнице, продвигаясь быстро, но при этом контролируя каждый свой шаг, не позволяя безумию, дикости овладеть им. С его стороны было грубой ошибкой не носить перчаток (но он же, в конце концов, не замышлял убийство, а в его подсознании, которое могло загодя предположить возможность совершения преступления, даже намек не было на то, что еще до истечения ночи ему могут понадобиться перчатки), и теперь ему приходилось расплачиваться за свою оплошность. В доме, конечно, где-то должна была находиться хотя бы пара перчаток. Ему надлежало спешить: ведь даже в это время к Хаксли мог кто-нибудь заглянуть. Кто-нибудь из богатеньких подвыпивших друзей, имеющих привычку, не говоря ни «здравствуй», ни «прощай», зайти, выпить, поорать, посмеяться и уйти восвояси. До шести утра, когда за Хаксли должны были заехать друзья и поехать с ним сначала в аэропорт, а затем в Мехико-Сити, Эктону нужно было выбраться из дома...

Эктон торопливо обшарил все ящики навверху, используя при этом носовой платок в качестве защиты. Он перевернул семь-

десять или восемьдесят ящичков в шести комнатах, после чего будто языки свешивались из них, и продолжал рыться в следующих. Он чувствовал себя голым, неспособным делать что-либо, пока не найдет перчатки. Он мог протереть платком все в доме, отполировать любую поверхность, на которой оказались отпечатки его пальцев, но при этом случайно опереться о стену там или тут и таким образом пропечатать свою собственную судьбу микроскопическими, извилистыми символами! Это будет его собственной, удостоверяющей его личность печатью на доказательстве об убийстве, вот чем это будет! Это все равно что восковые печати в древности, когда, гремя папирусом, на нем цветисто расписывались чернилами, присыпали роспись песком, чтобы высушить чернила, и в конце послания прикладывали перстень с печатью на расплавленный алый воск. Так оно и будет, уж поверьте, если он оставит где-нибудь тут хотя бы один отпечаток своих пальцев. Он не пойдет так далеко, чтобы признать свою вину в убийстве наложением собственной печати на улики.

Еще ящички! Успокойся, будь внимателен, будь осторожен, повторял он себе.

На самом дне восемьдесят восьмого ящичка он обнаружил перчатки.

«О мой бог! Мой бог!» Он со вздохом опустился на стол. Примерил перчатки, повертел ими перед глазами, застегнул их, с гордостью постибал пальцы. Перчатки были серого цвета, мягкие, плотные, непроницаемые. Теперь он мог делать все что угодно своими руками, не рискуя оставить следы. В спальне перед зеркалом он показал себе нос и высунул язык.

«НЕТ!» — прокричал Эктон.

Это был воистину зловерный план.

Хаксли *нарочно* свалился на пол! О, до чего же это дьявольски умный человек! Прямо на дубовый пол упал Хаксли, а вслед за ним и Эктон. И они катались по нему, и тузили друг друга, и цеплялись за него, без конца покрывая его отпечатками ошалевших пальцев! Хаксли переместился на несколько футов — Эктон пополз за ним, чтобы охватить его шею руками и давить

ее до тех пор, пока не выдавил из него жизнь, словно пасту из тюбика!

Уже в перчатках Уильям Эктон вернулся в комнату и, опустившись на колени, начал тщательно протирать каждый дюйм пола, на котором могли остаться следы. Дюйм за дюймом, дюйм за дюймом, он все полировал и полировал пол, пока не увидел отражение собственного напряженного, покрытого потом лица в нем. Потом он подошел к столу и стал шлифовать его ножку, затем выше, всю добротную основу стола, добрался до его крышки, протер ручки ящичков. Обнаружив вазу с восковыми фруктами, он до блеска вычистил серебро, вынул из вазы несколько восковых фруктов и основательно протер их, оставив нетронутыми те, что лежали на самом дне.

«Я уверен, что не касался их», — успокоил он себя.

Покончив со столом, он обратил свое внимание на картину в раме, висевшую над ним.

«Я знаю, что не трогал ее», — сказал он себе.

Он стоял, не спуская с нее глаз.

Он осмотрел все двери в комнате. Какими дверями он пользовался сегодня вечером? Он не помнил. Тогда протрем все. Начал он с дверных ручек, продраил их до блеска и тогда стал оттирать двери сверху донизу, не давая себе поблажки. Потом он занялся мебелью в комнате и протер все кресла.

— Это кресло, в котором ты сидишь, Эктон, старое, еще времен Людовика XIV. *Пощупай* его обивку, — предложил ему Хаксли.

— Я пришел не о мебели толковать, Хаксли! Я пришел ради Лили.

— О, оставь это, тебе нет дела до нее. Ты же знаешь, она не любит тебя. Она сказала, что завтра поедет со мной в Мехико-Сити.

— Да пошел ты со своей дурацкой мебелью!

— Это прекрасная мебель, Эктон, будь порядочным гостем и потрогай ее.

На материи могли остаться отпечатки пальцев.

— Хаксли! — Уильям Эктон уставился на лежавший перед ним труп. — Ты что, догадался, что я собираюсь убить тебя? Твое

подсознание — так же как мое — заподозрило во мне убийцу? И это твое подсознание надоумило тебя заставить меня обойти весь твой дом, трогая руками, перекладывая, обглаживая старинные книги, посуду, двери, кресла? Ты что, был такой умный и такой подлый?

Зажатым в руке платком он протер все стулья. Тут он вспомнил о трупе — его-то он не обработал. Он вернулся к нему и, поворачивая его так и сяк, протер его со всех сторон. Даже почистил ему ботинки — ничего не пропустил.

Когда Эктон занимался ботинками, его лицо исказила гримаса беспокойства, он тут же поднялся и направился к столу.

Он снова вынул из вазы фрукты и тщательно протер те, что оставались на самом ее дне.

«Так-то лучше», — прошептал он и вернулся к трупу.

Но когда он опускался на пол возле трупа, веки его дернулись, челюсть отвисла — он заколебался, потом встал и снова направился к столу.

Он протер раму картины.

За этим занятием он вдруг сделал открытие...

Стена.

«Но это глупо», — подумал он.

«О!» — вскрикнул Хаксли, отражая его нападение. Во время их стычки он оттолкнул Эктона. Тот упал и, поднимаясь, оперся о стену и снова набросился на Хаксли. Он задушил Хаксли. Хаксли умер.

Эктон, полный решимости и уверенности в себе, отвернувшись от этой стены. Ругательства и слова обвинения выскочили у него из головы. Он смотрел теперь на все четыре стены.

«Веселенькое дельце!» — произнес он.

Уголкем глаза он что-то заметил на одной из стен.

«Не буду обращать внимание», — сказал он себе, чтобы отвлечься. — Теперь следующая комната! Я буду действовать последовательно. Ну-ка вспомним — мы за все то время побывали в передней, в библиотеке, в этой комнате, в столовой и на кухне».

На стене у себя за спиной он увидел пятно.

«А было ли оно там?»

Разозлившись, он тем не менее повернулся к стене.

«Ладно уж, ладно, для того только, чтобы не сомневаться», — и он приблизился к стене и не обнаружил на ней никакого пятна.

О, такое малюсенькое... ну да, вот здесь. Он потыкал в это место платком. Это, конечно же, не были отпечатки пальцев. Покончив с этим, он оперся о стену своими руками в перчатках и осмотрел всю стену сначала справа от себя, потом слева, затем сверху донизу — там, где она начиналась выше его головы и заканчивалась у его ног, — и тихо произнес: «Ну нет». Он прошелся взглядом вниз и вверх, поперек и вдоль стены и прошептал: «Это уж слишком». Сколько тут квадратных футов? «Ни за какие коврижки, черт меня побери», — сказал он. Однако глаза боялись, а руки в перчатках уже потихоньку протирали стену.

Он воззрился на свою руку и на обои. Взглянул через плечо в соседнюю комнату.

«Я должен пойти туда и почистить основные предметы», — приказал он себе, но его рука, да и он сам, будто они были подпоркой стены, оставались на месте. Он нахмурился.

Не произнеся ни слова, он стал скрести стену — вверх-вниз, вперед-назад, вверх-вниз — настолько высоко, насколько он мог дотянуться, и настолько низко, насколько он мог нагнуться.

«Смех один, бог мой, один смех!»

Но ты должен быть уверен, подсказывал ему разум.

«Конечно, нужно быть уверенным», — отвечал он.

Он покопался с одной стеной и...

Перешел к другой.

«Сколько там времени?»

Он посмотрел на часы на камине. Прошел час. Было пять минут второго.

Прозвенел звонок в дверь.

Эктон замер, уставившись на дверь, на замок — на дверь, на замок.

Кто-то громко стал стучать в дверь.

Прошла целая вечность. Эктон не дышал. Оставшись без воздуха, он стал терять силы, покачнувшись; в его голове тишину разорвало грохотание волн, бьющих в прибрежные скалы.

— Эй, вы там! — орал кто-то пьяный. — Я же знаю, Хаксли, ты тут! Открой, черт тебя подери! Это Билли-бой, пьяный вдрызг, Хаксли, старик, пьянь беспробудная!

— Пошел вон, — беззвучно пробурчал потрясенный Эктон.

— Хаксли, ты ведь там, я слышу твоё дыхание, — кричал пьяный голос.

— Да, я здесь, — шептал Эктон, каждой кисточкой ощущая это, распростёртое на полу, длинное, неуклюжее, остывшее и молчаливое. — Да.

— Дьяволыщина! — произнес голос, затихая вдали в тумане. Шаги удалялись. — Дьяволыщина...

Эктон долго стоял неподвижно, ощущая красное биение сердца в своих закрытых глазах и в голове. Когда он наконец открыл глаза, он увидел прямо перед собой ещё одну необработанную стену и снова обрел способность говорить.

«Дурак, — сказал он, — эта стена безупречна. Я не трогал ее. Надо спешить. Надо спешить. Время. Время. Осталось всего несколько часов до того, как припрутся его проклятые дружки!»

Он отвернулся.

Боковым зрением он заметил мелкие паутинки на стене. Когда он находился спиной к ней, паучки выбрались из своих укрытий и потихоньку сплели свои едва заметные, недоговетные паутинки. Не на той стене слева, которую он уже обработал, а на трех других стенах, к которым он еще не прикасался. Всякий раз, когда он смотрел в направлении паучков, они прятались в сооруженной ими паутине, но, стоило ему отвернуться, они вылезали вновь.

«Эти стены в полном порядке, — чуть ли не криком убеждал он себя. — Я их не трогал!»

Он подошел к письменному столу, за которым раньше сидел Хаксли. Он открыл ящик и вынул из него то, что он искал. Небольшое увеличительное стекло, которым Хаксли пользовался иногда при чтении. С увеличительным стеклом в руке он уверенно подошел к стене.

Отпечатки пальцев.

«Но это не мои! — Он боязливо засмеялся. — Я их тут не оставлял. Я уверен, что не оставлял! Может, это слуга, дворецкий или горничная!»

Их было множество на стенке.

«Посмотри хоть на этот вот, — сказал он. — Длинный и конусообразный, женский, готов поспорить на что угодно».

«Правда?»

«Правда!»

«Ты уверен?»

«Да!»

«Точно?»

«Ну... да».

«Абсолютно?»

«Да, черт возьми, да!»

«И все-таки уничтожь его, почему бы нет?»

«Бог мой, да на тебе!»

«Вот и нет проклятого отпечатка, а, Эктон?»

«А вот этот, вот тут, — усмехнулся Эктон. — Этот оставил какой-то толстяк».

«Ты уверен?»

«Довольно! Покончим с этим!» — отрубил он и стер пятно. Он снял перчатку и поднял вверх руку, дрожавшую в ослепительном свете ламп.

«Посмотри на нее, дурень! Видишь извилины? Видишь?»

«Это ничего не доказывает!»

«Ах так!»

Разозлившись, он принялся чистить стенку сверху вниз, вперед-назад руками в перчатках, потел, ворча, проклиная все на свете, наклоняясь, вытягиваясь во весь рост, лицо его становилось все краснее.

Он снял с себя пальто, положил его на стул.

«Два часа», — произнес он, взглянув на часы и покончив со стенкой.

Он подошел к вазе с восковыми фруктами, вынул их и тщательно протер те, что лежали на самом дне вазы, положил их обратно и протер раму картины.

Он взглянул на люстру.

Пальцы зашевелились у него на висевших по бокам руках.

Он облизнул губы — рот его так и остался открытым, — и он смотрел на люстру, и смотрел в сторону, и снова смотрел на

люстру, и смотрел на труп Хаксли, и опять на люстру, на великое множество длинных, хрустальных подвесок на ней.

Он взял стул и подтащил его под люстру, поставил одну ногу на него и убрал ее, и, смеясь, яростно отбросил стул в угол. И он выскочил из комнаты, так и оставив одну из стен необработанной.

В гостиной он подошел к столу.

— Хочу показать тебе мою коллекцию грегорианских ножей, Эктон,— сказал Хаксли.

О, этот пренебрежительный, гипнотизирующий тон!

— У меня нет времени,— возразил Эктон.— Я должен видеть Лили...

— Чушь, посмотри лучше на это серебро, на это тончайшее искусство.

Эктон склонился над столом, на котором стояли коробки с вилами, ложками и ножами, и, припоминая все движения и прикосновения к лежащим перед ним предметам, снова слышал голос Хаксли.

И Эктон занялся протиранием ложек и вилок, снял со стены все декоративные тарелки и керамические блюда.

— Здесь есть изумительная керамика от Гертруды и Отто Нацлера, Эктон. Ты знаком с их изделиями?

— Они действительно прекрасны.

— Возьми вот эту. Переверни ее. Взгляни на изумительно тонкую вазу ручной работы, тончайшая, не толще личной скорлупы — просто невероятно. И какая глазировка. Потрогай ее, давай. Я не возражаю.

ВОЗЬМИ! ДАВАЙ! ПОТРОГАЙ!

Эктон всхлипнул. Он грохнул вазой по стене. Она разлетелась на мелкие кусочки, хлопьями рассыпалась по полу.

Через мгновение он уже стоял на коленях. Нужно было разыскать каждый кусочек, осколочек от нее. Дурачина, дурачина, дурачина! — кричал он на самого себя, тряся головой, то закрывая, то открывая глаза, скорчившись под столом. Ищи каждый осколочек, идиот, ни одного кусочка нельзя оставить. Дурак, дурак! Он собрал их. Все ли? Он обыскал стол, пространство под столом и под стульями и на буфете при свете зажжен-

ной спички обнаружил еще один-единственный осколок, и после всего этого стал полировать каждый мельчайший фрагмент вазы, как если бы это был наидрагоценнейший камень. Он складывал их аккуратно на блестящем после его обработки столе.

— Изумительные керамические изделия, Эктон. Давай возьми вот это.

Эктон вооружился тряпкой и протер стулья, и столы, и дверные ручки, и подоконники, и все выступы, и драпировки, и все полы, тяжело дыша, чувствуя сильное сердцебиение, он скинул с себя и пиджак, поправил перчатки на руках, довел до блеска хром...

— Я хочу показать тебе мой дом, Эктон,— говорил Хаксли.— Пошли...

И он перемыл всю посуду, и водопроводные краны, и миксеры, потому что к этому времени он напрочь забыл, что он трогал, а чего не касался. Вот здесь, на кухне, они с Хаксли задержались — Хаксли хвастался царившим на ней порядком, скрывая таким образом свою тревогу из-за присутствия потенциально-го убийцы, а возможно, стараясь быть поближе к своим ножам, если они вдруг понадобятся. Они проводили время, трогая то одно, то другое, то еще что-нибудь — в его памяти ничего не осталось: ни скольких предметов он коснулся, ни того, много ли их вообще было, — и вот он закончил дела на кухне и через перешедшую в коридор дверь пошел в комнату, где лежал Хаксли.

Он вскрикнул.

Он забыл про четвертую стену этой комнаты! И пока его не было, паучки повылезали из своих убежищ на четвертой, еще не обработанной стене. И ими кишели уже чистые три стены, которые они старательно пачкали паутиной! На потолке, в углах комнаты, на полу, на люстре расположились миллион маленьких узорчатых паутинок, всколыхнувшихся от его вскрика! Крохотные, малюсенькие паутинки, не больше — как это ни покажется смешным — чем ваш... палец!

Пока он наблюдал эту картину, паутина появилась на раме картины, на вазе с фруктами, на трупе, полу. Отпечатки ладоней на нож для разрезания бумаги, на раскрытые ящики, покрыли

крышку стола, покрывали, покрывали, покрывали все и повсюду.

Он отчаянно тер и тер пол. Он персворачивал тело со стороны на сторону и орал на него в то время, когда мыл его, и поднимался и шел к вазе и протирал восковые фрукты с самого ее дна. Потом он поставил стул под люстру, взобрался на него и протер каждую горящую висюльку на ней, тряся ею как хрустальным тамбурином, пока она не зазвенела серебряными колокольчиками. После этого он спрыгнул со стула и принялся за дверные ручки, затем влез на другие стулья и прошвабрил стены, забираясь все выше и выше, и помчался на кухню, схватил веник и содрал паутину с потолка, и протер фрукты с самого дна вазы, и помыл тело, и дверные ручки, и столовое серебро, и обнаружил в передней перила и, держась за них, вскарабкался вверх.

Три часа! Повсюду в доме с ужасающей методичностью пробили часы! Внизу было двенадцать комнат и восемь наверху. Он сосчитал, сколько рядов надо почистить в этих помещениях и сколько времени на это уйдет. Сто стульев, шесть диванов, двадцать семь столов, шесть приемников. И еще под ними, и над ними, и вокруг них... Он отодвигал мебель от стен и, всхлипывая, стирал вековую пыль с них и, пошатываясь, цепляясь за перила, подчищал их, драя все по пути — потому что не дай бог оставить хоть малейший отпечаток пальцев! Поднимался на второй этаж, и здесь надо было продолжать делать то же — а стукнуло уже четыре часа! — а у него уже болели руки, глаза вылезали из орбит, и он едва передвигал ноги, уронив голову, а руки продолжали работать, протирая и выскребая все в одной спальне за другой, в клозете за клозетом...

Его нашли утром, в половине седьмого.

На чердаке.

Весь дом сверкал чистотой. Вазы сияли словно хрустальные звезды. Все стулья были вычищены. Медь, бронза сверкали в утреннем освещении. Бластели полы, перила.

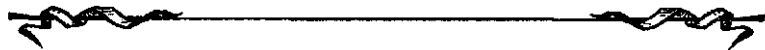
Сияло все. Все сверкало, все блестело.

Его нашли на чердаке полирующим старые сундуки и старые рамы, и старые стулья, и старые коляски, и старые игрушки,

и музыкальные шкатулки, и вазы, и наборы ножей, и лошадок на колесиках, и пропыленные монеты времен Гражданской войны. Он уже заканчивал свою работу на чердаке, когда там появился полицейский офицер с пистолетом в руке и встал позади него.

«Все!»

Выходя из дома, Эктон носовым платком протер ручку у входной двери и торжествующе хлопнул ею!



Именно так умерла Рябушинская

а ледяном цементе подвала лежал холодный труп мужчины. Здесь было так сыро, будто моросил невидимый дождь, а люди толпились, как жители прибрежной деревни возле мертвого тела, поутру выброшенного волнами на морской берег. Казалось, в этой подземной комнате сила тяжести превышала обычную: головы присутствующих, уголки их ртов и щеки властно клонило вниз. Руки висели плетями, словно к ним были привешены гири, а ноги будто приросли к цементу и двигать ими было так же трудно, как под водой.

Время от времени откуда-то приходил звук, но всем было не до него.

Однако невнятный звук повторялся снова и снова, пока присутствующие не обратили на него внимание, и тогда люди разом вскинули головы вверх и уставились на потолок. Почудилось, что они действительно на морском берегу и в небе тоскливо вскрикивает чайка, пронизывая своим голосом ноябрьский серый рассвет. Звук был печален, как крик птицы, нехотя отправляющейся на юг пережидать ужасы зимы. Или как далекий шорох океанской волны, набегающей на берег и шуршащей по песку. Или как всхлип ветра внутри морской раковины.

Затем люди в подвале словно по команде перевели взгляд на стол, где стояла золотистая шкатулка длиной чуть побольше

полуметра с надписью «РЯБУШИНСКАЯ». Теперь всем стало очевидно, что звук идет именно из-под крышки этого гробика. Присутствующие таращились на шкатулку. И только труп лежал равнодушно и не прислушивался к странному полувнятному тихому голоску.

— Выпустите меня, выпустите меня! Ах, пожалуйста, выпустите меня! — различили все.

Кончилось тем, что мистер Фабиан, чревоушатель, подошел к золотистой шкатулке, нагнулся над ней и сказал:

— Нет, Риа, тут у нас серьезное дело. Попозже. А теперь успокойся и помолчи. Будь славной девочкой.

Он прикрыл глаза и попробовал рассмеяться.

Однако голосок из-под полированной крышки спокойно возразил:

— Пожалуйста, не насмешничай. После того что случилось, ты должен быть со мной поласковее.

Детектив лейтенант Крович легонько дернул Фабиана за рукав:

— Если не возражаете, ваши фокусы с чревоушанием мы послушаем в другой раз. А пока нам надо что-то решить с этим.

Он посмотрел на женщину, которая взяла раскладной стул и присела.

— Итак, вы миссис Фабиан, — сказал детектив. Затем перевел глаза на молодого человека, присевшего неподалеку от женщины. — А вы — мистер Дуглас, пресс-агент и менеджер мистера Фабиана, не так ли?

Молодой человек подтвердил:

— Да, я мистер Дуглас.

Крович еще раз взглянул на лицо мужчины на полу.

— Мистер и миссис Фабиан, мистер Дуглас, как я вас понял, вы утверждаете, что никто из вас не знает этого человека, убитого здесь прошлым вечером. И его фамилию — Окхэм — вы слышите впервые в жизни. Однако этот Окхэм незадолго до своей смерти сказал режиссеру, что он знаком с Фабианом и намерен встретиться с ним в связи с жизненно важным делом.

Голосок в шкатулке опять что-то тихо забормotal.

Крович взорвался:

— Бросьте ваши чертовы штучки, Фабиан!

Из-под крылики донесся слабый смешок. Будто зазвенел колокольчик, прикрытый одеялом.

— Не обращайтесь на нее внимания, лейтенант, — сказал Фабиан.

— На нее? Вы хотите сказать, на вас! Ну-ка, прекратите свои глупости — вместе или раздельно, мне плевать.

— Нам никогда не быть больше вместе, — произнес все тот же тихий женский голосок. — После того, что произошло вчера.

Крович раздраженно протянул руку:

— Дайте-ка мне ключ, Фабиан.

В полной тишине ключ щелкнул в крохотной замочной скважине, миниатюрные петельки скрипнули, и крышка открылась.

— Большое спасибо, — сказала Рябушинская.

Крович замер как громом пораженный, глядя вниз, на Рябушинскую. Он глазам своим не верил.

Белое личико куклы было вырезано не то из мрамора, не то из белейшей древесины — дерева такой белизны ему еще не доводилось видеть. Казалось, это личико вылеплено из снега. А тонкая шея, тоже белая, по изяществу была сравнима разве что с чашкой из тончайшего фарфора: солнце просвечивало через нее. Ручки были словно из слоновой кости — такие грациозные вещицы с крохотными ноготками, с рисунком на подушечках длинных, красиво очерченных пальчиков, с морщинками на подвижных суставах.

Она была как из белого мрамора, сквозь который играет свет, но столь же живой свет источали ее темные глаза синевы спелой шелковицы. Крович мог бы сравнить куклу с парным молоком в прозрачном стакане или взбитыми сливками в хрустальном кувшине. Тонкие черные брови красивым изломом подчеркивали прелесть глаз, а впадинки на щеках пульсировали жизнью, не говоря уже о том, что едва приметные фиолетовые жилки виднелись на каждом виске, а еще более неприметная голубоватая венка просвечивала над переносицей, между сияющими колодцами темных глаз.

Ее губы были раздвинуты и даже казались слегка влажными. И прелестные ноздри, и миниатюрные ушки ни одним изгибом не погрешили против природы. Темные волосы были разделены по центру пробором и зачесаны за уши, и эти волосы были настоящими — Крович мог разглядеть каждый отдельный

волосок. Ее черное элегантное платье, того же цвета, что и волосы, оставляло открытыми мраморной белизны плечи.

Крович почувствовал комок в горле, его голосовые связки напряглись, но в итоге он ничего не сказал.

Фабиан вынул Рябушинскую из шкапулки.

— Вот моя прекрасная леди, — произнес он. — Вырезана из редчайших сортов дерева, привезенных из далеких стран. Она выступала в Париже, в Риме и Стамбуле. И повсюду люди влюблялись в нее и не уставали говорить, что она как живое существо, некое одушевленное чудесное произведение искусства. Никто не хотел признать, что она родилась из бревна, бывшего деревом и росшего где-то далеко от городов и кретинов, которые населяют эти города.

Жена Фабиана, Элис, позабыв обо всем и обо всех, пристально наблюдала за мужем, не сводя глаз с его губ. Пока он рассказывал о кукле, которую он держал в руках, миссис Элис ни разу не моргнула. Он, в свою очередь, был полностью поглощен куклой — казалось, и подвал, и бывших в нем людей поглотил густой туман.

Однако через какое-то время фигурка в руках Фабиана вдруг повисла и зажелировалась.

— Право же, не надо говорить обо мне! Пожалуйста! Ты же видишь, Элис терпеть этого не может.

— Да, она всегда приходила в дурное расположение духа.

— Тсс! Не начинай! — воскликнула Рябушинская. — Не здесь и не сейчас. — Потом она проворно повернула головку в сторону Кровича, и ее губки быстро зашевелились. — Как все это случилось? Ну, я имею в виду то, что произошло с мистером Окхэмом.

Фабиан решительно возразил:

— Риз, ты бы лучше легла и поспала.

— Но я не хочу спать! У меня есть право все слышать и все рассказать. Я ведь часть этого убийства... точно так же, как Элис или... или даже мистер Дулаас!

Пресс-агент швырнул на пол свою сигарету.

— Послушайте, не втягивайте меня во все это...

Он бросил на куклу такой яростный взгляд, будто она внезапно выросла до роста в шесть футов и дышала ему прямо в лицо.

— Я всего лишь хочу, чтобы здесь прозвучала правда.— Рябушинская повела головой и скользнула взглядом по каждому из присутствующих.— А если я останусь заперта в своем гробу, правда никогда не всплывет, потому как Джон — завязтый враль и я попросту должна следить за ним. Ведь я права, Джон, а?

— Да,— ответил он с закрытыми глазами.— Полагаю, ты права.

— Джон любит меня больше любой женщины на свете, и я люблю его и всегда пытаюсь понять извращенный ход его мыслей.

Крович ударил кулаком по столу.

— Проклятье! О-о, проклятье! Фабиан, как вы можете... как вы смеете!

— Ничего с этим поделать не могу,— кротко отозвался Фабиан.

— Но она же...

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать,— произнес Фабиан, спокойно глядя детективу прямо в глаза.— По-вашему, она сидит у меня в плотке? Ошибаетесь. Она не в моих голосовых связках. Она где-то еще. Сам не знаю где. Здесь или здесь.— Говоря это, он коснулся сперва своей груди, потом головы.— Она очень шустро прячется. Иногда я просто не поспеваю за ней. А порой она живет отдельно от меня, совершенно отдельно. Порой приказывает мне сделать то-то и то-то — и я покоряюсь. Она всегда начеку — против меня, попрекает и советует, говорит правду, когда я лгу, настроена на добро, когда я полон зла и грешу как сто чертей. У нее какая-то независимая жизнь. Она отгородила себе некое пространство в моем мозгу и живет себе за стенкой, начисто игнорируя меня, когда я принуждаю ее говорить дурные вещи, и покоряюсь, если я вкладываю в ее уста правильные речи и придаю ее лицу правильное выражение.— Фабиан тяжело вздохнул.— Таким образом, если вы намерены продолжать расследование, без присутствия Риа не обойтись. Поверьте мне, ничего хорошего не выйдет из того, что мы ее запрем. Ничего хорошего.

Лейтенант Крович опустился на стул и добрых полминуты молча размышлял.

— Ладно,— сказал он наконец.— Пусть остается. Возможно, к концу вечера я буду настолько измотан, что для меня не будет разницы, кому задавать вопросы: чревоушателю или его кулак.

Крович развернул очередную сигару, закурил ее и выпустил облачко дыма.

— Итак, мистер Дуглас, вы по-прежнему утверждаете, что личность убитого вам неизвестна?

— Нет, что-то знакомое в его чертах есть. Возможно, он актер.

Крович выругался.

— А как насчет того, чтобы прекратить врать и начать говорить правду? Вы только посмотрите на одежду Окхэма, на его туфли! Ясно, что человек без гроша. Вчера вечером он явился сюда за деньгами — выкалывать, одолжить или украсть. Давайте-ка спросим у вас вот что, мистер Дуглас. Вы влюблены в миссис Фабиан?

— Это что такое! — воскликнула Элис Фабиан.— Прекратите!

Крович жестом велел ей замолчать.

— Вы меня за слепого принимаете или как? Вот вы сидите полубками рядышком, а я тихо диву даюсь. Когда пресс-агент трогательно утешает вас, сидя там, где в этой ситуации обязан сидеть ваш муж, — тут уж вы меня извините!.. А до чего любопытно глядеть со стороны, какими глазами вы, миссис Фабиан, смотрите на шприк с марионеткой и как глотаете воздух, когда кулак появляется на свет из своей шкатулки! А как откровенно сжимаются у вас кулачки, когда она разговаривает! Черт меня побери, все яснее ясного!

— Неужели вы могли хотя бы на секунду вообразить, что я ревную к куску дерева?

— А вы не ревнуете?

— Еще чего! Конечно нет!

Фабиан шевельнулся и решил вмешаться.

— Элис, ты не обязана что-либо рассказывать.

— Позволь ей!

Все вздрогнули и резко повернули голову в сторону маленькой деревянной фигурки; ее ротик медленно закрывался после сказанных слов. Даже Фабиан бросил на куклу такой взгляд, будто она внезапно исподтишка нанесла ему коварный удар.

После долгой паузы Элис Фабиан заговорила:

— Я вышла замуж за Джона семь лет назад, потому что он твердил, будто бы любит меня, и потому что я любила его и любила его Рябушинскую. Но потом я заметила, что он живет только для нас и все свое внимание уделяет исключительно ей, а я просто тень, которая каждый вечер ждет за кулисами.

Ежегодно он тратил по пятьдесят тысяч долларов на ее гардероб. Утрохал сто тысяч на кукольный домик — с мебелью из золота, серебра и платины. Каждый вечер укладывал ее спать на маленькую кровать с атласными простынями и беседовал с ней. Поначалу я думала, что это все изощренная комедия, и она меня искренне забавляла. Но мало-помалу до меня дошло, что никакая это не шутка и я действительно не более чем ассистентка, простая обслуга при действительно важной персоне. Постепенно я стала ощущать смутную ненависть и недоверие — нет, не к кукле, она-то чем виновата, деревяшка бесчувственная! — я стала ощущать ненависть и отвращение к Джону, потому что это его вина. Ведь очевидно же, что он хозяин положения и что в подобного рода отношениях с деревянной куклой находит выход его врожденный утонченный садизм.

Ну а когда я стала ревновать всерьез... О, так глупо с моей стороны! Да он только этого и ждал! Я полностью удовлетворила его инстинкт мучить и косвенным образом дала высочайшую оценку его профессиональному мастерству чревоушателя. Все это было так глупо, так нелепо и так странно! И вместе с тем я догадывалась, что нечто владеет Джоном — вот так пьяницы носят где-то в себе непонятного и властного зверя, который понуждает их тянуться к бутылке и в конце концов сводит в могилу.

Короче, я металась от ярости к жалости, от ревности к соперничеству и пониманию. Случались долгие периоды, когда я ни капельки не ненавидела его. А к той части его сознания, которую занимала Риа, у меня вообще никогда не было ненави-

сти: ведь это его лучшая часть, честная и добрая. Она обладала всеми теми чертами, которые он не позволял себе проявлять.

Элис Фабиан умолкла. В подвале, некогда служившем грифельной комнатой, на время воцарилось молчание.

— Расскажите им про Дугласа, — шепнул голосок куклы.

Миссис Фабиан не удостоила Рябушинскую взглядом. Просто сделала усилие над собой и завершила рассказ:

— Прошло несколько лет, а любви и понимания со стороны Джона я добиться так и не смогла. И мое внимание естественным образом переключилось на другого... на мистера Дугласа.

Крович важно кивнул:

— Теперь картина начинает проясняться. Мистер Окхэм, неудачник без гроша в кармане, появился вчера вечером в театр, потому как знал про вас и мистера Дугласа. Возможно, он пригрозил ввести мистера Фабиана в курс дела, если вы не оплатите его молчание. Стало быть, у вас был серьезный мотив для того, чтобы навсегда закрыть ему рот.

— Ну, эта ваша догадка не умнее прежних, — отмахнулась Элис Фабиан. — Я этого типа не убивала.

— Его мог прикончить мистер Дуглас и ничего вам об этом не сказать.

— Чего ради убивать? — вмешался Дуглас. — Джон все про нас знал.

— Разумеется, — кивнул Джон Фабиан и рассмеялся.

Его смех стих, а ладонь, упрятанная в белоснежном нутре крохотной куклы, судорожно заработала. Рот куклы беззвучно открывался-закрывался и снова беззвучно открывался-закрывался. Фабиан пытался сделать так, чтобы она засмеялась после того, как он отсмеялся. Однако он ничего не добился, кроме невнятного шепота-шелеста быстро шлепающих губ куклы. Фабиан бессильно тараторил на маленькое личико, пока на его щеках не заблестели капельки пота.

Назавтра днем лейтенант Крович отыскал в полумраке за кулисы чужую лесенку и задумчиво карабкался вверх, тратя на каждую ступеньку столько времени, сколько было нужно,

дабы не сбить его мысли с ритма. Наконец он добрался до гримерных на втором этаже и постучал в одну из дверей.

— Входите,— словно из глубокого колодца отозвался голос Фабиана.

Крович зашел и плотно прикрыл дверь за собой.

Пристально глядя на хозяина гримерной, развалившегося в кресле перед зеркалом, он произнес:

— Хочу вам кое-что показать.

С деревянным лицом лейтенант достал из своей кожаной папки глянцевую фотографию и положил ее на гримерный столик.

Брови Джона Фабиана удивленно взметнулись. Он быстро покосился на Кровича и поспешно выпрямился в кресле. Затем поднес руку к переносице и стал осторожно массировать себе лицо, словно у него была сильная головная боль.

Крович перевернул фотографию обратной стороной и начал читать машинописный текст на обороте:

«Имя: мисс Илиана Риамонова. Вес: сто фунтов. Глаза голубые. Волосы черные. Овальное лицо. Родилась в 1914 году в городе Нью-Йорке. Исчезла в 1934 году. Предположительно: жертва амнезии. Родители славянского происхождения...»

Губы Фабиана заметно дрожали.

Крович снова положил фотографию на столик и задумчиво покачал головой:

— Было в высшей степени глупо с моей стороны искать в архиве полиции фотографию куклы. Вы бы только слышали, какой хохот это вызвало у моих коллег. Жуткий хохот. А в итоге — вот она, Рябушинская. Не из папье-маше, не из дерева и не кукла, а женщина из плоти и крови, которая однажды жила, двигалась — и вдруг исчезла.— Он вперил в Фабиана пристальный взгляд.— Быть может, эта женщина послужила прообразом?

Фабиан криво улыбнулся:

— Во всем этом нет ничего такого. Просто когда-то давно я видел фотографию этой женщины, лицо приглянулось, вот я и сделал марионетку по ее образу и подобию.

— Ничего такого во всем этом нет? — Крович глубоко вдохнул, выдохнул, а потом вытер лицо громадным носовым платком.— Фабиан, не далее как сегодня утром я пролистал кипу

журналов «Биллборд» вот такой высоты. И в одном номере 1934 года обнаружил преинтересную заметку о некоем второ-разрядном цирке, где описывается выступление мистера Фабиана с Милашкой Уильямом. Милашка Уильям — кукла-пацан. Была еще и ассистентка — Илиана Риамонова. Фотографии при заметке не имеется, но я, по крайней мере, получил хоть какую-то зацепку — имя, притом имя реального человека. Не составило труда порыться в архиве полиции и отыскать вот эту фотографию. Излишне говорить, что точность сходства между живой женщиной и куклой буквально ошеломляет. Мне кажется, Фабиан, вам бы следовало подумать еще разок и рассказать историю как следует.

— Ну, была она моей ассистенткой. Что с того? Использовал ее как модель.

— Слушайте, вы меня в пот вогнали,— сказал детектив.— Принимаете за дурака? Вы и впрямь верите, что я не могу распознать любовь прямо у себя под носом? Я же видел, как вы обращаетесь с этой марионеткой. Я наблюдал, как вы с ней разговариваете, какие реакции на себя вкладываете ей в уста. Это так естественно, что вы влюблены в куклу, потому что вы любили женщину, которая послужила моделью для создания куклы. Любили сильно-сильно. Я прожил достаточно долго и чувствую такие вещи без подсказки. Черт возьми, Фабиан, бросьте ходить вокруг да около!

Фабиан поднял к лицу свои бледные ладони, долго рассматривал их, потом уронил руки на колени.

— Так и быть. В 1934 году мой цирковой номер назывался «Фабиан и Милашка Уильям». Уильям — смешной пацан, нос картошкой, деревянная кукла, которую я вырезал в незапамятные времена. Я выступал в Лос-Анджелесе, когда в один прекрасный вечер у выхода из театра меня остановила девушка. Сказала, что не первый год следит за моей работой, что никак не может найти работу и очень надеется стать моей ассистенткой.

Он хорошо помнил, как она стояла в сумраке переулочка за театром, как его поразили ее свежесть и страстное желание работать с ним и для него и как холодный дождь деликатно сеял-

ся по всему пространству переулочка и собирался бусинками на ее волосах, поднимался легким паром от кожи, бежал капельками по фарфорово-белым кистям, зажимавшим ворот пальто у шеи.

Его память легко возвращала то, как шевелились ее губы в слабом свете фонаря, только вот слова, как ему чудилось, странным образом не совпадали с движениями рта. Он не помнил, что тогда ответил ей: «да», или «нет», или «подумаю». Так или иначе девушка каким-то чудом уже на следующем представлении оказалась на сцене рядом с ним, облитая светом рампы, и в следующие два месяца он, обычно так гордившийся своим цинизмом и недоверием к окружающим, вдруг выступил из своего настороженного мира и с радостью полетел в бездонную пропасть, где нет границ и барьеров, но много тьмы и ужаса.

Как-то очень быстро начались ссоры, а за примирениями — новые ссоры. Сколько глупостей они совершили, сколько бессмыслиц, неправд и прочих ненужных слов наговорили друг другу. В конце концов она отдалилась от него, вызвав у него нескончаемые приступы ярости и умопомрачительные истерики. Однажды он взял и спалил весь ее гардероб в приступе дикой ревности. Это она приняла на диво спокойно. Но в один ужасный вечер он взял и швырнул ей уведомление об увольнении через неделю, обвинил в чудовищных проступках, орал на нее, тряс ее, отхлестал по щекам, а затем повалил на пол и волоком вытащил вон из театра, захлопнув за ней дверь!

В ту же ночь она исчезла навсегда.

Когда на следующий день после драки он обнаружил, что она действительно ушла, и нигде не смог ее найти, он словно очутился в эпицентре землетрясения. Все кругом рушилось, и страшный подземный гул будил его то в полночь, то в четыре утра, то на рассвете. И он вскакивал с постели ни свет ни заря и, бреясь кос-как перед искажающим все на свете расколотым и мутным зеркалом, вздрагивал от огаушающего рева вскипающего кофейника или от выстрела зажигаемой спички в соседней комнате.

Он аккуратно вырезал все свои объявления в газетах и наклеивал в специальный блокнот. В этих объявлениях он описы-

вал Илиану, умолял видевиких девушку сообщить ему о ее местопребывании и обращался к ней с просьбой вернуться. Он даже нанял частного детектива, чтобы отыскать ее. Кругом пошли разные разговоры. Его допрашивала полиция. И новые слухи и домыслы зароились вокруг его имени.

Илиана исчезла бесследно и безвозвратно, как кусочек белой бумаги, унесенный ветром. Описание ее внешности было разослано во все крупные города — на том полиция и успокоилась. Но Фабиан не сдался. Мертва она или в бегах от него, однако она вернется к нему — так или иначе. В этом Фабиан был твердо уверен.

Однажды вечером он пришел домой, неся на плечах всю тяжесть своей тоски, и рухнул на стул.. и вдруг обнаружил, что сидит в темноте и разговаривает с Милашкой Уильямом.

— Так-то вот, Уилли. Все кончено. Я не смог удержать ее!

И Уильям вдруг крикнул ему в ответ:

— Трус! Трус!

Крик шел откуда-то сверху, из пустоты.

— Кабы ты захотел, ты бы ее вернул!

Милашка Уильям скрипел суставами и верещал из тьмы.

— Ты можешь, можешь! Думай! — настаивал он. — Придумай способ. У тебя должно получиться. Отложи меня в сторону, запри меня в сундуке. А сам начни все сначала.

— Начать все сначала?

— Да,— шепеляво шепнул Милашка Уильям — стукот темноты в темноте.— Да! Купи полено. Купи новое хорошее полено. Купи крепкое полено. Купи прекрасное новое крепкое полено. И возьми в руки резец. Начни работать медленно и аккуратно. Твори бережными ударами долота. Нежно округли маленькие поздри. Неспешно прочерти на дереве тонкие черные брови над полушариями век и не забудь ямочки на щеках. За резец, вперед!

— Нет! Это глупость. Мне ни за что не справиться!

— Ты можешь! У тебя получится, получится, получится, получится...

Голос слабел и слабел, как журчание ручья, уходящего под камень, в глубь земли. Голова Фабиана бессильно упала на грудь.

Милашка Уильям тяжело вздохнул и окончательно затих. Оба стали как недвижимые камни, над которыми бурлит водопад.

На следующее утро Фабиан после долгих поисков нашел кусок дерева необходимого размера — из самой твердой и мелко-слоистой древесины — и принес его домой. Теперь полено лежало на верстаке. Но взяться за работу он не мог. И час, и другой, и третий он только смотрел на кусок дерева. Совершенно невероятно, что из этой холодной деревяшки его руки в союзе с памятью способны воссоздать нечто теплое, подвижно-гибкое и до боли родное. Смешно и помыслить, что удастся вернуть хотя бы приблизительно тот морсящий дождик, ту атмосферу лета и в сумерках нежный шорох хлопьев снега, которыми декабрьский ветер дарапал по оконному стеклу. Нет ни малейшей надежды — ни малейшей — поймать снежинку так, чтобы она тут же не растаяла в твоих неловких пальцах.

Но тогда Милашка Уильям заговорил снова — после полуночи, свистящим шепотом, с надрывными вздохами:

— Ты способен. Разумеется, конечно же, вне всяких сомнений ты способен!

И Фабиан решился.

Целый месяц ушел на то, чтобы высвободить из дерева ее ручки и сделать их такими красивыми и изящными, как морские раковины, лежащие на солнце. Еще месяц потребовался на тельце — казалось, он отыскивает внутри дерева окаменелый отпечаток ее фигуры. Когда появились первые контуры стана, ее деревянная плоть была так нежна, так гладка, что представить под ней грубую анатомию было бы так же кощунственно, как вообразить сеточку вен в белой мякоти яблока.

И все это время Милашка Уильям лежал, укутанный в саван пыли в своем ящике — тот мало-помалу становился его правдивым гробом. Милашка Уильям еще поскрипывал из своего склепа, еще ронял хриплым голосом очередные сарказмы, то критикуя работу, то давая дельные советы, но при этом медленно умирал, по частицам исчезая из жизни хозяина — в преддверии полной разлуки, когда он будет брошен, как по весне змея сбрасывает старую кожу, которой судьба иссохнуть и быть унесенной ветром.

Бежали недели. Фабиан прилежно долбил, выравнивал, полировал, а Милашка Уильям лежал в прострации, и периоды его молчания становились все длительней и длительней. А когда в один прекрасный день Фабиан воздв в руке уже совсем готовую новую куклу, Милашка Уильям поглядел на Джона мутнеющим удивленным взглядом, в горле его забубькала смерть и глаза закатились.

Так скончался Милашка Уильям.

Пока Фабиан трудился над созданием куклы, в его голосовых связках шла своя работа: там легко трепетали звуки и слоги, отдаваясь эхом и эхом эха, там ощущались слабое движение и шорох, словно от ветра, который гонит сохлые листья. И когда он впервые взял куклу определенным образом, память скапала по его рукам к пальцам и втекала в полую деревяшку — и ручки куклы вдруг шевельнулись, а тельце вдруг стало мягким, гибким, суставы подвижными, и глаза наконец открылись: она смотрела на него.

А потом открылся ротик: губки чуть разошлись, словно из готовившихся к речи. И он знал все-все, что она собирается ему сказать, равно как и то, что он намерен сказать ей — и в какой последовательности. Началось с невнятного шепота, шепота, шепота...

Маленькая головка осторожноенько повернулась налево, потом осторожноенько направо. Губы все шевелились и шевелились, пока не появилась внятная речь. И когда она наконец заговорила, он нагнулся к ее личику и почувствовал тепло ее дыхания — разумеется, он его ощутил, могло ли быть иначе! Прикладывая ухо к ее груди, он слышал такое тихое, такое мерное, такое нежное биение — разумеется, оно билось, ее маленькое сердечко, и разве могло быть иначе?

Добрую минуту после окончания рассказа Крович продолжал молча и неподвижно сидеть на стуле. Наконец шевельнулся.

— Понятно,— сказал он.— А ваша жена?

— Элис? Она была, ясное дело, моей второй ассистенткой. Работала на совесть, выкладывалась и, благослови ее Господь, любила меня. Трудно теперь припомнить, чего ради я на ней женился. Это было бессовестно с моей стороны.

— А как насчет убитого — Окхэма?

— Я впервые увидел его только вчера, когда вы показали мне труп в театральном подвале.

— Фабиан, — с упреком сказал детектив.

— Чистая правда!

— Фабиан!

— Ей-же-с-й, я не вру. Провалиться мне на месте, если это неправда!

— Правду.

Это был шепот — не громче далекого плеска волны, набегавшей ранним утром на серый берег в безветренный день. Вода шуршит по мелкому песку. Небо холодное и пустынное. Берег такой же пустынный. Солнце кануло, словно навеки.

И снова шорох-шепот:

— Правду.

Фабиан резко выпрямился в кресле и вцепился тонкими пальцами в свои колени. Его лицо окаменело.

Крович поймал себя на том, что он повторяет свое вчерашнее движение — вскинув голову, смотрит на потолок, словно это ноябрьское небо, по которому высоко и далеко улетает прочь одинокая птица — серое пятно на холодно-сером.

— Правду! — И опять, уже почти неслышно: — Правду!

Крович вдруг подхватился и осторожно просеменил в дальний конец комнаты. Там в раскрытой золотистой шкатулке лежало нечто, что могло шептать, говорить, а иногда и смеяться, и даже петь. Детектив перенес шкатулку на примерный столик.

Фабиан помедлил, потом сунул руку внутрь куклы. Крович терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу. Наконец губы куклы шевельнулись, глаза открылись и стали осмысленными.

Им не пришлось ждать долго.

— Первое письмо пришло месяц назад.

— Нет!

— Первое письмо пришло месяц назад.

— Нет! Нет!

— В письме было написано следующее: «Рябупинская, родилась в 1914 году, умерла в 1934-м. Снова родилась в 1935 году». Мистер Окхэм работал жонглером. Много-много лет назад

он выступал в той же программе, что Фабиан и Милашка Уильям. И вот он вспомнил, что прежде куклы существовала женщина.

— Нет, это неправда!

— Да, — сказал голос.

Губы Фабиана дрожали. Детектив молчал. Фабиан загнанно озирался, словно искал в стенах потайную дверь, через которую можно ускользнуть от ответа. Он даже привстал в кресле и жалобно произнес: «Пожалуйста...»

— Окхэм угрожал рассказать про нас всему миру.

Крович видел, как кукла задрожала, как заходили ходуном ее губки, как глаза Фабиана выкатились из орбит, а взгляд остановился и мускулы шеи судорожно дергались, пытаясь остановить шепот.

— Я... я была в комнате, когда пришел мистер Окхэм. Я лежала в своей шкатулке и слушала и все слышала. Я все знаю. — На несколько мгновений голос стал нечленоразделен. Затем былая внятность вернулась. — Мистер Окхэм угрожал разбить меня на куски, сжечь дотла, если Джон не заплатит ему тысячу долларов. Потом что-то очень тяжелое вдруг упало. И вскрик. Должно быть, мистер Окхэм при падении ударился затылком о пол. Я слышала, как Джон вскрикнул и потом разразился ругательствами. Слышала, как он всхлипывает. Такой прерывистый звук, будто кого-то душат.

— Ты ничего не слышала! Ты глухая и слепая! Ты всего-навсего деревяшка! — заорал Фабиан.

— Но я слышу! — возразила она. И тут же осеклась и замолчала, словно кто-то закрыл ее рот ладонью.

Фабиан вскочил и замер с куклой на руке. Ее губы двигались в бессильном беззвучии.

С четвертой попытки она заговорила снова:

— Затем всхлипы утихли. Я слышала, как Джон тащит тело мистера Окхэма вниз по лестнице в подвальную примерную, которую не используют уже много лет. Вниз, вниз, вниз, прочь, прочь, прочь... Я слышала!

Крович резко шагнул назад, словно до этого с любопытством смотрел фильм, но теперь герои на экране вдруг выросли в

гигантов и спрыгнули в зал. Он был напуган их размерами и реальностью. Казалось, они раздавят его одной только своей безусловной осязаемостью.

Словно невидимый киномеханик прибавил звука, и кукла вдруг завопила. Крович видел, как Фабиан оскалил зубы, как задергалось его лицо, — он что-то шептал с перекошенным ртом, потом его глаза закатились, веки бессильно закрылись.

Прежде едва слышный и мягкий голос превратился в злое верещание.

— Я не для этого создана. Я так жить не могу. Теперь у нас нет будущего. Все будут знать о нас. Все-все. Сразу после того как ты убил его, я лежала в своей шкатулке и спала. Но во сне я все поняла. Мы оба знаем, мы оба сразу же поняли, что пришли наши последние дни, последние часы. Ибо я могла сносить твою слабость, твою частую ложь, но жить с существом, способным на убийство, — нет, не могу. Я не способна жить с этим. Как мне жить с подобным знанием?

Фабиан держал куклу в слове солнечного света, проникавшего через окошко гримерной. Она смотрела ему в глаза пустым взглядом. Его рука дрожала, а вместе с ней и марионетка. Ее рот то раскрывался, то открывался. И снова судорожно раскрывался-открывался. Опять и опять. Молча.

В растерянности Фабиан поднес пальцы свободной руки к своим губам. Ему не верилось. Его глаза потускнели. Он напоминал заблудившегося в городе человека, который пытается вспомнить номер определенного дома, отыскать нужное окно или желанный огонек в окне. Фабиан потерянно озирался, глядя то на стены, то на Кровича, то на куклу, то на свою свободную руку, пальцы которой снова и снова ложились на его горло, ощупывали его, потом испуганно взвсали чуть выше, к губам. Он прислушивался.

Далеко-далеко, в сотне миль отсюда одна-единственная волна накатила на берег и, пенясь, прошелестела по песку. А ponad ней тенью пронеслась чайка — беззвучно, с недвижно распростертыми крыльями.

— Она покинула меня. Ее больше нет. Она сбежала. Я не могу найти ее. Не могу найти, не могу. Послушайте, помогите

мне! Вы можете мне разыскать ее? Помогите мне найти ее! Пожауйста, помогите мне найти ее!

Рябушинская обвисла, как тряпка, на его пальцах. Фабиан рассеянно опустил руку; кукла соскользнула вниз, бесшумно шлепнулась на холодный пол и осталась лежать там — глаза закрыты, губы сжаты.

Фабиан даже не оглянулся на нее, когда Крович выводил его из комнаты.



Наблюдатели

В этой комнате пишущая машинка стучит, будто костяшки пальцев по дереву, и капельки пота падают на клавиши, которых беспрерывно касаются мои дрожащие руки. А еще насмешливо пищит комар, кружащий у меня над головой, и несколько мух, постоянно задевающих за экран-сетку. Вокруг голой электрической лампочки, висящей на потолке, трепещет бабочка, напоминающая клочок белой бумаги. Муравей ползет по стене; я наблюдаю за ним — и невесело смеюсь. Какая ирония: блестящие мухи, рыжие муравьи и сверчки, защищенные своей броней. Как жестоко мы все трое ошибались: Сьюзен, я и Вильям Тинсли.

Кем бы вы ни были, если к вам в руки попадут эти записки, никогда больше не давите муравья на обочине дороги, не убивайте шмеля, с шумом пролетающего мимо вашего окна, не уничтожайте сверчков, поселившихся у вас за очагом!

Вот в чем заключалась страшная ошибка Тинсли.

Вы, конечно, помните Вильяма Тинсли? Человека, потратившего миллион долларов на средства против мух, муравьев и других насекомых?

В офисе Тинсли не было места для мух или комаров. Ни на белой стене, ни на зеленом столе — нигде в кабинете не могло

укрыться ни одно насекомое. Тинсли уничтожал их при помощи своей фирменной хлопущки для мух. Я никогда не забуду это орудие убийства. Тинсли, как истинный монарх, правил своим королевством, пользуясь хлопущкой, будто скипетром.

Я была секретарем Тинсли и его правой рукой в индустрии по производству кухонной посуды; иногда я давал ему советы относительно вложения денег.

В июне 1944 года Тинсли носил хлопущку для мух с собой на работу. Ближе к концу недели, если я занимался какими-нибудь документами, то о появлении Тинсли узнавал по характерным жестам — босс приканчивал утреннюю порцию своих жертв.

Шли дни, и я замечал, что Тинсли постоянно на чеку. Он диктовал мне, но его глаза последовательно прочесывали северную, южную, восточную, западную стены, ковер, книжные полки и даже мою одежду. Один раз я рассмеялся и вернул что-то насчет Тинсли и Клайда Битти — бесстрашных дрессировщиков диких животных, а он напрягся и повернулся ко мне спиной. Я замолчал. «Люди имеют право на странности», — подумал я тогда.

— Привет, Стив, — сказал как-то утром Тинсли, помахав зажатой в руке хлопущкой, когда я взял карандаш и приготовился записывать. — Ты не мог бы убрать трупы перед тем, как мы начнем работать?

На толстом ковре цвета охры валялись павшие в неравном бою мухи; смятые, неподвижные тела с вывернутыми крыльями. Я побросал их одну за другой в мусорную корзину, мрачно бормоча себе под нос.

— С. Х. Литтлу, Филадельфия. «Дорогой Литтл, мы готовы вложить деньги в ваше новое средство против мух. Пять тысяч долларов...»

— Пять тысяч? — переспросил я и перестал писать.

Тинсли не обращал на меня ни малейшего внимания.

— «...Пять тысяч долларов. Советуем начать производство, как только позволят условия военного времени. Искренне ваш...» — Тинсли щелкнул хлопущкой. — Думаешь, я спятил?

— Это постскриптум, или ты обращаешься ко мне? — спросил я.

Позвонили из Компании по борьбе с термитами, Тинсли велел выписать им чек на тысячу долларов за то, что они обрабатывали его дом. Затем похлопал по ручке металлического стула.

— Вот что мне нравится в офисах,— заявил он.— Металл, бетон — все такое надежное, прочное, здесь никогда не заведутся термиты.

Босс вскочил с кресла, хлопнула просвистела в воздухе.

— Проклятье, Стив, эта тварь все время находилась здесь!

Что-то прожужжало в последний раз, и наступила тишина.

Нас окружали чистые безмолвные стены; казалось, потолок пристально нас разглядывает... Воздух медленно выходил через ноздри Тинсли. Я нигде не видел inferнального насекомого.

Тинсли взорвался:

— Помоги мне найти ее! Черт тебя подери, помоги!

— Одну минуту, подожди...— ответил я.

Кто-то постучал в дверь.

— Не входите! — пронзительно закричал Тинсли.— Отойдите от двери и не издавайте ее открыты! — Он стремительно метнулся к двери, запер ее, прижался спиной.— Быстрее, Стив, начинай систематические поиски! Не сиди!

Стол, стулья, подсвечник, стены. Как обезумевшее животное, Тинсли искал, нашел источник жужжания и нанес сокрушительный удар. Беспмятное, блестящее тельце упало на пол, и Тинсли со странным торжеством раздавил его ногой.

Он начал успокаивать меня, но я разозлился.

— Послушай,— резко сказал я,— я твой секретарь и главный помощник, а не наводчик для стрельбы по быстро летающим целям. У меня нет глаз на затылке!

— И у них тоже! — воскликнул Тинсли.— Ты знаешь, что они делают?

— Они? Кто, черт возьми, они такие?

Он замолчал. Устало подошел к письменному столу и сел в кресло.

— Не имеет значения,— сказал Тинсли через некоторое время.— Забудь об этом. И никому не рассказывай о нашем разговоре.

Я смягчился.

— Билл, тебе следует обратиться к психиатру...

Тинсли горько рассмеялся:

— А психиатр расскажет своей жене, та — подругам, а потом они обо всем узнают. Они повсюду. Да, повсюду. Я не хочу, чтобы моя кампания была остановлена.

— Если ты имеешь в виду сто тысяч долларов, которые потратил на средства против мух и муравьев за последние четыре недели,— сказал я,— то кто-то должен тебя остановить. Ты разоришь себя, меня и других держателей акций. Видит бог, Тинсли...

— Замолчи! — рявкнул он.— Ты не понимаешь.

Пожалуй, тогда так оно и было. Я ушел в свой кабинет и целый день был вынужден слушать жестокие удары проклятой хлопущки, доносившиеся из-за стены.

Тем же вечером я ужинал со Сьюзен Миллер. Я рассказал ей о Тинсли, а она выслушала меня с вежливым профессиональным интересом. Потом постучала сигаретой о стол, закурила и сказала:

— Стив, я, конечно, психиатр, но у меня нет ни одного шанса, если Тинсли не придет ко мне добровольно. Я не смогу помочь ему, если он сам того не захочет.— Она похлопала меня по плечу.— Но ради тебя я его посмотрю. Впрочем, если пациент со мной не заодно, считай, что сражение уже наполовину проиграно.

— Ты должна мне помочь, Сьюзен,— сказал я.— Через месяц он окончательно тронется. Мне кажется, у него мания преследования...

Мы подъехали к дому Тинсли.

Первая встреча прошла удачно. Мы много смеялись, танцевали, а потом поужинали в «Коричневом эле». Тинсли даже в голову не пришло, что стройная женщина с тихим голосом, с которой он кружился в вальсе, была психиатром, внимательно изучавшим его реакции.

Сидя за столиком, я наблюдал за ними, стараясь не улыбаться, и услышал, как рассмеялась одной из шутек моего босса Сьюзен.

Мы молча ехали обратно в приятном, расслабленном настроении, которое часто возникает после удачно проведенного вечера. В машине пахло духами Сьюзен, из приемника доносилась приглушенная музыка, колеса автомобиля негромко шуршали по асфальту.

Я взглянул на Сьюзен, она посмотрела на меня, и ее брови поднялись вверх, показывая, что она не обнаружила ничего странного в поведении Тинсли. Я пожал плечами.

Вдруг в открытое окно влетела бабочка и затрепетала белыми, гладкими крылышками возле стекла.

Тинсли закричал, резко дернул в сторону руль и рукой в перчатке схватил бабочку. Его лицо побледнело. Завизжали шины. Сьюзен схватилась за руль и выровняла автомобиль; в следующее мгновение машина остановилась на обочине дороги.

Пока мы стояли, Тинсли сжал пальцы и молча смотрел, как ароматная пыль медленно опускается на руку Сьюзен. Все трое сидели и тяжело дышали.

Сьюзен снова повернулась ко мне, и теперь в ее взгляде было понимание. Я кивнул.

Тинсли уставился прямо перед собой. Словно во сне, он произнес:

— Девяносто девять процентов всех живых существ составляют насекомые...

Он поднял стекла и в полнейшем молчании развез нас по домам.

Через час мне позвонила Сьюзен.

— Стив, у него выработался жуткий комплекс. Завтра мы с ним ужинаем. Я ему понравилась. Возможно, мне удастся выяснить то, что нас интересует. Кстати, Стив, у него есть какие-нибудь домашние животные?

У Тинсли никогда не было ни собаки, ни кошки. Он испытывал отвращение к животным.

— Могла бы и сама догадаться, — сказала Сьюзен. — Ну, спокойной ночи, Стив. До завтра.

Мухи размножались быстро и гудели в ярком солнечном свете летнего дня, как тысячи хитрых, золотых электрических устройств. Они кружились в воздухе, стремительно падали вниз и

откладывали яйца среди отходов, чтобы снова спариваться и шуршать крылышками, а я наблюдал за их кружением и размышлял о том, почему Тинсли так их боится и убивает. Вокруг, описывая изящные дуги, жужжали бесчисленные насекомые, их прозрачные крылышки трепетали. Я заметил стрекоз и наземных жуков, ос, желтых пчел и коричневых муравьев. Мир вдруг стал для меня гораздо более живым, чем раньше, потому что агрессивная осторожность Тинсли заставила и меня обратить внимание на эти крохотные живые существа.

Еще не осознавая своих действий, я стряхнул с куртки маленького рыжего муравья, который упал на меня с куста сирени, и повернул к знакомому белому дому, где жил адвокат Ремингтон, в течение сорока лет представлявший интересы семьи Тинсли; он приступил к своим обязанностям еще до того, как Билл появился на свет. С Ремингтоном у нас было чисто деловое знакомство, но все же я пришел к нему и позвонил в дверь, а через несколько минут уже смотрел на него, держа в руке хрустальный бокал с шерри.

— Помню... — задумчиво произнес Ремингтон. — Бедняга Тинсли. Ему было всего семнадцать, когда это произошло.

Я даже наклонился вперед.

— Что произошло? — По тыльной стороне моей ладони среди золотистых волосков ползал муравей, потом безнадежно запутался в зарослях и перевернулся на спину, отчаянно шевеля жвалами. Я наблюдал за муравьем. — Какой-то несчастный случай?

Адвокат Ремингтон мрачно кивнул, в его карих глазах появилась боль. Он рассказал мне о происшествии в нескольких точных фразах.

— Осенью отец Тинсли взял его с собой на охоту на озеро в районе Наконечника Стрелы — это было в тот год, когда юноше исполнилось семнадцать. Прекрасная природа, отличный, ясный и холодный осенний день. Я помню, потому что охотился тогда же miles в семидесяти от того места. Дичи было полно. Ветер наполнил воздух запахом сосен, над озером разносились звуки выстрелов. Отец Тинсли прислонил свое ружье к кусту, чтобы завязать шнурок, и как раз в этот момент в воздух подня-

лась стоя перепелов и полетела прямо на старшего Тинсли и его сына.

Ремингтон заглянул в свой бокал, словно рассчитывал увидеть там то, о чем рассказывал.

— Один из перепелов столкнул ружье, и оно выстрелило прямо в лицо старшему Тинсли!

— Боже мой!

Я представил себе, как отец Тинсли покачнулся, поднял руки к превратившемуся в алую маску лицу, а потом его покрасневшие ладони опустились, и он упал, а стоявший рядом юноша смотрел на отца и не мог поверить своим глазам.

Я торопливо допил шерри. Ремингтон продолжал:

— Но это еще далеко не все. Многие бы посчитали, что и так молодому Тинсли крепко досталось. Однако то, что произошло потом, не могло не наложить отпечатка на психику семнадцатилетнего юноши. В поисках помощи он пробежал пять миль, оставив в лесу погибшего отца, отказываясь поверить в его смерть. Задыхаясь от крика, срывая с себя одежду, парень добрался до дороги и вернулся с врачом и двумя другими мужчинами. Прошло около шести часов. Солнце начало клониться к закату, когда они торопливо шагали через сосновый лес туда, где остался Тинсли-старший. — Ремингтон замолчал и покачал головой. Его глаза были закрыты. — Все тело, руки, ноги и то, что еще недавно было красивым сильным лицом, покрывала сплошная шевелящаяся масса насекомых. Жуки, муравьи, мухи всех видов собрались на пир, привлеченные сладким запахом крови. На всем теле старшего Тинсли не осталось и квадратного дюйма гладкой кожи!

Перед моим мысленным взором предстали сосновый лес и трое мужчин, стоящих возле окаменевшего юноши, который не в силах отвести взгляда от тела отца, пожираемого маленькими голодными существами. Где-то стучал дятел, бежала по стволу белка, перепела хлопали своими маленькими крыльями, а трое мужчин взяли мальчика за плечи и заставили его отвернуться от ужасного зрелища...

Вероятно, я застал, потому что, когда мое сознание вернулось в библиотеку, я увидел, что Ремингтон смотрит на меня и

на мою окровавленную руку, в которой так и остался раздавленный бокал... Боли я не почувствовал.

— Так вот почему Тинсли так боится насекомых и животных, — выдохнул я несколько минут спустя. Сердце у меня в груди бешено колотилось. — Все эти годы его страх рос как на дрожжах и теперь полностью им завладел.

Ремингтон проявил интерес к проблемам Тинсли, но я постарался успокоить старика и спросил:

— А чем занимался его отец?

— Я думал, вы знаете! — удивленно воскликнул Ремингтон. — Старший Тинсли был известным натуралистом. Даже очень известным. В этом есть некая ирония — его убили те самые существа, которых он изучал, не так ли?

— Да. — Я встал и пожал руку Ремингтона. — Благодарю вас, адвокат. Вы мне очень помогли. А сейчас мне пора уходить.

— До свидания.

Я стоял под открытым небом перед домом Ремингтона; муравей по-прежнему ползал по моей руке. В первый раз я начал понимать Тинсли и сочувствовать ему. Я сел в машину и поехал к Сьюзен.

Она отогнула вуаль своей шляпки и задумчиво посмотрела вдаль.

— То, что ты мне рассказал, очень хорошо объясняет поведение Тинсли. Он постоянно погружен в свои мысли. — Сьюзен помахала рукой. — Взгляни по сторонам — легко ли поверить в то, что насекомые повинны во всех ужасах, творящихся вокруг? Вот мимо нас пролетает бабочка-данаида. — Сьюзен щелкнула пальцами. — Может, она прислушивается к каждому нашему слову? Старший Тинсли был натуралистом. Что с ним произошло? Он сунул нос туда, куда не следовало, — поэтому они, они, которые контролируют животных и насекомых, убили его. День и ночь последние десять лет эта мысль преследовала Тинсли, и всюду, куда падал его взгляд, он видел бесчисленные проявления жизни этого мира. Постепенно его подозрения начали обретать форму и содержание!

— Не могу сказать, что я его виню, — заметил я. — Если бы мой отец так погиб...

— Он отказывается разговаривать, пока в комнате есть хотя бы одно насекомое, не так ли, Стив?

— Да, Тинсли боится: вдруг они обнаружат, что он разгадал их тайну.

— Ты и сам видишь, как это глупо, не так ли? Он не в состоянии удержать свое знание в секрете — если согласиться с тем, что бабочки, муравьи и мухи есть олицетворение зла. Ведь и ты, и я слышали его рассуждения, да и другие тоже. Однако Тинсли упорствует в своем заблуждении, считая, что до тех пор, пока он не произносит ни единого слова в их присутствии... Ну, он все еще жив, не так ли? Они его не уничтожили, да? И если они действительно порождение зла и страшатся его, тогда почему же с Тинсли до сих пор не покончили?

— Может быть, с ним просто играют? — предположил я. — Ты знаешь, как-то странно получается. Старший Тинсли погиб как раз в тот момент, когда был совсем близок к большому открытию. Все укладывается в схему.

— Тебе не следует так долго сидеть под горячим солнцем, — рассмеялась Сьюзен.

Утром следующего воскресенья Билл Тинсли, Сьюзен и я отправились в церковь. Мы сидели, погруженные в тихую музыку; все убранство храма было выдержано в мягких, спокойных тонах. Неожиданно Билл начал смеяться; в конце концов мне пришлось пнуть его локтем под ребра и спросить, что с ним происходит.

— Посмотри на преподобного отца, — ответил Тинсли, не сводящий глаз со священника. — У него муха на лысине. Муха в церкви. Они всюду проникают, я же говорил тебе. Пусть священник читает свою проповедь, от нее не будет никакого толку. О всепрощающий Боже!

После службы мы решили устроить пикник на природе, под теплым голубым небом. Несколько раз Сьюзен пыталась заставить Тинсли заговорить о своих страхах, но Билл молча показывал на вереницу муравьев, переползающих через нашу белую скатерть, и сердито покачал головой. Позднее Билл извинился и с некоторой напряженностью пригласил нас зайти к нему домой:

он не может больше продолжать в том же духе, деньги кончатся, ему грозит банкротство, и он нуждается в нашем совете. Нам со Сьюзен оставалось только согласиться.

Через сорок минут мы уже сидели в его запертом изнутри кабинете, пили коктейль, а Тинсли нетерпеливо расхаживал взад и вперед, поигрывая семейной хлопущей для мух. Перед тем как начать свою речь, он нашел две мухи и прикончил их.

— Металл, — он постучал по стене, — никаких клещей, древесных жучков или термитов. Металлические стулья, металл повсюду. Мы одни, не так ли?

Я посмотрел по сторонам.

— Похоже на то.

— Отлично. — Билл несколько раз глубоко вздохнул. — Вы никогда не задумывались о Боге, Дьяволе и Вселенной? Не удивлялись, почему наш мир так жесток? Как мы пытаемся продвигаться вперед и как нас бьют по голове, если нам удастся сделать лишь маленький шаг?

Я молча кивнул, и Тинсли продолжал:

— Где же наш Господь, или где Силы Зла? Вы не размышляли о том, как они повсюду проникают? Неужели ангелы невидимы? Так вот, ответ прост, остроумен и в то же время научен. За нами постоянно наблюдают. Бывает ли в жизни минута, когда мимо не пролетает муха, или не проползает муравей, или блоха на собаке, не пробегает кошка, жук, или рядом не кружит бабочка?

Сьюзен ничего не сказала, только спокойно посмотрела на Тинсли, стараясь не смущать его. Он сделал глоток из бокала.

— Маленькие крылатые существа, на которых мы не обращаем внимания, следят за нами каждый день нашей жизни, подслушивают молитвы, проникают в мечты, желания и страхи, а потом обо всем, что следует, доносят Ему или Ей — тем силам, что посылают их в наш мир.

— Да брось ты! — импульсивно воскликнул я.

К моему удивлению, Сьюзен шикнула на меня.

— Дай ему закончить, — резко сказала она. А потом посмотрела на Тинсли: — Продолжайте.

— Это звучит глупо, — снова заговорил Тинсли, — но я постарался подойти к проблеме с научной точки зрения. Во-пер-

вых, я никак не могу понять, зачем в нашем мире столько насекомых, почему так много различных видов. Нам, смертным, они только мешают жить. И я нашел весьма простое и естественное объяснение: их правительство невелико числом, может быть, оно состоит из одного существа, поэтому Оно или Они не могут быть повсюду одновременно. А мухи могут. Как и муравьи и другие насекомые. А так как мы, смертные, не в состоянии отличить одно насекомое от другого — все мухи для нас одинаковы, — получается идеальная ловушка. Вот уже долгие годы их так много, что мы даже не обращаем внимания. Как в «Алой букве» Готорна*, они постоянно перед нашими глазами, и мы перестали их замечать.

— Я в это не верю, — прямо сказал я.

— Дай мне закончить! — воскликнул Тинсли. — А потом будешь судить. Существует Сила, ей требуется система коммуникаций, чтобы жизнь каждого индивидуума находилась под контролем. Представьте себе: миллиарды насекомых постоянно проверяют, следят каждое за своим объектом, держа все человечество под контролем!

— Послушай! — не выдержал я. — Ты стал еще хуже, чем когда был мальчишкой! Ты позволил этим идеям поработить твой мозг! Нельзя без конца обманывать себя!

Я вскочил.

— Стив! — Сьюзен тоже встала, ее щеки порозовели. — Подобными словами делу не поможешь! Сядь. — Она положила руку мне на грудь и заставила опуститься на стул. А потом быстро повернулась к Тинсли: — Билл, если то, что вы говорите, правда, то почему, несмотря на все ваши планы, постоянную борьбу с насекомыми в доме, молчание в присутствии маленьких крылатых существ, ваша кампания по поддержке производства инсектицидов до сих пор не привела вас к гибели?

— Почему? — вскричал Тинсли. — Потому что я работал в одиночку.

— Но если они существуют, Билл, то должны были бы узнать о вас еще месяц назад, потому что Стив и я говорили об

этом в их присутствии — а вы все еще живы. Разве это не доказательство того, что вы заблуждаетесь?

— Вы говорили об этом? Вы говорили! — Даже глаза у Тинсли побелели. — Нет, не может быть, ведь Стив дал мне слово!

— Послушайте меня. — Голос Сьюзен заставил Тинсли прийти в себя, словно его встряхнули за шиворот, как маленького ребенка. — Прежде чем впадать в истерику, послушайте: вы готовы пойти на эксперимент?

— Какой еще эксперимент?

— Вы перестанете скрывать свои планы. Если с вами ничего не случится в течение следующих восьми недель, вы согласитесь, что ваши страхи не имеют под собой никаких оснований.

— Но они же прикончат меня!

— Послушайте! Стив и я готовы поставить на карту свои жизни, Билл. Если умрете вы, то и нас со Стивом ждет гибель. Я высоко ценю свою жизнь, да и Стив тоже. Мы не верим в ваши ужасы и хотим, чтобы вы от них избавились.

Тинсли опустил голову и устался в пол.

— Я не знаю, не знаю.

— Восемь недель, Билл. После этого можете всю оставшуюся жизнь посвятить борьбе с насекомыми, но, видит бог, у вас не будет нервного срыва. Уже то, что вы живы, явится доказательством того, что они не желают вам зла и оставили вас в покое!

Тинсли пришлось согласиться с предложением Сьюзен. Однако с большой неохотой.

— Это только начало кампании, — пробормотал он себе под нос. — Возможно, нам понадобится тысяча лет, но в конце концов мы сможем освободиться.

— Неужели вы не понимаете, Билл, что освободитесь через восемь недель? Мы наверняка сумеем доказать, что насекомые ни в чем не виноваты. В следующие два месяца продолжайте свою кампанию, давайте объявления в газетах и еженедельных журналах, вонзите кинжал по рукоять, поведайте о своем открытии всему миру, чтобы в случае вашей гибели человечество было предупреждено. А потом, когда восемь недель пройдут,

* Известный американский писатель-романтик XIX века.

вы освободитесь — неужели после стольких мучительных лет вам не хочется избавиться от преследующего вас кошмара?

Тут произошло событие, которое заставило всех нас вздрогнуть. Над нашими головами зажужжала муха. Все это время она находилась с нами в комнате, однако я мог бы поклясться, что раньше ее не было.

Тинсли задрожал. Не знаю, что со мной произошло, видимо, я действовал совершенно механически, повинаясь внутреннему голосу, потому что я взмахнул рукой и поймал жужжащее насекомое. А потом раздавил его, пристально глядя в белые, как мел, лица Тинсли и Сьюзен.

— Я поймал ее,— произнес я голосом, искаженным безумием.— Я поймал эту проклятую муху, сам не знаю зачем.

Я разжал кулак. Муха упала на пол. Я наступил на нее — это не раз на моих глазах делал Билл, и мое тело, без всякой на то причины, похолодело. Сьюзен смотрела на меня так, словно только что потеряла своего последнего друга.

— Господи, что я говорю! — воскликнул я.— Я же не верю ни одному слову!

За толстым оконным стеклом сгустился мрак. Тинсли с трудом сумел закурить сигарету, а потом предложил нам переночевать у него — мы все были ужасно возбуждены. Сьюзен сказала, что останется, если он согласится на восьминедельный эксперимент.

— Вы готовы рискнуть жизнью? — Билл никак не мог понять Сьюзен.

Она серьезно кивнула:

— Через год мы будем шутить, вспоминая об этой истории.

— Ладно,— вздохнул Билл,— согласен.

Из моей комнаты наверху был отличный вид на раскинувшиеся за окном холмы. Сьюзен расположилась в соседней, а спальня Билла находилась по другую сторону от гостиной. Лежа в постели, я слышал, как стрекочут сверчки, и вдруг понял, что этот звук меня ужасно раздражает.

Я встал и закрыл окно.

Сон долго не приходил. Я представил себе, что где-то в темноте моей спальни пищит москит. Наконец накинул халат и спустился в кухню, хотя и не чувствовал голода; мне хотелось

съесть что-нибудь просто так, чтобы успокоиться. Я нашел Сьюзен возле холодильника — она шаркала по полкам.

Мы посмотрели друг на друга. Поставили на стол несколько тарелок с едой. Мир вокруг потерял реальность. Общение с Тинсли превратило наше привычное окружение в нечто непривычное и смутно опасное. Сьюзен, несмотря на всю свою выучку и профессионализм, оставалась женщиной, а женщины в глубине души суеверны.

Вдобавок ко всему в тот самый момент, когда мы собрались воткнуть вилки в остатки цыпленка, на мясо села муха.

Минут пять мы сидели и смотрели на нее. Муха погуляла по цыпленку, потом взлетела, сделала круг, снова опустилась на него и продолжила свой променад по цыплячьей ножке.

Мы убрали блюдо обратно в холодильник, неловко пошутили, но разговаривали приглушенными, смущенными голосами, потом поднялись наверх и разошлись по своим спальням. Я улегся в постель, и дурные сны набросились на меня еще до того, как я успел закрыть глаза. Наручные часы вдруг начали невыносимо громко тикать в темноте. Пропшел бесконечно долгий промежуток времени, и вдруг я услышал пропзительный вопль.

Нет ничего удивительного в женских воплях, но когда визжит мужчина — а это случается нечасто,— кровь стынет в жилах. Казалось, крик раздается со всех сторон одновременно, мне даже почудилось, что я могу разобрать отдельные слова: «Теперь я знаю, почему они оставили меня в живых!»

Я распахнул дверь и увидел бегущего по коридору Тинсли, вся его одежда была мокрой. Заметив меня, он повернулся и прокричал:

— Ради бога, держись от меня подальше, Стив, не прикасайся ко мне, иначе это произойдет и с тобой! Я ошибался! Да, я ошибался, но как же близко мне удалось подобраться к правде!

Прежде чем я успел хоть что-то предпринять, Тинсли сбегал по лестнице и захлопнул за собой дверь. Несовершенно рядом со мной возникла Сьюзен.

— На этот раз он окончательно спятил. Стив, нам необходимо остановить его.

Мое внимание привлёк шум, доносившийся из ванны. Заглянув туда, я выключил обжигающую воду, которая с шипением разбивалась о желтый кафель пола.

Заработал двигатель машины Билла, послышался скрежет коробки передач, и машина на безумной скорости выскочила на дорогу.

— Нужно ехать за ним, — настаивала Сьюзен. — Он убьет себя! Тинсли пытается от чего-то убежать. Где твоя машина?

Мы бросились к моему автомобилю. Пронзительный ветер трепал волосы Сьюзен, холодные звезды равнодушно смотрели на нас сверху вниз. Мы забрались в машину, немного прогрели мотор и выехали на дорогу, задыхающиеся и смущенные.

— В какую сторону?

— Я уверена, что он поехал на восток.

— Значит, на восток. — Я нажал на газ и пробормотал: — О Билл, идиот, болван. Сбавь скорость. Вернись. Подожди меня, безумец.

Я почувствовал, как рука Сьюзен крепко сжала мой локоть.

— Быстрее! — прошептала она.

— Мы едем со скоростью шестьдесят миль, а впереди крутые повороты!

Ночь обрушилась на нас; разговоры о насекомых, ветер, шум трущейся об асфальт резины, биение наших испуганных сердец.

— Туда! — показала Сьюзен. Я увидел луч света среди холмов примерно в миле впереди. — Быстрее, Стив!

Мы мчались все быстрее. Нога жмет на педаль, ревет мотор, звезды безумно мечутся над головой, свет фар разрезает темную дорогу на отдельные куски. И вдруг у меня перед глазами снова возник промокший до костей Тинсли: он стоял под горячим, обжигающим душем! Почему? Почему?

— Билл, остановись, проклятый идиот! Перестань уезжать от нас! Куда ты мчишься, от кого убегаешь, Билл?

Мы постепенно догоняли его, ярд за ярдом приближались к нему. Тормоза визжали на крутых поворотах, тяготение пыталось сбросить нас с дороги на гранитные уступы, через холмы и вниз, в долину, над которой сгустилась ночь, через мосты над речушками и снова в крутые повороты.

— Он опережает нас всего лишь на шестьсот ярдов, — сказала Сьюзен.

— Мы его догоним. — Я резко повернул руль. — Да поможет мне Бог, мы до него доберемся!

А потом, довольно неожиданно, это произошло.

Машина Тинсли снизила скорость. Теперь она еле ползла по дороге. В этом месте шоссе шло по прямой на протяжении целой мили, ни поворотов, ни холмов. Его машина едва двигалась. Когда мы остановились за «родстером»* Тинсли, он не делал и трех миль в час, однако фары продолжали гореть.

— Стив, — ногти Сьюзен поцарапали мое запястье, — что-то здесь не так.

Я и сам прекрасно понимал: что-то случилось. Погудел клаксоном. Потом еще раз. Одинокий и неуместный звук далеко разнесся в пустоте и мраке.

Я остановил машину. «Родстер» Тинсли продолжал ползти вперед, как металлическая улитка, выхлопные газы что-то шептали черной ночью.

Я открыл дверь и выскользнул из машины.

— Оставайся здесь, — предупредил я Сьюзен.

В отраженном свете фар ее лицо было белым как снег, губы дрожали.

Я побежал к «родстеру», крича на бегу:

— Билл! Билл!

Тинсли не отвечал. Он не мог.

Мой друг тихо лежал за рулевым колесом, а машина ехала вперед, медленно и неуклонно.

Мне стало нехорошо. Я протянул руку и выключил зажигание, стараясь не смотреть на Тинсли. Мой разум погружался в пучину нового ужаса.

Наконец я собрался с духом и бросил взгляд на Билла, лежавшего с откинутой назад головой.

Нет никакого смысла убивать мух, moskitов, бабочек и термитов. Зло слишком коварно, чтобы с ним можно было расправиться таким способом.

* Двухместный автомобиль с открытым верхом.

Можно прикончить всех насекомых, которые вам попадутся, уничтожить собак, кошек и птиц, горностаев, бурундуков и термитов — со временем человек сумеет это сделать, убивая, убивая, убивая, но в самом конце они все равно останутся — они, микробы.

Бактерии. Микробы. Да. Одноклеточная, двуклеточная и многоклеточная микроскопическая жизнь!

Миллионы и миллиарды микробов в каждой поре, каждом дюйме нашей плоти. На наших губах, когда мы разговариваем, в ушах, когда слушаем, на коже, когда мы чувствуем, на языке, когда ощущаем вкус, в глазах, когда мы смотрим! Их нельзя смыть, нельзя уничтожить все микробы в мире! Эта задача неразрешима!

Ты догадался об этом, Билл, не так ли? Мы почти убедили тебя, Билл, что насекомые невиновны, что они не являются Наблюдателями, ведь так? И тут мы были совершенно правы. Мы тебя убедили, и ты начал размышлять, а потом вдруг пришло озарение. Бактерии. Вот почему ты бросился под обжигающий душ! Но нельзя убивать бактерии достаточно быстро. Они непрерывно размножаются и размножаются!

Я посмотрел на распростертое тело Билла. Средство против насекомых — ты думал, что этого будет достаточно. Какая ирония!

Билл, неужели это ты, а твоё тело поражено проказой и тангренгой, туберкулезом, малярией и бубонной чумой одновременно? Где кожа на твоём лице, Билл, и плоть на твоих костях, на твоих пальцах, сжимающих руль? О господи, Тинсли, цвет и исходящий от тебя запах — отвратительное сочетание ужасных болезней!

Микробы. Посланцы. Миллионы посланцев. Миллиарды.

Бог не может одновременно находиться повсюду. Может быть, он создал мух и насекомых, чтобы они наблюдали за его творениями.

Но Злые тоже обладают замечательными способностями. Они изобрели бактерии!

Билл, ты стал совсем другим...

Теперь ты не сможешь поведать свою тайну миру.

Я вернулся к Сьюзен и посмотрел на нее, не в силах вымолвить ни слова. Я мог только жестами показать, чтобы она отправлялась домой без меня. У меня еще остались кое-какие дела. Предстояло отправить машину Билла в кювет и сжечь ее.

Сьюзен уехала прочь, ни разу не обернувшись.

И вот, неделю спустя, я печатаю свои записки. Уж и не знаю, есть ли в моих действиях смысла, здесь и сейчас, теплым летним вечером. Мухи с жужжанием носятся по комнате. Теперь я наконец понял, почему Тинсли прожил так долго. Пока его усилия были направлены против мух, муравьев, птиц и животных, представляющих Силы Добра, Силы Зла ему не мешали. Тинсли, сам того не подозревая, работал на Силы Зла. Однако как только он понял, что именно бактерии являются его истинным врагом, куда более многочисленным и невидимым, Зло сразу же покончило с ним.

Я постоянно вспоминаю о том, как погиб старший Тинсли — когда испорхнувшие перепела заставили его ружье выстрелить ему в лицо. На первый взгляд это не укладывается в схему. Зачем перепелам, представителям Сил Добра, убивать старшего Тинсли? Теперь я знаю ответ на этот вопрос. Перепела тоже болеют, и болезнь в тот давний день, нарушив связи между нервными окончаниями, заставила птиц подтолкнуть ружье Тинсли и убить его.

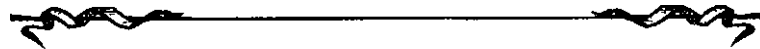
И еще одна мысль не дает мне покоя, когда я представляю себе старшего Тинсли, лежащего под красным, колышущимся одеялом из насекомых. Должно быть, они лишили его утешения, которое после смерти обретает каждый, разговаривая на некоем тайном языке, который нам не дано услышать при жизни.

Шахматная партия продолжается, Добро против Зла.

И я проигрываю.

Сегодня я сижу здесь, пишу и жду, а моя кожа чешется и становится мягкой. Сьюзен находится на другом краю города, она ничего не знает, она в безопасности, а я должен изложить свое знание на бумаге, даже если это убьет меня. Я прислушиваюсь к жужжанию мух, словно надеюсь получить некое знание, но рассчитывать мне не на что.

И пока я пишу, кожа на моих пальцах начинает обвисать, меняет цвет, мое лицо становится частично сухим и покрытым струпьями, а частично влажным, скользким, плоть не держится на размягчившихся костях, глаза слезятся — это, наверное, проказа; кожа потемнела — кажется, бубонная чума; живот рвет на части жестокие судороги, язык кажется горьким и ядовитым, зубы шатаются, в ушах звенит, и через несколько минут мои пальцы, сложные мышцы, изящные маленькие кости окончательно откажутся мне служить, между клавишами пишущей машинки уже и так слишком много желатина, плоть соскользнет, как разложившийся, прогнивший плащ с моего скелета, но я должен писать до тех пор, пока могу... шврррш кпрррш дддда дддда...



Корпорация «Марионетки»

...вое медленно шли вдоль по улице и спокойно беседовали. Обоим было лет по тридцать пять, и для десяти часов вечера оба были примечательно трезвы.

— Но почему в такую рань? — спросил Смит.

— Потому, — ответил Брэйлинг.

— В кои-то веки выбрался, и уже в десять — домой.

— Наверное, нервы пошаливают.

— Странно, как тебе это вообще удалось. Я тебя десять лет пытаюсь вытащить посидеть со стаканчиком. А стоило тебе вырваться, и ты настаиваешь, что должен вернуться в такую рань.

— Боюсь спугнуть удачу, — отозвался Брэйлинг.

— Что ты сделал — подсыпал жене снотворного в кофе?

— Нет, это было бы непорядочно. Сам скоро увидишь.

Они свернули за угол.

— По правде говоря, Брэйлинг... не хотел бы я этого касаться, но ты с ней натерпелся. Можешь не признаваться, но твой брак был сплошным кошмаром, верно?

— Я бы не сказал.

— Выпало ведь, как она заставила тебя жениться. Помнишь, в 1979 году, когда ты собирался в Рио...

— Милый Рио. Собирался, да так и не съездил.

— Помнишь, как она порвала на себе одежду, растрепала волосы и пригрозила вызвать полицию, если ты не женишься?

— Она всегда была нервной, Смит, пойми.

— Это просто подлость. Ты не любил ее. Хотя это ты ей сказал?

— Припоминаю, что даже настаивал.

— И все-таки женился.

— Мне приходилось думать о своем бизнесе и о матери с отцом. Такой скандал их убил бы.

— И так уже десять лет.

— Да,— произнес Брэйлинг, взгляд его серых глаз был тверд.— Но я думаю, все еще переменится. Думаю, мои ожидания сбудутся. Взгляни.

Он продемонстрировал длинный синий билет.

— Да это же билет до Рио на четверг!

— Да. Наконец-то я поеду.

— Но это же просто замечательно! Ты-то заслужил! А она не станет возражать? Скандалить?

Брэйлинг нервно улыбнулся:

— Она не узнает, что я уехал. Я вернусь через месяц, и никто ничего не проведает, кроме тебя.

— Вот бы и мне с тобой,— вздохнула Смит.

— Бедняга Смит. Твоя семейная жизнь тоже не сахар, верно?

— Пожалуй, ведь у моей жены все с перебором. Я хочу сказать, когда ты женат уже десять лет, как-то не ждешь, чтобы твоя жена торчала у тебя на коленях каждый вечер битых два часа, по десять раз на дню звонила тебе на работу и лепетала, как девочка. Я все думаю — может, она умственно отсталая?

— Ты, Смит, никогда не отличался воображением. Вот и мой дом. Ну как, хочешь узнать мой секрет? Как мне удалось вырваться сегодня.

— А ты и правда скажешь?

— Посмотри вверх,— сказал Брэйлинг.

Оба уставились в темноту.

В окне прямо над ними, на втором этаже, появилась тень. Человек лет тридцати пяти с висками, тронутыми сединой, грустными серыми глазами и реденькими усиками глянул на них с высоты.

— Да это же ты! — воскликнул Смит.

— Ш-ш-ш, не так громко.

Брэйлинг помахал рукой. Человек в окне понимающе кивнул и исчез.

— Наверное, я спятил,— пожаловался Смит.

— Погоди минутку.

Они ждали.

Входная дверь дома распахнулась, и высокий худой джентльмен, с усиками и печальными глазами, вышел им навстречу.

— Привет, Брэйлинг,— сказал он.

— Привет, Брэйлинг,— ответил Брэйлинг.

Никакой разницы.

Смит уставился на них.

— Это твой брат-близнец? А я и не знал.

— Нет, нет,— тихо произнес Брэйлинг.— Наклонись. Приложи ухо к груди Брэйлинга-два.

Смит поколебался, потом, нагнувшись, припал к покорно подставленной груди двойника.

Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик.

— Да нет! Быть не может!

— Может.

— Дай еще послушать.

Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик.

Смит отступил и растерянно захолопал глазами. Он протянул руку и коснулся теплых щек и ладоней двойника.

— Откуда он у тебя?

— Правда, он великолепно сработан?

— Невроятно. Откуда?

— Дай этому человеку твою карточку, Брэйлинг-два.

Брэйлинг-два жестом фокусника извлек белую карточку.

КОРПОРАЦИЯ «МАРИОНЕТКИ»

Сделайте копию самого себя или своих друзей!

*Новые гуманоидные пластиковые модели образца 1990 года,
гарантия от всех видов физического износа.*

Цены от 7 600 долларов;

15 000 долларов — наша модель «люкс».

- Нет,— сказал Смит.
- Да,— сказал Брэйлинг.
- Естественно,— сказал Брэйлинг-два.
- Как долго это продолжается?

— Уже месяц. Я держу его в погребѣ, в ящике для инструментов. Моя жена никогда вниз не спускается, а единственный ключ от замка к этому ящику — у меня. Сегодня вечером я сказал, что хотел бы выйти купить сигару. Я спустился в погреб, вынул из ящика Брэйлинга-два и отправил его составить компанию моей жене, пока сам я провожу время в твоѣм обществе, Смит.

— Чудесно! Он даже пахнет, как ты. «Бонд-стрит» и «Мелакринос»*.

— Назови меня буквоедом, но, по-моему, это в высшей степени порядочно. В конце концов, больше всего на свете моя жена жаждет обладать мной. Эта марионетка — я до кончиков ногтей. Я был дома весь вечер. Я пробуду дома весь следующий месяц. А тем временем после десяти лет ожидания некий джентльмен побывает в Рио. Когда я вернусь из Рио, Брэйлинг-два отправится обратно в ящик.

Смит поразмышляла минуту-другую.

— А он продержится месяц без подзарядки? — спросил он наконец.

— Хотя шесть месяцев, если нужда возникнет. И он сконструирован так, чтобы полностью соответствовать — есть, спать, потеть,— все естественно, как само естество. Ты ведь позаботишься о моей жене, Брэйлинг-два?

— У тебя премилая жена,— кивнул Брэйлинг-два.— Я к ней весьма привязался.

Смита начала пробирать дрожь.

— А как долго работает корпорация «Марионетки»?

— Втайне — вот уже два года.

— А вдруг... ну, если есть возможность... — Смит с мольбой ухватил приятеля за рукав.— Ты мне подскажешь, где я мог бы обзавестись роботом... ну, марионеткой для себя? Адресом не поделишься?

* «Бонд-стрит» — марка сигарет, «Мелакринос» — марка сигар.

— Держи.

Смит взял карточку и повертел в руке.

— Спасибо,— выпалил он.— Ты и не знаешь, что это для меня значит. Хотя немного отдыха. Хотя один вечер за месяц. Моя жена так меня обожает, что и часа без меня прожить не может. Я и сам ее нежно люблю, но... помнишь стихи: «Любовь улетает — достаточно руки разжать, любовь умирает, коль в путах ее удержат»? Вот я и хочу немного ослабить хватку.

— Ты счастливчик, тебя жена хоть любит. Моя проблема — ненависть. С этим справиться потруднее.

— О, Нетти любит меня безумно. Моя задача — приспособить ее любовь к себе.

— Удачи тебе, Смит. Заходи ко мне, пока я буду в Рио. Моей жене покажется странным, если ты вдруг перестанешь заглядывать. И обращайся с Брэйлингом-два совсем как со мной.

— Правильно! Прощай. И — спасибо!

Смит с улыбкой на устах зашагал по улице. Брэйлинг и Брэйлинг-два повернулись и вошли в дом.

В городском автобусе Смит насвистывал тихонько и вертел в пальцах белую карточку.

Клиенты обязуются хранить полную секретность, поскольку до легализации Конгрессом продукции корпорации «Марионетки» ее использование уголовно наказуемо.

— Ну-ну,— пробормотал Смит.

Клиенты обязаны предоставить гипсовый слепок своего тела и точный цветовой индекс глаз, губ, волос, кожи и т. д. Срок моделирования — два месяца.

«Не так уж долго,— подумал Смит.— Через два месяца мои ребра придут в себя после сокрушающих объятий. Через два месяца моя вечно стискиваемая рука перестанет болеть. Через два месяца заживут вечные ссадины на нижней губе. Не то чтобы я хотел быть неблагодарным...» — Он перевернул карточку.

За два года своего существования корпорация «Марионетки» принесла счастье многим благодарным клиентам.

Наш девиз — «Никаких веревочек».

Адрес: 43 Саут Уэсли-Драйв.

Автобус подъехал к остановке; Смит вышел. Подымаясь по лестнице, он тихо напевал себе под нос.

«У нас с Нетти,— бормотал он про себя,— пятнадцать тысяч долларов на общем банковском счету. Я просто сниму восемь тысяч — скажем, на деловые расходы. Марионетка наверняка окупится, и даже с лихвой. А Нетти незачем знать».

Смит открыл дверь и мигом очутился в спальне. Там была Нетти — огромная, бледная, погруженная в блаженный сон.

— Милая Нетти.— При виде ее безмятежного лица в полумраке угрызения совести едва не сломили его.— Стоило б тебе проснуться, и ты бы сокрушила меня поцелуями и воркованием. Право же, ты заставляешь меня почувствовать себя преступником. Ты всегда была такой хорошей, любящей женой. Иной раз мне даже не верится, что ты вышла за меня, а не за этого Бада Чэпмена, который когда-то так тебе нравился. Похоже, за последний месяц твоя страсть ко мне стала еще более безумной.

Слезы намерзли ему на глаза. Внезапно Смит захотелось поцеловать жену, признаться в любви, разорвать карточку, забыть обо всем. Но стоило ему потянуться к ней, как в руку вернулась боль, а ребра затрепали и заныли. Он остановился, отвернувшись; в глазах его застыла мука. Он вышел в холл и в темноте пересек комнаты. В библиотеке он открыл ящик стола и извлек чековую книжку.

— Взять восемь тысяч, и все,— произнес Смит.— И дело с концом...— Он замер.— Минуточку!

Он судорожно перелистывал страницы.

— Это еще что такое? — воскликнул он.— Десяти тысяч не хватает! — Он так и подскочил.— Осталось только пять тысяч! Что она сотворила? Что Нетти с ними сотворила? Опять тряпки, шляпки, духи! Или нет — я знаю! Она купила тот домик над Гудзоном, о котором в минувшем месяце прожужжала мне все уши, и хоть бы словом обмолвилась!

Смит ринулся в спальню, пылая праведным гневом. Да что она себе думала, когда пивырялась так их деньгами? Он склонился над кроватью.

— Нетти! — рявкнул он.— Нетти, проснись!

Она не шелохнулась.

— Что ты сотворила с моими деньгами? — взвыл он.

Она беспокойно пошевелилась. Свет из окна румянил ее прекрасные щеки.

Что-то было в ней такое... Его сердце яростно заколотилось. В горле пересохло. Он затрепетал. Ноги его подкосились. Он рухнул на колени.

— Нетти, Нетти! — возопил он.— Что ты сделала с моими деньгами?!

А потом пришла жуткая мысль. Потом ужас и одиночество поглотили его. Потом — боль и разочарование. Ибо, сам того не желая, он нагибался все ниже и ниже, пока его горячее ухо не прижалось крепко и плотно к ее округлой розовой груди.

— Нетти!

Тик-так-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик.

Пока Смит уходил по ночной улице, Брэйлинг и Брэйлинг-два закрыли за собой входную дверь.

— Я рад, что он тоже будет счастлив,— заметил Брэйлинг.

— Да,— рассеянно отозвался Брэйлинг-два.

— Тебя ящик дожидается, Б-два.

Брэйлинг вел второго за локоть вниз по лестнице в погреб.

— Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить,— сказал Брэйлинг-два, когда они ступили на цементный пол.— Этот погреб. Он мне не нравится. Мне не нравится в ящике.

— Я постараюсь придумать что-нибудь поудобнее.

— Марионетки должны двигаться, а не лежать. Как бы тебе понравилось почти все время проводить в ящике?

— Ну...

— Никак бы не понравилось. Я функционирую. Меня невозможно отключить. Я тоже живой, и у меня есть чувства.

— Осталось всего несколько дней. Я уеду в Рио, и тебе не придется жить в ящике. Ты сможешь жить наверху.

Брэйлинг-два раздраженно махнул рукой:

— А когда ты хорошенько отдохнешь и вернешься, я снова отправлюсь в ящик.

— Продавцы марионеток не предупредили меня, что мне попался образец с норовом,— заметил Брэйлинг.

— Они о нас многого не знают,— сообщил Брэйлинг-два.— Ведь мы — новинка. И мы чувствительны. Мне даже думать противно, что ты уедешь, и будешь смеяться, и полеживать на солнышке в Рио, а мы тут торчи в этой холодине.

— Но я мечтал об этой поездке всю жизнь,— тихо вымолвил Брэйлинг.

Он прикрыл глаза и увидел море, и горы, и желтый песок. Воображаемый шум волн отлично успокаивал его. Солнце замечательно грело его обнаженные плечи. Вино было восхитительным.

— Я никогда не попаду в Рио,— возразил второй.— Об этом ты подумал?

— Нет, я...

— И вот еще что. Твоя жена...

— А что — моя жена? — переспросил Брэйлинг, начиная бочком пробираться к двери.

— Я к ней весьма привязался.

— Я рад, что тебе нравится твоя работа.— Брэйлинг нервно облизнул губы.

— Боюсь, ты всё же не понимаешь. Я... я полагаю, что я люблю ее.

Брэйлинг сделал еще шаг и замер.

— Ты — что?!

— Я все думал и думал,— продолжал Брэйлинг-два,— как хорошо в Рио, а мне туда ни за что не попасть. И еще я подумал, что мы с твоей женой... мы могли бы быть вполне счастливы.

— К-как м-мило... — Самой небрежной походкой, на какую он только был способен, Брэйлинг направился к двери погребка.— Ты не подождешь меня минуточку? Мне нужно позвонить.

— Куда? — нахмурился Брэйлинг-два.

— Неважно.

— В корпорацию «Марионетки»? Чтобы они приехали и забрали меня?

— Нет, нет — у меня такого и в мыслях не было!

Брэйлинг попытался рвануться к двери.

Железные пальцы сомкнулись на его запястьях.

— Руки прочь!

— Нет.

— Это тебя моя жена подучила?

— Нет.

— Она догадалась? Она говорила с тобой? Она знает? Это ее рук дело?

Он пронзительно закричал. Чужая ладонь зажала его рот.

— Ты так и не узнаешь, верно? — вежливо улыбнулся Брэйлинг-два.— Так и не узнаешь.

— Она наверняка догадалась, она наверняка тебя подучила! — брыкался Брэйлинг.

— Я собираюсь поместить тебя в ящик,— сообщил Брэйлинг-два,— закрыть его и ключ потерять. А потом я куплю еще один билет до Рио, для твоей жены.

— Нет, нет, погоди. Постой же. Не сходи с ума. Давай все обсудим!

— Прощай, Брэйлинг.

Брэйлинг окаменел.

— Что значит «прощай»?

Десять минут спустя миссис Брэйлинг проснулась. Она приложила руку к щеке — только что кто-то ее поцеловал. Она вздрогнула и подняла глаза.

— Но... но ты никогда этого не делал,— пробормотала она.

— А мы посмотрим, как это можно исправить,— пообещал некто.



Наказание без преступления

— Хотите убить свою жену? — спросил темноволосый человек, сидевший за письменным столом.

— Да. То есть нет... не совсем так. Я хотел бы...

— Фамилия, имя?

— Ее или мои?

— Ваши.

— Джордж Хилл.

— Адрес?

— 11, Саут Сент-Джеймс, Гленвью.

Человек бесстрастно записывал.

— Имя вашей жены?

— Кэтрин.

— Возраст?

— Тридцать один.

Вопросы сыпались один за другим. Цвет волос, глаз, кожи, любимые духи, какая она на ощупь, размер одежды...

— У вас есть ее стереофотоснимок? А пленка с записью голоса? Ага, я вижу, вы принесли. Хорошо. Теперь...

Прошел целый час. Джорджа Хилла уже давно прошиб пот.

— Все. — Темноволосый человек встал и строго посмотрел на Джорджа. — Вы не передумали?

— Нет.

— Вы знаете, что это противозаконно?

— Да.

— И что мы не несем никакой ответственности за возможные последствия?

— Ради бога, кончайте скорей! — крикнул Джордж. — Вон уже сколько вы меня держите. Делайте скорее!

Человек еле заметно улыбнулся:

— На изготовление куклы-копии вашей жены потребуется три часа. А вы пока вздремните — это вас немного успокоит. Третья зеркальная комната, слева по коридору, свободна.

Джордж медленно, как оглушенный, побрел в зеркальную комнату. Он лег на синюю бархатную кушетку, и давление его тела заставило вращаться зеркала на потолке. Нежный голос зашел: «Спи... спи... спи...»

— Кэтрин, я не хотел идти сюда. Это ты заставила меня... Господи, я не хочу тут оставаться. Хочу домой... Не хочу убивать тебя... — сонно бормотал Джордж.

Зеркала беснумно вращались и сверкали.

Он уснул.

Он видел во сне, что ему снова сорок один год, он и Кэти бегут по зеленому склону холма, они прилетели на пикник и их вертолет стоит неподалеку. Ветер развеивает золотые волосы Кэти, она смеется. Они с Кэти целуются и держат друг друга за руки и ничего не едят. Они читают стихи; только и делают, что читают стихи.

Потом другие картины. Полет, быстрая смена красок. Они летят над Грецией, Италией, Швейцарией — той ясной, долгой осенью 1997 года! Летят и летят без остановок!

И вдруг — кошмар. Кэти и Леонард Фелпс. Джордж вскрикнул во сне. Как это случилось? Откуда вдруг взялся Фелпс? Почему он вторгся в их мир? Почему жизнь не может быть простой и доброй? Неужели все это из-за разницы в возрасте? Джорджу под пятьдесят, а Кэти молода, так молода! Почему, почему?..

Эта сцена навсегда осталась в его памяти. Леонард Фелпс и Кэти в парке, за городом. Джордж появился из-за поворота дорожки как раз в тот момент, когда они целовались.

Ярость. Драка. Попытка убить Фелпса.
А потом еще дни и еще кошмары...
Джордж проснулся в слезах.

— Мистер Хилл, для вас все приготовлено.

Неужели же он поднялся с кушетки. Увидел себя в высоких и неподвижных теперь зеркалах. Да, выглядит он на все пятьдесят. Это была ужасная ошибка. Люди более привлекательные, чем он, брали себе в жены молодых женщин и потом убеждались, что они неизбежно ускользают из их объятий, растворяются, словно кристаллики сахара в воде. Он злобно разглядывал себя. Чуть-чуть много живота. Чуть-чуть много подбородка. Многовато соли с перцем в волосах и мало в теле...

Темноволосый человек ввел его в другую комнату.

У Джорджа перехватило дыхание.

— Но это же комната Кэти!

— Фирма старается максимально удовлетворять запросы клиентов.

— Ее комната! До мельчайших деталей!

Джордж Хилл подписал чек на десять тысяч долларов. Человек взял чек и ушел.

В комнате было тихо и тепло.

Джордж сел и потрогал пистолет в кармане. Да, куча денег... Но богатые люди могут позволить себе роскошь «очищающего убийства». Насилие без насилия. Смерть без смерти. Ему стало легче. Внезапно он успокоился. Он смотрел на дверь. Наконец-то приближается момент, которого он ждал целых полгода. Сейчас все будет кончено. Через мгновение в комнату войдет прекрасный робот, марионетка, управляемая невидимыми нитями. И...

— Здравствуй, Джордж.

— Кэти!

Он стремительно повернулся.

— Кэти! — вырвалось у него.

Она стояла в дверях за его спиной. На ней было мягкое как пух зеленое платье, на ногах — золотые плетенные сандалии. Волосы светлыми волнами облевали шею, глаза сияли ясной голубизной.

От потрясения он долго не мог выговорить ни слова. Наконец сказал:

— Ты прекрасна.

— Разве я когда-нибудь была иной?

— Дай мне поглядеть на тебя, — сказал он медленно чужим голосом.

Он простер к ней руки, неуверенно, как лунатик. Сердце его глухо колотилось. Он двигался тяжело, будто придавленный огромной толщей воды. Он все ходил, ходил вокруг нее, бережно прикасаясь к ее телу.

— Ты что, не нагладелся на меня за все эти годы?

— И никогда не наглажусь... — сказал он, и глаза его налились слезами.

— О чем ты хотел говорить со мной?

— Подожди, пожалуйста, немного подожди.

Он сел, внезапно ослабев, на кушетку, прижал дрожащие руки к груди. Зажмурился.

— Это просто непостижимо. Это тоже кошмар. Как они сумели сделать тебя?

— Нам запрещено говорить об этом. Нарушается иллюзия.

— Какое-то колдовство.

— Нет, наука.

Руки у нее были теплые. Ногти совершенны, как морские раковины. И нигде ни малейшего изъяна, ни единого шва. Он глядел на нее, и ему вспоминались слова, которые они так часто читали вместе в те счастливые дни: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими... Как лента алая губы твои, а уста твои любезны... Два сосца твоих как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями... Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе»*.

— Джордж!

— Что? — Глаза у него были ледяные.

Ему захотелось поцеловать ее.

«...Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана».

* Здесь и далее цитаты из Библии («Песнь песней»).

— Джордж!

Оглулительный шум в ушах. Комната перед глазами пошла ходуном.

— Да-да, сейчас, одну минуту...

Он затряс головой, чтобы вытряхнуть из нее шум.

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь княжеская! Округление бедер твоих, как ожерелье, творение искусного художника...»

— Как им это удалось? — вскричал он.

Так быстро! За три часа, пока он спал. Как это они расплавили золото, укрепили тончайшие часовые пружинки, алмазы, блески, конфетти, драгоценные рубины, жидкое серебро, медные проволоочки? А ее волосы? Их спряли металлические насекомые? Нет, наверно, золотисто-желтое пламя залили в форму и дали ему затвердеть...

— Если ты будешь говорить об этом, я сейчас же уйду, — сказала она.

— Нет-нет, не уходи!

— Тогда ближе к делу, — холодно сказала она. — Ты хотел говорить со мной о Леонарде.

— Подожди, об этом немного позже.

— Нет, сейчас, — настаивала она.

В нем уже не было гнева. Все как будто смыло волной, когда он ее увидел. Он чувствовал себя гадким мальчишкой.

— Зачем ты пришел ко мне? — спросила она без улыбки.

— Прошу тебя...

— Нет, отвечай. Если насчет Леонарда, то ты же знаешь, что я люблю его.

— Замолчи! — Он зажал уши руками.

Она не унималась.

— Тебе отлично известно, что я сейчас все время с ним. Я теперь бываю с Леонардом там, где бывали мы с тобой. Помнишь лужайку на Монте-Всрде? Мы с ним были там на прошлой неделе. Месяц назад мы летали в Афины, взяли с собой ящик шампанского.

Он облизал пересохшие губы.

— Ты не виновата, не виновата! — Он вскочил и схватил ее за руки. — Ты только что появилась на свет, ты не она. Виновата она, не ты. Ты совсем другая.

— Неправда, — сказала женщина. — Я и есть она. Я могу поступать только так, как она. Во мне нет ни грамма того, чего нет в ней. Практически мы с ней одно и то же.

— Но ты же не вела себя так, как она?

— Я вела себя именно так. Я целовала его.

— Ты не могла, ты только что родилась!

— Да, но из ее прошлого и из твоей памяти.

— Послушай, — умолял он, тряся ее, пытаясь заставить себя слушать, — может быть, можно... может быть, можно... ну, заплатить больше денег? И увезти тебя отсюда? Мы улетим в Париж, в Стокгольм, куда хочешь!

Она рассмеялась.

— Куклы не продаются. Их дают только напрокат.

— Но у меня есть деньги!

— Это уже пробовали, давным-давно. Нельзя. От этого люди сходят с ума. Даже то, что делается, — незаконно, ты же знаешь. Мы существуем потому, что власти смотрят на нас сквозь пальцы.

— Кэти, я хочу одного — быть с тобой.

— Это невозможно — ведь я та же самая Кэти, вся до последней клеточки. А потом, мы остерегаемся конкуренции. Куклы не разрешается вывозить из здания фирмы: при вскрытии могут разгадать наши секреты. И хватит об этом. Я же предупредила тебя: об этом говорить не надо. Уничтожишь иллюзию. Уходя, будешь чувствовать себя неудовлетворенным. Ты ведь заплатил — так делай то, за чем пришел сюда.

— Но я не хочу убивать тебя.

— Часть твоего существа хочет. Ты просто подавляешь в себе это желание, не даешь ему прорваться.

Он вынул пистолет из кармана.

— Я старый дурак. Мне не надо было приходить сюда... Ты так прекрасна!

— Сегодня вечером я снова встречу с Леонардом.

— Замолчи.

— Завтра утром мы улетаем в Париж.

— Ты слышала, что я сказал?

— А оттуда в Стокгольм. — Она весело рассмеялась и потрепала его по подбородку. — Так-то, мой толстячок.

Что-то зашевелилось в нем. Он побледнел. Он ясно понимал, что происходит: скрытый гнев, отвращение, ненависть пульсировали в нем, а тончайшие телепатические паутины в феноменальном механизме ее головы улавливали эти сигналы смерти. Марионетка! Он сам и управлял ее телом с помощью невидимых нитей.

— Пухленький чудачок. А ведь когда-то был красив.

— Перестань!

— Ты старый, старый, а мне ведь только тридцать один год. Ах, Джордж, как же слеп ты был — работал, а я тем временем опять влюбилась... А Леонард просто прелесть, правда?

Он поднял пистолет, не глядя на нее.

— Кэти.

«Голова его — чистое золото...» — прошептала она.

— Кэти, не надо! — крикнул он.

«...Кудри его волнистые и черные, как вороново крыло... Руки его — золото, украшенное топазами!»

Откуда у нее эти слова «Песни песней»? Они звучат в его мозгу — как же получается, что *она* их произносит?

— Кэти, не заставляй меня это делать!

«Щеки его — цветник ароматный...» — бормотала она, закрыв глаза и неслышно ступая по комнате. — Живот его изваян из слоновой кости... Ноги его — мраморные столпы...»

— Кэти! — взвизгнул он.

Выстрел.

«Уста его — сладость...»

«...Вот кто мой возлюбленный...»

Еще выстрел.

Она упала.

— Кэти, Кэти, Кэти!!!

Он всадил в нее еще четыре пули.

Она лежала и дергалась. Ее бесчувственный рот широко раскрылся, и какой-то механизм, уже зверски изуродованный, заставлял ее повторять вновь и вновь: «Возлюбленный, возлюбленный...»

Джордж Хилл потерял сознание.

Он очнулся от прикосновения прохладной влажной ткани к его лбу.

— Все кончено, — сказал темноволосый человек.

— Кончено? — шепотом переспросил Джордж.

Темноволосый кивнул.

Джордж бессильно глянул на свои руки. Он помнил, что они были в крови. Он упал на пол, когда потерял сознание, но и сейчас в нем еще жило воспоминание о том, что по его рукам потоком льется настоящая кровь.

Сейчас руки его были чисто вымыты.

— Мне нужно уйти, — сказал Джордж Хилл.

— Если вы чувствуете, что можете...

— Вполне. — Он встал. — Уеду в Париж. Начну все сначала. Звонить Кэти и вообще ничего такого делать, наверно, не следует.

— Кэти мертва.

— Ах да, конечно, я же убил ее! Господи, кровь была совсем как настоящая...

— Мы очень гордимся этой деталью.

Хилл спустился на лифте в вестибюль и вышел на улицу. Лил дождь. Но ему хотелось часами бродить по городу. Он очистился от гнева и жажды убийства. Воспоминание было так ужасно, что он понимал: ему уже никогда не захочется убить. Даже если настоящая Кэти появилась бы сейчас перед ним, он возблагодарил бы Бога и упал, позабыв обо всем на свете, к ее ногам. Но она была мертва. Он сделал, что собирался. Он поспрал закон, и никто об этом не узнает.

Прохладные капли дождя освежали лицо. Он должен немедленно уехать, пока не прошло это чувство очищения. В конце концов, какой смысл в этих «очистительных» процедурах, если снова браться за старое? Главное назначение кукол в том и заключается, чтобы предупреждать *реальные* преступления. Захотелось тебе избить, убить или помучить кого-нибудь, вот и отведи душу на марионетке... Возвращаться домой нет решительно никакого смысла. Возможно, Кэти сейчас там, а ему хотелось думать о ней только как о мертвой — он ведь об этом должным образом позаботился.

Он остановился у края тротуара и смотрел на проносащиеся мимо машины. Он глубоко вдыхал свежий воздух и ощущал, как постепенно спадает напряжение.

— Мистер Хилл? — проговорил голос рядом с ним.

— Да. В чем дело?

На его руке щелкнули наручники.

— Вы арестованы.

— Но...

— Следуйте за мной. Смит, арестуйте остальных наверху.

— Вы не имеете права...

— За убийство — имеем.

Гром грянул с неба.

Без десяти девять вечера. Вот уже десять дней как льет, не переставая, дождь. Он и сейчас поливает стены тюрьмы. Джордж высунул руки через решетку окна, и капли дождя теперь собирались в маленькие лужицы на его дрожащих ладонях.

Дверь лязгнула, но он не пошевелился, руки его по-прежнему мокры под дождем. Адвокат глянул на спину Хилла, стоявшего на стуле у окна, и сказал:

— Все кончено. Сегодня ночью вас казнят.

— Я не убийца. Это была просто кукла, — сказал Хилл, прислушиваясь к шуму дождя.

— Таков закон, и ничего тут не поделаешь. Вы знаете. Других ведь тоже приговорили. Президент компании «Марионетки, инкорпорейтед» умрет в полночь, три его помощника — в час ночи. Ваша очередь — половина второго.

— Благодарю, — сказал Хилл. — Вы сделали все, что могли. Видимо, это все-таки было убийство, даже если убил я не живого человека. Намерение было, умысел и план тоже. Не хватало только живой Кэти.

— Вы попали в неудачный момент, — сказал адвокат. — Десять лет назад вам бы не вынесли смертного приговора. Через десять лет вас бы тоже не тронули. А сейчас им нужен предметный урок — мальчик для битья. Ажиотаж вокруг кукол принял за последний год просто фантастические размеры. Надо припугнуть публику, и припугнуть всерьез. Иначе бог знает до чего мы можем докатиться. У этой проблемы есть ведь и религиоз-

но-этический аспект: где начинается — или кончается — жизнь, что такое роботы — живые существа или машины? В чем-то они очень близки к живым: они реагируют на внешние импульсы, они даже мыслят. Вы же знаете: два месяца назад был издан закон «О живых роботах». Под действие этого закона вы и попали. Просто неудачный момент, только и всего...

— Правительство поступает правильно, теперь мне стало ясно, — сказал Хилл.

— Я рад, что вы понимаете позицию правосудия.

— Да. Не могут же они легализовать убийство. Даже такое условное — с применением телепатии, механизмов и воска. С их стороны было бы лицемерием отпустить меня безнаказанным. Я совершил преступление. И все время с того часа чувствовал себя преступником. Чувствовал, что заслуживаю наказания. Странно, правда? Вот как общество властвует над сознанием человека. Оно заставляет человека чувствовать себя виновным даже тогда, когда вроде бы и нет оснований для этого...

— Мне пора. Может быть, у вас есть какие-нибудь поручения?

— Нет, спасибо, мне ничего не нужно.

— Прощайте, мистер Хилл.

Дверь захлопнулась.

Джордж Хилл продолжал стоять на стуле у окна, сплетя мокрые от дождя руки за решеткой. На стене вспыхнула красная лампочка, и голос из репродуктора сказал:

— Мистер Хилл, здесь ваша жена. Она просит свидания с вами.

Он стиснул решетку руками.

«Она мертва», — подумал он.

— Мистер Хилл, — снова окликнул его голос.

— Она мертва. Я убил ее.

— Ваша жена ожидает здесь. Вы хотите ее видеть?

— Я видел, как она упала, я застрелил ее, я видел, как она упала мертвой!

— Мистер Хилл, вы меня слышите?

— Да-да, — закричал он, колотя о стену кулаками. — Слышу! Слышу вас! Она мертва, мертва и пусть оставит меня в покое! Я убил ее, я не хочу ее видеть, она мертва!

Пауза.

— Хорошо, мистер Хилл,— пробормотал голос.

Красный свет погас.

В небе вспыхнула молния, озарила его лицо. Он прижался разгоряченной щекой к прутьям решетки и долго стоял так, а дождь лил и лил. Наконец где-то внизу открылась дверь, и из тюремной канцелярии вышли две фигуры в плащах. Они остановились под ярким дуговым фонарем и подняли голову.

Это была Кэти. И рядом с ней Леонард Фелпс.

— Кэти!

Она отвернулась. Мужчина взял ее под руку. Они побежали под черным дождем через дорогу и сели в приземистую машину.

— Кэти! — Крича, он дергал прутья решетки, колотил кулаками по бетонному подоконнику.— Она жива! Эй, надзиратель! Я видел ее. Она жива! Я не убил ее, меня можно отпустить на свободу! Я никого не убивал, это все шутка, опшибка, я видел, видел ее! Кэти, вернись, скажи им, что ты жива! Кэти!

В камеру вбежали надзиратели.

— Вы не смеете казнить меня! Я не совершил никакого преступления! Кэти жива, я сейчас видел ее!

— Мы тоже видели ее, сэр.

— Тогда освободите меня! Освободите!

«Этого не может быть, они просто сошли с ума!» Он задохнулся и едва не упал.

— Суд уже вынес свой приговор, сэр.

— Но это несправедливо!

Он подпрыгнул и вцепился в решетку, дико крича.

Машина тронулась с места, увозя Кэти и Леонарда. Увозя их в Париж, и в Афины, и в Венецию, а весной — в Лондон, летом — в Стокгольм, осенью — в Вену.

— Кэти, вернись! Кэти, ты не можешь так со мной поступить!

Красные задние фары машины удалялись, подмигивая сквозь завесу холодного дождя. Надзиратели надвинулись сзади и схватили его, а он все продолжал кричать.



Маленькие мышки

— Странные они какие-то,— сказал я.— Ну, эта мексиканская парочка.

— В каком смысле? — спросила жена.

— У них всегда так тихо,— ответил я ей.— Прислушайся.

Наш дом стоял в самой глубине жилого квартала; в свое время к нему сделали небольшую пристройку, и, купив дом, мы с женой сразу решили, что будем ее сдавать. Располагалась она прямо за одной из стен нашей гостиной. Теперь же, замерев возле этой стены, мы различали лишь стук собственных сердец.

— Они точно дома,— прошептал я.— Но за те три года, что они здесь прожили, я ни разу не слышал, чтобы у них что-нибудь упало или они болтали друг с другом. По-моему, они и свет не включают. Боже праведный, что же они там делают?

— Никогда не задумывалась,— ответила моя жена.— Это и вправду очень необычно.

— У них горит только одна лампочка — тусклая, синяя, двадцать пять ватт, та, что в гостиной. Если, проходя мимо, заглянуть в их переднюю дверь — он всегда молча сидит в своем кресле, положив руки на колени. А она, устроившись в другом, смотрит на него и никогда ничего не говорит. Они даже не шевелятся.

— Мне часто кажется, что их нет дома,— сказала жена.— В гостиной у них так темно, что, только если смотреть долго и глаза привыкают, можно различить их силуэты.

— Когда-нибудь,— проговорил я,— я ворвусь к ним, включу весь свет и начну дико улюлюкать! Господи, уж если меня достает эта типина, как они-то сами ее выносят? Они ведь умеют разговаривать... Умеют, как ты думаешь?

— Когда он приносит квартплату раз в месяц, он говорит мне «Здравствуйте».

— А еще что?

— «До свидания».

— Если мы встречаемся в аллее,— покачивая головой, сказал я,— он улыбается и старается поскорее ретироваться.

Мы с женой устроились вечером в гостиной, чтобы немного почитать, послушать радио и побоаать.

— А радио у них есть?

— Нет ни радио, ни телевизора, ни телефона. Ни книг или журналов, нет даже маленького клочка бумаги.

— Ерунда какая-то!

— Да перестань ты так волноваться!

— Я все прекрасно понимаю, но невозможно же сидеть в темной комнате в течение двух или трех лет и не перемолвиться друг с другом ни единым словечком, не слушать радио, не читать. По-моему, они даже не едят. Я ни разу не уловил запаха жарящегося мяса или яичницы. Проклятье, я ни разу не слышал, как они ложатся спать!

— Они просто хотят нас заинтриговать, дорогой.

— У них это отлично получается!

Однажды я отправился прогуляться по нашему кварталу. Был чудесный летний вечер. Возвращаясь, я бросил мимолетный взгляд на переднюю дверь наших соседей. Внутри царил сумрачная тишина, горела маленькая синяя лампочка, и мне удалось разглядеть расплывчатые очертания двоих людей, сидящих в креслах. Я стоял и довольно долго смотрел, пока не докурив свою сигарету. Только повернув в сторону собственного дома, я заметил в дверях маленького мексиканца. Он высунулся наружу, но при этом его пухлое лицо совсем ничего не выражало. Он не шевелился. Просто торчал в дверях и смотрел на меня.

— Добрый вечер,— поздоровался я.

Молчание. Через некоторое время мексиканец скрылся в темной комнате.

Утром маленький мексиканец уходил из дома в семь часов, один, быстро пробегал по аллее, храня точно такое же молчание, как и у себя дома. Она следовала за ним в восемь, шла всегда очень осторожно и казалась какой-то бесформенной в своем мешковатом темном пальто; на завитых в парикмахерской волосах сидит черная шляпка. На протяжении всех этих лет они каждое утро вот так уходили на работу, молча и отчужденно.

— Где они работают? — спросил я за завтраком.

— Он — в мартеновском цехе на сталелитейном заводе. А она — швея в каком-то ателье.

— Тяжелая работенка.

Я напечатал несколько страничек своего романа, посидел немного, потом напечатал еще. В пять часов вечера я увидел, как маленькая мексиканка вернулась домой, открыла замок, быстро проскользнула внутрь, опустила решетку и захлопнула за собой дверь.

Мужчина примчался ровно в шесть. Оказавшись на своем заднем крыльце, быстро успокоился. Тихонько, едва касаясь, провел рукой по решетке — в этот момент он был страшно похож на скребущуюся толстую мышь — и стал терпеливо ждать. Наконец она его выпустила. Я не заметил, чтобы губы у них шевелились.

Во время ужина ни единого звука. Ничего не жарилось. Не стучали тарелки.

Включилась маленькая синяя лампочка.

— Он точно так же ведет себя, когда приносит квартплату,— сказала моя жена.— Так тихо стучит в дверь — словно прызет ее, что ли? — я его никогда не слышу. А потом бросаю взгляд в окно и вижу его. Одному богу известно, сколько времени он простоял, дожидаясь, пока я открою.

Два дня спустя, прекрасным июльским вечером маленький мексиканец вышел на свое заднее крыльцо и, посмотрев на меня — я в это время копался в саду,— сказал:

— Вы сумасшедший! — А потом повернулся к моей жене: — Вы тоже сумасшедшая! — Тихонько помахал своей пухлой рукой.— Вы мне совсем не нравитесь. Слишком много шума. Вы мне не нравитесь. Вы сумасшедшие.

И вернулся в свой маленький домик.

Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. «Мыши», как мы теперь их называли, сидели в своей норке тихо-тихо. Как-то раз моя жена дала ему какие-то старые журналы вместе с квитанцией о внесении арендной платы. Маленький мексиканец вежливо улыбнулся, поклонился, взял их, но ничего не сказал. А час спустя жена заметила, как он отнес их во двор на помойку и там сжег.

На следующий день он заплатил за три месяца вперед, рассудив, по всей вероятности, что таким образом ему придется сталкиваться с нами лицом к лицу всего лишь один раз в двенадцать недель. Когда мы встречались на улице, он быстро переходил на другую сторону, делая вид, что ему нужно поздороваться с каким-то воображаемым приятелем. Его женщина точно так же пробегала мимо меня, робко улыбалась, кивала, отчаянно смущалась. Мне ни разу не удалось подойти к ней ближе чем на двадцать ярдов. Когда им нужно было починить водопровод, они ничего нам не сказали: самостоятельно нашли мастера, который, похоже, работал в их доме с фонариком.

— Проклятье,— пожаловался он мне, когда мы встретились в аллее.— Такого дурацкого места я в жизни не видел. В патронах нет ни одной лампочки. Когда я спросил, куда они все подевались, проклятье, эти люди просто улыбнулись мне в ответ!

Я лежал ночью без сна и думал о маленьких мышках. Откуда они? Из Мексики, это мне известно. Из какого района Мексики? С крошечной фермы или из небольшой деревеньки, стоящей на берегу реки? Конечно же, ни о каком большом городе, как, впрочем, и о маленьком, речи быть не может. Но все равно они, наверное, приехали из такого места, где есть звезды и нормальный свет, где встает и садится солнце, где на небе регулярно появляется луна,— они провели там большую часть жизни. И вот оказались здесь, далеко-далеко от дома, в чудовищном городе. Он целый день потеет возле доменной печи, а она, не разгибаясь, орудует иглой в ателье. Они возвращаются сюда, в свой новый дом, по орущему городу, стараясь держаться подальше от грохота машин и визгливых, словно красные попугаи, пивных; они оставляют у себя за спиной миллионы пронзительных воплей, стремятся поскорее оказаться в своей гостиной, где горит синяя лампочка, стоят удобные кресла и царит благословенная тишина.

Я часто думал об этом. Глухой ночью мне казалось, что стоит протянуть руку в этом бесконечном безмолвном мраке, и я почувствую мой дом, услышу сверчка и реку, чьи воды серебрятся под луной, а вдалеке кто-то тихонько поет под аккомпанемент гитары.

Однажды в декабре, поздно вечером загорелся соседний жилой дом. В небо взвились рычащие языки пламени, лавиной посыпались кирпичи, а искры заплясали на крыше пристройки, где жили тихие мышки.

Я принялся колотить в их дверь.

— Пожар! — орал я.— Пожар!

Они неподвижно сидели в своей, освещенной синей лампочкой комнате.

Я стучал в дверь изо всех сил.

— Вы что, не слышите? Пожар!

Прибыли пожарные машины. Стали заливать водой горящий дом. Начали падать новые кирпичи. Четыре из них пробили дыры в крыше маленького домика.

Я забрался наверх и потянул пламя; впрочем, горело там совсем не сильно, тем не менее, когда я спустился, руки у меня были в садах, а лицо перепачкано сажей. Дверь маленького домика открылась. На пороге стояли тихий маленький мексиканец и его жена — стояли молча, не шевелясь.

— Впустите меня! — крикнул я.— В вашей крыше дыра; искры могли попасть в спальню!

Я распахнул дверь пошире и оттолкнул их в сторону.

— Нет! — застонал маленький человечек.

— Ах! — Маленькая женщина бегала кругами, словно сло-манный заводная игрушка.

Но я уже был внутри с фонариком в руках. Маленький человечек схватил меня за руку.

Я почувствовал его дыхание.

И тут мой фонарик осветил их комнаты, и многоцветные лучи заиграли на сотнях винных бутылок, стоящих в холле, на кухонных полках, дюжинах, расставленных в гостиной, на тумбочках, шкафах и другой мебели в спальне. Не могу сказать, что произвело на меня более сильное впечатление — дыра в потол-

ке спальни или сияние бесконечных рядов бутылок. Я не смог их сосчитать, попытался, но быстро сбился. Это было похоже на вторжение блестящих жуков, которых неожиданно сразила какая-то древняя болезнь, и они попадали замертво, а потом так и остались лежать там, где их настигла судьба.

Я вошел в спальню и почувствовал, что мужчина и женщина стоят у меня за спиной в дверях. Я слышал их громкое дыхание, ощущал на себе их глаза. Я отвел фонарик от сверкающих бутылок и старательно направил луч света на отверстие в потолке. Больше я не отвлекался от того, зачем сюда пришел.

Маленькая женщина заплакала. Она плакала очень тихо. Ни тот ни другая не шевелились.

На следующее утро они съехали.

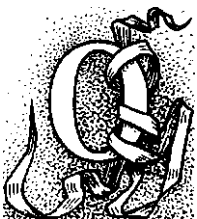
Прежде чем мы это сообразили — ведь было шесть часов утра, — маленькие мышки уже пробежали половину аллеи со своими чемоданами в руках, которые казались такими легкими, что вполне могли быть пустыми. Я попытался их остановить. Попытался уговорить остаться. Я сказал им, что они наши друзья, старые друзья. Я сказал, что ничего не изменилось. Они не имеют никакого отношения к пожару, сказал я, и к крыше тоже. Они всего лишь случайные свидетели, убеждал я их. Я сказал, что сам почию крышу, бесплатно, не возьму с них за ремонт ничего!

Но они на меня даже не взглянули. Пока я говорил, они смотрели на дом и ту часть аллеи, что лежала перед ними. А потом, когда я замолчал, стали кивать — не мне, а аллее, — словно соглашаясь, что пора идти, медленно двинулись вперед, а потом побежали. Мне показалось, что они спасались бегством от меня, мчались все дальше и дальше, в сторону улицы, где так много машин и автобусов, где оглушительные, громогласные проспекты переплетаются в сложном рисунке загадочного лабиринта. Они спешили, но держались гордо, высоко подняв головы и не оглядываясь назад.

Я встретил их еще раз по чистой случайности. В один из предпраздничных дней, под Рождество, заметил маленького мексиканца: он торопливо шагал по освещенной вечерними огнями улице впереди меня. Не знаю почему, но я пошел вслед за ним. Когда он поворачивал, я тоже поворачивал. Наконец, за пять

кварталов до нашего района, он тихонько поскребся в дверь маленького белого домика. Та открылась, а потом быстро захлопнулась, когда он вошел внутрь. На город опустилась ночь, и в крошечной гостиниой загорелся тусклый синий свет. Мне показалось, будто я увидел два силуэта: он — в своей части комнаты, в кресле, а она — в другой: показалось, что они сидят в темноте, сидят неподвижно, а за креслами на полу начинают скапливаться бутылки. И ни единого звука, ни единого слова друг другу. Только тишина. Впрочем, вполне возможно, что я все это просто вообразил.

Я не постучал в дверь. Прошел мимо, по длинному проспекту, прислушиваясь к визгивому, птичьему гомону баров и забегаловок. Купил газету, журнал и какую-то книгу. А потом отправился домой, где горит яркий свет, а на столе ждет горячая еда.



Следующий

кна выходили на некое подобие городского сквера — надо сказать, довольно жалкое подобие. Впрочем, некоторые его составные части освежали зрелище: эстрада, чем-то напоминающая коробку из-под конфет (по четвергам и воскресеньям какие-то люди раздражались здесь громкой музыкой), ряды бронзовых скамеек, богато украшенных всякими позеленевшими излишествами и завитками, а также прелестные дорожки, выложенные голубой и розовой плиткой, — голубой, как только что подведенные женские глазки, и розовой, как тайные женские же мечты. Дополняли очарование остриженные на французский манер деревья с кронами в виде огромных шляпных коробок. В целом же, глядя из окна гостиницы, человек, не лишенный воображения, мог бы принять это место за какую-нибудь французскую виллу конца девятых годов. И конечно, ошибся бы. Все это находится в Мексике. Обычная plaza — площадь в маленьком колониальном городке, где в государственном оперном театре всего за два песо вам покажут замечательные фильмы: «Распутин и императрица», «Большой дом», «Мадам Кюри», «Любовное приключение» или «Мама любит папу».

Было раннее утро. Джозеф вышел на разогретый солнцем балкон и присел на колени перед решеткой. В руках он держал

небольшой фотоаппарат «Брауни». Позади, в ванной, журчала вода, и голос Мари произнес:

— Что ты там делаешь?

— Снимаю, — пробормотал он себе под нос.

Она повторила вопрос. Щелкнув затвором, Джозеф поднялся на ноги, перевел кадр и, повернувшись к двери, сказал громче:

— Снимаю! Городской сквер!.. Не пойму, зачем им понадобилось всю ночь шуметь? До полтретьего глаз не сомкнул... Уго-раздило же приехать как раз в тот день, когда в местном «Ротари»* попойка...

— Какие у нас на сегодня планы? — спросила она.

— Пойдем посмотреть мумии, — ответил он.

— О господи... — вздохнула Мари, после чего в комнате повисла долгая пауза.

Он вошел, положил фотоаппарат и прикурил сигарету.

— Ну, если ты не хочешь, я сам поднимусь на гору и осматриваю их один.

— Да нет, — замялась она. — Лучше уж я пойду с тобой. Только я все думаю — на что они нам? Такой чудный городок...

— Смотри-ка! — вдруг воскликнул Джозеф, видимо заметив что-то краем глаза. В несколько шагов он оказался на балконе и замер там. В руке его дымилась забытая сигарета. — Иди же сюда, Мари!

— Я вытираюсь, — ответила она.

— Ну давай, побыстрее, — не унимался Джозеф, а сам как зачарованный смотрел куда-то вниз, на улицу.

За его спиной послышался шорох, который принес с собой аромат мыла, только что вымытого тела, мокрого полотенца и одеколona. Рядом с ним стояла Мари.

— Не двигайся, — сказала она. — Я спрячусь за тебя и буду выглядывать. Просто я голая... Ну, что у тебя там такое?

— Смотри, смотри!

По улице внизу двигалась какая-то процессия. Возглавлял ее человек, несущий поклажу на голове. За ним шли женщины в

* Сеть клубов по всему миру для бизнесменов и представителей свободных профессий.

черных gebozo*; прямо на ходу они зубами срывали шкурки с апельсинов и плевали их на мостовую. Далее следовали мужчины, а за ними — стайка детей. Некоторые ели сахарный тростник, вгрызаясь в кору, пока та не начинала трескаться, — и тогда они кусками отламывали ее, чтобы добраться до вожделенной мякоти, а напоследок высосать сок из всех сухожилий. Всего в толпе было человек пятьдесят.

— Джо... — проговорила Мари за спиной у Джозефа и взяла его за руку.

Человек, возглавлявший процессию, нес на голове не простую поклажу. Накрытая сверху серебристым шелком с бахромой, она была еще украшена серебряными розочками. Мужчина бережно придерживал ее одной смутлой рукой, а другой размахивал при ходьбе.

Вне всякого сомнения, перед Мари и Джозефом были похороны, а поклажа являлась не чем иным, как маленьким гробиком.

Джозеф взглянул на жену.

Когда Мари только-только вышла из ванной, кожа ее была нежно-розовой, а теперь стала белой, как парное молоко. Сердце словно скатилось в какую-то пустоту внутри ее самой. Она совершенно забыла, что голая, и вышла на балкон, не отрывая взгляда от этой толпы жующих и что-то бормочущих людей. Некоторые из них даже сдавленно смеялись.

— Наверное, какая-то девушка отправилась в мир иной — или мальчонка, — сказал Джозеф.

— А куда они тащат... ее?

Ее! Разумеется, Мари представилось, что это девочка, а не мальчик. И не просто девочка, а она сама, запакованная в посылочный ящик, как недозрелые фрукты. И вот ее несут, зажатую в крошечной темноте, как персиковую косточку, руки отуда касаются ее гроба, но изнутри это не видно и не слышно. Там, внутри, — только ужас и тишина...

— На кладбище — куда же еще? — ответил Джозеф, глядя на Мари сквозь облачко сигаретного дыма.

— Ты так уверенно говоришь, будто знаешь, на какое именно.

— А в таких городках всегда только одно кладбище. Здесь обычно не тянут с похоронами. Думаю, девушка умерла всего несколько часов назад.

— Несколько часов... — Мари отвернулась — голая, жалкая, с мокрым полотенцем в поникших руках. И медленно двинулась к своей кровати. — Неужели... Всего несколько часов назад она была еще жива, и вот теперь...

Джозеф продолжил:

— Теперь ее, скорее, несут на гору. Неподходящий здесь климат для покойников. Жара, бальзамировать нечем. Вот и приходится им спешить.

— Но представь себе, какой ужас — то кладбище... — произнесла Мари совершенно замогильным голосом.

— Ах ты о мумиях, — сказал он. — Да будет тебе расстраиваться.

Сидя на кровати, Мари машинально разглаживала полотенце у себя на коленях. Глаза ее казались не более зрячими, чем круглые коричневые соски груди. Она смотрела на Джозефа и не видела его. Щелкни он сейчас пальцами, кашляни — она даже не вздрогнула бы.

— Они едят фрукты прямо на ее похоронах. И смеются!

— Путь до кладбища неблизкий, да еще все время в гору.

Мари вдруг дернулась, словно рыба, которая заглотила крючок и пытается освободиться. Затем бессильно откинулась на подушку.

Джозеф посмотрел на нее долгим взглядом. Это был особый взгляд — так обычно разглядывают плохую скульптуру. Холодный, придиричивый и в то же время равнодушный... Ну да, конечно, его рукам знакомы все изгибы ее полнеющего и дряблого тела. Это уже далеко не то тело, которое он обнимал на заре их супружества, — оно изменилось, и изменилось непоправимо. Словно скульптор случайно пролил на упругую глину воды, превратив ее в бесформенную массу. Теперь сколько ни отогревай ее в руках, сколько ни пытайся выпарить влагу, прежней ей уже никогда не стать. Да и откуда взяться теплу? Ведь лето — их лето — давно прошло. Теперь безжалостная вода

* Длинный мексиканский шарф.

влезла в каждую клеточку ее тела, стяжав груды, заставив обвиснуть кожу.

— Что-то я неважно себя чувствую, — сказала Мари и задумалась, словно пыталась понять, действительно ли это так. — Совсем неважно, — повторила она, но Джозеф ничего не ответил. Полежав еще пару минут, она приподнялась. — Давай не будем оставаться здесь еще на одну ночь, Джо.

— Городок такой живописный...

— Да, но ведь мы уже все осмотрели. — Мари встала. Она знала наперед, что он скажет. Что-нибудь веселое, бодрое и жизнерадостное — разумеется фальшивое. — Можно поехать в Патикуро. Это рукой подать. Тебе даже вещи паковать не придется, милый, я все беру на себя! Остановимся в отеле «Дон-Посада». Говорят, там красивейшие места...

— Здесь, — перебил ее Джозеф, — здесь красивейшие места.

— ...и все дома увиты бугенвиллией... — закончила Мари.

— Вон, — он показал на цветы на окне, — вон твоя бугенвиллия.

— ...а еще там можно порыбачить — ты же обожаешь рыбачить, — поспешно добавила Мари. — И я тоже буду рыбачить с тобой. Я научусь — правда научусь. Я так давно мечтала научиться рыбачить! Знаешь, у тарасканских индейцев раскосые глаза, и они почти не говорят по-испански... А оттуда мы можем отправиться в Паракутин — это недалеко от Урвапана, там делают замечательные лаковые шкатулки. О, это будет здорово, Джо!.. Все. Я начинаю собирать вещи. Постарайся понять меня и...

— Послушай, Мари...

Джозеф окликнул ее, и она остановилась, не добежав до двери ванной комнаты.

— А? — повернулась она.

— Разве не ты говорила, что неважно себя чувствуешь?

— Ну да, я. Я и правда чувствовала... чувствую себя неважно. Но стоит только подумать об этих замечательных местах...

— Да пойми же: мы не осмотрели и десятой части этого города, — с самым резонным видом начал он. — Там, на горе, есть статуя Морелоса — я собирался ее сфотографировать. Кроме

того, дома французской постройки... Ну подумай: преодолеть столько миль, ехать сюда, добираться — а потом побыть всего один день и уехать! И потом, я уже заплатил за следующую ночь...

— Мы можем сделать возврат, — поспешно заверила его Мари.

— Ну почему ты так хочешь уехать отсюда? — с притворным простодушием, словно он говорил с ребенком, спросил Джозеф. — Тебе что, не нравится этот город?

— Да нет же, городок прелестный, — ответила Мари, изобразив улыбку на совершенно бледном лице. — Такой чистенький... гм-м... зеленый.

— Ну вот и ладно, — порешил Джозеф. — Тогда остаемся еще на день. Обещаю: ты обязательно полюбишь эти места. Мари начала что-то говорить, но замолкла.

— Что-что? — переспросил он.

— Да нет, ничего.

Она закрыла за собой дверь ванной. Было слышно, как Мари рвется там в туалет. Затем зашумела вода. Очевидно, она принимала какое-то желудочное средство.

Джозеф встал под дверь.

— Скажи... ты ведь не боишься мумий? — спросил он.

— Нет, — промычала она.

— Значит, все из-за похорон?

— Угу.

— Имей в виду: если бы ты действительно боялась, я бы без всяких промедлений собрал чемодан — да-да, дорогая.

Он дал ей время обдумать ответ.

— Да нет, я не боюсь, — сказала Мари.

— Вот и умница, — похвалил он.

Кладбище было обнесено толстой кирпичной стеной. В каждом из четырех углов ограды застыли в порыве на своих каменных крыльях грязноватого вида купидоны. Головы их были украшены шапочками из птичьего помета, которые на лбу плавно переходили в веснушки. На руках нестрели амулеты того же происхождения. Джозеф и Мари наконец поднялись на гору, увязая в горячих солнечных лучах, словно в тягучей жиже. За их

спинами по земле стелились голубые тени. Впереди маячила железная решетка кладбищенских ворот. Чтобы открыть ее, им пришлось немало потрудиться.

Прошло всего несколько дней после празднования так называемого *Eli Dia de Muerte*, то есть Дня мертвых, и повсюду, словно безумные волосы, развевались ленточки, обрывки ткани и блески — на торчащих тут и там могильных плитах, на резных, отполированных поцелуями распятия и на гробницах, издали похожих на парящие шкапулки для драгоценностей. Невысокие холмики все как один были посыпаны гравием. На некоторых застыли в ангельских позах статуи, на других возвышались огромные — в человеческий рост — каменные надгробия, щедро увешанные все теми же ангелочками. Отдельные плиты были такими непомерно широкими, что напоминали кровати, выставленные на просушку после ночной неожиданности. Во всех четырех стенах кладбища имелись встроены ниши с гробами, обшитыми со всех сторон мрамором. Имена умерших либо вырезались прямо на камне, либо обозначались на жестяных табличках. Кое-где сведения были снабжены дешевым портретиком, рядом с которым на гвоздике висела какая-нибудь безделушка — видимо, та самая, которую усопший больше всего любил при жизни. Здесь были серебряные брелки, серебряные ручки и ножки (а также фигурки людей целиком), серебряные чашки, серебряные собачки, серебряные церковные медальоны, просто — обрывки красных и голубых лент... Встречались и целые картинки, написанные маслом по жесту покойник при помощи ангелов возносится на небо.

Приглядевшись к могилам, Джозеф и Мари заметили на них остатки недавней фиесты Смерти. Застывшие капли воска на камнях — видимо, от праздничных свечей. Вялые орхидеи, прилипшие к молочно-белым камням, как раздавленные красные пауки — в некоторых из них, несмотря на убожество, было что-то ужасающе сексуальное. Повсюду валялись скрученные листья кактусов, прутики бамбука и тростника, мертвые плети дикого выюна, засохшие венки из гардений и бутенвиллий... Так выглядит балый зал после буйного веселья, когда все танцоры уже разъехались, оставив за собой покосившиеся столы, брызги конфетти, оплавленные свечи, ленты и пустые мечты...

Здесь, среди могильных плит и склепов, было тепло и тихо. В дальнем углу кладбища Джозеф и Мари увидели какого-то человека. Он был на редкость маленького роста — прямо коротышка, — довольно белокож для испанца, имел высокие скулы и носил очки с толстыми стеклами. Облик довершали черный пиджак, серые брюки без стрелок, серая шляпа и аккуратно зашнурованные ботинки. Коротышка с деловым видом расхаживал среди могил — словно что-то проверял, а может быть, следил за работой другого человека, который совсем неподалеку орудовал лопатой. При этом руки у него были засунуты в карманы, а под мышкой зажата сложенная вчетверо газета.

— *Buenos días, señora y señor!** — сказал он, наконец обратив внимание на Джозефа и Мари.

— Это у вас тут *las mommias*?** — спросил Джозеф. — Скажите, они действительно существуют, или это только легенда?

— *Si****, существуют, — ответил мужчина. — И именно у нас. В катакомбах.

— *Por favor*, — сказал Джозеф. — *Yo quiero ver las mommias, si*?****

— *Si, señor*.

— *Me Español es mucho estúpido, es muy malo****** — извинился Джозеф.

— Да нет, что вы, *señor*. Вы прекрасно говорите! Сюда, пожалуйста.

Он провел их между двух увешанных цветами плит к большому надгробию, спрятанному в тени ограды. Широкое и плоское, оно, как и все остальные, было посыпано гравием, а в середине его имелась узкая деревянная дверь с висющим замком. Подалась дверь со скрипом, обнаружив под собой круглый люк с винтовой лестницей, уходящей под землю.

Джозеф не успел сделать и шага, как его жена поставила ногу на ступеньку.

— Подожди, — сказал он. — Давай я вперед.

* Добрый день, сеньора и сеньор! (исп.)

** Мумии (исп.).

*** Да (исп.).

**** Будьте любезны, я хотел видеть мумии (исп.).

***** Я говорить испанский есть много плохо (исп.).

— Да нет. Все в порядке,— одними губами проговорила Мари и тут же начала спускаться вниз по спирали, пока земля и темнота не поглотили ее. Двигалась она осторожно — ступеньки здесь были такие узенькие, что не сгодились бы даже ребенку. Стало совсем темно, и некоторое время она только по звукам шагов догадывалась, что смотритель идет за ней. Потом снова забрезжил свет, и наконец лестница вывела к длинному широкому коридору, стены которого были выкрашены белой краской.

Как оказалось, свет проникал сюда через небольшие готические окна, сделанные в сводчатом потолке. Высота стен говорила о том, что они углубились под землю футов на двадцать. Налево коридор тянулся пятьдесят футов, после чего упирался в стеклянную двустворчатую дверь, на которой было написано, что посторонним вход воспрещен. В правом же конце коридора возвышалась груда каких-то белых палочек и таких же белых гладких валунов.

— Это солдаты, которые сражались за отца Морелоса,— пояснил смотритель.

Они подошли к этому гигантскому складу поближе. Кости были уложены очень аккуратно — как дрова в поленнице, а поверх них такими же ровными рядами лежали черепа.

— Лично я ничего не имею против черепов и костей,— сказала Мари.— По-моему, в них нет совершенно ничего человеческого. Честное слово, я совсем не боюсь черепов и костей. Они все какие-то... насекомоподобные. К примеру, ребенок растет и даже не знает, что у него внутри скелет; для него в костях нет ничего плохого и страшного. Так же и я. Я не вижу на них никаких следов человека. Никаких остатков, которые могли бы вызвать ужас. Они... они слишком гладкие, чтобы их бояться. Настоящий ужас — это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь. А этих я совсем не узнаю. Они для меня как были скелеты, так и остаются скелетами. То, что я знала в них, изменилось настолько, что совсем исчезло — а значит, не на что смотреть и нечего бояться. Правда же, забавно?

Джозеф кивнул.

Мари совсем расхрабрилась:

— Ну ладно, теперь давайте посмотрим мумии.

— Сюда, сеньора,— вежливо направил ее смотритель.

Они отошли от груды костей и зашагали к запрещенной стеклянной двери. Получив от Джозефа свой песо, смотритель торжественно распахнул дверь, и взору их открылся еще один коридор — узкий и длинный,— по стенам которого стояли люди.

— Боже правый! — воскликнул Джозеф.

Они были похожи на первоначальные заготовки скульптора — каркасы, на которые нанесен лишь первый слой глины, слегка обозначивший мускулы. Сто пятнадцать незаконченных статуй.

Пергаментная кожа была натянута между костей, как белье для просушки. Разложение не тронуло их — просто внутри высохли все соки.

— Все дело в сухом климате,— пояснил смотритель.— Поэтому они так хорошо сохраняются.

— И сколько же они здесь простояли? — спросил Джозеф.

— Некоторые один год, некоторые — пять, некоторые — десять, а некоторые и все семьдесят — да-да, сеньор.

Одна только мысль об этом вызвала ужас. Достаточно было посмотреть направо — и взгляд упирался в первого, как и все остальные, прикрепленного к стене с помощью крюка и проволоки. Его отвратительный вид казался просто насмешкой по сравнению со следующим телом, которое определенно принадлежало женщине — хотя верилось в это с трудом. При взгляде на третьего стлыла в жилах кровь, а у четвертой — тоже женщины — было такое лицо, словно она извинялась за то, что умерла и находится в таком странном месте.

— Но почему они здесь? — спросил Джозеф.

— Их родственники не заплатили ренту за могилы.

— А что, существует какая-то рента?

— Si, сеньор. Двадцать песо в год. Или, если вам уютно, вы можете занять постоянное место — но тогда извольте выложить сто семьдесят песо. Сами знаете, народец тут у нас бедный — чтобы получить сто семьдесят песо, им приходится работать года два. Вот они и оставляют своих покойничков здесь. Ну конечно, первый год все платят двадцать песо и хоронят их

в земле. Они-то надеются, что будут платить и на следующий год, и на последующий... Однако на следующий год вдруг оказывается, что совершенно необходимо купить нового осла. Или в семье появляется еще один лишний рот — а то и не один. А покойничек что — он ведь есть-то не просит. С другой стороны, и за плутом не ходит. А если, скажем, кто-то взял себе другую жену? Или у кого-то прохудилась крыша? В постель ведь мертвого не потянешь, и крышу он тоже не починит. Так на что люди скорее потратят свои денежки? А? То-то и оно...

— Ну и что дальше? — спросил Джозеф. — Ты слушаешь, Мари? — добавил он.

Мари считала тела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

— Что-что? — еле слышно переспросила она.

— Ты слушаешь?

— Думаю, да... Э-э... Что ты сказал? Ах да, слушаю, конечно, слушаю.

Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

— А дальше... дальше в конце первого года я вызываю *trabajando**, он берет свою лопатку — и вперед. Откапывать. Знаете, на какую глубину мы их опускаем?

— Шесть футов? Насколько мне известно, это обычная глубина.

— А вот и не угадали, сеньор, а вот и не угадали. Поскольку мы почти что уверены, что ренту не заплатят, мы углубляемся всего на два фута. Так меньше возни, понимаете? Конечно, родственники умерших могут нас осуждать. Но мы делаем глубину и на три, и на четыре, и на пять, и на шесть футов — в зависимости от достатка семьи и от вероятности, что нам придется вскрывать эту могилу и доставать из нее тело. Следовательно, на шесть футов мы копаем, только если совершенно уверены, что нам больше не придется выкапывать. И знаете — мы еще ни разу не ошибались, просчитывая денежные возможности людей. Ни одной вскрытой шестифутовой могилы!

Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Губы Мари двигались почти беззвучно.

* Здесь — рабочий (исп.).

— Ну вот. А тела, которые выкопаны, размещают там, у стены — рядом с остальными *compañeros**.

— И их родственники знают, что они там?

— Si.— Коротышка вытянул указательный палец.— Вот этот, *yo veo? *** Он из новеньких. Его *madre y padre**** знают, что он здесь. Да только есть ли у них деньги? То-то и оно, что нет.

— Какое ужасное горе для родителей!

— Ну что вы, им на это совершенно наплевать, — с подкупающей честностью ответил коротышка.

— Нет, ты только послушай, Мари!

— Что? — Тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре... — Ну да, совершенно наплевать.

— А если ренту все же заплатят — ну потом? — поинтересовался Джозеф.

— Тогда, — охотно ответил смотритель, — тела снова захоронят — на столько лет, за сколько будет заплачено.

— Прямо вымогательство какое-то... — пробормотал Джозеф.

Не вынимая рук из карманов, коротышка пожал плечами:

— Жить-то как-то надо.

— Но вы же понимаете, никому не под силу выложить сразу такую сумму — сто семьдесят песо, — сказал Джозеф. — Значит, так вы и держите их на двадцати песо год за годом — хоть десять лет, хоть тридцать. А тем, кто не платит, грозите, что упечете их любезную *mamacita***** или *piño****** в катакомбы...

— Ну, жить-то как-то надо, — повторил коротышка.

Пятьдесят один, пятьдесят два...

Мари шла по длинному коридору, вдоль стен которого рядами стояли мертвецы. И считала.

Они орали!

* Приятель (исп.).

** Видите? (исп.).

*** Мать и отец (исп.).

**** Мамочка (исп.).

***** Ребенок (исп.).

Казалось, они пытались вырваться из своих могил: их ссохшиеся руки были неистово сцеплены на груди, рты отверсто открыты, языки вывалены, позды напряжены...

Они словно застыли в этом крике.

Надо же, у всех до одного открытые рты. Какой-то нескончаемый вопль. Как будто они знают, что они мертвецы. Чувствуют каждой порой, каждым органом, каждым волоском.

Мари остановилась, чтобы услышать этот крик.

Говорят, собаки слышат звуки, недоступные человеческому уху. Людям кажется, что никаких звуков нет — а они на самом деле есть.

Коридор просто тонул, задыхался в крике. Вопили что есть сил вывернутые в ужас губы, страшные ссохшиеся языки... Пусть и недоступно для человеческих ушей — но вопили!

Джозеф подошел к одному из тел поближе.

— Ну и ну... — протянул он.

Шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, — считала Мари, окруженная немymi воплями.

— Вот интересный экземпляр, — заметил наблюдатель.

Перед ними была женщина — руки вскинута к лицу, рот широко раскрыт (так что видны совершенно целые зубы), длинные волосы спутаны, а глаза похожи на голубоватые птичьи яйца.

— Да, такое иногда случается. Эта женщина страдала каталепсией. Однажды она упала замертво, но на самом-то деле не умерла — у них сердце продолжает биться, но так скрытно, что не разобрать. Ну вот, значит, ее и похоронили в недорогом, но очень добротном гробу...

— А вы что — не знали, что она страдает каталепсией?

— Ее сестры знали. Но на этот раз они подумали, что она действительно умерла. А хоронят у нас быстро — климат жаркий...

— Ее похоронили через несколько часов после смерти?

— Si, разумеется. И никто бы даже не узнал о том, что с ней произошло, если бы год спустя ее сестры — которым пришлось поберечь деньги на другие покупки — не отказались платить ренту. Ну вот, мы и выкопали ящик, достали его, сняли крышку и заглянули внутрь...

Мари смотрела во все глаза.

Эта несчастная проснулась под землей. Она истошно визжала, билась в своем гробу, царапала крышку, пока не умерла от удушья — прямо в этой вот позе, с руками, вскинутыми к лицу, с разинутым ртом, с выпученными от ужаса глазами...

— Обратите внимание на ее руки, señior, и сравните их с руками других, — продолжал наблюдатель. — У тех пальчики гладкие, все равно как розанчики. А у этой... скрюченные, растопыренные — сразу видно, что она пыталась выбить руками крышку!

— А может, тут виновато трупное окоченение?

— Уж поверьте мне, señior, в трупном окоченении люди не колотят по крышкам гробов. И не кричат, и не выворачивают себе ногтей, и не выплывают локтями боковых досок, в надежде получить хоть глоток воздуха. Не спорю, у других тоже разинуты рты — словно все они кричат, si. Но это лишь потому, что им не ввели балзамирующее вещество. Их «крик» — всего лишь результат сокращения мускулов. Тогда как вот эта señorita действительно кричала — ей досталась поистине muerte horrible*.

Шаркая туфлями, Мари подходил то к правой стороне, то к левой. Тела были голые — одежда уже давно спелушилась с них, как сухие листья. Полные груди женщины походили на куски подошведшего теста. Толстые же бедра мужчины напоминали об узловатых изгибах увядших орхидей.

— Мистер Гримасоу и мистер Разиньрот, — сказал Джозеф и наставил объектив фотоаппарата на двух мужчин, которые словно бы мирно беседовали — рты их были приоткрыты, а руки застыли в выразительных жестах.

Щелкнул затвор. Джозеф перевел кадр и наставил объектив на другое тело. Снова щелкнул затвором, перевел кадр и перешел к следующему.

Восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три...

Отвалившиеся челюсти, высунутые, как у дразнящихся детей, языки, в крутых глазницах — воздетые к небу карие глаза с бледными белками... Острые, вспыхивающие искрами волоски на коже — они усеивают щеки, губы, веки, лоб. На подбор-

* Ужасная смерть (исп.).

родке, на груди и бедрах — густеют. Сухая пергаментная кожа, натянутая, как на барабане... Плоть, похожая на опару... Необъятные женщины — смерть расплодила их, превратив в жирную, бесформенную массу. Безумные волосы торчат во все стороны, наподобие разоренного гнезда. Виден каждый зубик — у них прекрасные зубы.

Восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь... Глаза Мари убегают вперед по коридору. Быстрее! Не останавливаться! Девяносто один, девяносто два, девяносто три! Вот мужчина со вспоротым животом — дыра такая огромная, что похожа на древесное дупло, в которое Мари бросала любовные письма, когда ей было лет одиннадцать. Заглянув в него, она увидела ребра, позвоночник и тазовые пластины. И снова — сухожилия, пергаментная кожа, кости, глаза, обросшие подбородки, застывшие, словно в изумлении, ноздри... Вот у этого разорван пупок — будто его пытались кормить пудингом прямо через чрево. Девяносто семь, девяносто восемь! Фамилии, названия городов, числа, месяцы, безделушки...

— Эта женщина умерла при родах!

К руке несчастной, словно куклу, подвесили на проволоке ее мертворожденное дитя.

— А это солдат — на нем еще сохранились остатки формы...

Глаза Мари метались от одной стены к другой... Вправо — влево, вправо — влево. От одного ужаса — к другому. От одного черепа — к новому. Словно зачарованная, смотрела она на мертвые, бесплотные, навсегда забывшие о любви чресла... Здесь были мужчины, странным образом превратившиеся в женщин. И женщины, превратившиеся в грязных свиней. Взгляд отскакивает от одного — и рикошетом передлетает к другому... От вздувшейся груди — к истуканному рту... От стены — к стене, от стены — к стене... Вот мяч в зубах у одного — он неистовым плевком перебрасывает его в когти к следующему — тот кидает его дальше — и мяч застревает меж темных набухших сосков... Публика неистовствует, кричит и свистит, глядя на этот страшный пинг-понг, где мячик-взгляд в ужасе отшатывается от стен и все-таки, преодолевая отвращение, катится дальше сквозь строй подвешенных на крюки солдат смерти...

Вот и последний — теперь за спиной все сто пятнадцать, голоса их слились в единый вопль...

Мари рывком оглянулась и посмотрела назад, туда, где началась винтовая лестница, ведущая наружу. До чего же изобретательна смерть! Сколько всевозможных выражений, поворотов, изгибов рук — и ни одно не повторяется. Они выстроились здесь, словно трубки гигантской каллиопы, вместо клапанов — разверстые рты. И эта каллиопа кричит, надрывается во все сто плотов разом — будто огромная сумасшедшая рука надавила сразу на все клавиши...

То и дело щелкал затвор фотоаппарата, и Джозеф переводил кадр. Щелк — перевел. Щелк — перевел...

Морено, Морелос, Сантина, Гоме, Гутиерре, Вилланусал, Урета, Ликон, Наварро, Итурби... Хорхе, Филомена, Нена, Мануэль, Хосе, Томас, Рамона... Этот — путешествовал, эта — пела, у того было три жены. Один умер от одной болезни, другой — от другой, третий — от третьей. Четвертого застрелили, пятого — пырнули ножом. Шестая просто упала замертво. Седьмой умер от пьянства, восьмой — от любви. Девятый свалился с лошади, десятый каплял кровью, у одиннадцатой остановилось сердце... Двенадцатый — тот любил посмеяться. Тринадцатый слыл прекрасным танцором. Четырнадцатая была первой красавицей. У пятнадцатой было десять детей. Шестнадцатый — один из этих детей, так же как и семнадцатая. Восемнадцатого звали Томас — он чудесно играл на гитаре. Следующие три выращивали маис. У каждого было по три любовницы! А двадцать второй никогда не знал любви. Двадцать третья продавала на площади перед оперным театром маисовые лепешки — прямо там же и выпекала их на маленькой угольной жаровне. А двадцать четвертый бил свою жену — теперь она, гордая и счастливая, разгуливает по городу с другим, а он стоит здесь, навсегда возмущенный такой несправедливостью... А двадцать пятый захлебнул в легкие несколько кварт воды из реки — его выуживали сетью... А двадцать шестой был великим мудрецом — только теперь его мозги сморщились, как сушеная саива...

— Хочу сделать цветные фотографии каждого из них. А также записать имена и кто от чего умер, — сказал Джозеф. — Из

этого может получиться забавная книжонка. Только представьте себе: сначала краткая история чьей-то жизни — а потом фотография, как он уже стоит здесь.

Джозеф тихонько похлопывал тела по груди. Звук получался глухой, словно он стучался в двери.

Мари с трудом продиралась сквозь опутавшую коридор вязкую путину воплей. Стараясь держаться ровно посерединке, она размеренно, не глядя по сторонам, шагала к винтовой лестнице. За спиной ее то и дело щелкал затвор фотоаппарата.

— И для новеньких место осталось, — сказал Джозеф.

— Si, señor. Места здесь еще много.

— Да уж, не хотелось бы быть следующим... в вашем списке кандидатов.

— Эх, señor, кому ж этого хочется.

— А как насчет того, чтобы купить у вас одного... из этих?

— Что вы, что вы, señor! Нет, señor!

— Ну, я заплачу вам пятьдесят песо.

— Да нет же, нет, señor! Нет!

На рынке с шатких лотков продавали оставшиеся после фисты Смерти леденцовые черепа. Женщины-продавицы, замотанные в черные rebozo, почти не разговаривали друг с другом, лишь изредка перекидывались словечками. Перед ними был разложен товар: сладкие скелетики, сахарные трупы и белые леденцовые черепа. На каждом из черепов причудливыми буквами было выдавлено какое-нибудь имя: Кармен, или Рамон, или Тена, или Гуермо, или Роза. Стоило все дешево — праздник закончился. Джозеф заплатил песо и купил парочку черепов.

Мари стояла рядом с ним на узкой улочке и смотрела, как смуглолицая продавица складывает в пакет леденцовые черепа.

— Только не это, — проговорила она.

— А почему бы и нет? — возразил Джозеф.

— После всего, что было там...

— В катакомбах?

Она кивнула.

— Но они же вкусные, — прищурился он.

— Не знаю... Вид у них довольно ядовитый.

— Только из-за того, что они сделаны в форме черепушек?

— Да нет. Просто они плохо проварены... К тому же ты не знаешь, кто их делал — может, у этих людей вообще дизентерия.

— О господи, Мари. Да у всех мексиканцев дизентерия.

— Ну и ешь их сам! — отгрызнулась она.

— Увы, бедный Йорик... — продекламировал Джозеф, заглядывая в пакет.

Они двинулись по узенькой улочке, зажатой между высокими домами, где рамы на окнах были выкрашены желтым. Из-за их розовых решеток пахло острым tamales* и слышался плеск воды по кафельному полу. Чирикала домашняя птичка в клетке из бамбука, кто-то исполнял на пианино Шопена.

— Надо же, здесь — и вдруг Шопен, — сказал Джозеф. — Потрясающе!.. Кстати, довольно интересный мост. Поддержка. — Он отдал жене пакет с леденцами и принялся фотографировать красный мост, соединяющий два белых здания, по которому шагал мужчина в сетапе — ярко-красной мексиканской шапи. — Прекрасно!

Мари шла и смотрела на Джозефа, потом отворачивалась от него — и снова смотрела. При этом губы ее беззвучно шевелились, шея была неестественно напряжена, а правая бровь слегка подергивалась. Мари то и дело перекалывала пакет с леденцами из одной руки в другую — точно носила ежа. Вдруг она споткнулась о бордюр, неловко взмахнула руками, вскрикнула и... уронила пакет.

— О господи! — Джозеф поспешно подхватил пакет с земли. — Посмотри, что ты наделала! Нескладеха!

— Нет, наверное, мне лучше было сломать лодыжку... — пробормотала Мари.

— Это же были самые лучшие черепа — и ты их испортила. А я так хотел привезти их домой и показать друзьям...

— Прости меня, — еле слышно сказала она.

* Мексиканское блюдо: толченая кукуруза с мясом и красным перцем.

— Прости, прости!.. — с досадой выкрикнул Джозеф, мрачно заглядывая в пакет. — Черт-те что! Где я теперь найду такие? Нет, это просто невыносимо!

Поднялся ветер. На узенькой улочке не было ни души — только Мари и Джозеф, почти зарывшийся лицом в свой пакет. Никого. Только они вдвоем, вдалеке от всего мира, за тысячи миль отовсюду — откуда ни возьми... А вокруг — пустой, ничего не значащий для них город. И голая пустыня, над которой кружат ястребы.

Чуть впереди, на крыше оперного театра, сверкали фальшивым золотом греческие статуи. В какой-то пивнушке надрывался граммофон, чужие слова уносил ветер.

Джозеф закрутил верх пакета, чтобы тот не раскрывался, и с досадой сунул в карман.

Они как раз успели на гостиничный ленч к половине третьего.

Сидя за столиком напротив Мари, Джозеф молча зачерпывал ложкой альбондигасский суп. Пару раз Мари весело заговаривала с ним, указывая на настенные фрески, но он только хмуро смотрел на нее и молчал. Пакет с разбитыми черепами лежал рядом на столе...

— Señora...

Коричневая рука убрала со стола суповые тарелки. Вместо этого появилась большая тарелка с энчиладами*.

Мари подняла взгляд.

На тарелке лежало шестнадцать энчилад.

Она взяла в руки вилку и уже потянулась, чтобы взять себе одну питуку, но вдруг что-то ее остановило. Она положила вилку и нож по обеим сторонам тарелки. Оглянулась, посмотрела на расписные стены, затем на мужа... Взгляд ее снова вернулся к энчиладам.

Шестнадцать. Одна к одной — вплотную друг к другу. Длинный ряд...

Мари принялась считать их.

Один, два, три, четыре, пять, шесть.

Джозеф выложил одну на тарелку и съел.

Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.

* Блинчик с острой мясной начинкой.

Она спрятала руки на колених.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.

Мари закончила считать.

— Я не хочу есть, — сказала она.

Джозеф положил перед собой еще одну энчиладу. Начинка, запеленутая в тонкую, как папирус, кукурузную лепешку. Вот он отрезает кусочек и кладет в рот... Мари мысленно представила себе, как этот кусочек пережевывается у него во рту, смачивается слюной, хрустит — и зажмурилась.

— Ты чего? — спросил он.

— Ничего, — сказала она.

Осталось еще тринадцать энчилад — они были похожи на маленькие посылки или конвертики с младенцами...

Джозеф съел еще пять.

— Что-то мне нехорошо, — сказала она.

— Еда бы нормально — и все.

— Не хочу.

Он покончил с энчиладами и, открыв пакет, достал оттуда один из полураздавленных черепов.

— Может быть, не надо здесь?

— Почему это еще? — Джозеф смачно откусил одну из глазниц и принялся жевать. — А они ничего, — сказал он, перекачивая леденец на языке. После этого отхватил еще один кусок. — Очень даже ничего.

Она вдруг заметила выдавленное на черепе имя.

Там было написано «Мари».

Это надо было видеть, как она собирала чемоданы — свой и его. Бывает, в спортивных репортажах кадры прокручивают наоборот; например, только что спортсмен прыгнул с трамплина в воду — и вот он уже запрыгивает задом наперед обратно, на спасительный трамплин. Так и сейчас на глазах у Джозефа вещи словно сами собой залетали обратно в чемоданы: пиджаки — в один, платья — в другой... Перед тем как юркнуть в корбки, в воздухе птицами парили шляпы... Туфли, словно мыши, разбегались по полу и исчезали в норках. Наконец чемоданы закрыли свои пасти, клацнули замки и повернулись ключи. Все.

— Ну вот! — воскликнула Мари. — Все запаковано! Боже мой, Джо, как я счастлива, что мне удалось тебя уговорить.

Подхватив чемоданы, она засеменила к двери.

— Подожди, дай я помогу, — сказал он.

— Да нет, мне не тяжело, — покачала головой она.

— Но ты же никогда не носила чемоданы. И не надо. Я позову посыльного.

— Ерунда, — проговорила Мари, задыхаясь от тяжести.

Уже на выходе из номера мальчишка-посыльный все же схватил у нее чемоданы с криком:

— Señora, por favor!*

— Мы ничего не забыли? — Джозеф заглянул под обшивку, после чего вышел на балкон и внимательно оглядел сквер. Зашел обратно, осмотрел ванную, секретер и даже умывальник. — Ну вот, — сказал он и с торжествующим видом вынес что-то в руке. — Ты забыла свои часы.

— Неужели? — Мари торопливо надела их и вышла за дверь.

— Не понимаю... — проворчал Джозеф. — Какого черта мы выезжаем в такую позднотищу?

— Но еще ведь только полчетвертого, — сказала она. — Все-го лишь полчетвертого...

— Все равно не понимаю, — повторил он.

Оглядев в последний раз комнату, Джозеф вышел, прикрыв дверь, запер ее и, поигрывая ключами, стал спускаться вниз.

Мари уже ждала его в машине. Она прекрасно устроилась на переднем сиденье — и даже успела расправить на коленях плащ. Джозеф проследил, чтобы в багажник загрузили остатки багажа, а затем подошел к передней двери и постучал. Мари открыла и впустила его.

— Ну вот, сейчас-то мы и поедem! — воскликнула она со смехом, и глаза ее озорно блеснули на раскрасневшемся лице. Она даже вся подалась вперед — будто от этого движения машина могла тронуться сама собой. — Спасибо тебе, дорогой, что разрешил сделать возврат денег за сегодняшнюю ночь. Думаю, они нам еще пригодятся в Гвадалахаре. Спасибо!

— Угу, — пробурчал он в ответ.

Затем вставил ключ зажигания и надавил на стартер.

Машина не завелась.

Тогда Джозеф снова нажал на стартер. Рот Мари болезненно дернулся.

— Наверное, надо прогреть, — сказала она. — Ночью было холодно...

Он попробовал снова. Никакого результата.

Мари вцепилась в свои колени.

Джозеф попытался завести еще не менее шести раз, после чего бессильно откинулся назад.

— Гм-м...

— Попробуй еще разок. Должно заработать, — попросила она.

— Без толку, — сказал он. — Какая-то поломка.

— И все-таки попробуй еще раз.

Джозеф попробовал еще раз.

— Она обязательно заведется, вот увидишь, — проговорила Мари. — Ты включил зажигание?

— Включил — не включил... Включил! — огрызнулся Джозеф.

— Что-то непохоже, чтобы ты его включил, — сказала она.

— Ну вот, смотри! — Он на ее глазах повернул ключ.

— Теперь давай, пробуй.

— Видела? — спросил Джозеф, после того как вновь ничто не получилось. — Я ведь тебе говорил.

— Ты, наверное, что-то неправильно делаешь. Сейчас мы почти завелись! — воскликнула она.

— Так можно посадить аккумулятор — потом черта с два его здесь купишь!

— Ну и ладно — сажай. Я уверена, вот сейчас мы заведемся.

— Знаешь что, если ты такая умная, попробуй сама! — Джозеф вылез из машины и уступил ей место за рулем. — Ну давай, вперед!

Мари закусил губу и уселась за руль. Ее руки двигались медленно и торжественно, словно она совершала некий мистический обряд. Всем своим телом она будто пыталась поправить земное притяжение и прочие физические законы. Тупая с тупым носком изю всех сил топтала стартер — однако машина не издавала ни звука.

* Сеньора, будьте любезны! (исп.)

У Мари вырвался жалобный писк. Она отпустила стартер и дернула дроссель. После этого в воздухе появился вполне недвусмысленный запах.

— Ну вот, ты залила свечи! — воскликнул Джозеф. — Прекрасно! Изволь теперь пересестись на свое место.

Затем он раздобыл где-то троих молодцов, которые покатали автомобиль под гору. Сам вспрыгнул за руль, чтобы управлять. Машина быстро разогналась и стала бодро подпрыгивать на ухабах. Глаза Мари вспыхнули надеждой.

— Сейчас она заведется! — сказала она.

Но машина и не думала заводиться. Вместо этого они спокойно доехали до заправочной станции и затормозили возле баков с бензином.

Мари сидела молча, поджав губы, и когда служитель станции подошел к машине, не открыла ни дверцу, ни окно — ему пришлось обходить машину и обращаться к ее мужу.

Некоторое время механик стоял, склонившись над мотором, потом выпрямился и хмуро посмотрел на Джозефа. Затем они вполголоса обменялись несколькими фразами по-испански.

Мари опустила окно и прислушалась к разговору.

— Ну, что он говорит?

Мужчины продолжали что-то обсуждать.

— Что он говорит? — еще раз, более настойчиво, спросила Мари.

Смуглый механик делал жесты в сторону мотора. Джозеф понимающе кивал. Беседа все продолжалась.

— Что там? — не унималась Мари.

Джозеф строго посмотрел на нее и свел брови к переносице.

— Подожди минуту. Не могу же я слушать двоих сразу!

Механик взял Джозефа под локоть. Казалось, они никогда не закончат обсуждение.

— Что он тебе говорит? — снова встряла Мари.

— Он говорит... — начал Джозеф, но не закончил, потому что мексиканец снова увлек его к мотору. Вид у механика был такой серьезный, будто на него наконец снизошло прозрение.

— Во сколько нам это обойдется? — выкрикнула Мари, выглядывая из окна машины и обращаясь к их сложенным спинам.

Механик что-то сказал Джозефу.

— Пятьдесят песо, — перевел Джозеф.

— А сколько времени займет починка? — прокричала его жена.

Джозеф снова обратился к механику. Тот пожал плечами, и некоторое время они спорили.

— Ну так сколько? — нетерпеливо спросила Мари.

Но обсуждение продолжалось.

Солнце уже клонилось к закату. Теперь оно висело над верхушками кладбищенских деревьев на горе, а на долину быстро напозала тень. И только небо оставалось чистым, голубым и нетронутым.

— Два дня. А может, и все три, — сказал Джозеф, повернувшись к Мари.

— Два дня! А не мог бы он починить как-нибудь временно — чтобы мы могли перебраться в другой город и встать на ремонт там?

Джозеф задал механику вопрос. Тот ответил.

— Нет, так нельзя. Надо делать полный ремонт.

— Ну почему, почему — что за глупость? Зачем он будет делать полный ремонт — ведь он прекрасно знает, что без него можно обойтись? Скажи ему, Джо, скажи... Пусть он поторопится и закончит...

Но мужчины уже не слушали ее. У них снова пошел серьезный разговор.

На этот раз вещи уже не были такими приткими. Джозефу пришлось самому распаковывать свой чемодан. А чемодан Мари так и остался стоять у двери.

— Мне ничего не понадобится, — сказала она.

— Даже ночная рубашка?

— Ничего, посылю нагишом, — ответила Мари.

— Ну ладно тебе, я же не нарочно, — сказал Джозеф. — Это все дурацкая машина.

— Надо будет обязательно сходить и проконтролировать, как они там все делают, — пробормотала Мари, которая сидела на краешке кровати.

Они сняли другой номер. Мари отказалась от старой комнаты, сказав, что этого она просто не вынесет. Здесь, в новом номе-

ре, она могла представить, что они в другой гостинице, в другом городе. Отсюда открывался вид на аллею и на трубы канализации — а не на сквер с шляпными коробками деревьев.

— Слышишь, Джо, обязательно спустись к станции и проверь, как у них движется работа. Если не проверять, они могут протянуть с починкой и месяц и два! — Она подняла на него взгляд. — А лучше вот что: пойди и займись этим прямо сейчас — вместо того чтобы слоняться без дела.

— Что ж, можно и сходить, — сказал он.

— Я пойду с тобой. Хочу купить журналов.

— Думаю, в таком городе ты вряд ли отыщешь американские журналы.

— Что, мне уже и посмотреть нельзя?

— И вообще... У нас мало денег, — сказал Джозеф. — Мне бы не хотелось связываться с банком и телеграфом. Только лишняя возня и трата времени.

— Но на журналы-то, я надеюсь, денег хватит? — спросила Мари.

— Ну, на парочку хватит.

— На столько, сколько я захочу! — отрезала Мари, сидя на кровати, вся красная от возмущения.

— Господи, у тебя же в машине чертова уйма этих журналов: «Пост», «Колльер», «Меркьюри», «Атлантик», «Барнаби», «Супермен»! Ты же не прочтала в них и половины статей!

— Они старые, — покачала головой Мари. — Я их уже все просмотрела и хочу новые... Когда сразу просмотришь, становится совсем...

— А ты не только просматривай, но и пробуй читать их, — язвительно сказал Джозеф. — Ты же умеешь читать, не так ли?

Когда они спустились на площадь, уже совсем стемнело.

— Дай мне несколько песо, — попросила Мари, и Джозеф протянул ей деньги. — И научи, как спрашивать по-испански про журналы.

— *Quiero una publicacion Americano*, — произнес он, не останавливаясь.

Мари, запинаясь на каждом слове, повторила за ним фразу и прохихикала:

— Спасибо.

Джозеф зашагал по направлению к технической станции, а Мари вернулась и подошла к ближайшей лавке с надписью *Farmacia Botanica**. Разложенные на витрине журналы были все на одно лицо. Быстро пробежав глазами похожие, как члены одной семьи, названия, Мари пытливо взглянула на старичка, сидящего за прилавком.

— У вас есть американские журналы? — начала она, не решившись заговорить по-испански.

Старик уставился на нее.

— *Habla Ingles?*** — спросила она.

— Нет, *señorita*.

Тогда Мари попыталась вспомнить испанскую фразу.

— *Quiero...* погодите... — Она запнулась и начала снова: — *Quiero... Americano...* э-э... *жур-на-ло?*

— О нет, *señorita!*

Мари всплеснула руками — как будто клацнули челюсти большого рта. Рот ее открылся и снова закрылся. У Мари было ощущение, что перед ней какая-то завеса. Она словно бы находилась здесь, в этом маленьком магазинчике — и одновременно нет. Все эти смуглые, пропеченные солнцем люди, которые населяли город, были для нее чужими. Они не знали слов, которые знала она — так же, как она не понимала их слов. А если слова и произносились, то с великим смущением и стыдом. И вокруг города — одно только бесконечное пространство и время. А дом, ее дом — где-то далеко, в другой жизни...

Мари резко повернулась и вышла.

Одну за другой обходила она лавки и везде виделла одни и те же обложки с окровавленными быками, жертвами насилия или слащаво-конфетными лицами священников. Наконец в каком-то магазинчике ей попалось три номера «Пост», и она так обрадовалась, что даже засмеялась от восторга и оставила хозяйну лавки приличные чаевые.

Прижимая заветные журналы к груди, Мари побежала по узкому тротуару — перепрыгнула канаву, стремительно пере-

* Аптека (исп.).

** Вы говорите по-английски? (исп.)

летела через улицу, что-то напевая себе под нос на «ля-ля»... Затем вскочила на другой тротуар, пробежалась по нему и, улынувшись самой себе, перешла на быстрый шаг. Журналы она крепко прижимала к груди, глаза ее были полузакрыты, ноздри вдыхали пропахший углем воздух, уши щекотал теплый ветерок...

В вышине звезды играли лучами на позолоте греческих статуй оперного театра. Мимо Мари проковыляла какой-то мужчина, на голове он нес большую корзину, полную буханок хлеба.

Мари посмотрела на мужчину, на корзину у него на голове и внезапно застыла. Улыбка разом сошла с ее губ, руки, державшие журналы, разжались... Мужчина шел и бережно придерживал корзину рукой, а другой размахивал при ходьбе. Журналы выскользнули у Мари из пальцев и рассыпались на тротуар.

Она скорее бросилась подбирать их. Затем в одну секунду домчалась до отеля и буквально взлетела по лестнице.

Мари сидела в номере. По обеим сторонам и впереди от нее стопками лежали журналы. Она окружила себя ими, как крепостной стеной с опускающимися решетками из слов. Это были старые журналы — те, что валялись в машине. Их она уже смотрела раньше, и они годились теперь лишь для постройки крепости. А вот три только что купленных (хотя и потрепанных) номера «Пост» она взяла к себе и заботливо уложила на колени. Мари даже не решалась открывать их, предвкушая, как будет с упоением читать, читать, жадно перелистывать страницы, и опять читать...

Наконец она решила перевернуть первую страницу. Она будет читать их внимательно — строку за строкой, страницу за страницей. Все до запятой, до малейшего оттенка цвета в картинках. А еще осталось несколько лакомых кусочков в старых номерах из «крепостной стены» — рекламы, мультяшки, которые она пропускала, оставляя на потом.

Первый номер — вот этот — она будет читать сегодня вечером. Она растянет это удовольствие надолго, а завтра вечером примется за второй. Завтра вечером — если, конечно, она будет здесь завтра вечером. А может, и не будет — вдруг машина за-

ведется, и тогда... Мари словно наяву ощутила запах выхлопных газов, услышала шорох шин по дороге и завывание ветра, раздувающего ей волосы. И все-таки, возможно, она будет здесь завтра вечером — здесь, в этой комнате. На этот случай у нее останется второй номер, и еще третий — на послезавтра. Она аккуратно разложила все по полочкам у себя в голове. Итак, первая страница перевернута.

Затем вторая. Глаза пробежали по строчкам, потом еще раз, а пальцы уже сами собой нащупывали третью. И так дальше — часы тихонько тикали у Мари на запястье, время бежало, а она все переворачивала и переворачивала страницы — одну за другой, жадно разглядывая людей на фотографиях. Людей из другой страны, из другого мира — мира разноцветных неоновых вывесок, ночных баров и таких знакомых, родных запахов... Мира, где люди говорят друг другу хорошие слова... А она сидит здесь и тупо переворачивает страницы, и строчки прыгают у нее перед глазами, а руки так быстро листают страницы, что они обдувают ей лицо, как опахалом. Мари отбросила в сторону первый «Пост», лихорадочно ухватила за второй и в полчаса покончила с ним. Руки ее потянулись к третьему, и через пятнадцать минут он также был отброшен в сторону. Мари почувствовала, что ей трудно дышать — она хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Она подняла руки к затылку.

Откуда-то подул легкий ветерок.

Мари почувствовала, как сзади на шее зябко съежились корни волос.

Бледной рукой она осторожно дотронулась до головы, будто это был хрупкий шар одуванчика.

На улице, в сквере, целыми стаями летали бумажки, раскачивались на ветру уличные фонари. Тени то появлялись, то исчезали под их круглыми шляпами — при этом ржавые железные соединения на высоких столбах жалобно скрипели.

У Мари начали дрожать руки — она видела, как они дрожат. Затем у нее задрожало все тело. Под ярчайшей из ярчайших юбок, которую она специально надела сегодня вечером, в которой она прыгала и крутилась перед высоким, похожим на крышку гроба зеркалом, — под этой нарядной юбкой из искус-

ственного шелка трепетало ее тело, натянутое точно струна. Стучали даже зубы. Мари пыталась сжать их, но они все равно стучали. Она изо всех сил закусила губу — так, что размазалась помада...

И тут раздался стук в дверь — вернулся Джозеф.

Они готовились ко сну. Джозеф сообщил, что все в порядке и машину уже начали чинить. Завтра он пойдет туда опять и проследит.

— Только не стучи больше в дверь, — сказала Мари, раздеваясь перед зеркалом.

— Тогда оставляй ее открытой, — пожал плечами Джозеф.

— Нет уж, я лучше ее запру. Но ты не долби так. Просто скажи, что это ты.

— А что тут такого — ну, постучал?

— Как-то странно... — ответила Мари.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду?

Она бы и не смогла объяснить. Свесив руки вдоль тела, она стояла, обнаженная, перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Она видела свои груди, бедра — все свое тело. Она была живая — двигалась, ощущала под ногами прохладный пол, чувствовала кожей воздух вокруг себя... Если бы она дотронулась пальцами до кончиков грудей, груди бы узнали эти прикосновения.

— Ради всего святого, — поморщился Джозеф, — хватит тебе любоваться собой. — Он уже лежал в постели. — Ну что ты делаешь, скажи на милость? Что за поза? Зачем тебе понадобилось закрывать лицо?

Джозеф погасил свет.

Она не могла говорить с ним, потому что не знала слов, которые знал он, а он не понимал слов, которые говорила она. Поэтому Мари пошла к себе в кровать и легла. А Джозеф остался лежать на своей, повернувшись к жене спиной. Он был совсем как те чужие коричневые люди в городе. Мари казалось, что этот город находится где-то далеко, на самой Луне, и чтобы попасть на Землю, нужно совершить космический перелет. Ах, если бы он поговорил с ней сегодня, она бы спокойно уснула!

И дыхание бы улеглось, и кровь не билась бы так яростно в запястьях и подмышечных впадинах... Но он не говорил. Только тикали в тишине часы, отмеряя тысячи долгих секунд, и тысячи раз Мари поворачивалась с боку на бок, накручивая на себя одеяло, и подушка жгла ей щеку, как раскаленная плита...

Темнота опутывала комнату черной mosquito сеткой — Мари барахталась в ней, с каждым поворотом застревая все больше. Если бы он сказал ей хоть слово — одно только слово... Но он не говорил. И вены продолжали ныть в запястьях. Сердце ухало, как мехи, раздуваемые страхом, и раскалялось докрасна, освещая ее изнутри воспаленным огнем. Легкие так надрывались, будто она была утопленницей и сама делала себе искусственное дыхание. В довершение всего тело обливалось потом — вскоре Мари прилипла к простыням, как растение, зажатое между страницами толстой книги.

Так она лежала долгие часы, пока ей не начало казаться, что она вновь стала ребенком. Когда ненадолго стихали глухие удары сердца, похожие на бубен безумного шамана, тогда к Мари приходили эти неторопливые печальные образы. Теплое, золотистое, как бронза, детство — солнце играет на зеленой листве деревьев, на гладкой воде, вспыхивает на пуншистой и светлой детской головке... Карусель памяти кружила перед ней лица — вот чье-то лицо приближается, проносится мимо и улетает... Вот еще одно появляется слева — его губы что-то говорят, — и вот оно уже метнулось вправо и исчезло. Снова и снова...

О, до чего же нескончаемая ночь! Мари пыталась успокоить себя, представляя, как они поедут завтра домой (если, конечно, машина заведется), как мирно будет гудеть мотор, шуршать под колесами дорога... Она даже улыбнулась своим мыслям в темноте.

А если не заведется? Мари сразу съежилась, будто съеденная огнем бумажка. Внутри у нее все сжалось, и осталось только тиканье часов на руке — тик, тик, тик...

Наконец пришло утро. Мари посмотрела на мужа, который, непринужденно раскинувшись, спал на своей кровати. Ее рука свисала в прохладный проем между кроватями. Она держала ее там всю ночь. Один раз попыталась дотянуться рукой до Джо-

зефа, но не смогла — кровать отстояла слишком далеко. Ей пришлось тихонько притянуть руку обратно, надеясь, что он ничего не услышал и не почувствовал.

Вот он лежит перед ней. Веки сомкнуты в сладкой дреме, ресницы спутаны, словно длинные сплетенные пальцы. Ребра почти не двигаются — будто он не дышит. Конечно же, за ночь он успел наполовину выпростаться из пижамы. Впрочем, виден только его торс, а остальное скрыто под одеялом. Профиль на фоне подушки кажется таким задумчивым...

На подбородке у него она вдруг заметила щетину.

В скудном утреннем свете белели ее глаза. В сущности, во всей комнате двигались только они — вверх, вниз, направо, налево, — изучая анатомию лежащего напротив мужчины.

Мари видела каждый волосок на его подбородке и на щеках — и каждый был само совершенство. В щелку между шторами пробивался маленький сноп солнечного света и падал как раз на подбородок Джозефа, зажигая на нем искры.

Черные волосы вились и на его запястьях — такие же совершенные, гладкие и блестящие.

На голове волосы тоже были хороши — прядка к прядке, ни одного изъяна. Красиво вырезанные уши. И зубы — у него были прекрасные зубы...

— Джозеф! — вдруг закричала Мари. — Джозеф! — еще раз выкрикнула она и в ужасе вскочила.

«Бом! Бом! Бом!» — загремел колокол на башне огромного собора, что стоял через дорогу.

За окном шумно вспорхнула стайка белых голубей — словно махнувшие страницами журналы. Сделав крут над площадью, птицы поднялись вверх. «Бом! Бом!» — продолжал звенеть колокол. Где-то вдалеке музыкальная шкатулка выводила мелодию «Cielito Lindo»*.

Потом все стихло, и стало отчетливо слышно, как в ванной капает из крана вода.

Джозеф открыл глаза. Жена сидела на своей кровати и не спускала с него глаз.

— А я уж подумал... — сказал он и зажмурился. — Да нет... — Закрывает глаза и потряс головой. — Просто колокола звонят... — Он вздохнул. — А сколько сейчас времени?

— Не знаю. Ах да — восемь. Восемь часов.

— О господи, — проворчал Джозеф и повернулся на другой бок. — Можем спать еще целых три часа.

— Нет уж, ты встанешь! — вскричала Мари.

— Совершенно ни к чему, слышишь? Все равно в гараже никто раньше десяти не появится, а торопить их бесполезно. Так что можешь успокоиться.

— И все-таки ты встанешь, — сказала Мари.

Джозеф наполовину обернулся к ней — при этом над губой у него блеснули на солнце медные волоски.

— Но с какой стати? Ради бога, скажи, с какой стати я должен вставать?

— Потому что... потому что тебе нужно побриться! — Голос Мари сорвался в крик.

Джозеф застонал от досады.

— Значит, только из-за того, что мне нужно побриться, я должен вставать ни свет ни заря и бежать намыливаться — так, что ли?

— Но ты небритый!

— И не собираюсь бриться — до тех пор, пока мы не приедем в Техас.

— Не будешь же ты ходить, как последний забудыга!

— Хочу — и буду! Хватит и того, что каждое утро в течение тридцати дней я брился, повязывал галстук и отутюживал складку на брюках! Отныне — никаких брюк, никаких галстуков, никакого бритья и... и вообще.

Он так резко натянул на уши одеяло, что оно сползло наверх и обнажило его голую ногу.

Нога была согнута в колене и почти свисала с кровати. Падавшие солнечные лучи зажигали на ней искорки черных волос — они были совершенны.

Чем дальше Мари смотрела на эту ногу, тем больше округлялись ее глаза.

Она в ужасе прижала ко рту дрожащие пальцы...

* Мексиканская народная песня.

Целый день Джозеф то уходил, то приходил. Он так и не побрился. Слонялся внизу по скверу. Так медленно вышагивал — Мари готова была убить его. Она была бы рада, если бы его поразило прямо на месте молнией. Вот он остановился возле одной из «шляпных коробок» и разговаривает с управляющим отеля, шаркая ботинком по бледно-голубой плитке тротуара. Вот любуется птичками и сверкающими на утреннем солнце греческими статуями. Вот дошел до угла и наблюдает за движением на дороге. Да нет там никакого движения! Просто он тянет время, чтобы подольше не возвращаться к ней. Нет бы ему пойти — побегать! — в гараж, накричать на этих ленивых механиков и ткнуть их носом в мотор, чтобы быстрее делали! Так нет же, он стоит здесь и смотрит за так называемым движением. А движения-то всего — «форд» 1927 года выпуска, велосипедист, полураздетые детишки да хромая свинья!

Господи, ну давай же, шевелись, иди! — кричало все внутри у Мари. Ей хотелось разбить вдребезги окно.

Плетущейся походкой Джозеф перешел через улицу и скрылся за углом. Всю дорогу до гаража он останавливался у витрин, читал вывески, глазел на картинки, трогал керамические безделушки на лотках гонимых. Эх, надо попить где-нибудь пивка. Да-да, пивка — самое то.

Мари тоже вышла в сквер — прогулялась по солнышку, еще немного походила по магазинам в поисках журналов. Затем снова поднялась в номер — почистила ногти, покрыла их лаком и снова спустилась в сквер. Слегка перекусила — и вернулась в отель. В качестве второго блюда были все те же журналы.

Мари боялась ложиться в постель. Стоило ей задремать, как перед глазами вновь всплывали печальные картины детства. А еще — старые друзья, дети, которых она никогда не видела, но о которых всегда думала, долгие двадцать лет... И все дела, которые она хотела сделать, но не сделала... Сколько она собиралась позвонить Лайле Холдридж — восемь лет прошло, с тех пор как они окончили колледж, — так и не позвонила. А какими они с ней были подругами! Милая, милая Лайла!.. И еще, лежа в постели, Мари думала о книгах, которые давно собиралась купить и прочитать, но так и не купила. Прекрасные книги — а как они пахнут! Как же все это грустно! Всю жизнь она мечтала

иметь в своей библиотеке книги о стране Оз... До сих пор не купила! Но почему? И почему бы ей не сделать это сейчас? Жизнь ведь еще не окончена? Вот она придет в Нью-Йорк — и сразу побежит покупать! А потом позвонит Лайле! И встретится с Бертом, Джимми, Хелен и Луизой! И обязательно съездит в Иллинойс, чтобы пройтись по родным местам, где прошло ее детство. Если только она вернется в Штаты. Если только... Каждый удар сердца больно отдавался в груди — тук, тук, тук — остановка — и снова тук, тук, тук... Если только она вернется.

Мари лежала и прислушивалась к биению.

Тук. Тук. Тук... Тишина... Тук. Тук. Тук... Тишина... Тук. Тук. Тук...

А вдруг оно прямо сейчас остановится совсем?

Ну вот!

Снова тишина!

— Джозеф!

Мари вскочила. Прижав обе руки к груди, она с силой надавила на нее, словно хотела вручную раскатать неисправный насос.

Сердце вздрогнуло, встрепенулось — и вдруг забилось чаще-чаще, сотрясая ударами всю грудь.

Мари снова откинулась на кровать. А вдруг оно остановится снова — и больше уже не забьется? Что же тогда делать? Она ведь просто умрет от страха... Умрет от страха! Ну не смешно ли? Значит, она услышит, что сердце у нее не бьется — и сразу умрет. От страха! И все равно она будет лежать и слушать. Все равно она вернется домой и позвонит Лайле, и купит книги, и будет танцевать, и будет гулять в Центральном парке, и... Слушать...

Тук. Тук. Тук... Тишина...

Джозеф постучал в дверь. Джозеф постучал в дверь — машина до сих пор не готова — значит, предстоит пережить еще одну ночь. Он так и не побрился, и черные волосы у него на подбородке один совершеннее другого, а все газетные киоски уже закрыты, и ей больше нигде купить журналов, и они поужинали (впрочем, она могла бы и не ужинать), и Джозеф пошел прогуляться по вечернему городу.

Снова Мари сидела на стуле и чувствовала кожей, как сзади на шее щекоотно поднимаются волоски. Она так ослабела, что не было сил даже встать со стула. Она была совсем одна — один на один с гулким биением собственного сердца, которое, казалось, сотрясало болью всю комнату. Глаза ее налились жаром, словно у испуганного ребенка, веки набрякли.

Нутром Мари почувствовала первый сбой. Еще одна ночь... Еще одна ночь... Еще одна ночь... Она будет даже дольше, чем предыдущая. Вот он, первый сбой — маятник пропустил один удар. А вот и второй, и третий — как по цепочке. Они цепляются один за другой. Первый — совсем крохотный, второй — побольше, третий — еще побольше, четвертый — совсем большой, а пятый — просто громадный...

Гангаий — какой-то красненький жалкий узелок, похожий на обыкновенную штопальную нить, которая оборвалась в ней и трепещет. Как будто в механизме сломалась маленькая деталь — и теперь вся машина разладилась и дрожит как в лихорадке.

Мари не сопротивлялась. Она отдалась во власть этой дрожи, этому ужасу, этим взрывам внутри, обдающим ее липким потом, этому гадкому кислому вину, заполнившему рот. Сердце ее, словно сломанный волчок, отклонялось то в одну сторону, то в другую, спотыкалось, вздрагивало, ныло... Краска схлынула с лица — как будто выключили лампочку, и теперь стало видно все, что у нее внутри: серые, бесцветные нити, переплетения и жилки...

Джозеф был здесь же, в комнате, — он уже пришел, но Мари даже не услышала, как он пришел. Впрочем, от его прихода ничего не изменилось. Молча, не произнося ни единого слова, он готовился ко сну: ходил по комнате, брал какие-то вещи, курил. Мари тоже ничего ему не сказала, только молча легла в кровать. Она не услышала, как он обратился к ней.

Она засекала время. Каждые пять минут смотрела на часы — и часы вздрагивали, и время вздрагивало вместе с ними. И эта дрожь, казалось, никогда не прекратится. Мари попросила воды. Перевернулась с боку на бок. Еще раз. И еще раз. За окном гудел ветер, сбивая набекрень шляпы фонарей, — и в ок-

на врывался свет, будто кто-то открывал глаза, а потом закрывал их. Снизу, из холла, не доносилось ни звука — гостиница словно вымерла после ужина.

Он подал ей стакан воды.

— Я замерзла, Джозеф, — проговорила Мари, поглубже закрываясь в одеяло.

— Ничего страшного, — сказал Джозеф.

— Правда замерзла! И плохо себя чувствую, и вообще — я боюсь...

— Господи, ну чего ты боишься?

— Я хочу сесть в поезд и поскорее уехать в Штаты...

— Поезда ходят только из Леона — здесь не проходит железная дорога, — вздохнул Джозеф и прикурил очередную сигарету.

— Ну так давай доедем до Леона.

— Как? На такси? А свою машину бросим здесь? И потом — здесь такие шоферы...

— Все равно. Я хочу уехать.

— Утром тебе станет лучше.

— Нет, не станет. Я знаю, не станет! Мне плохо!

— Но это влетит нам в кругленькую сумму, дорогая, — брать машину до самого дома. Думаю, здесь пахнет сотнями долларов.

— Неважно. У меня на личном счету есть двести долларов. Я заплачу. Только, ради всего святого, поехали домой!

— Ну что ты — завтра утречком выглянет солнце, и ты сразу почувствуешь себя лучше... Это все потому, что нет солнца.

— Солнца нет, и ветер поднялся... — прошептала Мари, закрыв глаза и прислушиваясь. — Завывает, как в пустыне. Непонятная страна эта Мексика. Или джунгли тебе — или пустыня. И крутом разбросаны крохотные городки, вроде этого, где фонарей раз-два и обчелся...

— Между прочим, довольно большая страна.

— Неужели местные жители никогда не ощущают себя одинокими в этой пустыне?

— Думаю, они привыкли.

— И не боятся?

— Чего им бояться — у них есть вера, религия.
— Мне бы такую веру.
— Знаешь, если бы у тебя появилась вера, ты бы очень быстро разучилась думать, — сказал Джозеф. — Если отдаться целиком какой-то одной идее, то в голове просто не останется места для чего-то другого.
— Вчера, — тихо произнесла Мари, — мне только того и хотелось. Я рада была бы ни о чем не думать и целиком отдаться какой-нибудь идее, которая спасла бы меня от страха.
— Господи, какого еще страха? О каком ты говоришь страхе? — пожал плечами Джозеф.
— Если бы у меня была вера, — проговорила Мари, не обращая внимания на его слова, — то я бы знала, как себя приободрить. Я просто не умею выводить себя из этого дурацкого состояния...
— Боже... — пробормотал себе под нос Джозеф и рывком сел.
— Я всегда была верующей, — сказала Мари.
— Баптисткой.
— Нет. Тогда мне было лет двенадцать. Я перестала верить — потом.
— Ты никогда мне не рассказывала.
— Да нет же — ты знаешь...
— Какая еще вера? Гипсовые святые в ризнице? Или нет — какой-то специальный, собственный святой, к которому ты обращала свои молитвы, да?
— Да.
— И что же — он отвечал на них?
— Ну, немного. Один раз. А потом — нет. Ни разу больше. За долгие годы — ни разу. Но я все равно продолжаю молиться.
— Что же это за святой?
— Святой Иосиф.
— Значит, святой Иосиф. — Он встал и с оглушительным бульканьем налил себе воды из стеклянного графина. — Проще говоря, Джозеф, да?
— Это совпадение, — сказала Мари.
Некоторое время они в упор смотрели друг на друга. Затем Джозеф отвернулся.

— Надо же — гипсовые святые... — проговорил он, отхлебывая воду.
— Джозеф! — прозвучал голос Мари в повисшей тишине.
— Что?
— Возьми меня за руку, пожалуйста.
— Ох уж эти женщины... — вздохнул Джозеф, после чего подошел и взял жену за руку.
Через минуту она вдруг выдернула у него руку и спрятала ее под одеяло. Рука Джозефа так и осталась в воздухе, пустая. Мари закрыла глаза и сказала дрожащим голосом:
— Надо же... Это вовсе не так здорово, как я себе представляла. На самом деле, когда я проделывала это в уме, было даже гораздо приятнее.
— Господи... — только и сказал Джозеф. Затем встал и направился в ванную.
Мари выключила свет. Теперь лишь тоненькая желтая полоска светилась под дверью ванной. Мари вновь прислушалась к своему сердцу. Оно стучало ужасно быстро — не меньше ста пятидесяти ударов в минуту. И вновь изнутри ее тела исходил какой-то отвратительный дребезжащий гул, как будто во всех костях завелись трупные мухи — и теперь жужжат, жужжат, жужжат... Она пыталась смотреть перед собой, но глаза ее будто перевернулись внутрь и видели только сердце. Сердце, которое разрывалось на части в грудной клетке.
В ванной шумела вода. Мари слышала, как муж чистит зубы.
— Джозеф!
— Да, — отозвался он из-за закрытой двери.
— Пойди сюда.
— Что тебе нужно?
— Я хочу, чтобы ты обещал мне кое-что. Пожалуйста, прошу тебя...
— Но что?
— Сначала открой.
— Я спрашиваю — что? Что именно? — раздался голос из-за закрытой двери.
— Обещай мне... — начала Мари и запнулась.
— Ну что, что тебе обещать? — спросил Джозеф, прервав затянувшуюся паузу.

— Обещай мне...— снова начала Мари и снова замолчала.

На этот раз муж ничего не сказал. Мари обнаружила, что ее сердце стучит в унисон с часами. Где-то за окном скрипнул фонарь.

— Обещай мне, если что-нибудь... случится...— услышала она свой голос — такой глухой и далекий, будто она стояла в миле отсюда, — «если что-нибудь случится со мной, то ты не дашь похоронить меня на этом кладбище, рядом с этими мерзкими катакомбами!

— Ну, не глупи, — отозвался Джозеф из-за двери.

— Ты обещаешь? — переспросила Мари, глядя расширенными глазами в темноту.

— Зачем ты заставляешь меня обещать всякие глупости!

— Обещай, пожалуйста, обещай... Ты обещаешь?

— Утром ты поправишься, дорогая, — продолжал твердить он.

— Все равно обещай — иначе я не усну. Я смогу заснуть, только если ты скажешь, что никогда не оставишь меня там. Я не хочу, не хочу стоять там...

— Ну честное слово! — воскликнул Джозеф, теряя терпение.

— Пожалуйста... — умоляла Мари.

— Ну почему я должен обещать тебе такие вещи, почему? — всплеснул он руками. — Завтра тебе будет лучше. И вообще... Лучше представь, как бы ты замечательно смотрелась в этих катакомбах — где-нибудь между мистером Гримасоу и мистером Разиньротом, а? — Джозеф заразительно рассмеялся. — Вставили бы тебе в волосы бутенвилию...

Мари молча лежала в темноте.

— Ну разве не здорово? — спросил он сквозь смех из-за двери.

Она ничего не ответила.

— Как ты думаешь? — переспросил он.

Внизу на площади слышались чьи-то тихие шаги — и удалились.

— Эй! — позвал он, продолжая чистить зубы.

Мари лежала, вперив глаза в потолок, и грудь ее часто-часто вздымалась — и все чаще и чаще воздух вырывался из ее нозд-

рей, а в уголке рта показалась тоненькая струйка крови. Глаза ее были широко распахнуты, руки неистово терзали края простыни.

— Эй! — снова окликнул он из-за двери.

Мари не ответила.

— Господи... — бормотал себе под нос Джозеф. — Да точно тебе говорю. — Он влез головой под струю и начал полоскать рот. — Уже завтра утром...

Со стороны ее кровати не доносилось ни звука.

— Странные все-таки существа эти женщины, — сказал Джозеф, обращаясь к своему отражению в зеркале.

Мари все лежала на кровати.

— Точно тебе говорю, — продолжал бубнить он, с бульканьем полоща горло антисептиком, затем громко сплюнул в раковину. — Завтра утром ты встанешь и побежишь...

Ни слова в ответ.

— Скоро они закончат чинить автомобиль.

Ни слова.

— Ты погоди, утро вечера мудренее. — Джозеф открутил крышечку и стал протирать лицо оспежителем. — Думаю, закончат чинить уже завтра. Ну в крайнем случае — послезавтра. Ты ведь не против провести здесь еще одну ночь?

Мари ничего не отвечала.

— Не против? — переспросил он.

Никакого ответа.

Полоска света под дверью расширилась.

— Мари!

Он открыл дверь.

— Спишь?

Она лежала, глядя перед собой расширенными глазами, грудь ее тяжело вздымалась.

— Ну, значит, спишь, — заключил он. — Спокойной ночи, дорогая.

Джозеф лег в кровать.

— Устала, наверное.

Она не ответила.

— Устала... — повторил он.

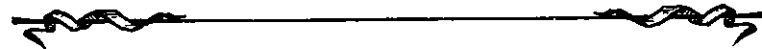
За окном ветер качал фонари. Комната была темной и длинной, как туннель. Через минуту Джозеф уже дремал.

А Мари все так же лежала с открытыми глазами, и грудь ее то поднималась, то опускалась, и на руке тикали часы...

В такую погоду было здорово ехать через тропик Рака. Сверкающий автомобиль мягко подпрыгивал на ухабах, петлял между сопками, с ревом вписывался в крутые повороты, оставляя за собой легкое облачко дыма и все больше приближаясь к Соединенным Штатам. В машине сидел Джозеф — как всегда свежий, румяный и в панаме. На коленях у него уютно свернулся неизменный фотоаппарат — он не расставался с ним даже за рулем. К лацкану желтого пиджака была прищиплена черная шелковая ленточка.

Оглядывая пронесшийся пейзаж, Джозеф рассеянно взмахнул рукой, словно обращаясь к попутчику... но осекся. Тут же его губы тронула глуповатая улыбка — он снова отвернулся к окну и принялся мычать себе под нос какой-то мотив. В то время правая его рука тихонько подкрадывалась к соседнему сиденью...

Оно было пусто.



En La Noche*

Всю ночь миссис Наваррес выла, и ее завывания заполняли дом подобно включенному свету, так что никто не мог уснуть. Всю ночь она кусала свою белую подушку, и заламывала худые руки, и вопила: «Мой Джо!» К трем часам ночи обитатели дома, окончательно отчаявшись, что она хоть когда-нибудь закроет свой размазанный красный рот, поднялись, разгоряченные и решительные, оделись и поехали в окраинный круглосуточный кинотеатр. Там Рой Роджерс гонялся за негодяями сквозь клубы застоявшегося табачного дыма, и его реплики раздавались в темном ночном кинозале поверх тихого похрапывания.

На рассвете миссис Наваррес все еще рыдала и вопила.

Днем было не так уж плохо. Сводный хор детей, орущих там и сям по всему дому, казался спасительной благодатью, почти гармонией. Да еще пыхтящий грохот стиральных машин на крыльце, да торопаявая мексиканская скороговорка женщин в синелевых платьях, стоящих на залитых водой, промокших насквозь ступеньках. Но то и дело над пронзительной болтовней, над шумом стирки, над криками детей, словно радио, включенное на полную мощность, взмывал голос миссис Наваррес.

* В ночи (исп.).

— Мой Джо, о бедный мой Джо! — верещала она.

В сумерках заявились мужчины с рабочим потом под мышками. По всему раскаленному дому, развываясь в прохладных ваннах, они ругались и зажимали угли ладонями.

— Да когда же она замолкнет! — бессильно гневались они.

Кто-то даже постучал в ее дверь:

— Уймись, женщина!

Но миссис Наваррес только завизжала еще пуще: «Ох, ах! Джо, Джо!»

— Сегодня дома не обедаем! — сказали мужья своим женам. Во всем доме кухонная утварь возвращалась на полки, двери закрывались, и мужчины спешили к выходу, придерживая своих издушенных жен за бледные локотки.

Мистер Вильянасуль, в полночь отперев свою ветхую рассыпающуюся дверь, прикрыл свои карие глаза и постоял темного, пошатываясь. Его жена Тина стояла рядом, вместе с тремя сыновьями и двумя дочерьми (одна грудная).

— О господи, — прошептал мистер Вильянасуль. — Иисусе сладчайший, спустись с креста и утихомирь эту женщину.

Они вошли в свою сумрачную комнатку и взглянули на голубой огонек свечи, мерцавший под одиноким распятием. Мистер Вильянасуль задумчиво покачал головой:

— Он по-прежнему на кресте.

Они поджаривались в своих постелях, словно мясо на углях, и ночь поливала их собственными приправами. Весь дом полыхал от крика этой несносной женщины.

— Задыхаюсь! — Мистер Вильянасуль пронесся по всему дому и вместе с женой удрал на крыльцо, покинув детей, обладавших великим и волшебным талантом спать, несмотря ни на что.

Неясные фигуры толпились на крыльце. Дюжина мужчин молчаливо сутулилась, сжимая в смуглых пальцах дымящиеся сигареты; облаченные в синель женщины подставались под слабый летний ночной ветерок. Они двигались, словно сонные видения, словно манекены, начиненные проволочками и колесиками. Глаза их опухли, голоса звучали хрипло.

— Пойдем удавим ее, — сказал один из мужчин.

— Нет, так не пойдет, — возразила женщина. — Давайте выбросим ее из окна.

Все устало засмеялись. Мистер Вильянасуль заморгал и обвел всех растерянным взглядом. Его жена вяло переминалась с ним рядышком.

— Можно подумать, кроме Джо никого на свете в армию не призывали, — раздраженно бросил кто-то. — Миссис Наваррес, вот еще! Да этот ее муженек Джо картошку чистить будет — самое безопасное местечко в пехоте!

— Что-то нужно предпринять, — молвил мистер Вильянасуль. Жесткая решительность собственного голоса его испугала. Все воззрились на него. — Еще одной ночи нам не выдержать, — тупо закаючил мистер Вильянасуль.

— Чем больше мы стучимся к ней, тем больше она орет, — пояснил мистер Гомес.

— Священник приходил после обеда, — сказала миссис Гуттеррес. — Мы за ним послали с отчаяния. Но миссис Наваррес даже дверь ему не открыла, как он ни упрашивал. Священник и ушел. Мы и полицейского Гилви попросили на нее наорать — думаете, она хоть послушала?

— Значит, нужно попытаться по-другому, — размышлял мистер Вильянасуль. — Кто-то должен ее... утешить, что ли...

— По-другому — это как? — спросил мистер Гомес.

— Вот если бы, — подвел итог минутному раздумью мистер Вильянасуль, — среди нас оказался холостяк...

Его слова упали, словно холодный камень в глубокий колодезь. Послышался всплеск, тихо разошлись круги.

Все вздохнули.

Словно летний ветерок поднялся. Мужчины селка приосанились; женщины оживились.

— Но, — ответил мистер Гомес, вновь оседая, — мы все женаты. Холостяков здесь нет.

— О, — сказал каждый, и все погрузились в жаркое пересохшее русло ночи, продолжая безмолвно курить.

— Тогда, — выпалил мистер Вильянасуль, приподнимая плечи и поджав губы, — это должен сделать один из нас!

И вновь подул ночной ветер, пробуждая в людях благоговение.

— Сейчас не до эгоизма! — объявил мистер Вильянасуль. — Один из нас должен это совершить! Или это, или еще одну ночь в аду поджариваться!

И тут люди на крыльце, прищурившись, расступились вокруг него.

— Вы ведь это сделаете, мистер Вильянасуль? — жаждали узнать они.

Он оцепенел. Сигарета едва не вывалилась у него из пальцев.

— Да, но я... — возразил он.

— Вы, — откликнулись они. — Да?

Он лихорадочно взмахнул руками.

— У меня жена и пятеро детей, один грудной!

— Но мы все женаты, а это вапса идея, и вы должны иметь храбрость не отступать от своих убеждений, мистер Вильянасуль, — говорил каждый.

Он очень перепугался и замолчал. Он боязливо взглянул на свою жену.

Она стояла, утомленно обмахиваясь ночным воздухом, и старалась разглядеть его.

— Я так устала, — горестно произнесла она.

— Тина, — сказал он.

— Я умру, если не засну, — пожаловалась она.

— Да, но, Тина... — сказал он.

— Я умру, и мне принесут много цветов и похоронят, если я не отдохну хоть немного, — пробормотала она.

— Как она скверно выглядит, — заметил каждый.

Мистер Вильянасуль колебался не более мгновения. Он коснулся вялых горячих пальцев своей жены. Он коснулся губами ее горячей щеки.

Без единого слова он покинул крыльцо.

Они слышали его шаги на темной лестнице, потом наверху, на третьем этаже, где завывала и вопила миссис Наваррес.

Мужчины снова закурили и отбросили спички, перешептываясь, словно ветер; женщины слонялись вокруг них, то и дело подходя и заговаривая с миссис Вильянасуль, опиравшейся на перила. Под ее усталыми глазами пролетели тени.

— Вот теперь, — тихо прошептал один из мужчин, — мистер Вильянасуль уже наверху!

Все затихли.

— А теперь, — выдохнул мужчина театральным шепотом, — мистер Вильянасуль стучится в ее дверь! Тук-тук.

Все молчали, затаив дыхание.

— А теперь миссис Наваррес по случаю вторжения начинает вопить с новыми силами!

С верхнего этажа донесся пронзительный вопль.

— А теперь, — воображал мужчина, сутулясь и осторожно помахивая рукой, — мистер Вильянасуль умоляет и умоляет у закрытой двери, тихо, нежно.

Люди на крыльце напряженно вздернули в ожидании подбородки, пытаясь сквозь тройной слой дерева и штукатурки разглядеть верхний этаж.

Вопли утихли.

— А теперь мистер Вильянасуль говорит быстро-быстро, он молит, он шепчет, он обещает! — тихо воскликнул мужчина.

Вопли перешли в рыдания, рыдания в стоны, и наконец все смолкло и растворилось в дыхании, в биении сердца, в ожидании.

Примерно через пару минут, потные, выжидающие, все стоявшие на крыльце услышали, как на третьем этаже брякнула щеколда, дверь открылась и мгновением позже затворилась под звуки шепота.

Дом затих.

Тишина жила в каждой комнате, словно выключенный свет. Тишина, словно прохладное вино, струилась по коридорам. Тишина обдавала их из окон, словно прохладный воздух из погребов. Они стояли и вдыхали ее прохладу.

— Ах, — вздохнули они.

Мужчины отшвырнули сигареты и на цыпочках вошли в затихший дом, женщины следом. Вскоре крыльцо опустело. Они плавали в прохладных чертогах тишины.

Миссис Вильянасуль в тупом остоленности отперла свою дверь.

— Мы должны выставить мистеру Вильянасулю утешение, — прошептал кто-то.

— Свечку ему завтра поставить.

Двери затворились.

В своей прохладной постели покоилась миссис Вильянасуль.

— Он такой заботливый, — сонно подумала она, смежив веки. — За это я его и люблю.

Тишина, словно прохладная рука, погладила ее на сон грядущий.



Последняя работа Хуана Диаса

Захлопнув дощатую дверь с такой силой, что свеча потухла, Филомена с плачущими детьми оказалась в темноте. Теперь глаза видели лишь то, что было за окном: глинобитные дома по бокам мощеной улицы, по которой поднимался на холм могильщик. На плече он нес лопату, и медовый отблеск луны на мгновение вспыхнул на ее стали, когда могильщик повернул на кладбище и пропал из виду.

— Мамасита, что случилось? — Филипп, старшенький, дергал ее за юбку. Тот странный черный человек не промолвил и слова — просто стоял на крыльце с лопатой на плече, медленно тряс головой и ждал, пока мама не захлопнула дверь. — Мамасита!

— Это могильщик. — Дрожащими руками Филомена зажгла свечу. — У нас нет денег платить за место на кладбище. Твоего отца выколют из могилы и поместят в катакомбы, где он будет стоять рядом с другими мумиями — прикрученный к стене проводом, как и все прочие.

— Ах нет, мамочка!

— Да — Филомена прижала детей к себе. — Так случится, если мы не уплатим. Так случится.

— Я убью могильщика! — крикнул Филипп.

— Это его работа. Если умрет этот, на его место придет другой, с тем же требованием. А если Бог приберет и того, то явится третий.

Они разом задумались об этом человеке, который живет и копошится на кладбищенском холме, вознесенный над всеми, и сторожит катакомбы и загадочную землю, обладающую страшным свойством: закопанные в нее люди со временем иссыхают, словно цветы в пустыне, их кожа становится твердой, как на туфлях, так что по упругой и полой мумии хоть палкой колоти — барабан. Эти мумии, коричневые будто сигары, могут сохраняться вечно — столбами приставленные к стенам подземных пещер. Когда Филомена и ее дети подумали об этом привычном, к которому привыкнуть нельзя, им стало холодно среди лета, и каждая косточка их тела беззвучно взывала от ужаса.

Какое-то время мать и дети молчащей группой стояли посреди комнаты, неистово прижимаясь друг к другу. Потом мать сказала:

— Пойдем со мной, Филипп.

Она распахнула дверь и вышла вместе с Филиппом на крыльцо. Облитые лунным светом, оба застыли, напряженно прислушиваясь к ночи, будто ожидали услышать далекий звяк лопаты, которая железным зубом кусает землю, выгрызает куски глины и срубает давно укоренившиеся цветы. Однако под звездным небом царил ненарушимая тишина.

— А прочие марш в постель! — велела Филомена, оглянувшись на дом.

Теперь она закрыла дверь так осторожно, что пламя свечи в комнате лишь слабо дрогнуло.

Булыжная мостовая, превращенная лунным светом в серебристую реку, избегала мимо зеленых участков и маленьких магазинчиков туда, где и днем, и вечером тикали привычные для местных жителей часы смерти: это пилил, строгал и постукивал молотком гробовщик, как неумолимая пчела, собирающая нектар на могилах.

Запыхавшийся Филипп едва поспевал за быстро шагавшей матерью. Ее поношенная юбка рядом с его ухом быстро-быстро лепетом жаловалась на нищету. Наконец они подошли к зданию муниципалитета.

Мужчина, сидевший за небольшим, заваленным бумагами столом в плохо освещенной комнатухе, встретил ее удивленным взглядом.

— Филомена, кузина!

Коротко пожав протянутую руку, она сказала:

— Рикардо, ты должен помочь мне.

— Если Господь не помешает. Я весь внимание.

— Они...— Словно горький камень лежал у нее во рту. Она попробовала от него избавиться: — Сегодня ночью они выкапывают Хуана.

Рикардо даже привскочил со стула, но потом бессильно опустился обратно. Глаза его, полыхнув гневным огнем, тут же потускнели.

— Если Господь позволит, так люди помешают. Неужели пролетел целый год со дня смерти Хуана? Неужели пора вносить плату за клочок кладбищенской земли? — После этих горячих восклицаний он вывернул ладони перед кузиной и тихо сказал: — Увы, Филомена, денег у меня нет.

— Но ты же можешь переговорить с могильщиком. Ты как-никак полицейский.

— Филомена, Филомена, дальше края могилы закону хода нет.

— Лишь бы он дал мне десять недель отсрочки, только десять. Сейчас лето на исходе, и скоро День всех усопших. Я справлюсь, я все в доме распродам, я достану деньги для него. Рикардо, ради всего святого, замолви за меня словечко!

И лишь теперь, когда не стало возможности больше удерживать в себе лютый холод, от которого вот-вот застывает все в душе, она дала себе волю, закрыла лицо руками и зарыдала. И Рикардо понял, что теперь время открыто проявить свои чувства, и тоже разрыдался, между всхлипами горестно повторяя имя кузины.

Потом он взял себя в руки и встал, надевая на голову старую заносенную и засаленную форменную фуражку.

— Ладно. Я говорю «да». Я пойду к катакомбам и плону в черную дыру входа. Однако не жди ответа, Филомена. Мне ответит разве что эхо. Веди меня.

Кладбище располагалось на горе — выше церкви, выше всех городских зданий и выше всех окрестных холмов. Оттуда были видны как на ладони и городок, и окрестные поля.

Пройдя через широкие чугунные ворота, Рикардо, Филомена и ее сынишка шли какое-то время между могилами, пока не увидели широкую спину могильщика. Тот проворно махал ло-

патою и уже изрядно углубился в землю. Не потрудившись оглянуться, он все же точно угадал, кто пришел, потому что негромко спросил:

— Рикардо Альбанес, начальник полиции?

— Прекратите копать! — сказал Рикардо.

Лопата ходила вверх-вниз как ни в чем не бывало.

— Завтра похороны, начальник. Эта могила должна быть свободна к утру, чтобы принять нового покойника.

— В городе никто не умер.

— Кто-нибудь постоянно умирает. Всегда нужно иметь могилу наготове, чтобы не прогадать. Два месяца я жду денег от Филомены. Я, как видите, человек терпеливый.

— Оставайтесь им еще немного. — Рикардо просительно коснулся плеча согнутого над лопатой могильщика.

— Начальник полиции! — фыркнул могильщик, на время прервался и выпрямился. — Здесь моя страна, страна мертвых. Которые тут у меня живут, ни словечка мне не говорят. И от пришлых я указок не терплю. Я деспот здешней стражи и правлю железной рукой, а помощники мои верные — кирка да лопата. Не люблю, когда живые приходят сюда чесать языком и тревожить покой моих подданных. Разве я таскаюсь в вап начальничий дом, чтоб учить вас делать свое дело? Так-то вот. Спокойной, значит, ночи. — И, поплевав на руки, он опять взялся за лопату.

— Неужели ни Господь, взирающий с небес, ни эта женщина с малолетним отроком не помешают вам осквернить останки мужа и отца, нашедшего в этой могиле свой вечный покой?

— Покой не свой и не вечный. А только от меня в аренду полученный. — Лопата взлетела особенно высоко и блеснула в лунном свете. — Я не приглашал мать и сына глядеть на это прискорбное зрелище. И вот что я тебе скажу, Рикардо. Какой ты ни начальник, а рано или поздно и ты помрешь. И хоронить тебя буду я. Заруби себе это на носу: в землю тебя спрячу я. И окажешься ты в полной моей воле. А уж тогда, тогда...

— Что тогда? — заорал Рикардо. — Ты мне, пес поганый, угрожать смеешь? Да я тебя по стенке размажу, в землю закопаю!

— Копать — мое ремесло, — спокойно возразил могильщик, по-прежнему ритмично работая лопатой. — Спокойной ночи сеньору, сеньоре и маленькому сеньору.

Когда троица добралась до крыльца глинобитного домика Филомены, Рикардо остановился, пригладил волосы кузины на виске и запричитал:

— Ах, Филомена. Ах, Господи.

— Все, что мог, ты сделал. Спасибо и на том.

— Жуткий человек. Могильная крыса! Какой только мерзости он не сотворит с моим телом, когда я умру! Может закопать меня в могиле головой вниз или подвесить за волосы в дальнем углу катакомб, где никто меня не найдет и никто за меня не заступится. Он жиреет от сознания, что рано или поздно все перейдет под его власть... Спокойной ночи, Филомена. А впрочем, какое тут к черту спокойствие! Ночь хуже некуда.

Рикардо побрел обратно к муниципалитету.

А Филомена зашла в дом и, оказавшись снова среди своих многочисленных детишек и наедине со своим горем, рухнула на стул и поникла, уронив голову на колени.

Назавтра днем, когда Филипе под палящим солнцем возвращался домой, его настигла толпа воющих однокашников. Он вдруг оказался внутри хохочущего круга.

— Филипе-дурише, а мы видели сегодня твоего папашу!

— Но где же мы его видели? — дурашливо спрашивали одни.

— В катакомбах! — отвечали другие.

— Какой же он у тебя ленивый! Стоит себе и в ус не дует.

— Он у тебя лодыр!

— И молчун! Слова не вытянуть из этого Хуана Диаса!

Филипе так и затрясло от обиды, и горячие слезы заструились из круглых от горя глаз.

Услышав на улице его режущий ухо рев, Филомена в отчаянии прислонилась к прохладной стене. Волны горестных воспоминаний накатывали на ее истерзанную душу.

В последний месяц жизни, на глазах угасая, непрестанно кашляя и по ночам купаясь в собственном поту, Хуан лежал на соломенном матрасе, глядел в потолок и все шептал:

— Какой я после этого мужчина, если жена и дети у меня голодают! И что за жалкая смерть — в постели!

— Помолчи, — говорила она, кладя прохладную руку на его раскаленные губы.

Но и под ее пальцами губы продолжали свое:

— Что хорошего ты видела за годы жизни со мной? Только голод да болезни. А теперь вот и это. Видит бог, ты прекрасная женщина, а я покидаю тебя, не оставив денег даже на собственные похороны!

А однажды ночью он скрипнул зубами — раз, другой и вдруг впервые за недели болезни расплакался. Плакал он долго. А когда выплакался, на него снизошло что-то вроде благодного удовлетворения, будто он получил некий знак свыше. Хуан взял руки жены в свои и с горячечной быстротой заговорил, клянясь ей страшными клятвами с исступлением кающегося в церкви отпетого убийцы:

— Филомена, послушай! Я останусь с тобой. Пусть я не смогу сделать тебя счастливой и защитить при жизни, я стану оберегать тебя после смерти. Пусть я не смогу прокормить тебя, будучи живым, — мертвым я стану приносить тебе пищу. Пусть живым я был беднее церковной мыши — после смерти это изменится. Я верю, я знаю, что так будет. Эта вера пришла ко мне только что, я выплакала ее у Бога. Поверь мне. После смерти я буду трудиться и многое совершу. Не бойся. Поцелуй за меня маленьких. Ах, Филомена, Филомена.

Он сделал долгий глубокий вдох, словно плавец перед погружением в теплую речную воду. И вот так, набрав в легкие побольше воздуха, тихо нырнул в вечность.

Филомена и дети напрасно ждали его выдоха. То, что лежало на соломенном матрасе, было как фальшивое восковое яблоко. И было дико прикасаться к нему, такому неживому. Как странно восковое яблоко зубам, так странен был теперь Хуан Диас всем человеческим чувствам.

Его забрали прочь и положили в утробу сухой земли, словно в испанскую пасть, которая быстро высосала из него все жизненные соки — оставила только сухую оболочку, похожую на пергамент, и превратила тело в мумию, столь же легкую, что и плевелы, осенью отделяемые ветром от пшеницы.

С тех самых пор Филомена снова и снова ломала голову над тем, как ей в одиночку прокормить орду детей — теперь, когда Хуан медленно превращается в коричневый сверток пергамента, лежа в деревянном ящике на серебристой парче. Как

сделать так, чтоб дети не захирели, чтоб на их губы вернулась улыбка, а на щечки — румянец?

Хохот ребят, глумившихся над Филипе, вернул ее к действительности.

В квадрате окна Филомена видела, как по склону далекого холма взбирается вереница пестро раскрашенных автобусов с туристами из Соединенных Штатов. Любопытные янки платят по одному песо за то, чтобы черный человек с лопатой, кладбищенский деспот, провел их по катакомбам и показал расставленные вдоль стен иссохшие мумии, в которые сухая песчаная почва и жаркий ветер превращают всех здешних покойников.

Пока Филомена провожала взглядом автобусы с янки, ей вдруг послышался горячий шепот Хуана: «Я выплакал себе эту веру. После смерти я буду трудиться. Я больше не буду ничем. Верь мне, Филомена!» Будто не память вернула эти слова, а вдруг явился невидимый призрак Хуана, чтобы напомнить их. Филомена покачнулась от ужаса. Ей чуть не стало дурно, однако в тот же момент в ее сознании мелькнула идея — такая неожиданная и дикая, что сердце так и запрыгало в груди.

— Филипе! — внезапно позвала она сына.

Филипе вырвался из крута дразнящих его детей, забежал в дом и захлопнул за собой дверь.

— Ты меня звала, мамасита?

— Да, ниньо, нам надо поговорить. Во имя всех святых, нам надо поговорить.

Филомена чувствовала, что ее лицо за минуту постарело лет на десять, потому что на тысячу лет только что постарела ее душа. С великим трудом она вытолкнула из горла то, что обязана была сказать:

— Ниньо, сегодня ночью мы тайно спустимся в катакомбы.

— А нож мы с собой возьмем? — ничуть не испугавшись, спросил Филипе. И с хищной улыбкой добавил: — Мы прикончим черного человека!

— Нет-нет, Филипе. Слушай меня внимательно, мой мальчик.

И она рассказала о том, что им предстоит.

Через несколько часов заблаговестили к вечерне. Со всех сторон послышался звон колоколов, а затем донеслось пение хоров. Через открытые двери церковей звуки вечерней службы разносились по всей округе. Там и здесь можно было видеть вереницу детей со свечами в руках, совершающих крестный ход. За священниками несли большие медные колокола, на звуки которых сбегались полаять бездомные псы.

Пустынное кладбище белело в первых сумерках многочисленными надгробиями из белого мрамора. Гравий предательски скрипел под ногами. Торопясь за своими чернильно-черными тенями, Филомена и Филипе пугливо оглядывались по сторонам, кляня безоблачное небо и слишком яркую луну. Однако никто не крикнул им: «Стойте, кто идет?» Могильщик, как они видели из своего укрытия, упел вниз по холму на вечерню.

— Быстрее, Филипе, — шепнула Филомена, — замок!

Под дужку висячего замка они просунули, уперев в полотно деревянной двери, железный ломик и как следует вместе налегали на него. Полетели щепки, но замок не поддавался. Мать и сын повторили попытку и налегали на ломик что было мочи — замок тенькнул и развалился надвое, так что они по инерции едва не упали на землю. Тяжелая дверь со скрипом распахнулась, отворив жуткую темноту и неслыханную тишину. Там, внизу, был лабиринт пещер.

Филомена распрямилась, глотнула побольше воздуха и сказала:

— Ну, с богом.

И первой шагнула вперед.

По разным углам глинобитного домика Филомены Диас мерно сопели во сне ее дети. Ночь принесла отрадную прохладу.

Как вдруг все детские глаза разом испуганно открылись.

Сперва раздался звук шагов по булыжнику совсем рядом с крыльцом. Потом осторожно распахнулась дверь. В дверном проеме возникли силуэты трех человек — двух взрослых и ребенка. Старшая девочка поспешно чиркнула спичкой, чтобы зажечь свечу.

— Нет! — раздался голос Филомены.

Она проворно схватила детскую руку и задула огонек. Потом вернулась к двери и закрыла ее. Комната погрузилась в

темноту. И в этой темноте дети слышали усталый голос матери:

— Не надо зажигать свечу. Ваш папа вернулся домой.

В полночь раздался оглушительный стук в дверь. Кто-то колотил, не боясь разбудить соседей.

Филомена встала открыть.

За дверью стоял могильщик, который тут же принялся орать:

— Ах ты, стерва! Грабительница проклятая! Воровка чертова!

За его спиной переминался Рикардо — жалкий, сгорбленный, как столетний старик.

— Кузина, позволь нам зайти, — сказал он. — Этот наш друг...

— Я тебе не друг! И я никому не друг! — кричал могильщик. — Замок сломан, труп украли. По тому, кого украли, нетрудно узнать, кто вор. Дело полиции — забрать вора. Арестуйте ее! — И он нетерпеливо дернул начальника полиции за рукав.

— Не торопитесь вы так, — сказал Рикардо, сбрасывая руку могильщика со своего локтя. — Можно нам войти?

— Ну-ка, ну-ка! — приговаривал могильщик, порываясь прошмыгнуть в комнату мимо хозяйки. — Ага! Видите! — И он указал на дальнюю стену.

Но Рикардо смотрел не в глубину комнаты, а исключительно в глаза кузине.

— Что скажешь, Филомена? — тихо спросил он.

Лицо Филомены было лицом человека, который изнуряюще долго шел по темному туннелю и вот наконец приблизился к его концу, где начинает брезжить свет. Ее глаза были готовы выдержать встречу с любым взглядом. И ее губы знали, что говорить. Ужас был пережит и ушел. И оставил ей то, что должно стать светом в конце туннеля. Теперь у нее есть то, что они с ее прекрасным мужественным мальчиком принесли с вершины горы. Отныне все дурное будет обходить ее жизнь стороной. И эта убежденность прочитывалась даже в позе Филомены, когда она объявила начальнику полиции:

— Мумии в нашем доме нет.

— Верю, кузина, — сказал Рикардо. — Однако... Он смущенно откапываясь и наконец позволил себе заглянуть в едва освещенную лунным светом комнату. — А что это там у стены?

— Чтобы отметить Праздник всех усопших, — сказала Филомена, даже не оглянувшись в сторону, куда показывал Рикар-

до, — я взяла бумагу, клейстер и проволоку и сделала игрушку — мумию в натуральную величину.

— Да ты что? Неужели ты это сделала? Подумать только! В натуральную величину!

— Врет! Врет! — прокричал могильщик, пританцовывая от злости.

— С вашего позволения, — сказал Рикардо и прошел через комнату к загадочному предмету у стены. Посветив фонариком, полицейский поцокал языком. — Так-так, так-так.

Филомена стояла на пороге и мечтательно смотрела на звездное небо.

— Я придумала замечательное применение этой поделке.

— А именно? — насторожился могильщик.

— В итоге у нас будут деньги. Вы разве против того, чтобы мои дети были сыты?

Но Рикардо ее не слушал. Он стоял, покачивая головой, и почесывал подбородок, тараща на исполненный молчания высокий кокон, прислоненный к стене.

— Игрушка, — сказал Рикардо. — Игрушечной смерти таких размеров я еще никогда не видал. Скелеты в окнах аптек, картонные гробы в натуральную величину с конфетами в виде черепов — такое видал. Но подобное! Снимаю перед тобой шляпу, Филомена!

— Чего тут шляпу-то снимать! — взвыл могильщик. — Разуйте глаза! Это никакая не игрушка! Это же мое краденое добро!

— Готова ли ты присягнуть, Филомена, что ты говоришь правду? — торжественно спросил Рикардо, не обращая внимания на беснования могильщика. Полицейский протянул руку и осторожно постучал пальцем по ржаво-красной груди фигуры. «Бум-бум» — отозвалась та, словно натянутая кожа барабана. — Итак, ты клянешься, что это сделано из папье-маше?

— Именем пресвятой Девы-Богородицы клянусь.

— Что ж, — сказал Рикардо, довольно фыркнул и рассмеялся. — Если такая набожная женщина, как Филомена, клянется именем пресвятой Девы-Богородицы — вопросов больше нет. Расследование закончено. В суд обращаться нет нужды. Да и пустое это дело — недели и месяцы понадобятся на выяснение того, что это за штукавина такая и действительно ли она искусно сотворена из крашенного под ржавчину папье-маше.

— Недели и месяцы? Доказывать? — Могильщик медленно повернулся на триста шестьдесят градусов, словно пригласывая к этой темной комнатенке, в тесных границах которой мир сошел с ума. — Эта «игрушка» — моя собственность!

— Сделанное мной принадлежит только мне, — отозвалась Филомена с порога, переводя взгляд с неба на окрестные холмы. И вдруг добавила, по-прежнему во власти нового безмятежного покоя: — А если это и впрямь не игрушка, если это сам Хуан Диас вернулся домой — то кто возразит против того, что Хуан Диас принадлежит прежде всего Господу?

— Кто же против этого возразит! — горячо подхватил Рикардо.

Могильщик попытался. Но не успел он и дюжины слов сказать, как Филомена его перебила:

— А кому он принадлежит во вторую очередь? Перед лицом Господа, перед алтарем Господа и в церкви Господа разве не поклялся Хуан Диас в самый торжественный день своей жизни принадлежать мне до скончания своих дней?

— «До скончания своих дней»? Вот ты и лопалась, женщина! — сказал могильщик. — Дни-то его все вышли. Нынче он мой!

— Итак, — продолжала спокойно Филомена, — если предположить, что эта кукла не кукла, а действительно Хуан Диас, то он, во-первых, собственность Господа; во-вторых, собственность Филомены Диас. А коли вы, правитель страны мертвых, предъявляете свои права на него, так и на это у меня есть ответ: вы же изгнали его со своей земли — вы прогнали арендатора! Но раз он вам так люб, что вы желаете получить его обратно, извольте внести за него арендную плату.

Правитель страны мертвых был настолько сражен ее логикой, что не сразу нашелся с ответом. Поэтому инициативу перехватил Рикардо:

— Господин могильщик, я сиживал в судах и слышал споры законников — как они копаются в тонкостях, приводят доводы «за» и доводы «против» и поворачивают дышло закона то туда, то сюда, и все это судоговорение длится месяцы и годы. И когда данное дело попадет в суд, тамошним крючкотворам будет о чем поговорить: они притянут сюда и законы о движимом и недвижимом имуществе, и право на кустарное производство;

они будут молотить языками и про Господа, и про Филомену, и про ее голодных детишек, и про отсутствие совести у некоторых могилороев. Такую тень на плетень наведут, что в суд не находишься, а многосложное могильное дело будет хиреть из-за непрерывных отлучек. Учитывая вышесказанное, готовы ли вы годами тягаться в суде с этой женщиной?

— Готов! — решительно заявил могильщик. Хотя в его позе уже не было прежней решительности.

— Милейший, — сказал Рикардо, — я намотал на ус ваш вчерашний совет и теперь возвращаю его вам: я не лезу в ваши дела с мертвыми, но и вы не лезьте в мои дела с живыми. Ваша юрисдикция кончается за могильными воротами. А по эту сторону ворот — моя вотчина, мои граждане, будь они говорливы или немые, будто покойники. Итак...

Рикардо еще раз постучал пальцем по полой груди прислоненной к стене фигуры. В ответ раздалось что-то вроде биения сердца. Могильщик суеверно перекрестился.

— Вот мой официальный приговор: это не мумия, а кукла. И мы теряем тут понапрасну время. А стало быть, возвращайтесь, гражданин могильщик, в свои владения! Спокойной ночи, Филомена. Спокойной ночи, детишки!

— Ас этим что? — упрямо спросил могильщик, показывая на прислоненную к стене фигуру.

— Вам-то какое дело? — сказал Рикардо. — Эта штукавина остается здесь. Хотите судиться — подавайте жалобу. Только эта кукла останется до окончания процесса здесь. Хоть у нее и есть ноги, она никуда не убежит. Спокойной ночи всем.

Полицейский вытолкал могильщика наружу, вышел сам и закрыл дверь. Филомена не имела возможности его поблагодарить.

Она затеплила свечу и поставила ее у ног мумии, похожей на огромный початок кукурузы. «Теперь это наша святыня, — подумала Филомена — и перед ней должна гореть неугасимая свеча».

— Не бойтесь, дети, — ласково сказала она, — спите, По кроваткам!

Филипе и остальные дети легли, а потом и сама Филомена устроилась на соломенном тюфяке под тонким одеялом. Свеча продолжала гореть. Прежде чем уснуть, Филомена радостно ду-

мала о новом будущем, о веренице более счастливых дней. «Утром я пойду встречать автобусы янки на дороге и расскажу им о моем домике. И когда они придут сюда, у двери будет надпись "Вход — 30 сентаво". И туристы валом повалят сюда, потому что мы находимся в долине — в начале пути к кладбищу на холме. Мой дом будет первым на маршруте туристов, и они будут полны нерастратченного любопытства». Мало-помалу с помощью туристов она наберет денег на ремонт крыши, а потом запасется большими мешками кукурузной муки, сможет покупать детям мандарины и прочие вкусные вещи. Если все сложится, как она задумала, то в один прекрасный день они сумеют выбраться в Мехико или даже пересечь туда, потому что там хорошие большие школы.

И все это счастье благодаря тому, что Хуан Диас вернулся домой, думала Филомена. Он здесь и ждет тех, кто придет посмотреть на него. «У его ног я поставлю миску, куда добросердечные туристы смогут бросать монетки, и после смерти Хуан Диас станет зарабатывать куда больше, чем при жизни, когда он трудился до седьмого пота за сущие гроши».

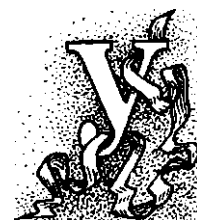
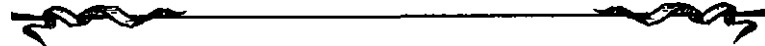
Хуан. Она открыла глаза и посмотрела вверх. Дети успокаивающе-ровно дышали во сне. «Хуан, видишь ли ты наших милых малышей? Знаешь ли ты, что происходит? И понимаешь ли ты меня? И простишь ли ты меня?»

Пламя свечи задрожало.

Филомена закрыла глаза. Ей представилась улыбка Хуана Диаса. Была ли это та улыбка, которую смерть начертила на его лице, или это была новая улыбка, которую Филомена дала ему или придумала для него, — как знать? Достаточно того, что Филомена чувствовала всю эту ночь, как он стоит у стены, высокий и одинокий, гордясь за свою большую семью и охраняя ее покой.

Собака залаяла где-то далеко в безымянном городе.

Но ее лай услышал только могильщик, который ворочался без сна в домике за кладбищенской оградой.



День Смерти

тро.

Мальчишка по имени Раймундо неся по Авенида Мадеро. Он бежал сквозь ранний запах ладана, доносившийся из множества церквей, и сквозь запах угля от десятка тысяч жаровен, на которых готовились завтраки. Он двигался среди мыслей о смерти, поскольку этим утром весь Мехико был пропитан мыслями о смерти. Храмы отбрасывали огромные тени, повсюду были женщины в черных траурных платьях, и дым от церковных свечей и жаровен забивал ноздри бегущего мальчика запахом сладкой смерти. Ничего страшного — в этот день все мысли были о смерти.

Это был El Día de Muerte, День Смерти.

Во всех уголках страны женщины с фанерных лотков торговали белыми сахарными черепами и марципановыми покойниками, которых следовало жевать и глотать. Во всех храмах шли богослужения, а на всех кладбищах сегодня вечером зажгут свечи и люди будут пить много вина и потом долго петь высокими голосами.

Раймундо бежал и чувствовал, что его наполняет целая Вселенная; и то, что рассказывал ему Тито Хорхе, и то, что он сам видел за свою жизнь. В этот день будет много интересного, даже в таких далеких местах, как Гуанахуато или озеро Пацкуа-

ро. А здесь, на большой арене для боя быков *trabajandos*, уже сейчас разгребают и ровняют песок, всюду идет торговля билетами, и быки в скрытых от постороннего взгляда стойлах нервничают, бешено вращают глазами или стоят, как в параличе, в предчувствии смерти.

Тяжелые железные ворота кладбища Гуанахуато были широко распахнуты, чтобы *turistas*, спустившись по длинной винтовой лестнице глубоко под землю, могли попасть в сухие галекатомбы и поглазеть на стоящие вдоль стены мумии, жесткие, как куклы. Сто десять мумий, надежно прикрепленных проволокой к камням, с искаженными гримасой ужаса ртами и высохшими глазами; тела, которые зашуршат, если до них дотронуться.

Жители острова Ханицио на озере Пацкуаро забрасывали в воду большие сети, чтобы они наполнились серебристой рыбой. Здесь, на острове, который славился огромной каменной статуей отца Морелоса, стоящей на горе, уже начали пить текилу, что открывало празднование Дня Смерти.

В крохотном городке Ленарес грузовик переехал собаку, и шофер не остановился и даже не оглянулся.

Сам Христос был в каждом храме, весь окровавленный и измученный.

А Раймундо, освещенный ноябрьским солнцем, бежал по Авенида Мадеро.

Ах, эти сладкие ужасы! Повсюду в витринах выставлены сахарные черепа с именами на их белоснежных лбах: ХОСЕ, КАРЛОТТА, РАМОНА, ЛУИЗА. Все мыслимые имена на шоколадных мертвых головах и засахаренных костях.

Небо над головой отливало голубой глазурью, а трава казалась ярко-зеленым ковром. В кулачке Раймундо крепко сжимал пятьдесят сентаво — большие деньги, на которые можно было купить массу сладостей, и он обязательно купит и ноги, и череп, и ребра и с удовольствием съест их. Сегодня — день поедания Смерти. Они покажут этой Смерти, да уж, зададут ей жару! Он и *madrecita mía*, он и его братья и сестренки!

В своем воображении мальчик уже видел череп с карамельной надписью: РАЙМУНДО. «Я съем свой собственный череп и обману Смерть, которая вечно стучится в окно каплями дож-

дя или скрипит в петлях старой двери. Обману Смерть, запеченную в пирожок большим пекарем. Смерть, одетую в саван из вкусной майсовой лепешки».

Раймундо казалось, что он прямо-таки слышит, как все это ему рассказывает старый Тио Хорхе. Его старый-престарый дядя с лицом кирпичного цвета, который движением пальцев помогает каждому слову вылетать из рта и который говорит: «Смерть сидит в твоих ноздрях, как курчавые волоски. Смерть растет в твоём животе, как ребенок. Смерть блещит в твоих глазах».

За шатким лотком какая-то старуха со злобным ртом и бусинками в ушах торговала досточками, на которых были изображены миниатюрные похороны: маленький картонный гробик, священник из палье-маше с микроскопической Библией, бумажные служки с орешками вместо голов, клир с хоругвями и леденцово-белый покойник с крохотными глазами в игрушечном гробу. На алтаре за гробом стояла фотография кинозвезды. Эти маленькие похороны на фанерке можно было принести домой, выбросить кинозвезду, а на ее место на алтаре вставить фотографию своего усопшего — чтобы была возможность как бы еще раз похоронить любимого человека.

Раймундо протянул монетку в двадцать сентаво.

— Одну, — сказал он и получил фанерку со сценой погребения.

Тио Хорхе говорил:

— Жизнь, Раймундо, — это погоня за вещами. В жизни всегда должно хотеться каких-то вещей. Тебе будет хотеться воды, ты будешь желать женщину, ты будешь хотеть спать; больше всего — спать. Тебе захочется купить нового ослика, сделать новую крышу в своем доме, ты захочешь красивые ботинки, как в стеклянных витринах, и опять тебе захочется спать. Ты будешь хотеть дождя, ты будешь хотеть спелых фруктов, ты будешь хотеть хорошего мяса; и снова ты захочешь спать. Тебе понадобится лошадь, тебе понадобятся дети, тебе понадобятся драгоценности из огромных сверкающих магазинов на *avenida*, и — ты, конечно же, помнишь? — в конце концов тебе понадобится сон. Запомни, Раймундо, ты будешь хотеть разных вещей. Жизнь — это такое вот хотение. Тебе будет хотеться вещей до тех пор, пока ты не перестанешь их хотеть, и тогда наступит

время, чтобы желать только сна, и сна, и сна. Для каждого из нас наступает такое время, когда сон становится самой великой и прекрасной вещью. И когда уже ничего не хочется, кроме сна, тогда человек начинает думать о Дне Мертвых и счастливых усопших. Запомнил, Раймундо?

— Si, Тио Хорхе.

— А чего тебе хочется, Раймундо?

— Я не знаю.

— Чего хотят все люди, Раймундо?

— Чего?

— Чего следует хотеть, Раймундо?

— Может быть, я знаю. Ах нет, не знаю, не знаю!

— Зато я знаю, чего ты хочешь, Раймундо.

— Чего?

— Я знаю, чего хотят все люди в этой стране. Этого полно кругом, но этого хотят больше всего, и это превыше всех прочих желаний, этого возжелают и этому поклоняются, потому что это отдохновение и покой для всех членов и всего тела...

Раймундо зашел в лавку и взял сахарный череп, на котором было написано его имя.

«Ты держишь это в руках, Раймундо,— прошептал Тио Хорхе.— Даже в твоём возрасте ты бережно держишь это, откусываешь маленькие кусочки, потом их глотаешь, и они растворяются в твоей крови. У тебя в руках, Раймундо, посмотри!»

Сахарный череп.

«Я вижу собаку на улице. Я веду машину. Я что, торможу? Или убираю ногу с педали? Нет! Прибавляю скорости! Бах! Так-то! Собаке стало хорошо, разве нет? Ушла из этого мира, покинула его навсегда».

Раймундо расслабился и с гордостью засунул свои грязные пальцы внутрь черепа, тем самым снабдив его мозгом с пятью шевелящимися извилинами.

Мальчик вышел из лавки, оглядел залитый солнцем широкий бульвар, по которому неслись ревущие автомобили. Он перевел взгляд и...

Все barreras были забиты битком. В la sombra и el sol, в тени и на солнцепеке, все места гигантской чаши стадиона, где состоит коррида, были заполнены народом до самого неба. Духовой оркестр гремел медью! Ворота раскрыты настежь! Ма-

тадоры, пикадоры, banderilleros — все вышли или выскочили на свежий, ровный песок арены, горячий от яркого солнца. Оркестр грохотал и взрывался маршами, возбужденная публика махала руками, аплодировала и кричала.

Ударил литавры, и музыка оборвалась.

За стенками баттега мужчины в обтягивающих блестящих костюмах натягивали береты на лоснящиеся черные волосы, переговариваясь друг с другом, осматривали свои плащи и штаны, а какой-то человек, перекувшившись сверху через ограждение, шуршал и шелкал наведенным на них фотоаппаратом.

Снова гордо грянул оркестр. Ворота с шумом распахнулись, и на арену выскочил первый огромный черный бык. Его бока тяжело вздымались, и развевались цветастые ленточки, прикрепленные к его загривку. Бык!

Раймундо стремглав мчался по Авенида Мадеро. Он очень ловко лавировал между быстрыми, большими и черными, как быки, автомобилями. Одна гигантская машина взревела и начала сигналить. Раймундо бежал быстро и легко.

Легко, словно танцуя, похожий на голубое перышко, которое порыв ветра несет над песком арены, выбежал banderillero навстречу быку. Бык громоздился перед ним, подобно черной скале. Вот banderillero остановился, встал в позу для броска и топнул ногой. Banderillas подняты, ах! ну же! Мягко-мягко побегали голубые балетные тапочки по гладкому песку, и бык тоже ринулся вперед, но banderillero, приподнявшись на носках, изящно изогнулся, и две пики упали вниз, и бык остановился как вкопанный, издавая не то мычание, не то визг от боли, которую причиняли ему два острия, глубоко вшившиеся в загривок. А banderillero, источник его боли, уже исчез. Толпа взревела от восторга!

Ворота кладбища Гуанахуато открылись.

Раймундо стоял не шевелясь, будто примерз к асфальту, а машина надвигалась на него. Вся земля пахла древней смертью и прахом, и все вещи вокруг стремились к смерти либо были охвачены смертью.

Кладбище Гуанахуато заполнили turistas. Массивная деревянная дверь была отперта, и они по шатким ступенькам спустились в катакомбы, где вдоль стены стояли сто десять наводящих ужас, иссохших, сморщенных мертвецов. Выступающие

вперед зубы, широко раскрытые глаза, устремленные в пустоту. Обнаженные тела женщин, подобные множеству проволочных каркасов, на которые криво и беспорядочно налипли комья глины. «Мы ставим их в катакомбах, потому что родственники не могут заплатить за погребение», — шептал низкорослый служитель.

У подножия холма, где находится кладбище, что-то похожее на представление жонглеров: идет мужчина, пытаясь удерживать на голове какой-то предмет, за ним следует небольшая толпа. Они проходят мимо похоронной лавки под музыку гробовщика, который, набив рот гвоздями, стучит по гробу, как по барабану. Осторожно балансируя, жонглер несет на черной гордой голове обшитую атласом серебристую коробку, до которой он то и дело осторожно дотрагивается, чтобы та не упала. Он шагает с большим достоинством, мягко наступая босыми ногами на булыжники, а за ним плетутся женщины в черных rebozos. В коробке, скрытый от всех взоров, в полной безопасности лежит маленький покойник — его только что умершая дочка.

Похоронная процессия проходит мимо открытых лавок гробовщиков, из которых на всю округу разносится стук молотков и визг пил. Эту процессию в катакомбах поджидают стоящие покойники.

Раймундо выгнул спину, как того, когда он делает veronica, чтобы надвигающийся автомобиль мог проскочить мимо и зрители воскликнули бы: «Ole!» Он улыбнулся во весь рот.

Черная машина нависла над ним, застывая свет, и задела мальчика. Тьма пронзила его насквозь. Наступила ночь...

В церковном дворе на озере Ханицио, под огромной темной статуей отца Морелоса — крошечная тьма, потому что еще ночь. Слышатся только высокие голоса мужчин, чья плоть высохла от вина, мужчин с женскими голосами, но не такими, какие бывают у нежных женщин, нет это голоса женщин жестоких, пьяных, порывистых, диких и меланхоличных. На темной глади озера появляются огоньки — с того берега плывут индейские лодки, на которых из Мехико едут туристы, чтобы посмотреть церемонию El Dia de Muerte. Лодки скользят в тумане по черному озеру, люди в них дрожат от холода и кутаются в пледы.

Восходит солнце.

Христос пошевелился.

Он опустил руку с распятия, потом поднял ее и вдруг — помахал.

Горячее солнце вспыхнуло, рассыпавшись искрами, как золотой взрыв, из-за высокой колокольни в Гвадалахаре и высокого распятия, покачивающегося под порывами ветра. Если бы Христос посмотрел своими добрыми, теплыми глазами вниз — а именно это он и сделал в данный момент, — он увидел бы две тысячи зрителей, запрокинувших вверх головы: как будто множество дынь рассыпались по рыночной площади; увидел бы тысячу поднятых рук, загораживающих от солнца напряженные и любопытные глаза.

Подул небольшой ветерок, и крест на колокольне качнулся и чуть подался вперед.

Христос помахал рукой. Те, кто стоял внизу на площади, помахали в ответ. Кто-то вскрикнул в толпе. Автомобилей на улицах не было. На площади пахло свежескошенной травой и ладаном из дверей церкви. Было одиннадцать часов жаркого, зеленого воскресного утра.

Затем Христос опустил вторую руку, помахал ею и неожиданно, оторвавшись от креста, перевернулся и повис на ногах, головой вниз. На лицо ему упал маленький серебряный медальон, висевший у него на смуглой шее.

— Ole! Ole! — закричал где-то далеко внизу мальчуган, показывая пальцем сначала на него, а потом на себя. — Вы видите, видите? Это Гомез, мой брат!

И мальчик, держа в руке шляпу, начал обходить толпу и собирать деньги.

Раймундо, лежащий на асфальте, пошевелился, закрыл глаза и вскрикнул. И снова провалился во тьму.

Туристы вылезли из лодок и сонно бредут по ночному острову Ханицио. На сумрачных улицах, как туман с озера, развешены огромные сети, а на лотках поблескивают горы пойманной сегодня серебристой рыбы. Лунный свет играет на ее чешуе.

В ветхой церкви на вершине пологого холма стоит Христос, сильно источенный термитами, хотя кровь все еще обильно течет из его живописных ран, и минет еще не один год, пока ма-

ска страдания на его лице будет полностью съедена насекомыми.

Подле церкви сидит чахоточная женщина, время от времени заходящаяся в кашле, и помахивает сорванными ипомеями над пламенем плести свечей. Цветы, проходя сквозь огонь, испускают нежный возбуждающий запах. Движущиеся мимо туристы останавливаются рядом и стоят, глядя вниз. Им хочется спросить, что делает здесь женщина, сидя на могиле мужа, однако они молчат.

В церкви, словно смола на прекрасном дереве, на теле Христа, вырезанном из плоти красивых заморских деревьев, выступает сладкая священная камедь и висит мелкими дождевыми каплями, которые никогда не упадут, — кровь, пеленающая его наготу.

«Ole!» — вопит толпа.

Опять яркий солнечный свет. Что-то давит на Раймундо. Машина, свет, боль!

На коне, обвязанном толстыми матами, выехал пикадор и ударил быка сапогом по плечу, одновременно всадив туда длинное древко с тонким острым шипом на конце. Пикадор тут же исчез. Заиграла музыка. Вперед медленно выходил матадор.

Бык стоял, выставив одну ногу, в центре залитого солнцем круга. Все его чувства были напряжены. В глазах тускло поблескивали одновременно страх и ненависть. Его нервы были на пределе, но он нервничал все больше и больше, и это только приближало развязку. Из распоротого плеча лилась кровь, шесть *banderillas*, впившиеся в спину, позвякивали, ударяясь друг о друга.

Матадор очень тщательно, никуда не торопясь, прикрыл шпагу плащом. Зрители и вздрагивающий бык терпеливо ждали.

Бык ничего не знал, ничего не понимал. Бык не желал ничего видеть и понимать. Мир — это боль, мелькание теней и света да усталость. Бык стоял и ждал, когда его убьют. Он был бы только рад побыстрее прекратить всю эту путаницу, мельтешение силуэтов, размахивание предательскими плащами, лживый гром фанфар и фальшивый бой.

Бык шевельнулся, пошире расставил ноги и остался в прежней позе, медленно поводя головой из стороны в сторону. Глаза

его подернулись мутной пленкой, по задним ногам текли зеленые экскременты, кровь, пульсируя, лениво струилась из пасти. Где-то вдалеке, на краю зрения, человек выставил перед собой блестящую шпагу. Бык не шевельнулся. Шпага, которую держит улыбающийся человек, трижды коротко чиркнула под носом у ослепшего быка — раз-раз-раз!

Толпа взвыла от восторга.

Бык не двинулся с места и даже не вздрогнул. Кровь струей полилась из сопящих, разрезанных поздней.

Матадор топнул ногой.

С обреченной покорностью бык побежал навстречу врагу. Шпага пронзила его шею. Бык запнулся, упал с глухим шумом, дернул ногой, замер.

«Ole!» — взвыла толпа. Оркестр грянул финальный туш!

Раймундо почувствовал, как его ударила машина. В глазах замелькали черно-белые вспышки.

В церковном дворе Ханицио над двумя сотнями каменных могил горели двести свечей, после мужчины, туристы внимательно наблюдали за происходящим, с озера поднимался туман.

В Гуанахуато вовсю светит солнце! Пробиваясь в катакомбы сквозь щель в потолке, солнечный луч падает на карие глаза женщины, стоящей со скрещенными руками и широко раскрытым ртом. Туристы трогают ее и щелкают по ней пальцами, как по барабану.

«Ole!» Матадор обошел по кругу арену, держа высоко над головой свой маленький черный берет. Хлынул ливень. Сверху посыпались монеты, кошельки, ботинки, пальцы. Матадор стоял под этим дождем с миниатюрным беретом вместо зонтика!

Подбежал человек с отрезанным ухом убитого быка. Матадор показал его зрителям. Когда он сделал круг почета, публика бросала на арену свои пальцы и деньги. Однако большие пальцы были опущены вниз, и, хотя крики выражали удовлетворение, толпа была недовольна тем, что он принял отрезанное ухо. Пальцы опущены. Не оглядываясь, матадор пожал плечами и с силой швырнул ухо о песок. Окровавленное ухо лежало на арене, а толпа, обрадованная тем, что матадор его выбросил, поскольку не так уж хорошо он провел бой, возликовала. На арену выскочили уборщики, прицепили поверженного быка к упряжке лошадей, которые шарахались и испуганно свистели поздней.

ми, почуяв запах свежей крови и оглохнув от криков зрителей. Лошади рванули и потащили мертвую тушу за собой, оставляя в песке борозды от рогов быка и капли крови.

Раймундо почувствовал, как сахарный череп выскользнул у него из руки. Погребение на деревянной дощечке тоже выпало из другой его откинутой руки.

Бах! Бык ударился о barrier и отскочил от ограждения, а лошади с диким ржанием скрылись в туннеле.

Какой-то человек подбежал к barrier, где сидел сеньор Виллаалта, протянул вверх banderillas с острыми наконечниками, измазанными кровью и плотью быка. «Gracias!» Виллаалта бросил вниз песо, гордо взял banderillas, на которых развевались маленькие оранжевые и голубые креповые ленточки, и изящно, как музыкальные инструменты, преподнес их жене и друзьям, курившим сигары.

Христос пошевелился.

Толпа смотрела вверх на покачивающийся крест колокольни.

Христос сделал стойку на руках, подняв ноги к небу!

Маленький мальчик бегал в толпе. «Видите моего брата? Платите! Это мой брат! Платите!»

Теперь Христос висел, ухватившись одной рукой за колеблющийся крест. Под ним раскинулся весь город Гвадалахара, очень красивый и очень спокойный в воскресенье. «Сегодня я заработаю много денег», — думал он.

Крест пошатнулся, и его рука соскользнула. В толпе раздался крик.

Христос упал.

Христос умирает сейчас. Его можно видеть вырезанным из дерева и высеченным из камня в десятках тысяч скорбных мест. Он возводит глаза к высоким пыльным небесам десятков тысяч храмов, и при этом всегда много крови, ах, сколько крови.

«Видите! — сказал сеньор Виллаалта. — Видите!» Он подносил banderillas к красным и потным лицам своих друзей.

За ним бежали дети, смеялись, хватали за одежду, а матадор раз за разом обходил арену под непрекращающимся градом монеток и шляп.

Лодки с туристами уже плывут назад по предрассветно-бледному озеру Пацкуаро. Ханицио остался позади, свечи догорели, кладбище опустело, сорванные цветы выброшены и завя-

ли. Лодки причаливают, туристы сходят на берег. Их встречает новый день, а в гостинице, построенной на самом берегу озера, их поджидает огромный серебряный кофейник; от него с тихим шепотом поднимается пар, словно последние клочья озерного тумана, и растворяется в теплом воздухе ресторана. Приятно позванивают тарелки и вилки, слышится приглушенный шум светской беседы. Веки тяжелеют, и кофе допивается уже в полудреме, в предвкушении мягкой подушки. Двери закрываются. Туристы засыпают на влажных от тумана подушках, завернувшись в пропитанные туманом простыни, как в саваны.

В Гуанахуато ворота закрыты, исчезли жесткие кошмары. Винтовую лестницу вынули, она лежит на ноябрьском припекке. Лает собака. Ветер треплет мертвые ипомеи. Захлопывается большая дверь над спуском в катакомбы. Высушенные люди убранны.

Оркестр исполняет последнюю триумфальную мелодию, и barrieras пустеют. Выйдя со стадиона, люди проходят вдоль рядов нищих с гноящимися глазами, которые поют высокими-высокими голосами; внизу, на арене, кровавые следы последнего быка засыпают песком, и песок разравнивают люди с граблями. Матадор моемся в душе, и его по мокрым ягодицам шлепает человек, который благодаря ему сегодня выиграл деньги.

В ослепительном свете упал Раймундо, упал Христос. Раймундо коснулся земли, Христос коснулся земли, но они не узнали об этом.

Похороны на фанерке разбились вдребезги. Сахарный череп отлетел далеко в водосточный желоб и разбился на три десятка белоснежных кусочков.

Мальчик, Христос, лежал тихо.

«Ах», — сказала толпа.

«РАЙМУНДО», — сказали кусочки сахарного черепа, рассыпавшиеся по земле.

А кусочки сахарного черепа с буквами Р, и А, и Й, и М, и У, и Н, и Д, и О были подобраны, расхвачаны и съедены детьми, которые дрались за каждую часть имени.

СОДЕРЖАНИЕ

НАДВИГАЕТСЯ БЕДА. Перевод Н. Григорьевой, В. Грушецкого	5
Пролог	7
Часть 1. ПРИВЫТИЕ	9
Часть 2. ПОГОНЯ	88
Часть 3. ИСХОД	169
КАНУН ВСЕХ СВЯТЫХ. Перевод М. Ковалевой	211
ТЕМНЫЙ КАРНАВАЛ	307
Поиграем в «отраву». Перевод К. Шиндер	309
Кричащая женщина. Перевод С. Шнака	315
Горячий бред. Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой	330
Гонец. Перевод Т. Шинкарь	339
Крошка-убийца. Перевод Т. Ждановой	347
Друг Николаса Никльби — мой друг. Перевод Н. Григорьевой, В. Грушецкого	367
Мотель куриных откровений. Перевод И. Тоговой	397
Озеро. Перевод Т. Ждановой	409
Ребятки! Выращивайте гигантские грибы у себя в подвалах! Перевод В. Задорожного	415
Силач. Перевод Р. Шитфара	436
Карлик. Перевод С. Трофимова	448
Скелет. Перевод М. Пчелинцева	463
Ревун. Перевод А. Жданова	485

Банка. Перевод М. Пчелинцева	494
Человек в рубашке Роршаха. Перевод И. Тоговой	513
Город, в котором никто не выходит. Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой	530
Пристальная покерная фишка работы А. Матисса. Перевод М. Пчелинцева	541
Удивительная кончина Дадаи Стоуна. Перевод Р. Облонской	554
Топаз. Перевод Т. Шинкарь	568
Кое-кто живет как Лазарь. Перевод В. Задорожного	579
Могильный день. Перевод Р. Шитфара	594
Вышивание. Перевод А. Жданова	604
Женщины. Перевод Т. Сальниковой	609
Прикосновение пламени. Перевод А. Оганяна	621
Водосток. Перевод С. Анисимова	635
Время уходить. Перевод А. Хохлаева	644
Вот ты и дома, моряк. Перевод В. Задорожного	652
Коса. Перевод Н. Куняевой	663
Стая воронов. Перевод В. Задорожного	680
Электростанция. Перевод А. Оганяна	695
Иллюстрированная женщина. Перевод В. Задорожного	705
Шлем. Перевод А. Хохлаева	721
Фрукты с самого дна вазы. Перевод Б. Клюевой	730
Именно так умерла Рябушинская. Перевод В. Задорожного	744
Наблюдатели. Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой	762
Корпорация «Марionетки». Перевод В. Серебрякова	781
Наказание без преступления. Перевод Я. Бераина	790
Маленькие мышки. Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой	801
Следующий. Перевод М. Воронежской	808
En la Noche. Перевод В. Серебрякова	849
Последняя работа Хуана Диаса. Перевод В. Задорожного	854
День Смерти. Перевод С. Анисимова	867

Литературно-художественное издание

Рэй Брэдбери
ТЕМНЫЙ КАРНАВАЛ

Ответственный редактор *Е. Гуляева*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *К. Иванов*
Корректор *В. Дроздова*

В оформлении переплета использована иллюстрация
художника *Л. Эдвардса*

Оригинал-макет подготовлен издательством «Домино»
197198, Санкт-Петербург,
ул. Блохина, 20/7. Тел./факс (812) 325-13-28

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.*

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:**
Центральный магазин — Москва, Сухарева пл., 12
(м. «Сухарева», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.

ООО Дистрибьюторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА». Киев, ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49, e-mail: sale@eksmo.com.ua

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Санкт-Петербурге:
РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

Сеть книжных магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

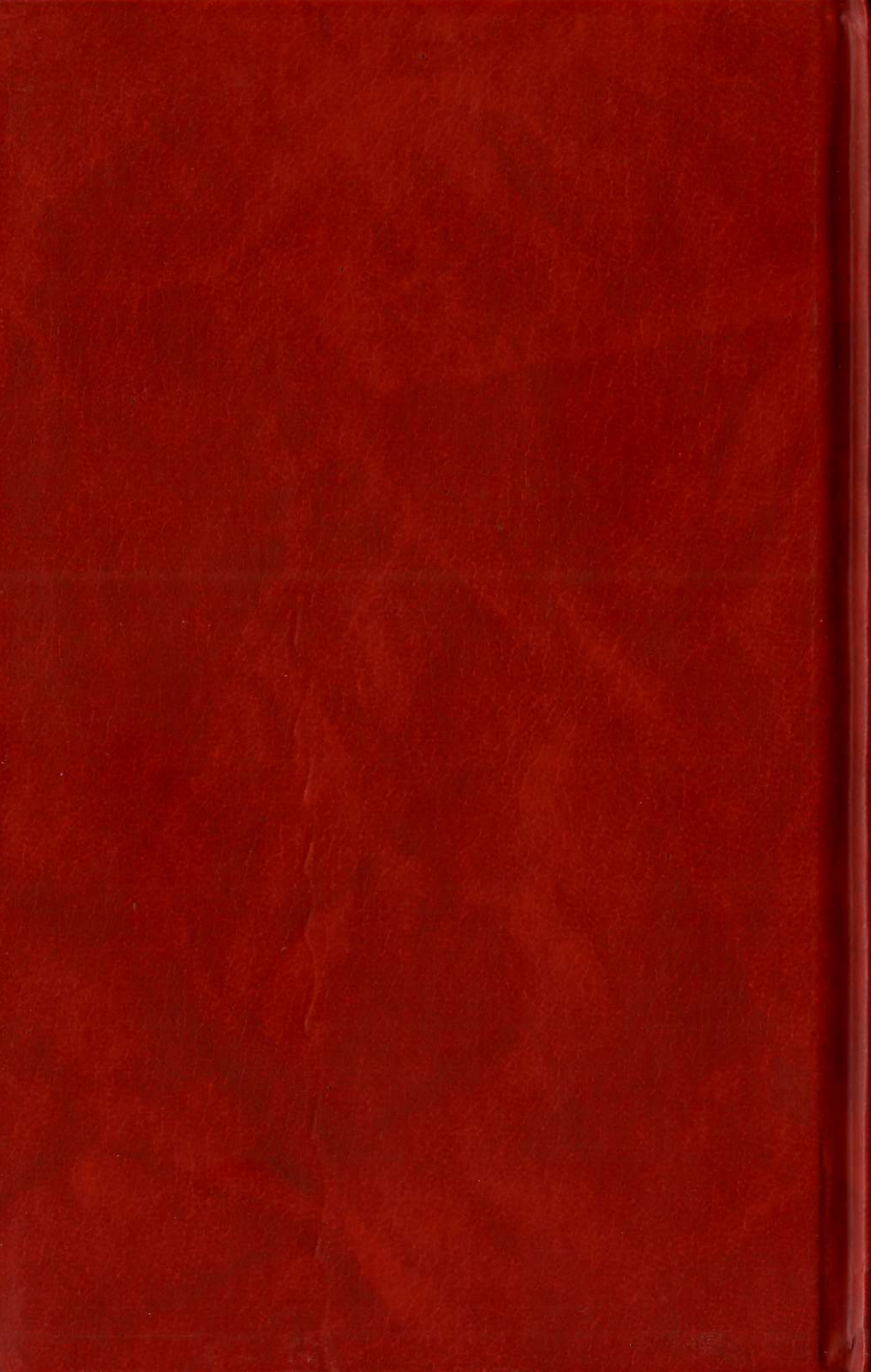
Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК» представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Нижнем Новгороде:
РДЦ «Эксмо НН», г. Н. Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.09.2004.
Формат 84x108¹/₃₂. Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 46.2.
Тираж 7 000 экз. Заказ 4204.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru





ШЕДЕВРЫ ПУСТЫХ ШЕДЕВРЫ ПУСТЫХ

РЭЙ
БРЭДБЕРИ



Ray Bradbury

ISBN 5-699-08060-0



9 785699 080601 >

ШЕДЕВРЫ ПУСТЫХ ШЕДЕВРЫ ПУСТЫХ